

Библиотека журнала "Голос Эпохи"

Елена Семенова

# ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА

Том II



## Annotation

XX век стал для России веком великих потерь и роковых подмен, веком тотального и продуманного физического и духовного геноцида русского народа. Роман «Претерпевшие до конца» является отражением Русской Трагедии в судьбах нескольких семей в период с 1918 по 50-е годы. Крестьяне, дворяне, интеллигенты, офицеры и духовенство — им придётся пройти все круги ада: Первую Мировую и Гражданскую войны, разруху и голод, террор и чистки, ссылки и лагеря... И в условиях нечеловеческих остаться Людьми, в среде торжествующей сатанинской силы остаться со Христом, верными до смерти. Роман основан на обширном документальном материале. Сквозной линией повествования является история Русской Церкви означенного периода — тема, до сих пор мало исследованная и замалчиваемая в ряде аспектов. «Претерпевшие до конца» являются косвенным продолжением известной трилогии автора «Честь — никому!», с героями которой читатели встретятся на страницах этой книги.

---

- [Елена Владимировна Семёнова. Претерпевшие до конца. Том 2](#)
  - [МОЛОХ](#)
    - [Глава 1. Пролог](#)
    - [Глава 2. Поминки по утраченному](#)
    - [Глава 3. Мука](#)
    - [Глава 4. Игнат](#)
    - [Глава 5. В медвежьем углу](#)
    - [Глава 6. Бутырское сидение](#)
    - [Глава 7. Пасха в Большом Доме](#)
    - [Глава 8. Встреча](#)

- [Глава 9. Возвращение](#)
- [Глава 10. Плач Рахили](#)
- [Глава 11. Совесть](#)
- [Глава 12. Сон наяву](#)
- [Глава 13. Литератор Дир](#)
- [Глава 14. В клещах](#)
- [Глава 15. Осколки](#)
- [Глава 16. Наследство](#)
- [Глава 17. Жития](#)
- [МЕЧТЫ В КАПКАНЕ](#)
  - [Глава 1. Великая иллюзия](#)
  - [Глава 2. Музыка слёз](#)
  - [Глава 3. Без выбора](#)
  - [Глава 4. Отец Михаил](#)
  - [Глава 5. «Мудрость змия»](#)
  - [Глава 6. Связной](#)
  - [Глава 7. Яблочный спас](#)
  - [Глава 8. Две жены](#)
  - [Глава 9. Напутствие на муку.](#)
  - [Глава 10. Пётр Тягаев](#)
  - [Глава 11. Сороковины](#)
  - [Глава 12. Под ритмы фокстрота](#)
- [ЖАТВА](#)
  - [Глава 1. Обречённые](#)
  - [Глава 2. Каин](#)
  - [Глава 3. Последний забег](#)
  - [Глава 4. Мария](#)
  - [Глава 5. Митрополит Иосиф](#)
  - [Глава 6. В Красном городе](#)
  - [Глава 7. Последний поклон](#)
  - [Глава 8. хлопоты](#)
  - [Глава 9. Семейный альбом](#)
  - [Глава 10. Ад](#)
  - [Глава 11. Одиночество](#)
  - [Глава 12. Удар](#)
  - [Глава 13. Обещание](#)

- [Глава 14. Возвращение](#)
  - [Глава 15. Оживание](#)
  - [Глава 16. Отец и сын](#)
  - [Глава 17. Анюта](#)
  - [Глава 18. Донос](#)
  - [Глава 19. Последняя разлука](#)
  - [Глава 20. Последний путь](#)
  - [ЭПИЛОГ](#)
    - [Слёзы Каина](#)
    - [Встреча](#)
    - [Катакомбная церковь](#)
-

**Елена Владимировна  
Семёнова. Претерпевшие до  
конца. Том 2**

**МОЛОХ**

## Глава 1. Пролог

Серые существа, похожие на людей, с кувалдами и ломами, они стекаются дружными колоннами с разных сторон. Они оживлены и радостны, они предвкушают торжественный миг. И новогодний мороз нисколько не остужает их задора...

Что нужно им? Зачем стекаются они сюда? Прежде стекались в эти дни ко вратам древней обители богомольцы. На Рождество столь много бывало их, что полным-полны стояли древние храмы, и от этого особенно торжественной становилась служба.

В погожие летние дни также стекались горожане на живописный москварецкий берег — гуляли под сенью величавых стен.

Но нынешние пришельцы нисколько не походили на прежних людей, будто другого племени были они, племени, ещё не достигшего высоты эволюции, замершего на полпути. У прежних людей никогда не бывало таких огрубелых, словно высеченных наспех из камня лиц, таких пугающе пустых глаз, таких тяжёлых взглядов... Зачем же пришли они? Для чего понадвинулись стаей, оцетинившись ломами и лопатами? На какого неведомого врага вооружились?

Замер монастырь, не понимая, что же творит людской муравейник у его гордых башен, у неприступных стен, переживших на своём веку войны и разрухи, пожары и бедствия. Замер, не веря надвигающейся грозе. И трудно было поверить ей 560-летней обители! В середине четырнадцатого века Преподобный Сергей благословил своего племянника Феодора, духовника князя Дмитрия Донского, «поставить монастырь на Москве, зовомое от древних Симоново на реке на Москве». И, вот, на высоком левом

берегу Москвы-реки, среди лугов и лесов стала подниматься новая обитель. Именно в её ограде суждено было упокоиться славным останкам Пересвета и Осляби.

Десятилетия спустя в Симонове был воздвигнут великолепный Успенский собор. В монастыре начинали свой подвиг иноки Кирилл и Ферапонт, позже основавшие знаменитые Кирилло-Белозёрский и Ферапонтов монастыри.

В XVII веке Симонов, ставший богатейшей обителью Москвы, превратился в настоящую крепость, благодаря выстроенным Фёдором Конём высоким стенам и уникальным башням. Самая крупная из них, «Дуло», многогранная, с накладными лопатками, с рядами бойниц и шатровым завершением, в веке XIX стала излюбленной смотровой площадкой Лермонтова...

Век за веком рос монастырь, сохраняя в себе отпечатки русской истории, становясь всё прекраснее. В 1593 году над западными воротами была возведена церковь в честь Спаса Преображения в память успешного отражения нападения крымских орд под главенством хана Казы-Гирея. В конце XVII столетия зодчие Парфен Петров и Осип Старцев выстроили одно из самых замечательных произведений русского зодчества — здание трапезной палаты, к которой пристроили жилые палаты для царя Федора Алексеевича, любившего бывать в этом монастыре и подолгу жившего в нем.

Наконец в XIX веке архитектор Тон возвёл огромную, высотой в сорок четыре сажени, колокольню, не имевшую равных в Первопрестольной.

Редкий монастырь мог состязаться великолепием с веками слагавшимся ансамблем Симонова. Это чудо русского зодчества было одной из главных жемчужин Москвы. Но для чёрных глаз новых властителей России не было ничего нестерпимее, нежели свет этой



красоты, самим существованием своим свидетельствующей о начале божественном... И врагом, на которого стягивались серые орды, был не какой-нибудь лихой супостат, а монастырские стены и храмы, безмолвно ожидающие своей участи и всё ещё надеющиеся на проблеск разума в обезумевших людях.

Но куда там! Ведь неделя за неделей неистовствовали газеты, науськивая серое племя: только одно и мешает установлению для вас земного рая — очаг мракобесия среди обступивших его заводов! Уничтожить его, и возвести на расчищенном месте дворец культуры при заводе имени товарища Сталина! И тогда свет культурной жизни прольётся на вас!

И уверовало серое племя, которому столь мало нужно было, чтобы — уверовать, которому довольно было лишь указать врага, чтобы оно бросилось яростно истреблять его, пролагая путь в «светлое будущее». «Построим на месте очага мракобесия очаг пролетарской культуры!» — под таким лозунгом шагает племя: разрушать...

К разрушению звали с Семнадцатого года. «Мы до сих пор не можем победить египетские пирамиды. Багаж древности в каждом торчит, как заноза древней мудрости, и забота о его целостности — трата времени и смешна тому, кто в вихре ветров плывет за облаками в синем абажуре неба... ..Нужен ли Рубенс или пирамида Хеопса? Нужна ли блудливая Венера пилоту в выси нашего нового познания?.. ..Нужны ли старые слепки глиняных городов, подпертых костылями греческих колонок?...Ничего не нужно современности, кроме того, что ей принадлежит, а ей принадлежит только то, что вырастает на ее плечах... ..Современность изобрела крематории для мертвых, а каждый мертвый живет даже гениально написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем один грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке может

поместиться тысяча кладбищ. Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить сжечь все эпохи как мертвое и устроить одну аптеку. Цель будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства... И наша современность должна иметь лозунг: «Все, что сделано нами, сделано для крематория»... ...Скорее можно пожалеть о сорвавшейся гайке, нежели о разрушившемся Василии Блаженном. Стоит ли заботиться о мертвом? Всякое собрание старья приносит вред. Я уверен, что если бы был своевременно уничтожен русский стиль, то вместо выстроенной богадельни Казанского вокзала возникла бы действительно современная постройка», — так витийствовал ещё в Девятнадцатом глава художественного отдела Моссовета Казимир Малевич.

И мечты его воплощались в жизнь. Сперва нерешительно, непоследовательно. При Наркомпросе были собраны лучшие специалисты в области искусства, дабы выявить и поставить на учёт памятники старины, обеспечить их дальнейшее существование. Отбираемые у церкви монастыри и храмы переводились в разряд музеев. Так, в Симонове был открыт музей русской воинской славы с богатейшей коллекцией древнего оружия.

Забота об историко-культурном наследии легла, в первую очередь, на плечи искусствоведов и реставраторов, не жалевших сил для спасения вверенного им бесценного достояния. Двенадцать лет длилась изматывающая борьба... И был краткий миг, в который показалось, что здравомыслие всё-таки возьмёт верх. Но уже в двадцать шестом году эта робкая надежда погасла. В тот год Президиум Моссовета постановил: «Предложить всем отделам Московского Совета препятствовать изысканию новых памятников старины». И с двадцать седьмого пока ещё медленно, раскачиваясь, началось наступление. Первой

мишенью для удара выбрали изящные Красные ворота, возведенные при императрице Елизавете по проекту архитектора Ухтомского. Газеты подняли шум, якобы мешают они трамвайному движению. Само собой, защитники старины отчаянно доказывали необходимость сберечь памятник, но варвар одержал победу...

Ещё год спустя волна начала подниматься и в провинции. В Центральных государственных реставрационных мастерских не успевали разбирать заявки властей разного уровня на снос десятков храмов: из Суздаля и Кашина, Ростова и Кинешмы, Муром и Соликамска, Переславля и Великого Устюга, Калязина, Юрьева-Польского, Ярославля, Владимира, Костромы...

Гибла, гибла безвозвратно русская культура! Одолевал враг, по печальному выражению Пришвина. И ни искры жалости не пробивалось к созданию гения человеческого, к красоте.

Племя коммунистов, кажется, было вовсе чуждо чувству красоты. Случается, что люди рождаются калеками — без слуха, без зрения, без руки... Без ума, наконец. У племени коммунистов отсутствовало чувство красоты, и это увечье объединяло их в новую, ранее невиданную общность...

Страшен был вид этих не знающих красоты людей. Особенно для человека, вслед Достоевскому веровавшему, что именно она спасёт мир, и оттого, однажды познав её всей душой, посветившего всего себя её спасению.

Много лет назад двенадцатилетний сын безземельного крестьянина-ремесленника увидел шатровый деревянный храм, подобно древней ели устремлённый к небу. Храм так поразил мальчика, что он добился у местного священника разрешения провести обмеры храма, чтобы открыть для себя секреты старых мастеров.

А тремя годами позже состоялась первая встреча его с творением зодчего, который навсегда станет для него самым любимым — Болдинским монастырём Фёдора Коня... Дух захватило оттого, что купола шатровой Введенской церкви вздымались выше сосновых куп! И не мог охватить разум, как в этой крохотной деревеньке люди подняли такие громады камня под небеса и придали им красоту?.. Красота и тайна, наполнявшая её, завораживали юношу.

С зарисовками этих двух храмов юный Пётр Барановский явился в Московское строительнотехническое училище. Когда в Московском археологическом обществе, объединившем любителей старины, он показал свои эскизы, ученые мужи ахнули и написали юноше поручительную бумагу с тем, чтобы он смог произвести в полном объеме обмеры болдинских древних сооружений. За произведённые работы, доклад и свой первый проект реставрации Барановский получил от общества премию в четыреста рублей пятирублевыми золотыми монетами.

Так началось служение красоте. Свою работу Пётр Дмитриевич сравнивал с работой доктора. Не врача, просто лечащего тело, а именно доктора, умеющего понять душевное состояние пациента, выявить глубинную причину болезни. Для Барановского памятник никогда не был просто камнем или деревом, но живым, одушевлённым существом, которое он чувствовал. Это глубокое чутьё, помноженное на исключительную эрудицию, память, трудолюбие, сделало его новатором в реставрационном деле. Его методы реставрации не имели аналогов.

Врачевание требует чистоты: как на объекте реставрации, так и рядом с ним. А ещё — в человеческих отношениях. Никакой брани, никакого панибратства, уважение к человеческой личности, к своему делу и к воссоздаваемому шедевру — подходя к

работе с такой меркой, он обращал её в священнодействие.

Чем сильнее был разрушен памятник, тем дороже был Петру Дмитриевичу, подобно тому, как матери из всех детей бывает наиболее дорог самый слабый и болезненный. И тем больше было созерцать по пришествии «новой эры», как беспощадно уничтожается то, что было так дорого его сердцу.

Археологический институт он окончил уже после революции, вернувшись с фронта в чине подпоручика инженерных войск. И сразу по защите диссертации представилось труднейшее и важнейшее дело — восстановление разорённого при подавлении перхуровского восстания Ярославля. Ровно девять лет потребовалось, чтобы воссоздать разрушенные большевистской артиллерией памятники. Реставрируя их, Барановский успел исследовать, обмерить, зафиксировать в фотографиях, частично отреставрировать или выполнить проекты восстановления памятников деревянного зодчества в Угличе, Ростове Великом, Мологе...

Предчувствуя нависшую над памятниками угрозу, Пётр Дмитриевич спешил составить подробные обмеры и описания их, дабы по ним потомки смогли бы воссоздать утраченную красоту.

Едва работы в Ярославле были налажены, Барановский поспешил в Болдино и приступил к восстановлению любимого с отроческих лет монастыря. В те же годы он исследовал московские памятники, участвовал в Северодвинской экспедиции Грабаря, посещая в ходе неё почти все города и веси по беломорскому берегу и берегам Северной Двины от устья до верховий. После этого путешествия Пётр Дмитриевич добился разрешения на создание музея архитектуры под открытым небом в Коломенском, куда

стал бережно перевозить памятники деревянного зодчества русского севера.

Занимаясь реставрацией Коломенского, Барановский провёл обследование памятников близлежащих уездов Московской губернии, откуда на свои средства перевёз в создаваемый музей многие экспонаты.

В двадцать третьем году Пётр Дмитриевич был срочно командирован Грабарём в Новгород — для спасения ещё не изъятых церковных ценностей. По возвращении из Новгородской экспедиции он составил для Совнаркома записку с предложением о создании музеев на базе закрываемых монастырей: в ту пору это было единственным шансом спасти их. Идею было позволено воплощать в жизнь, и Барановский развернул кипучую деятельность, один лишь географический размах которой поражал воображение многих: Ярославль и Боровск, Москва и Юрьев-Польский, Александров и Калуга, Соловки и Пинега, Шуя и Кижы, Углич и Дорогобуж — всюду дотянулась заботливая рука доктора-реставратора.

До последнего года ещё удавалось противостоять беспощадному натиску варваризации. Но к концу Двадцать девятого начался доселе невиданный обвал, грозящий смести на своём пути всё. В считанные недели случились события, каждое из которых без преувеличения было трагедией.

Власти разгромили Болдинский музей, арестовав его директора Бузанова. При разгроме оказалась частично утрачена музейная коллекция и большинство фотографий, сделанных внуком историка Михаила Погодина, нанятым Барановским для документирования музея. Вскоре после этого фотограф был «вычищен» как «классово чуждый».

Начиная с 1925 года, Пётр Дмитриевич вел реставрацию Казанского собора на Красной площади,

последнего шедевра Фёдора Коня, выстроенного по почину и на средства Дмитрия Пожарского и ставшего главным памятником войне 1612 года. И вдруг остановили работы, и разразился Моссовет решением: снести Казанский собор и Воскресенские (Иверские) ворота с часовней...

Целая делегация профессоров и академиков во главе с Грабарём и Щусевым, придя к Кагановичу, доказывали, что подобное варварство нельзя оправдать, что обречённые сносу памятники обладают исключительными эстетическими достоинствами.

— А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь, — безапелляционно парировал Лазарь Моисеевич.

Защитникам старины уже не позволялось протестовать. Объявленные печатью «вредителями», они вынуждены были умолкнуть и в ужасе созерцать невиданный в истории по масштабам акт вандализма.

На пороге нового года по новому стилю был уничтожен полутысячелетний Чудов монастырь... Власти понадобилось место для военной школы. Судьба святыни решалась столь спешно, что почти не осталось времени спасти хоть что-то. Перед сносом администрация Кремля вызвала художника Павла Корина для демонтажа наиболее ценных фресок, однако не дала ему завершить работу. Собор был уничтожен вместе с фресками. В самый последний момент Пётр Дмитриевич успел на себе вынести из него мощи святителя Алексия Московского...

Не успелось ещё прийти в себя от этой тяжелейшей для русской культуры утраты, как оглоушила очередная чёрная весть: двенадцатого января в Люберцах под колёсами поезда погиб Дмитрий Дмитриевич Иванов, создатель Оружейной палаты, совсем недавно смещённый с должности. Сколько сил потратил этот

человек на то, чтобы отстоять от продажи за границу музейные ценности! Но, вот, после недолгого затишья решено было возобновить эту практику. Музеям спустили жёсткие разнарядки на сдачу ценностей в миллионы рублей золотом. Дмитрий Дмитриевич ещё пытался протестовать, доказывая: «Вред от утраты факторов культуры в особенности злополучен именно теперь, когда все силы должны быть направлены на индустриализацию. Не случайность, что некоторые из музеев Америки растут теперь больше, чем все музеи Европы, взятые вместе. Дело в том, что для индустриализации всякой страны кроме усовершенствования машины требуется в первую очередь усовершенствование человека». Но напрасно... Смещённый с должности, тяжело больной, измученный старик, полный тревоги за родных, он не нашёл иного исхода из создавшегося отчаянного положения...

Иванов погиб двенадцатого, а на другой день, в старостильный новый год, из созданного им музея состоялась крупнейшая выемка ценностей. И в этот же чёрный день должен был кануть в небытие Симонов...

Совсем недавно Петра Дмитриевича вызвали в Моссовет и попросили дать небольшой список наиболее ценных памятников архитектуры Москвы.

— Для чего он вам? — спросил Барановский.

— Начинаем реконструкцию столицы, хотим сохранить все уникальное.

Список был составлен из одиннадцати памятников архитектуры: Симонов монастырь, Сухарева башня, храм Василия Блаженного... На вопрос, какой из памятников, не считая Кремля, он поставил бы на первое место, Барановский, не задумываясь, ответил:

— Симонов монастырь. Равных ему в Москве нет...

Теперь стоя на пронизывающем ветру, но не чувствуя холода, Пётр Дмитриевич не сводил глаз с прекрасного ансамбля, точно вбирая в себя его чудный



образ, запоминая каждую деталь и в то же время прощаясь.

Десятилетия требовались древним людям, чтобы воздвигнуть на диво всему человечеству величественные здания. В двадцатом веке человечество достигло вершины прогресса — возможности в считанные минуты обратить во прах эти плоды неустанных трудов своих пращуров.

Решительно ни одна страна мира, ни один народ, исключая разве что турок, не надругалась так над собственной историей и культурой. Варвары! Невозможно без содрогания было созерцать, как разводили они костры вокруг осаждённой крепости, пели революционные песни, отпускали похабные шутки — готовились к «работе»! Для них организованы были полевые кухни и медицинские пункты — труд разрушения требовал всесторонней поддержки... Откуда взялись они? Ведь не из неведомых стран и континентов завезли их! Нет! У них русские имена и русский, пусть и огрублённый, примитивный язык. Русскими были их родители. В России родились и выросли они. Откуда же эта безумная ненависть? Издревле русский человек с особой чуткостью понимал красоту, оттого так и заботился об украшении своей земли, не жалея кровной копейки...

Знать, верно утверждение, что пролетариат не имеет национальности. Тот, прежний русский человек, возрастал на лоне природы, среди лесов и лугов, где прекрасно и одухотворено всё. Но работники фабрик и заводов не познали этой красоты, и, духовно ограбленные, увечные, ярились теперь разрушать её. На её месте они увидят понятное себе — например, кинотеатр...

Из Успенского собора вышли сосредоточенные сапёры. Заложили взрывчатку... Суевившаяся дотол толпа притихла, замерла — никто не желал пропустить

исторического мгновения. Тягостно провыл ветер, прокочевал меж древних башен, отслужил панихиду...

Наконец, сигнал был дан, и уже в следующее мгновение раздался грохот. Громадный пятиглавник тяжело и испуганно ухнул, подобно человеку, получившему удар ножом под рёбра в тёмном переулке, и начал оседать, скрываясь в клубах пыли, провожаемый скорбными башнями, до последнего не верившими в возможность такого исхода, и ликующим пролетариатом, отмечающим очередное начало «новой эры»...

## Глава 2. Поминки по утраченному

Тот взрыв не только в соборе прогремел, но в сердце. Правда, оно крепче каменной кладки оказалось и зачем-то не разорвалось... Лишь чёрно-малиновые круги перед глазами пошли, и сами собой подкосились ноги, заставив пасть на колени перед казнённой святыней, ткнуться пылающим лбом в ледяной снег.

Сергей не пошёл бы в тот день к Симонову — слишком страшно было созерцать его гибель. Но на старом кладбище были похоронены мать Лиды, её дед, бабка, другая родня. Узнав о предстоящем сносе, она решила, во что бы то ни стало, перевезти прах дорогих людей в Донской монастырь. Разрешение помог выхлопотать Пряшников, также приехавший помочь в печальном деле.

Раскопка могил была назначена на семь утра. Ничей прах не был пощажен, а ведь на Симоновом покоились люди выдающиеся: князь Симеон Бекбулатович, прихотью Ивана Грозного игравший роль Царя, младший сын Дмитрия Донского Константин, князья Мстиславские, Урусовы, Юсуповы, Сулешевы, Бутурлины, Татищевы, Новосильцовы, Нарышкины, Шаховские, Вадбольские, граф Федор Алексеевич Головин и его сын адмирал Николай Федорович, дядя Пушкина Николай Львович, композитор Алябьев, коллекционер Бахрушин...

Бесстрастные писари вели протокол: «Вскрыт первый гроб. В нем оказались хорошо сохранившиеся кости скелета. Череп наклонен на правую сторону. Руки сложены на груди... На ногах невысокие сапоги, продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком. Все кожаные части сапог хорошо сохранились, но нитки, их соединявшие, сгнили...» К чему, вообще, был

нужен протокол этим людям? Ведь ничуть не собирались они позаботиться о новом месте упокоения останков, но сметали их в общую яму, чтобы затем на изломанных костях возводить «очаг пролетарской культуры». С ужасом заметил Сергей, что участники раскопок не брезгают прихватывать себе из могил «трофеи» — от сохранившихся вещей до костей покойников...

От всего происходящего мутило. И уж совсем невмоготу стало, когда добрались до фамильной могилы Аксаковых, которых вместе с поэтом Веневитиновым милостиво разрешили перенести на Новодевичье. С этой могилой, где упокоились отец и оба сына Аксаковых, гробокопателям пришлось повозиться. Над нею росла огромная, раскидистая берёза, покрывавшая всё захоронение. Когда оно было разрыто, то оказалось сложным извлечь останки грудной части Сергея Тимофеевича — именно из неё, из самого сердца произрастал корень берёзы... Но изрубили его, и извлекли, отняли у земли прах, занесли в протокол...

— Зря ты пришёл, — сказала Лида, когда останки её родных были погружены на нанятые подводы. — Мы бы управились без тебя, а тебе всё это видеть не стоило. Иди домой, а на Донском мы сами...

Эта женщина не ошибалась никогда. Ему, действительно, не следовало приходить и уж во всяком случае, дожидаться конца драмы. Но когда жена вместе с сыном и Стёпой отправились в Донской, Сергей понял, что уйти не может, не может малодушно бросить монастырь в его последние часы. С того дня гул взрыва и вид руин на месте Успенского собора беспощадно преследовали его. Казалось, что эти руины погребли под собой всякую надежду, погребли труды стольких лет...

С начала 20-х Сергей входил в общество «Старая Москва», которое возглавлял крупнейший москвовед Петр Николаевич Миллер, не мысливший свою жизнь без России и Москвы, досконально знавший историю всех столичных районов, улиц, большинства домов. Членами «Старой Москвы» являлись крупнейшие учёные, исследователи, деятели искусства: М.И. Александровский, К.В. Базилевич, П.Д. Барановский, А.А. Бахрушин, С.К. Богоявленский, А.М. Васнецов, Н.Д. Виноградов, В.А. Гиляровский, В.В. Згура, М.А. Ильин, А.В. Орешников, К.В. Сивков, Д.П. Сухов, П.В. Сытин, М.А. Цявловский, А.В. Чайнов... Эти люди собирались даже в голодные московские зимы: сидели в шубах, согреваясь чаем с чёрным хлебом и ставшим редким лакомством сахаром, и читали рефераты по старой Москве для приходивших слушателей...

К 1927 году в составе «Старой Москвы» работало одиннадцать комиссий. Среди них: протокольная, кладбищенская, комиссии по регистрации архитектурных памятников, по составлению исторического атласа Москвы, экскурсионная, библиографическая, мемуарная, издательская... Когда возникла угроза уничтожения ряда московских кладбищ, кладбищенская комиссия и Союз писателей осенью 1926 года образовали «Временный Комитет по охране могил выдающихся деятелей», первое заседание которого состоялось третьего марта 1927 года под председательством Миллера. В результате были приведены в порядок могилы Хераскова и Чаадаева в Донском монастыре, «Литераторские мостки» на Пятницком кладбище, разысканы могилы художника Саврасова, писателей Астырева, Соловьева-Несмелова, Успенского, Разоренова и других.

Годом позже под председательством Петра Николаевича была учреждена Пушкинская комиссия, поставившая своей задачей дальнейшее выявление

пушкинских мест столицы и конкретизацию круга московских знакомств поэта.

«Старая Москва» занималась организацией выставок и конференций, краеведением, археологическими раскопками, издательской деятельностью. Вся деятельность её была посвящена сохранению исторической памяти и народному просвещению. Члены общества, среди которых было немало молодёжи, узнав о планах сноса того или иного памятника, спешили замерять его и фотографировать. Они же неустанно протестовали против нарастающего вала вандализма...

Но получив тавро «вредителей» — замолчали и самые смелые. С конца Двадцать девятого началось подавление всех краеведческих и общественных организаций, связанных с историей и культурным наследием. Под ударом оказались Общество истории и древностей российских, Общество любителей старины, Общество изучения русской усадьбы, Институт истории РАНИОН... Их судьба была уже предрешена, равно как и судьба «Старой Москвы», угасавшей на глазах.

Чувство безысходности всецело завладело Сергеем. Он не мог заставить себя вновь включиться в работу — обмерять, писать доклады по очередным обречённым памятникам и вести их мартиролог. Не выдерживала душа, опускались руки. И как-то само собой находилось утешение в исконном способе размыкания тоски...

Вьюжным февральским днём Сергей сидел в полупустой пивной, доканчивая взятый графин водки. Этим утром ему случайно попался на глаза четвёртый номер подлейшего кольцовского «Огонька» с фотографией обломка симоновской колокольни на обложке и восторженными статейками... Сколько привелось читать подобных за последнее время! Так и исходились советские газеты: «Москва не музей старины... Москва не кладбище былой цивилизации, а

колыбель нарастающей новой, пролетарской культуры». «Улица, площадь не музей. Они должны быть всецело нашими. Здесь политически живёт пролетариат. И это место должно быть очищено от... векового мусора — идеологического и художественного». «Гигантские задачи по социалистическому строительству и новому строительству Москвы... требуют чётко выраженной классовой пролетарской архитектуры». «Давно пора поставить вопрос о создании в плановом порядке комплексного архитектурного оформления города, отражающего идеологию пролетариата и являющегося мощным орудием классовой борьбы»...

Идеологом этой кампании являлся секретарь Московского комитета партии Лазарь Каганович, большую же часть пышущих кипящей ненавистью ко всему русскому газетных передовиц писал «отец» Союза воинствующих безбожников Губельман-Ярославский. Одно огорчало этих неутомимых разрушителей — никак нельзя было взорвать половину Москвы, столь ненавистной им. Однако, выход нашли без труда. Его подсказал один из начальников архитектурного мира Гинзбург. В первом номере «Советской архитектуры» за 1930 год он писал: «Мы не должны делать никаких капиталовложений в существующую Москву и терпеливо лишь дожидаться естественного износа старых строений, исполнения амортизационных сроков, после которых разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы».

Москву и всю Россию «дезинфецировали» от прошлого...

Смяв и выбросив номер ненавистного «Огонька», Сергей, движимый безысходной болью, поехал в Москву, где не иначе как в припадке нравственного мазохизма поехал к Симоновскому холму... Среди уродливых заводских коробок, которыми загодя

обложили, как флажками затравленного зверя, монастырь, трагически возвышались три уцелевшие башни. Верный своей подлости Горький просил при сносе Симонова сохранить одну башню... Сохранили три — как вечный памятник варварству.

Вокруг уже всюду кипела работа. Расчищали последние завалы. Могильные плиты бережно сохранили, дабы использовать их под фундамент. Возводить «дворец» на костях предложили Щусеву, но тот отказался категорически. А вот братья Веснины не смутились и взялись за выполнение заказа...

Вдоволь ошпарив незаживающую душу скорбным зрелищем, Сергей в который раз пытался утишить свою боль. За этим занятием и застал его Стёпа Пряшников, как из-под земли возникший перед ним в распахнутом полушубке и с видом явного негодования.

— Слава Богу, жив и пока на свободе! — выдохнул он, усаживаясь напротив и бесцеремонно придвигая к себе графин. Дёрнув стопку, Степан обратил на Сергея вопросительный взгляд: — Ты с ума-то долго ещё сходить будешь или как?

— А ты считаешь, что в разуме нынче быть полезнее? — Сергей потянулся за графином, но Пряшников проворно отодвинул его:

— Разум полезен всегда. И если бы у тебя он был, то ты, как минимум, размыкал бы тоску дома, где твои сетования услышала бы лишь бедная Тая, а не милейшие пролетарии, мирно утоляющие жажду за соседними столами.

— Плевал я на них...

— Давно плевать-то стал? Не ты ли раньше затыкал рот мне?

— Раньше была надежда...

— Ну и дурак, — пожал плечами Пряшников. — С надеждами было вполне покончено с первого дня.

— И как же ты живёшь?



— В смысле?

— Без надежды?

— А я, друг ты мой, просто живу, — ответил Стёпа. — Как любил хорошую компанию, так и люблю, как любил хорошеньких женщин, так и люблю, как любил вкусное застолье, так и люблю! Я вообще люблю жизнь! Такой я человек.

— Счастливый...

— Разумный, — Пряшников поскрёб кудлатую бороду. — Слушай, брат, кончай дурить, ей-Богу. Я на будущей неделе в Коломенское перебираюсь — буду работать с Петром Дмитриевичем. Айда со мной? Там сейчас настоящее дело кипит! Живое! Которое рук и глаз знающих и любящих требует!

— А зачем всё это? — страдальчески спросил Сергей. — Чтобы завтра всё, что мы сделаем, обратили в руины?

— Всё в руины не обратят! — твёрдо сказал Степан.

— Ты думаешь? А я, вот, сужу иначе! — Сергей заговорил шёпотом, перегнувшись через стол к Пряшникову. — Памятники для них — это не просто некие объекты культуры, это — свидетели, обличающие их ложь. Четыре года назад мои дети принесли в дом учебник «Русская история в самом сжатом очерке». Историю в школе тогда перестали преподавать, заменив политграмотой. А в этом «очерке» наш главный «историк» товарищ Покровский извещал подрастающее поколение, что настоящая история нашей страны начинается с семнадцатого года! И поливал грязью Суворова и войну 1812-го. «Умная нация-с поработила бы весьма глупую-с!» Вот они, Смердяковы, во власть пришедшие! Войну 1812 года Россия вела, оказывается, не за свою свободу, а «вследствие торговых и политических интересов эксплуататорских классов»! Так-то! Минин и Пожарский — «представителей боярского торгового союза, заключённого на предмет

удушения крестьянской войны»! Микешинский памятник «Тысячелетие России» — художественно и политически оскорбителен! А Саратовское дело? Профессора Чернова выгнали из университета и арестовали за то лишь, что он на лекциях с симпатией говорил о Дмитрии Донском и победе на Куликовом поле!

— Всё это я знаю не хуже тебя, — поморщился Стёпа. — К чему ты ведёшь?

— Их главный клич какой? «Довольно хранить наследие рабского прошлого!» Но рабы не могут созидать столь великие памятники! Не могут иметь развитых хозяйств, достижений в науке и технике! Поэтому всякий исторический памятник, всякая крепкая крестьянская изба, всякий независимый и сильный человек уже одним своим бытием свидетельствуют о том, что их пропаганда ложь, что за спиной у нас великая история и славные предки! Если возводили такие монастыри — значит, велика была культура и мастеровитость! Если крепко и зажиточно хозяйство мужика — значит, совсем неплохо жилось при «проклятом режиме»! Чтобы ложь выдать за правду нужно уничтожить обличающие её улики! И они уничтожат! Выкорчуют без следа! Нынче всё преступление... Красота, ум, хозяйственность... Не смей выделяться! Каменные коробки, серые роботы, убогие избы — вот, что останется! И пустыри, пустыни...

— Ну и напустил же ты, брат, мрака, — покачал головой Пряшников. — С таким восприятием жизни и впрямь недолго умом подвинуться.

— Опровергни мой взгляд! — раздражённо бросил Сергей. — На их Съезде последнем помнишь что провозглашалось?

— Идиот я, что ли, помнить, что эти черти несли?

— А зря, Стёпа, зря! В качестве главных угроз социалистическому строительству на этом съезде

указывалась опасность национализма, «великодержавный уклон» и «стремление отживающих классов *ранее великорусской* нации вернуть себе утраченные привилегии»!

— Тьфу... — передёрнул плечами Степан и, чуть слышно выругавшись, опрокинул ещё стопку.

— А помнишь, что писал Островский о Москве? — всё более горячился Сергей, едва сдерживаясь, чтобы не заговорить в полный голос.

— Я никогда не обладал твоей памятью...

— А он, между прочим, писал: «В Москве все русское становится понятнее и дороже. Через Москву волнами вливается в Россию великорусская народная сила»! Вот, поэтому они уничтожат Москву! И всё прочее, что способно влить в нас, *прежде великорусский*, прежде народ национальную силу!

— Ну и что дальше? — хмуро спросил Степан. — Ничего не делать и тихо разлагаться заживо?

— А какой смысл делать что-либо? Всё земное на проверку оказывается прахом... Столетиями великие государственные деятели, подвижники строили русское государство, отдавали свои жизни за него. Зачем? Чтобы пришли мерзавцы и обратили их создание в навоз? И так не только у нас! Великий французский гений Ришелье, прокливаемый всё время своего правления, создал их государство, потратив на это всю жизнь. Зачем, спрашивается? Чтобы сперва его наследие промотали Людовики со своими шлюхами, а затем утопили в крови Робеспьеры и Наполеоны? А чернь играла, как мячом, его черепом? И чтобы, в конце концов, имена уничтожителей французской нации почитали больше, нежели его? И ведь у нас, Стёпа, будет то же! Не Столыпина будут чествовать наши потомки, а... Сталина!..

— Довольно, — Пряшников с силой тряхнул Сергея за плечо. — Я не советовал бы тебе стремиться в

гостеприимные номера бывшей гостиницы на Лубянской площади. Хотя бы ради того, чтобы твои дети не вынуждены были пухнуть с голоду в ссылке за полярным кругом. А опускать руки нельзя никогда... Даже когда морок кругом. Посмотри на Барановского. Ему ли не дорого всё ныне разрушаемое? Больше жизни дорого! Но он борется и подчас небезуспешно! И его, Миллера и других таких же одержимых подвигом будет спасено хоть что-то, и им когда-нибудь поклонятся потомки. А, вот, если все будут сидеть и хлопать себя ушами по щекам, то, действительно, и памяти не останется от нас, от самой России!

В это время дверь заведения со скрипом отворилась, и порыв ветра буквально вдунул внутрь хрупкую, одетую в худое пальтишко фигуру Таи. Сергей страдальчески поёжился, поймав полный укора взгляд Степана.

Бледная, дрожащая Тая подошла к столу и, даже не подумав сесть, сразу коснулась обеими руками плеча Сергея:

— Серёжа, поедem домой, — попросила умоляюще. — Я так долго искала тебя, я так замёрзла...

— Зачем ты приехала, Тая? — болезненно поморщился Сергей, чувствуя себя окончательно раздавленным тем, что оказывается причиной её страдания. — Не нужно было!

— Затем, что не могла сидеть и ждать, не зная, где ты и что с тобой... — слабым голосом ответила Тая.

— Помилуй, Тасенька, я же обещал тебе, что отыщу и доставлю его тебе живого и невредимого! — развёл руками Степан. — Совершенно незачем было тебе ехать в Москву в такую вьюгу! Не хватало ещё простудиться...

— Я уже простудилась... — с бледной улыбкой ответила Тая. — Утром у меня была температура тридцать восемь, а сейчас... сейчас я не знаю... — она покачнулась, и мгновенно вскочивший на ноги

Пряшников проворно усадил её на стул. Склонившись к уху Сергея, он шепнул:

— Ты, конечно, можешь сколь угодно плевать на наше общее дело, считая его тщетным, но её-то хоть пожалел бы!

Сергей чувствовал, как всё вокруг расплывается перед его глазами. Он зажмурился и стиснул голову руками, простонал отчаянно:

— Уйдите все! Оставьте меня в покое! Пусть я ничтожество, пусть! Так уйдите же... Какое вам всем до меня дело...

Пряшников обратился к Тае:

— Надеюсь, милая Тасенька, что вам достанет сил идти самой, потому что нести на своём хребте двух сумасшедших мне не под силу. Хватит с меня и одного! — с этими словами он легко подхватил Сергея со стула и, взвалив его на плечи, ринулся к двери...

## Глава 3. Мука

Совсем недавно ей казалось, что просто быть рядом с ним — это высшее счастье. Она не знала в то время, каким горьким и мучительным может быть счастье. Теперь приходило постижение...

Последний год Тая жила с чувством нарастающей муки, рождённой созерцанием страданий и метаний любимого человека и собственным неумением помочь ему. Не было такого испытания, на которое не пошла бы она для него, не было для неё заботы главнее, чем создать для него уют, помогать во всём. Но все усилия разбивались о ту чёрную, как грозовая хмарь, тоску, что окутала его своим саваном.

Хуже всего было то, что не могла Тая понять, что же нужно Сергею, и всё более отчаивалась достучаться до него. Старец Серафим, странствующий по России, у которого Тае посчастливилось побывать, когда он останавливался в Посаде, утешал её, что придёт время, когда всё станет на свои места.

— Сами вы свой путь выбрали. Что же плачешь? Терпи. Этой скорбью грех искупляется.

— Да я терплю, я всё для него стерплю, — плакала Тая. — Но ему-то самому как помочь?

— Ты своё терпи, а ему своё терпеть должно. Время придёт — отомкнутся запоры и на его душе. И он, как ты теперь, обратится к кому-нибудь с покаянными слезами, которыми душа убелается и врачуется. И тогда уже не грех свяжет вас, а глубокое духовное родство, и не погибать вы вместе станете, увлекая друг друга в пропасть, а спасаться, друг друга поддерживая. Жди и будь с ним, что бы ни случилось.

Очень хотелось Тае, чтобы и Серёжа услышал утешительное слово старца, но ему так и не достало

духа пойти к праведному страннику. На все просьбы Таи отвечал он лишь страдальческим взглядом или вовсе прятал глаза, уходил от разговора. Совестьливая натура его страдала от сознания неправильности собственной жизни, но природная застенчивость, страх стыда мешали ему перед кем-либо раскрыть потаённые уголки души. Немало времени понадобилось Тае, чтобы понять это и смириться, ожидая предсказанного старцем времени, страшась грядущих неизбежных испытаний...

В таком-то страхе и бросилась она в Москву, несмотря на жар и обещания Степана Антоновича найти Серёжу. До дома Тая добралась едва ли ни в беспамятстве, тогда как Сергей, успевший за время пути прийти в себя, испытывал острую потребность в покаянно-жалобных объяснениях, в горестных рассуждениях о невыносимости существования в условиях мертвящей всё системы. Когда же, наконец, измученный нравственно и физически, он уснул, Тая шатко прошла в гостиную. Здесь Степан Антонович тотчас усадил её в глубокое кресло перед жарко растопленной печью. Покачав головой, он хмуро заключил:

— Одну бабу заездил, теперь вторую запалить хочет...

— Зачем вы так? — слабо возразила Тая, тускло глядя на нависшего над нею длинного Пряшникова. — Он же ваш друг...

— То-то, что друг, иначе бы не так сказал...

— Что мне делать, Степан Антонович? — Тая чувствовала, как по щекам её катятся слёзы. — Я ведь люблю его, я всё для него, я...

— Одной-то любовью не проживёшь, моя милая юница. Тем более, когда ты не семнадцатилетний мальчишка, не ведающий жизни. Жизнь не вздох на скамейке.

— Не любите вы меня, Степан Антонович...

— Довольно уж, что я его, дурака, люблю и терплю столько лет, — Пряшников раздражённо бросил в огонь поленце. — И Лиду...

— Считаете, что я виновата? Что я разрушила семью?

— Моя милая юница, вы мелете совершенный вздор. Их семья разрушилась задолго до вас. Вы лишь последовали своему чувству... В ваши годы это естественно, и уж во всяком случае не я буду вашим судьёй. Вы любите его, я знаю... — Степан Антонович помедлил. — Но он должен был оставаться с Лидой. Если не по моральным соображениям, то для собственного блага.

— Почему?..

— Почему? Да потому, Тасенька, что Лидия Аристарховна не задавала бы теперь вопроса, что ей делать. Поймите, есть люди, подобные сильным деревьям. А есть такие, что похожи на вьюны. Их цветы нежны и прекрасны, но стебли слишком слабы. Чтобы жить, им непременно нужно обвиваться вокруг крепкого ствола. Иначе они оказываются вынуждены ползти по земле, чахнуть, и в итоге их забивает сорная трава, либо затаптывают чьи-то равнодушные ноги. Вы, милая юница, слишком тонкая и хрупкая травинка, чтобы выдержать вьюн. Участь такой травинки быть распластанной вместе с ним по земле и затапанной.

— Вы жестоки...

— Я справедлив.

— Моя участь не страшит меня, Степан Антонович. Но его... Если бы вы знали, как страшно мне, когда он уходит! Всякий раз мне кажется, что навсегда... Я боюсь, что его речи услышат, что его арестуют...

— А я сегодня немало обеспокоился, что ваш ненаглядный подведёт под монастырь меня! Хоть впору рот затыкать было...

— Вот видите!



— Вижу. И знаю, что при Лиде подобное было бы невозможно... Ладно, — Пряшников закурил трубку, — не тревожьтесь, милая юница. Пьяный не покойник — всегда проспится. А как проспится, так махнём втроём в Коломенское. Надо будет — силком потяну его. В Коломенском, Тасенька, благодать! Луга, холмы... Полной грудью дышится! Поселимся в комнатёнке у добрых людей, будем работать целыми днями. Работы там — непочатый край! А я давно заметил, что душевные недуги лучше всего лечатся трудом. Тем более, когда труд этот благородный и творческий, когда вокруг прекрасная природа и такие же люди. Самая что ни на есть живоносная атмосфера.

— Какой вы чудесный человек, Степан Антонович... Правду о вас Лидия Аристарховна говорила.

Пряшников грустно усмехнулся, поскрёб седеющую бороду:

— Странные вы существа, женщины. Чудесен у вас я, а любите вы обе его...

— А я давно поняла, что вы Лидию Аристарховну любите...

Тая не успела договорить, так как во входную дверь требовательно постучали.

— Сидите, — Степан Антонович предостерегающе поднял ладонь, — я открою сам.

Ночной стук в дверь казался в те годы куда страшнее, чем раскат грома в первобытные времена. Тая съежилась в кресле, напряжённо вслушиваясь в доносящиеся звуки, и облегчённо перевела дух, узнав в согбенной, закутанной в дорогое пальто фигуре ночного гостя мужа серёжиной сестры, Александра Порфирьевича. Этого в высшей степени неприятного человека Тая не любила, но, поднявшись ему навстречу, изобразила приветливость:

— Александр Порфирьевич? Что вас привело в такой час?

— Где Сергей Игнатьевич? — быстро спросил Замётов, шаря по сторонам колючими глазами.

— Спит...

— Разбудите его.

— Я не могу... Вы понимаете, он нездоров, и в его состоянии...

— Мне глубоко наплевать на его состояние, — грубо ответил Александр Порфирьевич, нервно притопнув ногой. — Я приехал сказать, что завтра здесь будет его отец с семейством. Потрудитесь принять их.

Тая непонимающе покосилась на Пряшникова.

— Может быть, вы объясните нам, что происходит? — спросил тот Замётова.

— Не имею времени, — отозвался тот, стряхивая с плеч таящий снег. — Тем более, что Сергей Игнатьевич не желает знать о бедах собственной семьи. Желаю здравствовать ему и вам!

Александр Порфирьевич ушёл, оставив Тая в полной растерянности.

— Что всё это может значить? — слабо спросила она Степана Антоновича.

Пряшников вновь задумчиво поскрёб бороду и, выпустив клуб дыма, тихо сказал:

— Кажется, я знаю... Ваш дорогой и ненаглядный, видимо, снова оказался пророком. Мир — баракам и хижинам, война — дворцам и добрым избам: вот, что это значит! Прогресс по-советски шагает по стране, вытаптывая всё живое...

## Глава 4. Игнат

Поиграла, как кошка с мышом, «народная власть» с мужиком. Сперва придавила и впилась когтями, затем отпустила вдруг, так что почти поверилось в счастливое спасение, а вслед прижала вновь, смертно уже... Что ж, низко кланяемся вам, товарищи-заботники, цельных пять лет позволили вспомнить, как жить по-человечьи!

Как ни напакостил Ильич, а сообразил же, когда раззор в стране все масштабы превзошёл, что нельзя без хозяев, без самостоятельных, деятельных людей, без инициативы частной. Развязал руки, благословил учиться торговать и обогащаться. Мужику русскому учиться нечему было — дай только волю да не мешайся под ногами! Снова расцвела деревня, как перед войной: заколосились прежде заброшенные поля, выросли новые дома да амбары, завертелись весело мельницы... Снова возродилась загубленная комбедами кустарная промышленность. Да и сам народ принарядился, ободрился.

Оживился и Игнат, как нашёл НЭП. Хотя и сторожко всякий шаг делал, ища подвох во властных щедротах. Блазило поперву из деревни перебраться в создаваемый вблизи посёлок. Те посёлки нарастали повсеместно на бывших помещичьих и хуторских землях. Наделы давались большие, формально — для общего пользования с ежегодным переделом полос по числу душ в семьях. Однако, соблюдая форму, мужики негласно распоряжались поселковой землёй по-своему: делили её однажды и навсегда, оставляя небольшую часть про запас, если потребуется кому надбавка, и трудились на своих наделах самостоятельно, друг от друга не завися. Благодаря гектарной площади усадеб, можно было развить на них самые богатые хозяйства,

расстояния же между домами обеспечивало безопасность от больших пожаров.

Будь Игнату поменее лет, либо будь при нём взрослые крепыши-сыновья, то и ушёл бы в посёлок от деревенской толчеи подальше. А так — куда податься старому? К тому же не верилось в прочность властной милости... Это недоверие заставляло придерживать хозяйские стремления. Стара была изба, и куда как недурно было бы новую отстроить, но ограничился Игнат лишь тем, что подновил подгнившие брёвна да покрыл крышу железом, да пристроечку полегоньку соорудил. Также и во всём: обзаводился Игнат лишь необходимым для достаточной жизни, не ища большего, не растрачивая немолодых сил понапрасну. Если прежде больше работал он в поле, то теперь отдавал предпочтение труду ремесленному, дававшему в руки твёрдую трудовую копейку. Заработки свои Игнат тратил с большой аккуратностью, откладывая сбережения на чёрный день. В том, что такой день неизбежен, сомнений не было, а на него всего надёжней казалось иметь рубль в укладке, нежели ту или иную полезную вещь, которую в случае беды с собой не унести. Память об однажды утраченном доме и хозяйстве заставляла дуть на воду.

Казалось бы, отчего не уняться было товарищам-заботникам? НЭП полностью излечил деревню и всю страну от мертвящего малокровья. Но догма или иная сатанинская сила требовала от своих последышей наперекор всякому здравому смыслу строить социализм на селе.

Ещё Ильич начал насаждать в деревнях совхозы. Им надлежало показать мужикам пример социалистического земледелия, под влиянием которого они сами бы объединили свои частные хозяйства в единое коллективное. Только, вот, незадача вышла с примером. Поедешь в посёлки — там любо-дорого глазу

на изобилие смотреть: и пашни, и сады, и пасеки. Сунешься в совхоз: разруха, голод и нищевродь ледащая, с руками для работы неверно заточенными. И пёс бы с ними, с лодырями, но тоска брала смотреть, как страдает голодная животина...

А ведь как иначе быть могло? Лодырю сколько инвентаря, земли и скотины ни дай, он всё одно работать не станет. Переломает да испаскудит всё, а затем ещё и виноватого сыщет — работающего соседа. А к тому ещё поставили директорами совхозов партийцев — сплошь из отходников, рабочих и интеллигентов. Дурни те труда крестьянского и не нюхали и о том лишь пеклись, как угодить вышестоящему начальству и сытно устроиться самим.

В совхозе «Красная заря», куда пару раз заезжал любопытствующий Игнат, присланный из города директор умудрился пристроить в свою канцелярию добрую дюжину кумовьёв да приятелей, которые получали зарплаты, не ударяя палец о палец. Распределение совхозных продуктов также выливалось в расхищение их: директор и всевозможные секретари и председатели брали их для своих домочадцев, а кроме того для ненасытной орды в виде начальства. Воз за возом отправлялись в волость и саму губернию мясо и молоко, фрукты и овощи.

Сам директор, ещё нестарый мужик из рабочих, был не зол нравом и не дурак выпить. Будучи в подпитье откровенничал, не таясь:

— Ежели мой совхоз будет задарма кормить уездное начальство продуктами, то за убыточность меня малость потреплют по холке на заседаниях для проформы и шабаш. Но ежели я не буду снабжать начальников, то берегись! Будь совхоз самым прекрасным и прибыльным государственным предприятием, мне в нём не удержаться. К ядрёной матери вышибут! А то ещё политическое обвинение

«пришьют» — «вредительство», «уклон» — и загонят в тартарары...

Воровство и разгильдяйство привело к повсеместному провалу совхозов, о чём свидетельствовала даже советская печать. Они не только не давали государству никакой прибыли, но ещё и получали от него дотации для покрытия своих расходов.

Но и этот печальный опыт не остудил заботников. Снова призвало государство ораву нищобродов и стало объединять их в товарищества по совместной обработке земли, сокращенно ТОЗы. Безлошадные крестьяне объединялись в кооператив, для которого власть выделяла инвентарь и несколько лошадей для совместной обработки земли. В сущности, не самая скверная идея была, да, вот, только даже в нищобродах проснулся дух «единоличника». Каждая семья стала обрабатывать свою землю сама. Лошадей использовали в очередь по одному дню, и кормить её должен был тот, кто пахал на ней в тот или иной день. В итоге не работа шла в ТОЗе, а вечная склока: очередь в использовании лошадей; непогожие дни, когда лошади совсем или частично не использовались; кормежка лошадей в нерабочее время; порча и ремонт инвентаря и упряжи... Всего жальче было самих лошадей. Никогда не имевшие их нищоброды не знали, как ходить за ними, и в итоге животные хирели.

Посмеивались презрительно мужики над неладами ТОЗовцев, а те злобились, притаивали обиду до времени.

В те годы власти заигрывали с мужиком, допуская прямое участие крестьян в общественно-политических делах. Мужики выступали на собраниях и съездах, вносили свои предложения и пожелания, проявляли особенную активность при выборах советов, хорошо понимая огромное значение местных органов власти.

Эти выборы стали для властей горькой пилюлей. На них они выдвигали свой партийный список и старались навязать его собранию. Беспартийные одиночки предлагали дополнительных кандидатов. Во время голосования в тех случаях, когда беспартийных было большинство, самых неприятных партийных кандидатов собрания нередко «проваливали», а беспартийных, уважаемых, деловых людей, выбирали. Бывали случаи, что «проваливали» весь список большевистской фракции и выбирали исключительно беспартийных.

При обсуждении отчетов советских, профсоюзных, кооперативных органов мужики никогда не давали спуску докладчикам, критикуя многие недостатки и задавая очень неприятные вопросы. Находились и такие, что сами выступали с умными и дельными речами, сводившими в нуль весь безграмотный треск партийцев.

Дошло до того, что на съездах советов и в Центральном Исполнительном Комитете Советов мужики стали организовывать «фракции беспартийных», а деревенская молодежь стала самочинно создавать организации самостоятельного, независимого от опеки комсомола, Союза Крестьянской Молодежи.

Всё это вскоре вывело власть из терпения, и всякие внепартийные организации были распущены и запрещены. Для выборов была принята новая система: выборы во всех организациях стали проводить не в индивидуальном порядке, а только по спискам. На каждом съезде, в каждой организации выдвигался от имени фракции и партийного комитета список и предлагалось: «проявить доверие к партии и голосовать единодушно». Несогласные могли предложить на голосование другой список, за подписью не менее десяти делегатов этого съезда. Но на собрании составить таковой было некогда, а при составлении его

заранее, можно было схлопотать обвинение в проведении воспрещенных «совещаний беспартийных», а как следствие — в организации антисоветской партии и «контрреволюционного заговора» против советской власти. Вскоре в отношении не в меру критичных участников совещаний прошла волна репрессий. После этого стало ясно, что во избежание беды лучше держать язык за зубами... Такая роль, однако, могла удовлетворить безруких нищобродов и лодырей, но никак не опытных, крепких хозяев. Так и загасли собрания. Перестали ходить на них мужики, не желая быть мебелью, безмолвно слушающей глупую трескотню.

Среди наиболее активных ораторов на приказавших долго жить совещаниях был мельник Андриан Ключев. «Ума палата, а язык, что твоя бритва», — уважительно говорили о нём мужики. И учёному человеку дал бы фору Андриан, а уж о партийных неучах — что говорить? Как семечки щёлкал он пустозвонов этих: они — речь пламенную в три дюжины словес, а он в ответ — два словечка всего, но таких, что все речи перекрывали, уничтожая ораторов. Раз говорили на собрании о совхозах, и зашла речь о неутешительном положении совхоза соседнего. Партийцы защищали провалившего опыт директора, хотя и бранили его за допущенные ошибки, мужики, распалившись, заспорили. А Андриан рассудил, усмехаясь краешком губ и приятно окая:

— От, распекают тут товарища Кутилина. От, Михей Иванович даже дураком его наградил. А я хочу за Кутилина заступиться... — повисала пауза, словно задумался оратор. — Он из города каков приехал? В латаных портках да тужурке с чужого плеча. А теперь пальто у него кожаное да сапог не одна пара. А у бабы его тряпья, что у твоей курицы перьев. А ещё ж кругом него братья сватьев да сватья братьев, и все тоже не голодующие, и все на жаловании. Никто никогда не



видал их за работой, но при этом все они сыты, обуты и одеты. Ведь это же чудо, как удалось товарищу Кутилину, едва став начальником, так благоустроить столько душ разом! Какой же он дурак после этого? Наоборот, это очень умный человек! Ну, а что совхоз при этом изнищал вконец, так чем же виноват Кутилин? Есть ведь другие очень умные люди, что Кутилиных командировать ставят, чтобы они социализм строили. Так, вот, медаль Кутилину дать надо. Он этот самый социализм построил! Пока, правда, лишь для себя и дюжины людей, но, может, он и остальных к тому подтянет? Пущай государство подмогнёт!

Засмеялись мужики одобрительно, а партийцы нахмурились. Боялись они Андрианова языка! На собраниях сидел он неприметно, не выделяясь ничем, пока говорили другие — ладонью голову подопрёт и точно дремлет. Но вдруг приоткрывает глаз, усмехнётся да отвесит что-нибудь — спокойно, не повышая голос, а припечатывая словом. А уж если свою речь говорить начинал, то любо-дорого послушать! И ведь говорил-то, не шумя, не жестикулируя, а неспешно, попросту, будто бы даже шутейно и не всерьёз, будто бы сам удивляясь и недоумевая, а под видимостью этой самые серьёзные и важные вещи выговаривались. Не обличал Андриан впрямую, но так язвил и выворачивал всю глупость сверху насаждаемую, что немало потов сходило с тех, кому приводилось с ним схлестнуться.

Не раз замечали Андриану, что за столь смелые речи горько поплатиться можно. Но долговязый мельник лишь посмеивался в ответ, вскидывая острый, чисто выбритый подбородок:

— Волков бояться — в лес не ходить.

Причина такой смелости коренилась отчасти в том, что жил он один, как перст, схоронив и жену, и сына. Правда, был у Андриана брат Филипп, немногословный, лишённый какой-либо желчи, невысокий, коренастый

мужик, избегавший всяких собраний и всецело поглощённый хозяйственными и семейными хлопотами. Семья Филиппа насчитывала дюжину душ: старики-родители, жена и девять детей. В самом начале НЭПа он перебрался в посёлок и зажил там свободным хуторянином.

Вместе со старшими сыновьями Филипп отстроил большой дом в пять комнат, разбил фруктовый сад, в котором насадил редкие виды яблонь и груш, а также вишни со сливами. На другом конце усадьбы устроил он пасеку, о которой мечтал с давних пор. Не враз устроилось Филиппово хозяйство, понадобилось несколько лет, чтобы обжиться на новом месте. Зато как обжился! И радовался Игнат плодам труда человеческого, но и не позавидовать не мог. Мечталось и ему зажить также: в новом, крепком доме, утопающем в садовых кущах, своим хозяйством...

Нежданно судьба преподнесла подарок: полюбилась Филиппову сыну Борису Любаша. Ей о ту пору семнадцатый годок шёл — не девица, а яблочко наливное. Не чаял Игнат души в своей любимице, и не хотелось так рано отпускать её в чужую семью, но в семью Филиппа — дело особого рода. К тому и ей справный и хозяйственный Борис по душе пришёлся. Посовещались семейным кругом да на другой год свадьбу сыграли.

А ещё через год родился внук, Игошка. Крестили его Успенским постом, а на Спас отпраздновали в Филипповом доме. Дом этот Филипп до сих пор продолжал любовно украшать, находя в этом особое удовольствие. Глядя на ажурную резьбу наличников и изящное крылечко, на белые занавесочки с геранями на подоконниках, на разбитые под окнами цветники, Игнат невольно вспоминал барский терем в Глинском. Конечно, Филиппову дому далеко до него, но что-то схожее определённо просматривалось.

Сидя на крыльце и прихлёбывая холодный квас, Филипп счастливо вздыхал:

— Сбылась мечта, Матвеич! Верись, всю жизнь мечтал сам собою жить. Чтобы своя земля, свой дом, просторный, в котором всем бы место нашлось, чтобы сад, пасека... Сад мне даже ночами грезился! Помещик наш, Царствие небесное, яблони с грушами культивировал. Каких только сортов в его саду не было! Слаще мёда... Наши дурни после чуть этот сад не загубили совсем. А я росточки тех деревьев у себя насадил. Пройдёт лет десять — будут их плодами ребятишки мои лакомиться.

Сад слегка зашелестел, тронутый ветром, и несколько яблок со стуком упали на землю. Филипп продолжал, щурясь на клонящееся к западу солнце:

— Даже не верится, что сбылось всё... Что это — мой дом, что всё это — моё... Теперь уже окончательно. Последние долги, что на дом брал, я раздал. Последние узоры вырезал. Теперь только жить остаётся! Ох и заживём теперь! У Андриана мельница, у меня — всё это... Сыновья, вон, мужают один за другим, подопрели в помощь мне. Заживём!

Игнат не отвечал, грызя крупное, сочное яблоко. Ему, как водится, не верилось в безоблачное будущее, о котором грезил подвыпивший сват, но не хотелось огорчать Филиппа своими подозрениями, портить этот безмятежный и ясный праздничный день...

Ещё с весны власти активизировали в деревнях агитацию за колхоз. И чем напористей становилась она, тем беспокойнее делалось на сердце у Игната. На собраниях мужики все инициативы по социализации деревни прокатывали с редким единодушием. Даже из бедняков не все поддерживали их, а уж все, кто мало-мальски был способен к труду и не гол, как сокол, и вовсе тянули в противоположную сторону. Не говоря о посёлках, даже в деревне наладили крестьяне жизнь

так, что каждое хозяйство стояло почти наособицу. Свободы и самостоятельности желали мужики, а не мертвящих колхозов, опыт внедрения которых в разных формах полностью провалился.

Но чуял Игнат: не смирятся большевики с поражением, додавят своё. Ильич давно лежал в гробу, а от преемников его чего ждать? Никогда не думалось, что придётся об Ильиче жалеть... Уж на что ненавистен он был Игнату, уж на что проклинаяем, а теперь предчувствовал: настанет времечко — и его, сатрапа, придёт добрым словом вспомнить.

В ноябре неждан-негадан примчался из Москвы зять. Допреж ни разу не заносила нелёгкая, а тут в ночь-полночь заявился, один, без Аглашки. С добрыми вестями этак не прискакивают — сразу насторожился Игнат. Услав Катерину спать, сел с гостем разговор разговаривать.

Александр Порфирьевич собирался уезжать ещё затемно, а потому торопился, говорил, не рассусоливая:

— В общем, так. На днях прошёл пленум ЦК. На нём решили взять курс на полную социализацию деревни. Принято постановление о сплошной коллективизации.

— Да что они, твои сукины дети, совсем осатанели там? — прошипел Игнат. — Хотят опять голодный мор по всей стране учинить?

— Это ты не у меня спрашивай, — сухо ответил Замётов. — А лучше подумай, как под раздачу не попасть. Сейчас в Москве Наркомзем создаётся. Заправлять им Яшка Яковлев будет. Этот миндальничать не станет. Надо будет — всех за полярный круг загонит, но социализацию проведёт. Они этот проект ещё с Троцким разрабатывали, но до времени под сукно положили.

— Так вроде Троцкого-то нынче самым лютым ворогом объявили? Хужей белогвардейцев?

— И что ж с того? Троцкий — враг, а дело его живёт и побеждает. Потому как дело у них, Матвеич, одно.

— А у тебя теперь, как я погляжу, другое? — усмехнулся Игнат.

— А мои дела тебя не касаются. Я тебя предупредил по-родственному, а уж ты думай своей седой головой, как выкручиваться. Сколько лошадей у тебя?

— Кобыла с жеребёнком...

— Сдай колхозу. Жеребёнка — как минимум.

— Чтоб они его изувечили и голодом заморили? — вспыхнул Игнат.

— Чтобы с тобой и твоей фамилией того же не сделали! Я не шутки с тобой шучу, Матвеич. Или, может, ты думаешь, я сюда в ночь к тебе приехал, собственное темечко подставляя, чтоб понапрасну напугать? Я не по докладам пленумов знаю, что грядёт, а изнутри! Поэтому послушай совета и думай о своей и детей своих шкуре, а не о лошадиной или овечьей...

Тяжко было совету такому следовать. И хотя понимал Игнат, что зять прав, а не сразу решился.

Вскоре в деревню приехала комиссия для проведения коллективизации: несколько дюжих рабочих из тех двадцати пяти тысяч, которых на пленуме решили послать для усиления колхозов, и наркомземовский уполномоченный Фрумкин. На очередном собрании, на котором предписано было быть всем, последний снова призвал мужиков вступать в колхоз, суля молочные реки с кисельными берегами. Едва закончил он свой визгливый монолог, как поднялся, чуть покачиваясь взад-вперёд, Андриан:

— Просим покорно простить темноту нашу. Вот вы, товарищ уполномоченный, призвали нас обобществить всё наше имущество. Я человек не жадный и свою корову зараз подарю хоть вот этому молодцу, — кивнул он на одного из рабочих. — Да ведь он не знает, с какого боку у ней вымя. Кончится тем, что или он мою

кормилицу до падучей доведёт или уж она на рога его подымет! И в том, и в другом случае — убыток, не знаю, правда, в каком больший.

— Но-но! — подал голос двадцатипяти тысячник.

— А ты, сынок, не нокай, не оседлал покамест и не оседлаешь.

— Товарищ Степанов не будет заниматься дойкой коров, — ответ Фрумкин.

— Сняли с души камень, товарищ уполномоченной. А позвольте осведомиться, чем он будет заниматься? Прошлым летом, вон, приезжал к нам один такой. Нашей Марфутки муженёк-морячок. Ерой! По морям-окиянам ходит! Да от только четыре косы, с которыми у нас любая баба сладит, изломал в один день! Оно дело статнее: сила-то есть... Но только опять ведь убыток выходит!

— Товарищ Степанов косить не будет.

— А что ж он будет делать всё-таки? Мошной груши околачивать? — округлил глаза Андриан. — Дак на то у нас своих охотников вдосталь! Вона, целый ТОЗ околачивателей!

— Смотри, Андриан! Договоришься! — зло крикнул председатель преобразуемого в колхоз ТОЗа Демьян Щапов. — На Советскую власть брехать будешь!

— Помилуйте, а я не знал, что ты да Поликушка сотоварищи власть! Вот, товарищ Фрумкин — я вижу, что власть. С одного взгляда вижу — и печати не надо. А в тебе, виноват, не признал! — склонил Андриан худую спину, отвешивая поклон. — Прости уж! Столько начальников стало, что всех не узнаешь!

— Только снохачей нам в начальствах не доставало! Срамотища... — ругнулся кто-то.

— За поклёп на власть под суд пойдёшь! — заорал задетый за живое Демьян. О нём вся деревня знала, что успел он пожить с обеими своими снохами, сынок старшей из которых явно не мог быть Щапову внуком,

так как муж слабой до плотских утех бабы в то время служил в Красной армии. Поговаривали, что, чтобы помирить снох и жену, каждой из них он купил на ярмарке по дорогому гостинцу. Демьян в отличие от прочих ТОЗовцев бедняком не был, но наоборот имел приличный достаток. Но из-за своего снохачества оказался среди мужиков изгоем. Ни на каком сходе не давали ему слова, презрительно шпыняя. Ничего не осталось Щапову, как стать первым среди голытьбы, чтобы не быть последним в кругу хозяев...

На другой день пошло вновь прибывшее начальство проводить частные беседы. Заглянули и к Игнату всё тем же составом: чернявый, губошлёпистый Фрумкин, рабочий с пудовыми кулаками да ершистый, нахохлившийся Демьян. Катерина гостей попотчевала на совесть, пожелав им за глаза подавиться её стряпнёй, а Игнат миролюбиво выслушал агитацию, обещав обдумать всё ещё раз самым серьёзным образом.

На другой день он, скрепя сердце, свёл жеребёнка колхозникам. Чувство было такое, словно на скотобойню отвёл резвую, ластящуюся к хозяину животину. Даже слеза прошибла, как поцеловал на прощание в тёплую морду и последний кусочек сахара скормил.

Филипп такого «пожертвования» не понял:

— Где это видано, чтобы своё кровное разным побирушкам раздавать? У меня бы они шиша дождались!

— Так ведь силком возьмут, Мироныч. Или не помнишь, как они начинали?

— Пущай попробуют! Я с ружьём против них выйду!

— Не выйдешь, — отмахнулся Игнат.

— Это отчего ещё?

— Оттого, что детёв у тебя девять душ.

— Да если они против мужиков сызнава пойдут, так не один же я с ружьём окажусь! Мы своё отстоим, не сумлевайся!

— Годку эдак в восемнадцатом и я так думал. И с ружьишком мне по лесам привелось побродить. Только теперь не восемнадцатый, Мироныч. Тогда они ещё нетвёрдо на ногах стояли, а на юге да в Сибири их благородия им холку мылили. А теперь что?

— Да зачем им палку пригибать? Зачем до бунтов и кровопролития доводить? Захотели бы — дожали тогда!

— Тогда не сдюжили. А к тому дали баранам обритым снова шерстью обрасти, чтобы теперь её уже со шкурой вместе снять... Дважды-то остричь — выгоднее! Так что смотри, Мироныч, кабы тебе с твоим острословом-братом на рожон не напороться.

— Чтобы ни было, а добром они от меня ничего не получают! — сказал Филипп, зло блеснув глазами. — Я не для того на мечту свою всю жизнь горбатился, чтобы им её в раззор отдать!

Шли самые чёрные дни в году. В канун Нового года власти окончательно закрыли церковь, запретив проводить в ней службы. Однако, одинокий старик-священник тихоновского толка на Рождество открыл храм и начал службу для тех немногих, в основном, баб, кто осмелился прийти. Окончить её не дали: ворвавшиеся чекисты и красноармейцы выгнали прихожанок вон, избив нескольких из них, и увезли в тюрьму батюшку, старого пономаря и ещё троих прихожан.

А несколько дней спустя, цедя поутру чай с блюдца, Игнат увидел в окно невообразимое: по дороге едва шёл его загнанный жеребец, гружёный какой-то поклажей, поверх которой восседал пропойца Ивашка Агеев, изо всех сил понукавший бедную животину. Этого зрелища уже не могла душа выдержать! Опрометью, не надев ни полушубка, ни валенок,



выскочил Игнат на улицу, стащил, матерно ругая, Ивашку с лошади и, опрокинув в снег, расквасил ему опитущую физиономию. После этого он проворно освободил жеребца от поклажи, бросил пытающемуся снегом остановить хлещущую из носа кровь Агееву:

— На себе тащи, паразит! А коня не замай!

Ивашка поднялся и хотел было броситься на Игната, но его перехватил за пояс выбежавший из дому сын Матвейка. Агеев вывернулся, погрозил кулаком:

— Ужо я вам устрою, кулаки проклятые!

Дома завыла-запричитала Катя:

— И куда ж ты, старый, полез? Загубить всех нас решил? Детей бы, детей пожалел, дурачина ты!

— Не мог я видеть, как он моего коня увечит... — хмуро отвечал Игнат, понимая в душе, что жена права.

— А теперь он заявит на тебя! А им только этого и надо!

Игнат только глубоко вздохнул, а Катя засуетилась:

— Сейчас пойду к нему, паразиту, сальца снесу, настоечки своей, ещё чего...

— Не хватало ещё, чтобы ты перед разными Ивашками унижалась!

— А лучше мне вдовой с малолетними сиротами остаться? Молчи уже!

Что уж сказала Катя Ивашке и сколько продуктов снесла для его задабривания, Игнат не спрашивал. Но заявления Агеев подавать не стал, хотя не приходилось сомневаться — в свой час всё припомнит...

В конце января пришло из Москвы письмо от зятя, в котором тот в иносказательных выражениях настоятельно советовал немедленно уезжать из деревни во избежание беды. Игнат уже успел заметить, что Александр Порфирьевич не бросает слова на ветер. И если уж решился подобное письмо прислать, стало быть, дело серьёзное.

Вечером Игнат собрал домочадцев, включая Любашу с мужем, и объявил им о своём решении на время поехать погостить к старшему сыну:

— Месяц-другой поживём, а там уже и ясно станет, куда дальше: возвращаться или новое место искать.

Катерина, хотя и не без слёз, с необходимостью уехать согласилась. Матвей, единственная игнатова опора — также. А, вот, зять отказался наотрез, затвердил, как Филипп:

— Никуда мы из родного дома не поедем. Хозяйство опять же — как бросить? Да и отец не одобрит.

Игнат, стараясь заглушить охватившую его тоску, посмотрел на Любашу. Расцвела девка! Бела да румяна, коса в руку толщиной... По рождению дитяти лишь ещё налилась красотой. Катя в молодые годы хороша была, а Любаша краше! Страшно было оставлять её, а куда денешься? Жену от мужа не оторвёшь... А она утешала:

— Ты не бойся за нас. Ничего с нами не случится! Себя береги и маму! — и обнимала ласково, целовала в морщинистые щёки. И от этих утешений-уверений ещё тяжелее делалось...

Одному рад был Игнат, что все эти тучные годы не вещами обрастал, а берёг копейку — теперь сбережения эти куда как кстати оказались.

Уезжать решили в ночь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Дом и всё имущество, какое нельзя было забрать с собой, оставили Наталье Терентьевне, наказав всё, что не понадобится ей самой, отдать треклятому колхозу от греха.

Горько было бедной учительнице оставаться одной. Уже отлетели молодые её годы, а так и не нашла она себе друга по сердцу. И чувствовалось, что не найдёт. Школьную работу Наталья Терентьевна не раз хотела оставить — не поворачивался язык лгать детям. Сетовала бедняжка:

— Учитель должен воспитывать души. Ему ведь верят... Как же я могу детям, мне верящим, лгать, твердя догмы, которые меня обязывают твердить? Одни примут это, как правду, и станут жить, согласно ей. То есть во лжи... И я виновата в этом буду! Другие наоборот не поверят и станут презирать меня за то, что я им лгу. И как же мне им в глаза смотреть?

Наталья Терентьевна любила поэзию. Немало замечательного привелось услышать Игнату на склоне лет из её уст. Именно это, прекрасное, хотела она открывать детям. А ей не давали! Вычеркнули из курса школьной литературы всех поголовно писателей русских, не пощадив и Пушкина. А на их место поставили своих — Демьяшку Бедного и прочих вчерашних пролетариев, которых теперь стали специально учить на писателей и поэтов, словно бы Божиему дару можно было научить. Горько страдала Наталья Терентьевна, вынужденная на уроках знакомить детей с «творчеством» таких новоявленные «мастеров пера», как Лебединский и прочие. Лишь в организованном на добровольных началах кружке находила она отдохновение, освобождаясь от «обязаловки» и, наконец, вводя своих подопечных в мир настоящей русской литературы. Эта инициативность, впрочем, не находила поддержки начальства, и Наталья Терентьевна постоянно боялась, что кружок закроют.

В ночь накануне отъезда Игнат растолкал Матвейку. Оставалось последнее дело, которое, несмотря на опасность, нужно было исполнить. Перед памятной рождественской службой, на которую Игнат, несмотря на тесную дружбу с отцом Алексием, не рискнул пойти, он был у батюшки и обещал в случае его ареста вынести из церкви священные сосуды, не оставив их на осквернение.

В полной темноте, не рассеиваемой даже скрывшимся за тучами месяцем, Игнат с сыном

пробрался к церкви и, осторожно отомкнув её, проник внутрь, оставив Матвейку снаружи. Затеплив взятую с собой свечу, он быстро отыскал всё, о чём говорил ему отец Алексей, и, в последний раз перекрестившись на образ Нерукотворного Спаса, поспешил в обратный путь.

Скрывать спасённое в доме или амбаре было категорически нельзя, чтобы не подвести в случае обыска Наталью Терентьевну. Поэтому ещё раньше Игнат вырыл на заднем дворе, под раскидистой черёмухой небольшую из-за неподатливости промёрзшей земли яму, в которой и спрятал деревянный ящик со священными предметами. На всякий случай показал место учительнице:

— Если не свидимся больше, дочка, то гляди сама. Если появится настоящий священник, каким отец Алексей был, отдай всё это ему. А нет, так накажи кому помнить место...

Утром Игнат съездил в райцентр и оттуда отправил телеграмму дочери, чтобы ждала в гости. А ночью, едва погасли в деревне последние огни, тронулись в путь, провожаемые лишь заплаканной Натальей Терентьевной и скулящим Архипкой. Второй раз на старости лет приходилось бросать всё нажитое и начинать жизнь заново. Но больше этого тяготила сердце судьба покидаемой Любушки. Не защитит её Филипп, если нагрянет беда. И он, и сын его, что дубы. В ровную погоду нет деревьев более могучих, чем они. А налетит ураган и вырвет их с корнем... Именно такой ураган шёл на деревню, чтобы уничтожить самые могучие деревья и погнуть, изломать, искалечить все прочие. И от этого сознания больно и страшно становилось Игнату, как ещё не бывало прежде.

## Глава 5. В медвежьем углу

Февраль юрил вовсю, так швырял хлопьями колючего снега, так кружил и заворачивал, что становилось тревожно: ну как заплутает измученная каурка в беспутье? Пропадай тогда?.. Хотя и то добро, что с лошадьёю свезло, не то бы топать на своих двоих в этакой крути, или на лыжах... На счастье железная дорога рядом, ей следуя, удлинялся путь, зато риск заплутать снижался немало.

Как ни привык Надёжин к сельской местности, а то и дело вздыхалось о тихой жизни в Перми, оставленной несколькими месяцами назад. В Двадцать девятом покатались окрест аресты «викториан». Среди первых взяли матушку Феофанию, провозглашённую основательницей «викторианства» в Сивинском районе, и игуменью Усть-Клюкинского монастыря Митрофанию, поддерживавших связь с сосланным на Соловки владыкой Виктором. У близкого к ним отца Филиппа Сычёва при обыске нашли антисоветские стихи:

Все попы наши сдурели,  
Стали Бога забывать.  
На молитвах захотели  
Коммунистов поминать.

...

Батьки с нежностью припали  
Под советскую звезду,  
Но их власти осмеяли,  
Не приняли в ГПУ.  
Попы правду потеряли  
На свой вечный стыд и срам,  
Церковь Божию предали

## На посмешище бесам...

Следом по делу «контр-революционной организации церковников «ИПЦ»» прошла череда арестов «викторианского» духовенства. Чистка была столь тщательной, что лишь несколько священников ещё оставались на свободе и поддерживали связь друг с другом через наиболее ревностных и отважных мирян. Большинство арестованных были пастырями сельскими, и нередко одним из пунктов обвинений против них была агитация против колхозов. Обвинение это, по существу, было справедливым. В колхозе батюшки и верные миряне видели очередную сатанинскую уловку для порабощения человеческого духа, для выхолащивания его, для обращения живого человека, наделённого умом и совестью, в бездушный винтик адской машины.

Не миновал чёрный вал и Слудской церкви. Отец Леонид был арестован, а сама церковь закрыта. Алексей Васильевич, бывший одним из ближайших к батюшке людей, ежечасно ожидал ареста. До недавнего времени административно ссыльный, он был как нельзя более подходящей кандидатурой на получение очередного, уже серьёзного срока.

Однако покрыл на сей раз неведомый Ангел-Хранитель, и тяжёлые ворота, однажды выпустившие Надёжина в мир, не проглотили его обратно. Тем не менее, Алексей Васильевич решил, что дальнейшее пребывание в Перми может быть опасно. Нужно было искать новое пристанище...

Окончание срока ссылки давало право вернуться в Москву, но Надёжин понимал, что там он недолго останется на свободе. Необходимо было затеряться в глуши, подальше от центра, от бдительного ока.

Ещё путешествуя по Пермскому краю для встреч с разрозненными «викторианами», Алексей Васильевич

остановил своё внимание на совхозе «Светлый путь». Образовавшийся ещё в начале двадцатых, он нешатко-невалко существовал все эти годы, не радуясь изобилию, но и не нищая вконец, как многие другие, что свидетельствовало о добросовестности его начальства. Пантелей Гаврилович Сорокин, председатель совхоза, был мужик вдовый, серьёзный, знающий крестьянское дело. В партии он состоял с семнадцатого года, но партбилет не заменил ему совести, а романтическая вера в идеалы коммунизма не лишили его хозяйского толка. Был Пантелей странным типом смешанного человека: ещё глубоко русского, но в то же время — идейного коммуниста, настоящего, а не приспособленца.

В его-то вотчину и направил свои стопы Надёжин. Сорокину нужен был фельдшер для медпункта, и он с радостью принял на эту должность Марочку. Алексею Васильевичу с его судимостью и открытым исповеданием веры о педагогической деятельности, конечно, можно было не вспоминать. Да и не хотелось, учитывая кошмарное содержание школьного курса — волосы дыбом становились, когда узнавал, чему обучали его собственных детей... Должность при совхозе Надёжину всё же нашлась. Аккурат в ту пору замёрз по пьяному делу местный почтальон, развозивший газеты и письма на многие-многие вёрсты вокруг.

Так и зажили в «Светлом пути» в выделенной маленькой избёнке: дети учились, Марочка, сперва принятая людьми насторожённо, но вскоре расположившая их к себе своим неиссякаемым участием и умелостью, врачевала тела и души, а Алексей Васильевич целыми днями ходил и ездил по окрестным весям. Молиться можно теперь было лишь дома, таясь. Только на крещенской неделе Марочка, отговорившись срочным делом в Перми, съездила в

вятское село Люмпанур к отцу Василию Попову, одному из последних «викторианских» пастырей, остававшихся на свободе.

Угнетала Алексея Васильевича тревога о судьбе детей. Какое будущее у них? Дети лишенца, не состоящие в пионерах, верующие (сколько раз из-за обид, чинимых ей за это, плакала Маруся!)... Маруся уже в возраст вошла, семь классов дозволенных окончила, а куда дальше, спрашивается? По слёзным просьбам её и скрепя сердце, отпустил в Москву. Там Аглая обещала похлопотать, не дать девочке пропасть. Маруся мечтала стать врачом, и Аглая представила её своему соседу доктору Григорьеву. Тот для начала определил её заниматься обработкой медицинских карт и составлением на их основе статистических таблиц, что дало небольшой, но твёрдый оклад. В перспективе доктор обещал устроить девочку сперва на курсы, а там, если удастся, и в институт.

Оставался ещё Саня, самый младший, самый болезненный и самый любимый. В отличие от Маруси он мечтал заниматься наукой, путешествовать. Более всего влекла его геология, и по этой стезе он надеялся пойти. Ближе к лету Саня решил вслед за сестрой ехать в Москву — искать себе применение. Но Надёжин знал точно: не только в поисках своего пути, работы рвётся туда сын. Ни работа, ни место никогда не притягивают человека так, как другой человек. И в Москве такой человек жил. Аня... Будучи старше, Саня относился к ней с особой заботой, был для неё защитником и опорой. И, видимо, роль верного рыцаря особенно воодушевляла хрупкого мальчика. С тринадцати лет он писал ей длинные письма, посылал подарки, сделанные собственноручно, а, когда она приезжала, не отходил от неё ни на шаг, выполнял любое её пожелание. Надёжин настороженно относился к такому благоговению. Он ясно видел, что девочка пока не способна понять и



оценить питаемых к ней чувств. И более того, привыкая к повышенному вниманию и услужливости Сани, начинает принимать её, как должное. Аня видела в нём старшего брата, доброго и отзывчивого друга, которому можно всё рассказать, обо всём попросить, и при этом не быть ничего должной самой, не церемониться. Такие односторонние отношения редко ведут ко благу, и Алексей Васильевич опасался, что сыну суждено будет испытать горькое и болезненное разочарование.

Метель стала постепенно стихать, и Надёжин придержал лошадь, давая отдых себе и ей и стараясь сориентироваться в пространстве.

— Чего ты, Васильич, башкой вертишь? — пробасил из поднятого до ушей ворота тулупа Пантелей, с которым случилось им возвращаться в совхоз вместе. — Не боись, не сбились. Вишь, рельсы на месте — стало быть, верным курсом идём, — он соскочил в снег, подошёл к лошади, покачал головой: — Кобылу-то запалили мы с тобой совсем. Чего доброго околеет — с нас с тобой голову сымут, что имущество не бережём.

— В соседнем совхозе в прошлом году половина коров издохло, что-то ни с кого не то что головы, но и порток не сняли, — заметил Алексей Васильевич.

— Так там Голованов председателя райкома самолично парит, свинину ему пудами шлёт. Проверяющих тоже не забижает...

— А ты забижаешь?

— А я стараюсь, чтоб им, стервям, придраться не к чему было. Мы в нашем совхозе, конечно, салом не обрастаем, но и не побираемся, как некоторые. Мне, между прочим, ни копейки дотаций государство не давало ещё! Я, может, на всю губернию такой один! — гордо сказал Пантелей.

— Ну да... Только Митька Голованов тот год орден в Москве получал, а ты нагоняй по шее...

— Ладно, — нахмурился Сорокин, — знаю я твою политграмоту. Не любя тебе наша власть! Так прямо и сквозит в тебе это! Я тебя сразу раскусил!

— Не отрицаю, не любя. Только что ж ты не погнал нас, если раскусил?

— А тогда мне кажинного второго придётся за шкуру хватать и гнать.

— Так и делается.

— Хреново делается, Васильич. Хреново. Я всю гражданскую с беляками воевал, своей кровью эту власть устанавливал. Поэтому мне её несурязицы нож острый, понимаешь? Слово бы я за них ответчик... Я не спрашиваю тебя, каких ты убеждений. Сам догадаться могу. Году в восемнадцатом, встретиться мы в чистом поле, я б, должно, изрубил тебя. А сейчас взял, потому что вижу: ты человек честный. А я за последнее время столько своих гнид насмотрелся, что чужую порядочность ценить стал. Самому противно бывает, — Пантелей помолчал. — Ладно, слазь, что ль. Дальше пешком пойдём, кобыле роздых нужен.

Надёжин тяжело пошёл рядом с лошадей, проваливаясь по колено в снег. Внезапно он заметил впереди странное движение: навстречу, прямо вдоль железнодорожного полотна, шли друг за другом измученные, оборванные люди. Мужчины и женщины, старики и дети, они едва переставляли ноги. Кто-то падал на землю, полз, поднимался и шёл опять, вновь падал. Слышался надсадный кашель, женский похожий на протяжный вой плач, детские всхлипы...

Какой-то старик в обмотках на обмороженных ногах хрипло закашлялся, упал, харкая кровью, в снег. Подошедший конвойный со злобой пнул его в костлявую спину:

— А, ну, шагай, кулацкое отродье!

Старик заплакал, заслоняясь от ударов:

— Какой я тебе кулак? Я булки всю жизнь пёк, людей кормил... За что?!..

Этим пронзительным «за что» словно пронизана была вся атмосфера вокруг. Казалось, вся земля должна не выдержать и взорваться от него, скрыв в провале и палачей и жертв. Но нет, также бел и безмятежен был снег, также равнодушно небо.

— Не могу я дольше идти! Лучше здесь пристрели!

Сердце оборвалось: неужто застрелят? Надёжин покосился на Сорокина, и тот быстро схватил его за плечо:

— Только высунуться не вздумай. Им не поможешь, а нас погубишь безвозвратно.

Смотреть, как истязают невинного — подлость. Но вмешаться без надежды на успех и тем обречь других — что есть это? В подлой системе, как ни повернись, то всё одно, хоть на крупицу, но окажешься причастным подлости...

— А ну, тащите его! — велел конвоир двум дюжим мужикам, и те покорно подняли старика и понесли его.

А позади уже слышался надрывающий душу вой: что-то растрёпанное и страшное пласталось, точно в припадке падучей, по снегу. А рядом недвижимо лежало другое — маленькое, проходя мимо которого люди замедляли шаг и крестились.

— Пошла! Пошла! — грубый окрик, и обезумевшая баба кидается к конвоиру, хрипит отчаянно, норовя схватить его за руки:

— Похоронить! Похоронить дайте! По-хо-ро-нить... дитё!..

— Времени нет твоего кулацкого выродка хоронить! Пусть его звери жрут!

— Будь ты проклят! Будь ты проклят! — страшно кричит баба, вздымая руки. — И дети твои, и внуки! Чтобы вы сдохли все!..

Надёжин в ужасе наблюдал за происходящим. Сколько, сколько проклятий таких ежедневно, ежечасно слетает с уст, извергается из самых недр истерзанных сердец. В тюрьмах и лагерях, в расстрельных подвалах и соловецких пыточных, на пересылках, в забитых до предела эшелонах, в воронках, на этапах, в колхозах и ссылках, на «великих стройках» и несть числа, где ещё. Вопль целого народа, страны целой к небу — проклинаяющий! И таким-то проклятиям не оставить следа? Год за годом переполнят они атмосферу, понижут духовную ткань, в которой придётся жить далёким потомкам. На проклятой земле, вопиющей об отмщении, проклятые сами, как потомки, как невольные соучастники, как забывшие и предавшие, как оправдавшие преступление и принявшие печать лжи... Страшно жить в атмосфере проклятия! И каким же светоносным силам надо будет включиться, чтобы изгладить его!..

Ползла и ползла чёрная вереница растерзанных людей с почерневшими, полными муки лицами по белому снегу. Недавно у них были дома, была земля, была жизнь. А теперь их вырвали с корнем и обрекли медленной и мучительной смерти. За что? За что? *За что?*

— Это раскулаченные, — шёпотом сказал Пантелей. — Их высадили с поезда на ближайшей станции.

— Это же сто километров!

— Ровно.

— И куда их теперь?

— На лесозаготовки. Приведут в лес, выбросят их пожитки на снег, под деревьями. Чтобы не замерзнуть, эти люди должны будут сразу же развести костры, нарубить деревьев и построить какой-нибудь барак для себя: жилья для них никто не приготовил... Потом они целыми днями будут работать на лесозаготовках, а

ночевать — в этих самодельных бараках. Последнее время такие группы прибывают к нам в ссылку постоянно.

— А в нашей области что же?

— наших кулаков ссылают подальше, на Дальний Восток...

— А знаешь, Гаврилыч, за всю свою жизнь я не испытывал такого невыносимого желания убить, как сейчас...

— Это гада-то, что дитё схоронить не дал?

— Убить... — повторил Надёжин, едва разжимая губы. — Такие не должны, не имеют права по земле ходить... — он зачерпнул рукой снег и протёр лицо.

Колонна раскулаченных прошла. Алексей Васильевич посмотрел ей вслед:

— Ты знаешь, куда точно их отправляют?

— Как не знать? Знаю. А тебе что? Уймись, Васильич. Мы им помочь не можем.

— Среди них дети, больные, старики!

— На все рты харчей не напасёшься! У меня они к тому же все, сам знаешь, на учёте. Если что, самого сошлют. На Дальний Восток.

— Я не могу так... — Надёжин покачал головой. — Надо поговорить с Марочкой. Может, хоть чем-то, хоть кому-то мы сможем помочь... — его взгляд упал на заметаемый снегом маленький кулёк. — А ребёнка надо похоронить, Пантелей.

— Делай, как знаешь, — Сорокин передёрнул плечами. — Только меня не путай. И так, того гляди, в какие-нибудь правые уклонисты запишут...

— Ладно, Пантелей, поезжай. А я дойду сам...

Сорокин уехал, а Алексей Васильевич склонился над посиневшим, обтянутым кожей крохотным скелетом, завёрнутым в тряпье. Когда-то лучшие умы спорили о слезинке ребёнка... Теперь на костях и муках миллионов детей избивающие младенцев ироды

обещали построить рай для всего человечества. И ничто не содрогается: ни земля, попираемая убийцами и орошаемая слезами жертв, ни небо, к которому устремляются молитвы и проклятья, ни столь чуткие к несправедливости «гуманисты»...

Вспомнилось, как радовались многие, когда Сталин разделался с кликой Троцкого и объявил негодным его проект устройства деревни. Тот проект, оглашённый автором на IX съезде партии, предполагал мобилизацию крестьян в трудовые армии, превращение их в «солдат труда», с наказанием за ослушание — вплоть до «заключения в концентрационные лагеря». Но отсёк Сталин: не станем, дескать, возвращаться к пагубной практике военного коммунизма и продразвёрсток и будем не по лекалам Льва Давидовича деревню преобразовывать, а как требует разум. Сказал «великий вождь» и тотчас кликнул для разработки «разумных» преобразований — кого ж? А никого иного, как ближайшего подручного Троцкого, тот самый напоказ отвергнутый проект с ним и готовившего — товарища Эпштейна, замаскировавшегося под Яковлева.

Яков Аркадьевич, совмещая посты наркомзема, заведующего сельхозотделом ЦК и председателя комиссии по переустройству деревни взялся за дело с неукротимой энергией. Взялся, разумеется, не один, а совместно с другими товарищами: своим замом по наркомату Фейгиным, членами комиссии Вольфом и Рошалем, председателем Колхозцентра Беленьким, председателем Комитета заготовок Клейнером, руководителями внутренней торговли и «Экспортхлеба» Вейцером и Кисиним, председателем рабоче-крестьянской инспекции Розитом и другими «специалистами» в области сельского хозяйства...

Свой план «переустройства» представили они аккуратно накануне нового года. Суть его сводилось к скорейшему переселению семей «кулаков» в

отдаленные районы Севера и Сибири РСФСР. По этому проекту с 1930 года предназначались для выселения из мест прежнего проживания — без малого два с половиной миллиона душ. И не абы каких душ, а самых крепких и работающих русских мужиков с жёнами и детьми. Без лишних прикрас разнарядку по проценту выселяемых на республики состряпали: доля РСФСР — 79 процентов; доля Украины — 17 процентов; доля Белоруссии — 4 процента... Так, с дьявольской дотошностью выношен был проект уничтожения русского мира, ядра русского народа, невозстановимого вперёд на века. И месяц спустя одобрил его «великий вождь», повелев «уничтожить кулака, как класса».

Ещё до официального объявления о сплошной коллективизации газеты возопили в один голос против «кулаков»: подлейшие «Известия» и не менее гнусный кольцовский «Огонёк», лживая насквозь «Правда» и рупор Эпштейна крицмановский «На аграрном фронте»...

И начались в деревнях очередные страхи и ужасы, очень похожие на те, что описал когда-то большевистский рифмоплёт Багрицкий:

По оврагам и по скатам  
Коган волком рыщет,  
Залезает носом в хаты,  
Которые чище.  
Глянет вправо, глянет влево,  
Засопит сердито:  
Выгребайте из канавы  
Спрятанное жито!..

Рыскали! Ещё как рыскали! Наркомземовские уполномоченные, алчная деревенская беднота, двадцатипятидесятники и... ОГПУ. Без ведомства

Менжинского и Ягоды невозможно было проводить «сплошную». Именно карательные органы обеспечивали её, не допуская или подавляя в зачатке всякое сопротивление. Генриху Ягоде принадлежала жуткая директива от второго февраля 1930 года об аресте шестидесяти тысяч кулаков. Рапорты об ее исполнении ложились ему на стол ежедневно. Уже через две недели директива эта была исполнена...

Веками крестьянство было становым хребтом русского народа. А основой самого крестьянства были большие, крепкие семьи, состоявшие из трёх поколений. Врастая в родную землю, живя и трудясь на ней век за веком, они обеспечивали ровное и нерушимое развитие русского народа. И, вот, страшной зимой Тридцатого года решено было покончить с ними.

Долгих разбирательств не устраивали. Если не было в селе никого, кого хоть каким-то образом можно было отнести к «кулакам», брали самого зажиточного мужика, вышвыривали в снег со всей фамилией, запечатывали дом... Тут же делили вещи из его сундуков, уводили перепуганную скотину. И напрасно плакали дети, напрасно выли, моля о пощаде бабы, напрасно хватались за вилы отдельные мужики. Если кто и жалел их, то не смел этой жалости выказать, чтобы не записали в «подкулачники».

А дальше тянулись из деревень скорбные подводы, которые какому Сурикову суждено написать однажды? Подводы с людьми, у которых отняли всё, чьих детей обрекли на голодную и холодную смерть, раздавленными и оклеветанными... И ещё же находились такие, что шипели вслед, только что напялив на себя украденное из сундуков барахло: «Кулацкое отродье!»

Кое-кому везло быть сосланными в соседние районы и области — не указал «вождь», куда именно ссылать. Других сутками, неделями везли в холодных вагонах, в



которых оставались навсегда многие старики и дети, а затем, не дав схоронить умерших, гнали по снегу к месту ссылки... Кто-то попадал в спецпоселения, на лесоповал. Кто-то мыкался, ища пропитания, по северным городам, запруживая улицы Архангельска, Котласа и других. Потерянные люди без завтрашнего дня, отверженные всеми, они зачастую просто теряли способность к борьбе за жизнь и, потеряв её, умирали, оставались лежать посреди дорог, не оплаканные, так как у их близких больше не было слёз.

А с высоких трибун гремели о достижениях колхозов, о происках вредителей и «кулаков», славил «ударников» и призывали, и зазывали. И словно издеваясь, рассуждал «великий вождь» о прежнем рабском положении крестьянки. Крестьянка, утверждал Иосиф Виссарионович, всегда была рабыней мужа, и лишь колхоз даёт ей свободу. Отныне станет она сама себе хозяйка и будет работать только на себя!

Крестьянство, хранящее в себе вековые традиции и уклад, всегда было бельмом на глазу «прогрессистов». «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса причислял крестьян к самым реакционным слоям мелких собственников, которые хотят повернуть колесо истории назад. И не кто-нибудь, а самолично Энгельс именовал сельских жителей не иначе как «варварской расой». А ещё раньше французские якобинцы аттестовали крестьян, как «свинский сброд, отвратительных диких животных, подлежащих истреблению». Именно крестьянство, «кондовое» и «неразвитое», отвергло некогда якобинские бесчинства, восстав против них в Вандее и других областях Франции. Надругательство над церковью и её служителями, убийство короля, разрушение традиционного уклада жизни — всё это заставило крестьян сражаться бок о бок с дворянами против новой власти.

История вандейского восстания стала одной из самых трагических и в то же время прекрасных страниц французской истории, благодаря высоте и чистоте подвига вандейцев. Уничтожаемые без жалости, они сумели сохранять в своих сердцах христианское милосердие и благородство. Так, умирающий генерал де Боншан повелел отпустить пять тысяч пленных, прошептав: «Ведь они тоже французы...»

Так мог поступить благородный человек, дворянин, настоящий патриот Франции. Но никогда — якобинец. Слова якобинца были иными: «Вандея больше не существует ...я похоронил её в лесах и болотах Саване... По вашему приказу я давил их детей копытами лошадей; я резал их женщин, чтобы они больше не могли родить бандитов. Меня нельзя упрекнуть в том, что я взял хоть одного пленного. Я истребил их всех. Дороги усыпаны трупами. Под Саване бандиты подходили без остановки, сдаваясь, а мы их без остановки расстреливали... Милосердие — не революционное чувство...» — так докладывал Конвенту приближённый к Дантону генерал Вестерман.

Его некогда тихий, благословенный уголок сельской Франции запомнил надолго, равно как и генерала Тюрро с его адскими колоннами, истреблявшими на своем пути дома, селения, леса, насилувавшими женщин и детей, без счёта расстреливавшими пленных. «Вандея должна стать национальным кладбищем», — говорил Тюрро и уже не войну вёл, но просто мстил непокорным деревням, обращая их в огромные братские могилы. Десятки тысяч крестьян были расстреляны, гильотинированы, сожжены заживо, заморены голодом, утоплены в баржах, которые Тюрро придумал использовать, как устройство для многократных массовых казней... Гимн кровавой Республики отбивали на барабанах обтянутых человеческой кожей, из

которой не брезговали делать и иные вещи, в том числе — предметы одежды.

В России у Вестермана и Тюрро нашлись достойные последователи. С такой же яростью несколько лет назад вчерашний подпоручик Тухачевский поголовно уничтожал крестьян Тамбовской губернии, поднявших восстание против большевиков. По его плану в губернии был введён *режим оккупации*. Семьи повстанцев лишались имущества и заключались во временные концентрационные лагеря. Число заключённых исчислялось десятками тысяч. В случае, если повстанец не сдавался в течение двух недель, его семья депортировалась в отдалённые северные области. Позже к этому добавилась практика массовых расстрелов заложников и, наконец, впервые в мировой истории — применение ядовитых газов против населения собственной страны. Подавлением Тамбовского восстания руководили кроме Тухачевского многие видные большевистские военачальники — Уборевич, Ульрих, Котовский...

Имея перед глазами столь яркий пример, как история революции французской, ничуть не усомнился товарищ Горький отнести жестокость революции российской исключительно на счёт «природной жестокости русского народа». Русского мужика Алексей Максимович ненавидел яростно. Эта ненависть так и сочилась со страниц его произведений, большинство из которых не имело ни малейшего отношения к литературе, а являлось лишь бездарными политическими памфлетами.

Когда-то юный босяк-агитатор Алёша Пешков с молодым задором ринулся в деревню и стал нахраписто пропагандировать мужикам революцию. Мужики, известное дело, таких сопливых «учителей» видали, а потому ограничились тем, что вполне по-отечески отходили Алёшу по мягким и не очень частям тела,

дабы выбить дурь и наперёд отучить заниматься ересью. Алёша был столь оскорблён сим досадным обстоятельством в начале своей политической карьеры, что затаил на мужика великий зуб. С той поры он приписывал крестьянству все возможные и невозможные грехи и в годы гражданской войны сетовал лишь об одном: что большевики приносят «героическую рать рабочих и всю искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству».

Патологическую ненависть Пешков питал, впрочем, отнюдь не только к крестьянству, но и к русскому народу в целом. В его помрачённом взгляде вся русская жизнь виделась одной сплошной «свинцовой мерзостью», а причина всех бед заключалась, согласно «буревестнику» во врожденной порочности самой России и русского человека. Чего только ни приписал Алексей Максимович русскому народу! И что русская душа по самой природе своей «труслива» и «болезненно зла», и что русскому народу присуща «садистическая жестокость», тонкая и дьявольски изощрённая, воспитанная «чтением житий святых великомучеников»... «Кто более жесток: белые или красные? — патетически задавался вопросом великий «гуманист» и отвечивал: — Вероятно — одинаково, ведь и те и другие — русские»... Замечание относительно происхождения авторов террора вызвали у Пешкова яростный протест: «Когда в «зверствах» обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции — я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий...» К таковым Алексей Максимович относил тех, «кто взял на себя каторжную, Геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни», их «великий пролетарский писатель» не мог считать «мучителями народа», но «скорее жертвами» его.

Этот человек большую часть жизни прожил за границей. При Царе, живя в роскоши на Капри, он щедро финансировал как идейную сторону революции в виде большевистских газет, так и практическую — в форме террора. При своей власти Пешков отчего-то не пожелал наслаждаться её благами, а вновь поселился в Италии, откуда строчил и строчил в советские газеты мерзкие статьи. Не было русской беды, к которой не приложил бы Алексей Максимович своего пера. Не было жертвы, которую он ни подтолкнул бы навстречу палачу. Не было преступления, которое ни поддержал бы он и ни воспел.

Самым удачным портретом русского Пешков считал Фёдора Павловича Карамазова. Участь ненавистного народа великий «гуманист» видел в одном: «... как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и место их займет новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей».

Эта пешковско-смердяковская риторика, в сущности, составляла существо правящей идеологии, изливавшейся на всяком съезде. Ещё приснопамятный Владимир Ильич брезгливо каркал о «великорусской швали», прямо провозглашая: «...При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке...». «Каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный

шовинизм...» — призывал следом петроградский палач, убийца Гумилёва Григорий Зиновьев. Не отставал и балансирующий теперь на грани опалы «либеральный» Бухарин: «Мы, в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям».

На таких идеологических императивах с первых месяцев утверждения большевистской власти строилась коммунистическая национальная политика... Съезд же десятый ярче всего отразил её суть. Делегаты были обеспокоены судьбой окраин, страждущих под гнётом «великорусской швали» малых народов. Сменяли друг друга ораторы, обличая «русского кулака», захватывающего земли и выгодные экономические позиции в Туркестане, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Башкирии, в Киргизстане, что якобы приводит к культурной отсталости и вымиранию кочевников. Клеймили беспощадно царское правительство, отдавшее лучшие земли на Кавказе и в Средней Азии казачьему и русскому переселенческому кулачеству, сотни тысяч которого «создали живую силу империализма». Первейшей задачей революции объявлялась «последовательная ликвидация всех остатков национального неравенства, восстановление трудовых прав на землю коренного населения за счет колонизаторского кулачества, всемерная помощь кочевникам для перехода их в оседлое состояние».

Иосиф Джугашвили, сокрушаясь о «неимоверных страданиях» «обречённых на вымирание» помещиками и капиталистами «загнанных народах», заявлял в своей речи: «Суть этого неравенства национальностей состоит в том, что мы, в силу исторического развития, получили от прошлого наследство, по которому одна национальность, именно великоросская, оказалась более развитой в политическом и промышленном отношении, чем другие национальности. Отсюда

фактическое неравенство, которое не может быть изжито в один год, но которое должно быть изжито путем оказания хозяйственной, политической и культурной помощи отсталым национальностям.

Суть национального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить ту отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) национальностей, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях».

При традиционной ненависти к национальности великорусской Джугашвили с большой чуткостью отозвался о национальности украинской: «А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская национальность — выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы.

Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же можно сказать о тех городах Украины, которые носят русский характер и которые будут украинизированы, потому что города растут за счет деревни. Деревня — это хранительница украинского языка, и он войдет во все украинские города как господствующий элемент.

То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают небелорусы. Верно, что белорусские массы, пока что не очень живо, так сказать, не с очень большим интересом относятся к вопросу развития их национальной культуры, но, несомненно, что через несколько лет, по мере того как

мы апеллируем к низам белорусским, будем говорить с ними на том языке, который им понятен прежде всего, — естественно, что через год-два-три вопрос о развитии национальной культуры на родном языке примет характер первостепенной важности».

На том памятном съезде была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: «Теперь, когда помещики и буржуазия свергнуты, а Советская власть провозглашена народными массами и в этих странах, задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные...»

Представитель Туркестана Сафаров дополнил: «На многих окраинах это русское великодержавное кулачье далеко еще не ликвидировано. Об этом говорится более или менее подробно в тезисах т. Сталина. Дальше нужно отметить совершенно определенно, чего не нужно делать на окраинах. Здесь я предлагаю вставить следующее: «...решительно нужно предостеречь против слепого подражания образцам центральной Советской России, при проведении хлебной монополии на окраинах, и связать проведение здесь хлебной разверстки не на словах, а на деле с политикой классового расслоения отсталой туземной среды. Всякое механическое пересаживание экономических мероприятий центральной России, годных лишь для более высокой ступени хозяйственного развития, на окраины должно быть определенно отвергнуто».



Поправка Сафарова была принята. Развёрстка и прочие «прогрессивные меры», разумеется, годились лишь для «великорусского кулацкого элемента», «угнетённые» же им народы нуждались в заботе, культурном развитии, тонком психологическом подходе.

Авгиевыми конюшнями для этих существ была вся Россия, а навозом — всё русское, что ещё оставалось в ней. По нему-то и наносился в наступившем Тридцатом году единовременный удар с разных сторон. С конца Двадцать девятого пошла очередная волна массовых арестов «неприсягнувшего», пользуясь французской терминологией, духовенства и мирян и закрытий ещё оставшихся церквей. Идеологом этого процесса, как прежде, выступал Губельман-Ярославский, заплёвывающий газетные передовицы ненавистью ко всему православному и русскому. В то же время развернулся погром памятников — погром русской памяти, возглавленный в Москве Лазарем Кагановичем. И, вот, последним ударом опрокинули руками Эпштейна-Яковлева в прах физическую основу русского мира — крестьянство...

Наряду с этим была ставка на развитие, разжигание местечковых национализмов при полном подавлении национального самосознания русского народа. В этом самосознании виделась большевикам угроза самая большая, его надлежало заглушить всемерно. И старались: рушили храмы, истребляли Бога в душах, подменяя его коммунистическим идолом, вытесняли русскую культуру так называемой культурой советской. Цель была: обратить русский народ в бесформенную, обезличенную массу, забывшую своё имя (*белых негров*, как откровенно выражался Троцкий), в *табор непомнящих родства*, по меткому выражению, употреблённому ещё в начале века философом Львом Тихомировым. А для этого ещё раньше рекомендовал

Бухарин — пропустить русский народ через концентрационные лагеря: «Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрела... является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Масса белых негров, беспамятных, бессловесных, марширующих покорно — вот, удел русского народа в представлении коммунистических идеологов.

Много страшных лет пережила Россия, и много, знать, ждёт её впереди. Но году 1930-му — не иметь равных в истории. Именно в этом году Иосиф Джугашвили вместе с Эпштейном, Губельманом и Кагановичем уничтожил духовную и физическую сердцевину русского мира и русского народа, на долгую перспективу, если не навсегда, отняв у него шансы на возрождение.

...А где-то в далёкой эмиграции некоторые потерявшие почву, растерянные русские люди полными надежд глазами впивались в лживые полосы советских газет и верили успехам и достижениям СССР, и гнались за призраком своей утраченной родины, ища его в кумачовых одеждах, и возвращались... Уж не затем ли, чтобы пополнить армию безымянных «строителей коммунизма» в серых робах за колючей проволокой?

Иногда Алексею Надёжину становилось не по себе от той пронзительной, резкой точности, с какой видел он суть происходящих событий и грядущее их развитие. Бывало, даже останавливал собственную мысль и не высказывал ничего близким, боясь, что предался прелести и принимает плоды воображения за прозрения. Но ни разу такие прозрения не бывали напрасными. Да и не прозрения были то, а всего лишь ясный и незамутнённый ничем взгляд, помноженный на знание истории и жизни.

До дома Алексей Васильевич добрёл уже в темноте и ещё издали увидел замершую на крыльце в тревожном ожидании фигуру.

— И зачем вы, Марочка, мёрзнете? Такой мороз на дворе! — укорливо покачал головой Надёжин, приближаясь.

Фигура с заметным облегчением обмякла, быстро открыла дверь:

— Мне мороз не страшен, а вы столько часов на нём! — уже при свете Марочка обеспокоенно вглядывалась в него, помогая раздеться. Наконец, успокоенно заключила: — Жара нет, обморожений тоже — слава тебе Господи! — перекрестилась на закопченную икону в углу.

— Что мне поделается! — отмахнулся Алексей Васильевич. — Сорокин не заезжал?

— Заезжал и напугал меня. Сказал, что вы с ним встретили ссыльных, и вы задержались помочь. Больше ничего не объяснил...

— Помочь... — Надёжин горько усмехнулся. — Разве тут поможешь? Этих людей тысячи... А по России миллионы... И все они больны, все растоптаны, унижены... Я поделился бы кровом и куском с каждым из них, но как помочь миллионам? К тому же кто мне позволит, скажем, приютить хоть одну семью? Сразу запишут в пособия и отправят по этапу вместе с ними... Доброта и милосердие нынче караются хуже любого разбоя! Вот уж в самом деле антихристово время!

Марочка беспокойно покосилась за окна. От Алексея Васильевича не укрылось, что взволнована она не только его долгим отсутствием.

— У нас ничего не случилось? — осведомился он настороженно.

— Случилось... — Марочка опустила голову и, словно набрав воздуха в грудь, глухо известила: — Мишу

арестовали... Маруся прислала письмо. Там ничего толком не понять. Видно, боялась писать открыто. Я думаю, это из-за церкви...

Надёжин медленно опустился на лавку, сложил замком руки и пригнул голову, стараясь сосредоточиться. Марочка тотчас села рядом, мягко опустила ладонь ему на плечо, сказала вкрадчиво:

— Надо поехать кому-то... Узнать на месте, что и как. Похлопотать. Может быть, повезёт, и дело ограничится ссылкой. Тогда можно было бы как-то устроиться, чтобы нам всем вместе быть.

— Да, вы правы. Ехать необходимо, — согласился Алексей Васильевич.

— Кому же из нас? — тихо спросила Марочка.

Надёжин несколько мгновений подумал и кликнул:

— Саня, подойти к нам!

Сын тотчас показался из комнаты, вопросительно глядя из-под круглых, смешных очков.

— Ты окрестности хорошо изучил, геолог? — спросил Алексей Васильевич.

— Не хуже тебя, — равнодушно пожал плечами Саня.

— Значит, несколько дней справишься почту развозить?

— Делов-то! — снова пожал плечами сын.

— Вот и ладно, — кивнул Надёжин. — Завтра утром схожу к Пантелею, навру что-нибудь, для чего мне так приспичило в Москву и скажу, что Санька пока за меня потрудится. А вы, Марочка, подумайте, что и кому нам нужно передать в Москве и окрест. Если с Сорокиным сразу сговорюсь, то завтра же и поеду.

— Я всё приготовлю к вашему отъезду, — кивнула Марочка. Она старалась говорить спокойно, но и в голосе, и в бледном лице её угадывалась неизъяснимая тревога. Алексей Васильевич ободряюще погладил её по руке:

— Не печальтесь, Марочка. Мы с вами калачи тёртые, разве нет? Ничего со мной не случится. Во всяком случае, на этот раз. Съезжу, узнаю всё и вернусь. Давайте лучше помолимся о братьях наших пленённых, а после ужина на ночь почитаем что-нибудь из страстных Евангелий. Ничего так не успокаивает душу, как такое чтение...

## Глава 6. Бутырское сидение

Отчего звук открывающегося бесшумно волчка слышен всегда так пронзительно явственно? Оттого ли, что нервы напряжены до предела, и любой шорох кажется грохотом? И ещё этот слепящий днём и ночью глаза свет... И запах... Этот запах не спутаешь ни с одним другим и не забудешь никогда: кисло-душный запах прожаренных тряпок, давно немытых потных тел и приткнутой у окна парашаи... Вот, полез к ней кто-то, карабкаясь через переплетённые ноги сидящих или лежащих впритык друг к другу без возможности повернуться людей.

— Куда тебя понесло, мать твою? До оправки подождать не можешь, падло! — злобный рык, поддержанный дружным ворчанием вслед.

Миша поймал на себе затравленный взгляд молодого графа Путятин. Юноша на свою беду обладал больным желудком и болезненной стыдливостью. Для него, воспитанного в традициях девятнадцатого века, было дико и немыслимо справлять нужду на глазах у десятков людей. И уж совершенно убийственной пыткой становилось протиснуться сквозь толпу озлётых, измученных людей, слушая их брань и колкости в свой адрес. Однажды испытал это, он мучительно ждал теперь времени оправки.

— Полноте, граф, — тихо шепнул Миша. — Если нам не повезёт, то впереди у нас с вами большой путь. Надо привыкать к его обычаям.

— Нет, я не могу! — мотнул головой Путятин, борясь с подступающими к глазам слезами. — Лучше сразу смерть!

— Сразу смерть — по нынешним временам, роскошь. Её надо заслужить, — вздохнул Миша. — И всё же поверьте, оттого, что усталые люди отпустят по вашему адресу несколько непотребных слов, мир не рухнет. Слава Богу, дам здесь нет, а мы все сделаны из одного теста.

Из середины камеры раздались глухие стоны. Хрипел какой-то несчастный в бреду:

— Воздуху! Воздуху! Выпустите меня отсюда! Выпустите меня!

И уже ревели на него со стороны:

— Да умолкни же ты, сволочь!

— Надо пойти помочь, — легко взметнулся со своего места Андрюша Урусов, прелестный восемнадцатилетний юноша с лицом отрока Варфоломея.

— Оставьте, князь... Разве сможешь всем? — покачал головой Миша, пытаюсь как-то размять затёкшую, одеревеневшую шею.

— Помочь каждому можно, — откликнулся Андрюша, с ловкостью эквилибриста просачиваясь сквозь нагромождение тел.

Что ж, этот мальчик, в самом деле, имел великий дар — помогать. В бутырской камере, вопреки всем возможным нормативам вместившей в себя триста душ, он сделался Ангелом-Хранителем, мирившим ссорящихся, утешавшим унывающих, укрощающим злых и защищающим слабых. На этого Божия отрока никто не смел поднять голоса, но даже самое очерстневшее сердце смягчало, тронутое им, и самый возмущённый дух смирялся его кротостью. Андрюша был воплощённой любовью ко всем, и любовь эта, столь щедро им расточаемая, освещала камеру.

Что-то бормотал, кусая губу, злосчастный графчик и, с жалостью глядя на него, Миша думал, что, в сущности, как раз его-то дела могут ещё и выправиться.

Никаких серьёзных обвинений ему не предъявляли, никаких проступков, кроме происхождения, он не имел. Максимум — «минус шесть». Даже печалиться не о чем. То ли дело его, Миши, или юноши Урусова перспектива. Не случайные гости они в стенах Бутырки. Их дело с осени минувшего года катится, громохая, по всей стране... По нему за последние месяцы были арестованы тысячи священнослужителей и мирян. Среди них — митрополит Иосиф и архиепископ Димитрий, владыки Алексей (Буй) и Максим (Жижиленко), отец Сергей Мечёв и Михаил Новосёлов...

Но много страшнее арестов, страшнее испытываемых и грядущих страданий была Ложь, пронзившая всё и вся. Ложью пытались замарать имена мучеников, твёрдо стоявших в Истине. Так, отец Александр Сидоров, служивший в Крестовоздвиженском, был замучен на «Медвежьей горе», где работал на лесозаготовках. Его авторитет среди ссыльных был столь высок, что люди относились к нему с благоговением. Рассказывали, что однажды в праздничный день он служил обедню на пне, и многие с трепетом увидели, как в чашу сошёл огонь. Накануне гибели к батюшке приезжала жена. Через неё он передал своим духовным чадам завет никогда не иметь общения с сергианской церковью. На другой день чекисты объявили, что ночью отец Александр повесился...

Но куда более страшно и изощрённо обошлась Ложь с прихожанами церкви Никола Большой Крест. После ареста двух священников в неё пришёл новый батюшка<sup>1</sup>. К тому времени лишь «Никола» и Сербское подворье придерживались «иосифлянского» направления, не признавая Страгородского. Отец Михаил сразу сумел расположить к себе осиротевших прихожан, и они сами попросили его о настоятельстве.



Батюшка отличался благообразной наружностью, совершенным знанием служб и большим даром слова. Его проповеди были ярки и проникновенны. В них он прямо и без обиняков обличал антихристову сущность власти и пагубные процессы внутри осоюзившейся с ней церкви. Вне службы отец Михаил ходил в светском платье, не считая нужным привлечь к себе внимание. Кое-кого это настораживало. Миша же проникся к батюшке глубоким доверием и много рассказывал о нём старику Кромиади. Тот, почти ослепший, не выходил из дома. К огорчению Миши Аристарх Платонович не разделил его восхищения отцом Михаилом, более того, предупредил:

— Слишком мягко стелет твой батюшка. Как бы не пришлось вам с того на жёстком спать лет этак пять или десять.

Списал тогда Миша предупреждение на старческую подозрительность профессора, а теперь вспоминал и с досадой теребил редкую бороду, удивляясь собственной слепоте. Добро ещё Андрюша, чистый отрок не от мира сего, в батюшке души не чаял, но Мише-то пора было лучше разбираться в людях! А он понял всё лишь в тот миг, когда на допросе следователь предъявил ему обвинение, в котором значилось до последней буквы всё, что говорилось им на исповеди отцу Михаилу...

Сестра Маруся сообщила при свидании, что «батюшку» якобы видели на улице в форме ОГПУ.

И не поверилось, и содрогнулась душа: чекист в рясе — может ли что страшнее быть? И холодело, сосало под ложечкой от мысли — сколько же уже есть таких «отцов»? А будет? И сколько жизней погубят они! И сколько душ!

Пронзительный крик вывел Мишу из окутавшего его сонного оцепенения. Кричал несчастный графчик, давно ставший объектом жестоких шуток маявшихся

бездельем уголовников. На сей раз Васька-карманник незаметно всунул ему клочок бумаги между пальцев ноги и поджог его. Загоготали Васька с подельниками, наблюдая за испугом жертвы. И ещё потешнее стало им, когда несчастный, спотыкающийся и награждаемый тычками и бранью отдельных сокамерников, бросился к окну, у которого стоял чан с нечистотами.

Миша закусил губу. Хотелось схватить Ваську за сальный воротник и несколько раз хорошенько приложиться к его изрытой оспинами физиономии. Но не хватало только побоища в камере... Всё же сказал зубоскалящему вору:

— Ты вот что, Вася, оставь-ка человека в покое.

— А то что? — ухмыльнулся Васька.

— А то — узнаешь, — спокойно ответил Миша и прикрыл глаза, давая понять, что разговор окончен.

В сущности, что мог он сделать этим скотам в человеческом облики? Ровным счётом, ничего. Благодарить Бога, что сам пока не стал объектом их развлечений, что душой и телом куда крепче графчика, что ареста и прочих лишений ждал все последние годы и был к ним готов, насколько вообще может быть готов человек к таким испытаниям.

Вернулся графчик, спотыкающийся о чужие ноги, краснеющий и извиняющийся перед всеми, занял своё место и замер, едва слышно всхлипывая. Миша подумал, что такому, как он, никогда и ни за что не выжить в лагере. Он ещё не испытал ничего, но уже сломлен. В лагере он неминуемо обратится в жалкого доходягу, потерявшего человеческий облик, готового на всё ради куска пайки или недокуренной самокрутки, в куклу для битья и издевательств, в игрушку для шпаны и блатных, с которой можно сделать всё, что подскажет им их больная, жестокая, извращённая фантазия.

— Перестал бы ты ныть, парень, — раздражено обратился к Путятину растрёпанный мужик в рваной

рубаше. — Не одному тебе здесь тошно. Мне, к примеру, стоكرат тошнее твоего. Мне вышка светит, а это тебе не фунт изюму.

— В чём же вас обвиняют? — спросил Миша, выводя из-под удара мужицкой досады графчика.

— Мятежник я, вона как, — усмехнулся мужик. — Мятежник... При Николашке мне за мои подвиги год ссылки дали и гуляй, а тут вона...

— Так вы мятежник со стажем? — Миша любил послушать чужие истории и сразу обратился во внимание.

— Со стажем, сынок, со стажем. Семья моя бедно жила. Помню, пашет, пашет родитель, как проклятый, а весной всё равно хоть побирайся иди. Малоземельные мы были, что ж... Когда я в возраст входить стал, так у нас в селе один умный человек случился. Из ваших, из городских. В партии социал-революционеров состоял. Знатно он этак про жизнь наше говорил! И про то, что не так, и как так сделать, чтобы мужику хозяином на земле стать. В общем, примкнул я к его партии, стал агитацию в нашей губернии производить. Да недолго, правда, агитировал. Пришёл как-то с утреца исправник да и свёз меня в холодную — уму-разуму набираться. А там ссылка... После ссылки я обженился, кое-как хозяйство наладил, не до политики стало, сам понимаешь. Потом на войну ушёл, а оттуда — напрямик в Красную армию. Эх, сынки, я ведь за енту власть три года бился. Три ранения у меня, самолично товарищ Ворошилов мне руку жал. Вона! Тогда ероем себе казался... В родное село вернулся — работы непочатый край! Сперва я сам собой хозяйствовал, а затем создали мы с мужиками артель. Знатно наша артель работала, горя мы не знали. А тут велят нам распускать её и вступать в колхоз. А на чёрта мне, спрашивается, колхоз? Мы и так жили — ни в чём не нуждались. Так и сказали мы начальству, что не нужен нам ихний колхоз.

А они нам говорят: будь по-вашему, только имена ваши мы запишем, чтобы врагов в лицо знать! Так прям и сказал мне этот их уполномоченный, щенок сопливый! Ну уж я на того щенка попёр: ты, говорю, мзгляк, ещё титьку мамкину теребил, когда я в царской ссылке за дело революции срок отбывал! Рубаху рванул, шрамы свои показываю. За что я их получал? Не за Советскую ли власть?! Какой же я враг?! Вот и пишись, смеётся, в колхоз, коли не враг. Не стал я тогда в колхоз записываться, а с того дня ночами покой потерял. Глаза закрываю и вижу войну. Нашу, гражданскую... Себя, «ероя», вижу... И всё понять пытаюсь, против кого иду? Против чёрных баронов? Против каких-то князей? В глаза я не видал ни баронов, ни князей. А штыком своим животы таких же мужиков, как сам я, распарывал. И зачем? Думал, власть свою защищаю, землю свою... Жизнь хорошую для себя и своих ребятишков! Вона она, жизнь! Своя власть! Пришла она ко мне ночью и мордой в снег швырнула, кулаком обозвала, врагом... Я им про Ворошилова, про заслуги свои, а они подпол мой выворачивают, жёнино бельё перетряхают. С уполномоченным тем ещё Нюрка-стерва пришла. Она у нас в комбеде главная. Гадюка кривая... Когда она со своим выродком полудурошным, неизвестно от кого прижитым голодала, так моя Настасья её подкармливала. А она явилась и стала татям этим показывать, где у нас что хранится. В детские постели и то полезла, курва. Глядел я на это, глядел, и мочи не стало. Схватил я обрез да попёр на них. Баба моя кричала, чтоб остановился, чтоб семьи не сиротил. А я уже не слышал... Я в царской ссылке и на фронте не для того мытарился, чтоб моя же власть меня по ветру пускала... Шмальнул я, короче, в щенка этого. Знатно шамльнул... Больше врагами никого не объявит. Теперь жалею, что Нюрка-стерва ноги унести успела. А то бы я и её... Думал, там же и кончат меня. А они, вона, дело

нарисовали! Мол, целый мятеж был, а я его организатор... Тьфу! Мне-то всё равно — так и так вышка. А мужиков жаль... И бабу с ребятишками... А ещё, сынок, как на духу скажу тебе, один и тот же сон меня изводит. Вижу я, как в атаку иду. А супротив — детвора... Со штыками, с сабельками, а детвора! Кадетики да гимназисты... Щёк не брили ещё, баб не мяли... А я их... — мужик зажмурился и потрянул головой. — Их горсточка против нас была, мы их тогда всех... До одного... И, вот, думаю я, здесь сидя, может это их кровушка моих-то ребятишков теперь губит? И страшно мне, и так тошно, что впору голову о стену расшибить...

Мужик умолк, уставившись куда-то невидящим взором.

Возвратившийся Андрюша стал едва слышно шептать что-то ободряющее графчику. В этом ангельском сердце никто и ничто не вызывало раздражения и гнева. А глубокую скорбь видел Миша на его челе лишь однажды — когда юный князь вернулся с первого допроса. На вопрос, что произошло, Андрюша с отчаянием ответил:

— Я Бога обманул!

— Каким образом?

— Они спросили, как я отношусь к поминованию властей, и я ответил: безразлично!

Сознание совершённого греха так тяжело подействовало на юношу, что он не находил себе места и не мог дождаться следующего допроса. Вызванный на него, он первым делом потребовал изменить одно слово в предыдущем протоколе, ответив на вопрос о поминовании: «Отношусь отрицательно». После этого к Андрюше вернулось его обычное светлое расположение духа.

Глядя на растворённого в чужих горестях князя, вся краткая жизнь которого состояла из сплошных

мытарств, Миша печально сознавал, что никакой сан не приблизит его к духовной высоте этого юноши. К своим восемнадцати годам он познал изгнание, скитания по чужим краям, всевозможные лишения, голод, холод, аресты и утраты родных, унижения и угрозы на каждом шагу. Всё переносил стойко кроткий Христов воин...

Его старшие братья ушли в Белую армию, благословлённые матерью, которой за это грозила расправа чекистов. Другой брат, лишённый права на образование, вынужден был заниматься самыми тяжёлыми работами на железной дороге, несмотря на врожденный порок сердца. Сестра от лишений заболела чахоткой и умерла. Судьбы прочих родственников могли служить горьким путеводителям по советскому аду. Князя Урусовы и потомки севастопольского героя адмирала Истомина, большинство из них были расстреляны, замучены, заключены в лагеря или сосланы...

Глубокая религиозность отличала практически всю семью Андрюши. Его мать близко знала патриарха Тихона и митрополита Агафангела, посещала старца Алексия Мечёва, была знакома с Елизаветой Фёдоровной, присутствовала на соборе 1917 года, членом которого был её муж. Брат княгини Урусовой Пётр Истомин был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода Самарина. При последнем аресте чекисты задали ему вопрос:

— Почему вы не ходите в церковь?

— Я молюсь дома, — уклончиво ответил Пётр Владимирович.

— Неправда. Вам не нравится наш митрополит.

— Помилуйте, какой может быть митрополит у ОГПУ?

— Вы прекрасно понимаете, о ком речь. Мы говорим о нашем митрополите Сергии.

— Что ж, в таком случае вы правы. *Ваш* митрополит мне, действительно, не нравится.

В такой же твёрдой религиозности и верности Христу воспитывала своих детей княгиня Урусова, из которых Андрюша был наиболее близок с матерью. Некогда в его школьные годы учитель велел классу писать диктант на тему «Суд над Богом». Двенадцатилетний князь наотрез отказался. Не помогли ни уговоры, ни угрозы исключением из школы, ни вызов к директору. Писать противный его совести текст Андрюша так и не стал.

Перебравшись с семьёй в Москву, он стал прислуживать в церкви Никола Большой Крест, где привелось отпевать его сестру, и где Миша не раз имел случай видеть на службах его мать, являвшую собой пример первохристианской веры и верности.

Даже передвигался Андрюша особенно — в переполненной камере умудрялся не отдавить ничьей ноги, никого не толкнуть, не задеть, точно не земной человек, а бестелесный ангел пролетел. Заняв своё место рядом с Мишей, он сразу заговорил с Путятиним, мягко утешая его. Графчик оживился, обретя, наконец, сердечного слушателя, и принялся рассказывать юному князю о своей семье, о жизни до ареста, горько жалобиться на жестокость судьбы.

Миша с досадой на себя почувствовал, как в душе поднимается глухое раздражение против этого бедолаги с его бесконечными причитаниями и всхлипами. Хотелось осадить его, как только что сделал хмуро замолчавший «мятежник». Хорош «монах», нечего сказать! Всё-таки прав был прозорливец отец Валентин, когда так и не дал благословения на принятие пострига... Отец Михаил давал, да Миша заробел, не смея нарушить воли наставника.

Кое-как повернувшись набок и натянув на голову вытертую на локтях тужурку, он закрыл глаза и

попробовал читать Иисусову молитву. Куда там! Мысли упорно разбредались прочь. Мельком скользнули они по судьбе отца — как-то отразится на нём арест сына? — и унеслись к совсем иному предмету.

Стыдно было признаться, но ничто не занимало их теперь так, как судьба Надежды Петровны. С той поры, как поселилась она в Серпухове, Миша навещал её так часто, как только мог, привозя продукты, помогая по хозяйству. Жила Надежда Петровна одиноко, ни с кем не сходясь близко. Устроиться на постоянную работу не удавалось: во всех учреждениях регулярно проходили чистки, и она, как лишенка, оказывалась первой кандидатурой на увольнение. Осенью Надежда Петровна сильно простудилась и с той поры так и не поправилась до конца. Миша с беспокойством замечал, что она очень бледна и ослаблена. Он настаивал на необходимости показаться хорошим врачам, съездить на юг, обещал найти средства, но Надежда Петровна отказывалась. Даже в столь необходимом ей питании она ограничивала себя, всем жертвуя для сына, обнаружившего литературные способности и мечтавшего стать настоящим писателем. Надежда Петровна лишь качала головой:

— Если ты станешь настоящим писателем, то ни издавать, ни печатать тебя не станут. Фальшивые писатели настоящего не потерпят. В древности люди отдельных племён, прежде чем получить имя по достижении совершеннолетия, проходили обряд инициации... У нас его тоже требуется пройти. Нужно всего лишь солгать, предать, отказаться от себя, запятнать себя — и тебя признают своим... Но запомни, Петенька, если ты станешь фальшивым, то я, живая или мёртвая, отрекусь от тебя. Кем бы ты ни стал, главное, останься Человеком. Вот тебе мой наказ.

Так она говорила, когда лежала в жару, с трудом находя в себе силы подняться. А сын молча слушал. Он



понимал, о чём говорила ему мать, уже успев столкнуться с этим. В школе, когда требовалось что-то нарисовать, написать, выполнить любую другую творческую работу, обращались к нему. И он старательно выполнял просимое, но поощрения за это получали другие, потому что они были пионерами, а он нет. И хуже того, когда однажды один из одноклассников донёс, что Петя ходит в церковь, и по этому поводу был устроен целый суд, Петя не только не признал своей вины, но открыто назвался верующим. Тогда его едва не исключили из школы, но, по счастью, обошлось.

Для Надежды Петровны вся жизнь заключалась в сыне. Как ни старался Миша, но так и не смог стать для неё большим, чем был в день первого с ней объяснения. Ни он, ни другие мужчины не существовали для неё, а существовала лишь тень, призрак того, кто считанные месяцы много лет назад был её мужем. И Миша болезненно завидовал этому давным-давно истлевшему в земле мертвецу.

Думалось, что постриг разрешит тягостное положение, но не благословил отец Валентин, угадав, что слишком опутана душа Миши земными страстями.

— Сперва нужно душу к монашеству воспитать, а лишь после давать обет, чтобы не вышло беды, — наставлял он в письме из ссылки.

Лишённый возможности стать монахом, Миша отчаянно искал возможности всё-таки служить Церкви, так нуждавшейся в пастырях. Идею подал ему пример отца Иоанна Кронштадтского, целомудренно жившего в браке со своей женой. Но немало времени понадобилось, чтобы собраться с духом и заговорить о ней...

Лишь зимой, приехав на Святках навестить Надежду Петровну, Миша решился поделиться с нею давно вынашиваемым замыслом:

— Надежда Петровна, я хотел бы просить вас об одном огромном одолжении... Я понимаю, что просьба моя может показаться вам несуразной и невозможной. Но вы простите меня в таком случае, потому что, видит Бог, худого на сердце у меня нет.

— Я готова для вас сделать всё, что могу, Мишенька, — растерянно ответила она. — Но что я могу?

— Вы знаете о моём желании служить Богу и Церкви, знаете и о том, что монашеский путь закрыт для меня волей отца Валентина. Я со своей стороны помню, что вы поклялись хранить верность мужу, живому или мёртвому. Ваш муж... Он не вернётся, вы знаете...

— Не нужно, не говорите! — Надежда Петровна вздрогнула.

— Простите... Надежда Петровна, я никогда не позволю себе даже намёка на желание, чтобы брак наш был... настоящим, я никогда не позволю себе хоть как-то задеть ваши чувства к мужу. Для вас всё останется по-прежнему, и ваш обет будет исполнен. Но обвенчавшись со мной, вы разрешите меня от моего связанного положения, откроете и мне путь исполнить, наконец, мой обет. Поймите... Я никогда не люблю другой женщины и, следовательно, не имею права жениться на другой. Такой брак будет ложью и перед ней, и перед Богом и станет мукой для нас обоих. Кроме вас я никого не могу просить о подобном, и, поверьте, я делаю это от крайности.

— Я вам верю, Мишенька, — кивнула Надежда Петровна, — и вам не за что просить прощения. Это я виновата перед вами за то, что невольно причиняю вам столько мучений. Я не могу сейчас сразу дать вам ответ. Я ведь не имею точных сведений о судьбе мужа... Я должна спросить совета у батюшки и всё хорошенько обдумать сама.

— Но вы не отказываетесь?.. — спросил Миша с робкой надеждой.

Надежда Петровна глубоко вздохнула и, помолчав несколько мгновений, ответила:

— Если батюшка благословит меня, то я исполню вашу просьбу. Вы сможете со спокойной совестью принять сан, а я продолжу жить так, как жила.

— Разумеется, я же дал вам слово, что ни о каких иных отношениях не посмею даже заговорить с вами... — подтвердил Миша и не удержался, добавил: — ...как бы тяжело для меня это ни было.

— Спасибо, Мишенька... Простите меня за всё!

Вернувшись в Москву, он получил от неё письмо, в котором она сообщала, что батюшка благословил её принести просимую жертву и готов обвенчать их. Наконец-то тяжёлая, наглухо затворённая дверь приоткрылась перед Мишей. Он собирался выехать в Серпухов в ближайший выходной, но уже на другую ночь очутился в камере Бутырской тюрьмы, имея впереди самые туманные и безотрадные перспективы. Так, в очередной раз дверь к избранному пути была захлопнута перед ним, и от этого угнетала душу маята недоумения: для чего всё? И где его, Миши, место в этой странной жизни?

## Глава 7. Пасха в Большом Доме

Светлую заутреню привелось хоть и в тесноте встречать, да в хорошей компании: в одной камере собрались протоиереи Белавский и Никитин, священник Прозоров, харьковский старец отец Николай Загоровский, странник Максим Генба, некогда порт-артурский солдат-инвалид... Даже сотня человек, приходившаяся на двадцать коек не смогла отнять пасхального торжества.

В том, что арест неизбежен, отец Вениамин не сомневался с момента отложения петроградской епархии. Но в Двадцать девятом году эта неизбежность придвинулась вплотную. Первым ударом стал арест в конце Двадцать восьмого отца Феодора Андреева. Удар был особенно тяжёл, так как именно в руках отца Феодора сходились все ниточки разрозненных анклавов Катакомбной церкви, именно он был правой рукой владыки Дмитрия, его бессменным секретарём и идеологом иосифлянского движения.

Заменить Андреева было нечем, слишком незаурядна была личность этого сорокаоднолетнего, хрупкого с виду священника. Выходец из петербургской купеческой семьи, он окончил реальное училище, три курса Института гражданских инженеров, экстерном — Московскую Духовную семинарию, а затем и Московскую Духовную академию. Во время учебы в академии состоялось его знакомство с Новосёловым, членом кружка которого он стал. Кандидатская диссертация будущего отца Феодора была посвящена Юрию Фёдоровичу Самарину. По решению Совета Духовной академии ее рекомендовано было переработать в магистерскую диссертацию и издать в виде монографии по истории раннего славянофильства.

Этого, впрочем, Андреев сделать так и не успел, всецело отдавшись служению Церкви.

Отец Феодор служил в Сергиевском всея Артиллерии соборе и очень скоро сделался известнейшим, любимым и почитаемым проповедником, слушать которого стекалась вся интеллигенция Петрограда. Доходило до того, что собор не мог вместить всех желающих услышать живое слово богомудрого пастыря.

Стекались люди не только в храм, но и в дом Андреева. Отец Феодор вместе с семьёй жил на Лиговке, напротив Греческой церкви Святого мученика Димитрия Солунского. Дни напролёт шли и шли сюда люди самых разных сословий, положений. Приходили за утешением и советом, иные оставались на чай и вели с батюшкой продолжительные беседы. Среди его духовных чад было много профессоров и студентов Военно-Медицинской академии и Университета, научных сотрудников Академии наук.

Арест отца Феодора не продлился долго, но и этих злосчастных тюремных недель хватило, чтобы окончательно подорвать здоровье страдавшего пороком сердца священника, и без того непомерно истомлённого постоянными трудами и волнениями. Подхваченная после продолжительной службы в холодном храме простуда довершила дело: батюшка слёг с пневмонией, осложнённой тяжелейшим эндокардитом...

— Я всё думаю о происшедших событиях. И вот, проверяя себя перед лицом смерти, одно могу сказать: с тем умом и той душой, которые дал мне Господь, я иначе поступить не мог, — так говорил отец Феодор перед самой кончиной.

Должно быть, давно не приходилось видеть Петрограду столь многочисленной похоронной процессии. Казалось, что горестному людскому потоку,

тянущемуся через Лиговку, по 2-й Рождественской к Лавре, не будет конца.

То был май 1929 года. Владыка Димитрий Гдовский так и не смог найти себе другого постоянного секретаря, и это неизбежно сказалось на общей работе. Впрочем, и самому владыке оставалось находиться на свободе считанные месяцы. Наступление на иосифлян шло полным ходом.

В марте в Москве был арестован Новоселов. В мае та же участь постигла большую группу серпуховского духовенства во главе с поставленным в эту епархию епископом Максимом (Жижиленко). Всех их приговорили к различным срокам концлагерей. В ссылке был арестован и отправлен на три года в Соловецкий концлагерь епископ Алексей (Буй).

Осенью в результате крупной операции на Кубани и Северном Кавказе было арестовано много священнослужителей и монашествующих, выявлены и разрушены скиты и кельи в труднодоступных местах Кавказских гор в районе Туапсе, Сочи и Сухуми. Несколько месяцев спустя десять иеромонахов и монахов «за антисоветскую агитацию» были приговорены к расстрелу, остальные — к различным срокам заключения.

Зная обо всём этом, архиепископ Димитрий ждал своего часа. Как и прежде, у него на квартире собирался редющий круг верных. На последнем чаепитии кто-то из присутствовавших священников, словно рассуждая, заметил, что для ареста нужны какие бы то ни было основания. На это владыка со вздохом ответил:

— От таких негодяев и мерзавцев можно всего ожидать. Ведь они митрополита Иосифа сослали, не имея никаких оснований на это... Ну, ладно, ничего, эта власть долго не продержится, Бог не допустит издевательств, найдутся люди, которые пойдут во имя

Христово и восстанут против власти, а мы должны стараться объединиться и помочь в этом. Наша главная задача сейчас — это вливать в свои ряды молодые стойкие силы духовенства, без этой силы нам трудно, старикам, вести борьбу со многими врагами за нашу правоту. Вот если бы нам разрешили открыть пастырские курсы, тогда было бы хорошо, но об этом и мечтать не приходится.

На прощание старец-архиепископ благословил всех сухой, жилистой рукой, произнёс, напутствуя:

— Сейчас наступило тяжелое время, священство преследуют, сажают в тюрьмы, выселяют из города за несколько сот верст. Иисус Христос страдал, и мы должны быть мучениками за Христа, мы должны умереть за истинное православие.

Через несколько дней владыка был арестован.

Следом прошли массовые аресты духовенства и мирян катакомбной церкви Петрограда. В начале декабря арестовали отца Василия Верюжского, а следом был закрыт храм Воскресения на Крови. Иосифляне лишились своего центра.

Седьмого февраля 1930 года был расстрелян епископ Прилукский Василий (Зеленцов), за полгода до того написавший большую работу «В чём состоит верность Христу в церковной жизни» с критикой деятельности митрополита Сергия. В этой рукописи, помимо прочего, говорилось о необходимости борьбы с советской властью всеми возможными способами. Рукопись была размножена верующими и получила широкое распространение. Вскоре владыка был этапирован в Москву, где коллегия ОГПУ вынесла ему приговор.

Опытный отец Вениамин, постоянно меняя место ночлега, дольше многих оставался на свободе, но и его черед не замедлил прийти. Тот день он почувствовал, угадал каким-то сверхъестественным чутьём. На

Крещение впервые за последние недели поехал на станцию Сергиевскую, где служил занявший место владыки Димитрия епископ Сергей (Дружинин). В этот раз отец Вениамин не сослужил ему, просто стоял в толпе, как один из смиренных мирян. Он так и не смог определить того, кто так пристально, так непраздно смотрел ему в спину, но взгляд этот почувствовал и понял.

Возвращаясь вечером в своё очередное «лежбище», бывший полковник не озирался в поисках слежки, точно зная, что её нет. Быстро-быстро перебирал он в уме, что необходимо сделать срочно, до утра, до их прихода. Никаких писем или иных компрометирующих документов у него не оставалось: всё успелось вручить адресатам, либо, в случае арестов таковых, уничтожить. Стало быть, осталось позаботиться о себе. В последний раз вымыться, облечься в чистую одежду, вычитать правило и... лечь спать, пока не разбудят.

Дочитать правила и выспаться, увы, не удалось. Они пришли раньше. И уже следующую ночь отец Вениамин встречал в самом «гостеприимном» доме Ленинграда — доме Предварительного Заключение на Шпалерной... Где-то совсем рядом, в одиночной камере томился архиепископ Димитрий, по соседству — ещё десятки и сотни сострадальцев.

Всё время первых допросов отца Вениамина занимало одно: узнают или нет? Он не скрыл ни своего настоящего имени, ни звания в Царской, ни участия в Белой армии. И в каждый вызов к следователю ждал: вот, сейчас вскроется его «послужной» список времён Добровольчества, вот, сейчас припомнят ему убитых «товарищей». Но ничуть не бывало. Знать, слишком много времени прошло, и слишком много забот было у чекистов по процессам настоящим, чтобы столь дотошно копаться в прошлом какого-то иеромонаха, пусть и бывшего офицера, контрика (мало ли таких). И



без того дело на него чин по чину, лишних вин можно не искать. Тут бы с прочими арестантами управиться.

Поняв, что на данном этапе его прошлое ГПУ занимает мало, отец Вениамин ощутил лёгкое разочарование. Столько лет скрывался от ЧК, уверенный, что первый же допрос окончится скорейшим выводом в расход, а тут поди ж ты: и эта «пуля», в лоб летя, в последний миг изменила траекторию. Для чего же так старательно охраняет его невидимый ангел?

Оставшись дневалить во время прогулки, поделился своими размышлениями с также оставшимся в камере по болезни отцом Николаем Прозоровым, духовным чадом Феодора Андреева. Молодой священник задумчиво погладил бороду и медленно, с расстановкой ответил:

— Всё, что происходит с нами, отче, промыслительно. Не ищите покуда объяснений происходящему с вами. Вас ведёт Его рука. Подождите, и вы увидите, куда и зачем. В сравнении с вами я практически ничего не испытал, но всё-таки позволю себе рассказать вам в ответ свою историю. Я рано решил служить Богу, поступил в семинарию, но в пятнадцатом сбежал из неё и пошёл на фронт добровольцем. Революция застала меня уже офицером, подпоручиком. Служба моя окончилась, и я вернулся на родину, в Пензу, где сразу был препровождён в тюрьму, как золотопогонник. Нас, золотопогонников, насчитывалось там до четырёхсот пятидесяти человек. Во время побега уголовников полтора ста наших расстреляли. Этого я никогда не забуду... Каждую ночь мы ждали, когда раздадутся шаги и гадали, кого же возьмут. Вот, раздавались шаги, лязг засовов, грохот дверей, матерная брань, удары, стоны и крики уводимых... Иной так возопит пронзительно, что кровь в жилах оледенеет. «Братцы, братцы, без вины гибну!» Совсем как теперь здесь по ночам... А через несколько

минут во дворе — щёлк, щёлк... Тут-то не слышно: может, увозят куда... А там!.. По десять человек из ночи в ночь они расстреливали. К концу второй недели от этого напряжения кое у кого стал мутиться рассудок. Вечернюю пайку никто из нас не мог есть... Наконец, я предложил своим сокамерникам прочесть вслух акафист святителю Николаю — защитнику невинно осуждённых. Часть офицеров пренебрегли этим предложением, а другие отошли вместе со мной, и мы пропели акафист... Так, вот, отче, первые были расстреляны следующей ночью, мы же получили различные сроки. Именно тогда я и дал обет вернуться на оставленную из-за войны стезю.

Отец Николай вступил в возраст Христа. В его словах, взгляде читалось глубочайшее спокойствие, готовность хоть сию секунду предстать пред Высшим Судией. До времени этот скромный священник, служивший далеко от центра, был мало известен и лишь в последние два года заговорили о нём, как о неколебимом ревнителе церковного благочестия. В его уединённом храме у платформы Пискарёвка собирались тогда, когда опасались многолюдья Воскресенья на Крови — например, для хиротонии епископа Максима (Жижиленко). Рассказывали, что у отца Николая была возможность обеспечить свою и своих родных безопасность. Причём для этого не нужно было становиться осведомом у ГПУ, присягать власти и Страгородскому. Нужна была сущая малость — обвенчать крупного партийного деятеля с полюбившейся ему девушкой. Девушка оказалась верующей, и всесильный член ЦК решился исполнить её каприз. За церковный брак исключали из партии, поэтому нужно было уединённое место. Отцу Николаю предлагалось заступничество с весом в Кремле, всевозможные щедроты... Но батюшка ответил отказом: он не мог допустить к церковному таинству отпадшего

от Церкви коммуниста. Вероятно, нашёлся другой, не столь ревностный священник, а отцу Николаю и его семье помочь теперь было некому.

Страдная пора настала на Шпалерной. Каждый день принимал Большой Дом новых постояльцев: мужчин и женщин, стариков и юношей, учёных и священнослужителей, дворян и рабочих, офицеров и малограмотных мужиков — и приходилось удивляться одному: как вмещает он такое скопище людей? Дисциплина и ещё раз дисциплина! Вот, втолкнули нескольких ещё не пришедших в себя, растрёпанных с воли новичков — им отводится пяточок свободного места возле параши, откуда по мере «ротации кадров» неделями, месяцами продвигаются они к вожделенной досочке, положенной на выступы между двумя кроватями, и, наконец — вершина блаженства! — до самой кровати...

Лёжа на своей досочке, отец Вениамин чувствовал облегчение оттого, что больше не приходится вдыхать зловония места для новичков. Впрочем, оно пропитывало всё затхлое помещение. Полутёмная камера почти не проветривалась, в ней было столь сыро, что по утрам стены и пол покрывались каплями воды.

— Радуйтесь, отче, нам отверзнут путь самосовершенствования! — ободрял старик Загоровский. — Вот, и рацион у нас — великопостный.

Что правда, то правда. На пищу для такого числа узников ГПУ приходилось экономить, кормили ровно столько, чтобы заключённым хватало сил переставлять ноги: фунт чёрного, непечённого хлеба, два блюдечка ячменной каши, тарелка жидкости с редкими стружками капусты — таков был рацион в доме на Шпалерной.

К Светлому дню с воли всё-таки удалось передать самые дорогие гостинцы: куличи, крашеные яйца,

пасху... Всего по чуть-чуть, понюхать только — но и то уже радостью было. После ночной тихой, полушёпотной службы разговелись дарами заботливых душ. Суд земной ещё не вынес своего приговора, но узники знали, что для кого-то из них разговины эти — последние. И от сознания этого, не высказанного, но живущего в каждом, от молчаливого предуготовления к последнему часу по-особенному звучали в камере № 21 самые радостные слова в человеческой истории:

- Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!

## Глава 8. Встреча

Отец приехал неожиданно, лишь за несколько часов известив телеграммой. Едва получив её, Замётов засобиравшись в Посад, на ходу распорядившись:

— Сейчас возьмёшь деньги, сколько надо, поедешь на вокзал и жди своих. Как явятся, наймёшь ломового или двоих, если нужно, и вези их к своему ротозею-братцу, а я его предупрежу.

Агалая проглотила обычный оскорбительный в отношении брата тон мужа и лишь робко спросила:

— Разве они не могли бы переночевать у нас? Я думала...

Взгляд мужа был куда красноречивее, чем могло быть вслух отпущенное «дура».

— Не хватало ещё, чтобы все узнали, что я покрываю и даю убежище кулаку! Да если об этом узнают там, то не только твоего папашу с семейством, и меня, на что тебе, разумеется, наплевать, но и тебя с Аней отправят в бесплатное путешествие в весьма далёкие и живописные края. Будь добра делать, что я говорю. А думать ты будешь, когда сведёшь меня в могилу.

— Прости, я просто растерялась...

Замётов был сильно раздражён. Что ж, справедливости ради, он имел на это все причины. Спасая от расправы тестя, он подвергал себе едва ли ни большему риску, чем когда в Восемнадцатом помогал бежать из Ярославля уцелевшим мятежникам.

Сидя на вокзале в ожидании родных, Аглая думала, что нужно было загодя предупредить Серёжу о том, что грозит отцу, чтобы приезд родителя не стал для него столь внезапным. Но когда было предупреждать? За последний год и не виделись почти. Серёжа много

времени проводил вне Москвы — ездил в экспедиции по разным областям, участвовал в реставрационных работах. И Тая безотлучно при нём была. Налету схватывающая всё, от него исходившее, она быстро научилась делать необходимые замеры, выполнять несложную, чёрную работу, предшествующую художественным трудам специалистов. Однажды увидев её за работой, Аглая подумала, что эта девочка, наверное, освоила бы и само ремесло реставратора, если бы это понадобилось, чтобы быть рядом с Серёжей. Какими любящими глазами смотрела она на него! Как старалась во всём угодить... Глядя на это, Аля с тоской представляла, как могла бы вот так же самозабвенно растворяться в другом человеке, служить ему, если бы этим человеком был Родион...

В прошлом году, гостя летом у Марьи Евграфовны в Перми, Аглая не постыдилась выпросить у неё фотографию, на которой был запечатлён Родион сразу после выпуска из Училища. Этот портрет с той поры она прятала от Замётова и иногда украдкой доставала, подолгу всматривалась в любимое лицо.

Отца Аглая прождала на вокзале несколько часов, ещё добрый час ушёл на то, чтобы найти ломовика, а уж дорога до Посада после этого показалась целой вечностью.

Муж дожидаться их приезда не стал, а Серёжа встретил с лицом таким мученическим и потрясённым, словно у его ног только что разверзлась земля. Он неловко попытался помочь разгрузить вещи и что-то сразу уронил. Отец сердито буркнул:

— Не тронь ничего, коли руки не так пришиты!

Серёжа понурил голову, прибито отирался у крыльца, теребя нервными пальцами сломанную хворостину. Выбежавший из дома Степан Антонович вместе с Матвеем и Митей легко и быстро перетащили нехитрый скарб в дом в то время, как Тая проводила

Катерину и Дашу в приготовленные гостям комнаты и накрыла на стол.

Улучив момент, Аля озабоченно подошла к брату и тронула его за локоть. Тот болезненно вздрогнул, попытался изобразить улыбку.

— Что с тобой? — тихо спросила Аглая. — На тебе лица нет.

— Ничего, так... Нездоровится немного.

— Нездоровится... — повторила Аля. — Вижу.

— Что ты видишь?

— Что худо тебе, вижу. Послушай, я ведь тебя лучше кого бы то ни было знаю. И лучше других понимаю, что с тобой происходит. Когда-то мы были очень близки, помнишь? И мне кажется, что сейчас нам бы стоило вернуть то время. Я... много пережила, ты знаешь... Поэтому всё могу понять, а осуждать мало кого смею. И ещё знаю, какая это мука, когда что-то гнетёт тебя, а поделиться этим гнётом не с кем.

— С чего ты взяла, что меня что-то гнетёт, чем я не могу поделиться? — спросил Серёжа, отведя глаза.

Аглая присела на завалинку, потянула брата за собой:

— Я не имею права лезть тебе в душу и не собираюсь этого делать. Просто послушай, что я тебе скажу. Есть вещи, о которых, как нам кажется, невозможно рассказать кому-либо. Стыдно, страшно, тяжело... Много есть причин. Но от того, что мы держим их в себе, они не уходят. Они, как микробы, поселяются в благодатной среде, которую создаёт им наша трусость, и развиваются, изводя нас день за днём. Только сами они тоже трусливы, и ничего так не боятся, как быть названными вслух. Назовёшь, переступишь через боль, и смотришь — как короста, как грязь присохшая, вся эта мучившая нас дрянь сходит. Когда некому поверить, рассказать, тогда тяжко. По себе знаю. А если есть, то бояться нечего. И стыдиться тоже.

Стыдно не о микробе сказать, стыдно трусливее этого микроба оказаться.

— Ты точно Марья Евграфовна говоришь, — заметил Серёжа и, бросив на Алё быстрого, затравленного взгляд, пошёл в дом.

За обедом отец объявил:

— Ты, Серёжа, не беспокойся, долго мы у тебя не загостимся.

— Бог с тобой, живите, сколько нужно, — развёл руками брат. — К тому же на днях мы с Таей и Стёпой перебираемся в Коломенское, так что дом будет свободен.

При этих словах лицо Таи просветлело, и она одарила Сергея полным ласки взглядом.

— Добро, что так, — кивнул отец. — Но мы не захребетники и не приживалы. Сейчас пообсудимся, как раскачается, а там решим, как самим устраиваться.

— А есть ли идеи? — осведомился Степан Антонович.

— Назад нам дороги нет, тут дело ясное. Там нам жизни не дадут... Значит, надо где-то на новом месте обжиться.

— В деревне?

— К городу я не привычен. Матвею, может, лучше и в город податься. На завод. На рабфак... Он парень с головой, не пропадёт.

Матвей, молчун от природы, родителю не перечил, и по сосредоточенному лицу его невозможно было угадать, согласен ли он с отцовскими планами.

— В колхоз, конечно, вступать не будем. Руками, слава Богу, не обделены, так что не пропадём. Столярным и плотницким делом на кусок хлеба заработаем... Если только будет вперёд хлеб. Его ведь растить надо, а кому растить, ежели товаришки самих хлеборобов в снопы ныне вяжут...



Сильно состарился отец, Аглая сразу заметила. Но и новая беда не надломилась его, и, обождав до весны, скрепя сердце, принялся он строить жизнь сызнова.

После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов», осуждавшей «перегибы на местах» при проведении коллективизации и декларировавшей сугубо добровольное вступление в колхоз, власти маленько поутихли, а загнанные силком в колхозы мужики, вооружившись газетами со статьёй «вождя», стали снова выделяться в единоличники, не останавливаясь даже перед тем, что отнятое имущество им возвращать никто не собирался. Имущество — дело наживное, — решили крестьяне, — была бы воля. Пользуясь этим затишьем, отец с семейством обосновался в маленьком домишке в деревеньке на реке Махре, неподалёку от закрытой Стефано-Махрицкой обители. Здесь была организована столярная артель, в которой отец стал подвизаться вместе с Севкой, отправив, как и намеревался, Матвея в Москву.

Горькое известие пришло о сестре Любушке. Её вместе с семьёй мужа выслали куда-то на север. Замётов обещал осторожно разведать, куда, но до сих пор не узнал, объясняя сквозь зубы:

— Я и так уже, как бельмо на глазу у начальства. Не сегодня — завтра самого ушлют, куда Макар телят не гонял!

Весь последний год муж был постоянно напряжён. Лишь изредка отходил немного, разговорившись с Нюточкой, развеивавшей его тяжёлые мысли. Он практически не спал, подозрительно прислушиваясь к звукам на лестнице — ждал, что *придут*. Как-то Аглая предложила:

— Если ты так боишься их, то почему бы нам не уехать из Москвы?

— Куда? — усмехнулся Замётов. — И что это изменит? Где бы мы ни были, под своими или чужими именами, покоя нам знать не придётся. Мы всё равно будем ждать их прихода. Будем ночью вслушиваться в то, как мимо наших дверей уводят наших соседей, а днём прятать глаза от их осиротевших родных. И ждать. Ждать! Когда поведут нас...

— Но ведь ты же столько лет в партии!

— Тем хуже. Значит, я не просто контрик, а предатель. Пожалуй, ещё и в троцкисты запишут. А это уже вышка... КРД ещё может рассчитывать на небольшой срок, КРТД — никогда. С КРТД<sup>2</sup> у хана счёт личный.

— Тогда выйди из их партии!

— Выйти? — муж нервно подёрнул губами. — Партия — это капкан. Войти в неё можно, а, вот, выйти... Выйти оттуда можно только под конвоем.

Помолчав, он добавил:

— Если бы я был один, может, и вышел бы... Но я не могу рисковать тобой и Аней...

Эти редкие доверительные беседы всякий раз примиряли Аглаю со своим положением и с этим человеком, который причинил ей столько страданий и в то же время не единожды спасал самых дорогих ей людей.

Два года назад у неё появилась робкая надежда, что под влиянием отца Сергея муж, наконец, обратится к Богу, обретёт душевный мир. Но надежда эта оправдалась лишь частично. Замётов, действительно, стал много сдержаннее и по выздоровлении Али не позволял себе даже прикоснуться к ней, хотя не раз замечала она, каким огнём вспыхивал его взгляд, когда он смотрел на неё. Такая перемена удивила Аглаю. Никогда ещё не видела она мужа столь обходительным и смиренным.

Вскоре Аля заметила, что он тайком читает её Евангелие и молится, когда думает, что его никто не видит. После больницы Замётов решил, что ей лучше спать в комнате Нюточки, а сам с той поры коротал ночи один. Так продолжалось целый год, по истечении которого Аглая почувствовала, что в душе её не осталось ненависти к «извергу», что она, наконец, простила его.

Тем летом Замётов сделал ей с Нюточкой большой подарок. Наслушавшись от Серёжи с Таей рассказов о чудесных древнерусских краях, девочка загорелась желанием увидеть их. И, скрепя сердце, Замётов подарил ей с Алей эту поездку. Целый месяц длилось путешествие, во время которого восторженная Нюточка увидела и красоты Белозерья и Кижии, и чудные пейзажи Карелии, и Архангельск и много-много других жемчужин русского севера. Сам Замётов остался в Москве, прощаясь, печально сказал:

— Не хочу портить вам радость своим присутствием...

В том прощальном взгляде было столько тоски, преодолеваемой нечеловеческим усилием воли, что сердце Аглаи дрогнуло. Встреча же растопила его окончательно. Никогда прежде она не видела мужа таким радостным. И радость эта была ничем не замутнена, ничего в ней не было злого, жестокого, а одно только счастье, оттого что они вернулись, оттого, как Нюточка бросилась к нему навстречу и повисла на шее. И лишь пробежала тень, когда чуть в стороне остановилась сама Аля. Он постарался не подать виду, но Аглая поняла, как больно обидела его тем, что даже не подошла...

Ночью она долго не могла уснуть и хорошо слышала, что муж не спит также, ворочается с боку на бок, тяжело вздыхая. Аглая тихо поднялась и в одной сорочке прошла к нему. Замётов изумлённо

приподнялся, подавил мелькнувший было в глазах огонёк, спросил, стараясь не выдать волнения:

— Что ты, Аля?

Аглая приблизилась и, сев рядом с ним, сказала:

— Я пришла сказать, что простила тебя, Замётов. От всего сердца простила. И ты... прости меня...

Несколько мгновений он оставался неподвижен, поражённый её словами, но, убедившись, что она не собирается уходить, осторожно коснулся рукой её обнажённого плеча. И она не оттолкнула его руки и не передёрнулась брезгливо, как бывало прежде...

Так началась их настоящая семейная жизнь. Увы, Замётову так и не случилось вновь побывать в храме, причаститься Святых Тайн. Осенью двадцать девятого года отец Сергей был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Вместе с ним по «делу группы «Духовные дети» о. Сергия Мечёва» арестовали ещё двух священников и семерых прихожан Маросейского храма. Батюшка был сослан в Северный край... Не решаясь отправлять ему посылки от своего имени, что категорически запрещал Замётов, боявшийся ненужного риска, Аглая каждый месяц передавала помощь его жене, остававшейся в Москве и вынужденной работать, чтобы поднимать детей.

В этот майский день она, как обычно, отвезла матушке полную сумку продуктов и немного денег. Обратный путь был неблизким, тем более, что Москва в последнее время лишилась извозчиков. Трудные времена начались для них ещё в минувшем году, когда нечем стало кормить лошадей. Возвращаться в деревни мужики боялись, зная, что там раскулачивают. В Москве же овса купить было негде. Ломовой извозчик, которого зимой наняла Аглая до Посада, с тревогой выпрашивал отца, как ему поступить. Отец пожал острыми плечами:

— Кобылу со сбруей продай, а сам иди на стройку. Там теперь всего безопаснее...

Вскоре в газетах пропечатали грозное постановление, обвинявшее лошадей в том, что людям не хватает хлеба. Трудящиеся, мол, не доедают, и поэтому правительство вынуждено ввести карточную систему на продукты питания, а извозчики хлебом кормят лошадей! В две недели Москва начисто лишилась привычного средства передвижения. Несчастные лошади, объедавшие трудящихся, пошли на колбасу, получившую название «семипалатинской». «Почему москвичи ходят не по тротуару, а по мостовой? Потому что они заменили съеденных ими лошадей...» — невесело пошучивали зубоскалы.

Вдоволь истоптав ноги, Аглая, наконец, села в трамвай, наполовину пустой в этот час. Нисколько не обратив внимания на других пассажиров, она заняла переднее место левого ряда и стала листать прошлогодний номер закрытого за «легкомысленность» журнала «Домашняя портниха». Этот журнал, исправно выписывавшийся ею два года, был для Али хорошим подспорьем. Из него она черпала немало хороших идей для пошива новых платьев Нюточке, которую Аглае хотелось видеть самой нарядной.

— Здравствуй, Аля... — послышался тихий печальный голос сзади.

Но как ни тих он был, а заставил Аглаю вздрогнуть всем телом. Она медленно обернулась, ещё не веря своим ушам, и замерла, разом лишившись сил и выронив на пол журнал.

— Неужели это... вы?..

— При нашей последней встрече мы были на «ты». Здесь не подходящее место для разговора. Я буду ждать тебя сегодня вечером... И каждый вечер до конца недели. Как тогда ждал... Пушкино, Оранжевая улица, дом 8. Вход с заднего крыльца.

Трамвай остановился, и он легко поднялся, поднял оброненный журнал и, с учтивым полупоклоном подав

его онемевшей, потерявшей дар речи Але, быстро вышел. Она порывисто метнулась к окну, но трамвай уже тронулся, и она успела увидеть лишь удаляющуюся фигуру в неприметном сером плаще.

Не проходило дня все эти годы, чтобы она не воскрешала перед глазами это лицо, не проходило недели в последние два года, чтобы оно не взирало на неё с желтоватой фотокарточки. Но как же давно перестала надеяться увидеть его вживую! «Пушкино, Оранжерейная улица, дом 8», — оглушительно стучало в ушах. «Пушкино, Оранжерейная улица, дом 8» — как пароль для заветной двери. Только бы не лишиться рассудка до вечера!..

## Глава 9. Возвращение

Кто — мы? Потонул в медведях  
Тот край, потонул в полозьях.  
Кто — мы? Не из тех, что ездят —  
Вот — мы! А из тех, что возят:

Возницы. В раненьях жгучих  
В грязь вбитые — за везучесть.

Везло! Через Дон — так голым  
Льдом. Хватать — так всегда патроном  
Последним. Привар — несолон.  
Хлеб — вышел. Уж так везло нам!

Всю Русь в наведенных дулах  
Несли на плечах сутулых.

Как она читала эти стихи! Каждой строчкой — словно плетью ударяя, и сама же внутри корчась от боли, но стараясь боль эту скрыть за прямостью осанки и спокойствием лица... Цветаева... Её поэтический вечер стал едва ли ни последним воспоминанием Родиона об эмиграции, последним аккордом жизни вовне. Сам бы и не пошёл, пожалуй, не то настроение владело душой, но настояла Евдокия Осиповна. Знакомая с Мариной, она считала себя обязанной быть на её вечере, а Пётр Сергеевич наотрез отказался сопровождать жену. Старый генерал избегал любых публичных мероприятий и откровенно презирал большую часть эмиграции.

— Пойми, Дуня, я не могу находиться среди этих людей! Для меня это мука. Не могу находиться рядом с

людьми, каждый из которых может оказаться предателем, а добрая половина являются открытыми сторонниками Триэссерии! Эта твоя Марина со своим мужем... Они симпатизируют большевикам! И тебе бы не следовало ходить на её вечер. Подумать только... Расшаркиваться со всеми этими ничтожествами, слушать глупую болтовню о достижениях Советского Союза и не менее глупую о том, как однажды мы вернёмся под знаменем с двуглавым орлом! К чёрту! Я довольно слышал и видел всю эту публику, и от одной мысли о ней меня воротит с души.

— Марина — великий русский поэт, — спокойно отвечала Евдокия Осиповна. — И это главное. Её поэзия неизмеримо выше политики, её собственной жизни, всего... Она вечна. И поэзия эта, Петруша — русская. Несмотря ни на что. И, как бы то ни было, Марина всегда искренна, и за это я люблю её. А, вот, Гиппиус и Мережковский, ставшие теперь монархистами — подлецы. И они, между прочим, ненавидят Марину. Потому что рядом с ней они жалки...

— Кто бы оспаривал подлость Мережкоппиусов... — пожал плечами Тягаев. — По правде сказать, я, вообще, склонен думать, что среди литераторов крайне мало приличных людей.

Евдокия Осиповна ласково рассмеялась и, поцеловав мужа, заметила:

— Не меньше, чем в любых других профессиях. Так ты не едешь?

— Ни в коем случае. Я не хочу потом добрую неделю видеть всё вокруг в ещё более чёрном свете, чем оно есть. Попроси Родиона Николаевича — я думаю, он составит тебе компанию.

Родион, разумеется, отказать не мог, хотя и сам не питал никакого желания присутствовать на полусветском мероприятии с непременными



тягостными воспоминаниями о минувших днях и спорах о днях грядущих.

Но, вот, статная женщина с гордо поднятой головой, подстриженной аля-гарсон, начала читать:

По всем гнойникам гаремным —  
Мы, вставшие за деревню,  
За — дерево...

С шестерней, как с бабой, сладившие  
Это мы — белоподкладочники?  
С Моховой князя да с Бронной-то —  
Мы-то — золотопогонники?

Гробокопы, клопологи —  
Подошло! подошло!  
Это мы пустили слово:  
Хорошо! хорошо!

Судомои, крысотравы,  
Дом — верша, гром — глуша,  
Это мы пустили славу:  
— Хороша! хороша —  
Русь!

И Родион почувствовал неудержимое желание встать, поклониться и поцеловать руку, писавшую такие совсем не женские стихи. Даже если её обладательница по охватившему всех безумию не осознаёт разумом, что есть большевизм. Её стихи выше разума, и в них осознано всё.

Баррикады, а нынче — троны.  
Но всё тот же мозольный лоск.  
И сейчас уже Шарантоны

Не вмещают российских тоск.

Мрем от них. Под шинелью драной —  
Мрем, наган наставляя в бред...  
Перестраивайте Бедламы:  
Все — малы для российских бед!

Бредит шпорой костыль — острите! —  
Пулеметом — пустой обшлаг.  
В сердце, явственном после вскрытья —  
Ледяного похода знак.

Всеми пытками не исторгли!  
И да будет известно — там:  
Доктора узнают нас в морге  
По не в меру большим сердцам.

От тех самых тоск, не вмещаемых Шарантонами, от положения приживала Европы бежал Родион туда, где ничто не ждало его, кроме команды «в расход». О его планах знали лишь Пётр Сергеевич с женой. Даже Наталье Фёдоровне он не сказал ничего, щадя её впечатлительную душу. Она и другие немногочисленные знакомые полагали, что подполковник Аскольдов собирается перебраться в Мексику.

Многолетняя разведывательная работа генерала Тягаева, канувшая в лету с уходом Врангеля, помогла Родиону наметить путь возвращения — через Бессарабию. Там, на границе, контрабандисты давно протоптали надёжный проход. Эти отчаянные люди за хорошие деньги снабдили Родиона всем необходимым — документами, одеждой. Вместе с ними он должен был проделать путь до Украины, а далее действовать самостоятельно. Чтобы не попасть впросак, Родион

постарался изучить всё, что можно было узнать об СССР — новые названия городов и улиц, цены и прочее.

Провожая его в Бессарабию, Пётр Сергеевич тяжело вздохнул:

— А, знаете, Аскольдов, я вам почти завидую... Как тому четыре года позавидовал, стыдно признаться, князю Долгорукову. Казалось бы, кадет, человек немного блаженный, хотя безусловной чести, а на старости лет решился пробираться в Россию. И для чего! Потому что совесть не позволяла подбивать на риск других, отсиживаясь в безопасности. Одиннадцать месяцев в харьковском ГПУ, Аскольдов... И совершенное мужество! Говорят, перед расстрелом спокойно умылся, привёл себя в порядок. И погиб... Славно погиб! Глупо, но славно... За Россию и в России. А я, друг мой, буду безотрадно угасать здесь, а затем моя Дунечка похоронит меня в чужой земле.

— Если бы рядом со мной была такая женщина, как Евдокия Осиповна, я теперь, должно быть, направлялся бы в Мексику, — ответил Родион.

— Вас кто-нибудь ждёт? Там? — спросил Тягаев.

— Н-нет... — неуверенно отозвался Родион. — Только моя память. И боль...

Подошёл поезд и, обнявшись и простившись с Петром Сергеевичем, он поднялся в вагон. Народу на перроне почти не было, и длинная, сухопарая фигура старого генерала одиноко возвышалась в лучах заходящего солнца — как печальный и величественный памятник уходящему в лету рыцарству.

Старый князь Долгоруков угодил в лапы ГПУ, как раз используя бессарабский маршрут. Родион оказался счастливее. Благополучно добравшись до Украины, он, в отличие от покойного лидера кадетов, не стал задерживаться там, а отправился напрямик в Россию...

Россия! Так по привычке называл он страну, по которой ехал день за днём, напряжённо вглядываясь в её лик, стараясь разглядеть в нём то родное, что, кажется, неспособна уничтожить никакая сила. Таких примет немало сохранялось ещё, но как же много исчезло без следа! Как много изменилось до неузнаваемости... И в новом образе явно проступили две приметы: нищета и страх.

Сколь ни бряцали достижениями в газетах, а нищета сквозила во всём: в голодных, оборванных людях, потерянно блуждавших по дорогам, в понурых деревьях, из которых выбросило их осатанелое самодурство власти; в печальных глазах исхудалых детей, тянущих чумазые ручки с пронзительным писком «Хле-е-еба!», превратившимся в вечный аккомпанемент страны торжествующего социализма; в грязи и скученности бараков и общежитий; в пресловутых карточках на продукты, от которых в «отсталые» царские времена ломались столы и прилавки... Наконец, в облике самых обычных советских людей. Серые, испытые лица, серая мешковатая одежда, годная разве что на то, чтобы прикрыть срам. С каких пор мешок с проделанными дырками для рук и головы стал считаться женским платьем? Должно быть с тех самых, когда серый куб — венец советской архитектурной мысли — сделался «дворцом».

Серость, серость, серость... Потускневшие купола со срубленными крестами, потускневшие лица... Запылённая страна, населённая людьми с затравленными глазами, людьми, которые боятся и зачастую ненавидят друг друга. Ненавидят, потому что боятся, потому что вынуждены делить жалкие метры коммуналки, толкаться в нескончаемых очередях, вырывая друг у друга всё... Любопытно, сколько людей пополнили народонаселение зоны меньшей (малой и не

назовёшь уже) только по той причине, что соседу приспичило расширить жилплощадь?..

Однако, люди что-то строят. Как в большом муравейнике кипит работа... Что строят они? Тот ли самый рай сатаны, над которым корпели бесы, обманывая слепого Фауста? А эмигрантские фаусты с придыханием листают советские газеты и жаждут остановить мгновенье, и оказываются пожраны пропастью. У Гёте, правда, ангелы всё же отбили у сатаны бессмертную душу заблудшего учёного. Что ж, может, и души всех этих несчастных наивных людей тоже будут спасены... За благие стремления и муки...

В муравейнике есть время отдыху. Тогда серый морок разбавляется режущими глаз всплесками кумача. Страна должна демонстрировать своё единство! В ногу шагают советские люди в день Первомая! Плакаты, знамёна, лозунги... «Уничтожим кулака, как класс!» «Смерть мировому империализму!» «Смерть вредителям!» Ну, и «да здравствует», конечно... Мудрый Сталин... Мудрое ОГПУ... Партия, ведущая нас от победы к победе... Лица на демонстрациях — счастливые! Особенно, у молодёжи... Она, молодёжь, воспитывается комсомолом и искренне верит в светлое будущее, и искренне готова на всё за «дело Ленина и Сталина»... Неискренние сияют всё равно. Попробуй, не посияй — мигом запишут в «подозрительные». Жалко, до боли жалко жар этих юных сердец. На что-то истратят его? Как ещё искалечат эти души?

Демонстрации дополняют парады, а парады — карнавалы. Кружатся под музыку маски, а в них — что-то пугающе страшное. В такие маски, лишённые собственного нутра, день за днём превращаются живые люди.

Всю дорогу вертелись в памяти строки Ивана Савина:

Вся ты нынче грязная, дикая и темная.  
Грудь твоя заплевана, сорван крест в толпе.  
Почему ж упорно так жизнь наша бездомная  
Рвется к тебе, мечется, бредит о тебе?!  
Бич безумья красного иглами железными  
Выколол глаза твои, одурманил ум.  
И поешь ты, пляшешь ты, и кружишь над  
безднами,  
Заметая косами вихри пьяных дум.  
Каждый шаг твой к пропасти на чужбине  
слышен нам.  
Смех твой святотатственный — как пощечин  
град.  
В душу нашу ждущую в трепете обиженном,  
Смотрит твой невидящий, твой плюющий  
взгляд...  
Почему ж мы молимся о тебе, к подножию  
Трупами покрытому, горестно склонясь?  
Как невесту белую, как невесту Божию  
Ждем тебя и верим в кровь твою и грязь?!

Как ни опасно было, а перво-наперво устремился Родион в Глинское. Добирался окольными путями, боясь лишний раз попасться кому-нибудь на глаза. А лучше бы и не заглядывать сюда вовсе, остался бы дорогой уголок незамутнённым сладостным сном в памяти... Первый раз схватило сердце, когда спускаясь с холма не увидел он за ручьём, превратившимся в болото, белоствольного божелесья... Так и замер Родион на дороге, не веря своим глазам, а затем пошёл медленно по траве, давно забывшей, что когда-то была здесь тропинка.

Лишь ветшающие пни остались на месте заповедной рощи, вырубленной варварской рукой, и поросшая болотной травой падь зияла на месте памятного омута.

Долго стоял над ним Родион, мучительно вспоминая всё бывшее здесь, и снова пошёл вперёд, тяжело переставляя переставшие слушаться ноги.

Часть забора, полурастащенного, полуразрушенного, поросшего мхом, ещё стояла, жив был и сад, одичавший и заброшенный. Но за первыми рядами деревьев открылось взгляду пепелище... От того, что когда-то было его домом, не осталось и следа. Лишь кое-где из зарослей татарника уныло торчали бесформенные обломки. Мрачными тенями кривились рядом искалеченные, обугленные фигуры деревьев, и пустыми глазницами выбитых стёкол глядела разрушающаяся оранжерея, в которой Родион когда-то последний раз обнимал мать.

Он стиснул голову и бросился прочь от страшного зрелища. Но это был ещё не конец испытаний. Впереди его ждало распаханное поле и вырытый для какой-то позабытой, видимо, нужды котлован на месте старого кладбища, где покоились останки нескольких поколений семьи Аскольдовых. Ни могил, ни крестов... Только древний вяз, как последний могиканин, ещё взирает с высоты на человеческое безумие и никнет усталыми, серебристыми ветвями. Родион, качаясь, подошёл к дереву, упал на колени, уткнулся лицом в шершавую кору и зарыдал, желая в тот миг лишь одного — умереть сию секунду и больше ничего не видеть и не знать.

...На обратном пути он встретил нескольких крестьян, посмотревших на него с подозрением. Но опустошённой душе Родиона не было дела до них. Даже если бы перед ним возникли сотрудники ОГПУ, ничто не дрогнуло бы в нём. Но они не возникли...

Добравшись до Москвы, Родион снял комнату у старухи-вдовы в подмосковном Пушкине, чтобы быть подальше от доглядчивых глаз. Несколько дней он просто бродил по столице, стараясь не запутаться в

новых названиях, с горечью не находя с детства памятного и с радостью — обретая таковое на своих местах. Устроившись работать сторожем и тем закрепив своё положение, Родион решился приступить к главной цели своего приезда.

Два адреса, узнанных ещё за границей, он давно затвердил наизусть. Первый и затверживать не нужно было. Столько радостных дней было проведено там в детстве! Даже не верилось, что адрес это *живой*...

Дверь квартиры на Солянке открыла миниатюрная пышечка, в которой Родион сразу узнал сестру. Она узнала его также. Но не радость, а тревога отразилась на её вмиг побелевшем лице. Даже приглушённого вскрика не смогла сдержать:

— Откуда ты? Зачем ты приехал?! — но опаматовалась, застыдилась: — Прости... Проходи в комнату... — и озиралась перепугано, боясь одного — что увидят соседи.

Родион прошёл в знакомую комнату, теперь сильно загромождённую мебелью и от этого утратившую прежний уют.

— Откуда ты приехал? — тихо спросила Варя, прикрывая дверь.

— А я и не приезжал, — усмехнулся Родион, присаживаясь на угол письменного стола. — Меня больше нет. У меня другое имя, другая биография...

— Значит, ты приехал по поддельным документам... Зачем? Ты что... приехал по заданию? — в голосе сестры звучал неподдельный испуг.

— Да, — раздражённо отозвался Родион. — Чтобы свергнуть большевиков, распустить колхозы и установить монархию!

По молчанию Вари он понял, что шутка успеха не имела, и глухо вздохнул:

— Тебе не приходит в голову, что я мог приехать только для того, чтобы увидеть тех, кого люблю и кого



ещё у меня не отняли?..

— Прости... Просто всё это так неожиданно... Я растерялась.

— Ты не волнуйся, Варюшка, я больше не потревожу тебя и не приду сюда. Я видел тебя, с меня довольно и этого. Расскажи мне только, как ты живёшь? Как вы с Никитой живёте?

— Хорошо живём, — бодро, как на уроке, ответила Варя. — Детки в школе учатся, мы работаем. Слава Богу, ни в чём не нуждаемся. Даже, вот, летом мальчиков в Ялту на целый месяц возили. Они у нас большие молодцы. Кока лётчиком быть хочет, а Леночка музыкой занимается.

— А вы с Никитой? Чем занимаетесь вы?

— Никита работает шофёром. А я... Домработницей в семье одного маршала.

— Маршала?

— Да. Но ты не думай! Он очень хороший человек! Честный, обходительный. Если бы все большевики такими были... И жена его, Раиса Львовна, очень мила. Я и с детками их занимаюсь, и по хозяйству. Платят они хорошо и, вообще, помогают, если что нужно. У них очень хлебосольный дом. Самые важные люди бывают. Калинин, Рыков...

— И они, конечно, тоже очень милы...

— Плохого про них не скажу, — сухо ответила сестра. — Очень интеллигентные, приятные люди. Ты зря всех под одну гребёнку... Среди большевиков тоже есть очень достойные, порядочные люди.

— Если они достойные и порядочные, то как они могут спокойно смотреть на то, как детей морят голодом? Как средневековыми пытками уничтожают невинных людей на Соловках и в других местах?

— Перестань, пожалуйста... Да, много горького и несправедливого происходит. Но ведь это всегда и везде есть. А наша страна только начинает заново

отстраиваться. И это нелегко... Я верю, что со временем всё станет на свои места, утрясётся. И это случилось бы гораздо быстрее, если бы было меньше нападков извне, если бы не провоцировали... К тому же не могут же тот же Калинин или Рыков знать обо всём. Ведь многое происходит из-за произвола на местах.

— Перегибов, ты хотела сказать? — уточнил Родион, чувствуя, что от слов сестры в ушах начинает звенеть.

— Да, перегибов.

— Здорово же вас всех вышколили...

— Что ты имеешь ввиду?

— Я имею ввиду пепел Глинского и разорённые могилы наших родных! Я имею ввиду Соловки с их пытками, через которые я сам — слышишь ли? — сам прошёл! Там день и ночь камни вопят о людских страданиях! И если бы только там! А вы сидите здесь... Прислуживаетесь у убийц или их пособников и радуетесь тому, что сыты, одеты и можете даже... отдыхать в Ялте! За пайку готовы забыть то, что не вправе забывать! За чечевичную похлёбку — первородство!..

— Ты говоришь зло, Родя! — на глазах Вари навернулись слёзы.

— Да, я говорю зло! Потому что мне нестерпимо видеть, как моя сестра отказывается от собственных мыслей и чувств и говорит передовицами!

— Не тебе меня судить! — вспыхнула Варя. — Да, я не святая. И не могу, не хочу быть мученицей. Я хочу, чтобы мой муж, мои дети были живы, здоровы и благополучны. Мы живём в этой стране, значит, должны соблюдать правила, которые в ней установлены.

— Правила, установленные преступниками на крови невинных!

— Пусть так! Но изменить их я не могу! Я хочу вывести своих детей в люди, Родя. И для этого я буду приспособливаться к тем условиям, которые я не

выбирала, но в которые меня поставили. И не смей меня судить!.. Мы с Никитой не пережили того, что вынес ты, но, поверь, и на нашу долю досталось немало.

— Хорошо, я не стану дольше тревожить тебя, — Родион поднялся. — Мертвецы не должны вставать из гробов и смущать спокойствие живых — это противоестественно... Прощай.

— Постой... — Варя утёрла передником слёзы. — Прости меня. Я не виновата в том, что всё так... Ты оставь свой адрес. Я передам Никите, когда он вернётся.

— Может, тебе не стоит говорить ему обо мне? Тебе ведь так будет спокойнее. Да и ему тоже...

— Ты прав. Но я никогда ничего не скрывала от мужа. И уж тем более не скрою того, что жив его лучший друг...

— Пушкино, Оранжевая улица, дом 8. Вход с заднего крыльца. Запомнишь?

— Запомню. Может быть, ты хотя бы пообедаешь?

— Спасибо, я сыт.

— Ты вот ещё что... — Варя помедлила. — К Ляле не ходи.

— Почему? — насторожился Родион.

— Дядя Жорж работает на ГПУ, он ни в коем случае не должен о тебе знать.

— Это точно?..

— Из-за него Алексей Васильевич сослан в Пермь, а за ним уехала и тётя Мари.

Видимо, нет придела разочарованиям и утратам... Жорж — агент ГПУ! Не вмещалось в сознании... Весёлый красавец-балагур, лихой рубака-гусар, всеобщий любимец Жорж, приезд которого в Глинское всегда был праздником, в котором племянники не чаяли души — как же это возможно? В памяти пронеслись детские игры, уроки верховой езды, которые давал неподражаемый «дядинька», отчаянные скачки, в

которых он всегда был впереди, перезвон его гитары и бархатный баритон, пикники, цыгане... Родион прислонился к стене и потёр ладонью лоб, пытаясь прийти в себя от очередного оглушительного известия.

— А Ляля? Она тоже агент ГПУ? — чуть слышно спросил он, чувствуя, как лоб покрылся испариной.

— Этого я не знаю. Но она жена своего мужа, для меня этого достаточно.

— Она — наша сестра, — ответил Родион. — Впрочем, спасибо за предупреждение. Я учту...

— Если всё-таки решишься пойти к ней, то иди на Арбат, в Вахтанговский театр. Большую часть времени Ляля проводит там.

— Спасибо.

Уже на пороге он, как в далёком прошлом, чуть приподнял сестру и расцеловал в обе щёки, влажные от слёз:

— Прощай, Варюшка! Дай Бог, чтобы молох обошёл тебя стороной...

Тяжело видеть пепелище отчего дома, тяжело видеть осквернёнными дорогие могилы и любимые с детства места. Но ещё тяжелее видеть близких людей, примирившихся с ложью и приспособившихся ко злу, превращающихся в покорные винтики чудовищной машины.

Всё же следовало испить чашу до дна. И, несмотря на предупреждение сестры, Родион отправился напрямик в театр Вахтангова. Впрочем, и туда он не рискнул зайти, предпочтя два часа прогуливаться по Арбату, ожидая появления Ляли и надеясь, что она будет одна.

Надежда оправдалась. Постаревшая Ляля одиноко спустилась по ступеням, на ходу закуривая папиросу. Годы сильно состарили её, но ещё больше — надломили. Поникшие, ссутулившиеся плечи, старушечье, лишённое лоска платье, седеющие волосы,

собранные в пучок, очки в ужасной, уродливой оправе... Но главное — усталость, измождённость в каждом движении, словно всякий шаг она принуждает себя делать, собрав в кулак всю оставшуюся волю. А ещё — страх, заставляющий её с болезненной тревогой озираться по сторонам, оглядываться. Кого боится она — жена красного командира? Что так непоправимо изломало её, побило, не оставив живого места?

— Ляля!

Нет, она не отпрянула, как давеча Варюшка, не побледнела — и без того пепельно бледным было её продолговатое лицо. Только медленно поправила очки, закивала головой, глухо проронила:

— Я всегда знала, что ты жив. Сперва чувствовала, а несколько лет назад Жорж устроил пьяный скандал... Всё кричал, что из-за меня его расстреляют. Я сначала не поняла, а потом выяснилось, что его вызывали. *Туда...* И рассказали про тебя. Про побег, про то, что ты теперь в Европе, и как ты опасен для них... Они боятся... Свидетелей, вредителей, друг друга... Неизвестно, кто ещё больше боится: мы или они... Поэтому они такие злые... Бедный Жорж очень испугался такого родства. А я обрадовалась... Тому, что хоть один из нас, из Аскольдовых, остался человеком... Я никому о тебе не сказала. Все тебя считали мёртвым. А на деле ты единственный был живым, тогда как мы все — давно умерли... Нас нет, от нас остались лишь тени... — Ляля говорила быстро, изредка судорожно сглатывая воздух и глядя куда-то не то в сторону от Родиона, не то сквозь него, будто бредила.

— Ляля, что с тобой? — тревожно спросил Родион.

Сестра с заметным трудом, наконец, сфокусировала рассеянный, больной взгляд на нём и отрывисто спросила:

— Зачем ты здесь, Родя? Зачем тебе это царство Аида, страна теней, в которой не осталось даже родных

могил? Живые не должны сходить к мертвецам, оставив другим мертвецам погребать их...

Родион чуть встряхнул Лялю за плечи, взмолился:

— Очнись, прошу тебя! Поговори со мной по-человечески, как бывало раньше!

Ляля поднесла палец к губам:

— Тсс! Тени не должны разговаривать, разве ты не знаешь? — она вздохнула. — Не бойся, Родя, я ещё не сумасшедшая. Лишь в малой степени... И, во всяком случае, не больше, чем те, что делают вид, что ничего не видят и не понимают. А я всё вижу и понимаю. Поэтому и схожу с ума... Давай посидим где-нибудь. Ко мне идти нельзя, ты понимаешь.

— Значит, насчёт Жоржа — это правда?

— Варя предупредила?

— Да...

— Я не хочу говорить о моём муже, Родя, — Ляля закурила очередную папиросу.

В сгущающихся сумерках они неспешно пошли в сторону Смоленского бульвара.

— Ты, кажется, совсем не удивлена мне, — заметил Родион.

— В последние годы я разучилась удивляться. Я вижу, как самые порядочные люди вдруг начинают восхвалять подлость и подлости делать, как люди умные искренне восхищаются глупостью, как невиновных обвиняют в нелепых и чудовищных преступлениях... Всё перевернулось, Родя. Всё! Стало с ног на голову... Всё, все. Мне всё время кажется, что я существую в кошмарном, бредовом сне, от которого не могу пробудиться. Или хожу по лабиринту с кривыми зеркалами и не могу найти выхода. Мне кажется, я не удивлюсь, даже если передо мной возникнет архангел Гавриил.

— Почему ты никому не сказала, что я жив?

— Варя обрадовалась тебе, когда ты пришёл?

— Скорее, испугалась...

— Правильно. Вот, я и не пугала никого твоей тенью. А заодно и своей... Они меня, Родя, боятся, — Ляля горько усмехнулась. — Они, вообще, всего боятся, — она повела рукой вокруг. — Видишь этих людей? Они все боятся! Что «возьмут», что «заберут». Вот, он — советский новояз... Им ещё запестрят когда-нибудь книги. Тебе Варюшка не сказала, как в прошлом году её Никиту старшим по подъезду поставили? Оказали честь! — сестра нервно хохотнула. — В обязанность этих несчастных старших входит сопровождать ГПУ, когда они приходят в очередную мирно спящую семью, чтобы увести отца, мать, дочь или сына... Он, бедный, поседел через несколько месяцев, а потом впервые в жизни ушёл в запой. Этим только от «почётной» обязанности и спасся! А меня они избегают... Трусы...

— Ты выглядишь совсем больной и разбитой, — заметил Родя.

— Что, очень страшна стала? Знаю. Зеркало, к сожалению, льстить не умеет.

— Почему ты не поедешь куда-нибудь на отдых? На юг?

— Юг, север... Что за разница? Страх и удушье везде одинаковы. Разве ты не чувствуешь? Воздуха нет... Дышать нечем! — Ляля остановилась и, повернувшись к Родиону, покачала головой: — Ты напрасно вернулся, мон шер фрэр<sup>3</sup>... Здесь нельзя жить, понимаешь? Нельзя! Даже порядочно умереть — и то задача... Не провожай меня дальше, прошу тебя. Нас не должны видеть вместе. Это может быть опасно для тебя.

Встреча с Лялей оставила в душе не менее горький осадок, чем визит к Варе. Старшая сестра была начисто лишена грёз, но тоска, владевшая ею, довела её душу до болезни, с которой она не имела сил и желания

бороться. Безысходность и обречённость сквозила в каждой черте её, в каждой нотке глухого голоса.

Оставалось узнать ещё одно, узнать главное, о чём он не решился спросить сестёр — узнать о её судьбе. Помочь в этом мог лишь один человек — Сергей. Но где искать его самого? Когда-то семейство Кромиади жило на Маросейке. Вероятность того, что и этот адрес живой, была ничтожна, и Родион надеялся лишь на одно — что в маросейском храме, чьими верными прихожанами были Кромиади, знают что-то об их судьбе. Наводить подобные справки было опасно, но ничто не могло угасить той мучительной тяги, которую он испытывал.

Полный сомнений и колебаний, Родион отправился на Маросейку. Приехав аккурат к концу литургии, он в нерешительности замялся чуть поодаль от храма, разглядывая выходящих на улицу прихожан. Внезапно по телу пробежала дрожь, а в горле пересохло — с крыльца неспешно спускалась вечная гостья его сновидений, та, ради кого он пришёл сюда. Это был явный Божий перст — не понадобилось ни расспросов, ни розысков, встреча словно посылалась свыше.

Однако, Родион не подошёл к Аглае, заметив с нею тоненькую девочку-подростка. Он незаметно последовал за ними, и вскоре уже знал их адрес. Дальнейшее «следствие» не составило большого труда. Несколько дней наблюдений принесли Родиону ещё одно безотрадное открытие: *она* была замужем за его незаконнорожденным кузеном-большевиком и растила дочь... Если бы хоть кто-то другой оказался её мужем! Но это подобие человека, этот революционер-безбожник, вероятно, отпетый негодяй... Почему именно с ним?! То, что счастливым соперником оказался именно Замётов, ощущалось Родионом как двойное унижение. Ревность и обида испепеляли его. Тем не менее он вновь и вновь приходил к дому Аглаи и



подолгу блуждал вокруг, пытаюсь представить встречу, ища слова, утирая лихорадочный пот и не решаясь дать о себе знать. Если сёстрам не нужен он, то для чего — ей? Ей, предавшей ещё раньше? Ей, с которой связывали лишь недели романтической влюблённости и грёз? Она, должно быть, и думать забыла о той давней истории.

И всё-таки Родион решился. В этот день он шёл за Аглаей по пятам с момента выхода её из дома. В отличие от сестёр она почти не переменилась. Молодая свежесть ушла, уступив место зрелой красоте, в которой не было ничего наносного, лишнего. Та же стройность и стать, то же открытое лицо с гладкой, матовой кожей, те же крупные, бархатные глаза — прямые и волевые, казавшиеся неспособными лгать. Золотисто-медовые волосы уже не в косы заплетены, а аккуратно уложены в пышную причёску, подобраны сзади, обнажив стройную шею. Всю дорогу поглощал Родион глазами ту, что все эти годы мстилась ему и на войне, и в лагере, и в изгнании, и лишь на обратном пути набрался духу подойти...

Объясняться в трамвае было невозможно, и он ограничился тем, что шепнул ей адрес. Если чудо случится, и она не забыла — придёт. А если нет, то и лучше обойтись без тягостных объяснений...

Вернувшись в своё пристанище, Родион не мог найти себе места. Хозяйки не было дома, и он напряжённо вслушивался в каждый звук, вздрагивал, уловив чьи-либо шаги, то и дело подходил к окну и смотрел на дорогу. Он страстно желал, чтобы она пришла, и в то же время боялся, не зная, что сказать ей, и терзаясь одновременно обидой за давнишнее и ревностью к настоящему.

Когда, наконец, стемнело, Родион в изнеможении опустился на скрипучую кровать. Он твёрдо решил выждать неделю, а затем бежать прочь от Москвы. В

какую-нибудь далёкую глушь, подальше ото всего и всех.

Заслышав робкое поскрёбывание, Родион заставил себя не двинуться с места: ни к чему, в такой час могут скрестись только мыши. Но поскрёбывание переросло в стук, и тут уж он вскочил с постели прыжком и, боясь поверить чуду, распахнул дверь.

Аглая вошла на крохотную веранду и, ни слова не говоря, уронила голову ему на грудь, обвила руками, а затем стала оседать на пол и, вот, уже сидела, обнимая его ноги и по-бабьи захлёб плача. Родион растерялся. Разом отступила и обида, и ревность перед той, которая одна лишь и ждала его и без страха, бросив всё, прибежала по первому зову.

— Полно, Аля, что ты... — пробормотал он, пытаюсь поднять её. Но Аглая поймала его руку и, прижав её к мокрому лицу, подняла на него заплаканные глаза, прошептала:

— Прости меня! Слышишь? За всё прости! Если бы ты знал, как я ждала тебя... Все эти годы... Ни на день не забывала...

— И я не смог тебя забыть, Аля, — Родион, наконец, поднял её, погладил по плечам, успокаивая. — Мои сёстры обе спросили меня, зачем я приехал. Я не сказал им, я и себе этого не говорил... А теперь скажу. Я сюда только для тебя приехал, для одной тебя, — он чуть отстранился. — Я понимаю, много воды утекло, но для меня ничего не изменилось. Я понял это, когда ты вошла... Никто не пришёл бы ко мне сюда. А ты не побоялась... Ты, наверное, спешишь? Тебе будет поздно возвращаться одной...

— Я не спешу, — покачала головой Аглая, приблизившись. — Я сказала, что отец попросил меня приехать, что я еду проведать его дня на три... Я одного только боялась, что ты прогонишь меня.

— Три дня... — повторил Родион, чувствуя, как грудь наполняется жаром, а руки начинают подрагивать от захлёстывающего чувства. Он провёл рукой по её щеке, коснулся горячими губами волос, затем лба, глаз, губ... Вкус её губ опьянил, закружил голову, но Родион сдержал себя и уточнил снова: — Значит, останешься?

Аглая не ответила, а медленно извлекла шпильки, дав свободу своим русалочьим волосам, тяжелыми волнами покрывшим её плечи и спину. Так же прекрасна была она, как шестнадцать лет назад у омута в божелесье, только не осталось тогдашней робости и юной стыдливости. Девочку сменила женщина, не менее желанная и сама без страха идущая навстречу этому желанию...

В эту ночь он забыл и обиду, и ревность, и всё, что было с ним, оказавшись во власти абсолютного счастья, о котором не мог и мечтать. Однако, при свете дня всё возвратилось...

Полдень давно миновал, когда Родион проснулся. Аглая уже не спала, а сидела рядом, обнажённая, и смотрела на него. Любой скульптор, вероятно, был бы счастлив лепить с такой натурщицы Венер и Афродит, но Родион внезапно почувствовал болезненный укол от мысли, что не он один созерцал эту красоту.

— Зачем ты предала меня тогда, если любила? — спросил он.

Аглая потускнела, закуталась в простыню:

— Я не предавала тебя, Родя, никогда. Я никого и никогда не любила, кроме тебя.

— Тогда зачем?

— Не мучай меня, Родя, прошу тебя... Так нужно было. Во всяком случае, тогда мне так казалось. Со мной случилась беда, и я не смела прийти с ней к тебе. Ведь ты был для меня... царевичем... Почти полубогом! Я казалась себе такой чёрной и негодной рядом с

тобой... Я решила, что лучшее, что я могу сделать для тебя, это освободить тебя.

— Безумие какое-то! Ты сломала жизнь нам обоим своим благим намерением, Аля... Мы потеряли целых шестнадцать лет! Неужели ты не чувствовала, как сильно я люблю тебя?

— Чувствовала, но не смела поверить своим чувствам. Поверь, я очень дорого заплатила за это. Так дорого, что страшно вспоминать. Но это — пусть, поделом. Но твоей боли я себе до смерти не прощу, и всегда буду себя перед тобой преступницей считать.

— Полно! — Родион привлёк Аглаю к себе. — Какая ты преступница... Запутавшаяся девочка, которую я не смог понять и удержать от глупого и рокового шага. Не кори себя. Пусть эта ночь положит конец тому, что нас разъединило когда-то... Пусть прошлое останется прошлым.

— А будущее? Что нас ждёт в нём? Я не хочу больше разлучаться с тобой, не хочу снова потерять тебя!

— И я не хочу, — ответил Родион. — Но я свободен. Нищ, бесправен, но свободен. А у тебя ведь... семья...

— Я брошу его! — решительно сказала Аглая, и глаза её вспыхнули. — Он меня не остановит! И не вправе остановить!

— А как же твоя дочь? — вздохнул Родион.

— Дочь? — отрывисто переспросила Аля, вздрогнув. Она внезапно отстранилась, поднялась с постели и ответила: — У меня нет дочери, Родя.

— Как так? Я своими глазами видел вас вдвоём.

— Ты видел Нюточку?

— Да, видел.

— И что, на кого она, по-твоему, похожа?

— Не знаю... — растерялся Родион и тотчас усмехнулся: — По крайней мере, не на Замётова.

— Она похожа на отца, Родя, — голос Аглаи дрогнул.

— В самом деле? Стало быть, Замётов не отец?

— Так же как и я — не мать... — еле слышно проговорила Аля. Она подошла к своей сумке, лежавшей на стуле, и, вынув из неё две фотокарточки, подала Родиону: — Смотри!

Родион взял фотографии и вздрогнул: на одной был запечатлён он вместе с матерью, на другой Аглая со светловолосой, большеглазой девочкой, лицо и улыбка которой странным образом походили на лицо улыбающегося молодого офицера с первой карточки...

— Что ты хочешь сказать этим? — проронил Родион.

— Только то, что сказала. Нюточка копия отца... Ты её отец, — Аглая запнулась и с видимым трудом закончила: — а мать — Ксения...

## Глава 10. Плач Рахили

— Федичка мой! Федичка!.. — от этого истошного, душераздирающего крика проснулся бы и мёртвый. Голосила, прижимая к иссохшей груди окоченевшее тело трёхлетнего сына, свояченица Дарья, ещё недавно дородная, румяная баба с залиvistым смехом...

Федичка был пятым её ребёнком, которого отняла злодейка-судьба. Оставалась старшая девочка Настя, сидевшая теперь чуть поодаль, закутавшись в тряпье, и смотревшая на мать расширенными, пугающе неподвижными глазами.

Потянулись к несчастной кое-кто из баб, говорили что-то, не утешая, так как у каждой из них ближе или дальше отсюда остались свои маленькие могилки, которые никаких слёз не достанет оплакать.

А Любаша лежала. Надо было подойти тоже, но хотелось одного — забыться, забыться навсегда от нескончаемого ужаса. И невольно подкрадывалось раздражение: не завопи Дарья, и хоть несколько часов забвенья дал бы сон. Всё же приневолила себя, подошла к свояченице. А зачем? Ведь и слова вымолвить мочи нет — да и какими словами такому горю поможешь?

Отец, как всегда, оказался прав. Ещё с детства усвоила это Любаша: мать может ошибаться, может и бабка, но не отец. Его глаз дальше других видел. Почему же не вняла ему в этот раз? Почему повела себя, как мужнина жена, а не отцовская дочка-ягодка? А ведь и Боря сам — разве по своей воле решал? В его семействе своей волей разве что дядька Андриан жил, а все прочие слушались свёкра.

Филипп же Мироныч упёрся, что твой бык, решив не отдавать своего кровного. После очередного собрания,

на котором уполномоченным было без обиняков предложено вступить в колхоз или быть записанными поимённо в перечень врагов советской власти, даже Боря с братьями попытались образумить закусившего удила родителя. Но не тут-то было. Свёкор только глазами выпученными блеснул:

— Дураки вы вымахали! Только хвосты коровам крутить вам! Да нешто вы не понимаете, что если мы даже добром этим татям всё отдадим, то всё равно своими для них не станем! Всё равно свежуют раньше или позже! А, значит, биться надо! Мужичья сила — всегда великая сила на Руси была! Вот, обождите, подыметя народ!

— Да какой народ подыметя, тятя?! — воскликнул Боря. — Все ж бабами да детьми связаны! Никто на рожон не полезет!

— Бабы! Дети! Эх вы! Сопляки! Только за подолами да люльками прятаться горазды!

— Лично я с отцом согласен, — заявил Илья, старший из братьев, не обратив внимания на жалостливый Дарьин взгляд. — Главное, время потянуть. Глядишь, что-то и повернётся наверху. Раз уж повернулось. Поглядим, чья правда переважит.

— Правд, Илюшка, здесь нет. Есть правда, наша, мужичья, и их большевистская кривда. И если есть Бог, то правда кривду одолеет.

— Не кощунствовал бы ты, Мироныч, — укорила сына Фетинья Гавриловна.

— А вы, мамаша, помалкивайте, молитесь, вон, лучше за нас, грешных.

Фетинья вздохнула и перекрестилась. Её мытарствам не суждено было продлиться долго. На вторую неделю пути в обледенелом вагоне для скота она преставилась, и на ближайшей остановке тело её вынесли, не позволив родным даже проститься с бедной старухой по-человечески. Как и других погибших в пути,

могилы у неё не было: общий ров, кое-как присыпанный землёй. Та же участь несколькими днями ранее постигла и её мужа, Мирона Ильича. Этого полупараличного старца чекисты не пожалели, как и малых детей, и Боря с младшим братом Николаем до вагона несли деда на руках... Старику отчасти можно было позавидовать. Пребывавший последние годы в слабоумии, он практически не понимал, что происходит. Мирон Ильич чувствовал холод и голод, чувствовал боль, но не чувствовал самого страшного и невыносимого: как гибнет всё то, что он, некогда крепостной крестьянин, сам выкупивший себя из зависимости, строил многие годы. Его сын такого облегчения был лишён...

Лютым февральским днём в деревню нагрянуло ГПУ. Прислали вооружённые наряды в поддержку комсомольцам, двадцатитысячникам и голыдьбе. Группы активистов пошли по намеченным домам. Перво-наперво нагрянули к дядьке Андриану. Тот с обычным невозмутимым видом сидел за столом, прихлёбывал чай с блюдечка и закусывал баранкой.

— Батюшки святы! — приветствовал вошедших. — Сколько гостей в столь ранний час! Боюсь, для такой оравы у меня амущества не хватит: придётся вам мои портки надвое драть и по одной штанине носить. А, Демьяш? Тебе, чай, не впервой?

— Договорился ты, вражина, — хрипло отозвался Демьян. — Больше власть срамить не будешь!

— Бог с тобой, Демьяш! Кому это только в голову прийти может — нашу матушку-власть срамить? Сама бы не срамилась, вон какая штука!

— Ну, хватит! — стукнул кулаком по столу один из рабочих.

— Уважаю ваши внушительные кулаки, — ухмыльнулся дядька. — Что же, последний ультиматум? Кошелёк или жизнь?



— Я б тебе ультиматума не ставил, гнида, зараз шмальнул! — рявкнул Демьян. — Да уж больно начальство с вами миндальничает! Поэтому в последний раз: колхоз или тюрьма?

— Тюрьма, товарищи тюремщики, тюрьма! — ответил Андриан Миронович. — Раз вы на свободе, так порядочным людям только в тюрьме и место!

Стон и крик стоял в тот день по деревне. Не жалели ни старых, ни малых — вышвыривали в снег, глухие к мольбам, и, не в силах дожидаться, тут же делили отнятое добро. Павами выступали вчерашние оборванки — жёны лодырей и пьяниц, вырядившись в наряды, украденные из чужих сундуков. Любаша сразу узнала шубу и платок своей закадычной подружки Веры на ивашкиной жене Натахе, щерившей остатки зубов, выбитых по пьяной лавочке мужем. А ведь сколько раз Веркина мать помогала Натахе, сколько старых, но хороших вещей отдала ей, вечно ходившей в рванине, сколько подкармливала её голодных и сопрых ребятешек... И, вот, мстила Натаха за добро, кичилась своими сынками-комсомольцами, высоко задирала острый, некрасиво выступающий подбородок.

— У-у, кикимора! — погрозил ей десятилетний Веркин братец и унырнул от греха подалее за амбар.

Когда комиссия явилась по душу Филиппа Мироновича, то вначале должна была потратить некоторое время, чтобы сломать наглухо запертые мощные ворота. Свёкор ждал их у крыльца с факелом в руке. Ещё загодя закупил он керосин и, едва узнав о начавшемся погроме, несмотря на сопротивление большинства родных, вместе с Ильёй облил горючим сруб, заключил, кривя прыгающие губы:

— Теперь полыхнёт, так полыхнёт!

— Тятя, окстись! — воскликнул Николаша, ещё почти мальчишка, повис у отца на локте: — Хоть скотину-то пожалей! Она чем виновата?!

— А какая разница — пожгу я её, или в колхозе заморят?! — взревел Филипп Миронович, отбросив сына.

— Тогда и меня с ней жги!

— И сожгу!

Рассудок свёкра явно мутился последние дни. Любаша с испугом видела, как переменялось его лицо. Некогда спокойное, дышащее здоровьем, теперь оно осунулось, покрасневшие глаза словно выкатились из орбит, волосы и борода были всклокочены. В отличие от отца Илья сохранял спокойствие, но отчего-то шёл за родителем. Совсем недавно они с Дарьей готовились отмечать новоселье: их новый дом был почти отстроен. Илья мечтал, наконец, зажить самостоятельно, самому стать хозяином. И, вот, рушилась мечта, отнималось то, во что вкладывались силы и душа. Им обоим, и сыну, и отцу, легче было придать огню нажитое и погибнуть самим, чем видеть его в чужих руках, а самим оказаться, как говаривал свёкор «в батраках у лодырей».

Когда комиссия вошла, все домочадцы были на дворе. Бабы плакали, умоляя Филиппа Мироновича одуматься. Тянула к нему дрожащие руки старуха Фетинья, голосила Ульяна Кузьминична. И никто не смел приблизиться к замершему с факелом в одной руке и ружьём в другой свёкру. Только Николаша, не замеченный отцом, бросился на задний двор: догадалась Любаша — решил отворить двери скотине, чтобы та не погибла.

— А ну, прекрати дурить, Филипп! — крикнул Демьян, а у самого предательски задрожали колени.

— Только подойди! — отозвался свёкор, вскинув ружьё. — Мне терять нечего! Кто ползет, как собаку пристрелю!

Затеснились активисты за забор да друг за дружку, никому под шальную пулю попасть не хотелось. А кабы все их так приняли?..

— Дурак ты, Филька! Семью пожалей!

— А мне теперь назад дороги нет! И не тебе о семье моей заботиться! Ты у ней, у моей семьи, последний кусок отнять пришёл! Баб своих в тряпки моих дочерей рядить собрался? Выкуси, снохач! Не бывать тому!

Распалённый перепалкой, поздно заметил свёкор с боков подбирающихся милиционеров. Залаял на них Лаврушка и в тот же миг завизжал и, упав на снег, прополз несколько пядей к хозяину, оставляя кровавый след... Филипп Миронович оглянулся и, поняв, что окружён, крикнул отчаянно:

— Ах, вот вы как? Ну, так гори же вся моя жизнь синим пламенем!

Выстрел грянул, но могучая рука свёкра успела швырнуть факел в дом: свежий сруб, подпитанный керосином, вспыхнул, как свеча. В тот же миг рухнул ничком и стрелявший, сражённый пулей Ильи...

— Пожарную команду вызывайте! — раздались крики.

— Воды сюда, воды!

Филипп Миронович тяжело осел на снег, повалился на бок в нескольких шагах от застреленного пса. К нему бросилась Ульяна Кузьминична, упала, расставив руки, на безжизненное тело, завывала протяжно:

— Убили, убили кормильца! Проклятущие...

А активисты суетились вокруг. Визгливо распоряжался Демьян:

— Из амбара, из сарая тащите всё, пока не занялось! Живей! Живей! Кулацкое добро колхозу нужно!

Милиционеры тащили избитого Илью, за которым, спотыкаясь, бежала растрёпанная, зарёванная Дарья. Она потом долго металась ещё, когда мужа увезли, моля карателей пощадить её малолетних детей, разрешить ей уехать с ними. Дети в это время испуганно жались к прабабке, чуть слышно шепчущей молитвы.

Младшая дочурка родилась у Дарьи в январе. Она первой и сгинула в первые же дни пути, как ни старалась мать укутать её потеплее. Да и чем укутаешь в такую стужу? Тем более, что даже те немногие пожитки, что успелось взять из обречённого дома, были частично отобраны. Потеряв дочь, Дарья прошептала:

— Погубили нас Илюша с тятей, погубили...

— Полно, — ответил Боря. — Другие не сопротивлялись, а обречены на то же...

И то была сущая правда. Много чёрных, горестных подвод потянулось из окрестных деревень к вокзалу. И не только зажиточных, но и середняков вычёркивала власть из списка своих граждан, а многих и из самой жизни.

Никто не знал, какой путь ждёт впереди, не знал грядущей участи. Участь эта предстала сначала тем самым вагоном смерти, отнявшим старуху Фетинью с мужем, четверых детей Дарьи, дочь Веры, сына Бориной сестры Зины и Игошу... Две недели боролась Любаша за жизнь первенца, две недели, как другие матери, кутала его и пыталась согреть собственным дыханием, но смерть оказалась сильнее.

Его тоже отняли у неё на очередной остановке и, Бог знает, погребли ли хоть как-то... После этого Любаша словно онемела. Её охватило безразличие к грядущему, к окружающему. И напрасно муж заботливо предлагал ей крохи собственного пайка, который время от времени, точно спохватившись, что везут живой груз, бросали изголодавшимся заключённым конвоиры. От плохой воды многих косила дизентерия, и за время пути душ в поезде немало поубавилось.

Первые дни Любаша ещё волновалась, спрашивала у мужа, куда их могут везти. Боря пожимал плечами, а старик Федосей ответил:

— В Сибирь, девонька. Куда ж ещё могут?

Их, действительно, привезли в Сибирь. Через три недели мытарств выбросили в тайге вместе с пожитками. Уже вечерело, и холод пронизывал насквозь. Никакого жилища поблизости не было, но было кое-что из инструментов...

— Руки есть, топор есть — как-нибудь справимся... — вымолвил Боря.

В темноте, освящённой лишь огнями костров, в сугробах по колено измученные люди стали валить деревья и строить временное «жилище». Перво-наперво поставили опорный каркас из жердей, к нему прислонили свежесрубленные ели, обложили лапником и для утепления сверху засыпали снегом. В этом бараке-шалаше умельцы навесили дверь, у которой наладили печь-«буржуйку», по обеим сторонам и в центре на всю длину растянули в два-три яруса сплошные нары из жердей. На одну душу в этом «жилище» пришлось по одной десятой квадратного метра...

— Ничего-ничего, — бодрился Боря. — Были бы руки и голова на плечах... Вот, сойдёт снег — не так отстроимся! Избы срубим, огород насадим. Проживём!

Но до той поры, пока снег сошёл, рядом с шалашом успело вырасти кладбище, на котором нашла последний приют свекровь и ещё многие, многие...

Детей, которых было так много в начале пути, почти не осталось, и уже привычным стал плач матерей в тяжёлые ночные часы. Днём за работой тоска притуплялась, а ночью грызла лютым волком.

Измученная Дарья, наконец, затихла, прижав к себе безмолвную дочь. Подле неё остался лишь Николаша, обнимавший несчастную за плечи. А совсем рядом неподвижно сидела, обхватив колени, Зина. Дорога отняла у неё двоих: трёхлетнего сына и дитя, бывшее ещё в утробе. Сама после выкидыша она осталась жива чудом. И неужели только затем, чтобы увидеть, как

день за днём истают два её мальчика-близнеца? Они лежали теперь рядом с ней, укрытые шубой, неподвижные, исхудавшие, посиневшие — как не живые. Цинга уже взялась за них, как за большинство обитателей барака. Зина смотрела на них немигающими, отчаянными глазами, изредка переводя их то на Дарью, то на спящего или притворяющегося таковым мужа.

Любаша пожалела, что рядом нет Бори. Вместе с ещё тремя мужиками он накануне отправился в находившийся неподалёку совхоз в поисках работы и должен был вернуться лишь на другой день. Горе Дарьи растравило в ней её собственное, и хотелось уткнуться в мужнино плечо, услышать его всегда ободряющее слово. Одно укрепляло: с собой она дала Боре для отправки письмо сестре Аглае. Зная положение её мужа, она цеплялась за соломинку: вдруг хотя бы детей сумеет вызволить он на время, пока не удастся худо-бедно наладить жизнь здесь...

Зина так и не решилась приблизиться к свояченице, боясь её. Любаша понимала этот страх. Зина потеряла сына, но имела ещё двоих детей и мужа, Любаша также имела любимого и любящего мужа, с которым в их молодые годы могла народить ещё много детишек. У Дарьи не осталось никого: ни пятерых детей, ни мужа... Лишь одна единственная дочь, чахнувшая от лишений. Рождённой страданием чёрной зависти суеверно боялись и Зина, и Любаша.

Снова улёгшись на своё место, она не могла уснуть. В бараке слышались приглушённые всхлипы — многие души растревожило новое горе. Голос старика Федосея, знатока Писания, заменявшего для их колонии священника, прошамкал из угла:

— Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, ибо их нет...

## Глава 11. Совесть

Письмо было не очень длинным, написанным огромным почерком без знаков препинания и абзацев. Но будь оно даже вдесятеро короче и нацарапано булавкой, этого бы хватило, чтобы всякое, ещё не покрытое непробиваемым панцирем сердце почувствовало себя угрожаемым. Такая нестерпимая волна человеческого горя шла от этих строк, такой оглушительный вопль о несправедливости звучал в каждой букве, что Александр Порфирьевич по прочтении выпил целый стакан ледяной воды и промокнул шею.

Жены не было дома. Так же, как не было вчера, и позавчера, и два дня на минувшей неделе. Эти внезапные загадочные исчезновения и хуже того столь же внезапно расцветшая красота буквально изводили Замётова самыми мучительными подозрениями.

На сей раз она сказала, что едет проведать Надю, часто болевшую в последнее время. Повод был уважительный, и ничего бы против не имел Александр Порфирьевич, если бы не глаза жены... О, женщины, несомненно превосходные актрисы! Особенно красивые женщины! Особенно, когда им нужно провести мужчину и добиться своего. Но даже самая артистичная женщина не сможет скрыть одного — влюблённости и рождённого ею счастья. Глаза выдадут её своим изменившимся блеском.

Глаза Аглаи не блестели все те годы, что они жили вместе, потухнув после той проклятой ночи. Никакая ласка, никакой подарок не мог заставить их блестеть. А тут — две звезды в обрамлении густых ресниц!

Одинок вращаясь ночами на диване, Замётов готов был расплакаться от досады, злости, жалости к самому

себе. Ведь только-только ему показалось, что жизнь начала налаживаться, только-только ушло из жены то непреодолимое отвращение, что питала она к нему столько лет. И, вот, опять — мука, страшная, невыносимая...

Он несколько раз пытался следить за ней, но безуспешно, счастливого соперника обнаружить не удалось. Унижаться наёмом соглядатая Александр Порфирьевич не желал. К тому же он и так не имел сомнений в том, что жена ему изменяет. Одна эта мысль бросала в ледяной пот. После всего что было... После стольких его покаяний... После собственного прощения... Кто же тот, другой? Откуда взялся?..

Не раз силился Замётов представить себе его. И всякий раз видел перед глазами одно и то же: их обоих в самых откровенных положениях. Словно нарочно изводя себя, он представлял жену в объятиях другого и, хотя ни разу не видел того, сравнивал себя с ним. Сравнение становилось ещё одной мукой, так как зеркало никогда не бывало столь милосердно, чтобы польстить Александру Порфирьевичу...

Однажды он смотрел, как она спала. Безмятежно, чему-то улыбаясь... Ему вдруг почудилось, что ей непременно должны видаться во сне ласки любовника. Впервые за эти два года, захлебнувшись яростью, он хотел забыть свой обет и взять жену силой, разрушив её проклятые грёзы. Но... Рядом мирно спала Нюточка, и, прокусив до крови губу, Замётов ушёл к себе.

Вдруг отчаянно пожалелось, что нет больше в Москве отца Сергия. Сколько раз откладывал Александр Порфирьевич сходить к нему, боясь доноса и санкций начальства, а теперь бы бегом побежал, ища поддержки и совета. Но отца Сергия не было, и тем безраздельней оказывалось чёрное одиночество.

А тут ещё это письмо... Казалось бы, какое дело Александру Порфирьевичу до родни жены, изменяющей



ему и, в конце концов, не имеющей даже времени прочесть адресованное ей письмо сестры? А поди ж ты!.. Хотя разве важно, сестра или нет... Помнил Замётов Любашу — маленькую хорошенькую девчушку, которую тетешкал на острой коленке Игнат. Она-то — чем виновата в грехах сестры или кого другого? А чем виноват её муж? А Дарья, потерявшая на этапе троих малышей? А старики, всю жизнь работавшие в поте лица и в итоге изгнанные из дома и заморенные на том же этапе? А тысячи таких же, как они?.. И что же это, наконец, за идиотический план — истребить работающих, дельных людей и сделать ставку на ни к чему не годную шантрапу?

Снова, как уже несметное количество раз, жгло душу одно слово: *несправедливо!* Хоть, к примеру, никогда не ладилось у Александра Порфирьевича отношения с тем же Игнатом, но трудолюбие старика было им всегда уважаемо. И трудолюбие тысяч таких же игнатов по всей России — также. Всю жизнь Замётов питал сугубое уважение к людям дела. И на царское правительство лютовал среди прочего за то, что расплодило оно лодырей-аристократов, лодырей-чиновников, которые жировали в то время, когда люди труда еле сводили концы с концами. Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе... Больше всего хотелось Александру Порфирьевичу, чтобы пустоплясы, наконец, почувствовали тяжесть ярма, а рабочие кони получили овса досыта. А что же вышло? Самых-то трудяг в обмолот и пустили: крепких крестьян, инженеров, объявляемых повсеместно «вредителями», и скольких, скольких ещё! А пустоплясам — раздолье! От папашеньки Дира, черти бы его взяли, до деревенских пьянчуг... Не говоря уже о партийных и комсомольских активистах, которые знай себе только глотки драть умеют. И кто же строить будет «светлое будущее»? Митинговые пустоплясы на трудовых костях? Ничего не

скажешь, установили «справедливость» на одной шестой земного шара...

Потерянно бродил Замётов по комнате, вертя в руках письмо. Нет, не мог он просто так отбросить его. Ведь это он, член партии с пятого года, строил эту «народную» власть. Неужели для того, чтобы власть народ уничтожила? Ошпаренная чужим горем душа требовала действия, но что мог сделать простой инженер, пусть и не на последней должности в ведомстве путей и сообщений? Тут нужна была фигура куда покрепче. Лихорадочно перебирал Замётов в памяти влиятельных знакомых. Одни давно числятся в троцкистах, другие наоборот, верные псы при хозяине, третьи не того статуса...

Но всё же всплыла фамилия — Толмачёв! С ним, конечно, никогда приятелями не были, но в Шестом году в Яренском уезде Вологодчины сосланные под надзор полиции за революционную деятельность были в отношениях добрых и даже дружеских. С той поры пути разошлись далеко.

Володька Толмачёв по отбытии срока жил на Черноморском побережье Кавказа. В 1911 году был призван в армию, после демобилизации женился, одна за другой народились на свет две дочурки. Пожить семейной жизнью Толмачёву, впрочем, было не суждено: с Четырнадцатого года он был вынужден вновь тянуть лямку — на сей раз в Новороссийске. Тут-то и застала его долгожданная, и начала расти Володькина карьера, как на дрожжах.

В марте Семнадцатого именно он организовал и возглавил Совет солдатских депутатов Новороссийского гарнизона. В ноябре был назначен заведующим военным отделом, а затем — военным комиссаром Новороссийска. В июне следующего года участвовал в затоплении кораблей Черноморского флота, отказавшихся сдаться немцам по условиям Брестского

мира. С Девятнадцатого — заместитель начальника Политического отдела 14-й армии. Далее — член реввоенсовета Крыма, ответственный секретарь Кубано-Черноморского областного комитета партии, председатель Исполнительного комитета Кубано-Черноморского областного Совета, заместитель председателя Исполнительного комитета Северо-Кавказского краевого Совета и, наконец, нежданно-негаданно — нарком внутренних дел РСФСР!

Отчего вспомнилось теперь именно о нём? Оттого ли, что ещё на Вологодчине почувствовался в этом крепком парне, сыне костромского учителя не только идейный борец, но — человек? Причём, такой, который не предаст и не продаст, надёжный человек — редкое качество в пронизанные ложью времена.

Хотя и поздний был час, а не смутился Замётов — поехал прямо к наркому, зная, что тот работает допоздна, а к тому буквально на днях вернулся из инспекционной поездки по поселениям раскулаченных.

Владимир Николаевич ждать товарища далёкой молодости не заставил и по первому докладу пригласил в кабинет. Мало изменился нарком — разве что заматерел, да чуть пробивается седина в коротко стриженных волосах. Вот, только лицо какое-то помятое, почерневшее: под глазами мешки, морщины углубились. Знать, гнетёт что-то товарища народного комиссара...

— С чем пришёл, Саша? — спросил Толмачёв, словно было им всё ещё по двадцать лет, и только вчера скучали они в вологодской ссылке.

— Да, вот, принёс тебе почитать... — Замётов протянул наркому письмо.

Тот лишь скользнул по нему взглядом, спросил:

— А что, Саша, не боишься мне такие письмеца показывать?

— Да ведь ты, Володя, вроде не Ягода и не Менжинский. Вместе с тобой щи с пирогами лопали да водочку пили со скуки...

— Мда, хороши пироги были у тётки Степаниды... Добрая душа! Каждый день её мальцы нам корзинку со снедью притаскивали, а заодно все поручения выполняли.

— Угу. А Дашуха ещё и стирала, и прибирала у нас... И не только...

— Хорошая девчушка была, — вздохнул Толмачёв и, достав из шкафчика графин с водкой, наполнил две рюмки. — Выпьем, что ли, за скучные годы?

— Выпьем, — согласился Замётов и, осушив рюмку, заметил: — Вот, подумал я тут, Володя... Мы с тобой за народную власть сражались. Правительство нас в ссылку определило... Страшнейшую! Жили мы с тобой в милейшем городишке, окружённые ореолом мучеников и страдальцев за правду. Сердобольные души тащили нам снесь да пиво... Чёрт побери, мы питались там лучше, чем дома! Заняты были лишь тем, что празднично убивали время... Чтоб не утратить квалификации, с пьяных глаз мальчикам этим, а то и непотребным девкам марксово учение изъясняли. А теперь, вот, наша власть пришла... И тысячи ни в чём неповинных людей отправляют в ссылки... Да только не такие, как у нас! Им там снесь и пива не даст никто! А тому, кто даст, пожалуй, тоже не поздоровится. Неужели мы за это боролись, Володя?

— Ты сейчас соображаешь, что несёшь? — хмуро спросил Толмачёв.

— Что ж такого?

— Я не Ягода, это ты верно подметил. Но ведь и я на службе!

— Мы все — на службе... Вот, только чему мы служим, Володя? Какое счастье всего человечества,

какую справедливость можно построить на костях младенцев?

Владимир Михайлович посмурнел ещё больше, снова наполнил рюмки. Выпили, не чокаясь, как по покойнику.

— Этой писульки ты мог бы мне не приносить, — сказал Толмачёв. — Я это всё, — он сделал ударение на последнем слове, — своими глазами на днях видел! В красках!

— И как впечатления?

Владимир Михайлович сник:

— Впечатления... Глазам своим едва поверил, Саша, когда увидел. Люди размещены в бараках, наскоро состряпанных из жердей. Теснота невероятная! Полов нет! С наступлением тепла земля в бараках оттаёт, сверху потечет, и население их слипнется в грязный, заживо гниющий комок! По Архангельскому округу из восьми тысяч детей заболело шесть тысяч, умерло около шестиста. Мрут, в основном, младшие возраста... Дров и досок нет — все идет на экспорт... С продовольствием из рук вон плохо, если не забросить его немедленно — будет голод, причем как среди ссыльных, так и среди колхозников...

— Будет не просто голод, Володя, будет мор. Такой же, как в двадцатых, если не хуже. И будет он рукотворным! И мы знаем, чьими руками он устраивается! И своими ручонками помогаем ему...

— Я таких мер не поддерживаю.

— Что же, ты отрапортовал наверх о том, что увидел?

— Саша, ты в своём уме? Если я пикну хоть слово, меня сразу обвинят в либерализме или правом уклоне, и тогда уж мне самому кору жрать придётся! Тебя, правдолюбца, это тоже касается!

— Касается, Володя... Может, поэтому у меня все эти живые мертвецы мальчиками кровавыми в глазах стоят.

Стоят и спрашивают: «Кто вас просил строить ваш чёртов земной рай?» Ты сейчас про детей сказал. Умерших и больных... Ты, когда глядел на них, Саша, о Ниночке с Зоей не подумал? Их на месте тех детей не представил?

— Замолчи, Саша! — Толмачёв побагровел. — И Ниночки с Зоей не трожь! Я, если хочешь, только из-за них, только для них молчу...

— Думаешь, поможет? — спросил Замётов. — Я, вот, тоже молчу... И другие... А почему, собственно, мы все думаем, что если будем подличать, то молох пощадит нас? Ведь он ненасытен.

— А что ты предлагаешь, Саша? Давай, покажи пример. Выйди из партии, напиши письмо сам знаешь, куда.

— Самодонос никому не принесёт пользы.

— А как же совет? — саркастически усмехнулся Толмачёв. — Очистишь её.

Замётов промолчал.

— Пока я нарком, я, не выступая открыто, что бесполезно, как ты сам заметил, постараюсь, чем возможно, облегчить участь спецпереселенцев. Ты, как я понимаю, пришёл хлопотать о своих родственниках. Тут я помочь не могу. Пошли им денег, еды, тёплые вещи... В конце концов, можешь взять к себе их детей, если не боишься.

Эти слова Александра Порфирьевича задели. В самом деле, его справедливого негодования и сострадания не достало бы даже на то, чтобы приютить «кулацких детей». Такое милосердие карается по всей строгости. И в чём тогда укорять других?..

— Их детей уже нет, Володя. Мы их убили...

— Не мы! — вскипел Толмачёв.

— Нет, мы. Своей трусостью и молчанием убили. А того прежде — тем, что учинили великую стройку

нового мира. Может, мы и построим его, этот мир. Но... каким же страшным он будет! И кто будет жить в нём?

Толмачёв тяжело вздохнул:

— Я всё понимаю, Саша. Но сделать ничего не могу. Скажу тебе больше, я навряд ли долго засижусь в наркомах. Не ко двору я им. Копают под меня. Ходят слухи, что должность наркома внутренних дел упразднят вовсе.

— А кому же тогда уголовники достанутся? — недоумённо спросил Замётов.

— Почём мне знать? — развёл руками Владимир Михайлович. — Может, ОГПУ расширят... Будут они и уголовщиной, и коммунальным хозяйством и всем вообще в нашем государстве заниматься.

— Да и так уж...

— И так... Рудольфыч<sup>4</sup> болезный с постели не встаёт, так за него Ягода полноправным шефом распоряжается. А этот сейчас на взлёте. Он-то знал, на какую лошадку ставить, не промахнулся. Он-то для хозяина всё сделает. Хоть сапоги вылизет, хоть что...

Слегка опьянев, Толмачёв стал говорить злее и резче, благо дверь кабинета была плотно закрыта, и никто не мог слышать его откровений.

— А ты всё-таки, Саша, лучше помалкивай, — продолжал Владимир Михайлович. — Ты и так в числе надёжных не числишься. А сейчас сам знаешь как. Помнишь Шахтинское дело? То-то ж! А теперь ещё одних заговорщиков сыскали... Гляди, Саша! Лёгкий уклон, и так увязнешь, что никто тебя не вытянет.

Замётов поднялся, поскрёб лысеющий череп:

— Ладно, Володя, не взыщи, что потревожил. Сам не знаю, какой чёрт дёрнул прийти к тебе. Что-то, понимаешь, грызёт внутри, точит. Должно быть, совесть...

— Знакомый зверь, — усмехнулся Толмачёв. — Только не слишком лелей его. Не то задушит, как удав.

Домой Александр Порфирьевич возвращался с трепетом. Никогда ещё с такой робостью не переступал он своего порога, до того, что холодный пот проступил на лбу. Ему до отчаяния, до безумия хотелось, чтобы жена оказалась дома. И тогда он убедил бы себя, что она, действительно, была у Нади, и справился бы о здоровье последней, и, выслушав, отдал бы письмо, и после непременных над ним рыданий пообещал бы ей, что найдёт способ хоть как-то облегчить участь её родных, обнял бы её, утешая, и простил бы все новые свои муки. И она бы поблагодарила его за поддержку и заботу взглядом, лаской... Так и привиделась эта картина, и задрожало, затомилось сердце в надежде. И упало, когда глазам предстала тёмная комната и пустая, аккуратно застеленная кровать...



## Глава 12. Сон наяву

Она не солгала, когда сказала, что едет к Наде, и в том, что та нездорова — не погрешила против истины. Она умолчала только лишь о том, что навестить больную подругу отправилась не одна.

С того момента, как Аглая увидела Родиона в трамвае, жизнь её перевернулась. Всё отошло в ней на второй план или растворилось вовсе. В тот день она не могла думать ни о чём больше и лишь твердила оставленный адрес. Насилу сдерживая смятение в присутствии Нюточки, она наказала ей передать отчиму ложь про срочный отъезд к отцу и бросилась навстречу судьбе, страшась лишь одного: не застать его по названному адресу, потерять вновь...

Прошедшие годы изменили Родиона. Исчез в их равнодушной пучине юноша-офицер, а остался суровый, закалённый беспощадной жизнью человек. Черты лица его обострились, лоб рассекла, точно шрамом, глубокая морщина. Прежде гладко выбритое, с аккуратной полоской едва отпущенных усов, теперь оно было обрамлено седеющей бородой, и по-мужичьи свободно спадали русые волосы. Княжич древнерусский из ханского плена в выжженную вотчину вернувшийся — вот, кто предстал перед Алей. Княжич, бездонную чашу страданий испивший, но не сломленный, не поклонившийся хану и гордо держащий голову. А в глазах — затаённая мука и вопрос, и недоверие, и... гордость... Под ноги его ковром выстелиться, руки его целовать — одно стремление жило в Аглаиной душе. И страх, что не простит, что прогонит прочь. Но он — простил...

В ту ночь ей ненадолго почудилось, что жизнь началась сызнова, что всё бывшее, страшное, кануло, и

она, словно наново родившаяся вступает в только что пробудившуюся зарю. А утром, очнувшись, вспомнила изверга и... прокляла его, прокляла, с болью и отчаянием подумав, что все эти годы могли быть у неё такими, как прошедшая ночь, что не было бы в них ни грязи, ни стыда, что могла она просто любить и быть любимой. От этой мысли хотелось заплакать, по-детски жалобно и безутешно.

Когда же напоминание о муже сорвалось с уст Родиона, Аглая почувствовала, что ненавидит Замётова, ненавидит ничуть не меньше, чем много лет назад, когда причинённое им было ещё свежо. Окажись сейчас этот человек на пути её обретаемого счастья, и она бы, пожалуй, убила его...

В то утро она рассказала Родиону о дочери, оглушила, потрясла его. Некоторое время он рассматривал фотографию Нюточки:

— Я оставлю её у себя, можно?

— Конечно. Если б ты знал, сколько раз я себе представляла, как ты вернёшься, как я скажу тебе о ней... В самые чёрные часы представляла, и это давало силы жить дальше.

— Она знает обо мне?

— Она считает, что её отец погиб...

— А тебя она считает матерью?

— Прости меня, Родя. Но я так мечтала, чтобы она была нашей с тобой дочерью.

— Тебе не за что просить прощенья, ты ведь спасла ей жизнь, выкормила, вырастила её... Но как же мы будем жить теперь?

— Я... не знаю, Родя... — тихо ответила Аглая.

— Мы должны быть вместе, втроём. Ты, я и Аня. Мы уже искалечили половину нашей жизни, и я не хочу, чтобы также искалечена была оставшаяся.

— Ты знаешь, я сделаю всё, что ты скажешь. А быть нам втроём — это такое великое счастье, что мне

трудно поверить в его возможность.

— Мы уедем, — решительно сказал Родион.

— Куда?

— Сперва в Финляндию, Бессарабию или Польшу, а затем.... А затем, Аля, перед нами будет весь мир! В Европе мы, конечно, не останемся. Но есть ещё Канада, Штаты, Мексика... Австралия, наконец! Мой отец в юные годы пытался привить мне вкус к хозяйству, к работе на земле. Думаю, я не совсем безнадёжен, и при желании смог бы стать приличным фермером. У нас был бы свой дом, земля... Конечно, пришлось бы работать в поте лица, но нам ли бояться труда? Зато никто бы больше не разлучил нас, и не надо было бы бояться стука в дверь, чужого взгляда... стен. Аля, соглашайся! Если ты согласна, я найду способ выбраться нам всем! Клянусь тебе!

Он говорил так страстно и убеждённо, что Аглая, упоённая нарисованной им мечтой, порывисто прильнула к нему, зарываясь пальцами в его мягкие локоны, одним дыханием ответила:

— Да! Да! Я поеду за тобой, куда ты захочешь! Только береги себя, только будь осторожен!

— Не волнуйся за меня, я ведь заговорённый, — улыбнулся Родион, и от этой улыбки лицо его словно помолодело, разгладилось.

Поле двух дней бесконечного счастья Аля принуждена была вернуться домой. Муж встретил её в прихожей, помог раздеться, осведомился о делах отца. Аглая готова была до крови искусать губы. Вид этого человека, его голос причиняли ей нестерпимую боль. Боль эта рождена была одновременно ненавистью, жалостью и стыдом. Она ненавидела Замётова и в то же время жалела его, только-только поверившему в возможность обычной семейной жизни, и стыдилась перед ним за свою ложь. Вспомнилось, скольким обязана была Замётову её семья. Вспомнились

наставления отца Сергея — нести свой крест до конца, быть с этим человеком и тянуть его за собой. Вспомнилось и то, как Замётов, вняв словам батюшки, щадил её, укрощая собственную страсть. И то, как сама же совсем недавно простила его... За это прощение также было стыдно. Как могла простить? Как могла по собственной воле, без принуждения дарить ему ласки? Вот уж подлость так подлость... Перед собой, перед Родионом. Но тут же память всколыхнуло венчание. Ведь сама настояла под венец идти... И, вот, теперь венчанная жена венчанному мужу изменяет. Молнией пронеслось в уме, лишая сил: «Грех!» И при слове этом, как наяву, стал перед глазами отец Сергей с пламенным, обличающим взглядом.

Однако, никакой стыд, никакой голос совести уже ничего не мог изменить. С тех дней Аля всецело принадлежала Родиону, и всё прочее не имело значения. В своих мечтах и снах она уже видела себя вместе с ним и Нюточкой за вечерним чаем в маленьком уютном доме, в далёкой стране, грезила, как устроит всё в новом жилище, как будет заботиться о Родионе, возмещая ему все те муки, что пришлось ему вынести.

Нужно было подготовить Нюточку, но Агля не решалась, выжидая подходящего момента. Между тем, Родион готовил всё для предстоящего побега. Откуда-то были добыты паспорта, намечен путь. Чтобы не нуждаться в средствах, Аля тайком от Замётова продала кое-что из подаренных им драгоценностей. Её всё более тяготило пребывание дома, невысказанное подозрение в глазах мужа, необходимость изворачиваться и лгать.

Поездка к Наде была в таких условиях, как глоток свежего воздуха. Оказалось, что Родион хорошо знал её отца, долгое время жил у него в эмиграции и с ним, последним, простился, возвращаясь в Россию. Таким

образом, встреча эта стала поводом для многих воспоминаний и расспросов.

— Тесен мир, — качал головой Родион. — Мог ли я предположить, что дочь моего друга, столько раз при мне читавшего её письма, живёт бок о бок с женщиной, которую я уже не чаял обрести вновь!

Надя печально улыбнулась:

— Вы правы, мир очень тесен. И я рада этому, потому что могу узнать об отце не из скупых писем, перлюстрируемых ГПУ, а от близкого ему человека.

— Он очень скучает по вам, Надежда Петровна, и очень за вас переживает.

— Я тоже скучаю по нему. Но что же сделать... — Надя кашлянула и зябко укуталась в тёплую шаль.

— Почему вы не едете к нему? Ведь даже сейчас ещё не поздно! Пётр Сергеевич нашёл бы деньги, чтобы заплатить этим негодьям большевикам выкуп за вас. Что вас удерживает здесь?

— Наверное, то же, что заставило вас сюда вернуться, — негромко отозвалась Надя, помешивая ложечкой варенье в чае. — Память... И тени тех, кого мы любили... Мёртвые иногда встают из гробов — вы нам явили такое чудо.

— Вы всё ещё верите, что ваш муж жив?

— Нет... Уже нет... Но это ничего не меняет.

— Почему же? — недоумевал Родион. — Какое будущее вас ждёт здесь? Ведь вам не дадут жить, вас затопчут.

— Я знаю. Но есть Петруша. И он не хочет уезжать из России. И у него на то есть причины, — Надя бегло взглянула на Аглаю и перевела разговор: — Что Нюточка? Не собирается ли к нам в гости? Петя очень скучает по ней.

— Я, с вашего позволения, отлучусь покурить, — тактично сказал Родион, почувствовав, что женщинам нужно поговорить наедине.

Когда он ушёл, Надя снова закашлялась. Она заметно похудела, и впалые щёки её то и дело окрашивал лихорадочный румянец.

— Что с тобой? Ты выглядишь совершенно больной, — спросила Аля.

— Ты ведь и так уже всё поняла, — Надя зябко подёрнула плечами.

— Ты работаешь?

— Да.

— Где?

— Прачкой на соседней улице.

Только сейчас Аглая обратила внимание на красные, потрескавшиеся руки подруги.

— Ты сошла с ума! С твоими лёгкими!

Надя бледно улыбнулась:

— Больше никуда не взяли, что же делать?

— Это самоубийство! Тебе необходимо срочно уйти оттуда и лечиться! Тебе нужно поехать на юг... Или написать отцу, чтобы он помог вам выехать к нему. Ведь ты погибнешь!

— Полно, Аля, — Надя махнула худой рукой. — Чему быть, того не миновать. Мне бы только ещё несколько лет продержаться, пока Петя повзрослеет... Ведь без меня он останется совсем один. У нас никого нет. Миша в ссылке, а ты... Ты твёрдо решила бежать?

— Да, решила, — ответила Аглая. — Осуждаешь меня?

— За что?

— Сама знаешь, за что... Я ведь от венчанного мужа бежать собралась.

— Никогда нельзя судить чужое сердце, — ответила Надя. — А, если по правде, то я завидую тебе. Сотни раз я представляла себе, как вернётся мой Алёша. Как постучит в дверь или в окно... Бывает, ветер разгуляется, стучит ветвями в стекло, а мне чудится — он стучит, зовёт меня. Брошусь на улицу, а там только

мрак ночной. Так больно... Всё думала, вернётся он, никуда больше не отпущу, только лелеять стану.

— Так может... — робко начала Аля.

— Не может. Тут невдалеке бабка одна живёт. Юродиха. Прозорливая, говорят. Так, вот, я с благословения батюшки, ходила к ней.

— И она тебе сказала?..

Надя не ответила, только голову опустила. После паузы сказала:

— Дело одно важное осталось, на душе камнем лежит. Слово человеку дала — сдержать надо.

— Какое же слово? Кому?

— Мишеньке. Обещала я ему, что если батюшка благословит, обвенчаться с ним, чтобы он мог принять священнический сан. Я, может статься, и впрямь умру скоро, так пусть его судьба хотя бы разрешится. Сколько уж он промаялся с нами — никогда не рассчитаться мне за его доброту...

— Но ведь это же так далеко! — сплеснула руками Аля.

— Далеко, верно. Но ты отговаривать меня не старайся, я уж решила всё. Об одном прошу, для того и приехать просила: если что со мной, Петрушу моего не оставь. К хорошим людям устрой или с собой возьми... Мальчик он крепкий, смышлёный — обузой не станет никому. Только чтобы в приют не попал он! — Надя заметно разволновалась. — Я больше всего этого боюсь! Этого не допусти!

— Не допущу, обещаю тебе! — торопливо заверила Аглая. — Ты не волнуйся только и побереги себя. Я лекарств тебе из Москвы привезу, с доктором поговорю. Тебе ещё жить нужно! Ради Петруши.

— Бог милостив, — вздохнула Надя. — Может, и поживу... А вам с Родионом Николаевичем я счастья желаю. Такого, как желала себе с Алёшей... Он мне чем-

то отца напомнил. Та же офицерская косточка, белая... Алёша совсем другой был.

Неожиданный отъезд подруги дал Аглае законный повод, чтобы на продолжительное время перебраться в Серпухов. Рискованная Надина затея сильно тревожила её, и одно лишь успокаивало: не одна отправилась она, а с батюшкой, решившимся помочь ей.

Наконец, пришла радостная телеграмма: возвращалась Надя домой. А накануне её возвращения Родя, всё это время отлучавшийся по делам, счастливо объявил, что для побега всё готово.

И радостна эта долгожданная весть была, и оробела Аля. Пробираться через границу — большая опасность... К тому же с девочкой... Но и отмахнулась тотчас от сомнений: волков бояться — в лес не ходить. Всего-то и надо кордоны по тропам контрабандистским обогнуть — и новая жизнь откроется! И в ней уже никто не разлучит, за все скорби былые новая жизнь утешит.

До глубокой ночи мечтали они о том, какова будет новая жизнь. Говорили полушёпотом, чтобы не разбудить спящего за ширмой Петрушу, которому Родиона Николаевича представили лишь как друга и соратника дедушки, который пришёл к тёте Аглае в поисках Нади и был ею доставлен к ней. Смышлёный мальчик, правда, явно что-то подозревал, но помалкивал. Днём он пропадал сперва в школе, затем гулял где-то в отдалённых местах, сопровождаемый верным псом, которого он подобрал пару лет назад щенком. В это время Аля и Родион могли чувствовать себя относительно свободно, а по возвращении мальчика нужно было следовать легенде.

— Когда ты скажешь дочери обо мне? — спросил Родя.

— Завтра, — откликнулась Аглая, ласково касаясь губами его уха. — Завтра приедет Надя, мы вернёмся в Москву, и я поговорю с Аней. В крайнем случае, если



будет очень поздно, поговорю утром послезавтра. Как раз его не будет дома...

— А потом? — с волнением спросил Родион.

— Потом мы соберём вещи и приедем к тебе.

— А на следующий день мы убежим! — Родион крепко обнял Алю. — Мне даже не верится, что всё это будет так скоро, что осталось ждать всего ничего. Клянусь тебе, мы перейдём эту границу! Я бежал с Соловков, я сумел пробраться в Триэссерию... И снова вырваться из неё я смогу! Потому что теперь я сильнее втрое! Прежде у меня не было никого, а теперь есть вы, ты и Аня, и я чувствую себя способным свернуть горы!

— Да-да, всё так и будет! — прошептала Аглая. Голова её кружилась от нахлынувших чувств. Всею душой своей она была уже не здесь, а на далёкой границе, и далее — в маленьком, тихом доме, в котором её домовитыми руками будет создан неповторимый уют.

— Я буду работать в поле, вспомню, чему учил меня отец, — говорил Родион. — Мы заведём лошадь, корову... Станем простыми сельскими жителями и будем учиться простоте. Нет ничего лучше простоты... Простой пищи, простой одежды, простых отношений. В последнее время я чувствую живую тягу к земле, к природе. В природе всё естественно, всё просто и всё прекрасно. Вот так и будем мы жить. Работать, питаться плодами своих рук, по вечерам... — он чуть усмехнулся, — читать длинные старые романы. Ты знаешь, в детстве я читал много замечательных романов и, пусть это смешно, но я с удовольствием перечёл бы их теперь снова. Я стану читать тебе вслух, а ты будешь отдыхать или заниматься шитьём. Мирная, патриархальная жизнь. Почему люди беснуются и отказываются от неё? Разве придумало человечество нечто лучшее? В молодости я, впрочем, ответил бы на это вопрос утвердительно. Путешествия! Приключения!

Но сейчас, когда на мою долю приключений достало, я понял цену осмеянного и охаянного несчастными дураками простого человеческого счастья. И оно будет у нас, потому что мы его заслужили.

— Ты его заслужил, — отозвалась Аглая. — Не я, ты.

На другой день, встретив усталую, но ободрённую сделанным Надю, они отбыли в Москву.

— Завтра мы уже будем вместе, — сказала Аля на прощание, и Родион поцеловал её и долго не выпускал из объятий.

— Завтра начнётся новая жизнь... Наша жизнь...

— До завтра же!

— До завтра!

Как на крыльях летела Аглая домой, мысленно решая, как и что будет говорить Нюточке, и какие вещи необходимо взять с собой, а какие можно и нужно оставить. С девичьей лёгкостью она взбежала по лестнице, вошла в квартиру и лишь успела заметить странный беспорядок, как навстречу ей выбежала заплаканная Нюточка:

— Мама, мамочка! Наконец-то ты приехала!

— Что случилось? — испуганно воскликнула Аля, обнимая дочь. — Что?

— Дядю Саню забрали! — сквозь слёзы, запинаясь, ответила девочка.

Что-то оборвалось внутри, покатилося вниз, ударило в ноги, сделав их ватными. Борясь с темнотой в глазах, Аглая медленно переступила порог комнаты Замётова: в ней всё было перевернуто вверх дном. Аля бессильно опустилась на диван, усадила дочь рядом:

— Успокойся, милая, я с тобой. Расскажи, когда, как это случилось?

— Ночью. Они пришли, разбудили нас, всё перевернули. Даже в моих вещах рылись! А потом забрали дядю Саню и ушли.

— А что же дядя Саня?

— Всё время, пока они здесь были, он сидел на этом диване и молчал. Я бросилась к нему. Он успел сказать мне, чтобы я не плакала, и незаметно сунул мне в руку скомканное письмо...

— Письмо? Какое письмо?

Нюточка достала из кармана смятый листок, исписанный неровным Любашиным почерком. Аглая быстро пробежала глазами по строкам и покачнулась:

— Ты... читала это письмо?

Девочка кивнула.

— Ты знаешь, когда оно пришло?

— В день твоего отъезда к тёте Наде. Когда дядя Саня прочёл, на нём лица не было. Он долго бродил по комнате, потом уехал куда-то, вернулся лишь под утро. Он все эти дни почти не спал, сам не свой был. Мне так жалко его было... Я подходила несколько раз, а он отвечал что-то невпопад, меня не слушал. А два дня назад вдруг обнял меня и сказал: «Меня, Аня, скоро арестуют. Так ты молись за меня. Молись... И добром вспоминай. Я тебя всегда, как родную дочь, любил. Помни!» Так он это страшно сказал, и так горько...

— Больше он ничего не говорил? — спросила Аглая, мучаясь, словно её жарили на медленном огне. — Мне ничего не передавал?

— Передавал... Когда уже уводили его, а меня к нему не пускали, крикнул: «Передай маме, что я её люблю и за всё прощаю! Пусть будет счастлива!»

Аглая хрипло застонала и, согнувшись, закачалась из стороны в сторону.

— Завтра... Завтра... — прошептала она. — Никогда не наступит теперь это «завтра»!

Разлетались в очередной раз вдребезги разбитые злой насмешницей-судьбой грёзы. Не быть побегу, не быть, по крайней мере, до той поры, пока Замётов в тюрьме из-за неё, из-за её сестры и отца. Слишком взлетела она в наивных мечтаниях, слишком забылась...

Новая жизнь! Где она? Нет, матушка, изволь корчиться и мыкаться в старой — единственной отведённой тебе. Сон кончился, и беспощадная явь, вломившись в него с бесцеремонностью громилы, заступила на своё ненадолго покинутое место.

## Глава 13. Литератор Дир

Утро Константина Кирилловича Дира всегда было поздним. Так повелось ещё с той поры, когда он, молодой беззаботный поэт, коротал «ночи безумные» в ресторациях и не самых приличных заведениях, в революционных гостиных за спорами или в нереволуционных — за картами.

Облачившись в халат и заботливо пригладив щёткой густые седеющие волосы и пышные усы, он отпил чашку ароматного кофе, выкурил дорогую сигару и, лениво расположившись у окна, стал перелистывать пришедшую почту. Секретарша Зиночка взяла недельный отпуск, и приходилось заниматься письмами самому. Сверху лежало благодарственное письмо от школьников, перед которыми он выступал накануне. Константин Кириллович прочёл его и, довольно усмехнувшись в усы, отложил в отдельную пухлую папку, в которую заботливо складывал все получаемые благодарности с целью когда-нибудь издать их все постскриптумом к собственному собранию сочинений.

Дир любил выступать перед детьми. Несколько лет назад среди бумаг арестованного приятеля-фольклориста ему повезло найти собрание легенд и сказок различных народов. Константин Кириллович, не задумываясь, идеологически переработал и художественно стилизовал их, после чего представил, как собственные сочинения. Книга имела успех, и с той поры Дира регулярно приглашали на встречи с детьми, которым он говорил заранее отрепетированные с Ривочкой речи о том, каким должен быть настоящий советский школьник-пионер. Поначалу приходилось маленько попотеть, когда юные слушатели начинали задавать вопросы, но и тут наострился, вошёл во вкус.

— Скажите, Константин Кириллович, какое качество вы больше всех цените в людях? — спрашивает робеющая пионерка с заалевшими, как галстучек на тонкой шейке, щёчками.

— Честность! — сразу отвечает Дир. — Мы всегда должны быть честны! Перед партией, перед родителями, перед товарищами. Мы должны быть честны в деле, которому служим, отвечать за него. Я, к примеру, берясь писать о чём-либо, перво-наперво обращаюсь к себе, спрашиваю себя, верно ли то, что собираюсь я сказать моему читателю? Ведь я должен отвечать перед ним за каждое своё слово! И лишь испытав себя, берусь за перо.

Продолжительные оации всецело одобряют писательскую честность...

— А кроме честности?

— Доброту. Вы знаете, как бы ни тяжела, ни страшна была борьба, мы должны быть добры. Ведь мы живём для того, чтобы сеять добро по всему миру, освобождая угнетённых братьев от капиталистического ига. Мы должны помогать нуждающимся в помощи товарищам, заботиться о других. К этому зовут нас идеалы гуманизма.

Благодарности, цветы, фотографии на память...

В это утро писем немного пришло, и Константин Кириллович проворно разобрал их, пока не отпечатал маленького мятого конверта, в котором обнаружился исписанный детским почерком листок бумаги:

«Дарагой писатель Дир! Я читала ваши книги и знаю, что вы человек добрый и честный, жалеете детей и многим памагаете. У нас забрали маму и папу. Мы остались с бабушкой, каторая балеет. Денег у нас нет хлеба нет одежды пойти в школу тоже нет. Наши мама и папа ни в чём не виноваты. Они хорошие как вы. Мы не знаем что с ними и за что их у нас забрали. Дарагой писатель Дир! Мы живём в сыром бараке без света.

Младшие сильно кашляют. Если мама с папой не вернутся мы не переживём эту зиму. Умрём от холода и голода. Дарагой писатель Дир! Абрацуюсь к вам в надежде что вы не останитесь глухи к слезам сирот. Помагите!..»

Константин Кириллович не стал дочитывать письма до конца и с брезгливой гримасой скомкал его и бросил в корзину. Вздохнуть нельзя стало от этих попрошаек...

Приближалось обеденное время, и, сменив халат на манишку и шлафрок, Дир прошёл в гостиную, попутно придирчиво обозрев своё отражение в зеркале. Светский лев остаётся им во всяком возрасте. И в свои лета Константин Кириллович не утратил породистую осанистость, скульптурную красоту высоко поднятой головы. Расставшись с фамилией Аскольдов, он, тем не менее, ни секунды не скрывал своего дворянства и даже бравировал им, чувствуя себя за счёт него неизмеримо выше набившихся в литературу плебеев.

Константин Кириллович не любил обедать в одиночестве. Вкусная и обильная трапеза непременно должна была разделяться хотя бы несколькими гостями. Сам Дир не мог теперь вполне отдавать должное подаваемым на его стол яствам по причине предписанной врачами строгой диеты, но традиции это обстоятельство не меняло.

Гостей в этот день набралось пятеро: «молодые дарования» Коля Савкин и Федя Колосов, критик Горинштейн, популярный сатирик Любавин и поэт Жиганов.

Коля Савкин был вхож в дировский дом давно. Юноша из полуинтеллигентской-полумещанской семейки, он был начисто лишён литературных способностей, зато имел самый полезный талант: преданно смотреть в глаза, заискивающе улыбаться, робко прыскать в кулачок, когда надо, и никогда не обременять себя каверзными вопросами морали и

принципов. Одним словом, Коля умел нравиться людям. Особенно, пожившим, достигшим положения, падким на лесть. А особеннее особенного, пожившим дамам... Среди московских критикесс бальзаковского возраста мало сыскалось бы таких, кто не имел бы с Колей в тот или иной момент самой тесной дружбы.

Дир не был глуп и отлично знал цену савкинских восторженно преданных взглядов, лакейского нутра Коли. Но и его самолюбие тешил этот болванчик, готовый молча внимать любой ерунде с восхищённо выпученными глазами. Поэтому, глубоко презирая Колю, он приглашал его на обед и на чай в качестве штатного шута.

Федя был приятелем Коли. Они вместе учились на литературных курсах. Рабфаковец Федя не имел савкинских талантов. Время от времени он выдавал какие-нибудь чугунные «стихи» для газет, а по большей части шатался без дела.

Марк Аркадьевич Горинштейн входил в число самых маститых критиков Москвы и в последние годы подвизался на исследовании творчества выдающегося советского писателя Дира. Пожалуй, объём написанных им на сей предмет статей, мог в скором времени потягаться с объёмом сочинений самого Дира.

Бойкий и пронырливый еврейчик Любавин, чьей настоящей фамилии не знал никто, прославился тем, что написал сатирический роман. Роман был хорош. Вот, только объектами беспощадных насмешек «нового Гоголя и Щедрина» стали не современные городничие и чиновники, а затравленные и безответные бывшие люди: попы, нэпманы, дворяне, кулаки... Впрочем, это была родовая черта советской сатиры: она точно знала, над кем позволено смеяться, поэтому ничто иное как фельетон нередко становился первой ласточкой, первым толчком к началу чьей-либо травли, чёрной



меткой. Любавин, несмотря на молодость, таких фельетонов написал уже немало.

Поэта Жиганова, хмурого и заметно пьющего крестьянского детину, Дир знал мало и был не слишком доволен его визиту, предчувствуя, что тот может наскандалить.

Обозрев своё обеденное общество, Константин Кириллович не без ностальгии подумал о том, что когда-то за этим столом собирались представители лучших фамилий, а теперь... Савкины и прочие стрикулисты.

А Коля был уже тут как тут: угодливо пододвигал стульчики Константину Кирилловичу и Риве Исааковне, одновременно заглядывая в глаза, сыпля комплиментами и осведомляясь о здравии. Так и скакал бойким кузнечиком на тоненьких ножках своих, и, казалось, вот-вот припадёт в избытке чувств к руке. А ведь этакий кузнечик, погляди, годков через пяток матёрой саранчой вырастет — пожалуй, лучше ухо остро с ним держать. А лицо преглупейшее! Коленка, а не лицо! Только гляделки на ней пустые хлопают. Зато как смотрит! Кусочка съесть некогда, всем корпусом вперёд подался — того гляди потеряет баланс и на пол завалится.

— Что роман ваш, Константин Кириллович, продвигается? — осведомился Горинштейн, с достоинством отправляя в рот аппетитный ломоть ветчины.

— Продвигается помаленьку, — отозвался Дир. — Хочется мне, братцы, развернуть в нём простор русский! Такой, каким был он, и каким теперь, на наших глазах становится, перепаханный в простор социалистический!

— Гениально, Константин Кириллович! Конгениально! — взвизгнул Коля, прихлопнув в

ладоши. — Вы величайший писатель! Выше Горького! Выше Алексея Николаевича!

— Да Алёшка-то... — фыркнул презрительно Дир. — Бездарь, охвостье графское...

Жиганов чему-то недобро усмехнулся.

— Чему это вы усмежаетесь, Иван Егорович? Что вам показалось смешным в моих словах? — осведомился Константин Кириллович, пригубляя сухое вино из высокого старинного бокала. Эти бокалы за ничтожную сумму в Девятнадцатом он купил у одной обнищавшей княгини. Ставить их для гостей было слишком большой честью, поэтому Дир ставил лишь два бокала — для себя и Лии.

— А то, что не развернёте вы никакого простора, — спокойно ответил Жиганов, не отвлекаясь от трапезы.

— Почему?

Жиганов желчно оскалил зубы в очередной усмешке:

— А потому, что вы же сами говорите: писатель отвечает за своё слово и должен быть честен.

— Я вас не понимаю! — заёрзал Дир, подумав, что предчувствие его явно не обмануло.

— А, по-моему, яснее ясного. Вон, и друзья ваши поняли всё.

— Лично я не понял ваших намёков, извольте объяснить! — высунулся Коля.

— А чего тут объяснять? Ежели товарищ Дир взаправду опишет, что на русском просторе было, а что стало, так его из этих хором напрямик к зырянам отправят. Напишет он такую правду? Не напишет! Чего ж тогда будет? Брехня и боле ничего. А для брехни сказки есть. Оно лучшее! — Жиганов назидательно поднял вилку.

— Позвольте, вы всё-таки находитесь у меня в доме, — заметил, побледнев от гнева, Константин Кириллович. — И, вообще, за такие речи...

— Честь советского писателя требует от вас срочно написать на меня донос и призвать запретить дышать, как инженерам? — осклабился Жиганов. Только тут Дир заметил, что он вовсе не слегка навеселе, а сильно пьян. Есть такого рода пьяницы, что и, изрядно захмелев, вполне твёрдо стоят на ногах и внятно изъясняют свои мысли, вот, только язык их в такие моменты обретает опасную свободу...

— Послушай, Ваня, ты выпил и мелешь почём зря, — ласково сказал Любавин. — Побереги лучше свой талант и очень прошу, закусывай! — с этими словами он пододвинул пожавшему плечами Жиганову блюдо с фаршированной щукой и перевёл разговор на другую тему: — А я, товарищи, собираюсь писать фельетон о вреде синематографа для юных душ!

— Вот уж выдумали! — воскликнула Рива, последние годы часто снимавшаяся в немом кино. — Чем помешало вам столь прекрасное изобретение человечества?

— Изобретение, не спорю, прекрасное, когда оно показывает нам прекрасное в вашем лице. Но как быть с фильмами про гангстеров? Знаете ли вы, какой чудовищный случай произошёл недавно?

— Ах, опять пугать станете!

— Испугаться есть чего! Представьте себе, мальчик, вдохновлённый примером гангстеров, решил сам стать гангстером. Возмечтал о лёгкой жизни, о приключениях, как в кино! И что же вы думаете, он сделал? Начал с того, что убил и ограбил собственную мать, после чего сбежал из Москвы, попытался совершить несколько разбойных налётов и был пойман!

— Какой ужас! — сплеснула руками Ривочка.

— Чудовищно! — закатил глаза Коля.

— В самом деле? — приподнял густую бровь Жигалов, обсасывая рыбью кость. — Не вижу ничего особенного.

— Вы это не всерьёз! — воскликнула Рива.

— Давеча я в газете прочёл, будто один мальчик донёс на родителя, что тот помогает кулакам, и того расстреляли. Почему вы не дрожите от ужаса, Рива Исааковна? По-моему, никакой существенной разницы между этими двумя деяниями нет.

— Вы сами не понимаете, что говорите! — воскликнул Коля. — Один мальчик исполнил свой гражданский долг, а другой обычный уголовник!

— Разница между Иудой и Каином и только, — пожал плечами Жиганов. — Прокляты оба.

— Ты или дурак, Ваня, или... — Любавин развёл руками. — Замолчи лучше, послушай совета.

— Да зачем же мне молчать? Кругом люди порядочные, культурные — не выдадут. Ну, а коли выдадут, Бог им судья. Ты, Лёня, мне рот-то не заслоняй. Фельетон, говоришь, напишешь, про убийцу малолетнего? Ну-ну, напиши. Только прежде своих мертвецов сочти.

— О чём это ты?

— А о тех, кого вы тут все травили так яростно, как гончие зайца. Писатели... В гончих для затравки поднятой дичи превратились, туда же, лезут в учителя народные... Что? — Жиганов прищурился и опрокинул очередную рюмку. — Не по нутру вам моя сермяжная правда? То-то же! Хуже горькой редьки она для вас, поэтому ничего вы не напишите! Так-то! Простите, если испортил аппетит, — он поднялся, слегка поклонился. — Благодарствуйте за угощение, ваше высокородие! Прощевайте!

Едва дебошир к общему облегчению удалился, как Рива гневно набросилась на Любавина:

— Зачем вы привели его сюда, Леонид Яковлевич?

— Затем, что Ваня — совершенно замечательный типаж. Знаете, такой русский бунтарь. Стенька Разин! Он оскорбляет всех на каждом шагу, меня, как вы заметили, в том числе, но я не обижаюсь на него. Он

мне интересен. Увы, интересный, оригинальный человек в наше время строгих форм — редкая диковина. Вот, я и наблюдаю за ним, покуда он ещё не очутился там, где рано или поздно непременно очутится.

— Учтите на будущее, что нам подобные диковины не интересны, — сухо сказал Дир, чувствуя, как от раздражения закололо печень.

— Напрасно, Константин Кириллович. Вам, как крупному художнику, должны быть важны самые разные человеческие типы. Ведь они умножают тона наших палитр!

— А я и не подозревал в вас такого добродушия, — заметил Дир.

— Это не добродушие, а корысть. Ваня — человек большого таланта. Только при его хаотической жизни большого и цельного плода этот талант дать не может, зато немало полезного дичка страсти с него в свою суму можно. Я его подкармливаю, так как он всегда без гроша, а он исправно пополняет мой портфель различными полезными в моём хозяйстве идеями и отрывками.

— А не боитесь, что он своими речами подведёт вас под монастырь?

— Ни в коей мере. При возникновении подобной опасности я сделаю ход первым...

Никто не решился уточнить, что понимает Любавин под первым ходом. Ривочка заговорила о театре, и инцидент был формально исчерпан, хотя и оставил неприятный осадок в душе Дира. При слове «инженер» тотчас вспомнилось экстренное собрание работников искусств в редакции «Известий» в начале нынешнего декабря. Собрались все самые прославленные деятели: Мейерхольд, Качалов, Таиров, Довженко с Пудовкиным, Шкловский... И, разумеется, сам Константин Кириллович. Поводом к собранию послужило злосчастное «дело Промпартии». И, вот, час за часом

гневно клеймили корифеи искусств арестованных по нему инженеров «платными шпионами», «изменниками, продающими нас врагу», и прочими затверженными кличками. Товарищ Довженко в порыве благородного негодования потребовал запретить им дышать. Не отстал и Константин Кириллович от своих коллег, хотя и выбирал выражения более изысканные — грубость претила его аристократическим вкусам.

На том, в сущности, глубоко тошнотворном мероприятии не хватало лишь Алексея Максимовича. Счастливчик! Он наслаждался жизнью в Сорренто! Но бдительности не терял, посылая в те же «Известия» статьи, в которых именовал инженеров не иначе, как уродами, дегенератами, идиотами, подлецами и кретинами, и призывал бить их, как вошь.

К тому же призвали и участники собрания и под конец сочли должным обратиться к правительству с просьбой о немедленном награждении славного ОГПУ орденом Ленина за проделанную работу.

Воспоминание об этом собрании, вызванное наглой отповедью Жиганова, всё-таки испортило Диру остатки аппетита и, раздражённый, он раньше срока поднялся из-за стола, оставив гостей на попечение Ривочки.

Едва лишь Константин Кириллович собрался отдохнуть за книгой у себя в кабинете, как домработница Сима сообщила, что его спрашивает незнакомая женщина.

— Что ещё за женщина? — досадливо поморщился Дир.

— По виду, приличная. Очень красивая.

Приличная, красивая... Как бы то ни было, наверняка будет клянчить что-нибудь или за кого-нибудь просить.

— Гони её, Сима... Скажи, что я никого не принимаю.

— Она просила сказать, что дело её срочное и касается вашей семьи.

— Моей семьи? — при этих словах Константин Кириллович напрягся. — Что ж, зови... Посмотрим, что за птица.

В ожидании неведомой гостьи Дир, нехотя, водрузил себя на массивное кресло, стоявшее у столь же массивного стола, позади которого висел массивный, высотой во всю стену, его собственный портрет. На нём он был запечатлён точно так же восседавшем в кресле, облачённым в шлафрок, курящим сигару и свысока смотревшим на мир из-под полуприкрытых век снисходительным взглядом. От того, что портрет висел аккурат за спиной оригинала, у входивших возникало ощущение, что в кабинете находятся разом целых два Диры, и оба взирают на них осоловелым оком с барской надменностью, придавливают собственной мощью. Многие терялись от этого ощущения, но вошедшая была не из таких.

Незнакомке на вид было слегка за тридцать. Сима не преувеличила, назвав её очень красивой. Взгляд знатока и женолюба тотчас не без удовольствия оценил и стройную фигуру, и безупречный овал лица, и бархатистость глаз, и густые волосы цвета спелой пшеницы... Вот она, русская красота в идеале своём! Посетительница была одета в простой, тёмный костюм, подчёркивающий привлекательность её наружности.

— Прошу вас! — Дир сделал рукой милостивый жест. — Представьтесь, пожалуйста.

— Замётова, Аглая Игнатьевна.

— Аглая... Редкое имя... Чем же я заслужил ваш визит, любезная Аглая Игнатьевна?

— Я пришла просить вас помочь освободить из тюрьмы моего мужа, инженера-путейца Александра Замётова.

Константин Кириллович глубоко вздохнул. «Инженера-путейца»... *Инженера*... Да сговорились сегодня все, что ли? А ведь так и знал, что эта женщина

станет о чём-нибудь просить... Как всё тривиально! Даже обидно — при такой красоте...

— Моя дорогая Аглая Игнатьевна, я писатель, я не могу освободить заключённых! Разве только на страницах своих книг! Простите, но помочь вашему мужу я не могу.

— В таком случае, я прошу вас помочь вашему сыну, — сказала женщина, нисколько не смутившись отказом.

— Какому сыну? Уж не бредите ли вы, моя милая? У меня нет сыновей! И дочерей тоже! Увы!

— Помните ли вы Анисью? Лето в Глинском? Помните старика Порфирия, служившего у вашей матушки?

— Анисью? — медленно переспросил Дир. — Глинское...

Перед глазами, как будто пробиваясь из тумана, выплыло родительское гнездо, охотничий домик, неясный силуэт, что-то горячо шепчущий... Ещё одно усилие памяти, и силуэт обрёл плоть юной девицы, и ясно припомнились полные неги и любовного жара летние ночи. Вот, только лицо никак не вспоминалось, навсегда заволок его туман. А ведь, должно быть, хороша она была, забытая Анисья.

— Что-то припоминаю... — неуверенно произнёс Константин Кириллович.

— Вы уехали, оставив её в положении. Ваша матушка, узнав об этом, сильно гневалась и, чтобы покрыть грех, выдала Анисью за старика Порфирия Замётова, давшего своё имя вашему сыну. Ваш брат знал о нём и после смерти матери продолжал помогать ему деньгами. Приезжая в Глинское, ваш сын был допущен жить во флигеле, хотя родство никогда не признавалось открыто.

— Почему же Николай не рассказал мне о сыне?

— Этого знать я не могу, — ответила Замётова.



— И вы думаете, милая, что я просто так возьму и поверю вашей басне?

— Не знаю, поверите ли вы, но в ГПУ мне поверят, — прозвучал холодный ответ.

— Вы мне угрожаете? — поразился Дир. — Чем, позвольте узнать?

— Тем, что ГПУ узнает, что у великого советского писателя Дира помимо дворянской фамилии есть ещё сын — враг народа. И... — она на мгновение запнулась, — племянник, белый офицер, бежавший за границу с Соловков.

— Родион?! — вскрикнул Константин Кириллович. — И этот жив...

— Думаю, что ГПУ будет весьма интересно узнать о родственных узах своего классика...

Дир поспешно утёр выступивший на лбу пот. Обычная гордая надменность сошла с него, и он уже мало походил на внушительного барина с портрета. Сын... Родион... ГПУ... Холодом застенка повеяло на Константина Кирилловича от этих трёх слов, от этой невозмутимой женщины, стоявшей перед ним, словно Немезида, только без меча. Стало нестерпимо страшно и жалко себя, жалко своей уютной, устроенной жизни, могущей кануть в тартарары (подумать только!) из-за глупой проказы молодости.

— Хорошо, — выдавил Дир. — Хорошо... Я сделаю всё, чтобы освободить вашего мужа. Но давайте договоримся: я делаю это лишь из милосердия и сострадания вашему горю, меня тронувшему.

— Как вам будет угодно, — пожала плечами Немезида. — Прощайте!

— Скажите... — слабо окликнул её Константин Кириллович, — а кто он, ваш муж?

— Инженер-путеец, член партии с пятого года...

— Нет, я про другое... Я... о человеке... Скажите, а дети есть у вас?

— Зачем вам это знать?

— Да, пожалуй, незачем... Прощайте!

Оставшись один, Дир, выпил припрятанного в секретере коньяку и, закурив, подошёл к окну. Сын! Кто бы мог подумать... И какая же всё-таки подлость: мать, Николай, вся семья знали о нём и не сказали ни слова! А ведь было время, когда, устав от праздного образа жизни, Константин Кириллович задумался о потомстве, о своём продолжении. Вот, только Ривочка отказалась тогда наотрез, заявив, что не собирается портить себе фигуру и отказываться от сцены из-за его капризов. Едва не порвал тогда с нею, да тяга оказалась сильнее обиды. А в это время какой-то старик Порфирий растил его сына... Какая, чёрт возьми, глупость! Как на грех вспомнилось ещё выброшенное давеча детское письмо с мольбой о помощи, и что-то неприятно засосало в душе, и взгляд скользнул в поисках скомканного клочка на стоявшую у стола корзину — но уже успела опорожнить её бойкая Сима... Ну так тем лучше! Ещё не хватало растревожиться напрасно — этак и здоровью повредить недолго, вот, и печень колет пребольно. Всё это уже неважно, совсем неважно! Дир помахал рукой, развеивая клуб табачного дыма и туман собственных мыслей. Важно одно: употребить все усилия, чтобы вытащить этого инженера Замётова, кем бы он ни был, из клещей ведомства Менжинского и, обезопасив таким образом себя, забыть эту историю, как бредовый сон. Именно так, забыть и поехать куда-нибудь подлечить нервы и спокойно поработать над романом... В Гагры, например... Или в Батум...

## Глава 14. В клещах

Как в воду смотрел Толмачёв, когда о Шахтинском напомнил... А ведь и самому же на мысль с первых дней ещё приходило: придётся однажды эту горькую чашу выхлебать, не минет.

Все последние годы только знай погоняли сверху: скорее! Скорее! Дать план! И не важно, как дать, но главное, чтобы в срок, а лучше с опережением — тогда и премийку оттяпать можно. А планы эти специалистам спускали неучи, спускали, нисколько не сообразуясь с ресурсами, с возможностями, да ещё своих таких же начальниками ставили, и те головотяпы хороводили... При таком планировании и руководстве ничего, кроме разрухи быть не могло. И уж само собой, не давался безумный план, дураками предписанный. Но не начальству же в дурости расписываться! Нужно найти виноватого в неудачах и покарать его.

Кого назначат виновным, ещё и до Шахтинского учуял Замётов обострённым нюхом: недаром нагнетали советские газеты, внимательнейшим образом им читаемые — вредители кругом! И Алексей Максимович не преминул о том же возгласить — а этот «буревестник» точно знает, с какой стороны буря идёт...

В Двадцать восьмом году после серии забастовок рабочих Донбасса газеты подробно освещали судебный процесс по «Делу об экономической контрреволюции в Донбассе», обвиняемыми по которому проходили руководители и специалисты угольной промышленности Шахтинского района. ОГПУ утверждало, что аварии, происходящие на шахтах, равно, как и приведшее к протестам положение рабочих, являются непосредственным результатом

антисоветской деятельности нелегальной контрреволюционной вредительской организации, состоящей из дореволюционных технических специалистов. Последним вменялась в вину не только вредительская деятельность, но и создание подпольной организации, установление конспиративной связи с московскими вредителями и с зарубежными антисоветскими центрами.

Предварительное следствие вёл следователь по важнейшим делам Левентон. Слушалось дело в московском Доме Союзов, государственными обвинителями выступали Рогинский и Крыленко, бывший прапорщик, первый советский главнокомандующий, председательствовал на суде Андрей Януарьевич Вышинский, ректор Московского Государственного Университета...

После сорокадневных слушаний сорока девяти специалистам вынесли приговор. Для одиннадцати из них это была высшая мера.

Замётов присутствовал на суде. Когда оглашали приговор, ему казалось, что он уже один из тех, кто сидит теперь на скамье подсудимых, что это ему товарищи Крыленко и Вышинский предъявляют обвинения в саботаже, вредительстве и антисоветской деятельности. Александр Порфирьевич тоже был инженером, и за каждого из обвинённых мог поручиться жизнью не только потому, что абсурдны и дики были обвинения, но и потому, что инженер и вредитель — субстанции несовместимые...

Сорок девять человек... Капля в море! Пробный шар... Ревущее море, уже потихоньку становящееся советским народом, вслед за газетными истериками требовало расправ, требовало такого процесса, таких виновных, на которых можно было бы списать все неудачи в масштабах страны, а не только какого-то Донбасса.

Да и сам Вождь объявил с трибуны: «...Нельзя считать случайностью так называемое шахтинское дело. «Шахтинцы» сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко ещё не все выловлены. Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма. Вредительство тем более опасно, что оно связано с международным капиталом». Этих вечных виновных не сам он отыскал, но ещё раньше наметил, завещал, сходя в могилу, Ленин, указавший, что «буржуазные специалисты» навсегда сохраняют «буржуазную психологию» и потому предавали и будут предавать молодую социалистическую республику. Владимир Ильич часть таких «предателей» гуманно выслал из страны, Иосиф Виссарионович подошёл к делу экономичнее...

Нужен был массовый процесс, нужны были саморазоблачения, так как ни единого факта не смогло бы найти даже ведомство Менжинского и Ягоды. Вплоть до Тридцатого пощипывали аккуратно, попутно разжигая ненависть в массах, искали слабое звено. В Двадцать девятом щупальца дотянулись до родного для Замётова наркомата путей сообщения: были арестованы Николай Фёдорович фон Мекк, внёсший огромный вклад в развитие российских железных дорог, сын одного из основоположников их, и военный инженер, бывший профессор военной академии генштаба, генерал-лейтенант, в царском военном министерстве руководитель Управлением военных сообщений Величко...

Также был арестован по обвинению в участии в деятельности совета Союза инженерных организаций Пётр Акимович Пальчинский, выдающийся горный инженер и экономист. В роду его были и декабристы, и народники, сам он с молодых лет бредил революцией,

став последователем Кропоткина, при Царе сперва арестовывался, а затем в войну выступил создателем Комитета военно-технической помощи, участвовал в процессе переориентации отечественной промышленности с импортных на внутренние ресурсы... При Керенском успел побывать в правительстве, при большевиках — получить «Героя Труда». Этот уникальный специалист, крупнейший учёный мог легко уехать из СССР и занять достойное место на Западе. Отчего же он поступил иначе? В одном из своих писем Пётр Акимович объяснил: «Моё место здесь, и это долг всей интеллигенции, ещё не расстрелянной большевиками. Долг сохранять культурное наследие и долг возродить экономику. И мы будем сотрудничать с большевиками теперь, когда они от разрушения решили перейти к положительной работе». И, вот, теперь делали из него вместе с Величко и фон Мекком главарей некоего страшного заговора против Советского Союза...

Никто из них троих не дал ОГПУ нужных показаний, никто не сломался, хотя мог себе представить Александр Порфирьевич, каким пыткам подвергали их. Морально они победили ведомство Менжинского. Публичный процесс над ними провести не удалось, и они были расстреляны в том же Двадцать девятом году.

А аресты продолжались... Раздувалось, вскисло, как тесто на дрожжах, дело Промпартии, в которое вливались более мелкие дела о вредительстве: в угольной промышленности, в нефтяной промышленности, в металлопромышленности, в текстильной промышленности, в химической секции Госплана, в лесной промышленности, в цементной промышленности, в электротехнической промышленности, в области топливоснабжения, в энергетической промышленности, в энергетической военной промышленности, в энергетике транспорта, в

наркомате путей сообщения, «ленинградская группа», «профсоюз инженерно-технических работников», экономическая группа в ВСНХ, Крестьянская партия...

Уже не сотнями исчислялись попавшие под гребёнку, а уверенно за тысячу перевалило число арестованных «вредителей». И понимая это, Александр Порфирьевич ждал, когда и ему придётся занять чёрную скамью в колонном зале, когда и его крови затребует прокурор, а вместе с ним тьма неведомых, но натравленных, как свора собак, визжащая слышав команду «Ату!»

Вот, и «буревестник» вперёд всех завизжал, эту привычную команду услышав — разразился пьесой «Сомов и другие», в которой, ничуть не смутившись, вывел инженеров-вредителей, которые назло народу тормозят производство («раньше болванка из кузницы шла четыре часа, а сейчас идет семь часов»). Завершалось действие приходом справедливого возмездия в лице агентов ГПУ, которые арестовывают не только инженеров, но и бывшего учителя пения, чьё преступление заключалось в том, что он «отравлял» советскую молодежь разговорами о душе и старинной музыке.

Прочитав очередной опус Горького, Замётов под покровом ночи аккуратно снял с полок его книги, некогда столь любимые Александром Порфирьевичем, и, прогулявшись до ближайшего сквера, сжёг их. На душе заметно полегчало...

Он несколько не удивился, когда за ним пришли. Только уж очень тошно было, что снова куда-то уехала Аглая, и жаль перепуганную Аню. Подумалось, что уж теперь наверняка жена, забрав дочь, уедет куда-нибудь — как-никак рискованно оставаться, того гляди в членах семьи врага народа оказаться можно. Да и избавится, наконец, от тягостных уз под благовидным предлогом заботы о дочери...

С грустью подумал Замётов, что будет на процессе лишь одним из сотен бедолаг, которым светит от трёх до десяти, но никак не «вышка». «Вышка» — это Пальчинскому и Мекку и таким, как они. А Александр Порфирьевич что ж? Мелкая сошка, попавшая под раздачу. А когда бы «вышку» получить! Тут бы и конец мученьям... Земным, во всяком случае.

Когда через несколько дней от Аглаи пришла передача, Замётов был потрясён. Он успел проститься с нею навсегда, а она осталась... Безумно хотелось получить хоть краткое свидание с ней, но не разрешили.

Между тем, отыскалось слабое звено. Не выдержал натиска подручных Ягоды профессор Рамзин. Он не только признал свою вину, но и самым активным образом оговорил всех остальных, просто повторил, подписал всё, что требовали от него. Теперь «представление» можно было начинать...

Что такое допросы ОГПУ Александр Порфирьевич узнал на собственном опыте и, узнав, с ужасом понял, что не выдержит их, что он не фон Мекк и не Пальчинский... К нему ещё не применяли грубой физической силы, лишь морили по ночам допросами, не давая сомкнуть глаз, а уже чувствовал Замётов свой предел: голова дико кружилась и болела, разрывалась на части, перед глазами стояло алое марево, сменяющееся чернотой. На одном из допросов он потерял сознание и, придя в себя, слабо попросил врача. Врача пригласили и тот, не глядя, объявил едва живого Александра Порфирьевича симулянтom. Может, и не врач это был вовсе, а ряженный?

Он уже не разбирал задаваемых ему по кругу вопросов: о коллегах по ведомству, о Союзе инженерных организаций, о родных жены... На все вопросы Замётов бормотал плохо слушающимся языком:



— Ничего того, о чём вы спрашиваете, я не знаю, никаких обвинений в свой адрес не признаю.

Следователь переходил на ругань и угрозы, размахивал руками, выхватывал пистолет, вызвал в кабинет охранников-костоломов, поясняя, во что те в несколько минут могут превратить его и без того обиженное природой тело. Костоломы при этом недобро лыбились и закатывали рукава.

До дела дойти они не успели. Александр Порфирьевич свалился на пол, и привести в чувство его уже не смогли.

Первое, что понял Замётов, когда сознание всё-таки вернулось спустя несколько дней, что ни левой рукой, ни ногой шевельнуть он не может. Второе — что его всё же поместили в тюремную больницу. Дальше мысль не пошла, парализованная замаячившей из зыбкого тумана будущностью. Только и не доставало остаться полным инвалидом... Знать, побрезговал Вседержитель столь тёмной душонкой... В тяжёлом забытии привиделся отец Сергей, и снова до боли захотелось поговорить с ним, излить безысходное горе...

Едва живой калека следствию был не нужен, и, как безнадежно больного и обречённого, его отпустили...

Тогда впервые после ареста он увидел Аглаю. Она приехала за ним на такси, затем дала на водку дворнику, чтобы тот помог дотащить больного до квартиры... Дома Замётова тотчас уложили в постель, и сердобольный доктор Григорьев осмотрел его и пообещал сделать всё возможное. Жена в это время стояла рядом с усталым, отрешённым лицом. Это лицо сказало Александру Порфирьевичу всё. Конечно — она просто выполняла долг, как его понимала, приносила жертву и изнемогала от этого. Против своей воли он оставался её мучителем и изводился сам.

— Хочу попросить у тебя прощения, Аглая, — сказал Замётов, когда доктор вышел.

— За что?

— Наверное, за то, что не сдох и опять не смог тебя освободить... Сорная трава живуча...

Она не ответила, только судорожно всхлипнула и выбежала за дверь. И правильно: слишком фальшивым был бы её ответ...

А через несколько минут, как поток свежего воздуха, в комнату ворвалась прибежавшая из школы Аня и, со слезами бросившись к Александру Порфирьевичу, поцеловала его:

— Дядя Саня, слава Богу! Мы с мамой так молились, так ждали тебя! Теперь всё-всё будет хорошо! Ты поправишься, мы за тобой будем ухаживать, и ты поправишься...

Словно облако теплоты накрыло Замётова, и от непривычки к ласковому слову, к сердечному участию он не находил, что ответить, гладил падчерицу здоровой рукой по русой голове и безуспешно пытался удержать подступавшие к глазам слёзы. Всё-таки есть в мире человек, который, действительно, любит его, любит просто так, без корысти. Вот оно, счастье, самое большое и дорогое...

Александр Порфирьевич, действительно, стал поправляться. В немалой степени способствовала этому забота Ани, которая жертвовала своими детскими забавами, подолгу просиживая рядом с ним, развлекая своей непосредственностью. Конечно, много помог доктор, достававший нужные лекарства. Аглая также старательно ухаживала за ним, но её хлопоты были тяжелы для него. Её осунувшееся лицо, потускневший взгляд, её странные отлучки время от времени — всё это растравляло и мучило. Зачем нужно выздоровление, жизнь? Чтобы быть ей ещё и обузой, развалиной, к которой она будет прикована одним лишь понятием о нравственном долге? Ведь не жизнь это, а бездна отчаяния, из которой не вырваться, не спастись...

Поздней осенью Александр Порфирьевич впервые смог выйти из дома: опираясь на трость и поддерживаемый Аглаей, доковылял до скамейки. В Доме Союзов уже вовсю гремел процесс над «Промпартией». Перед судом предстали восемь главных обвиняемых, признавших свою вину. Масштаб этой вины поражал воображение. По данным следствия, «Промпартия» занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте, а главное, была связана с «Торгово-промышленным комитетом», объединением бывших русских промышленников в Париже, французским генеральным штабом и премьер-министром Франции Пуанкаре и подготавливала иностранную интервенцию в СССР и свержение советской власти. Несчастные признались, что в случае прихода к власти намеревались сформировать контрреволюционное правительство. Его премьер-министром должен был стать Пальчинский, министром внутренних дел — бывший промышленник Рябушинский, а министром иностранных дел — академик Тарле.

Интервенция стала главным пунктом в обвинении Промпартии. Согласно ему, все действия «вредителей» были нацелены только на одно — способствовать успеху иноземного вторжения. Даже болота осушались, чтобы обеспечить беспрепятственный проход интервентов...

Хотя доктор настоятельно запрещал Замётову чтение газет, он, верный своей привычке, прочитывал их от корки до корки. В них печатались стенограммы допросов подсудимых. Время от времени они ещё пытались как бы между строк сказать свою правду. Так, заметил старый инженер Федотов: «Всякого рода теоретические подходы дают нормы, которые в конце концов являются вредительскими». А следом за ним прорвалось у Чарновского: «Никакие вредительские

действия и не нужны... Достаточны надлежащие действия, и тогда все придет само собой».

Но редкие эти проблески в речах замученных и обречённых людей подавлялись покаяниями. «Нам нет прощения! Обвинитель прав!» — восклицал тот же Федотов. «Советский Союз непобедим отживающим капиталистическим миром», — вторил Ларичев. «Эта каста должна быть разрушена... Нет и не может быть лояльности среди инженерства!» Несчастный Очкин клеймил интеллигенцию: «...это есть какая-то слякоть, нет у неё, как сказал государственный обвинитель, хребта, это есть безусловная бесхребетность... Насколько неизмеримо выше чутьё пролетариата». А дальше и ещё шире заявления следовали от инженера Калиникова: «Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость»; «Интересы народа и интересы советской власти сливаются в одну целеустремленность»; «правильна генеральная линия партии, уничтожение кулачества»; «По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться... Коллективная воля есть высшая форма». «Показания» Рамзина, занявшие целый номер «Известий» читать было и вовсе невыносимо. Обречённые на смерть люди в последние часы своей жизни пеклись, казалось, лишь об одном — прославить пред лицом мира родную власть...

Не менее жутким, чем самооговоры истерзанных людей, было другое: многотысячные демонстрации других людей, которых клещи ОГПУ ещё не коснулись, но которые вышли на улицы с тем, чтобы требовать уничтожения первых... «Смерть вредителям! Да здравствует ОГПУ! Долой Пуанкаре! Шире развернём военную подготовку трудящихся масс! Смерть агентам! Пуанкаре война! Смерть предателям!» — такими лозунгами пестрели растяжки и плакаты, их выкрикивала тысячеголосая толпа. «Ату! Ату!» — эту

команду вложили им в умы и глотки, да так, что они, повторяя её, чувствовали себя вершителями судеб «предателей», как зрители Колизея, опускавшие и поднимавшие пальцы. Вероятно, в этой беснующейся толпе были и такие, кто пришли просто из страха, по разнарядке, спущенной их учреждениям. Но сколько же было и — *верящих!* Таких, кто взаправду уверовал в то, что их великой стране грозят страшные западные интервенты и их внутренние пособники, которых необходимо уничтожить во имя спасения страны, во имя светлого коммунистического будущего, которое хотят отобрать гнусные наймиты Антанты! Смерть же им! Ура! Смерть! Смерть! Захлебнулась воплем толпа... Почти две тысячи лет назад не такая ли ревела, раздирая ризы на груди: «Распни его!» Распни... Распни... Кровь его на нас и на детях наших... Тысячи, миллионы людей требовали смерти другим людям, миллионы молчали, принимая всё происходящее, как данность. А кровь лилась... На их и их детей головы... И какую же жуткую цену придётся платить потомкам за всю эту кровь — и за век на расплатиться!

Тридцатого ноября очередной номер «Правды» был большой частью посвящён делу «Промпартии». На другой день ему же предоставили почти все полосы «Известия». Ещё не вчитываясь, Замётов, закипая от гнева, просматривал заголовки: «Вечернее заседание 28 ноября», «Допрос подсудимого Рамзина», «Монархист-анархист», «Кое-что о теории государственной власти», «Фигура — достаточно известная», «В материальном отношении я был обставлен прекрасно», «Допрос подсудимого Ларичева», «У фабриканта Бардыгина», «В Харькове у белых», «На советской службе», «Утерянный след», «Иностранные журналисты на процессе»...

Иностранные журналисты... Подлецы... Неужто бесстыдно наврут у себя вслед советской пропаганде?

«Вечернее заседание 28 ноября», «Политическое лицо Ларичева», «Храбрость», «Работа в Госплане», «Преступная наивность», «Военная диктатура белогвардейских держиморд», «Карательная экспедиция против рабочих», «Они рассчитывали, что НЭП «переродит» советскую власть», «Единый фронт меньшевиков и кадетов», «Агитация плюс денежная субсидия», «Допрос подсудимого Калиникова», «Идея интервенции — доминировала», «Чем хуже, тем лучше»...

Чем хуже — тем лучше? Да разве же не ленинский принцип?

«Идея интервенции была продиктована извне», «Интервенты были бы хозяевами положения», «На хорах колонного зала», «Обязанности члена ЦК Промпартии», «Аполитичный Калинин руководил забастовкой», «Допрос подсудимого Чернавского»...

Довеском сообщала газета об аресте контрреволюционной группы национал-демократов, требовании ЦК горняков смены руководства геолого-разведочного управления и ускорении коллективизации новыми отрядами МТС...

— А ведь это только начало... — сказал Замётов, взглянув на принёсшую ему газеты Аглаю. — В стране начинается голод, и за это тоже кто-то должен будет отвечать. Механизм опробован, теперь можно ставить на конвейер. Я был членом РСДРП с Пятого года, а теперь рад, что исключён из её рядов... — помолчав, он глухо добавил: — Вот, только вся эта кровь всё равно не на мне ли тоже?..

## Глава 15. Осколки

Ничто так не ранит сердца, врезаясь в него острыми краями, глубоко застревая в нём на всю жизнь, как осколки иллюзий, разбитых нечаянной или злонамеренной рукой, особенно, если это рука тех, кого мы любим...

Всё повторилось вновь: она просто не пришла. Ни в тот день, ни на следующий, ни на третий... И Родион вновь метался, не находя себе места, пытаюсь понять, объяснить себе, что могло произойти. Самые мучительные подозрения и страхи терзали его. Он приезжал к дому Аглаи, но не увидел её. Справиться же о ней на сей раз было не у кого.

Когда тревога овладела им настолько, что он готов был идти к ней в дом, либо мчатся в Серпухов к Наде, дабы та помогла узнать ему хоть что-нибудь, она всё-таки приехала. Бледная, растерянная, поникшая, сообщила дрожащим шёпотом:

— Прости, Родя, но мы не сможем уехать... Пока... Его арестовали, понимаешь?

— Кого? — не понял Родион.

— Мужа... Из-за моей семьи, из-за сестры. Арестовали, пока мы с тобой в Серпухове... — голос Аглаи звучал глухо и сдавленно. — Пойми, я не могу теперь оставить его. Пока не могу...

— Пока?

— Пока он в тюрьме. Замётов сделал мне много зла, но он дважды спасал мою семью и за это расплачивается. И бросить его теперь было бы... подлостью... Разве я не права? — Аглая подняла на Родиона влажные, тревожные глаза, ищущие прощения, понимания и одобрения.

Трудно было в тот миг собраться с рассудком, слишком велико было желание сейчас, сию же секунду увезти любимую женщину и дочь с собой, и менее всего волновала судьба побочного кузена. И всё же, сделав над собой усилие, Родион рассудил, что Аглая права. Бросить в беде человека в такой ситуации было бы против совести. Хотя не слишком ли большая роскошь слушать голос совести, когда вокруг всё потонуло в низости? Бунтовало сердце против этого нелицеприятного голоса, переполняясь тоской.

Всё-таки он смирился, утешив себя тем, что Аглая хотя бы нашлась, что с нею всё благополучно, и она не оставила его. Спросил только устало:

— Сколько же протянется это «пока»?..

— Его не продержат долго! — горячо воскликнула Аглая. — Я уже попросила заступничества у твоего дяди Дира...

— Не называй этого мерзавца моим дядей! — вспыхнул Родион. — У отца твоего мужа — так оно вернее...

— Я уверена, он поможет. И тогда мы уедем, — Аглая прижалась к его груди. — Уедем, как хотели, и уже ничто нам не помешает. Мой долг перед ним будет исчерпан, и я стану свободной... Ты только подожди, пожалуйста.

— Хорошо, Аля, я подожду. Я ждал тебя столько лет, что, наверное, вытерплю месяцы...

Месяцев оказалось два. Только не столько заступничество Дира помогло тому, сколько другая беда. Мужа Аглае отдали, как нежилца по причине разбившего его в заключение паралича. Отдали, чтобы не возиться самим...

Эта новая беда оказалась горше старой. Безжизненно сидела Аглая на стуле, свесив руки меж полусомкнутых колен, опустив голову, роняла глухо:



— Нужно подождать... Он очень плох, Родя. Если я уеду, с кем он останется? Он погибнет, и я буду виновата, буду убийцей... Я не могу взять такой грех на душу, пойми, я не могу... — и плакала, глотая слёзы.

— Я не могу долго оставаться здесь, пойми и ты! — не выдерживал Родион. — Один донос, и вышка без разговоров! Мне нужно уехать. Если не за границу, то куда-то в глушь. Но я не могу оставить тебя!

Только сильнее дрожали плечи, и отчаяннее становились рыдания:

— Не мучай меня, прошу тебя! Я ничего не могу изменить, ничего! Я не переживу, если с тобой случится беда... Если тебе грозит здесь опасность, лучше уезжай, а я...мы... найдём тебя, когда всё кончится...

— Что кончится, Аля?

— Он очень плох и вряд ли проживёт долго... Я должна допокоить его, и тогда буду, наконец, свободна. Свободна перед Богом, перед людьми... Надо подождать, Родя. Всё кончится, и мы начнём жизнь с чистого листа, подальше отсюда.

И он снова соглашался ждать, жалея её, и не уезжал, будучи не в силах оставить единственную оставшуюся у него на земле близкую, любящую душу. Она всё также приезжала к нему украдкой, но реже — не с кем было оставить мужа. Эти встречи с каждым разом оставляли всё меньше радости, но наоборот — растравляли сердце, наполняли его горечью. Прежняя окрыляющая упоённость сменилась болезненной зависимостью. Разговаривать становилось не о чем, потому что всякий разговор обращался к одному — к будущему, контуры которого делались всё более туманны, и причиняли боль обоим... Оставалась страсть, горькая и мучительная. Душой Родиона всё более овладевало отчаяние.

Замётова он ненавидел в эти дни самой жгучей ненавистью. Что за проклятая пиявка! Что за

паразитическая живучесть! Казалось, что после удара дни этого проклятого страдальца сочтены, но не тут-то было! Он не только выжил, но и стал поправляться настолько, что врачи объявили, что при хорошем уходе и правильном образе жизни прожить больной может ещё годы. Конечно, о полном восстановлении речи идти не могло, но и угроза жизни миновала! В случае, правда, если не случится каких-то потрясений... Последнее означало одно — отказ от побега, ибо таковой просто убил бы Замётова. Родион понимал, что Аглая никогда не возьмёт такой грех на душу, и от этого ненавидел кузена многократно сильнее. Мелькала даже в лихорадочном полусне злая мысль: написать ненавистному калеке письмо, раскрывающее ему обман... И тогда — свобода! Свобода! Но как жить потом, зная цену этой свободе? Как смотреть в глаза дочери?

Последний раз Аля приехала вечером, уже привычно и буднично приготовила ужин и, постелив постель, стала раздеваться. Родион сидел в углу, набросив на плечи пиджак, и курил. Когда она стала аккуратно стягивать чулок, он болезненно поморщился, остановил:

— Довольно!

— Что? — удивлённо подняла глаза Аглая.

— Не надо этого... Ничего больше не надо... Так не может продолжаться, разве ты не чувствуешь? Это же невыносимо, наконец. Сейчас ты ляжешь, я погашу свет, потом... А утром ты приготовишь завтрак и уедешь до следующего раза. И мы снова не скажем друг другу ни слова. И так всякий раз! Я не могу больше смотреть, как то *наше*, которое мы не уберегли однажды, сейчас вырождается в... — Родион развёл руками, не желая употребить тяжёлого слова и не находя иного. — Разве в этом состоит *наше*? Разве только такие узы связывают нас? И только таких отношений нам довольно? Я люблю тебя, Аля, ты знаешь. Но то, что мы делаем сейчас,

убивает что-то самое главное в этой любви, то, чем я жил столько лет, даже вдали от тебя, не узнав тебя. Я не пуританин и не жил монахом. Но это другое! Я не хочу, чтобы ты превращалась в женщину, которая приходит раз в неделю приготовить мне обед и провести ночь... словно отдавая долг... Это... вульгарно!.. Обидно... Это... это очень больно, Аля...

Аглая не ответила. Она медленно поправила чулок, набросила кофту, тускло посмотрела куда-то в сторону.

— Ты знаешь, что самое страшное, Родя? — севшим голосом заговорила она. — То, что мы дошли до того, что сидим сейчас и желаем смерти другому человеку...

— А, по-моему, страшнее другое! — вспыхнул Родион. — Страшно то, что ты во второй раз разрушаешь нашу жизнь! И уже не только мою и свою, но и жизнь Ани!

Аглая поднялась, подрагивающей рукой застегнула непослушные пуговицы:

— Ты прав, конечно. Во всём виновата я одна. И несправедливо лишь то, что за мою вину приходится платить тебе и Нюточке... Прости меня. Но я... — она развела руками, — ничего не могу изменить! Ни-че-го...

От этого по складам произнесённого безнадёжного «ни-че-го» Родиона бросило в жар. Он бросился к Аглае, крепко обнял её, заговорил, покрывая поцелуями её лицо:

— Я не могу без тебя, Аля! У меня никого в мире нет, кроме тебя. Я схожу с ума от того безумия, в которое мы ввержены, на которое обречены... Прости меня. Не уходи...

Она ушла, как обычно, утром, и потекли долгие, отчаянные в своей пустоте дни без неё. Проклятый калека приковал её к себе, и Родиона изводила обида. Или только этот побочный дядюшкин отпрыск заслужил её заботу? А он, ожидавший её столько, столько преодолевший — не для неё ли одной? — не заслужил

ничего, кроме этих жалких подачек? Наконец, разве не имеет он право увидеть родную дочь? Ночи проходили без сна от душившей едва ли ни до слёз бессильной ярости.

Наконец, Родион решился. Длительнее дальше безнадежную связь, выхолащивавшую саму жизнь из соединившего их чувства, было нельзя. Нужно было уезжать... Не за границу, нет. К чему она теперь? В какой-нибудь глухой медвежий угол, где никто не станет искать.

Накануне он в последний раз бродил по Москве, по кладбищу навсегда опустевших адресов, по которым когда-то жили дорогие или просто знакомые люди, поклонился мысленно уцелевшим святыням, простился с памятными местами и послал к Варюшке мальчонку с запиской, сообщая о своём отъезде.

Поздно вечером нагрянул неожиданный гость.

— Родька! Живой! Родька! — успел позабыть Родион Никитины медвежьи объятия, а тот так и смял своими не утратившими прежней силы ручищами, затряс и приподнял даже, переполненный искренней бурной радостью.

— А я уж и не ждал тебя... — улыбнулся Родя, поведя чересчур придавленным другом плечом.

— Так я только сегодня узнал, что ты здесь! — воскликнул Никита, хлопнув на стол мутную пол-литру и обнажая подстриженную под бобрика крупную голову.

— Варя всё-таки не сказала?..

Никита смутился:

— Ты должен понять её, Родя... Она мать. И она, и я уже успели побывать в тюрьме. Случись что, кто позаботится о детях?

— Как же она сегодня тебя пустила?

— Да ведь письмецо-то твоё оголец мне вручил, — рассмеялся Никита. — Варьки дома не было. А пришла

— я уж побушевал, как она могла от меня утаить, что лучший друг мой жив-здоров, живёт неподалёку.

— А сам — не побоялся прийти? — спросил Родион, доставая стаканы.

— Я, Родион Николаич, офицер, — заметил Никита. — И друга у меня настоящего, кроме тебя, не было.

— Так ведь дети...

— Да, дети, — кивнул Громушкин. — Ради них на многое закрывать глаза приходится и на многое идти. Но если бы я тебя не повидал, и ты бы меня предателем посчитал, не простил бы себе, ей-Богу.

— Что ж, спасибо, что пришёл, — искренне поблагодарил Родион. — И прежде чем мы с тобой наберёмся в честь моего очередного отъезда, хочу тебя попросить.

— Изволь!

— Давай не будем говорить о нашем нынешнем... Я очень рад тебе и не хочу омрачать нашей, быть может, последней встречи, болезненными вопросами и спорами. Давай просто посидим и вспомним наши лучшие дни.

— Таковую просьбу я выполню с огромным удовольствием, — согласился Никита, — потому как говорить о действительности мне самому, говоря по чести, тошно. Я ж, Родька, и прежде неразговорчив был, а теперь всё что немтырь! Правду сказать — язык холодеет, а перед враньём — гирей стопудовой наливается. Вот, и молчу. Только вряд ли буду «господствовать на свете»... — он поднял стакан. — За Корпус, Родька! За всех наших!

Зарок был неукоснительно исполнен обоими друзьями, за полночь меж ними ни слова не было сказано о том, что могло посеять раздор, омрачить встречу. Зато успели вспомнить всех друзей юности, преподавателей Корпуса, прогулки по Москве... Ночью Родиону снился бал в Корпусе, на котором он танцевал

с Аглаей, а затем колокольня Ивана Великого, с которой он вновь обозревал пёстрый лик Первопрестольной, чувствуя птичью невесомость в теле и восторг в груди...

Утром Никита протянул ему потрёпанный портфель, с которым пришёл накануне:

— Вот, возьми. Варька просила передать.

— Что там?

— Посмотришь сам, — старый друг ещё раз крепко обнял Родиона и, по-русски троекратно расцеловав, простился: — Извиняй, что не провожаю на вокзал. Служба... До встречи, Родька! Может, свидимся ещё на этом свете, коли поживём подольше.

— До встречи, — кивнул Родион. — Поцелуй за меня Варюшку и племянников. Будьте счастливы!

Когда Никита ушёл, он раскрыл оставленный им портфель и с изумлением обнаружил в нём старинный альбом с гравюрами, принадлежавший отцу. Меж страниц была вложена записка сестры...

«Милый Родя! — писала Варюшка. — Я виновата перед тобой за то, как встретила тебя, но ты, я знаю, простишь меня. Незадолго до смерти папа передал мне этот альбом, наказав беречь. Все эти годы я берегла его, не продав даже в голодную пору. Завещая мне его, отец также наказал мне быть достойной его фамилии, его веры в меня. После разговора с тобой я вдруг поняла, что папа, будь он жив, говорил бы твоими словами, поступал бы, как ты... Я передаю тебе нашу единственную семейную реликвию потому, что из нас троих ты один остался *Аскольдовым*, настоящим наследником отца. Думаю, он одобрил бы меня... Надеюсь, эта вещь однажды пригодится тебе...»

Пелена слёз заволокла глаза Родиона. Чувство благодарности к сестре переполняло его сердце. Как ни закутила её действительность, как ни затуманил ум агитпроп, а душа, прямая и любящая, осталась прежней.

Несколько минут он перелистывал драгоценный фолиант... Дорог дар, да только к чему такой скитальцу, лишённому имени, дома и родных, на пыльных дорогах, представляющих столько случаев лишиться куда менее ценного имущества? Решение пришло само собой и, бережно убрав альбом в портфель, закинув на плечо вещмешок, Родион навсегда покинул очередное временное жилище, ставшее для него местом огромного счастья и безысходного отчаяния...

## Глава 16. Наследство

«Сорная трава живуча...» — от этих слов, полных жгучей боли, скрываемой под тоном издёвки, перехватило дыхание. Но не хватило Аглае духу ответить. Словно мысли её прочёл Замётов, и от этого опалил стыд.

Можно принять самое тяжёлое и невыносимое решение, можно отречься от себя, от собственного счастья, бывшего так близко, можно обречь себя на беспросветные годы рядом с ненавистным, тяжело больным человеком, можно принять крест, изломать беспощадно в который раз собственное естество... Одного нельзя — приказать сердцу не чувствовать или же чувствовать иначе.

В эту осень она впервые так явственно ощутила его — своё сердце. Не в смысле переносном, душевном, чувственном, а в самом что ни на есть физическом. Сердце болело, словно раскалённым клинком пронзали его, а затем поворачивали, поворачивали... Сердце мстило за муку, которой подвергалось столько лет и обрекалось вновь.

Последние недели Аглая не навещала Родиона, не могла отлучиться от мужа. Всем своим существом она чувствовала, как закипает обида в душе любимого человека, тихо плакала по ночам от жалости к нему, но ничего не могла изменить. Как могла Аля оставить Замётова? Сама себе никогда не простила бы потом. И Нюточка никогда бы не приняла... И не благословил бы отец Сергей... Даденный Богом крест надо нести до конца, как бы тяжёл он ни был. Но, Господи, Господи, как же невыносим он! И где силы взять?..

Таким мыслям в очередной раз предавалась Аглая, сидя у окна и невидяще глядя на падающий густыми



хлопьями снег. Хлопнула дверь в прихожей — это Нюточка прибежала с уроков, и Аля поспешила ей навстречу, предупредить, чтобы не шумела, не будила задремавшего больного.

Нюточка скинула с ног валенки и, переобувшись в тапочки, не снимая шубки и берета, всучила Аглае довольно объёмный свёрток:

— Тебе просили передать! — улыбнулась озорно.

— Кто? — удивилась Аля.

Нюточка беззаботно пожала плечами:

— Какой-то гражданин, — скинула, наконец, шубку, засыпав пол снегом, спохватилась: — Сейчас подмету!

— Успеешь, — остановила её Аглая. — Что за гражданин?

Снова пожим плечами:

— Незнакомый.

— Нюта! Ну, что ж, я из тебя каждое слово тянуть должна? Ты можешь объяснить по-человечески?

Нюточка сделала нарочито серьёзное лицо и заговорила чётко, точно делая доклад:

— Я шла домой. В нескольких шагах от дома меня окликнул гражданин.

— Как он выглядел? — взволнованно спросила Аглая.

— Не бойся, мама, не бандит, — девочка весело улыбнулась. — Очень даже хорошо выглядел! Высокий, красивый! Был бы помоложе, я бы влюбилась! — она тихонько рассмеялась.

— Была бы ты сама старше... — махнула рукой Аля. — Влюбилась бы она...

— А что? У нас в классе, например, Соничка в Стасика влюбилась, целыми уроками на него глазеет!

— Поэтому, видимо, все сочинения и контрольные она списывает у тебя... Бог с ней! Ты дальше рассказывай!

— А что дальше? Гражданин представился твоим старым знакомым и попросил тебе передать этот свёрток.

— И тебя это не удивило?

— Конечно, удивило! Я ему сказала, чтобы он просто зашёл к нам в гости, но он ответил, что у него была какая-то размолвка с дядей Саней, и он бы не хотел его тревожить. Слушай, мам! — глаза Нюточки засветились. — А он что, влюблён в тебя был, да? И они с дядей Саней из-за тебя поссорились?

— Нюта, перестань говорить вздор! — прикрикнула Аглая на девочку. — Что он ещё сказал?

— Сказал, что через час уезжает из Москвы, поэтому не может проститься с тобой лично, и просит передать тебе небольшой подарок на память и письмо...

— Уезжает?.. — переспросила Аля помертвевшими губами.

— Ну да. Потом он ещё поцеловал меня в лоб и пожелал счастья. Вот и всё, — Нюта небрежно бросила берет на полку. — Мам, я поем, ладно? Ужас, как проголодалась...

— Да-да... Суп в кастрюле, разогрей...

Когда девочка скрылась на кухне, Аглая быстро прошла в их комнату и дрожащими руками развернула свёрток. В нём лежал старинный альбом с гравюрами и письмо...

«Дорогая, единственная моя Аличка!

Прости, но я не мог уехать, хотя бы раз не поцеловав дочь, не сказав с нею слова. Мне кажется, я нашёл для этого самый невинный повод. Случилось так, что в моих руках оказался этот альбом — единственная память о моём отце, наша семейная реликвия... Он стоит не просто больших, а огромных денег, цену ему знают лишь настоящие коллекционеры. Я хотел бы, чтобы эта вещь принадлежала моей дочери, была бы моим наследством ей. Я не прошу тебя, Аля, теперь же

рассказать ей всю правду, но, когда она достигнет совершеннолетия, расскажи ей обо мне. Всю ли правду о нас говорить или нет, решай сама. Но моя дочь должна знать, что она — *Аскольдова*, знать, кем были её отец и дед. Тогда и отдай ей этот альбом — как память обо мне. Если случится так, что вам будет очень трудно, вы можете продать его — я не осужу вас, потому что дороже вас двоих у меня никого нет.

За меня не тревожься. Сегодня я покидаю Москву. Ты знаешь, почему... Я не смею ни в чём винить тебя. Видимо, так угодно Богу, чтобы нам не быть вместе. Я не знаю, насколько уезжаю. Не буду говорить «навсегда», потому что уже дважды «навсегда» покидал Россию. На этот раз я не оставляю её, но попытаюсь найти какой-нибудь дальний угол в Сибири или на Дальнем Востоке, где и останусь. Может быть, через несколько лет на меня опять найдёт нестерпимая маята увидеть тебя хоть раз, и я приеду в Москву... Ты же искать меня не пытайся.

Прощай, Аличка. Я хотел бы пожелать тебе счастья, но слишком знаю, что оно невозможно для тебя так же, как и для меня. Поэтому желаю одного — счастья для нашей Ани. Береги её и себя!

Твой Родион».

Прочитав это краткое письмо, Аглая едва удержалась, чтобы не закричать. Быстро убрав альбом в свою тумбочку с тем, чтобы перепрятать позднее, она выбежала в коридор и, быстро надев пальто и валенки, сказала выглянувшей из кухни Нюточке:

— Мне нужно ненадолго отлучиться. Если дядя Саня проснётся, скажешь, что я поехала проведать тётю Лиду. Всё поняла?

Девочка пожала плечами.

Выбежав из дома, Аглая в который раз пожалела о канувших в лету извозчиках. Снег мёл всё сильнее, слепил глаза. Словно обезумевшая, Аля бежала сквозь

него с непокрытой головой, затем ехала на трамвае, показавшимся немилосердно медленным. Трамвай! В трамвае в первый раз он окликнул её... Она сидела тогда на том же месте, рядом с входом, а он позади...

— Обилечиваемся! Обилечиваемся!

И почему у старух-кондукторш такой противный, визгливый голос?..

Если бы знать наверное, куда он едет! С какого вокзала! Но если подумать... Он же написал, что поедет в Сибирь! А, значит, Транссиб? Ярославский?..

На вокзал Аглая прибежала, едва дыша, спросила у первого встречного служащего:

— Скажите, сибирский поезд уже был сегодня?

— До Владивостока-то? Как не быть! — ответил тот. — Опоздали, гражданочка. Только-только отбыл. Вон, — дёрнул щетинистым подбородком, — виднеется ещё.

Аля посмотрела в указанную сторону и увидела тающий в снежной заверти поезд. Она не могла знать точно, но всем сердцем почувствовала, что это — *тот самый поезд*, поезд, навсегда увозящий от неё её Родиона. Навсегда, потому что новой встречи не будет... А она даже не успела проститься с ним, увидеть, поцеловать в последний раз. Поезд скрылся за стеной снегопада, и Аглая, хрипло и бесслёзно заплакав, бессильно опустилась на платформу, согнувшись, уткнувшись в неё лбом, не обращая внимания на снующих мимо людей.

— Эй, гражданочка, вы что это? — встревожился старичок-служащий. — Ну-ка поднимайтесь! Не положено здесь плакать. Давайте-давайте, соберитесь-ка. Домой идите!

— Да, вы правы... — ответила Аля, тяжело поднимаясь. — Плакать *не положено*... Спасибо...

— За что ж?

— Так... — Аглая, покачиваясь, побрела к выходу.

— Гражданочка, может, вам врача? Или проводить? — окликнул её старик.

Аля, не оборачиваясь, покачала головой. Сон кончился, и наступила явь, пронзительная и ещё более чёрная, чем прежде. И в этой яви снова надо было учиться дышать, жить без надежды на то, что однажды в трамвае бесконечно дорогой голос вновь окликнет по имени...

## Глава 17. Жития

Давным-давно, когда в унылые недели постов отец по вечерам читал Жития Святых, Ростислав скучал. Жизнеописания древних подвижников не только не укрепляли его веру, но наоборот. Слишком трудно было поверить, что такие люди могли существовать в действительности. Отделённый от первых христиан многими столетиями, он воспринимал рассказы об их подвигах, как легенды, эпос, в котором, конечно, есть зерно правды, но куда больше вымысла.

Теперь он знал точно: ни единое слово в тех Житиях не было вымыслом, и мученики первых времён существовали взаправду. Он знал это потому, что видел таких людей воочию, более того, неисповедимому Божию промыслу было угодно ввести его в их круг.

Первые христиане делали своими церквями скрытые от чужих взоров пещеры, каменоломни, катакомбы. Христианам предпоследним нерукотворными храмами стали леса. На Соловках их было несколько, и первый среди них — «Кафедральный собор» Соловецкой Катакомбной Церкви, белыми стенами которого служили берёзы обступавшие кольцом отдалённую поляну, а куполом — небо. Ни в одном храме не возносилась душа так близко к Богу, как здесь. Неважно, что служить приходилось шёпотом, что при обнаружении «несанкционированного действия» участникам грозила Секирка, важно, что в такие мгновения Господь сам сходил к верным своим, даруя утешение.

Полгода провёл отец Вениамин в доме на Шпалерной. Третьего августа арестованным иосифлянам вынесли приговор. И вновь только подивиться можно было причудам большевистской

юстиции. Бывший полковник Белой армии был приговорён ею к пяти годам ИТЛ с последующей ссылкой, а священник Николай Прозоров — к расстрелу... К высшей мере приговорили также отца Александра Тихомирова и архиепископа Димитрия. Последнему ввиду преклонных лет расстрел заменили десятью годами ИТЛ...

Вспоминалось, как через несколько дней после приговора дверь в камеру отворилась, и раздался окрик:

— Прозоров Николай Кириакович — с вещами на выход!

«В комнату душ...» — так говорили в Гражданскую... Отец Николай поднялся, с волнением взял скудные пожитки и, уже совершенно спокойный, простился с оставляемыми сострадальцами и ушёл, провожаемый их всё понявшими взглядами. Его страдания были завершены, и он мог быть спокоен, зная, что идёт ко Господу. Страдания их ещё длились...

Когда-то в отрочестве Ростислав прочёл в случайно попавшей в руки книжице об ужасах рабства. Книжица была скучна, и содержание её моментально выветрилось из головы, но запомнилось описание транспортировки отловленных в Африке людей в «цивилизованные страны». Клетки размером с гроб, трюмы кораблей, в которые затолкнуто в несколько раз больше «живого товара», чем они могли вместить, отсутствие воды и пищи, повальная дизентерия, нечистоты, смрад... В таких чудовищных условиях гибло больше половины людей. Трудно было поверить в возможность такого ада и в то, что в нём кто-то мог выжить.

Теперь он знал доподлинно: и тут ни йоты не выдумал позабытый автор. Передовой опыт, применённый в XX столетии в отдельно взятой стране, возродил опыт рабовладения во всех красках с одной

поправкой: рабы не привозились на названные великими стройками плантации из дальних колоний, а вырывались из гущи её собственного народа.

Великие рабовладельческие империи прошлого перестали быть таковыми, когда лишились бесплатной рабочей силы, рабов, освободив их в приступе гуманности. Та же участь, вероятно, ожидала в будущем и новую рабовладельческую империю, в которую обратилась страна, когда-то именовавшаяся Святой Русью...

С такими мыслями отец Вениамин лежал на втором ярусе (решётке, надвое разделившей пространство) подло именуемого «столыпинским» вагона, стиснутый со всех сторон людьми, масса которых превышала в разы число, которое могло туда вместиться. Пищи и воды не было, но отчасти и ко благу: в вагоне, где люди лежали вповалку, не имея возможности шевельнуться, даже такое сомнительное «удобство», как параша, было недостижимо. На первом ярусе скончался один из заключённых, и напрасно кричали лежавшие рядом, чтобы покойника убрали от них — так и проехал, смердя, до пункта назначения...

А затем была приёмка новой партии рабов на Соловках, и то, что казалось немыслимым вновь обернулось кошмарной явью... Многочасовая муштра на ледяном ветру под аккомпанемент отборной матерщины, избиения ослабевших «в битое мясо» озверевшими конвоирами, прапорщик Курилко, раздающий зуботычины не понравившимся арестантам. Впрочем, он, этот Курилко, оказался не самым большим злом. Бывший офицер, коренной петербуржец, этот человек, столь жестокий обычно, был исключительно обходителен со «своими»: с петербуржцами, с офицерами...

Случись оказаться на Соловках годом раньше, отец Вениамин вряд ли ступил бы в 1930 год. Аккурат на



закате 1929-го, в преддверье широкомасштабных чисток в лагере освобождали место для новых партий... Освобождали единственно возможным способом: уничтожением ранее прибывшего контингента. Само собой, уголовных не трогали. Они, равно как и бытовики, были объявлены социально близкими, тогда как политические — социально опасными. Первых теория заповедала перевоспитывать, вторых — использовать исключительно на физических работах, то есть медленно и последовательно изводить. Реальность, правда, всё-таки поправляла теорию: сколь ни социально близки были советской власти воры и бандиты, но доверить им склады и каптёрки было делом немыслимым — перевоспитуемые вовсе не собирались отказываться от привычного ремесла. Не мешала им социальная близость и обворовывать вольнонаёмных. Волей-неволей приходилось начальству нарушать указания и ставить на ответственные работы «контру».

Тем не менее, «близких» лелеяли, а потому уничтожались лишь те, кто перевоспитаться не мог — «бывшие» люди. Шестьсот человек было «отправлено в расход» в те осенние дни. По ночам их партиями выводили мимо запертых барачных входов и расстреливали. Тела наспех закапывались у южной стены монастыря в братской могиле, курган над которой и ныне могли указать старожилы. К нему, правда, добавились другие — начатое тюремщиками зимой довершил завезённый с материка тиф, выкосивший много душ.

Среди убитых в страшные дни был и Георгий Михайлович Осоргин, человек, который в соловецком аду всецело посвятил себя помощи товарищам по несчастью. Будучи делопроизводителем лазарета, в каждом прибывающем этапе он разыскивал своих и старался устроить их, как мог, избавить от

убийственных общих работ. Многие узники были обязаны жизнью благородству этого человека, давшего живой пример деятельной христианской любви к ближним. Рассказывали, что он уже был арестован, когда к нему на свидание с материка приехала жена. Его отпустили к ней, чтобы не пошло прежде времени слухов, и он ни единым словом не встревожил её, ничем не выдал нависшей над ним угрозы. Едва бедная женщина покинула остров, как Осоргин был расстрелян.

Незадолго до этого Соловецкий лагерь посетил Горький. Экскурсоводы от ГПУ продемонстрировали ему в качестве заключённых обряженных в новёхонькие рубы чекистов. Классик пролетарской литературы умилялся... Многие наивные ждали его приезда, надеясь, что он, всегдашний защитник угнетённых, наконец, скажет правду, положит предел соловецкому кошмару, заступится за невинных... Один из малолетних узников рискнул наедине рассказать ему о том, что скрывали созданные чекистами к его приезду декорации. Алексей Максимович прослезился и... оставил в «Книге отзывов» Соловецкого лагеря восторженные похвалы тюремщикам, «которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры». Наивного парнишку, судьба которого несколько не озаботила «заступника», расстреляли...

Как ни прорядили соловчан из «бывших», но немало их оставалось в лагере. Иные прибывали с новыми потоками. Таким образом, как и на Шпалерной, отец Вениамин очутился среди своих. Как и на большой земле, на Соловках не было церковного единства: часть духовенства принимала митрополита Сергия, другая стояла на позициях иосифлян. Последних становилось больше по мере того, как поток их нарастал, и соловчане узнавали доподлинно о том, что происходит вовне.

Ядро соловецкой Катакомбной Церкви составляли епископы Иларион (Бельский), Виктор (Островидов), Максим (Жижиленко), Дамаскин (Цедрик), священник Николай Пискановский, профессор Иван Андреевский.

Епископ Виктор был единственным, с кем отца Вениамина до сих пор не сводила судьба, хотя не раз доводилось ему среди прочих документов перевозить и копии его пламенных воззваний. Казалось, что человек, пишущий подобное, должен выглядеть суровым пустынноиком, бичующим грехи и неправды, ветхозаветным пророком, Аввакумом. Но владыка, за глаза ласково называемый многими в лагере «владычкой», совсем не соответствовал этому образу.

Невысокий, румяный, синеглазый, одетый в какую-то бабью кофту поверх обкромсанной рясы, он походил на скромного сельского попа, а не архиерея. И не праведным гневом пылал его взор, а лучился теплотой и любовью, весёлостью и добротой, притягивавшей к нему людей. Всех он встречал открытой улыбкой, словно вслед батюшке Серафиму обращаясь к вошедшему «Радость моя!», со всеми был ласков и приветлив. «Каждого человека надо чем-нибудь утешить», — говорил он и умел утешить всякого, не делая исключений ни для кого — даже для «урок». Для каждого встречного у него было какое-нибудь приветливое слово, а часто даже какой-нибудь подарочек. Когда, после полугодового перерыва, открывалась навигация, и на Соловки приходил первый пароход, владыка Виктор обычно получал сразу много вещевых и продовольственных посылок с материка. Все эти посылки через несколько дней он раздавал, не оставляя себе почти ничего.

В лагере епископ Вятский работал бухгалтером Канатной фабрики. Домик, в котором находилась бухгалтерия и в котором он жил, располагался вне кремля, на опушке леса. Сюда часто приходили к нему

для бесед, как соловецкие иосифляне, так и просто искавшие утешительного слова люди. Особенно продолжительны были разговоры владыки Виктора с владыкой Максимом, подвизавшимся в санитарной части. Их споры не были, по крупному счёту, спорами, а лишь обсуждениями единомышленниками отдельных явлений, видимых с разных сторон. Убеждённый пессимист, епископ Максим, готовился к тяжёлым испытаниям последних времён, не веря в возможность возрождения России. А владыка Виктор, несмотря ни на что, верил в возможность короткого, но светлого периода, как последнего подарка с неба для измученного русского народа.

Духовником владык был протоиерей Николай Пискановский, с которым отец Вениамин был знаком прежде. Ещё со времён патриарха Тихона отец Николай исполнял при украинских епископах-тихоновцах то же послушание, что и сам он в последние годы при архиепископе Гдовском — ведал организацией встреч епископата, обеспечивал безопасную и эффективную связь специальными посланцами и перепиской по условленным адресам, доставлял в разные точки страны письма и документы.

Некогда именно отец Николай получил из рук покойного митрополита Агафангела Ярославского отказ от притязаний на местоблюстительство, которого так добивался Страгородский...

Год спустя, направляясь в очередную ссылку, в Воронеж, он заехал к последнему в Нижний Новгород, чтобы передать ему послание от группы украинских иерархов, осуждавших Декларацию. На встрече с митрополитом отец Николай просил и убеждал его отказаться от позорного акта, но безуспешно. По этой причине и сам он уже не мог принять предложение Страгородского не ехать в ссылку, а принять хороший приход в Нижнем Новгороде.

Прибыв в Воронеж, отец Николай вслед за епископом Алексием (Буюм) и многочисленными священниками и мирянами подписал адресованное Сергию протестное обращение. Вскоре после этого он был арестован и отправлен на Соловки, куда очень стремился, желая рассказать о Декларации заключённым архиереям, имевшим большой духовный вес.

Отец Николай отбыл уже больше половины своего срока, когда с воли пришло горькое известие: волна расправ над иосифлянами не миновала и его семью — в феврале арестовали и приговорили к пяти годам Соловков матушку Клавдию Петровну, трое детей остались сиротами... Отец Николай получил от жены и сына записку: «мы всегда радуемся, думая о твоих страданиях за Христа и его Церковь. Радуйся и ты о том, чтобы и мы сподобились быть снова и снова гонимыми за Господа».

Чисто мела железная метла ОГПУ... С воли от новоприбывших узников приходили вести одна тяжелее другой. В конце ноября были арестованы епископ Сергей (Дружинин), киевский священник Анатолий Жураковский и, наконец, сам митрополит Иосиф, дотеле проживавший в ссылке в Моденском монастыре. Из мест заключения в Москву доставили епископа Алексия (Буя) и Михаила Новосёлова, а также многих других священников и мирян. Это набирало обороты, стремительно приближаясь к своему апогею измышленное ОГПУ групповое дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». На местах по делам «филиалов Всесоюзного центра ИПЦ» прошли очередные массовые аресты...

Сергиева Декларация стала лакмусовой бумажкой, обнаружившей тех, кто не мог поступиться истиной, а, значит, стать частью системы, основой которой была

ложь. Оставалось лишь уничтожить их, чтобы они самим своим существованием не мешали этой системе. И уничтожали, выжигая калёным железом...

От новоприбывших петербуржцев стало известно о разгроме кружка Рункевич, после закрытия Преображенского собора устраивавшей на своей квартире богослужения. Среди тринадцати арестованных по этому делу был известный духовный писатель Евгений Поселянин.

Живя в Петрограде, отец Вениамин несколько раз встречал Евгения Николаевича, но всё как-то мимоходом, не успевая и познакомиться толком. А ведь как бы стоило! Именно его сочинения так любила читать незабвенная жена Аля. До сих пор отдельные отрывки вспоминались отцу Вениамину. Отрывки, читаемые её вкрадчивым, мелодичным голосом... И сразу образ её представлял: то сидящей в кресле-качалке на крыльце в отсветах золото-багряной осени, заметающей листвой дорожки сада, то у окна в гостиной, в вечерний час...

Евгений Николаевич был духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского. Некогда великий старец обратил юношу ко Христу и указал ему путь: писать в защиту веры, Церкви и народности. Поселянин посвятил своему наставнику очерк «Праведник нашего времени оптинский старец Амвросий». «Какое чудо души переживалось, когда вы станете пред этим человеком, сразу согретый, просветленный шедшими от него лучами благодати», — вспоминал он.

Берущийся просвещать других должен вперёд сам стать светел. Евгений Николаевич был именно таким просветителем. Его творчество, начавшееся по благословию преподобного, продолжалось более четверти века, являлось разнообразным по содержанию, красочным по форме, доходчивым до читателя даже тогда, когда касалось глубоких вопросов

сокровенной молитвенной жизни человека. Его книги и статьи были проникнуты живым теплым религиозным чувством. Они свидетельствовали изнеженному удобствами жизни, охладевшему в вере, увлеченному решением социальных и политических вопросов человеку второй половины XIX и начала XX столетий о высоких и истинных началах жизни, к которой призывает Божественный Учитель.

Именно в его изложении подвиги святых впервые оказали на Ростислава Арсентьева то впечатление, какого никогда не бывало от унылых чтений отца, не могших донести нетленной красоты древних житий...

Шестидесятилетнего писателя, посвятившего жизнь духовному просвещению народа, Особый отдел ОГПУ приговорил к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение.

Эта расправа потрясла отца Вениамина больше, чем все прочие аресты, больше, чем даже арест дорогого владыки Сергия, неизбежный и ожидаемый. После тайной панихиды по новопреставленным страстотерпцам он долго не мог уснуть. Молитва также упорно не шла на ум, точно развеиваемая протяжными, истощными завываниями ледяного ветра меж стен древнего кремля. А из-за них едва-едва слышался родной голос, читающий светло и утешно:

— Кому приходилось испытывать то необыкновенное впечатление, какое переживаешь, когда вдруг до души, измученной житейской тревогой, издали донесутся тихие, безстрастные, отрадные и счастливо спокойные, как вечность, звуки церковного песнопенья, тот поймет, что подобное впечатление испытываешь и тогда, когда после долгого забвения высших интересов души, долгого периода, во время которого уста от полноты сердца не шептали молитвы, — развернутся вдруг перед глазами правдивые сказания о подвигах былых людей

христианства, тех вольных мучеников, которые с такой последовательностью стремились взять и взяли от жизни лишь одну духовную ее сторону. Какой бы пропастью ни была отделена наша незаконная жизнь от их светлых «житий», но раз мы вызываем внутри себя те сокровища, то лучшее содержание нашей души, которое отчасти раскрадено, отчасти затоптано гнетом жизни, но ростки, которого не погибают в человеке совершенно, пока он дышит — как этой лучшей стороной нашего существа мы и поймем этих дальних и странных людей... Прекрасны они цельностью своих могучих характеров, той великой сосредоточенностью, с какой провели свой земной век, не отходя от ног Христа Учителя, слушая Слово Его.



# **МЕЧТЫ В КАПКАНЕ**

## Глава 1. Великая иллюзия

В этот апрельский день улицы Москвы пестрели цветами и флагами. Людское море колыхалось так, что, казалось, вот-вот неудержимым напором затеснит движущийся по улицам кортеж и, точно ледяные торосы, затрёт его. Пожалуй, ни одна демонстрация, коих видела столица несметное число, не была столь монолитна, столь единодушна и искренна в своём ликовании. Не директивы, не разнарядки, не угрозы вывели людей на улицы, а подлинная радость и гордость — Москва встречала своих героев, за судьбой которых весь мир следил на протяжении двух месяцев, и не восхищаться мужеству этих людей было невозможно вне зависимости от убеждений. Для возвеличивания их подвига не требовалась пропаганда, ибо они сами, в лучшем смысле этого слова, были ею. Так ощущал Петя Юшин, наравне со всеми срывавший голос в приветственных криках и рвавшийся в первые ряды, ни секунды не опасаясь быть смятым.

— Вон они! — вскрикнула Аня, вскидывая руку. — Едут!

Они действительно ехали — машины, похожие на передвижные витрины цветочных магазинов, из-за которых широко, как на плакатах, улыбались герои — полярники и лётчики...

В феврале, когда «Челюскин», затёртый льдами, пошёл ко дну, а его пассажиры, включая женщин и детей, оказались на льдине, мировая пресса единодушно похоронила их. Фашистская печать предрекала, что вскоре мы станем свидетелями очередной полярной трагедии, каковых уже было немало. В самом деле, Арктика, не первое десятилетие

манившая исследователей, погубила уже многих достойных людей: от капитана Седова до Амундсена.

Однако, Советский Союз не мог допустить такого исхода. И дело тут заключалось, конечно, не в заботе о своих гражданах, жизни которых жалеть было не принято, но именно — в пропаганде. Операция по спасению такого масштаба должна была высоко поднять престиж молодой державы, тогда как бесславный конец стал бы поводом для злопыхательства многочисленных недоброжелателей. Нужно было не ударить в грязь лицом, потрясти скептически настроенное мировое сообщество, сделать невозможное.

И — сделали. На ходу совершенствуя технику, не имевшую достаточного опыта полярных перелётов, рискуя жизнями лётчиков... Всего двадцать четыре вылета понадобилось им, чтобы вывезти сто двух отрезанных от материка «челюскинцев». Имена Анатолия Ляпидевского, Сигизмунда Леваневского, Василия Молокова, Николая Каманина, Маврикия Слепнёва, Михаила Водопьянова, Ивана Доронина знал отныне любой школяр. Каждый день с неослабным вниманием люди слушали передаваемые радиосводки о ходе спасательной операции, переживая и восхищаясь.

Вывезенного на Аляску тяжело больного главу «челюскинской» экспедиции Отто Шмидта по выздоровлению принял президент США Рузвельт. Спасение полярников стало настоящим триумфом СССР.

Героев ждала Красная площадь с митингом и речами. Именно туда двинулся кортеж. И часть собравшихся инстинктивно хлынула следом. Другие же поспешили занять наблюдательные посты там, куда должны были прибыть герои после митинга: например, к дому лётчика Слепнёва. Туда устремился и Петя, которого кроме общего восторга влекло в самую гущу торжеств и другое: он без устали щёлкал затвором

своей любимой «лейки» — драгоценного подарка, который двумя годами раньше прислал ему из-за границы никогда не виденный дед.

«Лейка»! В кромешной нищете серпуховской жизни Петя и мечтать не мог о таком чуде. Шутка ли сказать — последняя модель немецкого фотоаппарата! Между тем, искусство фотографии давно влекло его. В одном из редких писем деду мать упомянула об этом, и через два месяца от неизвестной особы пришла посылка, сопровождаемая краткой запиской старика. Это было одно из самых счастливых мгновений в жизни Пети — отныне у него появился шанс обрести профессию по сердцу. Так, во всяком случае, казалось тогда...

Как сын «лишенки» первой категории, Петя окончил лишь семь классов и не имел надежды продолжить образование, поступить в институт. Мать, больная чахоткой, сдавала день ото дня, надорвав свои скудные силы на непосильных для неё работах, с которых её регулярно увольняли по случаю очередных «чисток».

В четырнадцать лет Петя приехал в Москву, чтобы самому зарабатывать себе на жизнь и помогать матери. Поселился он в квартире, из которой несколькими годами раньше, их изгнали — приютила соседка и близкая подруга матери тётя Аля. Покровительство другого соседа, начальника московской милиции Скорнякова избавило юношу от возможных проблем в отношении законности своего пребывания в столице.

Перво-наперво Петя устроился работать в двух расположенных рядом друг с другом кинотеатрах. Его задача была простой — быстро переносить тяжёлые жестяные коробки с плёнкой из одного в другой, дабы там могли бесперебойно крутить их. Уже тогда, таская эту кладь, Петя ощутил своё настоящее призвание — кино. С ранних лет он обладал богатым воображением, хорошо рисовал, писал стихи и пьесы, но в одном искусстве соединились все его разрозненные и не

доходящие по отдельности до полноты увлечения — кино. Искусство это, совсем недавно явившееся, развивалось с каждым днём. Первые звуковые ленты потрясли воображение, и замороженный Петя представлял, что бы мог воплотить на экране он. Идей было немало, но эта мечта казалась ещё недостижимей, чем «лейка»...

Но судьба явно благоволила её осуществлению. Через год Петя уже работал на студии — само собой, всего лишь рабочим: отнести, принести, расставить... Но этот подвальный этаж «кинодеятельности» позволял ему изнутри узнать, понять избранную сферу, познакомиться с теми, кто стоял на этажах куда более высоких. Одним из таких был ещё довольно молодой, но известный оператор Клязьмин. Пете выпало таскать и устанавливать осветительные приборы на картине, которую тот снимал. Михаилу Валентиновичу он решил показать свои фотографии. Клязьмин отнёсся к этим «пробам объектива» с живым участием и вынес вердикт:

— Талант у тебя бесспорный — можешь не сомневаться. В твоём юном возрасте редко кто имеет свой почерк, настоящую свежесть идеи и остроту глаза. Ты сможешь стать первоклассным оператором.

— Вряд ли... — вздохнул Петя. — Ведь для этого нужно учиться, а у меня лишь семь классов образования.

— Так давай в наш институт! — предложил Михаил Валентинович. — Нам молодые и талантливые кадры нужны.

— В институт меня не возьмут...

— Что? — прищурился Клязьмин. — «Отец — лишенец, мать — лишенка»? Так?

Петя понуро кивнул.

— Ну, вот, что, отрок. Крест на себе ставить не спеши. Работай пока, как работаешь, набирайся опыта,

набивай руку. Наш институт не московский университет, и, если ты придёшь в него, уже имея хороший опыт работы за плечами, то тебя не выгонят. Анкету заполнишь, опустив лишние подробности — так все делают. Само собой, и я за тебя словечко замолвлю. Одним словом, дерзай и держись меня — и не пропадёшь.

Это обещание окрылило Петю, и он принялся работать с удвоенным усердием. Клязьмин не забывал его, нарочно брал на съёмки своих картин, делился секретами мастерства, время от времени спрашивал, как бы решил Петя ту или иную сцену, и с охотой эти идеи использовал. Институт кинематографии, в котором преподавал Михаил Валентинович, переставал быть призрачной мечтой, как было вначале.

Весь последний год Петя не выходил из дома без фотоаппарата. Он гордился, что некоторые сделанные им снимки под псевдонимом стали публиковать в журналах. Это были, в основном, городские зарисовки и виды. Но особой гордостью Пети стала одна серия фотографий под рабочим названием «Девушка в городе», музой которой была Аня. Именно её уговорил он стать своей моделью. Клязьмин, рассматривая эти снимки, прищёлкнул языком:

— Такая модель — половина успеха любого фотографа. Если эта девочка станет актрисой, то затмит собой всех.

Аня, впрочем, об актёрской стезе и не думала. Её влекла музыка, бывшая её стихией, которую она точно воплощала собой, своей природной удивительной грацией, плавностью черт и движений, изяществом фигуры, лишённой подростковой угловатости, голосом... Вся Аня была словно одна бесконечная, прекрасная мелодия. Её не нужно было учить искусству фотомодели, перед объективом она чувствовала себя легко и органично.

Нынешним утром Аня, в нарядном платье, с чудными косами, с огромным букетом была прекрасна, как свежий апрельский день. И Петя не удержался — щёлкнул её пару раз, не пожалев отведённых на героев кадров. Пожалуй, совсем не зря. В первые ряды встречающих прорваться не удалось всё равно, да и освещать историческое событие будут настоящие маститые фотографы и операторы.

Последней надеждой был Слепнёв, но он в этот вечер не поехал домой, и местную торжественную встречу перенесли на следующий день. Саня Надёжин, который пошёл туда с Петей и Аней, ретировался ещё до извещения о планах героя, не совпавшими с планами публики. Не по годам серьёзный и сдержанный студент-медик, он торопился к своим учебникам. Общее ликование, по-видимому, лишь едва тронуло его, и Аня выговорила ему:

— Неужели тебя совсем не волнует, что происходит вокруг? Ведь такое событие! — она развела руками и округлила васильковые глаза. — Настоящий праздник! А тебе бы только зубрить... Неужели ты не рад этому торжеству?

— Отчего же? — Саня поправил круглые очки. — Я очень рад, что все остались живы-здоровы и вернутся к своим семьям. Слава Богу!

— Ты говоришь об этом, как о каком-то повседневном событии! Люди два месяца на льдине жили! Только представь!

— Что ж, у нас достаточно людей, которые не один год существуют куда в худших условиях. Правда, их никто не собирается спасать, и за их судьбой весь мир не следит, — отозвался Саня.

— Полно! — нахмурился Петя. — Я разделяю твои чувства, но сегодня твоя отповедь неуместна. Хотя бы принимая во внимание подвиг лётчиков. То, что они сделали, это тебе не фунт изюму.

— Так разве я против? — Саня пожал плечами. — Правда, Васенко, Усыскин и Федосеенко<sup>5</sup> тоже совершили подвиг. Но о них не вспомнят, потому что у нас не любят вспоминать неудачи. Извините уж, друзья, придаваться беззаботному веселью я не умею.

— И напрасно. Нужно уметь радоваться хотя бы иногда! — наставительно произнесла Аня.

— Наверное, ты права, — Саня чмокнул её в щёку. — Порадуйтесь же и за меня! А я пойду скучать над своими книгами.

Петя подумал, что, в сущности, это совсем неплохо, что их сумрачный приятель ушёл. Ему куда радостнее было погулять этим вечером по московским улочкам в компании одной лишь Ани. Плёнки осталось на три кадра, и он с удовольствием потратил их на свою музу.

— Что говорит твой учитель? Не будешь пытаться поступить в этом году? — спросила она, едва погасла последняя вспышка.

— Честно сказать, не знаю... — Петя опустил глаза. — Стоит ли вообще поступать...

— Ты больше не хочешь стать режиссёром? — удивилась Аня.

Режиссёром стать он хотел. И с каждым днём всё больше. Но эту мечту убивало явившееся ещё в минувшем году, а за это время окрепшее сознание: даже если пробить стену, поступить в институт, получить профессию — делать в ней ничего не дадут. Вернее, не дадут делать ничего своего, а принудят лгать, выплёвывая агитки.

В Советском Союзе была открыта первая в мире государственная киношкола. Её открыли в самый разгар Гражданской войны, в Девятнадцатом, объявив, что должна она «создать авангард актеров, режиссеров, декораторов, операторов, лаборантов и механиков — мастеров экрана». В мире восхищались — новое



государство ещё не успело стать на ноги, а уже завело такое учебное заведение... «Как это в разрушенной и голодной стране рискнули организовать высшую кинематографическую школу, которую даже Голливуд не в силах был учредить?» — поражалась берлинская пресса. Аналогичное изумление выражали издания США и других стран.

Под руководством мэтра дореволюционного кино Гардина и новатора Кулешова школа сперва превратилась в техникум, а затем в институт — Высший государственный институт кинематографии. Кинооператорский факультет был старейшим в институте. Ещё в Двадцать третьем открыл его профессор Тихонов. Режиссёрский же факультет появился значительно позже, и властвовал на нём чествуемый гением создатель «Броненосца Потёмкина» Сергей Эйзенштейн...

Последний факт сам по себе отталкивал Петю от вождя факультета. Но то была лишь толика причины куда более серьёзной. Будь дело лишь в Эйзенштейне, можно было бы спокойно податься на кинооператорский — с помощью Клязьмина самый простой путь. Но и по этому пути куда идти дальше?

Не раз повторяла мать: «Неважно, кем ты станешь, важно, чтобы ты остался Человеком. А человека нет без чести и достоинства». А как, спрашивается, сохранить честь и достоинство, фабрикуя отвратительные агитки, чему практически всецело оказалось посвящено кинематографическое искусство СССР?

Среди десятков картин, снятых лишь за последние четыре года по пальцам можно было счесть те, что являлись искусством. Всё прочее — агитки разной степени бездарности и подлости. Петя нарочно сосчитал: про одних лишь «кулаков» сняли не менее трёх десятков лент. О кулачестве не только России, но и Украины, Кавказа. Даже оленеводы и охотники Севера

на экране боролись с кулаками и скупщиками пушнины. В Грузии сняли «притчу» о злодеях-кулаках, замышляющих убийство партийного активиста и сметённых в пропасть обвалом. В Ленинграде клеймили оторвавшегося от коллектива пионера, сдружившегося с сыном кустаря-торговца. На Украине «корешки коммуны» и «побеги октября» в лице всё тех же пионеров мужественно боролись со всё теми же зловредными кулаками. В Армении с ними, а заодно и с недалёким председателем колхоза боролась учительница.

Учительнице же была посвящена одна из наиболее превозносимых агиток Козинцева и Трауберга «Одна», в которой героиня, приехав на Алтай, сражается с местным кулаком-баем и председателем-подкулачником. По дороге в город, куда активистка направляется для разоблачения кулаков, возница-подкулачник выбрасывает ее из саней. Вскоре крестьяне обнаруживают её в снежной степи почти замерзшую, с обмороженными руками. В конце концов, беднота одерживает победу над «кровопийцами», а «заступницу» отправляют на излечение.

Отдельной линией прошли ленты о борьбе с кулаками-сектантами Марка Местечкина и Иоакима Кошкинского...

Редкий режиссёр не отметился в «кулацкой» теме. Зархи, Хейфиц, Штраус, Довженко, Аршанский... Фридрих Эрмлер сочинил совершенно фантастическую историю о том, как некий животновод, зная о нехватке кормов, стремится увеличить свиное поголовье и таким образом подорвать колхозную собственность. «Вредитель» доходит до того, что убивает собственную жену, инсценируя самоубийство человека, затравленного в колхозе, а затем добирается до начальника политотдела...

«Вредители» — эта тема также стала одной из основных в кинематографе начала тридцатых. Добрый десяток лент раскрывал её для наивной публики. В Таджикистане коварный диверсант убивает колхозного инструктора и сманивает в эмиграцию колхозника Камиля... Всё тот же Трауберг повествовал о вредителях, закравшихся в среду советских учёных. Яков Уринов разоблачил целую группу вредителей... И уж совсем замечательным был родендорфовский «Вор», в котором инженер похитил у рабочего чертежи новой машины.

Особое внимание уделяли режиссёры классовой борьбе и росту классового самосознания в казахских кочевьях, среди узбекских бедняков и веками угнетённых женщин Азербайджана, у южных эвенков и единоличников Аджарии. И отдельной линией в национальной теме интернационального государства шла линия еврейская. Экранизировали Бабеля — о положении еврейской бедноты, загнанной «проклятым режимом» за черту оседлости, разоблачали социальные корни антисемитизма, клеймили антисемитов фашистской Германии... Наконец, сняли новую версию «Ромео и Джульетты»: о любви еврейской девушки Доры, чьё семейство из-за религиозных предрассудков не жалуется гоев, и русского комсомольца Василия, чьи родители также не питают добрых чувств к евреям. Разумеется, Дора преданно любит Васю, а, вот, комсомолец всё-таки поддаётся тлетворному влиянию родителей-антисемитов, за что отдаётся под комсомольский суд, на котором благородная Дора защищает его.

Конечно, возникали и светлые пятна на плакатном фоне советского кино: безобидная комедия брака начинающего режиссёра Герасимова о жизни молодых супругов, назидательная комедия о зазнавшемся молодом человеке с неподражаемым Борисом

Ливановым, экранизации «Грозы», «Господ Головлёвых» с Гардинным, бросившим (случайно ли?) режиссуру и вернувшимся к актёрскому ремеслу, мопассановской «Пышки»... Один из отцов-основателей ВГИКа Лев Кулешов экранизировал «Великого утешителя» О.Генри. Этот фильм был настоящим потрясением для Пети. Но с горечью, отравляющей всё впечатление, вспомнились другие «шедевры» мастера. Вспомнилось пафосное повествование о еврее-эмигранте Горизонте, вернувшемся в СССР из США, и до предела подлюю «Кражу зрения» по рассказу Кассиля, в котором кулак манипулирует неграмотной крестьянкой...

И выходило так, что, если однажды и позволят снять тебе относительно своё, то за это придётся платить многократной ложью, отравляющей души. А могут не позволить своего и вовсе. И тогда зачем же всё? Зачем нужен зоркий глаз, свежесть идеи, свой взгляд? Зачем, если глаз этот должен быть вырван, взгляд померкнуть, а идея умереть, не родившись, быть затоптанной? Затем, чтобы служить лжи, принимая на свою совесть кровь всех тех убитых и замученных, кого придётся заклеить «кулаками» и «вредителями», и чьих палачей — восславить?

Ещё никогда и ни с кем не делился Петя наболевшими мыслями. Ни с матерью, которую навещал слишком редко из-за занятости, ни с учителем, который вряд ли понял бы эти муки, будучи и сам не без греха. И, вот, Ане, первой, открыл, чем изводилась душа последние месяцы.

Она мягко погладила его по плечу, сказала негромко:

— Не знаю, что посоветовать... Мы не можем быть безгрешны, не можем полностью игнорировать правила, которые установлены...

— Так говорит твой отчим, — мотнул головой Петя. — Скажи, ты носишь крест?

Аня инстинктивно коснулась груди, словно проверяя:

— Ношу...

— А ведь правила требуют снять! И вступить в комсомол, и ходить на все их демонстрации, подписывать разную подлость... Но ты же не следуешь им? Почему?

— Потому что... не могу... — помедлив, ответила Аня. — Когда мои школьные подруги идут на демонстрацию, мне за них почему-то всегда стыдно. А ещё стыднее за учителей... Когда они нам лгут... Знают, что лгут, и всё равно!..

— Вот, видишь, — грустно усмехнулся Петя. — А если бы я снял... «Одну»? Или «Кражу зрения»? Тебе бы не было за меня стыдно?

Аня вспыхнула:

— Ты бы никогда не снял подобного!

— А если бы снял? Представь?

— Я бы не смогла даже поздороваться с тобой...

Петя ласково погладил Аню по волосам:

— Вот, за это я тебя люблю — за искренность. Моя мать мне тоже не простила бы такого грехопадения. И я бы себе не простил. Так куда же мне соваться? С суконным рылом да в калашный ряд...

— Но ведь это была твоя мечта! — лицо Ани сделалось столь скорбным, словно она готова была расплакаться от обиды за порушенные чаяния друга.

Петя чуть приобнял её за талию, взяв за руку, закружил, вальсируя:

— Не горюй! «Леечка» моя со мной, ты тоже — значит, фотографировать, рисовать и писать для души мне никто не запретит. А на хлеб вполне можно зарабатывать простым физическим трудом. Ну, а кино... Кино — великая иллюзия, пусть таковой для меня и останется.

— Это несправедливо, — с горечью сказала Аня. — У тебя талант, а ты оставишь его лишь для души, для близких, урезав ему простор... Так не должно быть!

— Что поделаешь! Значит, должно.

— Тебе надо было поехать к деду... Вам с тётёй Надей было бы там гораздо лучше.

Петя положил ладони на плечи девушке и, серьёзно глядя ей в глаза, ответил:

— Тогда бы мы больше никогда не увиделись. А в сравнении с этим кино и всё прочие — ничто. Я не могу оставить тебя, неужели не понимаешь?

Аня покраснела, опустив голову, тихо и сбивчиво сказала:

— Я... понимаю... И я... я тоже... никогда бы не уехала от тебя!.. — и точно желая скорее отойти от смутивших её слов, добавила горячо: — И всё-таки ты должен попытаться! Нельзя сдаваться без боя! И от мечты нельзя отречься так же, как и от тех, кого мы любим!

— Даже если мечта безнадежна?

— Надежда уходит только вместе с человеком, — твёрдо сказала Аня, прямо взглянув Пете в глаза, и он удивился тому, как, оказывается, глубоко чувствует эта девушка, которую он знал и любил с детства и которую, тем не менее, считал немного легкомысленной. А она продолжала:

— Проще всего свернуть с пути при виде препятствия. Но куда ты свернёшь? Если это твой, единственно твой путь?

— Предлагаешь пробить стену лбом?

— Петруша, жизнь же не стоит на месте! — глаза Ани засветились. — И кино тоже! И не только у нас! Значит, станет больше фильмов, больше жанров, больше возможностей, если не для того чтобы сразу делать своё, то хотя бы для того, чтобы не лгать.

— Заниматься лёгким жанром, снимать милые пустяки для утехи публики?

— Почему нет? Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, придётся молчать и таиться за пустяками десять, двадцать, тридцать лет, но потом дверь отворится, и путь тебе откроется!

— А может быть, этого не случится?

— Нужно верить, и тогда непременно случится! Во всяком случае, лучше ждать и надеяться, чем самому себе наступать на горло, душить собственную мечту!

В словах Ани было столько твёрдой убеждённости, столько заразительной веры, что сомнения отчасти рассеялись, и Петя решил, что судьбу, пожалуй, всё же стоит сперва попытать — ведь отступить не поздно никогда. Повеселев и снова закружив девушку в вальсе, он нарочито бодро пообещал:

— Что ж, будем пытаться мечту и верить в светлое будущее! — и прочёл по памяти вдохновлено:

Взманила мечтами дорога,  
Шагать по полям и лугам.  
На сердце распелась тревога —  
К твоим ли приду берегам?

Струится небесное море...  
Воздушный глубок океан.  
И тонут леса и сугоры  
В засолненный, светлый туман.

Сияют церковные крыши,  
Тепла тишина деревень...  
Уснула и ласково дышит  
Из рощи медовая тень.

На самой меже задремали  
Черёмухи в белых мечтах.

И птицы от счастья устали,  
Развесивши песни в кустах.

Повсюду любовь и отрада...  
И солнце — небесный жених  
Овец золоторогое стадо  
Пасёт на горах золотых...

Рябит колосистое поле  
И молится каждый цветок...  
Мне выпала сладкая доля:  
Разлиться в предвечный Исток.

— Тише! — Аня с лёгким испугом приложила палец к губам.

Петя вздохнул:

— Полно. Неужели ты думаешь, что кто-то знает и помнит его стихи? Может быть, через те десятилетия, о которых ты говорила, и вспомнят, и поставят памятник великому русскому поэту-мученику...

Он говорил о расстрелянном ещё в 1925 году Алексее Ганине, друге Есенина и, пожалуй, самом прозорливом из всех крестьянских поэтов, всецело понявшем сатанинскую суть большевизма и вступившем в борьбу с ним. ГПУ обвинило его в создании «Ордена русских фашистов», ставящего целью свержение Советской власти, и расстреляло в возрасте Христа без суда вместе с несколькими «подельниками» — поэтами, художниками, врачами... Что было на самом деле, так и осталось тайной, которая будоражила воображение Пети, почитавшего поэзию Ганина даже выше есенинской и видевшего убитого поэта в ореоле героя — борца, павшего за освобождение Родины.

— Когда-нибудь так и будет, — уверенно сказала Аня. — А теперь идём домой! Мама будет



волноваться, — и обеими руками ухватив его ладони, задорно улыбаясь, она повлекла за собой: — Вот, увидишь, у нас всё получится, и афиши с нашими именами будут висеть повсюду! Ты станешь знаменитым режиссёром, а я — чуть-чуть менее, но тоже знаменитой певицей!

— Тогда уж я стану — «чуть-чуть менее», — пошутил Петя.

— Посмотрим! — рассмеялась его подруга и побежала по улице, крикнув: — Догоняй!

Бодрый настрой Ани всецело передался ему, и великая иллюзия снова овладела им, навеявая пёстрые сны. Да, он будет ждать! Десятилетия, если потребуются! Ему хватит терпения, чтобы дождаться своего дня, который непременно настанет!

До дома они добрались уже за полночь. Тётя Аля ждала их во дворе, беспокойно прохаживаясь вдоль дома. Аня подбежала к ней и, чмокнув в щёку, прошептала:

— Мамочка, прости нас! Мы ждали Слепнёва, а он не приехал, а потом...

— Я всё поняла, — кивнула Аглая Игнатьевна и повернулась к Пете. По её бледному, напряжённому лицу он понял, что случилось что-то плохое.

— Петруша, несколько часов назад звонили из Серпухова...

— Что-то с мамой? — вздрогнул Петя, почувствовав, как всё похолодело внутри.

— Её арестовали... Сегодня утром...

— Нет! — вскрикнула Аня, поднеся ладонь к губам и с болью взглянув на Петю.

— Я должен немедленно ехать в Серпухов, — стиснув зубы, произнёс он.

— Правильно. Я поеду с тобой, — кивнула тётя Аля. — А ты, Аня, иди домой.

— Нет, мама, я тоже поеду, — твёрдо сказала Аня, крепко стиснув локоть Пети.

Аглая Игнатьевна возражать не стала...

Он ошибся, когда думал, что день народного торжества сплотил всех общей радостью. Даже в этот день *они* не радовались, как миллионы советских людей, а делали своё чёрное дело, отнимая жён, мужей, матерей, сыновей... Ничто не могло остановить их страшного конвейера. И прав был Саня в своём вечном скептицизме, чуждом романтическому порыву. В стране, где одни не оставляли своей палаческой деятельности даже в самые торжественные дни, а другие в эти же самые дни не знали поблажек в неисчислимых муках, общей и незамутнённой ничем радости быть не может.

Это Петя осознал окончательно, созерцая их с матерью разгромленную комнату с вывороченными ящиками шкафа и разбросанными по полу вещами. Кому помешала затравленная, едва живая от болезни женщина, которой и без того уже недолго оставалось страдать на этой проклятой земле? Год за годом они медленно убивали её, загнав в сырой подвал старого дома, куда должна она была таскать на себе дрова и воду, вынуждая работать прачкой, дворничихой, судомойкой... От бывлой красавицы осталась тень, содрогавшаяся мучительным кашлем, не дававшим ей покоя ни днём, ни ночью. А она продолжала надрываться, чтобы поднять сына. Последние два месяца после очередного увольнения мать не работала. Горлом по временам шла кровь, и силы её были истощены настолько, что с трудом давалось простейшее дело. За ней ходила милая добрая женщина, Авдотья Платоновна, с которой мать сошлась, когда ещё открыт был храм. Она-то и позвонила утром, чтобы сообщить горькую весть.

— Я обязательно узнаю, за что она арестована и куда помещена, — говорила Аглая Игнатьевна, собирая разбросанные вещи. — Она тяжело больна, и хотя бы по этой причине они должны будут отпустить её!

— В самом деле, — горячо соглашалась Аня. — Ведь дядю Саню отпустили!

Петя слушал их утешительные слова вполуха, до крови кусая губы. Среди беспорядочно сваленных вещей он разглядел знакомую книгу — рассказы Бориса Зайцева. Это была любимая книга матери, с которой она не расставалась, которую пронесла сквозь ад Гражданской войны в память о доме, о прежней жизни. Петя поднял её, придерживая вылетающие после варварского обхождения чужих рук страницы, поднёс к губам и не выдержал, заплакал...

## Глава 2. Музыка слёз

Каждая нота вливалась в душу, соединяясь с нею неизбывной печалью, какую не способно передать ни одно искусство, кроме музыки. Бетховен, музыка слёз...

— А, знаете, Николай Петрович, эту мелодию я когда-то часто играла дома, в Глинском... Милое моё Глинское, от него теперь, должно быть, не осталось и пепла.

— Не тоскуйте так, Ольга Николаевна! Утрата родного дома тяжела, но её можно пережить. Моя семья обладала не одним домом, но, вот, всё кануло без следа. И не могу сказать, чтобы я ощущал это, как трагедию своей жизни.

— Вы потому так говорите, что имеете гораздо большее — ту, кого любите сами и кто вас любит.

— Да, ваша правда, без Цили моя жизнь не стоила бы ломаного гроша.

— Вот видите...

— Вы очень несчастливы, Ольга Николаевна?

Такой вопрос в иных устах мог бы задеть Ольгу, но только не в устах Николая Петровича Шереметьева, от которого неизменно исходила волна живейшего участия, сочувствия и доброжелательства. Этого человека в театре любили все без исключения, что само по себе было редкостью. Он был красив и элегантен, прекрасно знал этикет, свободно говорил на нескольких языках, но оставался неизменно прост, отзывчив и доступен — как истинный аристократ. Когда Николай Петрович выходил из дома с двумя резвящимися рыжими сеттерами, со всего двора к нему сбегались дети, и он показывал им фокусы, шутил...

Одарённый музыкант, граф, представитель древнейшего рода, внук знаменитой Прасковьи

Жемчуговой — вот, кто, действительно, потерял в революцию всё, но нисколько не озлобился. В Двадцать четвёртом году он мог уехать из СССР вместе с семьёй, но остался, навсегда разделившись со всеми родными, с матерью — во имя любви. В том году Николай пришёл на спектакль «Принцесса Турандот» и, как принц Калаф, был сражён «небесным этим ликом». Когда-то их любовь стала бы великим скандалом в благородном обществе: граф Шереметьев и еврейка-артистка! Когда-то злые языки непременно утверждали бы, что «ушлой бабёнке» был нужен лишь титул и состояние. Но в Двадцать четвёртом году трудно было найти более опасного спутника жизни, чем аристократ из древнего рода. Следуя по стопам деда и став мужем актрисы Цецилии Мансуровой, бывший граф всецело растворился в её мире — мире кулис, став простым музыкантом в оркестре театра Вахтангова. Само собой, тюрьма не миновала бывшего аристократа, но, благодаря хлопотам жены, он вскоре был освобождён, и с той поры чекисты более не покушались на «достопримечательность» вахтанговского оркестра...

Вопрос повис в воздухе. Отвечать на него Ольге не хотелось даже Николаю Петровичу.

— Не спрашивайте... Лучше сыграйте ещё. Шопена. Я так давно не слышала...

— Извольте. Цилия тоже очень любит Шопена...

Они столько лет прожили вместе и до сих пор сохранили трогательную привязанность друг к другу. Такая любовь многие беды и утраты покрыть может. Но как жить, если её нет?..

Ольга терпела долго, слишком долго. Терпела бесконечные измены мужа, терпела пьяные загулы, терпела его сотрудничество с ГПУ, лишившее её немногочисленных друзей и любимой сестры, отвернувшихся от неё, терпела заведённую им параллельную семью, терпела оскорбления... Словно

последняя гордость умерла в ней, лишив сил сопротивляться бесконечному унижению.

Но, вот, настал день, когда даже такая бездонная чаша терпения оказалась переполнена. Жорж, как нередко бывало, вернулся домой под утро в сильном подпитии и с порога стал выказывать недовольство вечно недовольным и неухоженным, по его мнению, видом жены. В выражениях при этом стеснения не было. Не желая слушать площадной брани в свой адрес, Ольга ушла в свою комнату и стала застилать постель. Она не услышала, как муж вошёл следом, и почувствовала лишь страшный удар по шее, от которого помутилось в глазах, и подкосились ноги.

— Будешь знать, тварь, как уходить, когда я с тобой разговариваю!

Едва придя в себя от удара, Ольга, пошатываясь, вышла из квартиры и побрела к ближайшему ЗАГСу. Огромного чёрного синяка на спине и шее и краткого изложения всего вынесенного оказалось достаточно, чтобы немедленно получить развод от проникшейся сочувствием и праведным гневом сотрудницы.

Когда Ольга вернулась домой, Жорж уже протрезвел и, увидев, что она укладывает чемодан, удивлённо осведомился:

— Ляля, что ты делаешь?

— Ничего особенного. Просто ухожу от тебя.

— То есть как это так уходишь? Куда?

— Не всё ли тебе равно?

— Нет, постой! Ты не можешь уйти! Ты моя жена! — воскликнул Жорж.

— Ошибаешься. Я уже два часа, как перестала ею быть.

— Каким это образом? — усмехнулся муж.

— Самым простым и законным. Я развелась с тобой.

— Ты — что?.. — от неожиданности Жорж присел на стоявший рядом стул.

— Я развелась с тобой, — повторила Ольга, закрывая чемодан.

— Как это может быть? — растерянно спросил муж.

— Советский ЗАГС не церковь, в нём всё проще, разве ты не знал?

— Но мы с тобой венчаны! Перед Богом...

— А, вот, Бога не приплетай. Не кощунствуй.

— Но ты же не можешь просто взять и бросить меня! — в глазах Жоржа отразился испуг. — Я понимаю, я обидел тебя, я вёл себя часто, как последний негодяй... Но ведь я предупреждал тебя, когда мы женились! Ты не можешь меня упрекнуть!

— Я ни в чём тебя не упрекаю. Просто я не могу дольше оставаться рядом с тобой.

— Постой, погоди! Давай ты всё решишь позже? Нужно остынуть, рассудить...

— Я давно остыла, и рассудок моя ясен как никогда.

— А если я попрошу тебя не бросать меня? Ляля? Хочешь, я встану перед тобой на колени?

И он встал на колени, едва не повалившись на пол, потеряв равновесие. Сердце Ольги сжалось от стыда. Ни следа не осталось от бывшего бравого красавца-гусара, лишь какая-то злая карикатура на него. Кто был этот обрюзгший, смердящий удушливым перегаром, растрёпанный человек с дурно блестящими, красными глазами?

— Ты не можешь уйти! Ты же любишь меня!

— Нет, — покачала головой Ольга, поднимая чемодан. — Когда-то я знала весёлого, отважного и щедрого офицера, героя на войне, душу любой компании в мирное время. Знала сокола, знала ясноокого витязя, рыцаря из романов... Ему я отдала своё сердце, но он... умер. Я не знаю, в какой день и час это произошло, я не заметила его. Я не заметила и слепо продолжала жить с чужим человеком, изменяя

памяти моего рыцаря. Но теперь я поняла свою ошибку и прозрела.

— Ты сошла с ума! Что ты говоришь! Какого ещё рыцаря ты выдумала? Ты любила и любишь только меня!

— Лжёшь. Тебя я никогда не любила, тебя я не знаю и не хочу знать! Прощай!

Она боялась, что муж попытается удержать её силой, но он не сделал этого. С той поры Ольга поселилась в театральном общежитии. Дни напролёт она, как и прежде, проводила в театре, но здесь всё меньше находилось работы для неё, и всё меньше радости приносила она.

После смерти Вахтангова театр напряжённо искал себя. За неимением нового лидера, равного почившему Мастеру, актёры избрали художественный совет, в который вошли старейшие сподвижники Евгения Багратионовича.

Новые спектакли театра отличались разнообразием, но уже давила лучшие из них тяжёлая пята партийных надсмотрщиков. Так, по решению Наркомата просвещения с формулировкой «За искажение советской действительности» была запрещена сатирическая пьеса молодого многообещающего драматурга и писателя Михаила Булгакова «Зойкина квартира» — одна из лучших постановок театра. Немало потрепали и «Заговор чувств» по роману «Зависть» Олеси в постановке Алексея Попова. Критика ожесточённо спорила, нужен ли герой-интеллигент рабоче-крестьянской стране? Тем не менее, спектакль был признан лучшей постановкой сезона, а Попов — лучшим режиссером. К сожалению, Алексей Дмитриевич так и не стал своим в коллективе вахтанговцев и вынужден был уйти.

На смену живым и оригинальным постановкам приходили идеологически верные: лавренёвский



«Разлом», славинская «Интервенция», горьковский «Егор Булычов...», поражавший блистательной игрой Бориса Щукина с одной стороны и крайней скудостью авторской мысли с другой.

Пьесы идеологические разбавлялись постановками экспериментальными, главным в которых было не содержание, а форма, не дух, а декорация, фокусы. Это проявилось в шиллеровских «Коварстве и любви», где чрезмерное увлечение внешними эффектами лишь мешало восприятию замечательных актёрских работ, но своего апогея достигло в «Гамлете», поставленном ещё одним «чужаком» — Николаем Акимовым.

Узнав о намеченной постановке, Станиславский, как рассказывали, весьма удивился: театр Вахтангова — это гротеск, фарс, комедия, но не драма, тем более, не трагедия! Константин Сергеевич оказался прав. Вахтанговский «Гамлет» в авторской интерпретации Акимова вышел именно фарсом.

Гамлет был представлен весёлым маленьким толстяком с кривыми ногами, шкиперской бородой и трубкой в зубах. В сцене безумия он появлялся на сцене с кастрюлей на голове, морковкой в руке и «хитреньким поросенком» на привязи.

Королева, «срисованная» с Елизаветы Английской была вдвое старше Клавдия, худенького и тщедушного. Как справедливо заметил один из критиков, Симонов, игравший эту роль, шёл в ней отнюдь не от Шекспира, а от «Принцессы Турандот».

Офелии досталось от новаторов ничуть не меньше, чем Гамлету: весёлая, полногрудая девица, хлещущая виски, отпускающая двусмысленные шуточки и поющая пошлые куплеты. Напившись с горя, она шла купаться и тонула.

По ходу действия композитор Шостакович, написавший музыку к спектаклю, не упустил случая поиздеваться над коллегами по цеху пролетарского

разлива, заправлявшими в музыкальных кругах. В сцене с флейтой Гамлет прикладывал инструмент к непристойной части тела, а пикколо в оркестре с аккомпанементом контрабаса и барабана фальшиво и пронзительно играло модную патриотическую песню на слова Демьяна Бедного «Нас побить, побить хотели...», сочиненную композитором Давиденко, лидером группы пролетарских музыкантов.

Критика восхищалась тем, как в постановке «сама эпоха восстановлена во всей примитивной грубости, сочности, фривольности своих нравов». А Ольга, наблюдая эту «турандотовщину» по мотивам «Гамлета», кусала кончики пальцев от стыда за такое варварское отношение к трагедии Шекспира.

Несчастливые классики прошлого! Им не дано было защитить свои творения от экспериментов «новаторов», для которых форма стала всем, а Слово автора пустым звуком. Важно было показать себя, собственную оригинальность, своеобразный взгляд. Чтобы сочинить для этого что-то своё, нужен особый талант. Но к чему утруждаться, когда есть безответные классики, на которых всякий «новатор» волен паразитировать в своё удовольствие, препарировав их гениальные произведения в меру собственного извращённого воображения и пошлости.

Если МХТ делал ставку на психологизм, на раскрытие внутренней сути героев, конфликта, то «новаторы» обращались к куда более простым средствам выражения своих (упаси Боже, авторов) идей — бутафории. В сущности, это «новаторство» было, как и всякая революция, движением вспять: от драматического театра, от высокого искусства — к средневековому балагану, к скоморошеству, от актёра, постигающего психологические глубины, вживающегося в образ — к паяцу и фигляру, которому

бутафорский костюм и маска заменяют настоящее перевоплощение.

Тон в «новаторстве» задавал Мейерхольд, фигура которого издавна вызывала в Ольге чувство брезгливости. Всё «искусство» его было нескончаемым позёрством, спекуляцией на актуальных веяниях, чутко улавливаемых им, и паразитированием буквально на всём: от Александринского театра до революции, от классиков до современников. Этот человек готов был поддержать любую гнусность, старательно выслуживаясь перед властью.

«Гамлет» стал его жертвой также. В интерпретации Мейерхольда главную роль играла его жена — Зинаида Райх. Когда Всеволод Эмильевич на собрании труппы объявил об этом, из зала раздался бас светловолосого могучего детины:

— Тогда я буду играть Офелию!

Шутником оказался молодой актёр Николай Охлопков.

Постановка Мейерхольда была политически ангажирована. Умиравший под красным флагом «Гамлет» должен был символизировать собой «предателя» Михаила Чехова, ещё в Тридцатом году всё окончательно понявшего про свою и не только будущность в пролетарской стране и предпочетшего ей будущность за границей.

Среди многих замечательных театральных явлений начала XX века было одно несомненное чудо — Михаил Чехов. Его игру невозможно было сравнить ни с чьей. То было даже не мастерство, а недостижимая гениальность. Он не играл своих героев, но всецело перевоплощался в них. Менялся голос, мимика, походка — всё. И трудно было поверить, что всё это один и тот же человек.

Михаилу Чехову, как и его знаменитому дяде, никогда не изменяло чувство меры, вкуса. Подлинный

аристократ театра, он ясно ощутил, что долго терпеть его не станут, и не стал дожидаться ночного стука в дверь, уехал, оставив по себе пустоту, которую невозможно было заполнить никем и ничем.

Форма убивала, выхолащивала душу, и душа смертельно тосковала, не находя выхода, или находя один единственный, страшный, от которого стремилась скрыться, но не знала — где.

Здесь, в Плёскове, которое должно было как будто благотворно подействовать на расшатанные нервы, тоска лишь усилилась: слишком напомнило всё безоблачные дни в Глинском!

Плёсково, подаренное театру в качестве дома отдыха, в прежние времена являлось охотничьим имением Шереметьевых. Теперь бывший хозяин возвратился сюда в качестве постояльца, но это почти не ощущалось. Обслуживающий персонал дома отдыха был набран из старых графских слуг. Они и жители окрестных деревень помнили «барина» еще ребёнком, и никакая революция не изменила их отношения к нему. Поэтому стоило Николаю Петровичу приехать в отпуск, как «старые порядки» добровольно реанимировались. «Барина» и «барыню» титуловали «вашими сиятельствам», повар готовил им отдельные блюда и лично подавал их. Крестьяне отвешивали земные поклоны и подносили подарки, которые Мансурова, легко вошедшая в роль графини, принимала, стоя на балконе. Такие сцены из канувшей в лету жизни немало веселили артистов, не устававших упражняться в шутках.

Вся атмосфера Плёскова дышала радостью и безмятежностью. Но тем хуже делалось Ольге, уже не раз пожалевшей, что вняла настояниям графа и приехала в его имение. Слишком болезненна оказалась встреча с навсегда утраченным прошлым... К тому же было совестно за свою угрюмость на фоне весёлых,

беззаботных людей. В них Ольге чудился немой вопрос: «Зачем ты приехала сюда? Отравлять своей тоской нашу радость?» Чтобы не чувствовать себя виноватой, она нарочно уходила в отдалённые уголки дома или спускалась к реке и подолгу гуляла в одиночестве.

Вот и теперь, стоило появиться Цецилии Львовне, дотоле отдыхавшей после обеда, и кое-кому из актёров, как Ольга, из вежливости задержавшись ещё на четверть часа, поспешила удалиться, поблагодарив Николая Петровича за его игру.

День выдался тёплым, и она неспешно направилась к Пахре. В голове надрывно, словно порывы ветра в феврале, звучала музыка слёз и голоса... Голоса... Мамы, отца, всех тех дорогих и любимых, кого она потеряла. Ольга до боли зажала уши, но голоса не уходили, их звук лишь нарастал, а вместе с ним нарастало и разрывающее душу отчаяние.

Набежавшая туча заволокла солнце, впереди показалось светлое русло Пахры. Ольга медленно спустилась к реке, вслушиваясь в её негромкое журчание. Из воды на неё взглянула иссохшая, согбенная старуха. Без семьи, без друзей, без дома, без будущего, без всякого смысла своей давно уже пустой и никому не нужной жизни.

Она всегда побаивалась воды, поскольку не могла научиться плавать ровно так же, как ездить верхом. Когда брат с сестрой весело барахтались в речке, она отсиживалась на берегу в тени зонтика или деревьев и злилась, если они брызгали в неё и пытались затащить её в воду.

Как много «страшного» было в детстве: лошади, вода, высота... А, оказывается, всё это было совсем не страшным. Теперь ни одна лошадь не напугала бы её, и она стала бы наездницей не хуже Варюшки. И вода не испугала, даже весенняя, ещё ледяная, сразу до судорог сковавшая ноги.

## Глава 3. Без выбора

Ольгу Николаевну схоронили тихо: без отпевания, как самоубийцу, и напутственных речей. Её муж проститься с нею не пришёл. Было лишь три человека из театра, заплаканная Варвара Николаевна, обвинявшая себя в несправедливо жестоком отношении к сестре, и утешающая её Лидия...

Стоя у разрытой могилы, Сергей вспоминал своё детство в Глинском, разговоры с «барышней», то, как она рисовала его портрет, донине бережно хранимый. А ещё вспомнилось, как пришла Ольга Николаевна с братом проведать его и Лиду в первые дни после их помолвки. Искоса глянул на жену... Господи, двадцать лет с той поры минуло! Двадцать лет! И, вот, уже нет «строгой барышни», а в больной, потучневшей Лидии трудно признать стройную красавицу-гречанку... Проклятое время!

Когда «вахтанговцы» и Варвара Николаевна ушли, Сергей вдруг заметил маячащую вдали фигуру Жоржа, явно не желавшего быть замеченным и не решавшегося подойти.

— Смотри! — шепнул Сергей жене.

— Пойдём, — тихо отозвалась она. — Дадим убийце проститься со своей жертвой...

Они пошли рядом, он привычно поддерживал Лиду под локоть, а она смотрела куда-то в сторону.

— Отчего так выходит, Лида... Человек день за днём гибнет на глазах у всех, а никто не протягивает ему руку помощи, никто не обращает внимания. Один ли Жорж убийца? А мы все? Мы же видели... Если бы мы не оставили её своим вниманием, участием, она была бы жива!

По лицу жены пробежала странная гримаса, похожая на горькую усмешку, но она ничего не ответила. Остановившись у входа на кладбище и тяжёло переведя дух, сказала:

— Ика просила тебе напомнить, что завтра будет ждать тебя в кафе, как обычно.

— Я не забыл, — отозвался Сергей.

— Тогда прощай, Серёжа.

— Я скучаю по тебе... — вырвалось у него, и он потупил взгляд, ожидая хлёсткого ответа. Но его не последовало. Лишь та же гримаса, только более явственная, промелькнула на лице жены.

На другой день дочь пришла в кафе, по обыкновению опоздав, заказала себе мороженое и заёрзала в ожидании. Сергей досадливо закусил губу. Его любимица даже не могла скрыть, что важна ей не встреча с отцом, а те деньги, которые он даёт ей каждый месяц. Он не стал томить её, протянул конверт. Глаза девочки заблестели, и она проворно спрятала получку в ранец.

— Спасибо, папуля! Я тебя люблю!

— Если бы это и впрямь было так!

Ика встрепенулась и, мгновенно обогнув столик, чмокнула отца в щёку:

— Как ты можешь сомневаться? Мы же всегда понимали друг друга!

Сердце Сергея помягчело. В конце концов, она всего лишь маленькая, балованная девочка. Естественно, что ей хочется подарков и удовольствий. К тому же в отличие от брата она смогла простить и понять его уход из семьи, тогда как этот оболтус до сих пор держит обиду, избегая встреч.

— Опять всё потратишь на кино?

— Нет! — мотнула головой Ика, уплетая мороженое. — Мне туфли новые нужны!

— Чтобы танцевать ваши ужасные фокстроты?

— Папа! — на лице дочери отразилось негодование. — Наши фокстроты постоянно бичуют газеты! Хотя бы из духа противоречия ты должен относиться к ним сочувственно!

Сергей улыбнулся:

— Прости, но мой слух не может мириться с такими варварскими ритмами. То ли дело вальс...

— Ещё гавот вспомни!

— Гавота не припомню, не танцевал. Ты бы лучше больше внимания уделяла учёбе. Скоро ты заканчиваешь школу, надо поступать в институт...

Ика состроила страдальческую мину:

— Вот, и мама меня так же пилит! Институт-институт! Женька, вот, не стал мучиться, укатил со своими геодезистами и работает — матери даже деньги присылает.

— Ты тоже хочешь пойти работать?

— Я ещё не решила, — отмахнулась дочь. — Одно я знаю точно, жить я буду либо в Москве, либо в Ленинграде. И уж точно не стану какой-нибудь... ткачихой! Жить надо красиво и весело!

Сергей болезненно поморщился:

— Ты знаешь, детка, в своё время я знал одну женщину, которая рассуждала схожим образом. Тоже мечтала о красивой и весёлой жизни... Эта жизнь довела её до большой беды.

— Мама в таких случаях пичкает меня «Стрекозой и муравьём». Папуля, я тебя умоляю, не надо учить меня жизни! Вы с мамой со своей разберитесь, а я постараюсь не кончить большой бедой, как твоя знакомая.

— Дай Бог, чтобы так и было, — вздохнул Сергей, похлопав дочь по руке.

А она убежала уже, увлечённая своими весёлыми и красивыми делами и мечтами о жизни-празднике. Совсем Лида распустила её — один ветер в



хорошенькой головке! И совершенное равнодушие к родительскому слову.

Выпив крайне скверного кофе, Сергей направился в мастерскую Стёпы, визит к которому откладывал уже давно, боясь сорваться и наговорить другу больше, чем требовалось. Причиной его негодования стало участие Пряшникова в росписи прорываемого под Москвой метро, которое по начальственной воле должно было поразить весь мир. Поразить мир — эта цель стала едва ли ни главной для власти. Если в других странах равномерно развивались самые разные сферы, то в СССР считалось нормой разгромить энное число их, дабы поразить чем-то одним, невиданным, затмевающим рутинные успехи обычного развития. И во имя этой пускаемой в глаза пыли уничтожались люди, хозяйство, богатства, культурно-историческое наследие. Миллионы людей в тридцать третьем году выморили голодом на Украине и в южных областях России для того, чтобы показать, что мы совсем не уступаем царской России и точно так же как она экспортируем хлеб! Люди поедали друг друга, устилали трупами дороги второй раз за пятнадцать лет, опухшие от голода дети молили о хлебе и гибли тысячами, а хлеб вывозился за границу, чтобы там видели мощь молодой социалистической державы...

Теперь объявили о плане генеральной реконструкции Москвы. Ничего более чудовищного и представить себе было нельзя. Исторический центр столицы должен был попросту кануть в небытие, освободив место для настоящего социалистического города, символом которого надлежало стать Дворцу Советов.

Идея строительства такого Дворца принадлежала Сергею Мироновичу Кирову. Он выдвинул её ещё в 1922 году на первом съезде, предложив возвести здание, которое явилось бы «эмблемой грядущего могущества

торжества коммунизма, не только у нас, но и там, на Западе». А через два года наметили, где возводить «эмблему» — на месте храма Христа Спасителя. Для осуществления предложения Кирова было создано несколько организаций: совет строительства Дворца Советов при Президиуме ЦИК СССР, наделённый законодательной властью, исполнительный орган — управление строительством Дворца Советов (УСДС), совещательный орган — временный технический совет, преобразованный в постоянное архитектурно-техническое совещание в составе таких деятелей искусства, как Бродский, Веснин, Вольтер, Гельфрейх, Горький, Грабарь, Иофан, Красин, Кржижановский, Луначарский, Мейерхольд, Петров-Водкин, Станиславский, Щусев и другие. Старт проекту дали 8 июля 1931 года, когда была объявлена программа Всесоюзного открытого конкурса на Дворец Советов.

В ноябре того же года журнал «Строительство Москвы» опубликовал выдержки выступлений рабочих пресловутого завода имени Сталина, уже сыгравшего весомую роль в убиении Симонова монастыря. «Когда хотят сказать о Париже, то достаточно назвать Эйфелеву башню. Если изображают Америку, Нью-Йорк, то ставят памятник Свободе... Нам нужно и в Москве поставить что-то замечательное, отличительное среди всех зданий, чтобы когда смотрели на это здание, говорили — это столица СССР», — говорилось в выступлениях и присовокуплялось, что «советская архитектура начнётся с Дворца Советов».

Лишь один известный деятель искусства не устранился встать на защиту Храма — Аполлинарий Михайлович Васнецов, не раз воспевавший в своих полотнах образ дорогой его сердцу Москвы. Старый художник написал письмо Председателю СНК Молотову, понадеявшись на то, что он в отличие от большинства членов Политбюро — русский, и что в душе его ещё не

вовсе угасли патриотические чувства. Надежда не оправдалась, ответа на своё письмо Васнецов не получил.

Более сорока лет строился Храм. И не на казённые, а на собранные всем православным народом средства. Проект его принадлежал архитектору Тону, все творения которого в столице, начиная с Симоновской колокольни, были уничтожены варварами. Храм занимал площадь около гектара и возвышался на двести метров: его пять сияющих шлемов-куполов были видны отовсюду, даже на расстоянии двадцати километров.

Снаружи стены храма украшали сорок восемь изваянных лучшими скульпторами мраморных статуй, изображавших отдельных святых, композиции из библейской жизни и русской истории.

Стены притвора были расписаны фресками, изображавшими битвы 1812 года: Смоленск, Бородино, Тарутино, Березина... Фрески были выполнены выдающимися русскими художниками: Верещагиным, Семирадским, Суриковым. Они же создали росписи в самом храме, а вместе с ними своё мастерство явили кузнецы, каменщики, литейщики, резчики по дереву. В свете электрических ламп в огромных, напоминающих ветвистые деревья люстрах и многочисленных свечей великолепие убранства Храма ослепляло. То было истинное чудо коллективного русского гения.

И, вот, добралась до него бестрепетная длань варвара. Однажды утром, подобно тле, чёрные человечки покрыли главный купол, жадно соскребая золото с его поверхности. Оголённые купола крушили вручную. Когда не стало их, жутко и мрачно смотрел на Москву из-за дощатого забора искалеченный, умирающий Храм, и ясно осознавалось: это не просто храм рушится, но Символ, «эмблема» Русского Православного Царства с тысячелетней славной

историей. И эту «эмблему» должна была подменить другая — сатанинская.

Наконец, истерзанный остов взорвали, а в 1933 году постановили принять за основу для проекта нового сооружения работу Бориса Иофана. Через год авторский коллектив в составе Иофана, Щуко и Гельфрейха продемонстрировал эскизный проект Дворца Советов, представлявший сложную многоступенчатую композицию высотой 415 метров при общем объёме 7500 тысяч метров. Здание венчала семидесятипятиметровая статуя Ленина из высококачественной нержавеющей стали, которую должно было быть видно отовсюду. Защитники проекта особенно упирали, на превосходство размеров и высоты Дворца Советов над другими архитектурными сооружениями мира. Даже на эскизах и рисунках, изображавших облик «новой Москвы», жуть подступала к горлу от вида «эмблемы» — новой Вавилонской башни, увенчанной предтечей Антихриста.

За столь грандиозным разрушением померкли иные. А их немало было за последние годы по всей России. В Костроме снесли практически все церкви, не пожалели и памятника Ивану Сусанину, та же участь постигла Нижний Новгород, где не пощадили даже большую часть Кремля. Москва лишилась многочисленных церквей: Троицы в Зубове, Николы Большой Крест в Китайгороде, Успенья на Покровке, Николы Явленного на Арбате, Гребневской Божьей Матери и часовни Владимирской Божьей Матери на Лубянской площади... А кроме того — чудных палат князей Голицыных в Охотном ряду, открытых и отреставрированных заботливыми руками Барановского. В новом, 1934 году, добрались до «кирпичных костей Ивана Грозного» — Китайгородской стены. В газетах ликовали: «Нет Китайгородской стены, нет Сухаревки, нет той старины, которая нам мешала переделывать Москву старую в

Москву социалистическую». И призывали не останавливаться на достигнутом, разделаться с памятниками Бородина: «Довольно хранить наследие рабского прошлого!» На Красной площади собирались снести Казанский и Василия Блаженного соборы, но их пока удалось отстоять. Говорили, что Барановский грозился покончить с собой, если варвары доберутся до Василия Блаженного. Хотя навряд ли эта угроза устроила бы последних. Барановский и его единомышленники мешали им, и над их головами сгущались тучи, ибо защитники «векового мусора» автоматически становились «пособниками классовых врагов».

Частично организации, защищавшие историческое наследие, были разгромлены ещё в Тридцатом, когда задавили беспощадно «Старую Москву». В последующие годы добивали оставшихся борцов с варварством. Так, газета «Безбожник» напечатала статью с клеймящим заголовком: «Реставрация памятников искусства или искусная реставрация старого строя?» за подписью: «По поручению рабочей бригады завода им. Лепсе Л.Лещинская, Козырев». Следом в газете «За коммунистическое просвещение» залаял на Центральные Реставрационные Мастерские Давид Заславский: «Они надували советскую власть всеми средствами и путями... Советская лояльность была для них маской. Они верили, что советская власть скоро падет, они ждали с нетерпением ее падения, а пока старались использовать свое положение... Они жаловались на то, что при старом, при царско-поповском строе церковь мешала развернуть по-настоящему научно-исследовательскую работу по древнерусскому искусству... А когда пролетарская власть, отделив церковь от науки, искусства, политики, культуры, впервые предоставила им возможность полностью отдаваться науке и искусству, что они

сделали, верные сыновья буржуазии? Они снова превратили науку в церковь, искусство — в богомазню, а все вместе — в необыкновенное церковно-торговое заведение...» В числе «верные сыновей буржуазии» оказались Грабарь, Анисимов, Чирков, Юкин, Тюлин, Суслов, Барановский, Засыпкин, Сухов... Кроме первого, всех их ждали тюремные сроки.

Даже под этим натиском продолжалась работа хранителей старины. Одним из последних оазисов среди новоявленных «эмблем» стало Коломенское, в котором наперекор всему создавал новый музей Барановский. Три года Коломенское было отдушиной для Сергея, почти переселившегося туда вместе с Таей. Не раз он вместе с Петром Дмитриевичем ездил на север, вывозя оттуда уцелевшие памятники деревянного зодчества. Такие поездки, погружённость в живой созидательный труд освежали и бодрили, помогали забыться от сгущавшегося морока.

Много хлопот выдалось с перевозкой Проездной башни Николо-Корельского монастыря. Начатые ещё в 1931 году, они завершились успехом лишь летом 33-го. Баржа, перевозившая экспонат, едва не затонула, сев на мель, и лишь неукротимой энергией Барановского удалось добиться вызволения груза.

Увы, Петру Дмитриевичу не суждено было осуществить реставрацию башни — в том же году его арестовали. Из тюрьмы ему удалось передать записку-завещание с подробным указанием относительно развития музея и реставрации памятников. Собственная судьба волновала его куда меньше. Многие предметы старины, привезённые им в Коломенское, не успели пройти инвентаризацию, и если Пётр Дмитриевич помнил, из какой церкви или иного строения взял он тот или иной фрагмент или предмет, то другие этого не ведали. Работа могла быть полностью парализована.

В завещании Барановский детально разъяснил, как собирать Проездную башню, башни Сумского и Братского острогов, домик Петра Первого... А сколько проектов и планов по развитию музея оставалось ещё! Всевозможные экспозиции, посвящённые быту Московской Руси, освещающие отдельные страницы истории того периода, музеификация Вознесенской и Дьяковской церквей и Дьяковского кладбища с его древними надгробиями... Нужно было быть Барановским, чтобы объять всё это!

И всё же пока уцелевшие сотрудники продолжили начатое им. Так, собрана была Проездная башня, на очереди стоял Домик Петра. Тем не менее с арестом Барановского работа в музее стала уже не той. Пётр Дмитриевич был душой её, вечным двигателем, светильником. Своей самоотверженностью, упорством, верой в своё дело он заряжал энергией, живил всех и всё, оказывавшееся рядом с ним. Врачуя памятники, он врачевал и человеческие души.

Последние месяцы Сергей уже не мог работать в музее с тем жаром и самоотдачей, как прежде. Стоило возникнуть какому-то вопросу, как болезненно колело: нет Барановского! И угнетало, гасило всякий проблеск чувство неотторжимо надвигающегося скорого конца, усугубляемое продолжавшейся кампанией по травле. «В архитектуре у нас продолжается ожесточённая классовая борьба... Характерно, что не обходится дело ни с одной заваливающей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами!» — провозгласил Лазарь Каганович, выступая на совещании московских архитекторов. И подхватили газеты: «Тайные и явные белогвардейцы жалеют камни прошлых лет. Им дороги эти камни, потому что на храмы, синагоги, церкви они возлагают немало надежд как на орудие

восстановления их былого могущества, власти и богатства». «Советское краеведение» декларировало: «Область охраны памятников являлась и является в настоящее время широкой ареной классовой борьбы. Примазавшиеся к делу охраны представители господствовавших при царизме классов ставили своей задачей сохранение культурных ценностей не для пролетариата, а наоборот, от пролетариата».

В начале нового года традиционный подготовительный газетный вой увенчался очередными репрессиями: разгромом Центральных Государственных Реставрационных Мастерских — последний орган охраны памятников, мешавший их уничтожению. Лучших специалистов ЦГРМ, включая заместителя директора, известного реставратора Засыпкина, реставратора Сухова и их многочисленных коллег и учёных, арестовали по 58-й статье, обвинив в проведении «неправильной линии в области охраны архитектурных памятников Москвы».

И на таком-то фоне узнал Сергей, что его лучший друг Стёпа Пряшников взялся расписывать метро — сиречь славить достижения социализма. Едва переступив порог мастерской художника, он увидел почти готовый портрет маршала Ворошилова, бросил зло, не здороваясь, Стёпе:

— Всё упырей малюешь? В придворные живописцы метишь?!

— А если полегче? — миролюбиво откликнулся Пряшников, откладывая кисти и закрывая полотном неоконченную картину.

— Куда уж легче! Никогда не ожидал от тебя!

— А в чём, собственно, ты меня обвиняешь, друже?

— Тебе объяснить?

— Сделай одолжение!

— Когда-то ты рвался на Юг, чтобы сражаться с, как ты выражался, красной нечистью, убившей Государя и



поработившей Русь, а теперь пишешь портреты этой нечисти и расписываешь для неё метро! Может, и за Дворец Советов возьмёшься? Как Паша Корин, тоже плакальщик по Святой Руси?

— Вот, теперь яснее, — кивнул Пряшников. — Отвечаю тебе, друже, по порядку. Во-первых, как художнику портретисту, мне интересно писать любые лица. К тому же я пишу их честно, не идеализируя и не придавая им идеологической окраски. Подчас мне даже удивительно, отчего это им нравятся мои портреты. Наверное, оттого же, отчего и собственное отражение в зеркале. Слепая самовлюблённость. Эти портреты — лишь документы эпохи, не больше. Кстати, мне было бы интересно написать портрет товарища Сталина. Не парадный, а настоящий. В портрете ведь можно самую душу человека передать, разглядеть её.

— Допустим. А метро?

— А что ты имеешь против метро? Метро — это весьма полезное достижение конструкторской мысли. В Лондоне, как тебе известно, давно имеется. И Москве оно давно нужно. Так что это один из немногих проектов, который я могу от души приветствовать.

— И малевать грудастых пролетарок и счастливых колхозников?

Стёпа поскрёб щёку:

— Скажи, пожалуйста, друже, когда тебя лишили прав и вышибли из Москвы, к кому ты обратился за помощью? К твоему закадычному приятелю Стёпе Пряшникову! Когда твою жену и детей могли также вышвырнуть прозябать куда-нибудь без крыши над головой, кто спас их от этой участи?

— Не надо... — промычал Сергей, чувствуя, что разговор принимает опасный оборот.

— Когда твоя больная жена не могла достаточно работать, чтобы поставить на ноги твоих детей в то

время, как их папа жил с другой женой, кто поддерживал их? Все эти годы?

— Стёпа...

— А не задавался ли ты, друже, вопросом, что будет, если Стёпу вдруг самого вышвырнут куда подальше? Разумеется, я могу выразить благородное нежелание ни в чём не сотрудничать с этими мерзавцами и столь же благородно покатить строить какой-нибудь канал. И что от этого кому прибудет? Ничего и никому. И заметь себе, если завтра, не приведи Бог, что-то стрясётся, то кого ты кликнешь на выручку? И кто будет помогать твоим ближним? Молчишь? То-то же!

Слова Пряшникова пребольно задели Сергея. Вот ещё, благодетель его семьи! Его жены, его детей! Которых покинул никчёмный муж и отец... Вот, стало быть, как лучший друг свою помощь трактует.

— Не думал, Стёпа, что каждое доброе дело ты записываешь на специальную дощечку. Христос учил...

— Оставь, будь добр, Христа в покое! — в голосе художника послышались первые раскаты нараставшего гнева.

— Почему так?

— Потому что «исполни на себе, прежде чем учить других», как писал Фёдор Михайлович.

— Что ты хочешь этим сказать? — вспыхнул Сергей.

— Ты уверен, что хочешь услышать разъяснения?

— Говори!

— Воля твоя, — пожал плечами Пряшников. — В конце концов, я сам давненько хотел высказать тебе.

Голос друга не предвещал ничего хорошего, и Сергей напрягся, ожидая удара.

— Ты никогда не пробовал, друже, критически посмотреть на свою жизнь? На самого себя? Не на других, а на себя? Что бы ни случилось, ты ищешь и находишь виноватых, начиная с верховодов и кончая собственной семьёй. А не приходило ли в твою мудрую

голову хоть раз поискать причины неурядиц в себе? Фёдор Михайлович, чтимый тобой, опять же говаривал: «Ищи не в селе, а в себе!» Ты посмотри, посмотри, как ты живёшь и что делаешь! Имея Богом данный талант и ум, ты почти ни единого дела не можешь довести до конца. Загоришься, поговоришь, начнёшь и... остынешь на полпути, бросишь! Так ничего нельзя достичь, потому что талант это лишь десять процентов всякого доброго результата, а остальные девяносто — трудолюбие и терпение!

— Этак ты меня ещё в лодыри запишешь!

— Ты не лодырь, а человек, который никак не может понять самого себя, хотя при наших с тобой первых сединах пора бы! Когда ты в последний раз был в Коломенском? Молчишь? Стулов и другие надрываются, чтобы не обмануть надежд Петра Дмитриевича, который, Бог даст, ещё вернётся, не расточить собранное им, а ты уже опустил руки, остыл и снова бродишь в тумане, не видя себе применения. Так же нельзя! Ты проповедуешь Христа и при этом, как огня, бежишь его Церкви. Будь то сергианская или иосифлянская — неважно! Даже с женщинами своими ты не можешь разобраться. Одну ты любишь, и она трогательно любит тебя, но ей не хватает кругозора и основательности в бытовых вопросах. Другая много лет была тебе второй матерью, с ней у вас много общего, и тебе недостаёт её. Ты, как гоголевская Агафья,рываешься между ними. В Тасе тебе не хватает Лиды, а в Лиде — Таси. В итоге ты мучаешь и делаешь несчастными обеих! За столько лет жизни с этой девочкой, которую ты изнурил своими терзаниями, ты так и не развёлся с женой, хотя она готова была дать тебе развод, если бы ты пожелал. Но ты и этого не сделал! Ты привык, что она всё делала за тебя, и ждал, что и на развод она подаст сама, и сама разрешит столь неприятный вопрос! И ты боялся! Боялся церковного

осуждения, необходимости принесения покаяния, необходимости узаконить отношения с Тасей, обвенчаться с нею, после чего назад дороги у тебя уже не будет. Но пойми же ты, наконец, если не для них, то для себя: нельзя так жить! Нельзя постоянно жить в расколоте, раздвоенном состоянии, разрываясь! Ведь это пытка! В этом раздрае ты не можешь собраться и сосредоточиться ни для чего, живёшь, как расслабленный! Не Богу свечка, не чёрту кочерга... Сам ты не можешь быть счастлив с расколотой душой и всех, кто любит тебя, делаешь несчастными, сам болеешь и им причиняешь боль. Ну, соберись же уже! Решись на что-то! Выбери свой путь!

Сергей слушал, не поднимая головы, не находя в себе сил защищаться. Ком подкатывал к горлу от обиды и одновременно подспудного стыда, который подсказывал, что Стёпа в чём-то прав. В самом деле, прилепившись к Тае, он никак не мог отстать от Лидии. Сколько раз, сердясь на нерасторопность первой, представлял, как ловко управилась бы с делом, нашла выход вторая. Ему не хватало того ощущения защищённости и незыблемости, которое умела создать жена в их доме, и он всё больше скучал по ней. Но одна лишь мысль — разлучиться с Таей, никогда не упрекавшей, не угнетавший его в отличие от Лиды, была нестерпима.

— Я лучше пойду... — пробормотал Сергей, когда Пряшников окончил свой монолог.

— Стой! — художник ухватил его за плечо и силой усадил на стоявший рядом ящик. Сев рядом, сказал: — Ты прости, если я говорил резко. Ты мне друг, и я люблю тебя, ты не можешь в этом сомневаться. И любя тебя, и Тасю, и Лиду, я должен был тебе всё это сказать, потому что больше никто не скажет. Пойми, нельзя всю жизнь ждать, что решение примут другие, что всё устроится само. Нужно выбирать и отвечать за

свой выбор, а не праздновать труса. Ну, что набычился? Обиду копишь на меня?

— Нет, Стёпа... — мотнул головой Сергей. — В конце концов, я сам спровоцировал тебя на этот разговор. Я знаю, что во многом не прав, но, если я такой мерзавец, как ты только что расписал, то мне уже не измениться.

— Я не расписывал мерзавца, а лишь человека, разминувшегося с самим собой, не передёргивай. И не меняться тебе надо, а трезво посмотреть на свою жизнь и провести её инвентаризацию с выработкой дальнейшей стратегии развития.

— Боюсь, что паршивый из меня стратег, Стёпа. В будущем я вижу один сплошной мрак, который не даёт мне пошевелиться.

— Тогда покурим, — вздохнул Пряшников, доставая трубку.

Покулив и помолчав, они простились, и Сергей снова побрёл по московским улицам, ничего не видя вокруг. Принять решение! Легко говорить об этом Стёпе, не ведающему никаких тенет... Решение! Не такое ли решение приняла барышня Ольга Николаевна, когда бросилась в ледяную воду Пахры? Что ж, это тоже путь, выход, освобождающий от мучений и тех, сделанных несчастными, и себя... Вот, только, выход этот куда входом станет? Не в худшую ли преисподнюю, чем здешняя, временная?

На перекрёстке перед ним неожиданно затормозила машина, открылась дверь, и голос сзади приказал:

— Садитесь, гражданин!

Сергей вздрогнул, похолодел, резко обернулся: позади стояли два неприметных человека в одинаковых плащах. Один из них подтолкнул его к машине. Мимо шли прохожие, кое-кто любопытно косил глаза. Сергей с отчаянием огляделся, ища поддержки, но никому не было до него дела. Ещё один более сильный толчок, и он уже сидел в салоне, а молодцы в плащах по бокам от

него. Вспомнились слова Стёпы: «нельзя всю жизнь ждать, что решение примут другие, что всё устроится само. Нужно выбирать и отвечать за свой выбор». А выбор всё-таки сделали другие... И от этого Сергей ощутил нечто сродное облегчению.

## Глава 4. Отец Михаил

С большой земли до казахских степей нескоро вести доходили, а хоть бы и вовсе не было их — ни единой светлой, одна другой горше. Сперва не стало отца Валентина, и вышло якобы написанное им покаянное письмо Страгородскому. Так, знать, нужно оно было власти, что замученного до смерти в сибирской ссылке священника доставили в Москву и придали торжественному погребению. А среди бывших прихожан снесённой недавно церкви Никола Большой Крест говорили, что батюшка, у которого отказали почки, много дней лежал без сознания и просто не мог написать что-либо. Не верил и Миша в «покаяние» своего духовного отца. Значило бы это для него не от «иосифлян» отречься, но от себя самого, исконных, во всю жизнь неизменных убеждений, следствием которых и явился его отход от Сергия. Но и не веря, чувствовал Миша, ныне — отец Михаил, острую боль оттого, что не просто убили его возлюбленного наставника, но и мученический венец возжелали отобрать в глазах людей, оклеветав уже на смертном одре, когда не мог он своим пламенным глаголом опровергнуть этой клеветы, посеявшей сомнения во многих, и многих сманившей в «церковь лукавнующих». И одно лишь утешало: в очах Божиих не отнять им венца у святого мученика...

Не успел в себя прийти от этого удара, как новый обрушился — арестовали страдалицу Надежду Петровну. Предъявляли ей всю ту же 58-ю — обвинили умирающую в контрреволюции... Дворянка, дочь и вдова белых офицеров, «член монархической организации» ИПЦ, последовательница епископа Максима (Жижиленко), расстрелянного в 1931 году —

всего этого было в высшей степени довольно для обвинения. А факты? Разве Лжи нужны факты?

За несколько лет открытое «иосифлянское» движение было практически разгромлено: храмы закрыли, епископов, священнослужителей и наиболее активных мирян заключили в лагеря или сослали. Не пощадили даже полностью парализованную матушку Марию Гатчинскую. Её арестовали в 1932 году. Чекисты сволокли неподвижное тело страдальцы с одра, протащили по земле, раскачали и, бросив в грузовик, увезли в тюрьму. Через месяц матушка Мария умерла в больнице.

Не раз за эти годы новорукоположенный отец Михаил был близок к отчаянию, и великой поддержкой стала для него семья — отец и крёстная, из пермской деревушки, прежней своей ссылки, перебравшиеся к нему в Аулие-Ату. Здесь поселились в маленькой комнатухе, до того тесной и бедной, что Михаилу приходилось спать на полу. В отличие от него отец, невзирая на все лишения, не только не терял присутствия духа, но смотрел на происходящее с тем просветлённым спокойствием, которое дарит умиротворённость души во Христе. Долгие беседы с ним помогли многое понять. Обладавший энциклопедическими знаниями отец умел легко и просто объяснять самые сложные и глубокие вещи.

— Мы живём в страшные, хотя и не последние времена, но чему мы ужасаемся? Ведь нам, маловерам, рассказано и самим Господом, и его пророками и святыми всё, что нас ожидает, — и далее он спокойно, словно нечто обыденное, рассказывал, что ожидает мир в будущем. — Антихрист не может прийти сам собою, мир должен быть приготовлен ко встрече своего «царя». Поэтому существует, условно говоря, комитет по подготовке торжественной встречи, коллективный антихрист, в задачу которого входит три вещи:



подчинить себе финансы мира, подчинить сознание людей и, наконец, получить храм Соломона, в котором должен быть по преданию установлен престол для Антихриста, и откуда он будет править миром. Финансовый контроль уже практически достигнут, и он будет лишь укрепляться. Диктат его сделается столь жестоким, что сломает и поработит многих и многих. Далее на повестке дня стоит сознание. Газеты, радио и прочие новшества станут верным подспорьем в достижении этой цели. Коммунистический интернационал — ничто иное, как попытка порабощения сознания, подчинения его одной ложной идее при выхолащивании всего духовного, национального, творческого — одним словом, живого. Но эта модель обречена на неудачу. Для того, чтобы служить идее, всё-таки нужно определённое напряжение сил, души. Идея требует жертв. А люди неспособны долгое время напрягаться и жертвовать во имя эфемерного мифа, который не сможет ничего им дать взамен. В любой идее люди раньше или позже разочаровываются, охлаждаются к ней и, наконец, проклинаят. Душа человека тоскует по Истине и поэтому не сможет навсегда удовлетвориться идеей. Отказаться от Истины её может заставить лишь полное забвение, а забвение даёт наркотик. Таким наркотиком могут стать всевозможные развлечения, удовольствия. Жажда удовольствий, беспечной жизни, веселья сегодня «ибо завтра умрём» в том случае, если найдётся способ удовлетворения таковой, сможет одолеть жажду Истины в большинстве душ, если таковые не будут иметь достаточного развития. А его не будет. Помните Шигалёва? «Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были

деспотами. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает, послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое, вот девиз земного шара отселе». Это мы наблюдаем уже сейчас в нашей стране.

Враг будет действовать постепенно. Материализм, понижение уровня образования и культуры, разложение нравов — в дело пойдёт всё. Церковь истинную подменит её лишённая Христа форма, организация, которая сольётся с другими организациями, поклоняющимися разным богам, объявив это кощунственное соитие торжеством братской любви. Образование подменит набор определённых сведений, который комитет сочтёт необходимым для будущих рабов. Науки настоящие задавят, уничтожив или развратив учёных. Высокую культуру, даже в далёких от религии произведениях, зовущих души к горнему, заменят культурой массовой. Это мы тоже видим сегодня, когда на смену иконе и живописи приходит грубый плакат, классической музыке — пошлые куплетники и бравурные песенки, архитектуре — жуткие кубы, а высокой словесности — бездарные, малограмотные агитки. Такими приёмами сознание человека низведётся до примитивного уровня, на котором человек не способен сконцентрироваться, не способен мыслить на шаг-другой вперёд, не способен к самостоятельному мышлению. Это готовая марионетка, которой легко манипулировать.

Будущий раб ни в коем случае не должен сознавать себя рабом, поэтому ему создадут иллюзию свободной жизни, разрешив свободу в разрушении себя — свободу

в увеселениях, будь то алкоголь, блуд, всевозможные извращения. Целая индустрия развлечений и иллюзий будет работать над этим. Человек последних дней не будет иметь идей и веры во что-либо, не будет иметь ответственности и самосознания. Его уделом останется одно лишь потребление, в котором он будет ненасытен. Всё, что не касается его сытости и удовольствия, не будет волновать его, тем более что мастера иллюзии легко создадут для него картину иной реальности. Сегодня мы опять же видим, как таковую пытаются создавать коммунисты. И, надо сказать, отнюдь небезуспешно. Человек последних дней будет пребывать в тонком сне, как знаем мы из пророчеств. Созданные иллюзии, параллельная реальность и станет таким тонким сном, и в его мертвящих объятиях человек просто не услышит ни криков избиваемых младенцев, ни праведного глагола пророков. Так будет порабощено сознание.

Дело за храмом. Перво-наперво евреи должны будут обрести своё государство. Только большая война в Европе, которая непременно будет, и некая великая мистификация, которая заставит мир помочь гонимому народу, сможет устроить это. Последним временам, как опять же известно из пророчеств, будет предшествовать большая война на Ближнем Востоке. Итогом этой войны станет возвращение Израилю храма Соломона... Вот, собственно, и вся мистерия, которую предстоит увидеть зрящим в более или менее скором или отдалённом будущем. Мы предупреждены об этом, а потому не должны впадать в отчаяние и чрезмерно страшиться. Ведь знаем мы и финал этой мистерии, когда подобно сияющей комете, явится сидящий на облаках истинный Царь, который низвергнет и змея, и блудницу, и Антихриста со лжепророками в преисподнюю, а верным дарует блаженство вечное.

Будем же верны этому Царю до смерти, и тогда не окажемся обмануты в чаяниях своих.

Михаил слушал отца, вглядывался в его худое лицо, обрамлённое седеющей бородой и лишь едва заметно посеребрёнными тёмными, опущенными до плеч волосами, в глаза, светящиеся в минуты таких бесед, и думал, что не ему, а именно отцу следовало бы давным-давно принять сан и нести свою проповедь стынувшим сердцам. Быть бы ему в теперешние многотрудные дни епископом! А Михаилу — куда уж до него. Службу справить по заученному, требы исполнить только и способен он был, а как живое слово сказать — коснел язык, прилипал к гортани. То же и когда приводилось на исповеди какую просьбу о совете слышать. Со всей душой относился Михаил к своим пока малочисленным духовным чадам, но советовать не находил. Одолевали робость и смущение: что он, сам жизни толком не знавший, мог посоветовать другим? И какое право имел? Ну как ошибёшься, скажешь не то... То ли дело отец! Вот кто любую душу распознать и понять мог, и дать совет необходимый. И люди тянулись к нему, и приходя к Михаилу, частенько беседовали и с отцом, и с крестной, также даром понимания людей обладавшей. Но при всём том считал он себя недостойным сана, не годным для священнического, а паче святительского служения. Также и крестная, столько лет монахиней жившая, пострига отчего-то не принимала. Не понимал этого Михаил и скорбел о своей бездарности, моля Бога хоть толикой отцовского таланта благословить его.

Ссылка в Аулие-Ату, древнейший город Казахстана, оказалась промыслительной. Именно сюда в начале 1934 года был водворён ссыльный митрополит Петроградский Иосиф. Много тяжких мучений привелось к тому времени пережить святителю в нескончаемых гонениях. В тридцать первом году он был

этапирован в Алма-Ату, оттуда — Чимкент, а затем — в село Ленинское Каратасского района. Жизнь в этом Богом забытом углу оказалась подлинным мытарством. Местные жители насторожённо относились к ссыльным и не желали дать постой опальному митрополиту. Единственным «жилищем», которое нашлось для него, стал хлев со свиньями в плетёном сарае. В зной и стужу он оставался там, спал на досках, отделённый от свиней несколькими жердями. Результатом таких ужасных условий жизни стала сперва малярия, а после тяжёлое заболевание желудка. Благодаря многочисленным посылкам от родных и близких, владыка выжил, но вскоре был арестован вновь и лишь после разбирательства освобождён и возвращён в Чимкент. Там он смог отчасти поправить здоровье, но после краткой передышки последовал ещё один арест с этапом в гибельный Нижний Талас. Только вмешательство Пешковой спасло митрополита от верной смерти, и он был оставлен жить в Аулие-Ате.

Случилось это в самом начале 1934 года. Узнав о нахождении в городе владыки, отец Михаил поспешил приложить все силы к устройству его на новом месте: была найдена квартира на Рувимской улице, где и поселился измученный митрополит. Несмотря на лишения и болезни, он оставался исключительно твёрд и крепок духом. Его день имел один распорядок: подъём, служба перед резным складнем, который уцелел во время всех этапов и пересылок, прогулка или поход на базар за покупками, завтрак и после небольшого отдыха чтение книг. В книгах недостатка не было: их присылали ему родные или одалживали другие ссыльные. Деньги и продовольствие также присылались близкими, поэтому владыка был избавлен от заботы о хлебе насущном.

Приезд митрополита Иосифа подарил отцу Михаилу и его родным огромную духовную радость — в виде

долгих бесед с владыкой и служб с ним. Вот уж не думалось, что приведётся самому митрополиту сослужить!

Подобные службы были, однако же, редки, так как святитель находился под неусыпным надзором, и проводить тайные богослужения было практически негде. Лишь в одном доме можно было устроить это — там семья добрых христиан устроила в подвале крохотную домовую церковь, где могло разместиться лишь несколько человек. Служа в ней, нельзя было отделаться от напряжённого ожидания стука в дверь и окрика чекистов. Всё же подлинным праздником было, когда, согнув свою высокую, не утратившую стати фигуру в эту воистину катакомбную церковь сходил митрополит. Службы его бывали легки и светлы, озарённые высотой духа святителя, величественного обликом и доступного в личном общении.

Очередную, третью по счёту службу наметили на восемнадцатое мая — к празднику Вознесения Господня. Крёстная загодя выпекла просфоры, а Михаил подготовил всё к богослужению. В маленьком помещении, все стены которого были увешаны иконами, было светло, как днём, благодаря многочисленным лампадам. Отец, исполнявший обязанности чтеца, раскрыл книги, прокашлялся. Ждали митрополита...

И, вот, послышались приглушённые шаги, бесшумно отворилась дверца, и на лестнице, ведущей в подпол, показался старец-святитель, осеняющий своих чад крестным знаменем.

Говорят, будто ощущение близкой опасности придаёт всякому чувству особенную остроту. Должно быть, поэтому в крохотном подполе, обращённом в церковь, под носом у ГПУ молящееся сердце исполнялось исключительным умилением... По окончании службы владыка Иосиф обвёл

присутствующих взглядом своих внимательных глаз, скрывааемых небольшими очками, и негромко заговорил:

— Не ложно слово Господа, обещавшего пребывать с нами до скончания века и сохранять Церковь Свою неодолеваемую вратами ада, то есть и на краю гибели. Да, сейчас мы на краю гибели, и многие, быть может, погибнут; Церковь Христова умалится, быть может, опять до двенадцати и, как в начале своего основания. Ведь не могут не исполниться и такие слова Господа: «Сын Человеческий придет обрящет ли веру на земли?» Все делается по предведению Господню, люди тут не могут ни прибавить, ни убавить ни на одну йоту. Не желающие погибнуть — более застрахованы от гибели, и можно сказать: ад будет только для тех, которые сами желают его. Так эта истина да пребудет прежде всего утешением и подбодрением для унывающих от событий мира сего. Лишение храмов Божиих и подобных прежнему пышных Богослужений с обилием молящихся, блестящими сонмами священнослужителей, ангельски подобным пением хоров и т. п. — конечно, печально и жалости достойно, но от нас не отнято внутреннее служение Богу в тишости и умиленности, и сосредоточенности в себе духа. Подобно тому, как известные челюскинцы, лишенные носившего их корабля, не погибли, а сумели создать себе сносную жизнь и на обломках обманчивой плавучей льдины, пока не были вознесены от грозившей поглотить их пучины на крыльях самолетов, так и мы, после жалостного крушения наших духовных кораблей, не должны предаваться панике и терять самообладание и надежду на спасение, а должны спокойно начать приспособляться к новой обстановке и изощряться на все способы, хотя и в менее пышных формах, продолжать свой молитвенный труд служения Господу и наслаждения Им «во псалмах и пениях и песнях

духовных», как молились первое время Апостолы и все верующие христиане.

Разве были тогда наши величественные храмы, колокола и пышные службы? И разве отсутствие всего такого мешало возгораться такую любовью к Господу, какой не достигали все последующие века?

А пустытники и пустыницы, добровольно проводившие вдали от храмов Божиих десятки лет, разве не более заслуживают нашей святой зависти, чем живущие среди храмов и пышных Богослужений и при всем том не достигшие такой близости к Богу и наслаждения Им?

Вы, лишенные недавних радостей молитвы в храмах Божиих, помните — вы не освобождены от обязанности молитвенно устроить свою жизнь и не лишены возможности этого, помимо возможности иметь около себя постоянных слугителей Христовых и пользоваться их духовной поддержкою и окормлением. Вы и без них должны проводить жизнь так, как-бы сами были своими жрецами, закалая свою жизнь в жертву Господу терпением всех скорбей и лишений, непрестанною к Нему молитвою души, памятованием о Нем с любовью и благодарностью за все Его милости и скорби, и радости, и жаждать Его спасения, когда Он пошлет Ангелов Своих восхитить Ваши души от земных горестей и опасностей и на крылах вознести вас к Себе, где не будет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания». А до того и для того обзаводитесь все печатными и письменными Богослужебными и молитвенными книгами и «пойте Богу нашему», пойте разумно, как умеете и сколько успеете в молитвах своих молитвенных домов, углов в особо посвященное Ему время, свободное от других забот и трудов.

Богослужебные наши книги — неисчерпаемый источник утешений духовных, и кто же не имеет возможности пользоваться ими?



Одна Псалтирь чего стоит: она пронизывает собою, как канва, все другие наши молитвенные книги и песнопения.

Не ослабевайте же, не падайте духом, и благодать Божия с вами.

Аминь. <sup>6</sup>

## Глава 5. «Мудрость змия»

Целая неделя изоляции, нарушаемой лишь нескончаемым повторением многократно пройденного, немало раздосадовала митрополита Сергия. К чему это новое унижение? Эти указания и угрозы? словно бы мог он поступить иначе или давал повод им подозревать себя в «неблагонадёжности», словно бы первый раз привелось сотрудничать. Конечно, неделя изоляции — это не ссылка, не тюрьма, не пытка голодом и жаждой. Но для чего? Разве не знал он сам, что надлежит говорить этим свалившимся, как снег на голову, репортёрам? Ещё как знал! И куда лучше инструкторов — в умении подбирать слова для обоснования требуемой идеи не им с ним тягаться было. Только портили дело своими правками, огрубляли его искусные конструкции.

А ещё ведь грозили опять. Грозили епископам. Грозили Саше... Знал Евгений Александрович, что нет у Сергия, кроме неё, ни единого по-настоящему близкого человека. Да и ему ли не знать? Сам он свою сестру, вместо матери растившей его, теперь лелеял и голубил. И Сергей бы свою Сашу лелеял, но не позволили, отняли её и теперь грозили расстрелять. За что?.. Сколько раз просил отпустить старуху, дать ей в холе и покое дожить свою трудную жизнь. Всё напрасно! Им нужен был заложник для пущей уверенности в нём.

А как бы хорошо было, если бы Саша сейчас рядом была, как когда-то в детстве. Хоть с нею по душам поговорить, отдохнуть... Вспомнилось светлым облаком детство. Арзамас, Алексеевский монастырь, где служил отец, бабка Пелагея, нянюшка Анна Васильевна. И Саша... Вот, разыгравшись в монастырском саду, он проворно вскарабкивается на забор и заводит звонким

голосом песню. И сразу бежит тихая, боязливая Саша, просит робко:

— Ванечка, не пой песни, ведь у нас нет мамы.

Но Ваня в ответ распевался зычнее:

— У Саши нет мамыши, у меня мамаша Саша.

У Саши нет мамыши, у меня мамаша Саша... Эх-эх, как-то теперь она, мамаша Саша? Суждено ли свидеться, обнять её хоть напоследок?

Детство Вани ранёхонько закончилось. Отец отдал его сперва в приходское училище, оттуда — в Арзамасское духовное, после окончания которого он поступил в Нижегородскую духовную семинарию. В сущности, никакого выбора у Вани не было. Отец всё решил за него, не дав бойкому и сообразительному мальчику даже погулять-повеселиться, как положено юности.

А юность, между тем, брала своё. И было обидно тратить её в семинарских стенах. И то, что отец всё решил за него, точно за бессловесного и безвольного, также задевало ни на шутку. В этот кризисный период Ваня пристрастился к спиртному. Этот грех в семинарии был весьма распространён, и в товарищах для размыкания тоски недостатка не случалось. Однажды, порядочно перебрав, Ваня, разгорячившись, поспорил с приятелями, что залезет на крест семинарской церкви. Дойдя до неё и смерив высоту каменного здания, он внутренне дрогнул, но бесчестье от проигранного пари показалось куда хуже, чем риск свернуть шею, и Ваня полез. Как удалось ему добраться до купола, он не помнил, помнил лишь тот момент, когда обрёл себя под самым небом, мёртвой хваткой вцепившимся в крест.

Вот, когда душа в пятки ушла, а хмель сошёл, как не бывало! Высота, на которую он взобрался показалась ему ещё выше, чем на самом деле. Представилось, что одно неверное движение — и он окажется внизу

бездыханным. И дух отойдёт ко Господу во хмелю и безобразии, в кощунстве...

Наверное, никогда так горячо не молился Ваня Богу, как в те мгновения. И Бог услышал, простил юноше глупое молодечество.

С того дня Ваня всерьёз призадумался о своём будущем. О себе он знал, что обладает живым и острым умом, отменной памятью и иными талантами, с которыми многое можно сделать. Отец всю жизнь распорядился им по своей воле, и это было унижительно, но ведь отцовскую волю можно представить и как собственный выбор? Да, именно так! Божий промысел привёл его на нужную стезю, а теперь он, Ваня Страгородский, сам решит свою судьбу — всецело посвятит себя Церкви. Его ум и талант, несомненно, помогут ему занять достойное место, на котором сможет он проявить себя, показать, чего стоит.

Окончив семинарию, Иван поступил в Петербургскую духовную академию. К этому времени он уже вывел свою триаду успеха, от которой не отступал: твёрдое знание буквы, лёгкое владение словом и совершенное владение собственными чувствами. Проказы юности были забыты навсегда. Иван научился сохранять полное спокойствие в любом споре. Когда требовалось, он изображал горячность, спорил до крика, но при этом в отличие от оппонента не терял равновесия, приглядывался к нему и нарочно подзадоривал, стараясь довести его мнение до абсурда, оставшись на его фоне образцом мудрости и рассудительности. Приветливость и ровность со всеми, неколебимое спокойствие и мягкость — всё это привлекало к Ивану людей, очаровавшихся им с первого же знакомства.

Природный дар лицедейства развивался и оттачивался с каждым днём, а с ним и дар слова, умение заговорить, запутать оппонента. Знание буквы в

этом было совершенно необходимо. Именно буквой лѣгко угашался любой довод противника. Каноны и правила Иван вызубрил наизусть — это давало ему немалую фору. Засыпанный многочисленными цитатами, перегруженный ими оппонент терялся и вынужден был пасовать, будучи не в силах продемонстрировать такой же эрудиции. Удачная и добродушная шутка довершала дело — противник оказывался обезоружен и смирен.

Иван внутренне наслаждался своими победами, но не подавал виду. Его способности высоко оценил инспектор Академии архимандрит Антоний (Храповицкий). Его влияние сыграло решающую роль в выборе Ивана, который он никак не решался сделать дотолем. Ни «штатское» богословие, ни иерейское служение не открывали достаточной перспективы для его дарований. Открывало оную лишь монашество, по стезе которого можно было подняться на высоту князей Церкви. До князей обычных деревенскому юноше дорости не помогли бы никакие способности.

Значит, чтобы не зарыть талант в землю, но поставить его на пользу Церкви, нужно было пожертвовать ей всего себя. Так и поступил Иван, приняв монашество с именем Сергей.

После окончания Академии он был отправлен нести миссионерское служение в Японии. Сергей принял это назначение с энтузиазмом, будучи уверен в своём красноречии и умении убеждать людей, но тут подстерегло его разочарование. Оказалось, что побеждать игрой слов и знанием буквы собственных товарищей в уютных гостиных или аудиториях это совсем не то, что обращать ко Христу иные языцы, пробуждать в их сердцах божественный свет. Японцы остались глухи к его мудрым проповедям, и это немало потрясло Сергея. Оказалось, что для того, чтобы будить веру в человеческих душах, мало было знать букву и

уметь мудро говорить. Нужно было что-то ещё... Что-то, что было у его начальника архиепископа Николая (Касаткина), у епископа Алеутского Тихона (Белавина), у иеромонаха Андроника (Никольского), но не было у него, Сергия.

Подавленный и смущённый, он вернулся в Россию, зарекшись заниматься миссионерством, и стал преподавать в родной Академии, а несколько лет спустя сделался её ректором.

Новый век только наступил, но уже сулил стать бурным. Нарастающие революционные настроения, брожения общественной мысли — всё это чутко улавливал Сергий. При такой качке нужно обладать немалым искусством, чтобы сохранять равновесие, чтобы не уклониться ни в одну из сторон, но балансировать между ними, сохраняя добрые отношения со всеми, быть «мудрым, аки змии». В этом искусстве он сделался подлинным виртуозом. С одной стороны — председательствовал на заседаниях либеральных «Религиозно-Философских Собраний», организованных Мережковским, с другой — отстаивал права государства, в частности, право вмешиваться в дела Церкви. На заседаниях Собраний Сергий утверждал:

— Нужно иметь в виду, что каждое государство, каждый народ имеет свою миссию, которая дается ему Богом... Раз Христос допускает свободу совести и раз Русская Церковь считает Себя наследницей заветов Христа — естественно, что всевозможные средства принуждения теряют всякий смысл и должны быть уничтожены... Мне кажется, что у нас глубокое недоразумение и относительно представления о государстве. Отличие западного идеала государства от русского в том, что мы подчиняемся государству не во имя отвлеченных государственных идей, а во имя Христа... Русская государственная власть не может

быть индифферентной, атеистической, если она не хочет прямо отречься от себя самой. Такое понимание русской царской властью своих задач церковных обеспечивало Церкви полную свободу Ее исповедания. Государь, как представитель прав мирян в Церкви, был всегда первым представителем церковных идеалов, ставивший всегда эти идеалы выше себя и государственных интересов, хранителем этих идеалов, хотел жить для них и существовать именно для этих идеалов. Если можно было бы представить дилемму, что важнее для государства: его существование или существование православной веры, то по логике русской веры вера важнее, интересы государственные должны быть принесены в жертву вере. Соблюден ли этот идеал в наше время? Петр Великий погрешил тем, что он пытался вместо этих идеалов поставить другие идеалы, пытался поставить идеал государства как цель саму по себе, — и тотчас, позволив себе немного покритиковать реформы Петра, особенно в части попытки обеспечить свободу вероисповедания в России, добавлял, уравнивая: — Если бы русское государство приняло эти принципы и во всей полноте их провело, то тогда бы нужно было требовать полного удаления Церкви от государства. Но тогда русское государство потеряло бы в глазах народа всякую святость. Что же нам делать? Мне кажется, теперь вопрос не в том... чтобы идеалы Церкви были признаны безусловно неприкосновенными, чтобы с Церкви была снята всякая националистическая и подобная миссия, так как все это вопросы исключительно государственные. *Я говорю не о свободе духовной власти от светского вмешательства. Это вопрос ничтожный.* Я говорю о том, чтобы идеалы Церкви были первенствующими, чтобы государство не употребляло Церковь в свою пользу, как орудие... Относительно того, нуждается ли Церковь в

государстве, я приведу слова Филарета, консервативнейшего из консерваторов, который говорит: если Церковь молится за государство и поддерживает его, то делает это совсем не из соображений Своей пользы, не потому, что нуждается в его поддержке, а делает это во имя долга, как призванная молиться за государство, за благостояние этого мира.

Овцы оставались целыми, а волки сытыми. Легко лавируя между противоположными течениями, Сергей поднимался всё выше по иерархической лестнице. Став членом Синода, он также умело уклонялся от каких-либо резких кренов в ту или иную сторону. Одних иерархов обвиняли в «распутинщине», других — в неуместном либерализме, Сергей оставался вне лагерей. Зимой 1911-1912 годов на заседании Думы, обсуждавшем синодальную смету, Гучков в присутствии обер-прокурора Саблера обрушился на Синод и самого Саблера со всей несдержанностью накопившего негодования, приводя вопиющие факты тлетворного влияния «распутинщины». Присутствовавший при этом митрополит Евлогий, бывший депутат, а в ту пору член Синода, не сумел защитить Саблера, выразив надежду, что тот справится с этим самостоятельно. Саблер был недоволен, и тут-то представился случай проявить себя Сергию. Он потребовал, чтобы Синод демонстративно поднёс оскорблённому обер-прокурору икону, защитив его от гнусных нападок. Митрополит Евлогий был против, но икону поднесли. И проявленная ревность, само собой, зачлась архиепископу Сергию.

Но, вот, грянула революция, зашаталось кресла под членами Синода и вскоре освободились, свежее испечённый обер-прокурор Львов набирал новый состав. Лишь архиепископ Сергей сохранил своё место. Должен же был остаться в Синоде хоть один человек,



имеющий опыт работы! Уйти солидарно с остальными было бы благородно, но вредно для Церкви.

Несколько месяцев спустя Львов снова решил перетрясти Синод. Ему категорически возразил архиепископ Платон (Рождественский), а за ним и все члены Синода. Ждали слова Сергия. Он всегда не любил таких моментов. Решение требовалось принимать быстро, а в спешке, не просчитав последствий, всегда рискуешь стать не на ту сторону. Поэтому ответил уклончиво, снова не примыкая ни к кому:

— Я вполне понимаю и ценю желание обер-прокурора. Отстаивать современный состав Синода нам даже как будто бы неприлично, ибо сами мы к нему принадлежим, и это значит отстаивать свои личные права. Разве что не следует принимать столь судьбоносные решения поспешно...

Поймав на себе выразительный Платонов взгляд, Сергей нарочно стал смотреть в другую сторону. Но и там взгляды были не многим лицеприятнее...

В декабре Сергей оказался единственным епископом — членом Учредительного Собрания, пройдя по общему списку черносотенцев и кадетов. Впрочем, участия в работе этого органа он не принимал, сосредоточившись на работе Поместного Собора. Во время выборов Патриарха большинство было уверено в избрании митрополита Антония. И Сергей в душе завидовал бывшему учителю, пользовавшемуся огромным авторитетом. Когда же белый клобук увенчал главу митрополита Тихона, в душе шевельнулась досада. Сергей представил, что это на него пал жребий, и на душе замутилось. Ведь он и впрямь имел все качества, чтобы занять патриарший престол в столь сложную годину. В такой период Церковь должна быть в руках искусных, в руках человека дальновидного и мудрого, который сумеет вывести её из самых трудных положений, у которого хватит хитрости вести игру с

такими пройдохами, как большевики. Все эти необходимые качества Сергей знал за собой сам, знали их и другие. Но увы, до белого клобука было слишком далеко.

В начале двадцатых гордости митрополита Сергия выпало серьёзное испытание. Тогда он совершил свою самую большую ошибку, слишком поспешно поддержав обновленцев. Попутал же бес связаться с этими фиглярами, как будто не очевидно было, что народ никогда не примет их! А в итоге пришлось слёзно каяться перед Тихоном... Добро ещё тот прещений не наложил. О том своём публичном покаянии Сергей и теперь не любил вспоминать — всякий раз точно заново минувший стыд и унижение переживал.

История с обновленцами помогла ему окончательно уяснить, что в Церкви образ консерватора неизменно более надёжен, чем личина прогрессиста. Церковный народ в массе своей глубоко консервативен и за реформаторами не пойдёт. Пойдут лишь немногие отщепенцы, которые априори ненадёжны и в любой момент предадут того, за кем пошли. Консерватор же всегда будет пользоваться доверием, уважением и любовью паствы, а в случае притеснений обретёт в её глазах мученический ореол. Такая репутация даёт куда большее поле для манёвра. То, что, исходя от прогрессистов, воспримется паствой, как ересь и хула, в устах консерватора станет предметом для обсуждения и при должных стараниях обретёт поддержку. Авторитет консерватора обеспечивает ему кредит доверия, пользуясь которым, можно проводить необходимые преобразования. Проводя прогрессивные реформы, необходимо покрывать их консервативной фразеологией, отвлекая и успокаивая ею сознание паствы. Консерватор — лучшая маска для реформатора...

Сделав этот вывод, Сергей уже не отступал от избранной тактики. Первый случай для оттачивания её представился осенью 1924 года, когда шли переговоры представителей Антирелигиозной комиссии с патриархом о «легализации». Предполагалось провести Всероссийский Поместный Собор, в состав которого наряду с Тихоном вошли бы и вожди «обновленчества». Для этого мероприятия Тучков попросил Сергия подготовить основной доклад, который подвёл бы богословский фундамент под новые отношения государства и Церкви.

Задача была нелёгкой, но в то же время увлекательной, ибо давала изрядный простор применить с юности оттачиваемые таланты и накопленные знания, поупражняться в трактовке канонов и самого Писания, продемонстрировать своё исключительное умение подвести самую фундаментальную и благовидную базу под нужную идею. Вновь искусно лавируя меж разных берегов, Сергей писал: «Прежде всего мы не должны забывать, что государственная власть у нас принадлежит коммунистам-большевикам, т. е. партии, которая объявляет себя без религии, против всякой положительной религии. Другими словами, фактически государственной религией у нас является атеизм, а задача и желание государственной власти сделать его и народной религией. Понятно, что всякая положительная религия, более или менее прочно пустившая корни в народную душу, будет для власти конкурентом, тем более нежелательным, чем шире и глубже влияние этой религии на народные массы.

...В своем прошлом христианство помнит не только стеснения обстоятельств, подобные нынешним, но и прямые гонения, стоившие Церкви десятков тысяч жизней ее лучших сынов, и целые миллионы отпавших, и однако Она все претерпела и вышла

победительницей. Сокращаясь количеством, Она в неизмеримой прогрессии возростала качественно, сжималась как бы в клубок, чтобы с тем большей энергией и глубиной воздействовать на окружающее общество.

...Было бы, конечно, лишь фразой теперешнее свое стесненное положение нашей Русской Церкви приравнять к эпохе гонений. Правда, Церковь наша лишена имущества, а с ним и устойчивого обеспечения для своих учреждений. Но храмы наши открыты для публичного богослужения, проповедь раздается, всякий свободно может приходить и слушать. Правда и то, что некоторые из церковных деятелей и у нас поплатились жизнью, а многим другим из них пришлось познакомиться с тюрьмой и ссылкой. Но причина того уже не религиозные убеждения как таковые, а описанные выше политические отношения.

...Если, например, в прошлом наша Русская Православная Церковь стояла за монархию и даже карала своей анафемой восстания против монарха, то это не обязывает нас оставаться при том же и теперь, при изменившихся условиях. Мы, совершенно не погрешая против нашей веры и Церкви, можем быть в гражданском отношении вполне лояльными к Советской власти и, не держа камня за пазухой, работать в СССР на общее благо... чтобы добиться разрешения на Собор, мы должны представить Правительству вполне гарантированное заявление о лояльности нашей Церкви, а чтобы иметь в руках такое заявление, нам нужен Собор. Получается круг. Выход из него, может быть, откроется в том, чтобы в самую программу будущего Собора внести некоторые пункты, ясно определяющие отношение нашей Церкви к Советской власти и вообще к новому государственному и социальному строю, и представить эту программу Правительству вместе с ходатайством о разрешении на

созыв Собора. Пункты эти должны быть рассмотрены Собором в самом начале его занятия. Положительный ответ на них предоставит Собору возможность продолжать свои занятия и приступить к решению других назревших вопросов, собственно церковных; отрицательный же ответ будет для Правительства основанием распустить Собор раньше, чем он успеет что-либо сделать для Церкви. Думается, Правительство даст нам возможность легально определить свою позицию и упорядочить наши церковные дела».

Следуя наказу Тучкова, Сергей старательно обосновал необходимость полной законопослушности Церкви — вплоть до сообразования всех проявлений церковной жизни с законами Советской власти и требования от всех православных лояльности по отношению к власти.

Последнюю главу своего доклада он посветил анализу отношений коммунизма и христианства в целом, доказывая, что коммунизм «не только не противен христианству, но и желателен для него более всякого другого, это показывают первые шаги христианства в мире, когда оно, может быть, еще не ясно представляло себе своего мирового масштаба и на практике не встречало необходимости в каких-либо компромиссах, применяло свои принципы к устройству внешней жизни первой христианской общины в Иерусалиме, когда никто ничего не считал своим, а все было у них общее...»

Отдельные постулаты обновленцев также пришлось кстати в этом труде: «Находясь в союзе с собственническим государством и своим авторитетом как бы поддерживая собственнический строй, Христианство (точнее, наша православная Церковь в отличие от протестантства) идеальной или совершенной жизнью, наиболее близкой к идеалу, считало все-таки монашество с его отречением от

частной собственности. Это господствующая мысль и православного богослужения, и православного нравоучения, и всего православно-церковного уклада жизни. Тем легче, следовательно, было бы христианству помириться с коммунистическим строем, если бы он оказался в наличности в тогдашнем или в каком-либо другом государстве. Поэтому и наша Православная Церковь, стоя перед совершившимся фактом введения коммунистического строя Советской властью, может и должна отрицать коммунизм как религиозное учение, выступающее под флагом атеизма... Но занимать непримиримую позицию против коммунизма как экономического учения, восставать на защиту частной собственности для нашей Православной, в особенности Русской Церкви, значило бы забыть свое самое священное прошлое, самые дорогие и заветные чаяния, которыми, при всем несовершенстве повседневной жизни и при всех компромиссах, жило и живет наше русское, подлинно Православное церковное общество».

В этой, наиболее важной для себя главе, митрополит Сергей уделит внимание и историческому пути Русской Церкви. Тому, как «иосифлянство» перегрузило её богатствами, и лишь Екатерина отчасти облегчила это бремя, лишив Церковь земель, окончательную же свободу ей дала только Революция. Следуя избранной консервативной линии, он обрушился на протестантизм, занесённый в Россию Петром: «Отрицая возможность вообще духовного подвига в земной жизни христианина и отвергая монашество, протестантство стало культивировать добродетели семейные, общественные и государственные. Поэтому и Церковь там сама собою оказалась подчиненной государству, и добродетели гражданские практически оказались более нужными, чем духовные. А так как государство было собственническим, так как гражданский строй был буржуазным, то и гражданские

добродетели эти оказались преимущественно буржуазными и собственническими: верность государю, честность, трезвость, бережливость, соседняя с скопидомством и т. д. По этому пути протестантство вполне последовательно пришло потом и к утверждению, что собственность священна, и даже что долг богатого человека — заботиться об увеличении своего богатства. Для пересаженного к нам с Запада полицейского государства эти выводы протестантства были весьма пригодными и потому были весьма скоро и основательно усвоены всеми по-государственному мыслящими людьми. Они свили себе гнездо и в официальном богословии. Но подлинно православной, в особенности русской православной науке с этими выводами не по пути. Недаром немцы возмущались некультурностью нашего мужика, невозможностью никакими силами привить ему помянутые буржуазные добродетели. Он все продолжает твердить, что земля «Божья», т. е. ничья, что все, что нужно всем, и должно быть в общем пользовании... ..Где у нас идеал честного и аккуратного собственника? Напротив, не юродивый ли, если взять духовную литературу, не босяк ли, если взять светскую, а в том и другом случае не человек ли, живущий вне условий и требований буржуазной жизни, есть подлинно наш русский идеал? Я убежден, что Православная наша Церковь своими «уставными чтениями» из отцов Церкви, где собственность подчас называлась не обинюясь кражей, своими прологами, житиями святых, содержанием своих богослужебных текстов, наконец, «духовными стихами», которые распевались около храмов нищими и составляли народный пересказ этого церковного книжного учения, всем этим Церковь в значительной степени участвовала в выработке вышеописанного антибуржуазного идеала, свойственного русскому народу. Допустим, что церковное учение падало уже на готовую почву или что

русская — по-западному некультурная — душа уже и сама по себе склонна была к такому идеалу и только выбирала из церковной проповеди наиболее себе сродное, конгениальное. Во всяком случае можно утверждать не колеблясь, что Православная наша Церковь своим (теперь неофициальным) учением не только не заглушала таких естественных произрастаний русской души, но напротив, доставляла им обильную пищу, развивала их и давала им освящение.

...Вот почему я утверждаю, что примириться с коммунизмом как учением только экономическим (совершенно отменяя его религиозное учение) для Православной нашей Церкви значило бы возвратиться к своему забытому прошлому, забытому официально, но все еще живому и в подлинно церковной книжности, и в глубине сознания православно-верующего народа».

Тогда, в 1924 году работа, изначально заказанная ГПУ, но по ходу написания сделавшаяся для Сергия своей почти до сокровенности, не была востребована. А через три года она послужила первоосновой для Декларации...

Представителей советской печати, ради беседы с которыми его, словно мальчишку, прорабатывали целую неделю, Сергей не опасался. Он знал, о чём будут спрашивать, знал и что отвечать. И хотя противно было, что придётся вновь откровенно лгать и затем получать очередные обличения всевозможных раскольников, но что поделаешь? Сказано: будьте мудры, аки змии.

Журналисты прибыли ровно в назначенное время. Сергей принял их вместе с членами Синода.<sup>7</sup>

— Действительно ли существует в СССР гонение на религию и в каких формах оно проявляется? — прозвучал первый вопрос.



Вспомнилась некстати тюрьма и отвратительная селёдка, даваемая без капли воды — морозом продрало по коже.

— Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. В силу декрета об отделении Церкви от государства исповедание любой веры вполне свободно и никаким государственным органом не преследуется. Больше того. Последнее постановление ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от восьмого апреля 1929 года совершенно исключает даже малейшую видимость какого-либо гонения на религию.

— Верно ли, что безбожники закрывают церкви, и как к этому относятся верующие?

Перед глазами промелькнули руины московских монастырей и храмов. Вопрос задавал молодой, энергичный журналист с написанным на плоском лице рвением.

- Да, действительно, некоторые церкви закрываются. Но производится это закрытие не по инициативе власти, а по желанию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих верующих. Безбожники в СССР организованы в частное общество, и поэтому их требования в области закрытия церквей правительственные органы отнюдь не считают для себя обязательными.

— Верно ли, что священнослужители и верующие подвергаются репрессиям за свои религиозные убеждения, арестовываются, высылаются и т. д.?

- Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправительственные деяния. Надо сказать, что несчастье Церкви состоит в том, что в прошлом, как это всем хорошо известно, она слишком срослась с

монархическим строем. Поэтому церковные круги не смогли своевременно оценить всего значения совершившегося великого социального переворота и долгое время вели себя как открытые враги соввласти (при Колчаке, при Деникине и прочих). Лучшие умы Церкви, как, например, Патриарх Тихон, поняли это и старались исправить создавшееся положение, рекомендуя своим последователям не идти против воли народа и быть лояльными к советскому правительству. К сожалению, даже до сего времени некоторые из нас не могут понять, что к старому нет возврата и продолжают вести себя как политические противники советского государства.

- Допускается ли в СССР свобода религиозной пропаганды?

- Священнослужителям не запрещается отправление религиозных служб и произнесение проповедей (только, к сожалению, мы сами подчас не особенно усердствуем в этом). Допускается даже преподавание вероучений лицам, достигшим совершеннолетия.

- Соответствуют ли действительности сведения, помещаемые в заграничной прессе, относительно жестокостей, чинимых агентами соввласти по отношению к отдельным священнослужителям?

- Ни в какой степени эти сведения не отвечают действительности. Все это — сплошной вымысел, клевета, совершенно недостойная серьезных людей. К ответственности привлекаются отдельные священнослужители не за религиозную деятельность, а по обвинению в тех или иных антиправительственных деяниях, и это, разумеется, происходит не в форме каких-то гонений и жестокостей, а в форме, обычной для всех обвиняемых.

- Как управляется Церковь и нет ли стеснений для управления?

- У нас, как и в дореволюционное время, существуют центральные и местные церковные управления. В центре Патриархия, т. е. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя и Священный Синод, а в епархиях — Преосвященные архиереи и епархиальные советы. Кроме этого, при каждом приходе существует дополнительный орган, избираемый верующими. В управлениях всех наших органов до сих пор не было никаких стеснений, и Преосвященные находятся на местах своих епархий.

- Как бы вы смотрели на материальную поддержку из-за границы и, в чем бы она могла выразиться?

- Наше положение как священнослужителей в достаточной степени обеспечивается материальной поддержкой наших верующих. Мы считаем для себя нравственно допустимым содержание нас только верующими. Получение же материальной поддержки людей другой веры и извне было бы для нас унижительным и налагало бы для нас большие моральные, а может быть, даже и политические обязательства и связывало бы нас в нашей религиозной деятельности.

— Как вы относитесь к недавнему обращению папы Римского?

Вот, на этот вопрос, пожалуй, даже в удовольствие ответить. Обличение католицизма и протестантизма было коньком митрополита Сергия. Ещё в Академии он понял, что тема эта неизменно выгодна со всех сторон. С одной стороны, нападки на католиков и протестантов ни в ком не вызовут раздражения, потому что прогрессистов куда более волнуют вопросы социальные, а консерваторы всегда радеют за веру Православную. С другой стороны, это традиционное для русского богословия направление помогает стяжать прочную репутацию ревнителя святоотеческих заветов, что привлекает как благосклонность паствы, так и

церковного начальства. Ещё в своей магистерской диссертации Сергей яростно обрушивался на западную религиозную мысль и обильно цитировал святоотеческие труды. Эту тему он не оставлял все последующие годы.

— Считаю необходимым указать, что нас крайне удивляет недавнее обращение папы Римского против советской власти. Папа Римский считает себя «наместником Христа», но Христос пострадал за угнетенных и обездоленных, между тем как папа Римский в своем обращении оказался в одном лагере с английскими помещиками и франко-итальянскими толстосумами. Христос так не поступил бы. Он клеймил бы такое отступление от христианского пути. Тем более странно слышать из уст главы католической Церкви обвинения в гонениях на инаковерующих, что вся история католической Церкви есть непрерывная цепь гонений на инаковерующих, вплоть до пыток и сожжения их на кострах. Нам кажется, что папа Римский в данном случае идет по стопам старых традиций католической Церкви, натравливая свою паству на нашу страну и тем поджигая костер для подготовки войны против народов СССР. Мы считаем излишним и ненужным это выступление папы Римского, в котором мы, православные, совершенно не нуждаемся. Мы сами можем защищать нашу Православную Церковь. У папы есть давнишняя мечта окатоличить нашу Церковь, которая, будучи всегда твердой в своих отношениях к католицизму, как к ложному учению, никогда не сможет связать себя с ним какими бы то ни было отношениями. На днях нами будет издано специальное обращение к верующим с указанием на новые попытки папы Римского насадить среди православных христиан католицизм совершенно непозволительными путями, к каким прибегает папа.

- Как вы относитесь к выступлению архиепископа Кентерберийского на кентерберийском церковном Соборе?

- Нам кажется вообще странным и подозрительным внезапное выступление целого сонма глав разного рода церквей — в Италии, во Франции, в Германии, в Англии — в «защиту» Православной Церкви. Внезапный необъяснимый порыв «дружеских» чувств к Православной Церкви обычных противников Православия невольно наводит на мысль, что дело тут не в защите Православной Церкви, а в преследовании каких-то земных целей. Мы не беремся объяснять, какие это земные цели, но что они имеют мало общего с духовными запросами верующих, в этом нет никакого сомнения. Что касается, в частности, выступления архиепископа Кентерберийского, то оно грешит той же неправдой на счет якобы преследований в СССР религиозных убеждений, как и выступление Римского папы. Трудящиеся люди Лондона расценивают выступление архиепископа Кентерберийского как выступление, «пахнущее нефтью». Нам кажется, что оно если не пахнет нефтью, то, во всяком случае, пахнет подталкиванием паствы на новую интервенцию, от которой так много пострадала Россия.

В очередной раз засвидетельствовав свой патриотизм советского гражданина, митрополит Сергей удалился в свои покои. Его задача была выполнена. Завтра весь мир прочтёт, что в СССР нет никаких гонений на Церковь, и всё идёт своим чередом. И новые анафемы бывших собратий падут на его седую голову...

На душе было тошно. И хоть бы с кем слово сказать... Куда там! Сразу донесут Евгению Александровичу. Собственные синодалы и помощники донесут. Тошно!..

И не иначе как для того, чтобы ещё тошнее стало, просунулся в дверь секретарь:

— Владыка! Здесь митрополит Кирилл!

Даже в висок ударило от такой новости:

— Где — здесь?.. — переспросил севшим голосом.

— По лестнице поднимается, сюда идёт!

Вот уж принесла нелёгкая...

— Так разве он не в ссылке?

— Вы запомнили, владыка. Его недавно освободили с разрешением поселиться в Гжатске.

— Проездом, стало быть... Что ж, придётся принять. С порога не прогонишь...

Митрополит Кирилл! Старейший иерарх Русской Церкви, первый из трёх местоблюстителей, первый кандидат на пост патриарха и одновременно его, Сергия, постриженник... И многолетний непримиримый критик... Как говорить с ним, когда после недели мытарства и клоунады перед прессой одно желание — остаться одному и никого не видеть?

Всколыхнулись разом все обиды последних лет. Дерзновенные письма, расколы, предательства... Как поддерживал его Угличский Серафим, а ныне анафематствуется! Как сыновне обращался Вятский Виктор, а ныне прямо в еретики записывает! Епископы и простые священники отказывались принимать от него назначения. Добро если, как Серафим (Звездинский) тихо уходили на покой, а то ведь сразу с открытыми обличениями выступали, как тот же священник Пискановский...

А Иосиф? Иосиф, который поддержал его в тяжбе с Агафангелом, которого сам он назначил на Петроградскую кафедру, как смел он развязать этот бунт? Покойный Иларион<sup>8</sup> справедливо заметил в письме с Соловков: гордыней сочтется иосифово письмо — будто бы только и беда, что его с Петроградской посмели на Одесскую кафедру переместить! При покойном царе знай себе тасовали архиереев.

Владимира-митрополита в Киев отослали по капризу царицы за распутинскую обиду. И ничего! Все принимали такое положение. А ныне в ревнители записались, свободы церковной возжаждали! И такие-то люди хотят Церковь править? Сохрани Господь! В считанные месяцы уничтожат её, сами погибнут и овец своих за собой увлекут. И всё — во имя «правды церковной»! А зачем нужна правда, если Церкви не будет? Если епископов не будет?

Всего тяжелее был отход старейших иерархов, с которыми прежде был Сергей дружен. Он рассчитывал, что они, умудрённые летами и долгой службой, в том числе, в царском Синоде, поймут и примут его тактику. Но они не поняли...

Особенно тягостное впечатление произвело письмо митрополита Антония. В далёком 1896 году в Москве он, друг и наставник Сергея, почтил его магистерскую диссертацию лестным отзывом: «прекрасное и выдающееся по талантливости и самостоятельности исследование». Их имена часто упоминали вместе, сравнивали их труды. Парадокс: их двоих обличил в опасном модернизме богословских изысканий Виктор Островидов, предсказав, что оные потрясут Церковь. А теперь ставший епископом Виктор и возглавивший зарубежную часть Русской Церкви Антоний в один голос обличили его, Сергея...

«...с нами разделяет Вас то, что Вы в желании обеспечить безопасное существование церковному центру, постарались соединить свет с тьмой, — гневно писал Антоний. — Вы впали в искушение, сущность которого раскрыта в св. Евангелии. Некогда дух зла пытался и Самого Сына Божия увлечь картиной внешнего легкого успеха, поставив условием поклонение ему, сыну погибели. Вы не взяли пример со Христа, св. мучеников и исповедников, отвергших такой компромисс, а поклонились исконному врагу нашего

спасения, когда, ради призрачного успеха, ради сохранения внешней организации, заявили, что радости безбожной власти — Ваши радости и что враги ее — Ваши враги. Вы даже постарались развенчать мучеников и исповедников последних (в том числе и себя, ибо мне известно, что одно время и Вы являли твердость и были в заключении), утверждая, будто бы они терпят темничное заключение, изгнание и пытки не за имя Христово, а как контрреволюционеры. Вы этим возвели на них хулу. Вы унизили их подвиг, расхолодили тех, кто может быть приобщился бы к лику мучеников за веру. Вы отлучили себя от цвета и украшения Русской Церкви. В этом ни я ни мои заграничные собратья никогда не последуем за Вами. Еще в 1927 году, видя, что Вы впали не только телом, но и душою в плен к безбожникам, наш Собор постановил:

1) Заграничная часть Всероссийской Церкви должна прекратить административные сношения с Московской церковной властью в виду порабощения ее безбожной советской властью, лишаящей ее свободы в своих волеизъявлениях и канонического управления Церковью, 2) Чтобы освободить нашу иерархию от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей Церкви, впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей Церкви от гонений безбожной советской власти, Заграничная часть нашей Церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определением Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-1918 г.г. и постановлением Свят. Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего /Церковного/ Совета от 7/20 ноября 1920 г., при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов, под председательством Киевского митрополита Антония. 3) Заграничная часть Русской Церкви почитает себя неразрывною, духовно-единою



ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей Матери Церкви и не считает себя автокефальной. Она по прежнему считает своею главою Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями. 4) Если последует постановление митрополита Сергия и его Синода об исключении заграничных епископов и клириков, не пожелавших дать подписку о верности Советскому правительству, из состава Московского Патриархата, то такое постановление будет неканоническим. 5) Решительно отвергнуть предложение митрополита Сергия и его Синода дать подписку о верности советскому правительству, как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей (Окр. послание от 27 авг./9 сент. 1927 г.).

Мы, свободные епископы Русской Церкви, не хотим перемирия с сатаной. Хотя Вы и стараетесь затуманить вопрос, называя наше враждебное отношение к большевикам только политикой, между тем, как мы веруем, что борьба с ними «брань не против крови и плоти, но против начальств, против властителей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12).

Мы не имеем никакого общения с заключенными в России православными архипастырями, пастырями и мирянами кроме того, что молимся о них, но знаем, что они страдают именно за веру, хотя гонители и обвиняют их в чуждых им государственных преступлениях, как любили делать это враги христиан и в древнейшие времена. Но и древние мученики и их собратья хорошо знали, что когда их жгли якобы за поджог Рима, то на самом деле это «мироправитель века сего» гнал их за то, что они остаются верны Спасителю. Ничто так не возвещает и не укрепляет Церковь, как мученичество, хотя бы она таким образом лишилась и своего

Предстоятеля. Для Вас крестный путь представляется теперь безумием подобно тому, как и современным Апостолам эллинам (1 Кор. 1, 23). Все силы свои направляете Вы к тому, чтобы жить в мире с хулителями Христовыми, гонителями Церкви Его и Вы даже помогаете им, добиваясь от нас изъявления лояльности и ставя клеймо контр-революционеров на тех, кто ничем не провинился пред советской властью кроме твердости в вере.

Умоляю Вас, как б. ученика и друга своего: освободитесь от этого соблазна, отрекитесь во всеуслышание от всей той лжи, которую вложили в Ваши уста Тучков и др. враги Церкви, не остановитесь перед вероятными мучениями. Если сподобитесь мученического венца, то Церковь земная и Церковь небесная сольются в прославлении Вашего мужества и укрепившего Вас Господа, а если останетесь на том просторном пути, ведущем в погибель (Мф. 7, 13), на котором стоите ныне, то он бесславно приведет Вас на дно ада и Церковь до конца своего земного существования не забудет Вашего предательства.

Об этом я мыслю всегда, когда взираю на подаренную мне Вами 20 лет тому назад панагию Владимирской Божией Матери с выгравированной надписью: «Дорогому учителю и другу». Дальнейшие слова этой надписи отмечены Вами так: «Дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают» (Мф. 25, 2).

Вот мы предлагаем Вам спасительный елей веры и верности Св. Церкви, не отвергайте же его, а воссоединитесь с нею, как в 1922 году, когда Вы торжественно заявили Патриарху Тихону свое раскаяние в бывшем колебании Вашей верности. Не отвергайте же дружеского призыва сердечно любившего Вас и продолжающего любить».

Они упрекали его в политиканстве... Митрополита Антония в политиканстве не обвинял никто. Отчего так? Разве не были все действия этого «учителя и друга» политизированы до предела? Монархическая идея в нём взяла верх над Церковью, Церковь сделалась придатком к изжившей и дискредитировавшей себя монархической идеологии, к политизированной монархической эмиграции, для которой Гражданская война не кончалась. Готовы сотрудничать с кем угодно, с Папой Римский, с протестантами, с фашистскими режимами — только бы против коммунистов, против СССР, за мифического царя...

Вспомнилось, как в один из первых дней после падения самодержавия обиженный царицей митрополит Владимир не без удовольствия вытащил из зала заседания Синода кресло императора. Но Владимир теперь мученик, ему не припомнят «печальных фактов». И другим не припомнят... У всех теперь один лишь козёл отпущения, виновник всех бед — митрополит Сергей!

Да что бы было с ними, с Церковью, если бы не его непосильные труды, его политика? Кто из них смог бы ещё столько времени вести эту тяжелейшую, изматывающую партию с ГПУ? Кто бы выдержал? У кого бы хватило искусства маневрирования и самообладания? Нет, не поняли, не оценили...

И, вот, уже стоял в дверях один из первых судий — митрополит Кирилл.

— Здравствуйте, дорогой владыка! — поднялся ему навстречу Сергей, собираясь с силами для очередного поединка.

— Не хворать и вам, — кивнул Кирилл, закрывая дверь. Ему видимо тяжело было ходить, и он опирался на массивную палку.

— Садитесь, сделайте одолжение, — попросил Сергей.

Митрополит Кирилл с сомнением взглянул на предложенное кресло, но всё-таки сел и, не теряя времени на обиняки, перешёл к делу:

— Я пришёл узнать, передали ли вы моё письмо митрополиту Петру, как я о том усердно просил?

— У меня не было такой возможности, — уклончиво ответил Сергей и по лицу бывшего собрата понял, что тот ему ни на йоту не поверил. Следуя утверждению о том, что лучшей защитой является нападение, он попытался повернуть разговор в свою сторону: — Стало быть, владыка, вы всё ещё упорствуете в своих заблуждениях. А я-то льстил себя надеждой, что с течением времени, с получением надлежащей осведомленности, вы исправите свою ошибку и не только прекратите неблагодарную работу подкапывания Дома Божия, но и поддержите своим авторитетом мои усилия восстановить сильно нарушаемый теперь порядок и чин в церковной жизни.

— Я также питал надежды, что Господь просветит вас и вы, прислушавшись к многочисленным голосам верующих, исправите свои ошибки и измените принятый вами роковой курс. Не я один, многие уповали, что вы внемлите увещеваниям собратий и перестанете превышать свои заместительские полномочия в обход того, кого замещаете, а также распустите свой Синод.

— Вижу, вы, действительно, единомысленны с нашим новым расколом. Что ж, ваши и ваших единомышленников аргументы не новы. Известный архиепископ Григорий свою полемику против меня начал именно с отрицания моих полномочий. Действительно, походящему, всем нам привычному представлению, «зам» только подписывает бумаги за начальника и пропускает текущие дела, не смея касаться дел, требующих инициативы. Но это ходячее представление здесь неприложимо. Дело в том, что с

титулом «заместитель» произошло у нас то же, что и с титулом «патриарший местоблюститель». В завещании Святейшего Патриарха говорится только о переходе патриарших прав и обязанностей, и уже митрополит Петр решил именоваться «патриаршим местоблюстителем», по букве же завещания, его титул должен бы быть: «исполняющий обязанности патриарха». Мой же титул должен звучать: «временно исполняющий обязанности патриаршего местоблюстителя».

На протяжении этого монолога митрополит Кирилл ни разу не взглянул на Сергия, устало и безразлично глядя в сторону. Затем со вздохом отозвался:

— Мы здесь одни, владыка. Мы оба стары, оба скоро будем держать ответ перед Высшим Судией. К чему эти ваши упражнения в полемическом искусстве? В нём вам нет равных, это знают все. Впрочем, как вам угодно... Я не стану оспаривать желательной вам терминологии для обозначения ваших церковных полномочий (дело не в терминах, а в деле), но продолжаю думать и утверждать, что вы действительно превзошли всякую меру самовластия, посягнув самочинно на самые основы нашего патриаршего строя. Синода с такими правительственными оказательствами, как ваш, Русская Церковь не знала ни при патриархе, ни при митрополите Петре. Конечно, при наличии соправителей ваша единоличная власть теряет своё обнаружение, так как вы предусмотрительно распылили принятую на себя ответственность за ход церковной жизни на безответственную Коллегию, без утверждения которой ни одно ваше постановление не действенно. Правда, вы успокаиваете себя предположением, что будто бы не отступили от линии действий Святейшего, но почивший патриарх, имея около себя советников, называемых в совокупности Синодом, пользовался для проверки своей

архипастырской совести и суждениями прилучившихся архиереев, но никого не ставил рядом с собою для переложения ответственности со своей головы на другие. Более того, Святейший прислушивался к голосу церковного народа и, случалось, отступал от решений, когда те грозили посеять смущение во вверенных его пастырской совести душах. Последуйте же его примеру, найдите благовременным распустить ваш Синод, возбуждающий столько тревог и страстных споров, успокойте смущенные души, с любовью отдавшиеся вашему руководству, пока не становились вы на путь ненужных новшеств! Неужели эти души и их ничем не смущаемая совесть в общении с Церковью и ее служителями не гораздо ценнее для Церкви и важнее для общего в ней спасения, чем настойчивое сохранение в жизни церковной спорных учреждений? Уверен, что если бы вы во имя сохранения церковного исполнения последовали моему совету, то противники ваши снова с любовью возвратились бы под ваше руководство.

— Вернулись бы под моё руководство? — криво усмехнулся Сергей. — Те отщепенцы и раскольники, которые признают возглавляемую мною Церковь «царством антихриста», наши храмы — «вертепами сатаны», нас — его служителями, а Святое Причастие — «пищею бесовскою»? Это ведь, владыка, уже даже не раскол, а прямо хула на Духа Святого, грех и смерть, лишаящий хульника надежды вечного спасения. И только беспросветная темнота одних и потеря духовного равновесия другими из хулителей дают христианской любви некоторую смелость верить, что грозное изречение Господа не будет применяться к этим несчастным со всей строгостью. Эти люди в отношении к нашей Церкви не стесняются себя никакими канонами и правилами. Между тем с их церковью лукавствующих вы состоите в общении: готовы одобрять

и поддерживать самые непозволительные по канонам действия самочинников. Судите же сами, если за одну молитву даже на дому с отлученным виновный подлежит отлучению, согласно десятому Апостольскому правилу, если священнослужитель, общающийся с отлученным от общения, должен быть «вне общения церковного», согласно второму правилу Антиохийского Собора, если, наконец, «приложившиеся» к учинившему раскол должны быть извержены из сана по тридцать первому Апостольскому правилу, то тем более всему этому подлежите вы, в котором мы должны видеть не рядового сомолитвенника или полупассивного соучастника раскола, а при вашем авторитете и одного из главных его вдохновителей, своего рода «учителя бесчиния»! — чем дольше говорил Сергей, тем увереннее чувствовал себя. Годы не притупили остроты его памяти, и соборные и апостольские правила одно за другим предъявлялись неопровержимым обличением бывшему собрату. Тот смотрел уже не в сторону, а прямо на говорящего, но взгляд его ясных, абсолютно спокойных глаз оставался всё так же безразличен. Лишь лёгкое сожаление отразилось в нём. Когда же Сергей, наконец, остановился, ожидая услышать оправдания на свои обличения, митрополит Кирилл лишь негромко вымолвил:

— Все знают, что вы искусный канонист. И не было нужды вам так утруждаться, доказывая это мне. Как бы ни подчеркивали вы строгость суждения канонов, ваши толкования производят малое впечатление и на непослушных, и на все церковное общество, совершенно перестающее доверять диалектической канонике, развившейся у вас до ужасающих размеров с появлением обновленчества. Вспомните, как на основании канонического буквализма обновленческий, так называемый, Собор осудил патриарха не только на лишение сана, но и монашества. Поэтому не

злоупотребляйте, владыка, буквой канонических норм, чтобы от святых канонов не остались у нас просто каноны. Церковная жизнь в последние годы слагается и совершается не по буквальному смыслу канонов. Вспомните, что и самый переход патриарших прав и обязанностей к митрополиту Петру совершился в небывалом и неведомом для них порядке. Кроме канонов, у епископа есть еще «иерархическая совесть», которая может его уполномочить действовать даже вопреки всяким канонам.

— Это мысль совершенно нецерковная, открывающая дверь самому необузданному произволу и самочинию, чтобы не сказать самодурству! Даже Римский папа претендует на непогрешимость только тех своих решений, которые произносятся им после соборного рассмотрения. Наше же положение гораздо скромнее: мы только служители, призванные творить волю Пославшего нас. А эта воля в обычной обстановке и нам, обычным людям, открывается не в виде каких-нибудь чрезвычайных откровений в нашей совести, а открыта в слове Божиим, в учении Церкви и в особенности в канонах, определяющих жизнь церковную в ее конкретной действительности! Святая Церковь повелевает нам подчинять внушения нашей совести правилам внешнего церковного порядка, как показывают правила Карфагенского Собора. Епископ знает о преступлении от самого преступника из его личного наедине признания, но публично в судебном порядке установить этого преступления не может. «Иерархическая совесть» побуждает его немедленно же отстранить виновного от священнослужения, а Святая Церковь заповедует: «Доколе отлученного по сему случаю не примет в общение свой епископ, дотол сего епископа да не приемлют в общение прочие епископы».



— Вы, владыка, только что упомянули о христианской любви. Отчего же для своей христианской любви вы не нашли более любовный способ воздействовать на своих противников, как постановление вашего Синода, воспрещающее, несмотря ни на какие просьбы, отпевать умерших в отчуждении от вашего церковного управления? Не говоря уже о перемазывании крещеных, тем же святым миром помазанных, каким намазуют и послушные вам священники, или о перевенчании венчанных? И ведь вражду этим постановлением вы создаете, главным образом, с теми, кто за время существования обновленчества разных призывов своим православным чутьем, не зная писаных законов, безошибочно определяли подлинную церковную правду и возвращали к ней самих пастырей, пошатнувшихся было на своей церковной стезе, вследствие книжнического пользования писанными церковными правилами. Вслед иудейским первосвященникам вы вынесли им приговор: *народ сей, иже не весть закона, прокляти суть.*

— Вы сами порвали с нами евхаристическое общение, хуля наши Таинства, — развёл руками Сергей. — Правда, тем не менее, не считаете ни себя учинившим раскол, ни нас состоящими вне Церкви. Объясните, как это возможно? Для церковного мышления такая теория совершенно неприемлема — это попытка сохранить лёд на горячей плите. Если мы одинаково полноправные члены Церкви, то это должно выразиться в евхаристическом общении между нами. Если же последнего между нами нет, то или вы учиняете раскол, или мы находимся вне Церкви!

— Ваши недоумения вызваны тем, что вы воспринимаете отрицание своей деятельности, как отрицание самой Церкви. Не лёд пытаюсь сохранить я на горячей плите, но растопить лёд диалектически-

книжнического пользования канонами и сохранить святыню их духа. Я воздерживаюсь литургисать с вами не потому, что тайна Тела и Крови Христовых будто бы не совершится при нашем совместном служении, но потому, что приобщение от Чаши Господней обоим нам будет в суд и осуждение, так как наше внутреннее настроение, смущаемое неодинаковым пониманием своих церковных взаимоотношений, отнимет у нас возможность в полном спокойствии духа приносить «милость мира, жертву хваления». Поэтому во всей полноте свое воздержание я отношу только к вам и единомысленным с вами архиереям, но не к рядовому духовенству и тем менее к мирянам. Среди рядового духовенства очень немного сознательных идеологов вашей церковной деятельности. Большинство остается послушным вам по инерции и не смутятся в случае надобности у меня исповедоваться, исповедовать меня и со мною причащаться. От такого священника и я приму последнее напутствие. Конечно, если придется натолкнуться на одного из идеологов вашей деятельности, то мир наш к нам возвратится и с ним умру я без напутствия, но с исповеданием церковной правды.

Митрополит Сергей поднялся из-за стола, желая завершить бесполезный и утомительный разговор. С неожиданной лёгкостью встал следом и Кирилл, смотрящий всё с тем же оскорбительным братским сожалением, как на пропащего.

— Я со всею искренностью прошу вас еще раз взвесить, что лучше: терпеть ли неопределенное время в ожидании Собора некоторые недостатки в организации церковного управления или же учинить из-за этих недостатков раскол и каждой стороне отдельно ждать Собора, — холодно произнёс Сергей. — Церковное сознание и вековой церковный опыт, выразившийся, между прочим, и в тринадцатом и

четырнадцатом правилах Двукратного Собора, предпочитают первое, и они не ошибаются. Недостатки организации Собору всегда легко исправить, раз не потеряно благодатное преемство, но соединить расколовшихся иногда невозможно без чрезвычайного воздействия благодати Божией; и сам ушедший не желает возвращаться без первой одежды и перстня на руку, и старший его брат ревнует, как бы не оказаться ему уравненным с возвратившимся. Если вы предпочитаете второе, то я вынужден буду предать вас суду Собора архиереев по обвинению во вступлении в общение с обществом, образовавшим раскол, в поддержке названного раскола своим примером, словом и писаниями, в демонстративном отказе от принятия Святых Тайн в православных храмах и в отказе повиноваться законному Заместителю Патриаршего Местоблюстителя и иметь с ним общение.

Митрополит Кирилл пожал некогда богатырскими плечами:

— Бог вам судья, владыка. Я хотел увидеться с вами, чтобы понять... Теперь мне всё понятно. К сожалению. Прощайте, владыка!

Митрополит Сергей не стал провожать бывшего собрата до двери, в душе уже предав его суду и вынеся приговор. Те, кто не понимают ни блага Церкви, ни канонов, а желают анархии и произвола, истекающим из их абстрактного чувства правды, должны уйти, чтобы Церковь могла сохраниться. Лучше уйти им, нежели погибнуть всей Церкви...

Оставшись, наконец, один, он погрузился в работу, которую любовно вынашивал последние годы. В ней он раскрывал богословскую интуицию апостола Павла, снова полемизируя с католическим учением о наместнике Христа в Церкви.

— В свете апостольского учения о существенном единстве Христа — главы с Его Телом — Церковью

становятся, в сущности, невысказанными никакие рассуждения о каком-то наместничестве в Церкви. Об этом можно говорить лишь до тех пор, пока мы рассматриваем Церковь как земную, человеческую организацию, хотя и с небесными задачами... — перечёл Сергей последнюю фразу, написанную перед изоляцией и, поразмыслив несколько минут, дописал: — *На первом плане здесь администрация, а для администрации не важно, от кого исходит распоряжение, лишь бы данное лицо имело надлежащие полномочия.*

## Глава 6. Связной

— Ваши документы!

От этого требования душа всякий раз вздрагивала, и нервы становились струнно натянутыми в ожидании разоблачения, пока паспорт не возвращался обратно в карман.

— Каратаев Григорий Иванович...

Так звали его теперь. Это имя вернуло ему свободу, чтобы продолжать служение связным, столь нужное в условиях повальных арестов и разбросанности по далёким ссылкам высших иерархов.

А позади остались Соловки, Беломорканал, Архангельск... С Соловками пришлось проститься быстро, ибо в Тридцать первом году, знаменуя собой первую пятилетку, началась по приказу самого товарища Сталина великая стройка, а, вернее, очередное великое истребление людей. Беломоро-Балтийский канал имени Сталина... Здесь бывшие соловчане на себе узнали истину, что бездна дна не имеет, что хуже может быть всегда, даже если кажется, что хуже уже некуда.

На страшных Соловках жить приходилось в монастырских постройках, на совесть возведённых монахами былых веков, Беломорстрой предоставил рабам лишь продуваемые со всех сторон бараки. И не предоставил для строительства ни необходимой техники, ни денег, а лишь срок — за двадцать месяцев стотысячная трудовая армия голодных, измождённых людей должна была сквозь скальный грунт и мерзлоту, сквозь болота и валуны построить канал в двести двадцать шесть километров с девятнадцатью шлюзами.

Для какой стратегической надобности нужен был этот канал, соединяющий Онегу с Белым морем? Что за

адская спешка была, что не положили на то свыше несчастных двадцати месяцев? Указание самого товарища Сталина! То был первый опыт строительства полностью руками эков. Самый дешёвый способ производства — использование рабского труда: до этого в XX веке додумались в государстве, провозгласившем свободу и равенство. Рабу не нужно давать технику, не нужно прилично кормить его и создавать другие условия, а только погонять палкой. Если раб умрёт — не беда, его место тотчас займёт другой. Потоки раскулаченных, «вредителей» и прочих «врагов» обеспечивали стабильный и даже избыточный приток дармовой рабсилы.

Рабсилу стали свозить в начале осени, когда не было ещё ни плана строительства, ни бараков — ничего. Басмачи в восточных халатах, студенты, эсперантисты, девушки в лёгких летних платьях, десятки тысяч крестьянских ребят, нарочно оторванных от отцов — кого только ни было среди прибывших! Инженеров, арестованных в Ташкенте и готовивших проект на Лубянке, на объект не вывозили, зато погоняли, чтобы быстрее, без проб грунта, без необходимых исследований давали план. И недоумевали погонщики, зачем вообще новый проект, когда есть — Волго-Донской...

Будущие лживые «летописцы» строительства были правдивы в одном: в том, что на строительстве многие эки встретили старых знакомых. Кого только ни встретить было здесь! От видных представителей духовенства до светочей русской интеллигенции! Ещё недавно здесь отбывал наказание крупнейший русский мыслитель и тайный монах Алексей Фёдорович Лосев, получивший в 1930 году «червонец» за книгу «Диалектика мифа». Написание этого труда, а, главное, издание его в этом переломном году стало настоящим гражданским подвигом тридцатисемилетнего

философа. Книга настолько возмутила партийное начальство, что удостоилась разгрома на очередном Съезде, в ходе которого лично Каганович бушевал, цитируя мнение Алексея Фёдоровича, что «диалектический материализм есть вопиющая нелепость». Вторил ему и драматург Киршон, верный шакал, натравливаемый на неугодных. Да и как было не гневаться товарищам, когда дерзкий потомок донских казаков, вышедший своим недюжинным умом в столичные профессоры к тридцати годам, заявлял со страниц своего труда: «Пролетарские идеологи или ничем не отличаются от капиталистических гадов и шакалов или отличаются, но ещё им неизвестно, чем, собственно, они отличаются». На строительстве Беломора Лосев почти полностью потерял зрение. Благодаря ходатайству Пешковой, он, как и его жена, вместе с мужем принявшая тайный постриг за год до ареста и с ним приговорённая к пяти годам, были освобождены в 1932 году.

Это лишило «гражданина Каратаева», а тогда ещё отца Вениамина — в миру Ростислава Андреевича Арсентьева возможности встретиться с монахом Андроником — в миру Алексеем Фёдоровичем Лосевым. Зато другая встреча оказалась для него поистине драгоценна. Как-то дождливым вечером отец Вениамин, волоча по грязи больную ногу, подошёл к костру, чтобы немного обогреться. Через несколько минут к огню приблизился, опираясь на лопату, худощавый человек в бушлате и шапке, частью скрывавшей его обветренное лицо. Всё же что-то знакомое почудилось в нём, в глазах, смотрящих удивительно светло даже в этом земном аду.

— Отец Анатолий?..

Прежде они встречались лишь несколько раз, когда бывший полковник привозил корреспонденцию в Киев. Настоятель церкви во имя святой Магдалины Анатолий

Жураковский был одной из ключевых фигур церковной оппозиции на Украине. Он имел связь с Феодором Андреевым, к которому в этих целях отправил свою духовную дочь Валентину Яснопольскую, оставшуюся вместе с семьёй отца Феодора по его кончине. Арестован отец Анатолий был в Тридцать первом году и наряду с епископом Алексием (Буюм) приговорён к высшей мере с заменой на десять лет концлагерей.

— Вот, и оказались мы с вами в аду, отче...

Отец Анатолий протянул коченеющие руки к огню, покачал головой:

— Нет, отче. Если кто-то в аду то не мы, а они, — едва заметно кивнул в сторону маячивших на горизонте охранников. — И ещё многие, чьи души теперь развращаются столь нещадно... Горе человеку, если он забудет о горнем, если в земной жизни будет искать полноты, сокрытой в вечности. От встречи он будет переходить к встрече, от отношений к отношениям, от забавы к забаве, от ощущения к ощущению. Всякое новое станет всё больше опустошать его душу в бесплодном томлении, покрывая нечистотами. Но до тех пор, пока ни снизошёл он во глубину ада, в его саморазлагающейся, отравленной гибельными стихиями мира душе останется неосознанная тоска по горнему, по самой главной Встрече. У них, — ещё один кивок, — нет уже и этого последнего спасительного чувства. Стало быть, в аду они, потому что носят ад внутри себя. А в наших душах Христос, а с Ним ад нас не одолеет.

С того дня два священника не теряли друг друга, частенько работая вместе. А работа была такая, какой с древних времён не ведало человечество! Ни бетона, ни железа, ни техники не дали на «великую стройку». И только русские инженеры-«вредители», жизнями своими ответственные за выполнение «указания Самого», не имея ватмана, линеек и света в бараках,



могли с этой задачей справиться: возвели земляные дамбы с деревянными водоспусками, чтобы не было течей, гоняли по дамбам лошадей, запряжённых в катки. Ворота шлюзов также сделали из дерева, а стены за неимением бетона сконструировали по аналогии с древнерусскими ряжами — высокими деревянными срубами, изнутри засыпаемыми грунтом.

Древнерусские технологии не раз выручали проектировщиков. Деревянные журавли и барабаны с привязанными канатами сетями, вращаемые лошадьми, заменили краны, грабарки и «беломорские форды» (тяжелые деревянные площадки, положенные на четыре круглых деревянных обрубка, запряжённые двумя лошадьми) — транспорт. В самодельной вагранке отливали тачечные колёса. Доходило до того, что без пил и топоров валили деревья, обмотав их верёвками и бригадами раскачивая в разные стороны.

Само собой, не организовали и хоть сколь-либо налаженной системы питания. По несколько дней не выдавали хлеб, баланду везли с отдалённых пунктов и привозили ледяной. После конца рабочего дня на трассе оставались трупы, заметаемые снегом. Людям давали такую норму выработки, которую невозможно было поднять даже летом, а зимой она становилась окончательно убийственной. Ночами умерших собирали и увозили сани. Но всех собрать не успевали, и мертвецы так и лежали, чтобы летом, когда снег сойдёт, их кости были смолоты вместе с галькой и пошли на цементирование шлюзов...

— Пила звенит. Молчи. Терпи. Так надо.  
В себя войди. В венце живых лучей  
В глубинах сердца — храм. Готовь елей,  
Войди в алтарь и засвети лампаду,

— читал отец Анатолий только что сочинённые стихи, задыхаясь и из последних сил катя вихляющую и увязающую в глине тачку.

Когда-то его родители-шестидесятники ратовали за социальную справедливость, обличая Самодержавие и не веруя в Бога. Их сыну привелось стать Божьим ратником перед лицом сатанинской лже-справедливости.

— У моего брата над кроватью портрет Толстого висел. А над моей, что напротив стояла — нарисованный углём в полный рост Спаситель. Христос шёл по дороге, простой мягкий хитон спадал с плеч, не закрывая одетых в сандалии ног. Лицо его было глубоко задумчиво, а глаза видели что-то очень-очень далёкое. От света, струившегося с полотна, в нашей комнате становилось особенно тихо и ясно...

Грохот радио заглушал тихий голос отца Анатолия. Об этом проклятом изобретении не позабыли надзиратели. День и ночь вещало оно, сводя с ума, вслед за начальством требовавшее выполнять и перевыполнять. Ударный труд, соревнования между бригадами, удвоение норм выработки, дни рекордов, ночные штурмы... Изобретательны были начальники культ-просвет-частей, набранные сплошь из уголовников!

Время от времени инспектировали тот или иной участок главные «плантаторы» Беломорстроя: товарищи Коган, Раппопорт, Жук, Фирин, Берман и Френкель, недавно привезённый на Соловки в качестве заключённого, но скоро вознесшийся на невиданную для ээка высоту, благодаря разработанной им системе эксплуатации рабского труда. Именно этому человеку приписывалось авторство лагерной системы в её окончательном виде, опробованном на Беломоре. Лицо — зеркало души. И для тех, кто желал бы увидеть материализовавшийся «ад в душе», о котором говорил

отец Анатолий, довольно было взглянуть в лицо Нафталия Ароновича Френкеля...

Сам же батюшка, подобно написанному углём образу в своей комнате, излучал свет, бывший на вес золота в условиях бешеной стройки.

Его служение началось в Киеве вскоре после революции.

— Вы не представляете себе, на что был похож Киев, когда я вернулся туда с фронта. Мародёрство, грабёж, беженцы, горе повсюду, горе со всех сторон... Бог подарил мне встречу с истинным подвижником — архимандритом Спиридоном (Кисляковым). Это был человек самой живой и непосредственной веры. Таковую вы не встретите в человеке из интеллигентского, дворянского звания. В таком она обуздывается нужными и не нужными знаниями, всевозможными правилами этикета... А отец Спиридон был из крестьян. А народная религиозность, отче, особенно горяча. Всякую бесовскую победу в мире отец архимандрит чувствовал, как личное поражение, и глубоко скорбел. Самолёты казались ему крестами, извергающими смерть — срамом для христианина... Он имел колоссальное влияние на людей. И он не ждал, когда они придут к нему, а сам шёл к ним — помогал нуждающимся и нёс свою проповедь... И как же стыдно было, отче, от людей, от солдат, к которым мы приходили, слышать: «Где же вы были раньше с вашей благой вестью? Если бы вы раньше пришли, может, мы себя бы не потеряли!» Отче! Страшный грех нашей Церкви, что она утратила связь со своей паствой, что перестала нести людям благую весть, и люди, которым не дали познать Христовой истины, ушли в разбойники. Я видел, как были растеряны наши пастыри в Киеве. Лишь немногие нашлись, как говорить с людьми. Остальные остались чужими, лишь исполняющими

требы до той поры, пока люди, давно потерявшие Христа, считали должным по традиции блюсти форму.

Если бы я был зодчий, то на дверях храма изобразил бы эту картину: Его с лицом, полным гнева, испуганные лица торговцев и затаённая злоба и ненависть в глазах учителей-фарисеев. А дальше что? Приходили бы прихожане, кланялись бы, лобзали. Ну, а потом? Привыкли бы. Ведь люди, целуя крест, забывают о Распятом, люди целуют Евангелие, не вдумываясь или забывая те истины, которые написаны в нём, не исполняют и заповедей Его.

Прошли времена, исчезли жившие с Ним, храм Иерусалимский разрушен. На месте его построен новый храм, наша Церковь... А что же внутри изменилось? То же торгашество в храме, та же купля-продажа, тот же звон денег. Священнослужители так же, как и тогда, величественны в своих одеяниях и раболепны с властью имущими. Та же ложь, тот же обман проникает сюда, за порог храма.

Говорят, что виновато настоящее, время гонений... Да, пропаганда, и большая пропаганда, ведётся уже целых десять лет против Церкви. Но работа по созданию Церкви велась как будто не десять лет, а сотни лет, тысячу и больше, и всё, значит, пошло насмарку? Чья же это вина?

Наша и только наша! Говорят, что худшие ушли, а лучшие остались. Это ложь. Ушло много людей с очень хорошими, честными, чуткими душами... Мы потеряли нашу паству, а с ней потеряли Россию...

В Двадцатом году смертельно больного чахоткой Жураковского архимандрит Спиридон привёз в деревню, спросил у крестьян после службы: «Хотите ли увидеть перед собой сейчас Христа? — и выдвинул вперёд Анатолия: — Вот юноша, помогите выходить его, и среди вас будет присутствовать Христос». С Божьей

помощью больной был излечен и вскоре принял священнический сан.

Заветной идеей отца Анатолия было создание общины, не формальной, а соединённой духовными узами и общими благими делами. Таковую организовал он при своей церкви. В сугубо враждебной среде, полной горестей, лишений и гонений, община сделалась своеобразным кружком выживания. Члены общины помогали друг другу и прочим нуждающимся, чем могли: врачи помогали больным, сёстры ухаживали за ними, имевшие достаточное образование занимались в качестве домашних учителей с детьми верующих, община собирала деньги и помогала сиротам и заключённым. Собираясь вместе, братья и сёстры изучали Писание, богословскую и классическую литературу, слушали лекции профессоров разогнанной Киевской духовной академии. В сущности, община отца Анатолия являла собой единственно возможный истинный образчик «свободы-равенства-братства» — во Христе, по закону любви и Истины.

— Жизнь хотя и определяется внутренним началом, но слагается из маленького: из улыбок, из добрых и злых слов, из взглядов, из шуток, из слёз, из маленьких капель горестей и радостей. Почему в этом мелком я такой тусклый и серый, и злой и неприветливый? Мне хочется всю жизнь нашу превратить в богослужение, где каждый шаг, каждое движение было бы благолепным, благоуханным, светлым. Но знаю, что я ничто, и молюсь Иисусу, — в этих словах отражалась вся кроткая и устремлённая к Богу душа отца Анатолия.

Между тем, двадцать месяцев, выделенные на «великую стройку» подходили к концу. На осмотр канала ГПУ привезло сто двадцать советских писателей во главе с Горьким, с парохода подзывавших зэков и спрашивавших их, любят ли они свой канал и свою работу и считают ли, что исправились. Плодом этой

поездки стала книга о Беломорканале, с которой отец Вениамин со смесью любопытства и брезгливости, значительно превышавший гнев, ознакомился уже на воле.

«Многие литераторы «после ознакомления с каналом... получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу... Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет её вперёд и поставит её на уровень наших великих дел», — предрекал «великий пролетарский писатель». Впрочем, восемьдесят четыре его коллеги, будучи людьми с не полностью сожжённой совестью, уклонились от работы над книгой, прославляющий рабский труд, как высшее достижение человечества. Остальные тридцать шесть оказались не столь брезгливы.

Отец Вениамин не был большим знатоком литературы, советских же писателей и вовсе знал мало, поэтому из тридцати шести имён лишь несколько были им опознаны: Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Е. Габрилович, Алексей Толстой... Огорчительно было увидеть в списке Зощенко и бывшего «колчаковца», эмигранта-возвращенца Иванова. Или так спасали эти двое собственные жизни? Пусть так, но подлость, тем не менее, навсегда останется подлостью, а ложь ложью, и тем тяжелее, что озвучена она не самыми исподлившимися и бездарными устами. Чтобы ни написали прежде эти люди, что бы ни написали впредь, вовеки веков, как пригвождённые к позорному столбу, в очах потомков они останутся авторами книги, прославившей варварское истребление десятков тысяч людей, соединившись с палачами уже тем одним, что отрекли любые случаи смертей среди трудармейцев и высказали полную уверенность в справедливости всех приговоров и виновности всех замученных, которых «гуманист» Горький именовал «человеческим сырьём». Писатели рассказывали о том,

как «враги» травили мышьяком работниц на заводах, как зловещие «кулаки», обманом проникнув на заводы, подбрасывали болты в станки. Вредительство объявили они, как основу инженерского существа, вся книга их была пропитана презрением к этому затравленному сословию, «порочному» и «плутоватому». С умилением рассказывалось, как один из начальников Беломорстроя Яков Раппопорт, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки и задал инженеру вопрос, помнит ли тот, чему равен косинус сорока пяти градусов? Инженер был раздавлен эрудицией чекиста и тотчас исправил свои «вредительские» указания, и гон тачек пошел на высоком техническом уровне.

О начальстве товарищи писатели вообще отзывались исключительно в самых превосходных тонах, рассыпаясь в языческих славословиях мудрости и воле этих чудо-людей. «В какой бы уголок Союза ни забросила вас судьба, пусть это будет глушь и темнота, — отпечаток порядка... четкости и сознательности... несет на себе любая организация ОГПУ», — восторженно выдавали авторы. Откуда ж ещё взяться чему-то порядочному, как не из «благословенного» ведомства?

Пока товарищи сочинители лгали и выслуживались перед властью с усердием заправских лакеев, после очередных «штурмов» и «рекордов» истощённый священник, не могший сдержать дрожь, получая в руки жалкий кусочек хлеба, проповедовал тем, кто ещё не оглох и жаждал Встречи, и ждал услышать Благовую Весть, которая не позволит ему потерять себя:

— Разрозненные, разделённые потерявшие тропинки, ведущие в душу друг друга, ставшие чужими на стогнах мира, мы должны стать бесконечно близкими, родными, сокровенно связанными, должны врасти друг в друга и жить друг в друге. Мы должны стать едино во Христе Иисусе, Господе нашем, — тихо и

прерывисто звучал голос отца Анатолия. — Мы должны явить миру свой лик, образ целостного христианства, объемлющего и просветляющего всю полноту жизни, образ Церкви как живого организма любви, связующего в нерасторжимое единство и пасущих и пасомых, и пастырей и мирян. Дьявол — только обезьяна Бога. Он не может выдумать ничего своего, но хочет опозорить, осквернить всё Божие в отвратительной гримасе. Но мы верим и знаем — весна всё-таки придёт. Ни холодный лёд окружающего нас равнодушия, ни искусственно построенные плотины, ни все эти гримасы и потуги обессилевшего, обанкротившегося богоненавистничества — ничто, ничто не остановит её прихода. Она придёт! И хлынут потоки — потоки любви и благодати на иссохшую и обледеневшую землю наших сердец, хлынут тёплые весенние лучи, и тайна Православия зори которой явлены миру у нас на Руси в особой, осиянной святости Сергия и Серафима, в благодатном служении о. Иоанна, в тишине Оптиной пустыне, в пророческих грёзах Достоевского, Соловьёва, Хомякова, — тайна Православия воссияет!

Окончание строительства Беломорканала развели отца Вениамина с отцом Анатолием. В последний раз виделись они в больнице, куда серьёзно поранившего руку отца Вениамина буквально за десять дней до открытия канала определил заведовавшей санчастью бывший военврач и популярный композитор, а ныне такой же заключённый — Борис Алексеевич Прозоровский. На другой день после краткого прощания отец Анатолий был водворён в Соловецкий лагерь, а отцу Вениамину, чей лагерный срок истёк, предстояло испробовать ссылку, местом которой был определён Архангельск. В этом был несомненный Божий промысел. В ту пору здесь скрестились пути сразу нескольких авторитетных епископов — Серафима Самойловича, Дамаскина Цедрика и Виктора Островидова,



сформировавших монолитную мощную группу истинно-православных христиан. Сюда же прибыл бывший правой рукой владыки Серафима отец Николай Пискановский.

Отец Николай после заключения на Соловках был сослан в Кехту. Однако, жизнь там оказалась для него невыносимой. Из-за тяжёлой болезни сердца он не мог работать, к тому добавилось сильное психическое расстройство, сопровождавшееся жестокой бессонницей. Дочь, понявшая, что в таких условиях отец может просто сойти с ума, обратилась за помощью к Пешковой, и та добилась перевода священника в Архангельск, куда к нему переехала вся его семья, наконец-то соединившаяся после долгих мытарств.

Немного оправившись от болезни, отец Николай устроился работать сторожем и вновь обратился к делам церковным, коими занимался уже немало лет. В Архангельске работал печником ещё один ссыльный священник с Соловков — Александр Филиппенко. Он нашёл для отца Николая съёмную каморку на чердаке, где был устроен тайный храм.

Епископ Серафим пылал жаждой действия. Осторожный, прозорливый отец Николай был для него тем же, чем покойный Феодор Андреев для владыки Димитрия (Любимова) — правой рукой, человеком незаменимым, на котором замыкалось буквально всё.

Первоначально владыка возлагал большие надежды на митрополита Кирилла (Смирнова), благословившего создание «домашних церквей», которые позволили бы верующим избежать посещения храмов, где поминалось имя митрополита Сергия. Епископ Серафим пытался убедить старейшего иерарха принять на себя полномочия Местоблюстителя, дабы нейтрализовать Сергия. Но митрополит Кирилл не счёл для себя возможным выступление в этом качестве при жизни

митрополита Петра или без его специального на этот счет распоряжения.

Освобождённый из ссылки епископ Дамаскин лично встретился с владыкой Кириллом и смог ознакомиться у него с письмом заточённого и изолированного от паствы местоблюстителя, в котором тот недвусмысленно осуждал самоуправство своего заместителя. Это письмо было копией отправленного самому митрополиту Сергию. «Очень скорблю, что Вы не потрудились посвятить меня в свои планы по управлению Церковью, — говорилось в нём. — А между тем Вам известно, что от местоблюстительства я не отказывался и, следовательно, высшее церковное управление и общее руководство церковной жизнью сохранил за собою. В то же время смею заявить, что званием заместителя Вам предоставлены полномочия только для распоряжения текущими делами, быть только охранителем существующего порядка. Я глубоко был уверен, что без предварительного сношения со мною Вы не предпримете ни одного ответственного решения. Каких-либо учредительных прав я Вам не предоставлял, пока состою Местоблюстителем и пока здравствует митрополит Кирилл, а в то время был жив и митрополит Агафангел. Поэтому же я и не счел нужным в своем распоряжении о назначении кандидатов в заместители упомянуть об ограничении их обязанностей. Для меня не было сомнений, что заместитель прав восстал не заменить Местоблюстителя, а лишь заместить, явить собою, так сказать, тот центральный орган, через который Местоблюститель мог бы иметь общение с паствой. Проводимая же Вами система управления не только исключает это, но и самую потребность в существовании Местоблюстителя. Таких Ваших шагов церковное сознание, конечно, одобрить не может».

Владыка Дамаскин переписал это письмо себе. Теперь истинно-православные христиане обрели поддержку и в лице законного главы Церкви.

Между тем, епископ Серафим объявил митрополита Сергия «лишенным молитвенного общения со всеми православными епископами Русской Церкви и запрещённым в священнослужении за свою антиканоническую деятельность». Для утверждения данного своего Деяния он вместе с отцом Николаем организовал в Архангельске собор Истинно-православной церкви (ИПЦ), так называемый «малый катакомбный собор», решения которого должны были стать основой для действий всех ссыльных епископов и духовенства. Руководителями церкви, кроме самого владыки Серафима, назывались митрополит Кирилл, епископы Дамаскин, Макарий (Кармазин), Афанасий (Молчановский), Парфений (Брянских)...

Вскоре епископ Серафим был арестован. Отец Вениамин понял, что этим дело не ограничится. Угрозы он всегда чувствовал ещё на отдалённых подступах и потому умело уходил от них. В этот раз снова помог Промысел. Отец Вениамин квартировал в одном не очень религиозном, но милосердном семействе. Такие ещё не перевелись в городе, который год страдающем от вала ссыльных. Чего только стоили многочисленные крестьянские семьи, бродившие по улицам, не имея крова и пищи, молившие о подаянии для голодных детей и с благодарностью принимающие любые крохи. Созерцание месяц за месяцем бездонного человеческого горя ожесточает. Души черствеют, привыкая к виду этого горя, и уже не вздрагивают, когда слышится очередной всхлип ребёнка или мольба матери. Опустошены сами молящие, сломленные, с безысходностью в погасших глазах ожидающие конца, опустошены те, у кого помощи просят, от сознания собственного бессилия помочь океану человеческой

скорби, от усталости от чужой беды, врывающейся в домашний уют и навевающий страх и тоску...

И всё же оставались милостивые. Так, например, хозяйка отца Вениамина ежедневно приглашала на кухню нескольких ссыльных крестьянок с детьми и кормила их горячим супом. Брат этой сердобольной женщины был тяжело болен и уже не вставал со своего одра. Как-то он позвал к себе отца Вениамина и попросил исповедать и причастить его, признавшись:

— С детских лет не приобщался, батюшка. Как мать померла, так и забыл дорогу в храм. А теперь вот всё лежу, лежу и думаю о своей жизни. Страшно мне... Ведь, если такая скорбь на земле царит, то не может так быть, чтобы на небе пусто было, как большевики говорят. И если Христа нет, то к чему все твои и других муки? А коли Он есть, то как же я на пир его во всей срамоте своей явлюсь? Страшно!

После причастия больной ободрился и сказал:

— А теперь, отец, вот ещё какое дело. Я скоро помру, это ясно. Хочу, чтобы ты взял мой паспорт.

— Зачем? — насторожился отец Вениамин.

— А затем, что в нём ни единого «пятна» нет, и будешь ты с ним как вольная птица.

— Так ведь там твоя фотография.

— Фотография — тьфу! Принесёшь мне свою, я сам тебе её вклею так, что ни одна собака не заметит подлога. И поезжай тогда, пока тебя не зацапали, с Богом.

Больше вопросов отец Вениамин не задавал. Он сам давно думал о побеге из ссылки, но отсутствие документов мешало осуществлению любого плана. Теперь же они сами давались в руки!

На другой день фотография была готова, и умирающий, ещё достаточно крепкий для непродолжительной сидячей работы, аккуратно вклеил её в паспорт:

— Держи! — подал отцу Вениамину. — Теперь ты Григорий Иванович Каратаев! Поминай меня, отец, покуда сам жив будешь. Может, меня Господь и не отвергнет.

— Быть тебе в раю, не сомневайся! — с искренней верой ответил новоиспечённый «гражданин Каратаев».

Через несколько дней он уехал в Нежин, взяв у отца Николая письма для обосновавшегося там епископа Дамаскина. Началась привычная жизнь, прерванная четыре года назад. В Нежине привелось пробыть лишь сутки и сразу ехать дальше — в Гжатск, к митрополиту Кириллу. И также не с пустыми руками, а с посланием Дамаскина, которое владыка разрешил прочесть, прежде чем запечатать.

Письмо было адресовано епископу Серафиму и содержало основополагающие мысли его собрата о положении Церкви. Ввиду значимости затрагиваемых вопросов копию решено было направить и митрополиту Кириллу. Владыка Дамаскин писал:

«Путь митрополита Сергия — путь несомненной апостасии. Отсюда и отщечение<sup>10</sup> Благодати у него несомненны. Несомнен отход от Благодати и всякого сознательно внедряющего в жизнь план «мудрейшего».

Здесь встает вопрос о том, насколько повинны в этом грехе те массы верующих и рядового духовенства (епископам оправдания никакого быть не может!), кои не в состоянии разобраться в тонком лукавстве Сергиевского «курса», кои, подчиняясь авторитету большинства епископата, боятся «раскола», к тому же не слыша авторитетнейшего суждения по сему вопросу Предстоятеля Церкви Патриаршего Местоблюстителя.

Встает и другой вопрос, — имеет ли право кто-либо называть безблагодатными таинства, совершаемые в сергианских храмах, раньше чем церковь Соборным

решением отсечет согрешивших, предварительно призвав их к покаянию и исправлению?

Отщетились благодати митрополит Сергей, х, у, z, но пока они не отсечены — не действует ли в Церкви то положение, исповедуемое Церковью, что «вместо недостойных служителей алтаря Господь Ангелов Своих невидимо для совершения Божественного таинства посылает». Если такое положение существует (я верую, что такое есть), то не благоразумнее ли потерпеть, не обвинять в беззаконии сознательного сергианства массы тех, кои страдают в душе от творимой беззаконниками неправды, кои нисколько не разделяют их мнений, но, не будучи в состоянии уяснить себе сущность наших расхождений, боятся ошибиться при самостоятельном выборе пути, находя же единственную отраду и утешение среди окружающего мрака и скорби в церковных службах, — посещают сергианские храмы?

Такое состояние я полагаю терпимым в отношении тех слабых, непросвещенных, коим в силу их младенческого неведения и простоты не может быть вменен грех сергианства.

Погрешают те из них, кто понимает всю неправду и проистекающее из нее зло сергианства, но по инертности своей или по малодушию остаются в рядах тех.

Еще больше погрешают те пастыри, кои разбираются в положении, но благодаря трусости своей или — того хуже — по материальному расчету — остаются в рядах сергиан, увеличивая тем и значимость их. К несчастью, таковых не мало.

Что же касается тех рабов Божиих, коим дано разобраться в положении, осознать неправду и зло сергианства, понять, что путь сергианства — есть путь апостасии, — те обязаны не только выступить с протестом против деяний митрополита Сергия и присных его, не только пройти указанный Писанием и

церковными правилами путь увещания и обличения соблазнительей, но и своим примером должны показать свое противление совершающейся неправде и соблазну, порывая литургическое общение с сергианами, не посещая храмов их, делая все возможное для приближения момента Соборного суда над беззаконниками.

Ныне совершается суд Церкви Российской, и каждый свободной волей избирает путь свой. Люди юридического склада ума церковное бытие мыслят во внешних формах отношений, субординации различных церковных учреждений, торжественных храмовых служениях и т. д. Путем соблюдения внешних форм, внешней дисциплины, путем умолчаний, условности, фразеологии — успокаивается иногда мятущаяся совесть, все у них по видимости складно, в порядке, но за всем сим — по слову Господа (Иоанн 3, 18, 19) — совершается суд: «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы».

Не всем, к сожалению, дано осознать, что бедность и немощь являются теми необходимыми условиями, при коих совершается преизобильная сила Божия. Поистине только во тьме безблагодатности можно было решиться пожертвовать свободой Церкви ради сохранения «богатства» условно разрешенных храмовых служений и подозрительной «силы» синодального управления. Эти именно достижения свои имел в виду митрополит Сергей, горделиво заявляя мне, что он «спасает Церковь».

Мы держимся противоположного взгляда: мы готовы (до времени) отказаться ради сохранения внутренней свободы Церкви и от торжественных богослужений, и от конструирующих церковных учреждений, предпочитая последним создание и укрепление духовно-благодатных связей между пастырями и пасомыми. Дальнейшее же, внешнее

устроение Церкви мы возлагаем на милость Божию к нам — кающимся в прежних своих грехах пред Церковью, на Его Божественный промысл и силу, твердо уповая на данные Им Церкви обетования. «Верующий не судится, а неверующий уже осужден». Один из Оптинских отцов сказал:

Православие живет среди всяческого неустройства и скудности, именно для того, чтобы было видно, что оно держится не человеческими силами и порядками, а могуществом Божиим.

Несомненно, строгий суд церковный ждет митрополита Сергия и его присных. Строго говоря, суд, как выражение церковного сознания по данному вопросу, в идеальном его содержании, уже совершился — Церковь выразила свое полное осуждение митрополиту Сергию и его незаконным деяниям, а вместе с ним и всем участникам и соратникам митрополита Сергия на его соблазнительном пути. Выразила это десятками направленных митрополиту Сергию протестов Православных Архипастырей и массой таковых же со стороны верующих пресвитеров и мирян. Выразила это она массовым отходом от сергиан верующих, прекративших посещать их храмы и общаться с ними. Суд этот сказывается и в совести самих сергиан, в большинстве своем сознающих неправду сергианства и терзающихся от такого противоречия, ибо только малодушие и боязливость удерживают их в рядах сергиан, участь же такой «боязливости» предчувствуется ими (Апок.21:8).

Совершается суд Божий над Церковью и народом русским. Ныне отняты пастыри от пасомых именно для того, чтобы перед лицом суда каждый совершенно самостоятельно избрал путь свой — ко Христу или от Христа, причем и пастыри судятся, как рабы. Совершается отбор тех истинных воинов Христовых, кои только смогут быть строителями нового здания Церкви,



кои только и будут в состоянии противостоять самому «зверю», времена же приблизились несомненно апокалипсические.

Разумеется, в таком плане необходимо быть и сергианам, как необходим был Иуда. Недаром Апостол говорит, что «надлежит быть и разномыслиям, дабы открылись искусные». Тяжесть греха этих соблазнительей определена самим Господом. Он и судит их уже, ибо они уже приходят к концу своему, как в свое время «живцы». Вам еще неизвестно, вероятно, о готовящемся в Москве преподнесении титула — «блаженнейшего» и «митрополита Московского». Как видите, они сами себя уже топят.

Что же можем сделать мы при настоящих условиях? Добиваться удаления митрополита Сергия? — Поздно, да и бесполезно. Уйдет митрополит Сергей — остается сергианство, т. е. то сознательное попрание идеала Святой Церкви ради сохранения внешнего декорума и личного благополучия, которое необходимо является в результате так называемой легализации.

Что, собственно, имеет митрополит Сергей? — Немногие храмы и готовое ко всему приспособиться духовенство. Паства? Там ее почти нет, ибо за храмы в настоящих условиях держатся в большинстве люди внешнего устройства. Печальную картину являют собою люди, приверженные к храму, но совершенно нецерковные, ибо — сменяют православных священнослужителей в храме живцы, тех обновленцы или самосвяты, этих сергиане, потом вновь обновленцы, а приверженцев храма это мало волнует, — им нужен храм, декорум богослужебный, привычная обрядность внешнего участия их в таинствах, и только. В этом вся сущность сергианской церкви. Это печальное наследие синодального периода Церкви, это показатель угасания духа в Церкви. Все мы — пастыри, много повинные в сем

тяжком грехе перед Церковью, крепко должны в сем каяться.

Нечего нам мечтать и стремиться к кафедрам, — каждый из нас уже сделал свое. Если мы умолим Праведного Судию потерпеть на нас, да убелим ризы свои слезами покаяния, смиренным подвигом «гефсиманской» молитвы заслужим милость, — Господь еще возжет нас на свещнице церковней, а если будем мнить, что мы призваны только восседать на кафедрах и начальствовать в наследии Божиим, — то останемся навсегда потушенными.

Подобное стояние наше не может быть рассматриваемо, как отказ от общественно-церковного служения, ибо таковое (стояние в подвиге), как и каждое духовное выявление, имеет многостороннее значение. Работа над очищением своей души будет вместе с тем и накапливанием благодатной духовной силы, а это и будет то единственное, что только и может быть противопоставлено духу злобы, силящемуся утвердить свое царство на место Церкви Христовой.

Внешнее наше противостояние царству зла может выразиться разве в том, что мы имеющимися еще в нашем распоряжении средствами будем утверждать, подкреплять вместе с нами предстоящих суду меньших братьев наших единых с нами по духу, уясняя им путь наш, как правильный и со стороны канонической, как благословенный предстоятелем Российской Православной Церкви, который из своего заточения поручил передать одному из собратий наших: «Скажите Владыке X, что если он с митрополитом Сергием, то у меня нет с ним ничего общего»<sup>11</sup>.

— Вы можете продолжать путь! — отец Вениамин внутренне перевёл дух, пряча в карман заветный паспорт. Цель пути его была почти достигнута — он ступил на землю маленького городка Гжатск, сразу

порадовавшего душу невозмутимым покоем и тишиной. С возвышенного берега реки Гжать смотрел величаво Благовещенский собор, золотились кресты церквей Всех скорбящих Радость и Тихвинской, даже на центральной площади не осквернённым высился Богоявленский храм. Словно бы прежняя Русь жила ещё на задворках Смоленской губернии...

Отец Вениамин довольно скоро и не выпрашивая из осторожности дороги, отыскал сто второй дом по Бельской улице. Здесь у местной жительницы Патиной квартировал митрополит Кирилл и две его верных помощницы — монахиня Евдокия, сопровождавшая владыку во всех ссылках, и Лидия Николаевна Фокина, недавно вернувшаяся из казахстанской ссылки.

Отца Вениамина встретила Лидия Николаевна, сразу озаботившаяся угощением для прибывшего издалека гостя. Вскоре вышел и сам владыка. Его прежде богатырская фигура уже утратила былую силу, но всё ещё сохраняла величавость и стать. Митрополит был облачён в светлый подрясник с наперсным крестом, белоснежная широкая борода и густые волосы красиво лежали на груди и плечах, обрамляли худое, морщинистое лицо с живыми, не по-старчески ясными глазами.

Приняв благословение и приложившись к руке старца, отец Вениамин кратко рассказал о своём путешествии и вручил владыке письмо епископа Дамаскина. Лидия Николаевна подала владыке очки, и тот углубился в чтение. Было заметно, что читаемое производит на него самое благоприятное впечатление, время от времени он чуть кивал головой, неслышно шевелил губами. Наконец, поднял голову:

— Да, я совершенно разделяю мнение дорогого владыки! И весьма рад тому, что мы пришли с ним к единомыслию и полному взаимопониманию.

— В Архангельске многие ждут действия, — заметил отец Вениамин, вспомнив свою последнюю беседу с Николаем Пискановским. — Владыка Серафим выражал чаяния многих.

— Владыка Серафим излишне горяч, — покачал головой митрополит. — Мне же не хватает ясности не для оценки самой обстановки, а для надлежащего уразумения дальнейших из неё выводов, какие окажутся неизбежными для её творцов. Проведение их в жизнь, вероятно, не заставит себя долго ждать, и тогда наличие фактов убедит всех в необходимости по требованию момента определенных деяний.

— Но разве мало существующих уже фактов? — осторожно спросил отец Вениамин, с благодарностью принимая вслед за владыкой поданную Лидией Николаевной чашку чая.

— Да, их немало, но восприятие их преломляется в сознании церковного общества в такой разнообразии оттенков, что их никак не прикрепить к одному общему стержню. Необходимость исправляющего противодействия сознаётся, но общего основания для него нет, и митрополит Сергей хорошо понимает выгоду такого положения и не перестает ею пользоваться.

— Но ведь содеянное Сергием — ересь! — воскликнул отец Вениамин, вспомнив, как ещё в Петрограде настаивали на этом отец Феодор и владыка Димитрий.

Митрополит Кирилл покачал головой:

— Догматически мы не можем этого обосновать, как следует. Подобное обвинение способно только вызвать улыбку на его устах, как приятный повод лишний раз своим мастерством в диалектической канонике утешить тех, кто хранит с ним общение по уверенности в его полной безупречности в догматическом отношении... — владыка помолчал и со вздохом добавил: — Между тем среди них немало таких, которые видят

погрешительность многих мероприятий митрополита Сергия, но, понимая одинаково с ним источник и размер присвояемой им себе власти, снисходительно терпят эту погрешительность, как некое лишь увлечение властью, а не преступное её присвоение. Сергей безнадежен, я понял это при нашей недавней встрече в Москве. Но остальной клир? Предъявляя к ним укоризну в непротивлении и, следовательно, принадлежности к ереси, мы рискуем лишиться их психологической возможности воссоединения с нами и навсегда потерять их для Православия. Ведь сознаться в принадлежности к ереси много труднее, чем признать неправильность своих восприятий внешнего устройства церковной жизни. Нужно, чтобы и для этого прекраснодушия властные утверждения митрополита Сергия уяснились, как его личный домысел, а не как право, покоящееся на завещании Святейшего. Всем надо осознать, что завещание это никоим образом к митрополиту Сергию и ему подобным не относится, — на последнем предложении митрополит сделал особый акцент, подняв вверх указательный палец. — Воспринять патриаршие права и обязанности по завещанию могли только три указанные в нем лица, и только персонально этим трём принадлежит право выступать в качестве временного церковного центра до избрания нового патриарха. Но передавать кому-либо полностью это право по своему выбору они не могут, потому что завещание патриарха является документом совершенно исключительного происхождения, связанного соборной санкцией только с личностью первого нашего патриарха. Поэтому со смертью всех троих завещанием указанных кандидатов завещание Святейшего Тихона теряет силу, и церковное управление создается на основе указа от седьмого ноября. Тем же указом необходимо руководствоваться и при временной невозможности сношения с лицом, несущим в силу

завещания достоинство церковного центра — в данном случае митрополитом Петром, что и должно иметь место в переживаемый церковно-исторический момент. Иное понимание патриаршего завещания, утверждаемое митрополитом Сергием, привело уже к тому, что завещание, составленное для обеспечения скорейшего избрания нового патриарха, стало основой для подмены в церковном управлении личности патриарха какой-то коллегиальной «Патриархией»... Владыка Дамаскин прав, наше дело не искать кафедр, которых нам, к слову никто и не даст занять, но при братском единении и взаимной поддержке сохранить с Божьей помощью Русскую Церковь в исконном Православии во всё время действенности патриаршего завещания и довести Её до законного Собора. Твёрдо верю, что так будет!

## Глава 7. Яблочный спас

Колёса телеги натужно скрипели, чахлая лошадь лениво тянула её по разбитой дороге, понукаемая жилистой, загорелой бабой, время от времени насыщавшей свою речь мужицкой бранью. При этом она всякий раз понижала голос и косилась на сосущего пальчик ребёнка.

— Что ж ты так ругаешься-то? — спросила Наталья Терентьевна.

— Образованная? — прищурилась баба.

— В общем...

— Городская?

— Нет, тоже в деревне живу...

— А чего тогда спрашиваешь? — пожала плечами баба. — Жизнь доведёт — ещё не этак залаешь. Или, может, в вашенских краях сытно, и люди с голодухи не мёрли?

— Наши края недалече — ярославские мы, — ответила Наталья Терентьевна, прижимая к себе девочку. — И люди мёрли у нас так же, как и везде.

— То-то ж. Не похожа ты на деревенскую... Партейная?

— Учительница.

— А! — уважительно протянула баба. — Ну, это-то дело хорошее. К нам-то почто? К родне, что ль?

— Можно и так сказать.

Баба кивнула на ребёнка, изобразив на хмуром лице ласковость:

— Твоя?

— Моя... — неуверенно откликнулась Наталья Терентьевна.

Год назад, дождавшись летних каникул, она решила поехать проведать Любашу и других земляков, тремя

годами раньше сосланных в Сибирь. Деньги на дорогу и посильную помощь откладывала весь год, отказывая себе подчас в необходимом. Путь неблизок был: кажется, без малого вся Россия перед взглядом прошла, покуда добрались до таёжной глуши, в которой располагался лагерь ссыльнопоселенцев. Маленькие, спешно срубленные избёнки, окрест — сплошные вырубки. Людей видно не было. Наталья Терентьевна подумала, что ссыльных увезли на другое место, но в этот момент увидела худющего мальчонку, больше походившего на меленького старичка, сидевшего на крыльце одного из домов.

Наталья Терентьевна приблизилась и, поздоровавшись, спросила, есть ли в лагере ещё кто-нибудь.

— Как ни быть! Бабка Глафира. Она уже месяц лежит, а всё никак не пойдёт. Никишка ещё, Акулиха. Горячка у ней после того, как ребёнка скинула. Так мамка сказала.

— А мамка твоя где?

— Да на шестом километре — лес валит. И Сашка там же. Я бы тоже пошёл, да ноги... — он с ненавистью посмотрел на свои иссохшие, как спички, ноги. — Теперь Сашка паёк получит, как взрослый, а я как иждивенец...

Сказанное было плохо понятно, и Наталье Терентьевне потребовалось время, чтобы постичь, в каких условиях существуют ссыльные. Из её земляков в живых осталось меньше половины. Выброшенные в тайгу, они худо-бедно отстроили себе жилища и даже завели огороды, но необходимо было работать. А работа была лишь одна — валить лес. На ней были заняты и жители немногочисленных окрестных совхозов, чьё положение немногим отличалось от ссыльных. Установленные начальством нормы выработки были огромны в то время как вознаграждение в хлебном



эквиваленте ничтожно. Хуже всего приходилось детям, получавшим, как иждивенцы, паёк вдвое меньший, чем взрослые. По этой причине ребята постарше шли работать в тайгу наравне со взрослыми.

Лес валили вдоль реки — в нескольких километрах от лагеря, ежедневно утром и вечером преодолевая немалое расстояние. При этом часть мужчин, наиболее крепких, перебросили на другой участок, «более ответственный», разлучив таким образом семьи. В числе переброшенных оказался и муж Любаши Борис.

Саму Любашу насилу признала Наталья Терентьевна — живой скелет, обтянутый пергаментной кожей, с опухшим от комариных укусов лицом. А на руках у неё — чумазый свёрток, в котором — крохотное существо, которое не поворачивается язык назвать ребёнком, но маленьким скелетом с огромными испуганными глазами...

От этого зрелища у Натальи Терентьевны перехватило дух, на глаза навернулись слёзы. А Любашино лицо просветлело вдруг и, метнувшись вперёд, она протянула учительнице ребёнка:

— Наталья Терентьевна, родненькая, спаси мою девочку! Иначе ей зимы не пережить!

Девочка родилась полгода назад и была названа Василисой. А через две недели угнали Бориса... И Любаша осталась с нею одна, видя, как малышка, ещё не успевшая начать жить, тает день ото дня. Она кормила её грудью, но молока было мало. Девочку приходилось каждый день носить с собой на работу, которая надрывала силы. И ещё же снижали «оплату» кормящей матери за нарушения трудовой дисциплины!

— Одно моё дитя они убили, не дай погибнуть второму! — в глазах Любаши было столько мольбы и отчаяния, что и гранитная скала не устояла бы.

Ребёнка Наталья Терентьевна взяла и тайком увезла на большую землю. По возвращении в родную деревню,

где никто не знал, куда и зачем она ездила, объявила Васеньку своей приёмной дочерью. Вот, только страх точил с той поры всякий день — ну, как откроется правда? Тогда и самой не миновать беды!

Но дни шли, и ничего не происходило. И даже вполне сочувственно отнеслись соседи к тому, что одинокая, стареющая учительница решила взять себе в утешение сиротку, хотя и кривились иные: самим жрать нечего, свои сироты горе мыкают, а тут ещё приبلудные... И недоверчиво щурились, как это хрупкая Наталья Терентьевна на свою грошовую зарплату дитё поднимать станет?

— Мужик-то есть?

— Что?

— Муж, спрашиваю, есть? — спросила баба.

— Нет...

— Вот, и у меня нет... — последовал вздох. — Помер два года тому с голодухи, царствие Небесное. Хороший был человек... Мы с ним не здесь, в Саратовской губернии жили. Было времечко — хорошо жили, горя не знали. Только детишков нам всё Господь не давал. Трое родились, и все во младенчестве померли. А я теперь так думаю — и слава Богу. Не привелось им нашего горя мыкать. Ваня мой в колхоз нипочём идтить не желал. Но в тридцатом нас силком туда загнали. А потом статья Сталина вышла, про головокружения-то. Наши все приободрились и айда назад из колхоза! Только уж ни инвентаря нашего, ни скотины нам не вернули. Ничего, — решили, — были б руки: гараблями да лопатами справимся, зараз колхозных обойдём, хуч у них и плуги, и лошади наши. Обошли... — баба горько усмехнулась. — Землицы нам дали по четверть гектара на двор, а полевой земли и лугов вовсе — шиш. Сказали: «Земля по советским законам принадлежит государству, а не крестьянам!» От тебе, бабушка, и Юрьев день... А мой-то Ваня семнадцати годков в

красной армии воевал — за «землю крестьянам». В колхозе дворов по пальцам счесть, землю обрабатывать некому, стоит она сиротой, на три четвери не засеянная! А мы без работы огибаемся, молим, чтоб дали нам ту землю в аренду, обещаем им, иродам, хорошую плату! Шиш! Ну, видим, плохи дела, надо в отходники подаваться. И тут — шиш! Предприятиям велели брать на работу только колхозников, имеющих справку о том, что колхоз отпускает их в город на заработки.

Как уборочная пришла, так ироды спохватились, что колхозники всё не уберут, погибнет урожай. Тут-то нас, дураков, и соблазнили: объявили, что мы можем убрать урожай на засеянных нами полосах и только государству должны будем сдать умеренный натуральный налог. Урожай мы убрали, обмолотили его, только «умеренный» налог оказался равен всему урожаю. А заодно и картошь с овощами с наших усадеб велели нам сдать почти подчистую. А у нас с Ваней за год до того четвёртое дитё народилось... Я, как представила, что мальчик мой голодной смертушкой помрёт, так не выдержала — побежала к уполномоченному, который налог с нас собирал, кинулась в ноги ему, руки ломаю, молю не отымать у нас последнего. А он сидит, яичницу с салом наяривает, сам весь откормленной, что твой боров... «Снять, — говорит, — с тебя, кулачки, налога я не могу!» Я ему доказывать стала, что мы с Ваней никогда кулаками не были, а ему что до того? Он только глядит на меня да лыбится! Я тогда ещё хоть куда была, не то что теперь. Он мне и говорит: «Отменить налог не могу, а заменить могу. Налог продуктовый налогом натуральным. Раздевайся, — говорит, — и ко мне иди».

Наталья Тереньевна поёжилась, вспомнив свой первый год работы в деревне, как защитил её Игнат Матвеич от грязных домогательств и дал кров.

— И что же ты?

— А что я? — баба пожала плечами. — И разделась, и подошла к гаду этому и всё, что он велел, сделала. Он же пригрозил, что иначе не то что налогом задушит, а донос настрочит, и нас, как кулацкий элемент, сошлют на север. Потом узнала, что я не одна такая оказалась... Многих он угрозами на это дело склонил.

— А муж твой что ж?

— Сначала меня бить хотел, потом гада убить — насилу удержала. А потом сидел на лавке и ревел...

— А что же дальше?

— А дальше объявили нам, что в следующем году отымут у нас и усадьбы и пастбища для коров, у кого они есть. Тут-то Ваня и сдался. И все сдались. А что делать? Выбор нам невелик оставили: колхоз или смерть. С голодухи у нас ещё с осени помирать начали. А колхозникам власть выдала паек на каждую живую душу. И сено с яровой соломой для коров. Обещали сохранить усадьбу, пастбище, дать работу в колхозе и заработки. Вот, и пошли мы в колхоз...

Наталье Терентьевне не внове был этот рассказ. То же было и в её деревне. И стыдно было читать в газетах о том, как якобы после сталинского «Письма товарищам-колхозникам», единоличники осознали свои заблуждения и «добровольно» вернулись в колхоз, чтобы строить зажиточную, счастливую и культурную жизнь...

— Только от голода он нас не спас, — продолжала баба. — Выдали нам пайки — из отобранных у нас же запасов. Поля пустовали, урожайность упала втрое, скот наполовину перебили... Хлеб мы делали из желудей, картофельной шелухи и листьев лопуха. От бы пожрать такого хлебушка Сталину с Калининым да прочим ...! — тут отвесила она тяжёлое словцо, сплюнула желчно сквозь почерневшие зубы. — Куда там! Помню, прикатила очередная комиссия — так ей

наш председатель кабанчика зарезал. Ах, какой дух стоял! От одного этого запаха сдохнуть впору! А мальчишечка мой пищал, прося хлеба... Ваня мой конюхом работал, лошадям давали овёс, муку. Стал он потихоньку в карманах проносить их, чтобы хуч что-то было дитю. Но председатель заметил, пригрозил под суд отдать, если повторится. А Ваня сам уже доходил... Как-то не выдержал, там же на конюшне муки той проклятой наелся. Как он мучился потом! Целую ночь корчился, а утром помер...

Наталья Терентьевна вспомнила своих учеников. Детский труд в колхозе был запрещён, при этом трудодни засчитывались лишь работающим колхозникам. Так, дети стали бременем для родителей — их было нечем кормить. Многие так обессилили, что не могли дойти до школы, другие от голода падали в обморок. Страшный случай потряс всю деревню: долго бедовавшая вдовица не вынесла мучений троих своих малолетних детей — повесила сперва их, а затем и сама влезла в петлю.

— И мальчик мой затем недолго пожил. Глотошная у него приключилась. Я за доктором бежать хотела, молила председателя отпустить меня: а он мне пригрозил, что запишет прогул и лишит трудодней — все должны работать, а не по докторам бегать! Вот, пока я на их проклятый колхоз горбатилась, деточки моего и не стало...

— А как же ты тут теперь?

— Тут сестра у меня живёт. Председателя нашего, сукина сына, в прошлом годе под суд отдали, а новый оказался человеком. Пришла я к нему, попросила слёзно, чтобы дал он мне справку необходимую и отпустил из колхоза. Он и дал. Я к сестре перебралась. В колхоз больше вступать не стала, живу у сестры, работаю... У тебя-то пачпорт есть?

— Есть, — кивнула Наталья Терентьевна.

— Хорошо тебе... Значит, ты свободная, не то что мы, крепостные.

Крепостные... Семьдесят лет тому назад император Александр освободил русских крестьян от крепостной зависимости, и, вот, теперь возвращена она была, только во много худшем виде. Крепостные лишь несколько дней в неделю работали на барина, а остальные — на себя. Колхознику на себя времени не оставили.

В 1932 году, когда рукотворный голод обрушился на самые хлебородные территории России: Украину, Центрально-Черноземный район, Поволжье, Западную Сибирь, Северный Кавказ и Казахстан — тысячи голодных людей бросились бежать из родных краёв в надежде спастись. Но на своём пути они встретили непробиваемый кордон. Для предотвращения утечки людей из колхозов власть приспособила паспортную систему. Согласно новому положению, все граждане СССР в возрасте от шестнадцати лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны были иметь паспорта.

Были отменены все прежние документы, которые ранее служили видом на жительство, введена обязательная прописка паспортов в органах милиции не позднее двадцати четырёх часов по прибытии на новое местожительство. Предприятия и учреждения должны были требовать от всех принимаемых на работу паспорта или временные удостоверения и отмечать в них время поступления на работу. Для ряда категорий были установлены ограничения на выдачу паспортов: в частности, для сбежавших из деревень «кулаков» и раскулаченных. В сельских местностях паспорта выдавались только в совхозах и на территориях, объявленных «режимными». Остальные граждане, проживающие на селе, паспортов не получили. Между

тем, наняться на работу в городе они могли лишь при наличии паспортов, полученных по прежнему месту жительства, и справки правления колхоза о его согласии на отход колхозника. Так, законодательно оформилось новое крепостничество.

Сотни тысяч людей умирали от голода, но им не позволяли уехать и не давали хлеба, запасы которого, собранные на приёмных пунктах и гниющие там, охранялись красноармейцами. Хлеб уходил на экспорт, сбивая мировые цены, а на юге страны, на бывшей некогда житницей Украине по доходившим шёпотом слухам обезумевшие люди доходили до людоедства...

— Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как ветер, затих и присел.  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель  
Заметалась звенящая жуть...  
Здравствуй ты, моя чёрная гибель,  
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой  
Окрестил нас как падаль и мразь.  
Стынет поле в тоске волоокой,  
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,  
И легка ей чугунная гать.  
Ну да что же? Ведь нам не впервые  
И расшатываться и пропадать.

— Окрестил нас как падаль и мразь... — восхищённо повторила баба. — Это кто ж сказал так? Видать сам

пережил лихонько, чтобы так-то сказать!

— Это Есенин, — ответила Наталья Терентьевна. — Крестьянский поэт. Он погиб девять лет назад.

— Царствие небесное! — перекрестилась баба. — Все-то хорошие люди перемёрли... Вот, и Ваня мой...

Впереди показались потускневшие купола Махрицкой обители. Баба остановила телегу и, указывая вперёд, сказала:

— Вот, как монастырь обогнёшь, так и на месте будешь. На вот, — сунула Васе красненькое с зеленцой яблочко: — погрызи, сердечная. Яблочки у нас добрые, сладкие, — и вздохнула: — Яблочный Спас завтрава...

Наталья Терентьевна поблагодарила свою провожатую и, взяв девочку на руки, двинулась к монастырю. Где-то здесь жил Игнат Матвеевич, и она приехала нарочно, чтобы показать ему внучку, о которой старик ничего не знал, так как писать Наталья Терентьевна побоялась. Теперь же точил её ещё один страх: что если захочет Игнат забрать родную кровинку себе? А Наталья Терентьевна, отцветшая в одиночестве, за год всем своим доселе не знавшим ни любви, ни материнства сердцем прикипела к ребёнку. Жизнь без Васи сделалась бы для неё окончательно пустой и безотрадной. Всё же должно было показать девочку деду. После всех благодеяний не смела Наталья Терентьевна обманывать старика.

В полупустой, поросшей колуном деревне дом Игната отыскала она скоро. Он стоял далеко на отшибе. Наталья Терентьевна не поддерживала переписки с ним, чтобы не дознались о его местонахождении в родных краях, но адрес удалось получить от старшей дочери старика, к которой наказывал он обращаться в случае нужды. У неё же узналось, что в колхоз Игнат Матвеевич так и не вступил. Средний сын его, бывший отцу опорой, завербовался на одну из строек и исправно помогал родителям деньгами. Младший проходил



службу во флоте. Сам же Игнат зарабатывал на жизнь столярным делом, а его жена с дочерью — шитьём.

Приблизившись к дому, Наталья Терентьевна увидела сидевшего на заваленке мужичка в надвинутой на глаза кепке.

— Простите, это дом Игната Матвеевича?

Мужик смерил её безразличным взглядом:

— Нету никого, сам сижу жду.

— В таком случае, мы тоже подождём, — решила Наталья Терентьевна, присаживаясь на ступеньки крыльца.

— А вам почто Игнат нужен? — спросил мужик.

— По личному делу.

— Ну-ну.

Минут через десять после этого диалога мужик поднялся и, заявив, что не может дольше ждать и зайдёт позже, куда-то направился. Наталья Терентьевна подхватила ребёнка и, крадучась вдоль тёмной, рубленой стены дома, последовала за ним. Ей отчего-то показалось странным его поведение и к тому возникло странное чувство, что в доме кто-то есть.

Свернув за угол дома, мужик подозрительно огляделся, затем прошёл на задний двор и постучал в стену особым стуком. Раздался скрип открывающейся двери или створки окна, а затем неразборчивое перешёптывание. В доме явно кто-то был!

Наталья Терентьевна опасливо вернулась обратно, пытаясь сообразить, как быть дальше. Что если эти люди — из ГПУ? Не лучше ли поскорее бежать, пока не случилось беды? Она была уже близка к этому решению, как вдруг дверь открылась настежь, и с крыльца раздался знакомый радостный голос:

— Наташенька, дочка! Вот так радость нечаянная! Митрич! Иди сюда! Это свои!

Из-за угла показался уже знакомый Наталье Терентьевне мужик, бывший теперь не столь угрюмым.

— Познакомься, дочка, это Прохор Дмитрич. А это, Митрич, Наталья Терентьевна, учительница моих лоботрясов. Ты, дочка, в дом, в дом проходи! Прости за такой странный приём — сейчас всё объясню тебе. А это, — кивнул острой бородкой на Васю, — кто с тобой?

— А это, Игнат Матвеевич, ваша внучка, — не стала ходить вокруг да около Наталья Терентьевна, — дочь Любаши и Бориса...

И без того землистое лицо старика ещё побледнело и вытянулось:

— Быть не может... Катя! Катя!

Войдя, наконец, в дом, где царил полумрак из-за закрытых ставен, и духота, рассеиваемая лишь холодком из открытого погреба и открытой же печи, Наталья Терентьевна обнаружила там небольшое собрание: кроме Катерины Григорьевны и Вали, младшей игнатовой дочери, здесь были три пожилых женщины, одна девица и двое мужчин. Тонкое обоняние Натальи Терентьевны различило рассеянный в воздухе запах ладана и воска. Перво-наперво она рассказала взволнованному Игнату Матвеевичу и Катерине Григорьевне о своей поездке к Любаше, опустив, правда, многие горькие подробности, жалея чувства родителей.

Катерина тотчас засуетилась с обедом и велела Вале сбегать в деревню купить крынку молока для ребёнка, а старик дрожащими руками взял Васю, усадил к себе на колени, разглядывая:

— На Любашу похожа, — проронил, сглатывая слёзы.

Он сильно состарился за четыре года. Впрочем, на многих его бывших односельчанах это время отразилось куда хуже, отразилось не только истощением и серостью лиц, но пустотой и безразличием в глазах. Глаза же Игната Матвеевича смотрели по-прежнему живо, прямо, без страха.

Настала, меж тем, его очередь объяснить странность обстановки и представить остальных гостей. Чутьё не обмануло Наталью Терентьевну. Старший из мужчин оказался священником-«тихоновцем», под видом печника переходившим из деревни в деревню и служившим там, где встречал верных православных христиан. В доме у Игната Матвеевича служил отец Виктор не впервые. Здесь, в задней комнате, скрытой от посторонних глаз, была обустроена домовая церковь. В обычные дни иконы аккуратно завешивались сшитыми женщинами лоскутными панно, дабы случайный пришелец ничего не мог заподозрить. На время службы окна тщательно закрывались, а, чтобы не было душно в тёплые дни, открывалась печь и погреб. Снаружи оставляли караульного, чтобы он отваживал непрошенных гостей и подавал сигнал в случае опасности. На карауле стояли по очереди. В этот раз она выпала Прохору Дмитричу, предупредившему хозяев о госте.

За обедом заметно было, что прихожане настороженно относятся к незнакомке. Впрочем, отец Виктор проявлял сугубую благожелательность и предложил Наталье Терентьевне исповедаться и причаститься, если она верующая и не разделяет «сергианской ереси». К такому повороту Наталья Терентьевна была не готова. Глубокой религиозности, церковности не привили ей в семье, а, учительствуя в советской школе, будучи вынужденной лгать, как предписывалось школьными нормативами, не чувствовала она себя готовой к исповеди, а тем более — достойно приступить к Святым Тайнам. На праздничную службу, однако, согласилась остаться с радостью — давно не приводилось на службах бывать и хотелось воскресить в памяти, прикоснуться после всей лжи и грязи к чистоте и Истине.

— Прежде я всё хозяйство крепил, делом занят был, — говорил вечером Игнат Матвеевич, сидя рядом со спящей внучкой. — Теперь хозяйства у меня нет, и пришла пора вспомнить о хозяйстве другом. Душа-то, дочка — то же хозяйство. Также требует ухода и рачительного отношения. Иначе горькие плоды придётся собирать. Так что это теперь наша с Катей главная нива. И Валя от нас в этом не отстаёт. В деревне всё сплошь комсомольцы или сродни им, она дичится их. А вообще, кабы хороший ей муж нашёлся, так и добро бы. Одной жить тяжко, тебе о том рассказывать не надо.

— Игнат Матвеевич, — Наталья Терентьевна решилась заговорить о главном, — решать, конечно, вам... Вася — ваша внучка. Но я бы очень хотела, чтобы она осталась со мной. Для меня она — такой дорогой подарок, что и сказать нельзя!

— Одинок тебе, Наташенька? — понимающе спросил старик.

— Одинок... Я только теперь поняла, когда Вася появилась, как пусто одной.

Игнат Матвеевич пожал острыми плечами:

— Любаша тебе её поручила, пусть так и будет. Мы с Катей своих четверых подняли и радости твоей отнимать не станем. Ты, если сможешь, хотя раз в год навещай нас с нею... Хотя, может, и того не надо. А то ведь она растёт, расскажет кому, что была у деда с бабкой. Большая беда тогда может выйти... Расти её, дочка, как родную. И, если сумеешь, так, чтобы не вовсе без Бога. А мы с Катей за вас обеих молиться станем.

— Спасибо, Игнат Матвеевич! — тепло поблагодарила Наталья Терентьевна старика, в порыве радости прижав его жилистую, желтоватую руку к щеке. — Я почти не помню своего отца. Но вы для меня стали отцом в самое тяжёлое время. И нет таких слов, чтобы выразить мою благодарность...

Игнат ласково, по-отечески обнял её, чмокнул в лоб:  
— Не нужно здесь никаких слов, дочка. Если во дни, когда родные становятся друг другу врагами, мы встречаем на пути родных по духу, то за это надо благодарить Бога, как за драгоценный дар.

И она благодарила. Всю праздничную литургию в тесной каморке, освещённой лампадами и украшенной берёзовыми ветвями, чудно пропахшей воском, ладаном и спелыми яблоками. Благодарила за Игната, благодарила за Васю — за всех, за всё...

## Глава 8. Две жены

Отчего бы это в больницах даже сам свет — точно больной, бледный? Или кажется так усталому взгляду? Или избыток белизны даёт такой неприятный эффект? А за окном другое... За окном всюду плещется, переливается красками лето! В Москве оно, конечно, не то, среди пыльных улиц... А, вот, в Посаде теперь самая благодать! Милый Посад, сколько уж лет порога родного не переступала...

Медсестра принесла очередную микстуру и, безразлично выпив её, Лидия тяжело повернулась на бок. Давным-давно следовало ей устроиться на этой койке, привести, насколько возможно, в порядок подорванное здоровье, не доводя его до предела, но разве можно было из непрерывной повседневной круговерти вырваться, заниматься собой, когда ежечасно требовали попечения другие?

Нужно было вырастить детей и допокоить беспомощного старца-отца, последние годы из-за полной слепоты нуждавшегося в постоянном присмотре. В присмотре за дедом могла бы помочь Ика, но её хорошенькое личико перекашивалось при одной мысли, что надо будет тратить бесценные часы, отведённые на всевозможные приятные занятия на ворчливого старика с его нудными наставлениями.

Лидия жалела дочь и потому всё время ухода за отцом приняла на свои плечи. В последний год, несмотря на прежнюю ясность мысли, он настолько изнемог телом, что бывали мгновения, когда измученная Лидия думала, что было бы лучше, если бы отец ушёл, *освободил*. Никого не было у неё во всю жизнь ближе и роднее отца, но, вот, сдали силы, настал

предел им, и думалось, что когда его не станет, жизнь облегчится.

Но вышло всё иначе... С его уходом Лидия вдруг ощутила страшную пустоту вокруг себя. Сын уехал на заработки, полностью оторвавшись от распавшейся семьи, дочь так же жила своей неведомой жизнью, которой совсем не стремилась делиться с матерью. Всю жизнь она заботилась только о них, чтобы были они накормлены, одеты, благополучны. Когда же так случилось, что она — любящая и заботливая мать — потеряла своих детей? Ни Жене, ни Ике уже не нужна была она. Ике — разве что для того, чтобы содержать и готовить ей обед. Ей вообще никто не нужен. Не нужен был и собственный отец, к которому она, преступая через презрение, ластилась, чтобы получить «денежку» и «подарочек». В кого же выросла она? И что с ней будет дальше?

— Я погубила души собственных детей!.. — это были первые слова Лиды, когда после смерти отца она пришла в церковь.

Отец строго-настрого запрещал ей приобщаться Святых Тайн у «сергиан». А она его волю нарушила, потому что слишком нестерпима была пустота, потому что душа требовала пойти в храм и исповедаться, и приобщиться. Не служителем подаёт Святые Тайны, а сам Господь, а Господь зрит на сердце человека и не может лишить его благодати за то, что Дары он принял от последователей «апполозовых», а не «павловых». Этим успокоила себя Лидия и с той поры вновь стала посещать церковь, от которой была практически оторвана несколько лет.

Жизнь утекала сквозь пальцы, проходила тенью... Прежде Лидия держалась, зная, что нужна старику-отцу, а без него — что же? Среди ночи она просыпалась: ей чудился голос отца, зовущий её. И больно

становилось от мысли, что он никогда больше не позовёт...

В июне Ика закончила девятый класс и, сдав экзамены, укатила отдыхать к родственникам закадычной подруги, жившим на юге. Лида осталась совершенно свободной, и эта свобода была страшна. Всю жизнь она жила для кого-то, всю жизнь весь день её был расписан по минутам, и в таком графике не оставалось брешей для прислушивания к самой себе. Теперь же на это растлевающее и разрушающее занятие приходился весь день.

Поначалу дни скрашивало последнее живое существо, оставшееся рядом — кошка Серёжи... Но две недели спустя несчастное животное вдруг заболело и, промучившись три дня, околело. Даже над могилой отца так не рыдала Лидия, как в тот день, словно эта смерть стала последней каплей, добившей её стойкую натуру.

В больнице врач долго мялся, перечисляя многочисленные заболевания поступившей пациентки и разъясняя, как он предполагает их лечить, а под нажимом довесил приговором:

— У вас, Лидия Аристарховна, ревматизм сердца. Вам ни в коем случае нельзя волноваться, иначе следующий приступ легко может стать для вас последним.

Хороший совет! Не волноваться, когда кругом вся атмосфера исполнена ядом, отравляющим, разрывающим сердце... Одна только участь Серёжи могла обернуться тем самым, «последним».

Посыльной этой беды к полудню робко вошла в палату Тая... Прошедшие годы изменили её. От девочки-институтки не осталось и памяти. Хотя по фигуре, как прежде, сущий подросток, но лицо — женщины, женщины истомлённой, страдавшей и



узнавшей, что такое жизнь. Она выглядела старше своих лет, а глаза смотрели тревожно-затравленно.

— Проходи, садись, — пригласила Лидия, усаживаясь на постели и указывая на стул. Палата в этот час была пуста, и говорить можно было свободно.

— Спасибо! — Тая привычно села на краешек стула, нервно заёрзала, кося глазами, затем подала небольшой бумажный пакет:

— Вот... Здесь первые яблоки... Наши, посадские.

— Спасибо.

— Как... вы чувствуете себя?

— Хорошо, — пожалала плечами Лидия. — Ты ведь по делу пришла, правда? Не с визитом вежливости?

Тая подняла на неё крупные, влажные глаза:

— Правда, Лидия Аристарховна...

— Тогда выкладывай. Что с ним? Ты же о нём говорить пришла?

Тая кивнула и, не глядя на Лиду, ответила:

— Его отправили в Мариинские лагеря... На четыре года.

— Что в Мариинские — это хорошо.

— Почему?

— В Мариинских сейчас Пётр Дмитриевич. Мне недавно говорил об этом Пряшников. Хоть какая-то укрепа...

— Лидия Аристарховна, Пешкова добилась разрешения на свидание...

— Прекрасно. И в чём же дело?

— В том, что разрешение дано... жене, — вымолвила Тая.

— Дорогая моя, боюсь, что в данном случае я тебе помочь бессильна. Ты же видишь...

— Но что же делать?! — в голосе Таи послышалось страдание. — Эту возможность нельзя упустить!

— Так поезжай ты. Или ты не жена?

— Жестоко так шутить!

— Я не шучу, — отозвалась Лидия. — Кто тебя видел и знает там? В Мариинске? У тебя есть разрешение на свидание — так поезжай к нему.

— Вы думаете, получится? — глаза, только что полные отчаяния, засветились надеждой.

— Бог не выдаст — свинья не съест. Ты, вот что! — к Лидии вернулась обычная деловитость: — Возьми с собой тёплые вещи для него! Валенки возьми, шерстяные носки, рукавицы... Бельё! А из еды — что-то простое, но питательное, что можно долго хранить. Сгущенное молоко непременно! В нём много калорий! Да ты... Хилая ты! Небось, и половины не довезёшь!

— Довезу! — твёрдо сказала Тая. — Вы не смотрите Лидия Аристарховна, что я с виду такая. Я ведь на железной дороге обходчицей зимой работала, а уж тяжестей на себе перетаскала — верблюду не снилось.

Лида с любопытством разглядывала бывшую воспитанницу:

— А знаешь, Тася, я, пожалуй, ошиблась в тебе, недооценила.

— В чём?

— Когда ты к моему... или твоему? Ну, в общем, к нашему мужу уходила, я думала, не протянешь ты с ним долго. С его-то характером! С твоей-то неопытностью! Думала, потешитесь годик, и взвоешь ты от такой жизни, и сбежишь от него. А ты, надо же, выдержала. И даже любишь его до сих пор...

— Так ведь и вы его любите. Разве нет?

— Значит, такой мой крест. Крестом я эту любовь всю жизнь и считала. Но ведь ты не я, тобой двигало чувство романтическое, и он для тебя был романтическим героем. Или, может, он и теперь для тебя таков?

— Рядом с Серёжей я поняла, что такое настоящее любовь, — сказала Тая.

— Очень редкое понимание. И что же это, позволю полюбопытствовать?

— Любовь — это способность пережить крушение иллюзий.

Такой ответ всерьёз заинтересовал Лидию, и она подалась вперёд, продолжая «допрос»:

— Формула мне нравится. А расшифровка?

— Когда мы влюблены, то наделяем объект своего чувства всевозможными достоинствами, не замечая недостатков. Мы подчас не видим и не знаем настоящего, живого человека, любя созданный нашим воображением идеал, который по странной прихоти переносим на избранного человека. Но жизнь разрушает идеал. День за днём она снимает покровы, обнажая те или иные не лучшие стороны нашего избранника, причиняя боль каждым таким открытием. И, вот, однажды перед нами оказывается всего лишь человек, далёкий от идеалов, со всеми недостатками присущими людям. Нередко разоблачение убивает любовь. Но это означает одно: что никакой любви не было, а одна только мечта. А если чувство достаточно сильно, чтобы этот момент пережить, если и узнав подлинное лицо избранника, мы продолжаем его любить ничуть не меньше, значит это, действительно, любовь.

Некоторое время Лидия молчала, глядя на колыхающиеся занавески, затем проронила:

— Я, действительно, недооценила тебя. Ни твою душу, ни голову. С нашим мужем ты хлебнула уже немало горя и, не сомневайся, ещё много-много хлебнёшь. Но если ты, разглядев его, продолжаешь любить его так же, как раньше, то ты выдержишь всё. И кто знает, может, тебе удастся то, что не удалось мне: распутать ту паутину, в которую он сам себя заключил и теперь так мучительно задыхается.

— Помилуйте, об этом ли сейчас думать? Его жизнь в опасности!

— Успокойся. В нашей истории слишком много узлов, чтобы они оказались разрублены одним ударом. Их надо будет распутывать год за годом. Тебе и ему.

— Дай Бог, чтобы так всё и было! Если бы было можно, я поехала бы к нему насовсем! — выдохнула Тая. — Работала, терпела лишения — лишь бы с ним, лишь бы видеть его каждый день, слышать голос...

Лидия грустно вздохнула:

— А, знаешь, Тася, Степан Антоныч на днях предложил мне уехать с ним в Германию...

— Степан Антоныч? — глаза Таи округлились. — Разве он собирается уезжать?

— Там есть состоятельные люди, которым интересны его работы. И они готовы оплатить нашим тюремщикам его пропуск на свободу...

— И что же вы ответили?

— Я ответила, что он должен ехать.

— А вы?..

Лидия поморщилась:

— Что — я? Где — я? Я слишком больна, чтобы куда-то ехать. Да и дети...

— Мне кажется, они бы только рады были уехать. Особенно, Ика.

— Да, Ика была бы рада... — невесело откликнулась Лида и после паузы добавила: — Что же я делаю не так? Ни единого дня своей жизни я не жила для себя, не оставалась праздною. Я любила свою семью, для которой жертвовала всем, но моя семья распалась. Я бесконечно любила отца, за которым ходила день и ночь, когда он стал немощен, а он весь последний год попрекал меня, что я не понимаю того, что он пытался до меня донести, укорял теплохладностью ко Христовой Истине. Я любила мужа, о котором заботилась, как мать, но муж объявил, что моя опека подавляет и

оскорбляет его личность, и оставил меня. Я любила детей и старалась дать им всё, что только было возможно в наших условиях, но сын сказал, что почти не видел меня и не знал моей ласки, и теперь не шлёт даже писем, а лишь почтовые карточки и деньги, а дочь просто не обращает на меня внимания... Я любила всех, я заботилась обо всех, я все эти годы тянула всех на своей шее... Что же я упустила? Где оступилась? Был один-единственный человек, который любил меня, любил, зная безнадёжность этой любви, ничего не видя от меня в ответ на свои благодеяния. Этот человек готов был жениться на мне и сделать для меня всё, хотя никогда не говорил этого. Но я не любила его и дорожила своей семьёй. И, вот, я осталась одна. Старая, больная и никому не нужная. Почему так? День за днём до бреда я задаюсь этим вопросом и не нахожу ответа. Ни разу я не отступила от своего долга, а теперь не вижу вокруг ничего, кроме черепков разбитой жизни, *моей жизни!*

Тая не отвечала. Она сидела, сжавшись, ссутулившись, втянув голову в плечи и глядя в пол, и, по-видимому, чувствовала себя виновницей перечисляемых несчастий.

— Подними глаза-то, — окликнула её Лидия. — Ты не виновата, что всё так случилось. Мне не следовало тебе всего этого говорить, прости. Вероятно, в погоне за материальными благами для моих близких я упустила из виду их души, и они затворили их для меня. Но теперь этого не исправить...

— Простите меня...

— Полно, я ведь сказала, что твоей вины в моих бедах нет. Иди, Тася. Я устала... Поезжай к нему, утешь, приголубь. А, когда вернёшься, не сочти за труд, зайди ко мне, расскажи, как он там.

Тая поднялась и, склонившись, поцеловала руку Лиды:

— Простите нас всех, — прошептала, глотая слёзы. — И поправляйтесь! Пожалуйста! А я обязательно зайду и расскажу вам всё.

Она ушла. Занавески едва заметно колыхались. Лидия с трудом поднялась и, подойдя к окну, глубоко вдохнула тёплый летний воздух:

— Как же, должно быть, хорошо теперь в Посаде! Милый Посад, подожди, я ещё приеду, хотя бы один раз, чтобы надышаться твоим воздухом, насмотреться на природу, которую столько лет не видела, и проститься с тобой. О, так будет! Для этого одного я встану на ноги и одолею дорогу — чтобы увидеть небо и лес, лес и небо...

## Глава 9. Напутствие на муку

Когда-то он казался ей исключительным, необыкновенным человеком, образ которого не отенён ничем. Иногда посещавшие душу сомнения в его непорочности вызывали стыд за саму себя — как можно даже допускать подобные мысли! Казалось, что если бы хоть одно из этих случайных подозрений подтвердилось, если бы хоть одно пятно замарало созданный в воображении светлый образ, мир рухнул бы в одночасье.

Ту свою детскую наивность Тая вспоминала теперь с грустной улыбкой. За годы жизни невенчанной женой своего «ивана-царевича» она узнала его таким, каким не могла и вообразить в своих испуганных сомнениях, узнала его слабости и пороки, узнала его в нравственном падении, в помрачении духа, в малодушии... Но, вот, странность: всё это нисколько не пошатнуло её чувства к Сергею, не оттолкнуло её, а лишь сильнее привязало.

Глаз зоркий, но равнодушный видит только пороки, глаз не менее зоркий, но любящий способен угледеть то, что скрыто под ними. Не сразу, но разглядела Тая в человеке, сперва казавшимся ей мудрецом и героем, а после в особенно тяжёлый период — самолюбивым эгоистом, разрушающим и предающим себя прежнего и вместе с тем её, так в него верившую, глубоко-глубоко запрятанного внутреннего человека. Этим внутренним человеком был ребёнок, выросший без материнской ласки и твёрдой отцовской руки, а оттого лишённый прочного основания под ногами, ранимый, самолюбивый, мнительный, доверчивый, застенчивый и неуверенный в себе. Такие качества делают человека слишком уязвимым для всякого удара, превращают его

жизнь в постоянную боль и печаль. Чтобы хоть как-то обезопаситься, он прячет себя настоящего как можно глубже, чтобы никто не разгадал его. Неуверенность и застенчивость маскируется показной самоуверенностью и простотой обращения, доверчивость, многократно обманутая, обращается страхом предательства и подозрительностью... Душа тоскует по недополученной в детстве любви и теплу, но человек боится показать это, боясь выглядеть смешным, быть уязвлённым. Душа ищет чего-то надёжного и настоящего в жизненных бурях, но, обретя таковое, человек начинает крушить самого себя сомнениями, отравляя свою жизнь. Маленький внутренний человек таится в тёмном углу и боится показаться и в то же время ждёт, что чей-то сочувственный взгляд разглядит его, поймёт его муку и подаст, наконец, руку помощи.

Не книги, не мудрые советы раскрыли это Тае. Измученная придирками и ревностью любимого человека, припадками чёрной ипохондрии, случалось, доводившими его или до болезни или до попыток обрести забвение в вине, во время которых он терял самого себя и потом долго возвращался в обычное состояние, она разглядела, наконец, то, что так пугливо скрывал и оберегал он от сторонних глаз. После этого кризис миновал, отныне Тая любила не вымышленный идеал, а скрытого внутреннего человека, ребёнка, которому отчаянно нужна была помощь.

Иногда она задавала себе вопрос, понимала ли мужа Лидия? Должно быть, понимала, но в какой-то момент устала понимать, желая, чтобы и он хоть немного понял её. А он не понял. Или понял по-своему... Что ж, умная, образованная дочь профессора Кромиади имела полное право быть требовательной. Сирота Тая, спасённая Сергеем от смерти, никаких подобных прав за собой не чувствовала и готова была безобидно принять от него всё, всецело посвятив ему жизнь. В



конце концов, на что ещё годится её жизнь? Лишь бы только он был хоть чуть-чуть счастливее!

Как-то вечером Сергей читал ей вслух Чехова. Такие чтения он всегда заводил, когда бывал в более или менее добром расположении духа. На тот раз пришёлся рассказ «На пути», в котором герой утверждал: «Женщина всегда была и будет рабой мужчины. Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил всё, что ему угодно. Господи Боже мой, из-за грошового мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Благородное, возвышенное рабство! В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за всё время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение... Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...»

Должно быть, слушая эти строки, Тая точно так же впилась взглядом в Сергея, как чеховская героиня в диагноста женской сути. Именно такой рабой и была она, именно таким был её удел — и иного она не желала.

Его арест и последующая отправка в лагерь стали для Таи страшным ударом. Хотелось одного — не чувствовать более ничего, не дышать, не видеть, не жить... Но жить было необходимо для того, чтобы чем можно помогать ему и ждать, ждать... Но как же невыносимо долго ждать! Четыре года! О, с какой бы радостью приняла она самую лютую муку — только бы

он был свободен! С какой бы радостью отправилась в лагерь с ним, подобно жёнам декабристов...

Последнее, впрочем, было отчасти выполнимым. Ещё обивая пороги Политического Красного Креста, Тая вынашивала идею поехать следом за Сергеем. Конечно, в лагере быть с ним ей не позволят, но можно поселиться где-нибудь совсем рядом и тогда хотя бы иногда, хотя бы издали видеть его. Эта робкая надежда придавала сил.

Придало их и первое письмо Сергея из Мариинска, в котором он сообщал, что встретился там с Барановским. Пётр Дмитриевич, как ценный специалист, был назначен помощником начальника стройчасти. Будучи человеком деятельным и отзывчивым, он, разумеется, не мог пройти мимо оказавшегося в беде коллеги и исходатайствовал у начальства, чтобы Сергея назначили ему в помощь, отрекомендовав и его как специалиста. И хотя специалистом в нужной области Сергей был никаким, но, как известно, нужда заставит — всему научишься. К тому же Барановский учитель каких поискать, да и «ученик», несмотря на все свои внутренние разлады, на редкость легко и быстро схватывал то, что ему требовалось, и работать умел.

После этого письма Тая немного успокоилась. А тут как раз пришло разрешение на свидание... Лишь бы только не помешал тому её официально не оформленный статус жены! Этого она боялась ровно до тех пор, пока уже в Мариинске её не оставили в нетопленной избе дожидаться мужа.

Эти последние минуты ожидания показались Тае вечностью. Она лихорадочно ходила по комнате, затем принималась расставлять на столе кое-что из привезённых продуктов, разводить огонь, затем садилась у окна и смотрела, смотрела в сгущающийся сумрак, содрогаясь от вида вышек и колючей проволоки... Как-то выдержит это грозное испытание

впечатлительная, хрупкая душа Серёжи? Не сломается ли он?

От волнения стало жарко, была лихорадочная дрожь. А вдруг всё-таки обманут? В последний миг отменят своё разрешение, поглумившись ещё раз?

Но этого не случилось, и, когда Сергей вошёл, Тая едва нашла в себе силы, чтобы подняться ему навстречу. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Вглядывалась Тая до боли в глазах: сильно ли исхудал? Не болен ли? Не сломлен ли?

Наконец, он приблизился и робко обнял её дрожащими руками:

— Девочка моя... Это, оказывается, ты! Какое счастье... Они сказали, что приехала жена, и я подумал — Лида... Хотя я мог бы догадаться. Ведь кроме тебя, мне никто даже не написал ни строчки, словно меня нет. Даже Ика...

При упоминании о дочери голос Сергея стал особенно горьким. Тая прижалась к нему крепче, глядя по плечу. Ей хотелось сказать ему так много, но слёзы мешали. Выдохнула только:

— Милый мой, как же мне тяжело, как страшно без тебя, — и чтобы взять себя в руки, засуетилась: — Но что же это я? Ведь ты смертельно устал! Ведь ты голодный! Садись! Садись! Сейчас будем ужинать...

Сергей сел, закурил папиросу и вдруг сказал:

— Прости меня.

— За что? — удивилась Тая.

— За всё. Ты знаешь, первые три недели меня держали в одиночке... Меня не вызывали на допросы, не предъявляли обвинения. Меня словно забыли, как графа Монте-Кристо. У меня не было книг, не было собеседников. А были только мысли. Совесть. Это, оказывается, очень страшно — остаться на продолжительное время один на один со своей совестью. Не один человек не обличит тебя так

жестоко, как она. День за днём я сидел и вспоминал, как жил, что делал. Особенно, в последние годы... Видит Бог, никому и никогда я не хотел зла, но почему-то так вышло, что людям я приносил только огорченья. Моя крестная и другие прочили мне славное будущее, верили в мой талант и ум. А я растратил всё, разбросал, обманул их веру. Они думали, что я стану учёным. А кем я стал? Всем понемногу, а в сущности, никем. Обычной никчёмностью... Сейчас милостью Петра Дмитриевича я избавлен от общих работ. А меня то и дело подмывает отказаться от моей «должности», потому что есть люди, которые по праву могли бы занять её, а, значит, я обманом занимаю их место, когда они надрываются на общих. Именно там моё место, больше я никуда не гожусь. И там всё это закончилось бы скорее, и в мире стало бы одним никчёмным человеком меньше... И в глаза Петру Дмитриевичу я не могу смотреть без стыда... Ведь после его ареста я почти забросил Коломенское, и у меня, подлеца, так и не хватило духу перед ним покаяться. Я испортил жизнь своей жене, которая некогда так помогла мне в тяжёлый период. Я испортил жизнь тебе, дав волю своей страсти...

— Неправда! — горячо воскликнула Тая и, сев рядом, крепко стиснула руку Сергея. — Ты мне дважды дал жизнь. Первый — когда подобрал умирающей на дороге, а второй — когда позволил быть с тобой. Ты душу мою углубил, открыл мне меня саму!

— Строгий судья сказал бы: растлил...

— Это сказал бы глупый и не умеющий читать в сердцах судья! Милый мой, послушай меня. Я давно хотела сказать тебе, но мне не хватало духу, а теперь после твоих слов я не имею права молчать. Все мы почему-то стыдимся самого лучшего, самого доброго и чистого, что в нас есть! Боимся показаться смешными, остаться непонятыми. Боимся сказать друг другу самые лучшие, самые необходимые слова! А их надо говорить!

И тогда бы намного меньше было отравляющих души сомнений и взаимных непониманий... Ты испортил мне жизнь? Да как это возможно, если ты и есть моя жизнь? Если без тебя я задыхаюсь, и всё существование моё, даже мысли приходят в состояние паралича! Знай, пожалуйста, что я не могу жить без тебя, и это не слова. И мне неважно прославленный ли ты учёный или изгнанник, потому что я люблю не имя, не положение, а тебя — такого, какой ты есть.

— Ты знаешь, какой я есть?

— Знаю.

— Странно, я и сам до сих пор не знаю этого...

— Ты многому учил меня, Серёжа. И научил главному: любви и вере. В твоём, в нашем доме проповедовал профессор, и я часто бывала в церкви вместе с ним. Но по-настоящему к Богу меня обратил ты. Знаешь, как это получилось? Я всегда больше всего на свете боялась потерять тебя, поэтому когда ты куда-то уезжал или болел, я не находила себе места. Я ничем не могла помочь тебе, защитить тебя, кроме молитвы. И я молилась! Никогда ни о ком и ни о чём я не молилась так подолгу, с такой горячей исступлённостью, как о тебе! Я нарочно, чтобы никто не видел, поднималась среди ночи и читала акафисты Богородице и Преподобному Сергию, чтобы они охранили тебя от беды. Так, через любовь к тебе я пришла к осознанной, живой вере. Все эти годы самой большой радостью для меня была твоя радость. Твоя улыбка, твоё доброе настроение — вот, что осветляло и живило мою душу, вот, от чего пела она. А твои огорчения становились для меня ранами куда горшими, чем любые собственные печали. Поэтому не смей, никогда не смей думать, что ты испортил мне жизнь! И никогда не говори таких жутких вещей, как теперь, если не хочешь чтобы сердце моё разорвалось от боли и страха! Я люблю тебя и буду с тобой всегда, если только ты сам не прогонишь

меня. Ты... только выдержи, пожалуйста, эту теперешнюю муку. И тогда я тоже смогу выдержать... Я уже решила: я найду жильё и работу где-нибудь здесь и хотя бы так буду рядом. И мы справимся, милый мой, мы обязательно справимся с этой мукой, и всё ещё наладится! Поверь мне!

По впалым щекам Сергея покатались слёзы. Он хотел отвернуться, но Тая обняла его и стала покрывать поцелуями лицо:

— Если б ты только знал, как я люблю тебя! Если бы я только могла взять себе всю твою боль...

...Ночью, лёжа в одежде под грубой рогожей, Тая прильнула к Сергею, но он лишь крепко сжал её ладонь:

— Нет, мы не должны теперь... Если твоими молитвами я выживу здесь, то, обещаю, у нас всё станет по-людски. Я разведусь с Лидой, мы найдём священника и обвенчаемся. Так будет правильно...

— Всё будет так, как ты захочешь, — тихо откликнулась Тая, глядя его по щеке и неаккуратно подстриженным волосам.

— В тюрьме я многое понял... Вот, только там это ничем мне не помогло. Когда меня после трёх недель изоляции привели на допрос, я готовился услышать обвинения, представлял свой диалог со следователем, готовил ответы. Моя извечная самонадеянность! Эти мерзавцы сумели сломать даже Барановского, вырвав у него психологическими пытками и угрозами семье, признательные показания. Придя в себя, он пытался отказаться от них, требовал нового вызова на допрос, но его не вызвали и протокол не изменили. А я тешил себя надеждой, что вывернусь и ничего не подпишу. Я готовился к разговору, но со мной не разговаривали, Тая. Меня топтали... Следователь, почти мальчишка, орал на меня матом, сыпал угрозами столь чудовищными, что я не могу повторять. Он требовал, чтобы я говорил, и в то же время не давал мне открыть

рта. Но я и не смог бы говорить, мне не позволили бы слёзы... Я оказался не готов к унижению. Совсем не готов... Когда этот мальчишка понял моё состояние, он торжествовал. Глумился надо мной, а потом ударил... И ещё... Первый раз в жизни меня избили. Не сильно, больше для острастки. Но как же это было стыдно! Потом он требовал, чтобы я дал расписку о готовности сотрудничать... Тая! В одном моя совесть чиста, этой расписки я им не дал! Я лежал на полу и плакал, и они решили, что я не в себе. А на третью ночь велели подписать признательные показания... И я подписал. Вот так мало им потребовалось, чтобы сломать меня. И уж конечно я не требовал своих показаний назад. Я хотел только одного, чтобы меня оставили в покое и не мучили больше. Прости... Я не хотел тебе этого рассказывать, но мне так больно...

Тая слушала, глотая слёзы, и не знала, чем ободрить, укрепить своего страдальца перед уготовленными ему новыми испытаниями. С ужасом думала она, как завтра ей придётся уехать, а он снова останется один со всем этим кошмаром, к которому не готова была его хрупкая натура. Как придать сил и веры ему? Чем утешить?

— Завтра ты уедешь, и я снова останусь один. Господи, как страшно...

— Милый мой, не отчаивайся, умоляю тебя. Я буду рядом, помни. И буду молиться за тебя каждый миг. Ты справишься! Обязательно! Мы вместе справимся! Вот увидишь!

— Спасибо, девочка моя. Ты теперь мой единственный свет... Ты скажи ещё что-нибудь. Расскажи... Когда ты говоришь, мне начинает казаться, что я действительно, смогу это выдержать.

Так лежали они до утра в темноте, не видя слёз друг друга, тихо разговаривая, вспоминая немногие прежние радости и лишь ненадолго забывшись лёгким

полусном. Впереди лежали без малого четыре года муки, и их необходимо было одолеть, как подчас приходится кораблю одолевать бушующее в шторме море, чтобы с пробоинами и изломанными мачтами всё же войти в тихую гавань.



## Глава 10. Пётр Тягаев

— «Слава России! (На жест салюта —  
Скрежет, шипение злобы лютой).  
Слово моё — не мольба к врагу,  
Жизнь молодую не берегу,  
Но и в смертельной моей судьбе  
Миг, как фашист, отдаю борьбе!

Оргии? Пьянство? Подачи миссий?  
Путь пресмыкательства, подлый, лисий?  
Я возражаю вам, прокурор, —  
Ваши слова — клевета и вздор:  
Духом сильны мы, а не валютой!..  
Слава России!» — и жест салюта.

«Годы отбора, десятилетье...  
Горбится старость, но крепнут дети:  
Тщательно жатву обмолотив,  
Партией создан стальной актив,  
И что б ни сделали вы со мной —  
Кадры стоят за моей спиной!

Девушки наши и парни наши —  
Не обезволенный день вчерашний,  
Не обессиленных душ разброд:  
Честный они, боевой народ!  
Слышите гул их гремящих ног?..  
Слава России!» — салют. Звонок.

«К делу!» — Шатнулся чекист дежурный.  
Ропот по залу, как ветер бурный,  
Гулко пронёсся... и — тишина.  
Слово соратника Семена:

«К делу?.. Но дело мое — Россия:  
Подвиг и гибель. А вы кто такие?  
Много ли Русских я вижу лиц?  
Если и есть — опускают ниц  
Взоры свои, тяжело дыша:  
Русская с Русским всегда душа!

Знаю: я буду застрелен вами,  
Труп мой сгниет, не отпетый, в яме,  
Но да взрывается динамит:  
Лозунг «В Россию!» уже гремит,  
И по кровавой моей стезе  
Смена к победной спешит грозе.

Тайной великой, святой, огромной  
Связана Партия с подъярёмной  
Нищей страной... Страна жива,  
Шепчет молитвенные слова  
И прокликает в тиши ночей  
Вас, негодяев и палачей!..»

Зала как будто разъята взрывом:  
Женщины с криком бегут пугливым  
К запертой двери... Со всех сторон:  
«Вывести, вывести... выбросить вон!»  
И — медным колоколом — толпе:  
«СЛАВА РОССИИ И ВФП.!»

Ещё поднимаясь по лестнице, услышал генерал Тягаев восторженный ломающийся мальчишеский голос, декламирующий незнакомые вирши. Ступив в гостиную и поцеловав руки жены и свояченицы, он обратился к взволнованному Николаше, вытянувшемуся во фронт при его появлении:

— Что это ты там такое читаешь, племянник?

— «Георгий Семена», поэма Николая Дозорова, — выдохнул мальчик.

— Под этим псевдонимом в «Нашем пути» пишет Несмелов, — пояснила Дунечка, протягивая Петру Сергеевичу газету. — Пальчевские прислали сегодня вместе с письмом...

— Они очень заботятся... о нашем просвещении, — вымолвил Тягаев, поправляя очки и открывая газету.

«Наш путь» был печатным органом Всероссийской Фашистской Партии. Эта организация была основана в конце двадцатых годов в стенах юридического факультета Харбина группой эмигрантов из числа студентов и преподавателей под руководством профессора Николая Никифорова. В Тридцать первом году на первом съезде Русских Фашистов председателем ЦИК партии стал сын убитого террористами жандармского полковника, капитан Добровольческой армии и идеолог русского фашизма Анастасий Восняцкий, а генеральным секретарем — Константин Владимирович Родзаевский. Личность последнего представлялась Петру Сергеевичу весьма тёмной. Сын благовещенского нотариуса, комсомолец, внезапно бежавший в Маньчжурию в 1925 году, он окончил юридический факультет в Харбине и, ещё будучи студентом, занял заметное положение в формирующемся национальном движении, благодаря своему магнетическому влиянию на людей и исключительным ораторским способностям. В 1926 году к нему с разрешения советских властей приехала мать и умоляла вернуться домой, но Родзаевский остался непреклонен. Через два года отец и брат Родзаевского также бежали в Харбин. Мать и сёстры после этого были арестованы ГПУ.

Фашистская партия быстро обрела символику, гимн, дочерние организации — Российское Женское

Фашистское Движение, Союз Юных Фашистов — Авангард, Союз Юных Фашисток — Авангард, Союз Фашистских Крошек... Была налажена активная издательская деятельность. Среди вышедших книг особенно примечательны были «Азбука фашизма» под редакцией Родзаевского и «Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин» Горячкина, писавшего, что Столыпин был «даже гениальнее современного Бенито Муссолини». После этого в Харбине русскими фашистами была создана «Столыпинская академия».

Генералу Тягаеву не по душе была ни сама Фашистская партия, ни её экзальтированный лидер с тёмным прошлым. Вот, только как бы донести свою настороженность до восторженного мальчишки, бредившего «идеалами» ВФП? Чрезмерной резкостью можно достичь лишь обратных результатов. К тому же что взять с мальчишки тринадцати лет, если эти «идеалы» вдохновляют бывших офицеров, профессоров, не говоря уже о поэтах — людях творческих и всегда отчасти инфантильных?

— Стихи хорошие, — сказал Пётр Сергеевич, — но прошу тебя, Николая, не увлекайся слишком всеми этими партиями и движениями.

— Почему, дядя? Чем вам не нравится ВФП?

— Начнём с того, — Тягаев нервно завертел в руке трубку, — что мне не нравятся любые партии. Я видел их в последние годы Империи, видел во время нашей Борьбы и видел здесь в эмиграции и могу тебе сказать с полной ответственностью: ничего, кроме зла, не принесла ни одна из них. Партия не может стремиться к истине, она воюет лишь за свою усечённую догму.

— И ВФП тоже зло? — спросил Николаша, явно не разделяя такого мнения.

— Если тебя интересует, чем мне не нравится эта организация, то я объясню, — генерал старательно подбирал как можно более доходчивые и взвешенные

слова, стараясь не раздражаться. — Мне не нравятся позиционирующие себя русскими организации, которые всю свою структуру, начиная с названия, заимствуют у организаций не русских. Первый русский фашист Столыпин! Ну, почему бы г-ну Горячкину было, например, не отталкиваться от самого Столыпина? Почему мерилом стал Муссолини, который, между прочим, ликовал убийству нашего великого премьера не меньше, чем Ленин, а потому является нашим врагом? Фашизм, Николая, понятие, не имеющее никакого отношения к России. Хотите создавать партию — извольте, именуя её хотя бы национальной. Нет, они, следуя нашему вековечному обезьянничанью, даже тут тащат инородное словцо с инородной сутью. А все эти ЦИКи? Генеральный секретарь? Все эти союзы юных фашистов и фашистских крошек? Сиречь комсомолы и пионерия? Это всё багаж, который бывший комсомолец Родзаевский прихватил из Триэссерии. Мне не нравится расстановка акцентов в этой партии. Дозоровская поэма, между прочим, их прекрасно раскрывает. Вот, позволь-ка, — Петр Сергеевич скользнул близоруким глазом по газетной полосе и, найдя нужный фрагмент, прочёл:

Родина, Партия, ты, жена, —  
Нет уж соратника Семена...  
Жизнь, уж земным ты меня не томи, —  
Господи, душу мою прими!  
Смерть, подойди с покрывалом чистым,  
Был я фашист и умру фашистом...

Родина и Партия с большой, заметь себе буквы, вот, что главное для сего соратника. Но ведь это очередной идол. Очередная подмена! Ни слова не слышим мы о Православии, без которого нет России, но — Партия!

Партия! Идолом подменяется Истина. Спрашивается, для чего? Наконец, мне не нравится личность господина Родзаевского. Кто этот человек, чтобы быть вождём, каковым он сделался? Что он сделал в жизни? Какой опыт имеет? За ним нет ничего. Всё, что он умеет, артистично бросать красивые фразы. Таких артистов мы навидались за эти годы столько, что не приведи Господь! Это они, артисты, обратившие политику в подмостки для своих представлений, довели нас до нашего плачевного состояния. И ещё мне крайне не симпатичны люди, которые сбегают в безопасные края, бросив на растерзания ГПУ мать и сестёр. Этого довольно, племянник?

— Мне кажется, вы слишком категоричны, дядя, — Николаша насупился. — Их лозунг: «Бог, Нация, Труд», так что вы напрасно приписываете им отступление от Бога. К тому же, в конце концов, они борются против коммунистов! Борются за освобождение нашей Родины, готовя для этого силы!

— Если бы они добились победы, то учредили бы, пожалуй, тот же большевизм, но под другими символами. Они уже сейчас говорят и пишут лозунгами, нетерпимы к другим, опьянены своим идолом... Но послушай меня, Николая. Все их рассуждения о борьбе за освобождение России — это пустые заклинания. Вооружённая борьба за Россию окончилась четырнадцать лет назад. И если России суждено возродиться, то это будет итогом не новой гражданской войны, а постепенного изживания русским народом коммунизма, подобно тяжёлой болезни. Наша задача лишь помогать тому, если представится возможность, помогать очищению, возрождению русского самосознания, духа. Но ни в коем случае не оружием.

— А как же? — удивился Николаша. — Что же тогда нам остаётся? Сидеть и ждать, сложа руки?

— Нам, господин юнкер, остаётся самое сложное... — промолвил Тягаев. — Сохранить лампаду, которую когда-то зажгли в степях Дона... Сохранить нашу веру, нашу Церковь, нашу культуру и традиции, наш язык, нашу память. Чтобы, когда появятся бреши в советской крепости, подать всё это алчущим. Наша задача сохранить духовную Россию в изгнании, в самих себе, в наших потомках, чтобы, если Богу угодно, однажды возвратить её в Россию материальную. Понимаю, что это не столь будоражит воображение, как грёзы вэфэповских поэтов о том, как мы грозной силой вернёмся на Русь и перебьём всех комиссаров, но, однако же, обещаю мне прислушаться к моим словам.

— Слушаюсь, господин генерал, — не очень-то довольно отозвался Николаша. — Разрешите удалиться? Меня ждут у Налимовых.

— Разрешаю, — кивнул Тягаев.

Никогда не имевший сыновей, он глубоко привязался к племяннику, в котором не без гордости видел белую офицерскую косточку, какой с детских лет отличался сам. Пётр Сергеевич сам обучил Николашу верховой езде, владению саблей и пистолетом. В кадетский корпус имени Великого Князя Константина, располагавшийся в Белой Церкви, он отдал мальчика уже готовым воином. Николаша всецело оправдывал его надежды, став одним из первых учеников, каковым когда-то был и сам Тягаев. Генерал время от времени навещал племянника и даже несколько раз выступал перед воспитанниками корпуса. С его директором Борисом Викторовичем Адамовичем, генералом и педагогом, не чуждым литературного дарования и приходившимся братом известному поэту, Пётр Сергеевич был в самых дружеских отношениях. Борис Викторович не раз предлагал Тягаеву заняться педагогической работой, поделиться своим боевым опытом с подрастающей сменой. Но Пётр Сергеевич

отказывался. Зная свой чересчур вспыльчивый и раздражительный характер, он ясно понимал, что хорошим педагогом быть не сможет, ибо педагогика требует терпимости. Отдельные беседы по случаю — это ещё туда-сюда, но никак не постоянная работа.

Отдав честь дяде, Николаша зашагал к двери, насвистывая бодрый мотив, в котором обладавший тонким слухом Тягаев тотчас узнал гимн ВФП.

— «Крепче бей, наш Русский молот, / И рази, как Божий гром?» — живо обернулся генерал. — Вы бы лучше, господин юнкер, пели «Братья! Все в одно моление / Души Русские сольём»<sup>12</sup>.

Мальчик ушёл, а за ним с извиняющимся видом последовала и его мать. Пётр Сергеевич посмотрел на жену:

— Скажешь, что я опять был слишком резок?

— Не слишком, — мягко улыбнулась Дунечка. — Просто ты объяснял ему, как если бы он был взрослым. А он ещё ребёнок. И ему сложно понять твои рассуждения. В его годы думают сердцем, жаждут живого действия, а не рассуждений, жаждут подвига.

— И этой наивной жаждой пользуются прохвосты вроде Родзаевских. Этот адвокатишка хочет славы, хочет быть вождём, хочет обожания! Мне достаточно было однажды увидеть его, чтобы это понять. У этого человека большое честолюбие. И большая тяга к различным побрякушкам: символам, знакам отличия, значкам, ленточкам... Человек, никогда не воевавший, пытается компенсировать это подобным маскарадом. Настоящее дело делается в тишине и не потрясает мишурой, а, коли появляются подобные хлопушки с серпантином и конфетти, то наперёд можно безошибочно утверждать — ничего путного не будет. Мне, признаться, жаль, что Несмелов связался с ними. Хороший был поэт.



— Он и сейчас хороший поэт, — заметила Дунечка.

— Правда. Но многие стихи, написанные им под псевдонимом Дозоров, к поэзии отношения не имеют. Рифмованная агитация и более ничего. А уж славословие «Главе Партии»... — Тягаев махнул рукой. — Ладно, Бог с ними. У меня сегодня иная забота, хотя, боюсь, связанная с этой.

— Что случилось?

— Вечером к нам будет гость.

— Кто же?

— Смысловский. Он приехал в Новый Сад проведать семью и зачем-то хочет встретиться со мной.

— Как ты думаешь, зачем?

Тягаев закурил трубку и глубоко вздохнул:

— По-видимому, затем, чтобы предложить мне ещё один проект спасения России с участием нового германского вождя... Между прочим, ты заметила, Дунечка, как свободолюбивые народы во всём мире сделались падки на всевозможных «вождей»? Повсюду Партии, повсюду Вожди! Сталин, Муссолини, Гитлер... Истерические толпы, обожествление! Вот, видимо, чей пример подталкивает честолюбцев с психическими отклонениями во что бы то ни стало выбиться в вожди... Кишат эти вождики, играющие в политику, а потом кому-то придётся платить за их игрища.

В августе 1934 года в Европе произошло событие, которое определило её судьбу на ближайшее будущее. На исторических путях время от времени встречаются развилки, оказавшись на которых, ещё возможно изменить маршрут. По прошествии же оных череда событий, расположенных Провидением на избранном пути, оказывается неизбежной. Август стал для Европы именно такой точкой невозврата. Второго числа скончался президент Германии Гинденбург, а две недели спустя по результатам плебисцита при поддержке 85 процентов граждан президентство было

упразднено, и полномочия главы государства были переданы Адольфу Гитлеру как «Фюреру и Рейхсканцлеру».

Странная психологическая особенность масс: они никогда не станут слушать разумные и взвешенные речи мудреца, но с восторгом пойдут за сумасшедшим или одарённым паяцем, умеющим громко и вдохновенно кричать то, что массам хочется слышать. Так русские в Семнадцатом пошли за визгливыми и бессовестными агитаторами. Так немцы пошли за Гитлером, давшим им надежду на реванш и возрождение растоптанной и униженной по итогам Первой Мировой Германии. Впрочем, Гитлер в отличие от большевиков обращался к патриотическим чувствам своих сограждан. Его государственное мышление и антикоммунистические взгляды принесли ему уважение среди многих эмигрантов. Правда, сам фюрер пока присматривался к ним и не спешил доверять. Более того, после его прихода к власти генерал фон Лампе, председатель берлинского отделения РОВС, был арестован на три месяца, а Иван Александрович Ильин — уволен из берлинского Русского научного института, ещё раньше лишившегося финансирования, и подвергнут преследованию гестапо.

Всё же фигура Гитлера и Муссолини обольщали многих — особенно, из числа молодёжи. Фашизм становился моден, и харбинская организация была лишь частью этого течения в русской эмиграции.

Генерала Тягаева тревожили нарастающие профашистские настроения, и от встречи со Смысловским он не ждал ничего хорошего. По совести, ему и вовсе не хотелось встречаться с Борисом Алексеевичем. Да и с другими — тоже... Вот уже который месяц он не получал вестей от дочери, вопреки здравому смыслу оставшейся в Триэссерии, и эта

заноза, вогнанная в сердце, не давала покоя. А тут изволь принимать непрошенного гостя...

Борис Алексеевич происходил из мелкого дворянского рода, его отец и четверо дядьев были артиллерийскими офицерами. Ещё живя в Москве, а затем приезжая навестить мать, Тягаев несколько раз бывал в большой и дружной семье Смысловских. Наиболее тесные отношения связывали его с Павлом Константиновичем — преподавателем Александровского училища. Он оказался единственным из братьев, кто после революции не пошёл на службу в РККА. Остальные служили в ней в разном качестве, хотя это не спасло их. Тягаеву было известно, что и Евгений Константинович и Алексей Константинович, отец Бориса, всю Великую войну проведший в плену, попав в окружение вместе с Самсоновым, были арестованы и погибли в заключении или ссылке.

Борис Смысловский, которого Тягаев помнил ещё мальчиком, попал на фронт в восемнадцать лет, сразу по выпуске из Михайловского артиллерийского училища. В 1918 году он вступил в Добровольческую армию. В марте 1920 года его часть была интернирована в Польшу, откуда капитан Смысловский перебрался в Берлин. В эмиграции Тягаев встречал его лишь один или два раза: Борис Алексеевич принимал деятельное участие в работе польского отделения РОВС.

Теперь перед Петром Сергеевичем предстал уже не юноша, а возмужавший, слегка погрузневший тридцатисемилетний офицер (штатский костюм не мог скрыть военной выправки) с очень волевым, даже жёстким лицом, которое портили чересчур маленькие, глубоко посаженные, цепкие и колючие глаза.

— Должно быть вы удивлены моему неожиданному визиту, Пётр Сергеевич? — осведомился Борис

Алексеевич, сделав глоток предложенного хозяином коньяка.

— Отчасти. Впрочем, догадываюсь, что это не визит вежливости, — ответил Тягаев.

— Вы правы. Я не буду ходить вокруг да около. Я знаю, что при покойном Врангеле вы занимались контрразведкой, и небезуспешно.

— Если бы я занимался ею успешно, барон был бы жив, — хмуро ответил генерал.

— У любых возможностей есть пределы, — пожал плечами Смысловский. — Вам вероятно неизвестно, чем в данный момент занимаюсь я.

Пётр Сергеевич тонко улыбнулся:

— Борис Алексеевич, вы только что сделали комплимент моей работе. Она не дала мне вовремя сведений необходимых, но сведений, без которых я легко мог бы обойтись, я получил предостаточно. Насколько мне известно, покойный Каульбарс дал вам рекомендацию в германский абвер, и с его же подачи вы поступили на высшие военные курсы в Кенигсберге, под нишей которых скрывается германская академия генштаба... Вы ведь закончили её, я не ошибаюсь?

— Два года назад, — кивнул Смысловский. — Отдаю должное вашей информированности.

— Как я понимаю, ко мне вы приехали не как один из руководителей польского РОВСа, а как представитель абвера?

— И тут вы не ошиблись.

— И что же угодно от меня абверу?

— Вы сами, — ответил Борис Алексеевич. — С вашим опытом, вашим влиянием, вашей информированностью, наконец.

— Видите ли, господин капитан, мне скоро шестьдесят. Всю свою жизнь я посвятил службе моему Отечеству. И уж во всяком случае не для того, чтобы,

подойдя к этому почтенному рубежу, идти на службу отечеству чужому, искони враждебному моему.

— Вы неверно понимаете суть дела. Как раз служение Отечеству и требует от нас сегодня пойти на временный союз с Германией. Это единственная сила, которая может сокрушить большевизм! Да, кайзеровская Германия некогда была нашим противником. И то в силу нашей общей исторической близорукости! Немцы благородная нация в отличие от наших «союзников». Эти последние уничтожили обе наши Империи, и теперь настало время реванша.

Пётр Сергеевич с грустью слушал своего гостя, предугадывая долгий, нервирующий и совершенно бесполезный разговор.

— О чём вы говорите, Борис Алексеевич? Разве немцы отказались от «движения на восток», от завоевания Украины, Польши и Прибалтики? Разве новый поход на Россию они готовят с целью освободить её от ига и передать нам? Вы же умный человек. Откуда эти иллюзии? Цель Германии не в том, чтобы «освободить мир от коммунистов», а в том, чтобы обезлюдить важнейшие области России и заселить их немцами. План этот поэтапно реализуется ещё со времён Великой войны. Сперва разорить и ослабить Россию войной и революцией, затем истребить русскую национальную интеллигенцию руками большевиков (древний германский прием «обезглавления» народа, примененный с успехом к саксам, чехам и западным славянам); далее истребить по возможности русское население в захватываемых областях, заселить и германизировать их и расчленив остальную Россию, обеспечив повсюду марионеточные германфильские правительства.<sup>13</sup>

— Помилуйте, Германия сама понесла тяжелейшие потери по ходу реализации этого «плана»! Или вы

полагаете, что её бедственное положение последних лет — тоже часть «плана»?

— Я не полагаю, Борис Алексеевич, а знаю точно. Исторически сложилось так, что Германия — главный национальный враг России. На сегодня — после большевизма, разумеется. Инстинктивная мечта нескольких германских поколений — двинуться на Восток и превратить Россию, по немецкому выражению, в «историческую кучу навоза». Сильная Германия есть русская национальная опасность.

— О какой русской национальной опасности вы говорите? России сегодня не существует! А есть Совдеп, оккупировавший нашу с вами Родину. Если Германия кому-то угрожает, то Совдепу! И это можно только приветствовать. Потому что если Совдеп будет уничтожен...

— То на его месте возникнет Рейх, в котором русским не будет места так же, как и в Совдепе.

— На его месте возникнет русское национальное правительство!

— Германия не допустит этого никогда.

— Если руками Рейха удастся свернуть шею Совдепу, то и с Рейхом мы при надобности сладим.

— Когда армия Рейха двинется на Совдеп, то на чью долю выпадут наибольшие страдания и потери? На долю кремлёвских негодяев? Нет. На долю того самого русского народа, об освобождении которого вы грезите. Какой бы флаг не болтался теперь над Россией, это всё равно русская земля, на которую недолжно, подобно Курбскому, вторгаться под вражескими знамёнами. К тому же, Борис Алексеевич, неужели вы думаете, что одного дьявола можно побороть руками другого, что с помощью дьявола можно достичь благой цели?

— А вы уже записали Гитлера в дьяволы? — усмехнулся Смысловский.

— Дело не в Гитлере и не в любой другой личности. А в самой идеологии фашизма.

— И что же такого дьявольского вы в ней видите? Это единственная идеология, стоящая на охране традиций, противостоящая разнузданности левых.

— Вы правы. Фашизм — явление сложное и противоречивое. В качестве реакции на большевизм он был неизбежен и необходим, как противовес, объединяющий охранительные силы. Фашизм, безусловно, прав, когда ищет справедливых социально-политических реформ и когда исходит из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру. Но одновременно он совершает большое количество серьёзных и роковых ошибок. Это безрелигиозность и враждебное отношение к христианству и к религиям вообще. Это создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы «идеального» строя и установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и деморализации. Это уход в воинственный шовинизм и впадение в идолопоклоннический цезаризм. Фактически мы имеем на выходе тот же антихристианский, богоборческий большевизм — только с иной идеологией. Сим ли победиши? Политический режим, нападающий на церковь и религию, вносит раскол в души своих граждан, подрывает в них самые глубокие корни правосознания и начинает сам претендовать на религиозное значение, что безумно. «Цезаризм» есть прямая противоположность монархизма. Цезаризм безбожен, безответственен и деспотичен. Он презирает свободу, право, законность, правосудие и личные права людей. Он демагогичен, террористичен и горделив. Им движет жажда лести, «славы» и поклонения, в народе он видит чернь и разжигает ее страсти. Наконец, он

аморален, воинствен и жесток. И всем этим вместе взятым он компрометирует начало авторитарности и единовластия, ибо правление его преследует цели не государственные, и не национальные, а личные. Не менее безумно впадать в политическую «манию величия», презирать другие расы и национальности, приступать к их завоеванию и искоренению. Чувство собственного достоинства совсем не есть высокомерная гордыня. Патриотизм совсем не зовет к завоеванию вселенной, а освободить свой народ совсем не значит покорить или искоренить всех соседей. Поднять всех против своего народа, значит погубить его. Также и установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру: лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом, ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только сделать карьеру. Поэтому монополярная партия живет самообманом: начиная «качественный отбор», она требует «партийного единомыслия», а делая его условием для политической правоспособности и дееспособности, она зовет людей к бессмыслию и лицемерию. Тем самым она открывает настежь двери всевозможным болванам, лицемерам, проходимцам и карьеристам, качественный уровень партии срывается, и к власти проходят симулянты, взяточники, хищники, спекулянты, террористы, льстецы и предатели. Если нашим «русским фашистам» удастся водвориться в России (чего не дай Бог), то они скомпрометируют все государственные и здоровые идеи и провалятся с позором.

— Многие наши соратники считают иначе, — заметил Смысловский. — Я имел немало встреч, и они подтверждают это. Многие готовы вновь взяться за оружие, если начнётся война. Кстати, и генерал фон Лампе не исключает возможности сотрудничества с



Германией. Равно как и генерал Миллер. Я уже не говорю о казачестве. Недостатки, которые вы перечислили, имеют место, но ведь мы не говорим о том, чтобы присягать на верность Гитлеру. Мы говорим лишь о сотрудничестве, об использовании чужой силы в наших целях.

— Боюсь, что выйдет наоборот: чужая сила использует вас в своих целях. Барон Врангель говорил, что не огнём и мечом, не террором мы должны теперь донести свои идеалы до русского народа. Наша брань должна быть духовной и идейной. А, придя на Родину, вместе с захватчиками мы лишь скомпрометируем нашу Белую Борьбу. Я понимаю тех, кто желает продолжить сражение, кто готов прибегнуть к любым средствам, чтобы смести ненавистное иго. В иные минуты я и сам близок к такому настроению. Но мы не имеем права поддаваться чувствам и иллюзиям, не имеем права на близорукость — слишком высока ставка. Мы обязаны сохранять совершенно трезвый взгляд на происходящее. Отнюдь не всегда враг моего врага является моим другом. Он может быть и беспощадным врагом. А когда два врага нашей родины начинают борьбу друг с другом, то нам следует расценивать эту борьбу с единственной точки зрения: с точки зрения прямого интереса нашей родины и экономии ее сил. В таких случаях показуется нейтралитет.

— Но ведь если большевики вдруг одержат победу, то наша Родина останется под их игом на долгие годы. Больше того, это иго может распространиться и на Европу, давшую нам прибежище. Лично я считаю своим долгом сделать всё, чтобы этого не произошло. И мне жаль, что мы не достигли с вами понимания.

— Чьё иго победит — это, Борис Алексеевич, судьбы Божии. Я много воевал на своём веку и вынес из этих сражений одно твёрдое убеждение: меч нужно

обнажать лишь тогда, когда ты уверен в правде того дела, которое собираешься защищать.

— Что ж, именно так я и собираюсь поступить, — ответил Смысловский, поднимаясь: — Честь имею, господин генерал!

Когда он ушёл, Пётр Сергеевич прошёл в спальню и негромко сказал жене:

— Вероятно, нам следует подумать об отъезде из Сербии.

— Почему? — спросила Дунечка с тревогой.

— Потому что война между Германией и СССР неизбежна. Годом раньше, годом позже — но она будет. А в этом случае Сербия окажется между двух зол. И оба этих зла нас не пощадят.

— Значит, опять бежать... — вздохнула жена. Она уже разделась ко сну и сидела в лёгком, едва опоясанном халате перед зеркалом, расчёсывая золотистые волосы. Всё ещё такая молодая и прекрасная, всё ещё обожаемая своей публикой, и всё ещё неизменно нежная, как в те далёкие сибирские дни, соединившие их.

— Куда же мы поедем?

— Лучше за океан. Мексика, Аргентина, США, Канада... Лично я предпочёл бы Канаду: говорят, природа там напоминает Россию.

Дунечка отошла от зеркала, легла рядом с полусидевшим на постели, откинувшись на высоко поднятые подушки, генералом, заметила задумчиво:

— Канада так Канада. Вот, только где взять денег на переезд... На будущий год мне предложили большие гастроли по Европе. Я обещала подумать. Надо соглашаться — это турне хоть отчасти сможет покрыть расходы. Купим какой-нибудь маленький домик где-нибудь в глуши и будем жить... Ничего, проживём как-нибудь. Я надеюсь, хоть год-другой война ещё повременит выгонять нас?

— Год-два, полагаю, у нас есть, — ответил Тягаев, обнимая жену и снова терзаясь мыслью, что все хлопоты вновь падут на её хрупкие плечи, ибо старому генералу, лишившемуся в боях руки и глаза, найти работу практически невозможно.

— И то хорошо, — вздохнула Дунечка. — За это время мы непременно со всем справимся. Бог даст, и Николаша окончит обучение в корпусе. Жалко было бы срывать его с места раньше, а оставить — страшно.

— Да, страшно... — согласился Пётр Сергеевич, вспомнив насвистываемый племянником мотив. Не хватало ещё мальчишке между молотом и наковальней попасть...

Ночью он долго не мог уснуть. Не помогло и снотворное. Кралась и кралась со всех сторон тревожные мысли о войне, о необходимом переезде, о Николаше, о дочери Наде... Стоило чуть забыться, как начинали мельтешить перед глазами какие-то тени, слышались обрывки фраз, роились, мешаясь, беспорядочные мысли. И от этого ада в голове он поднимался и принимался тихо ходить по комнате, боясь разбудить жену и в то же время желая, чтобы она проснулась и помогла ему забыться неспешным, спокойным разговором.

Утром ему приснился странный сон, похожий на видение наяву, до боли осязаемое. Он видел по-летнему зелёный луг, по которому неспешно прогуливалась его первая жена Лиза, ещё молодая, царственно статная. Рядом с нею шла тёща, Ирина Лавровна, милейшая старушка, одетая и причёсанная ещё по моде девятнадцатого века, светло улыбающаяся и доброжелательная ко всем. В руках Лизы был изящный, украшенный кружевом зонтик, который некогда сам Тягаев подарил ей на именины. Подарок жена сперва приняла в штыки. В отличие от Дунечки, она вообще не умела радоваться подаркам и все его приношения

находила неудачными. Может, такими и были они? Но если и так, можно было не показывать виду. После нескольких неудач Пётр Сергеевич пришёл к выводу, что или он вовсе бездарен в отношении подарков, или жене невозможно угодить — и подарки вовсе исчезли из их семейной жизни. Правда, зонтик Лиза впоследствии всё же нередко брала с собой.

Внезапно Лиза с матерью остановились, куда-то вглядываясь, замахали приветственно руками, радуясь неведомо чему. И, вот, навстречу им устремилась ещё одна до боли знакомая фигура... Белое кисейное платье, томик Блока в руке, длинные, светло-русые косы... Надя! Дочь казалась совсем юной, такой, какой была она в канун революции, совсем девочка. Она радостно бежала навстречу матери и бабушке, что-то крича им, а они отвечали. И, вот, встретились, расцеловались троекратно, как на Пасху, и пошли назад, удаляясь. Лишь Надя обернулась вдруг, словно опамятовавшись, и помахала рукой. И слышались знакомые слова, какие слышал он не раз, когда дочь провожала его в очередную командировку или на фронт: «Папочка, до свиданья! Я буду очень скучать!» А Лиза не обернулась и не простилась, как бывало всегда... И ушли все трое за горизонт...

Пётр Сергеевич с криком проснулся, и сел, стиснув лоб дрожащими пальцами. Проснулась и Дунечка и, засветив ночник, испуганно обняла его за плечи:

— Что ты? Что ты? Что случилось?

— Нади больше нет... — глухо и твёрдо, как если бы получил телеграмму, отозвался Тягаев. — Моя дочь умерла...

## Глава 11. Сороковины

На сорок дней собрались тем же кругом, что на поминки: Аглая, Замётов, Аня, Петя, Саня Надёжин, доктор Григорьев и Скорняков. Не доставало лишь Авдотьи, оставшейся в Серпухове.

— Земля пухом... — глухо сказал Скорняков, осушая рюмку. — Не уберегли Надежду Петровну... Стыдно-то как, чёрт! Перед дедом её покойным, перед бабкой...

Аглая знала, что, узнав об аресте Нади, Тимофей Лукьянович ходил к начальству, пытался добиться её освобождения. Но начальство прямо пояснило, что за такие ходатайства, а к тому за связь с враждебными элементами можно лишиться не только места в розыске, но и свободы. А в холостяцкой скорняковской жизни, кроме розыска, ничего и не было. Шли годы, менялась власть и законы, а он служил, ловил бандитов и ничего иного не знал и не умел. После того «хождения наверх» Тимофей Лукьянович три дня не выходил из комнаты, топя бессильный гнев и стыд в горькой. Он предупредил, чтобы никто не заходил к нему:

— Напьюсь — буду контрреволюционные вещи говорить! Кто услышит, пойдёт как свидетель.

Пытался помочь и доктор, но старые большевики, которых он пользовал и давно знал, уже не имели прежнего влияния после подавления «левой оппозиции» и лишения Троцкого советского гражданства. Более этого, эти люди, вчера ещё бывшие столь могущественными, распорядившись чужими жизнями, теперь сами боялись. И не защитой могли они стать стоявшим рядом с ними, но источником многих зол, как стал таковым Троцкий, чьи сторонники сделались для власти худшими врагами, чем монархисты.

— Стыдно, — согласился Григорьев протирая очки. — Но что же вы могли сделать? Взять тюрьму штурмом? Когда я пришёл к одному высокопоставленному сотруднику ОГПУ и стал просить помощи, объясняя, что у Надежды Петровны последняя стадия чахотки, он обозвал меня «троцкистом», — губы доктора нервно дёрнулись. — С таким тавром и до тюрьмы недалеко. И с какой лёгкостью их ставят! Тот троцкист, тот монархист, тот оппортунист, а другой шпион, а третий вредитель...

Аглая молчала, думая в этот момент не о Наде, а о брате, все усилия помочь которому также пропали даром. Бесконечная усталость давила её, и некому было выплакаться. Целый год прошёл в хождениях по тюрьмам, стояниях в очередях, и хоть бы проблеск какой — нет, только гуще становился сумрак. А ещё нужно было день за днём выбиваться из сил, чтобы заработать денег на достойную жизнь для Нюточки. С той поры, как больной Замётов утратил трудоспособность, все тяготы легли на плечи Аглаи. Она обязана была обеспечить дочери приличное существование и для этого не жалела себя, работая подчас на нескольких работах сразу: в одном месте мыла полы, в другом подвизалась помощницей по хозяйству, в третьем шила на заказ... Шитьё буквально спасло Алю. Оценив её способности к оному, жена одного крупного начальника, которой она помогала по хозяйству, пожелала заказывать ей платья. При любом строе и в любом веке женщина всегда остаётся женщиной, а женщину не способна удовлетворить «Москвошвея», и тогда на помощь приходят портнихи. Опыт удался на славу, и скоро Аглая шила уже не только для Инны Самойловны, но и для её подруг. Это дало хороший и верный заработок, позволивший снова обрести почву под ногами: теперь денег было достаточно не только на пропитание дочери, но и на

необходимые ей уроки музыки. А для гардероба были руки и швейная машинка.

Потихоньку восстанавливавшийся после удара Замётов в последнее время также иногда находил небольшой заработок, выполняя на дому чертежи. Жизнь шла трудно, и всё-таки это была жизнь. Однако, едва дав передышку, она снова засыпала несчастьями.

Аглае было до боли жаль Петю. Чем провинился этот ещё толком не живший мальчик, что вся жизнь его состоит из сплошных лишений и утрат? Мать в тюрьме он видел лишь однажды, и она успела в последний раз благословить его. На второе свидание попросила прийти лишь Алю, не пожелав, чтобы сын запомнил её прикованной к постели тюремной больницы.

Тот последний разговор был недолог. Надя, почти прозрачная, лежала неподвижно, уже не имея сил подняться. Странно: болезнь, так исказившая её облик прежде, теперь словно высветила его. Должно быть, правда, что на пороге смерти телесная оболочка становится прозрачна, и сквозь неё видимой становится душа человека. Чистая душа Нади была прекрасна, и оттого даже худоба её не казалась такой пугающей.

— Знаешь, я раньше думала, что умирать очень страшно. Ведь когда отторгают часть тела, то жутко больно. А тут душа от тела отторгается! А, оказывается, несколько нестрашно... Стыдно признаться, но я за долгие годы впервые чувствую себя почти счастливой, — голос Нади прерывался, каждое слово стоило ей труда, но она продолжала. — Я уже почти не чувствую своего тела и всё время нахожусь в каком-то полусне. Позавчера я видела маму и бабушку. Они стояли подле меня и улыбались. А я вдруг испугалась, что Алёши с ними нет... Вдруг, думаю, он считает, что я предала его, обвенчавшись с Мишей. А на другой день они втроём пришли, и мне стало так хорошо... Скоро не нужно будет заботиться ни о чём земном, скоро я буду с

ними. Вот, только Петрушу оставлять страшно! Ведь он у меня совсем один... Ты уж не оставь его! Ты обещала...

— Твой сын будет моим сыном, и я всегда помогу ему, чем сумею, — ответила Аля, с трудом сдерживая слёзы.

— Вот и хорошо, — ясно улыбнулась Надя бескровными губами. — Теперь мне совсем хорошо. Спасибо тебе! А теперь иди... Я больше не могу говорить. Я хочу заснуть...

В ту ночь она уснула навсегда, и её тело выдали почерневшему от горя Пете. А в день похорон доставили извещение, что гражданка Юшина Надежда Петровна признана невиновной во вменяемых ей преступлениях. Сатанинской издёвкой повеяло от этого документа, и Петя тотчас порвал его на мелкие клочки.

В это тяжёлое время Нюточка, как могла, поддерживала его. От Аглаи не укрылось, что детская их дружба переросла в куда более серьёзное чувство. Заметил это и Замётов, выговаривал с досадой:

— Объясни своей дочери, что этот офицерский сынок ей не пара! Рано или поздно его посадят — это очевидно. Ты что хочешь, чтобы она поделила его участь?

— Если они любят друг друга, то препятствовать им я не стану, — отозвалась Аля. — Нет ничего более мучительного, чем жить в разлуке с тем, кого любишь. Разве ты не понимаешь этого?

Муж промолчал.

Судьба Нюточки немало беспокоила Аглаю. Она растила её барышней, оберегая ото всего враждебного. Но как жить барышне в таком мире? Поэтичная, музыкальная девочка, верящая в добро — как она сможет защитить себя? Ей нужен рядом надёжный человек, защитник. Петруша не мог таким стать. Он сам был беззащитен, и Замётов, каркавший чёрным



вороном, не ошибался относительно его будущего. Всё это Аля понимала и переживала, но вмешиваться в отношения детей не могла. Довольно и своей искалеченной жизни...

Доктор Григорьев и Скорняков ушли быстро. Первого ждали больные, второго — бандиты. За доктором последовал и Саня, которого тот вслед за сестрой пристроил на медицинское поприще. Юноша мечтал о геологии, но старшие разъяснили ему, что в такое время и с такой семьёй лучшая профессия — медик. С ней и в лагере не пропадёшь. Рассудительный Саня согласился с таким доводом и оставил занятия геологией лишь для души.

Аглая с нетерпением ждала мгновения, чтобы остаться одной. Ей нужно было шить срочный заказ, о котором от усталости не хотелось и думать. Но главное: ещё с утра в кармане у неё лежал смятый конверт без обратного адреса, и ей мучительно хотелось распечатать его.

Первый такой конверт пришёл два года назад. Распечатав его и увидев почерк, Аля едва не лишилась чувств и, лишь справившись с волнением, смогла прочесть:

«Я дал слово, что не потревожу тебя, но не смог жить, ничего о тебе не зная. Недавно я приезжал в Москву. Мне вдруг так отчаянно захотелось увидеть тебя хоть издали, что рассудок мой оказался бессилён меня остановить. Я видел тебя... И с горечью понял, что ничего не изменилось, что ты не свободна. Я с большим трудом удержался, чтобы не подойти к тебе, а теперь который день пишу тебе письмо, пишу и один за другим комкаю и жгу листы, потому что всё в них не то.

Я решил всё же послать тебе это письмо, потому что слишком хорошо знаю, как мучительно быть в неведении о судьбе тех, кого любишь. Отныне каждый декабрь, чуть раньше или позже — как сложится, я буду

присылать тебе поздравительную открытку в преддверье Рождества, а в ней — стихотворение. Получив такую открытку, знай: она от меня. Я буду отправлять их из разных мест и без обратного адреса, потому что и сам не знаю, где окажусь в следующем году.

Когда-нибудь я вновь приеду в Москву. И если Богом суждено нам встретиться вновь и быть вместе, то так и будет. А если же нет... Впрочем, на всё Его воля. Помни, я очень люблю тебя и буду любить до последнего вздоха».

В письме не было названо её имени, не было и подписи. Видимо, Родион боялся, что письмо может попасть в чужие руки. Эта весточка была и великой радостью, и новой болью — едва зарубцевавшаяся рана снова открылась, чтобы уже не зажить.

На другой год весь декабрь Аля не находила себе места, видя даже во сне, как достаёт из ящика заветную открытку. А она пришла только тридцать первого числа, когда Аглая уже отчаялась и полна была худших страхов.

На сей раз ещё и подумать не успела о весточке, как уже пришла она с сильным опережением графика, в первый день декабря. И, вот, наконец, оставшись одна, Аглая дрожащими руками распечатала драгоценный конверт, прочла, задыхаясь от волнения, выведенные родным почерком строфы:

Птичка кроткая и нежная,  
Приголубь меня!  
Слышишь — скачет жизнь мятежная  
Захлестав коня.

Брызжут ветры под копытами,  
Грива — в злых дождях...  
Мне ли пальцами разбитыми

Сбросить цепкий страх?

Слышишь — жизнь разбойным хохотом  
Режет тишь в ночи.  
Я к земле придавлен грохотом,  
А в земле — мечи.

Все безумней жизнь мятежная,  
Ближе храп коня...  
Птичка кроткая и нежная  
Приголубь меня!<sup>14</sup>

Аглая положила открытку на подушку, погладила ладонями, поцеловала, а затем легла, положив её под щёку и машинально глядя подушку, словно голубя того, далёкого, бесконечно дорогого до конца дней, пытаюсь представить, где он может быть теперь, вздрагивая от безмолвных рыданий. За стеной послышалось ворчание Замётова. Грёза промелькнула и растворилась, а перед глазами осталась стоящая на столе с требовательным видом швейная машинка. «А что, милочка, готов ли мой костюм?» — спросит завтра Инна Самойловна, вытягивая губы дудочкой. И нужно, чтобы он был готов. Иначе нечем будет заплатить за музыкальные уроки Нюточки. А, значит, надо скрепить сердце и встать, и убрать в потаённую шкатулку новую драгоценность, и работать, работать, работать...

## Глава 12. Под ритмы фокстрота

Когда «зала» ритмично дёргалась под «Вечернее солнце», Аня сидела на диване, изредка прихлёбывая холодный лимонад, и не могла дождаться, когда окончится пытка: этот вечер вообще и этот набор звуков, по недоразумению названный музыкой, в частности.

Надо же было случиться, чтобы именно сегодня, на сороковины тёти Нади, когда Пете так тяжело, и нужно быть с ним, пришлось Раечкино день рождения! Не пойти на него Аня не могла. Рая была единственной её близкой подругой. Было время, когда они недолюбливали друг друга. А точнее красотка и модница Рая, дочь высокопоставленного дипломата, избалованная родителями, свысока относилась к дочери родительской домработницы, иногда приходившей с нею в их дом. А Аня считала Раю выскочкой, пользующейся положением родителей и ленивой настолько, что отметок выше троек почти не получала.

Но однажды она увидела «выскочку» горько плачущей и, будучи от природы отзывчивой к чужой беде, поспешила подойти:

— Рая, что случилось? Рая, почему ты плачешь?

Оказалось, что Рае категорически не даётся математика. Двойка следовала за двойкой, и отец пригрозил ей страшным: больше не покупать новых платьев и не пускать в кино и театр. Ане подобная беда показалась сущим пустяком. Задание, над которым плакала Рая, было сделано ею в четверть часа, и после этого «хозяйка» посмотрела на неё совсем другими глазами — уважительно и восхищённо. Когда выяснилось, что Аня — отличница, что ей легко даются все предметы, Рая попросила её помочь ей

«подтянуться». Разумеется, Аня охотно помогла, и после совместных занятий Раечкино положение несколько поправилось.

С той поры они подружились, и Рая искренне привязалась к Ане. На проверку оказалось, что балованная девочка обладала очень добродушным, весёлым, прямым, хотя и вспыльчивым, вздорным характером. Она не стеснялась высказывать своего мнения, могла разругаться в пух и прах, а назавтра слёзно примириться, она почти не бывала грустна, отличаясь замечательным жизнелюбием, детским озорством и бурной фантазией. Рая была глубоко чужда всякой гражданственности, из-за чего у неё нередко бывали проблемы в школе, однажды едва не окончившиеся исключением. В то время, когда сознательные пионеры и комсомольцы подвизались в строительстве коммунизма, не пионерка и не комсомолка Раечка завивала волосы, танцевала фокстроты и кокетничала с мальчиками.

Аня знала, что её подруга придерживается весьма фривольных взглядов, настолько, что в свои шестнадцать позволяла своим ухажёрам отнюдь не только поцелуи в парадной. Но от этого Рая не становилась хуже. Её неугомонная, бурная натура искрила, как фейерверк, и Аня, полная противоположность подруге, тянулась к ней, потому что с Раечкой никогда не бывало скучно, она обладала замечательным талантом рассеивать любую хандру своей естественной, задорной весёлостью.

Что так сблизило их? Раечка любила экстравагантную одежду, танцы, современные ритмы, шумные компании. Аня — книги, классическую музыку, природу... Два полюса — они идеально дополняли и преданно любили друг друга. Не для кого, кроме Раи, Аня не покинула бы Петю в этот вечер.

Петя, впрочем, был также приглашён на него, но для него участие в веселье было и вовсе непереносимым. Идти одной Ане не хотелось. Зная, что у Раечки соберётся много молодых людей, она боялась, что, придя без спутника, будет обречена весь вечер отбиваться от назойливых ухаживаний. А это было уже слишком! По счастью, кроме Пети, был ещё верный друг Саня, который согласился придти на выручку.

Это, если подумать, и неплохо — прийти к Рае с Саней. Саня уже взрослый, а взрослый кавалер всегда вызывает у девочек зависть. Не всё же белой вороной смотреть.

— Слушай, как думаешь, надолго танцульки затянутся? — спросил Саня, подавляя зевок. — Я сегодня после ночного спать до смерти хочу.

Едва окончив медицинский, Саня получил первое назначение — в здравпункт барачков, где никто не хотел работать. Двадцать барачков располагались вдоль Яузы. Это были дырявые строения, с протекающими крышами и продуваемыми стенами. Люди, и семейные, и одинокие, жили в них в страшной тесноте и антисанитарии. Днём, большая часть жильцов была на работе, а вечером начиналось повальное пьянство.

— Пятилетка за три года?

Волга-матушка река!

Хлеба нет, а водки много —

— Заливает берега! — орали пьяные частушки.

В водке и впрямь недостатка не было. А еды не хватало, поэтому закусывали черным хлебом да хреном из стеклянных банок. С такой выпивки и закуски всех здорово разбирало, начинались потасовки, иногда переходившие и в крупные драки. Приезжали по вызову «Скорая помощь» и милиция, увозили в кутузку и на

больничные койки дебоширов. В женских бараках процветала проституция и, как следствие, венерические заболевания.

— Больше всего я столовой боюсь, — рассказывал Саня. — Продукты туда дают плохие, мясо постоянно привозят уже с душком, прочие — второсортные и третьесортные. Поборись тут за санитарию, как от нас того требуют! Сдаётся мне, что если бы не их постоянная внутренняя «дезинфекция», эти несчастные уже давно перетравились бы.

— Потерпи, пожалуйста, — попросила Аня. — Я не хочу расстроить Раю.

— Тогда пошли танцевать, — пожал плечами Саня. — Не то я усну.

По счастью, «Весеннее солнце» уже отыграло, и Раечка поставила медленный танец «Сан-Фернандо» — один из немногих фокстротов, который Ане нравился.

Саня прижал её к себе и, как положено, медленно повёл по комнате:

— Дурацкий всё-таки танец, — усмехнулся. — Никакого движения. Зато, правда, можно на законном основании обнимать красивую девушку, не получая при этом по морде.

Аня подумала, что всё-таки тысячу раз была права, не придя к Рае одна. В объятиях постороннего юноши она чувствовала бы себя крайне неловко. А Саня — друг детства, ему можно...

— А теперь новый фокстрот! — торжественно возгласила Раечка и, тряхнув рыжими кудрями, поставила в патефон очередную пластинку: — «Так много слёз»!

Несмотря на название, мелодия оказалась очень бодрой. Аня предпочла бы услышать более подходящие настроению «Цыганские напевы» или «Дай мне уйти» Адриана Адриуса. На худой конец, «Испанскую девушку».

Аня не любила фокстротов. Ей не хватало в них глубины и мелодии. Некогда она услышала Музыку и с той поры жила в этой стихии, музыка стала её существом. Первые уроки давала ей тётя Надя, когда их с Петей ещё не выслали из Москвы. Потом мама водила её брать частные уроки, а после устроила в музыкальную школу. Теперь целью Ани была консерватория. Музыку она чувствовала совершенно, она заполняла её душу так, как, должно быть, душу верующего заполняет молитва, даря мгновения сердечного умиления и восторга. Часами могла сидеть она, прильнув к приёмнику, когда по радио передавали концерты классической музыки и оперу.

Не было более радостного подарка для Ани, чем билет в Большой театр, в консерваторию, наконец, в Театр Оперетты — их единственная общая с Раей любовь. Многие арии она знала наизусть и, по утверждению педагогов, прекрасно исполняла их, имея хороший голос. Однако об оперной карьере Аня не помышляла. Больше всего, она любила романс. И большим горем стало для неё, когда в начале тридцатых жанр этот в силу романтизма, не способствующего трудовым победам, объявили буржуазным. Тогда арестовали и композитора Бориса Прозоровского, чьи пластинки Аня бережно хранила. Однажды она была на его совместном с Тamarой Церетели концерте, и тогда впервые подумалось о том, чтобы стать такой, как эта прекрасная певица.

Но романс запретили, и Аня растерялась. Одно она знала точно — она хочет петь. Хочет посвятить себя музыке. Музыка спасала её от огорчений, врачевала обиды, наполняла душу неизъяснимым светом, защищала её мир. А мир этот очень нуждался в защите. Мама старалась воспитывать Аню в духе вечных ценностей, оберегая от чужеродных влияний. А ещё было влияние тёти Нади и Пети, их семьи, памятью и



традициями которой они жили. Сколько всего узнала от них Аня, сколькому научилась, сколько книг прочла вместе с Петей! А ещё была семья Сани — дядя Алёша Надёжин, тётя Мари... Их глубокая религиозность, их культура и образованность восхищали Аню, и ей очень хотелось быть такой же, как они. А они щедро делились с нею всем тем, что знали сами.

Только чем больше становилось богатства, тем тяжелее делалось в кругу сверстников. Аня не понимала того энтузиазма с которым многие из них ходили на митинги, их ликования по поводу очередных наших «успехов», их стремлений строить коммунизм во всём мире. Её слух раздражали митинговые ноты в речах, раздражали похожие на булыжники стихи, раздражали пошлые жизнеутверждающие песенки и марши — эти так просто ранили слух. Это был какой-то чужой ей мир, грубый и приземлённый. Тут-то и выручала музыка — искусство небесное, дававшее крылья и уносившая в далёкие и прекрасные края.

Под аргентинское «Эль Чокло» именинница танцевала одна — импровизацию. Её пластичное, ловкое, сильное тело красиво изгибалось, взметались огнистые волосы, а глаза лукаво постреливали, словно по-гоголевски вопрошая: «Хороша я? До чего ж хороша!» Аня невольно заулыбалась, глядя на озорующую подругу. Она, действительно, была очень хороша, хороша не идеальной красотой, а удивительной манкостью, не оставлявшей равнодушной никого.

— А теперь довольно патефона! — воскликнула Рая. — Даёшь живой голос! Аня! С тебя песня! Пашка, тащи гитару — будешь ей аккомпанировать.

Меньше всего хотелось теперь петь. Аню не покидали мысли о Пете, хотелось как можно скорее распрощаться и вернуться к нему. А тут ещё петь! И уже все взгляды устремлены на неё! И взгляды юношей — интереса полны. Аня знала о себе, что не только

голосом, но красотой не обделила её природа. И что даже в классе, где слывет она чудачкой и белой вороной, где, как минимум, относятся к ней едва ли ни враждебно, многие мальчики заглядываются на неё, а девочки завидуют и оттого злятся. Аня не обращала внимания ни на тех, ни на других и этой отстранённостью ото всех защищала себя от возможных конфликтов.

— Рая, пожалуйста... Я не в голосе сегодня... — пробормотала Аня.

— Не ври! — безапелляционно прервала подруга. — Ты в голосе всегда! Я сегодня именинница, поэтому все должны меня слушаться! — она звонко рассмеялась. — И не спорь! Пой, что сама захочешь, разрешаю!

И на том спасибо...

Пашка, полноватый, курносый парень в широчённых брюках вопросительно посмотрел на Аню, провёл по струнам, приглашая к исполнению. Деваться было некуда и, допив лимонад, она запела:

— Чудно как пахнет жасмином  
Связанный белый букет.  
Кем-то забыт над камином —  
Кем-то, кого уже нет.

Белые ветви увяли,  
Ни для кого не цвели.  
Так, незачем их сорвали,  
Бросили здесь и ушли.

В сумерках стали темнее  
Ирисы дальних куртин.  
Чей это шепот в аллее?  
Чудно как пахнет жасмин,  
Чудно как пахнет жасмин!

Гитарный перебор, и Пашка, лукаво прищурившись, спросил:

— Контрреволюционные песни поёшь! Не боишься?

— Что же контрреволюционного в жасмине и ирисах?

— Их автор. Прозоровский-то — контра! Или не знала?

— Полно чушь-то молоть! — фыркнула Рая. — У нас и фокстроты — того, буржуазные ритмы! За них, Паша, из института вылететь можно.

— Значит, будем танцевать под это, — Пашка шутливо задёргал струны, вскочив и смешно притоптывая ногами. — Но от тайги до Британских морей / Красная армия всех сильнее!

В этот момент из кухни прибежал бледный Раечкин ухажёр Лёнька, выпалил:

— Только что по радио сообщили: товарища Кирова в Ленинграде убили!

Кое-кто из девушек вскрикнул, а юноши сразу посерьёзтели, потянулись к бубнящему за стеной приёмнику. Рая смотрела им вслед с недоумённо-насмешливым выражением лица. Когда «зала» опустела, она подошла к Ане:

— Видела, какая гражданская сознательность? Вот, какое, спрашивается, им дело до этого товарища? Чего он им, отец родной, что ли? Тьфу ты... Всё веселье испортили. Я бы это радио выбросила к чёртовой матери, всё равно же одну ерунду несут.

— Если бы тебя услышал твой отец, то вряд ли одобрил бы!

— Это его дело.

Из кухни доносились спорящие голоса. Там уже вовсю обсуждалась политическая ситуация и высказывались возмущения подлым террористическим актом.

Раечка покрутила пальцем у виска и растянулась на диване:

— Ладно, пусть их языками помашут, а я поем, пожалуй, и отдохну от них. А потом выгоню к чёртовой матери, если им какой-то Киров дороже меня...

Аня улыбнулась:

— Ты, Раечка, чудо. Только уж не очень гони их. А то чего доброго донос на тебя напишут.

— Думаешь, они таки сволочи? Хотя очень возможно. Но я их всё равно выгоню. Ты, небось, тоже бросить меня хочешь?

— Раечка, у Сани было ночное дежурство, он очень устал. А ему ещё нужно проводить меня до дома.

— Ладно... — царственно взмахнула рукой Рая. — Я же не зверь, идите уж. Завтра позвоню.

Аня расцеловала подругу и с облегчением покинула праздник.

Трамвай в этот поздний час был пустым и, заняв последнее место, она спросила клевавшего носом Саню:

— Саня, если Кирова убили, значит, ещё есть сопротивление? Есть борьба?

— Какой ты ещё ребёнок, Анюта. Да и все, что у твоей подруги табунились — тоже. Это значит, что нужно снова провести массовые чистки, а для этого нужен формальный повод. Нужна Каплан или Канегисер.

— Кто?

Саня нахмурился, подавил очередной зевок:

— После выстрела Каплан в Ленина и убийства Канегисером Урицкого большевики объявили красный террор. Это обычная тактика... Обычная провокация. Во Франции те же методы в ходу были. Мне отец рассказывал. Измыслить или совершить преступление, приписать его врагу, раскочегарить массы воплями о необходимости кары и защите революции, а под эту песню перебить всех подозрительных.

Аня поёжилась, спросила тревожно:

— Ты считаешь, что будет новый террор? И против кого? Против каких «подозрительных»?

— Анята, ты уже не ребёнок. У тебя достаточно примеров перед глазами, кто для них подозрителен.

— Петя... — прошептала Аня со страхом, вспомнив его родословную.

— Ну, я, в общем, недалеко ушёл, — пожал плечами Саня. — С моим-то братом и отцом. Ладно, хватит об этом. Будет только то, что Бог попустит, избежать назначенного нельзя, а, значит, и думать об этом нечего.

Но Аня уже не могла не думать. В ушах нарастала какая-то пугающая, грозная симфония, а вместе с нею заставляло трепетать сердце предчувствие неотвратимо надвигающейся беды.

**ЖАТВА**

## Глава 1. Обречённые

Бледный туман поднялся над бледным озером и медленно пополз вдоль берега. В голубоватом свете белой ночи всё казалось немного сказочным, колдовским: и тёмная озёрная гладь с лунной дорожкой, сияющей серебром, и деревья, скованные штилем, и изумительной красоты древняя обитель на другом берегу. Давно уже не оглашали её своды службы. Давно ушли в неведомое её насельники по дороге, проторенной игуменом Варсонофием, убитым в восемнадцатом году. Но сам монастырь неколебимо высился, отражаясь в Свирском зеркале, словно прообраз вечного покоя в небесных скиниях...

— Когда-то меня привозила сюда мать. Также плыли по Вологде и Сухоне, а потом шли, шли... Только тогда здесь ещё последние монахи жили, у них мы и ночевали. Да и вообще, людей ещё много было. Хутора, мужики с семьями... И никто не косился на нас, принимали радушно, угощали. А нынче в глазах подозрение, страх. И слова ни из кого не вытянешь... Грустно это, — Петя вздохнул и раздражённо отмахнулся от назойливых комаров.

— А мне наша хозяйка показалась милой, — вступилась Аня за старуху, в лачуге которой они остановились на ночлег.

— Она равнодушная, — спокойно ответил Петя. — Родных у неё нет, самой помирать вот-вот — поэтому страха мало. Вот, взяла копеечку с прохожих за постой — пропитание будет. Так и существует.

— Ты стал очень строг к людям. У них тяжёлая жизнь, чего же можно ждать?

— Да я не к людям строг, Анюта. А к жизни этой... — Петя швырнул камешек в озеро — взволновалось

казавшееся неживым зеркало. — Прости, — он усмехнулся невесело, — даже теперь не могу просто радоваться этой чудной ночи, тебе. Растревожилась память, как это озеро от камня.

Он уже не по разу отснял удивительные окрестные виды и Аню на их фоне, посетовал, что чёрно-белая плёнка не способна передать всех цветов и оттенков, всех переливов северных красот и теперь сидел на берегу, созерцая попеременно — то раскинувшийся впереди ансамбль, то сидевшую рядом подругу.

Родители Ани противились их поездке. Особенно, гневался отчим, заявляя, что подобные поездки могут быть опасны. Опасности для примера приводились разные, но Петя чувствовал, что страх Замётова и Аглаи Игнатьевны совсем в ином: они боялись не бандитов и прочих неприятностей, а самого Петю. Боялись, что отношения между ним и Аней зайдут далеко, и тогда судьба её незавидна, так как с его происхождением рассчитывать на долгое и спокойное существование в условиях нарастающей классовой борьбы не приходится.

Петя и сам осознавал свои перспективы, а потому любя Анюту всем существом, любя истово, принуждал себя сдерживать чувства. Тем труднее было это, что видел он: и она любит его, любит и ждёт шага навстречу, слова, ласки, чувствовал, как трепещет она от всякого прикосновения, читал в её глазах готовность идти следом, невзирая ни на что. И сейчас читал это Петя в ясных анютиных глазах. Этот взгляд опалял его, волновал до дрожи. Хотелось целовать её, прижимать к груди, но он оставался недвижим.

Что будет с нею, такой красивой, такой тонкой и нежной, если завтра его «заберут»? Жена врага народа, ЧС... С таким тавром не то что на сцену столичную, а на край земли сошлют. Да ещё истерзают, поглумятся. И он будет виноват в том, так как донесёт



на неё уже одним тем, что будет записан в её паспорте мужем. А если ещё народятся дети?.. Нет, немыслимо! Преступно даже мыслить о счастье для смертника. Потому что счастье — это родные люди рядом. А тому, кто становится угрозой для находящихся рядом, нельзя иметь родных. Одному страдать всегда легче...

Но зачем же тогда он затеял эту поездку? Потащил её с собой в утомительное путешествие по русскому северу? Ведь она согласилась так живо, так радостно, ни мгновения не вняв остережениям семьи... Ведь она же ждала что-то от этой поездки! Может быть, решительного, наконец, объяснения. И вот никла теперь разочарованно, безуспешно пытаюсь скрыть растерянность и обиду...

Может, всё-таки презреть всё и всех? В конце концов, нельзя же остановиться естественному ходу жизни, не должны правила её диктоваться страхом. К тому же разве можно с уверенностью знать, что будет? Объективно говоря, для Пети последние годы были удачными. Вопреки всем сомнениям, он всё-таки поступил во ВГИК. Правда, не на режиссёра и не на оператора, а на художника.

Этот факультет только формировался в институте, отделяясь от материнского операторского. В числе основателей его был Александр Лукич Птушко, разносторонние дарования которого покорили Петю. Питомец луганского художественного училища, где впервые был замечен и оценён, выпускник института народного хозяйства, бывший секретарь орготдела союза строителей, он успел побывать и журналистом, и художником, и конструктором кукол, и актёром, и оператором, и режиссёром, и сценаристом. Совокупность столь разных профессий обратила Александра Лукича к мультипликации и комбинированным съёмкам. Его наработки в этой сфере не имели аналогов в мире. В них этот гениальный

самоучка показал себя блестящим новатором. Начав с кукольных «Весёлых музыкантов» по сказке братьев Гримм, он снял фильм «Новый Гулливер», ставший подлинным прорывом, новым шагом в киноискусстве, так как строился на комбинированных съёмках: игровое кино сочеталось с мультипликацией, куклы в количестве полутора тысяч с живыми актёрами.

Хотя «Гулливер» был изрядно одобрен идеологией, это не могло затмить грандиозности достигнутого результата. И Петя гордился, что принимал участие в создании этого фильма, который и свёл его с искрящимися идеями режиссёром-изобретателем, чьим верным последователем он стал. Александр Лукич решил обратить свой взор на детское кино, дававшее ему широчайшее поле для экспериментов и не требовавшее того накала политических страстей, как кино «большое». Следующим его детищем должен был стать «Золотой ключик», подготовка к съёмкам которого уже началась.

Работа над детскими фильмами доставляла Пете удовольствие. По счастью их с каждым годом снимали всё больше. Ещё и года не прошло, как прогремели вайнштоковские «Дети капитана Гранта», а сколько планов было впереди!

Анюта оказалась права, когда утешала его предсказанием, что с развитием кино неизбежно появятся картины не только идеологические, но и такие, на которых нестыдно будет работать. Робкими побегими появлялись они: то в виде фильма-оперы «Наталка-Полтавка», то бальзавковским «Гобсеком», то «Бесприданницей» с блистательными Кторовым и Алисовой...

А к новому 1937 году взялись за Пушкина. Аккурат в дни гибели поэта увидело свет по-театральному поставленное «Путешествие в Арзрум», в котором,

однако, чудесно читал стихи игравший поэта бывший вахтанговец Журавлёв.

Страна торжественно отмечала столетие... убийства своего гения. И, кажется, никто не обратил внимания на эту несурязицу. На многострадальной колокольне Страстного монастыря, служившей ранее для рекламы или портретов вождей, явился портрет Пушкина. В честь поэта были переименованы Царское село и Нескучная набережная, Большая Дмитровка и Останкино, Биржевая площадь и Музей изобразительных искусств...

Заклеймённый после революции, выброшенный из школьной литературы, теперь Пушкин оказался радетелем за счастье трудящихся всего мира, товарищем по борьбе за коммунизм, клеймившим «российских «венценосцев» и их вельможно-поповскую челядь» и сражённм пулей «наёмного убийцы». «Только великая страна победившего социализма по достоинству может оценить великого поэта Пушкина... Пушкин принадлежит тем, кто борется, работает, строит и побеждает под великим знаменем Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина», — вещал председатель Пушкинского комитета Бубнов на заседании десятого февраля. А поэт Арбенин сочинил целую поэму, поражающую своей исключительной бездарностью.

Поэта нет. Поэзия бессмертна.  
Рыдает Фет в углу своих ночей.  
У Гоголя бессонницы припадки.  
У Лермонтова приступы видений —  
Он видит еженощно:  
Входит Пушкин,  
Садится, ставит ноги на камин  
И говорит: «Люблю я эту осень!  
И женщин, и поэзию люблю.  
Жуковского люблю, хоть он несносен,

И Пущина, хоть он невыносим.  
А пуще всех — супругу Гончарову  
И собственные прозы и стихи.  
Не умер я — поэзия бессмертна».  
Так говорит он и тихонько тает.  
А поутру воротится опять.

Несмотря на нелепость юбилея смерти и всевозможную казёнщину, была от тех торжеств и польза. По радио звучала Поэзия... Качалов, Яхонтов, Журавлёв читали Пушкина. Что важности было в том, что говорили о гении бездарности, когда звучало воистину бессмертное слово его самого?

Между тем, отмечая убийство гения века прошлого, власть старательно расправлялась с гениями ныне живущими, дабы не зажились они на этом свете дольше своих предшественников. В те же дни, когда размашисто чествовали Пушкина, в Москве был арестован поэт Павел Васильев.

Петя был хорошо знаком с ним и оттого, узнав об аресте друга, ещё острее ощутил неизбежность такой же участи. А ведь Павел не был ни внуком белого генерала, ни правнуком богатого мецената... Потомок семиреченских казаков, учительский сын, он приехал в Москву из Сибири в двадцатые годы. Бредящий поэзией, преклоняющийся перед талантом Есенина, которого не успел застать в живых, он даже внешне напоминал своего заочного учителя. Такой же русский златокудрый юноша с распахнутой душой, с прямым характером, не знающим увёрток, мелочности, подличанья, хранящий необходимую поэту детскость, неудержимо выплёскивающуюся и в хорошем, и в дурном.

Творчество Павла советская критика сочла чуждым советской действительности, а коллеги-доброхоты

ретиво постарались столкнуть его в пропасть, по краю которой он, не ведающий удержу, ходил. Десятью годами ранее уже расстрелян был такой же юноша — Алексей Ганин. Расстрелян за «русский фашизм», за мнимую партию.

И снова проторенной дорогой пошли — травили Павла хулиганом и пьяницей, русским шовинистом и фашистом. Русский антисемитизм, русский монархизм, русский заговор против партии — этими ярлыками пестрели газеты, и совсем малость нужна была, чтобы переключались они с газетных полос на чье-либо чело...

Однажды, встретив во дворике ВРЛУ младшего друга, поэта-студента Сергея Поделкова, Павел по-русски троекратно расцеловал его. Стоявшие поодаль однокашники Сергея, Долматовский и Алигер, проявили любознательность, спросили, за что это Васильев поцеловал его.

Павел отрубил, как всегда, прямолинейно:

— За то, что он мой друг, талантливый русский поэт!

— Ну, погоди! — словно только того и ждала, взвизгнула Алигер и немедленно привела завуча, тотчас ринувшуюся в атаку на Васильева:

— Бандит! Вон, фашист! Посадить тебя, арийца, мало! Расстрелять тебя, расиста, мало!

Кто-то другой, может, и стерпел бы поношение, но не Павел. Обозвав насевшую на него бабищу непечатным словом, он оттолкнул её. Кончилось всё плохо. Сергея Поделкова выгнали из института. На собрании Алигер обвинила его в нелюбви к Сталину, комсомолу и советским поэтам, ничуть не беспокоясь тем, что, возможно, выносит своему однокашнику смертный приговор.

Павла в тот раз не тронули. Ему нужно было вырыть яму поглубже... И рыли. Петя стал свидетелем нашумевшего инцидента в клубе литераторов. Тогда Васильев попросил у директора Эфроса разрешения

потанцевать «русскую барыню», за что немедленно удостоился «черносотенца и белогвардейца».

— Белогвардейцу в тысяча девятьсот семнадцатом было семь!.. — усмехнулся Павел.

— Ты меня за нос не проведешь! — закричал Эфрос.

— А вот и проведу! — с этими словами Васильев ухватил своего обидчика за длинный нос и медленно повёл за собой по залу.

Начало травли Васильева положил никто иной, как Максим Горький, летом 1934 года опубликовавший сразу в четырёх газетах статью «О литературных забавах». В ней «буревестник» указывал: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин... Если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать... *От хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа».* Поэт ответил палачу от литераторов эпиграммой...

К тому времени Павел уже побывал под судом, будучи арестован вместе с сибирскими поэтами Забелиным, Марковым, Мартыновым и другими по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов «Сибирская бригада». Тогда срок его не пришёл, и в отличие от остальных товарищей по несчастью он был отпущен. Но статья Горького стала верным сигналом того, что второй раз пощады не будет.

Последней каплей стала ссора Павла с негодяем Джеком Алтаузенем. Джек оскорбил в его присутствии музу Васильева — поэтессу Наталью Кончаловскую, и само собой Павел вступился за честь своей дамы и избил наглеца. Тотчас газета «Правда» опубликовала «Письмо в редакцию», текст которого принадлежал перу Александра Безыменского и в котором советские литераторы требовали от властей принять к нему «решительные меры»: «...Павел Васильев устроил

отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками... Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошёл расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма...» Гнусный донос был подписан среди прочих Иосифом Уткиным, Семёном Кирсановым, Николаем Асеевым, Алексеем Сурковым, Верой Инбер, несчастным Борисом Корниловым, затравленным за «кулацкую пропаганду», растоптанным, живущим в ожидании стука в дверь и, чтобы отсрочить его, подставляющим под удар другого.

У поэтов есть такой обычай —  
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.  
Магомет, в Омара пальцем тыча,  
Лил ушатом на беднягу ругань.<sup>15</sup>

За драку с Алтаузеном Васильева исключили из Союза Писателей СССР и приговорили к полутора годам заключения. Благодаря хлопотам свояка — главного редактора «Нового мира» Гронского, через год он был освобождён. Одновременно на экраны СССР вышел фильм «Партийный билет», в котором Павел стал прообразом главного героя — «шпиона», «диверсанта» и «врага народа»...

В феврале Тридцать седьмого Васильева арестовали вновь. Ему вместе с группой арестованных по тому же делу «сообщников» вменялось немного-немало создание фашистской террористической организации, имеющей целью убить товарища Сталина. Что ж, своей ненависти к Вождю Павел не скрывал. В присутствии друзей-литераторов не раз читал он дерзкие гекзаметры: «Ныне, о, муза, воспой Джугашвили, сукина сына. / Упорство осла и хитрость лисы совместил он

умело. / Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти пробрался. / Ну что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне, семинарист неразумный...».

На этот раз возмужавшее советское правосудие не миндальничало, в кратчайший срок определив двадцатисемилетнему поэту наказание — десять лет без права переписки... Вместе с ним сгубили и сына Есенина Юру — ещё подростка.

В то же время были арестованы другие «крестьянские поэты» — сын сапожника-старовера, прапорщик Великой войны Клычков, Георгиевский кавалер Орешин, свояк Есенина Наседкин, один из родоначальников «крестьянского» направления Клюев, осмелившийся не поддержать коллективизацию да ещё и помянуть в стихах «трудармейцев» Беломорканала:

То Беломорский смерть-канал,  
Его Акимушка копал,  
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла.  
Великороссия промокла  
Под красным ливнем до костей  
И слёзы скрыла от людей,  
От глаз чужих в глухие топи...

А Ивана Катаева, сына крупного учёного и внучатого племянника князя-анархиста Кропоткина осудили к высшей мере, как врага народа за «проповедь христианства», в которой изобличила его «Правда». Та же участь постигла детского поэта Олейникова, «взятого» по обвинению в «троцкизме» вместе с обвинёнными в шпионаже ленинградскими востоковедами, с арестом которых было фактически разгромлено целое научное направление.

Русских поэтов не должно было остаться у России. И тем тревожнее становилось за судьбу последнего, в эту



самую пору слагающего поэмы о русской старине и в одной из них высказавшегося:

Смола в застенке варится,  
Опарой всходит сдобною,  
Ведут Алену-Старицу  
Стрельцы на место Лобное.  
В Зарядье над осокою  
Блестит зарница дальняя.  
Горит звезда высокая...  
Терпи, многострадальная!

А тучи, словно лошади,  
Бегут над Красной площадью.

Все звери спят.  
Все птицы спят,  
Одни дьяки  
Людей казнят.

И это — когда все газеты бесновались, выявляя всё новых и новых врагов и требуя крови! Когда руководство страны взяло курс на усиление классовой борьбы и вело повальные чистки!..

Одинок был его голос, когда в разгар травли Васильева, Заболоцкого, Мандельштама и других, осмелился он хлётко откликнуться доносчикам:

У поэтов жребий странен,  
Слабый сильного теснит.  
Заболоцкий безымянен,  
Безыменский именит.

Петя благоговел перед своим старшим другом. Ему первому из всех прочёл он собственные самые выстраданные стихи, сознавая, как далеко они отстоят от могучего дара того. Эти стихи он не читал никому, боясь доноса со стороны одних и несдержанности других. Тот же Васильев без умысла в минуту горячую вдруг бы процитировал строфу? Пропадай тогда обе горькие головушки!

Дмитрий Кедрин был человеком иной закваски. Сын донбасского горняка и внук ясновельможного пана, своим литературным образованием он был всецело обязан бабке, страстной любительнице поэзии, читавшей внуку из своей тетради Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а также в подлиннике — Шевченко и Мицкевича... Сам Дмитрий с улыбкой прибавлял:

— Тяга к искусству у меня начинается от памятника Пушкину...

Тот памятник стоял на екатеринославском бульваре, по которому девятилетним мальчишкой он ходил на занятия в училище.

Конечно, на первых порах не избежал Дмитрий «идеологически верных» тем: несколько простеньких стихов о пионерах и Ленине открыли ему дорогу в газеты. Но этот этап быстро был пройден им. Углублённо занимающийся самообразованием, самоучкой изучавший кроме литературы, историю и философию, географию и ботанику, он не мог сделаться покорным винтиком, не мог остановиться на низшей планке развития в своём творчестве. Данный Богом огромный талант, помноженный на пытливый разум, быстро вынесли его на просторы настоящей поэзии, Поэзии, не позволявшей фальшивить, попирать Слово и Правду, петь не своим голосом.

Голос Кедрина звучал настолько неповторимо, в его стихах было столько гармонии, восходящей к лучшим

образцам поэзии Золотого века, что не обратить на них внимания было невозможно. И обращали. Лирические и историко-эпические темы вызывали упрёки в равнодушии к современной действительности. Критика советовала поэту оставить историю, книги его не издавались, а генеральный секретарь писательского союза Ставский так и вовсе угрожал ему.

Впервые прочтя стихи Кедрина, Петя задрожал, почувствовав в неведомом ещё авторе родственную душу, только наделённую неизмеримо большим талантом.

Эх ты осень, рожью золотая,  
Ржавь травы у синих глаз озер.  
Скоро, скоро листьями оттаёт  
Мой зелёный, мой дремучий бор.

Заклубит на езженных дорогах  
Стон возов серебряную пыль.  
Ты придёшь и ляжешь у порога  
И тоской позолотишь ковыль.

Встанут вновь седых твоих туманов  
Над рекою серые гряды.  
Будто дым над чьим-то дальним станом,  
Над кочевьем Золотой Орды.

Будешь ты шуметь у мутных окон,  
У озер, где грусть плакучих ив.  
Твой последний золотистый локон  
Расцветет над ширью тихих нив.

Эх ты осень, рожью золотая,  
Ржавь травы у синих глаз озер.  
Скоро, скоро листьями оттаёт

Мой дремучий, мой угрюмый бор.

Что за чудная светлоструйность! Что за дивная музыка в каждой строфе! Потрясённый Петя мечтал пожать поэту руку, поблагодарить от всей души за верность русской литературе.

Однажды придя с приятелем, подвизавшимся писанием литературных очерков на географические и природоведческие темы, в клуб литераторов, Петя заметил нетипичного для этого заведения посетителя. Тонкий, изящный молодой человек в белой косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком, с волнистыми тёмно-каштановыми волосами, спадающими на высокий лоб, он производил впечатление замкнутого, углублённого в себя мыслителя. За столиком шёл оживлённый разговор, но он не принимал в нём участия и, казалось, находился вовсе не здесь. Большие задумчивые глаза неподвижно смотрели мимо шумливого сборища, и лишь руки с длинными, тонкими пальцами жили какой-то своей, отдельной жизнью.

— Кто это? — спросил Петя своего спутника.

— Димка Кедрин, — тоном оскорбительно небрежным отозвался тот. — Хочешь, познакомлю?

Петя оробел от неожиданности, но сообразил, что иного случая для знакомства может не представиться, и кивнул.

Поэт оказался человеком очень скромным и сдержанным. Против опасений разговор завязался легко, и под конец вечера Петя получил приглашение наведаться как-нибудь в гости. Неделю спустя он с замиранием сердца переступил порог жилища Кедрина в подмосковном посёлке Черкизово, где тот обитал с женой и маленькой дочерью. В «кабинете», являвшем собой отгороженный занавеской закуток, едва ли не целиком занимаемый заваленным толстенными томами

всевозможных научных и исторических книг столом, они засиделись далеко за полночь.

Оказалось, что Дмитрий уже имел первый опыт тюремного заключения — за недонесение на приятеля, отец которого был деникинским генералом. Эта «провинность» стоила ему пятнадцати месяцев, проведённых за решёткой.

— Боевое крещение принял, — пошутил невесело.

Из-за слабого — минус семнадцать — зрения ему было сложно найти работу. Приходилось сотрудничать в газете, чтобы кормить семью. Книги же его критика беспощадно рубила. И то сказать, кому нужны в «молодой стране» баллады о седой древнерусской старине, о Фердоуси и Рембранте... Такая поэзия идеологически чужда пролетарскому государству, а от чуждости — полшага до враждебности.

В тот вечер Петя, волнуясь, прочёл Дмитрию свои заветные стихи. Выслушав их, поэт взял из его рук исписанные страницы, перелистнул задумчиво, а затем, сказал, возвращая:

— Ваши стихи хороши, но... Сожгите их. Именно потому, что хороши, сожгите. Иначе они станут уликой против вас. Такие стихи нельзя хранить в написанном виде. Заучите их наизусть и сожгите. И поступайте так со всем важным, будь то ваше или чужое.

Петя последовал совету своего учителя, но точило сомнение. Память — надёжное хранилище, но оно однажды станет могилой своему содержимому. И если хранимое в ней не имеет дубликата на бумаге, то не суждено ли ему кануть в лету?

— Пойдём в дом... — тихо промолвила Аня. — Холодно становится, и эти комары...

Петя страдальчески посмотрел на неё. Как же она прекрасна теперь! В мерцающем свете белой ночи! Неземная, удивительная... Ах, какие бы изящные эпитеты и метафоры нашёл для неё настоящий поэт!

Перед её лицом Петя, как никогда, чувствовал убогость и бедность собственного слога. Он крепко сжал её ладонь, не сводя глаз с тонкого лица. Она смотрела также — печально и ожидающе, робкая надежда и трепет читались в её блестящих глазах. Душа кричала ей о любви, рвались из груди слова признаний, обжигая сухие губы, но он молчал, щадя её жизнь, не желая подвергать её своей участи. Он отпустил её руку и с болью увидел, как погасли её глаза, поникли плечи.

— Я пойду, — негромко сказала она, поднимаясь.

— Да, конечно, ты устала... — кивнул он. — А я ещё посижу немного.

Небрежное пожатие плеч, с трудом сдерживаемая обида в лице. Показалось, что не выдержит она и заплачет. Но нет, гордость не позволила — при нём. А в старухиной лачуге? В одиночестве? Петя резко обернулся, готовый бежать за Анютой, но она была уже далеко и быстро удалялась, почти бежала прочь.

И зачем только смутил он её душу? Оскорбил её чувства? Может, лучше было объяснить честно? Но нет, тогда бы она не стала внимать голосу разума, пожертвовала бы собой. А он не хотел этого. Всего лучше было освободить её, не мучить больше — уехать куда-нибудь далеко. Но как же работа? Кино? Птушко уже пригласил его на «Золотой ключик». Для начала нужно просто съехать куда-нибудь с квартиры анютиных родителей, поселиться в общежитии, найти комнату... А там — время покажет.

Следом за Анютой Петя так и не пошёл, не желая тревожить её и не находя мира в собственной душе. Горько и одиноко пробродил он до утра по берегу Свирского озера, вспоминая кедринские пророческие строки:

Я грешников увидел всех —  
Их пламя жжет и влага дразнит,

Но каждому из них за грех  
Вменялась боль одной лишь казни.

«Где мне остаться?» — я спросил  
Ведущего по адским стогнам.  
И он ответил: «Волей сил  
По всем кругам ты будешь прогнан».

## Глава 2. Каин

Этот летний день знаменательным выдался для молодых чекистов. Выступал перед ними не кто-нибудь, а сам товарищ Ежов. Варсонофий впервые на мероприятии столь высокого уровня очутился и внутренне мандражировал: начальство оно ведь что медведь-шатун — никогда не знаешь, что в башку взбредёт. Впрочем, чин у Варса покуда невелик, а, значит, невелика вероятность, что нарком обратит внимание. Хотя... Что, в самом деле, ещё вчера был этот нарком? А вот же выхватил его товарищ Сталин и вознёс на невиданную высоту, низвергнув казавшегося всемогущим Ягоду, которому вождь прилюдно не подал руки, после чего все поняли, что тому недолго осталось.

Странное время наступило: можно во мгновение до неба подняться и боженьку за бороду ухватить, а можно головы лишиться ещё скорее. А как бы ухитриться прожить так, чтобы и до неба взобраться, и головы не потерять? Серьёзная задачка! Ловчей ужа извиваться надо, чтобы достичь её.

— Самые худшие операции — это на Украине — хуже всех была проведена на Украине. В других областях хуже, в других лучше, а в целом по качеству хуже. Количество лимиты выполнены и перевыполнены, постреляли немало и посадили немало, и в целом если взять, она принесла огромную пользу, но если взять по качеству, уровень и посмотреть, нацелен ли был удар, по-настоящему ли мы громили тут контрреволюцию — я должен сказать, что нет<sup>16</sup>, — на трибуне маленький человечек, Варсу, должно быть, по грудь окажется, заливаётся злющим собачьим лаем. По воле хозяина эта цепная шавка порвёт кого угодно, не остановится ни перед чем. И правильно. И Варсонофий



бы не остановился. Потому что усвоил с малолетства — надо всегда быть с большинством, быть там, где сила, сильному дозволено всё или почти всё, поэтому к силе надо стремиться, а вставшего на твоём пути — раздави. Иначе найдётся другой, кто раздавит тебя.

Это убеждение окончательно сформировалось в нём в годы Гражданской войны, пришедшейся на его детство. Сын тамбовского крестьянина, он питал к большевикам двойное чувство: злобу за то, что они отбирали у его семьи, у него последний хлеб, и завистливое восхищение. *Власть* — вот, к чему стоит стремиться в жизни! Власть обеспечит тебе и хлеб, потому что его всегда можно будет отнять у не имеющего власти, и уважение, потому что никто не посмеет плюнуть в того, одного слова которого хватит, чтобы отнять жизнь. *Отнять жизнь!* Не раз наблюдал Варс расстрелы, никогда не избегая этих расправ, но, наоборот, ища случая посмотреть. Было что-то завораживающее в том, как легко и бестрепетно командир отдаёт приказ, и оружием залпом отнимается жизнь сразу у десятков людей. Власть даёт и это *право* — отбирать жизни! Да, вот, что такое власть! *Право отбирать!* Всё, что пожелается — имущество, жён, жизни... Именно этого желал Варсонофий, именно это поставил себе целью.

Когда отец ушёл в отряд повстанцев, Варс негодовал. Он и прежде втайне ненавидел родителя, считая, что тот обращается с домашними, как с крепостными, принуждая их целыми днями вкалывать на его проклятое хозяйство. А уж отцовскую палку крепко запомнила спина. Не раз потчевал ею родитель, обзывая лодырем и мошенником. Что и говорить, крут был нором у Гаврилы Федотыча.

Уход отца привёл Варсонофия в ярость. Каким дурнем надо быть, чтобы против силы идти! И ладно бы своей башкой старый чёрт в петлю юрил, так нет же,

всю семью в неё же совал! Когда большевики вошли в деревню, Варс спрятался, понимая, что старшему сыну повстанца головы не сносить. Позже он узнал, что когда красноармейцы ворвались в их дом и, глядя на испуганную ребятню, грозно спросили, кто среди них старший, двенадцатилетний Павлуша гордо выступил вперёд:

— Я — старший!

Мальчонку не пожалели... После этого Варс решил обеспечить себе и своей семье дальнейшее безопасное существование. Он знал, где скрывался отец со своим отрядом — мать однажды посылала его отнести им кое-что из снеди. Ни мгновения не колеблясь, Варсонофий ночью заявился в штаб и вызвался показать красноармейцам повстанческое логово.

Отца взяли живым. Его и ещё нескольких уцелевших расстреляли на деревенской площади. И эту казнь Варс также не отказал себе в удовольствии посмотреть. Ему не было жаль отца. Слишком зол он был на него за прежние унижения, а к тому не большевиков, а именно его и других повстанцев считал виновниками гибели Павлуши. Большевики — что ж? Они — сила, и они защищали свою власть. А в таких случаях в ход идут все средства, иначе — поражение. А, вот, повстанцы должны были думать о своих ближних и не подставлять их под удар!

Одно худо, деревенская молва быстро донесла до ушей матери, что сын её — иуда. А мать оказалась столь же глупа, сколь отец...

— Проклясть тебя сердце мне не позволяет, но видеть тебя я больше не хочу. Вон ступай от моего порога!

Обидно было такие слова от родной матери услышать, но Варсонофий не слишком печалился. У большевиков был он отныне на хорошем счету, и это открывало ему заветную дорогу.

Для делания карьеры Варс избрал Тамбовское Краснознаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной Армии, по окончании которого началась его служба в рядах вооружённых сил. В родную деревню он не показывался несколько лет, но судьба распорядилась так, что в 1930 году его с отрядом бойцов послали туда для оказания помощи в проведении коллективизации.

Тяжёлое то было зрелище... До того, что один из комсомольцев получил нервное расстройство и слёг. Видел Варс, что и бойцам его куда как неуютно от обязанности воевать с бабами да детьми, высылаемых из родных домов на север. Противно было и самому Варсонофию. Оттого ещё, что так и сопровождало всюду шипение вслед: «Иуда! Каин!» Один из кулаков, дядька Панкрат Говоров и в полный голос крикнул ему: «Будь ты проклят, отцеубийца!» А встреченная на улице старуха прошелестела: «Чтоб глаза твои бесстыжие потемнели навек, душегубец!» Размахнулся Варс в досаде, огрел старую ведьму наотмашь, так, что кровь на белый снег брызнула. Охнула горбатая, рухнула ничком, да так и не встала.

После той «операции» Варс целую неделю заливал душевную смуту самогоном и в итоге успокоился. В конце концов, для того и стремится он достигнуть высокого положения, чтобы его детей никто и никогда не посмел выкинуть из дома, чтобы одного слова его было достаточно, чтобы кого надо лишили всего, а кого надо отправили в расход.

— Вот, возьмите, я не помню, кто это мне из товарищей докладывал, когда они начали новый учёт проводить, то у него, оказывается, живыми ещё ходят семь или восемь архимандритов, работают на работе двадцать или двадцать пять архимандритов, потом всяких монахов до чёртика. Всё это что показывает? Почему этих людей не перестреляли давно? Это же всё-

таки не что-нибудь такое, как говорится, а архимандрит всё-таки. Это же организаторы, завтра же он начнёт что-нибудь затевать!

Услужливый смех всего зала приветствовал это остроумное замечание Николая Ивановича. Смеялся и Варс. В сущности, действительно, смешно. Только год назад говорил товарищ Ежов, что за 1935 год репрессировано 293681 человек, и поражался огромности этой цифры и ставил вопрос в этой связи о «разгрузке аппарата ГУГБ от несвойственных ему функций». И ещё не ведал сам, что через год будет произведён Хозяином в палачи, жертвы которого будут куда многочисленнее. И какие это будут жертвы! Один маршал Тухачевский чего стоит!

Варса вообще очень радовали начавшиеся наверху чистки. Старая гвардия сходила со сцены, значит, появлялись шансы занять освобождённые места молодым волкам. Но расправа над Тухачевским сотоварищи порадовала особенно. Гнев на повстанцев нисколько не мешал ему ненавидеть маршала, по указанию которого расстреляли столько его односельчан, его собственного брата, травили крестьян ядовитыми газами. А сколько наглого тщеславия, сколько надменности было в этом жирном, белом борове! Ничего, в кабинете следователя с него согнали спесь! Помни, сволочь, потравленных мужиков! Слышал Варс, что среди конвойных солдат, ведших бывшего маршала к месту расстрела, был один тамбовец. И будто бы даже напомнил он тамбовскому палачу его «подвиги». Пожалел Варсанофий, что сам не стоял в расстрельной команде — посмотрел бы в глаза свинье в последний миг...

— Вот расстреляли полтысячи и на этом успокоились, а сейчас, когда подходят к новому учёту, говорят, ой, господи, опять надо. А какая гарантия, что

вы через месяц опять не окажетесь в положении, что вам придётся такое же количество взять?

Маленький нарком звал к чисткам, беспощадным и опережающим врага на дальних подступах, когда ещё и мысли преступной не успело вызреть в нём. Незадолго перед этим совещанием Политбюро одобрило приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», перечисляющий категории, подлежащие репрессиям:

1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпосёлков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и возобновившие свою антисоветскую преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.

5. Изобличённые следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.

6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых посёлках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпосёлках и ведущие в них преступную деятельность.

Репрессируемые делились на две категории: первая подлежала расстрелу, вторая — десятилетнему заключению.

— Если во время операции будет расстреляна лишняя тысяча людей — беды в этом особой нет, — подвёл итог Ежов.

Одновременно партия приняла решение расширить владения ГУЛАГа и разрешила применение пыток при допросах. Сомнения относительно последних разрешил сам товарищ Сталин — на внутренних инструктажах цитировалась его телеграмма: «Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».

Варсонофий с этим был, пожалуй, согласен. Власть всемогуща, но она требует постоянной и неусыпной самозащиты. Она и защищалась, и теперь в следовательских кабинетах зачастую не только

допрашивали, но избивали, выжигали глаза, ломали спины — мало ли можно изобрести способов, чтобы заставить человека признать себя, к примеру, шпионом сразу трёх держав.

— Когда какого-нибудь человека присуждали к десяти годам тюрьмы, то все мы думали, и я, в частности, грешный человек, думал, что это настоящая тюрьма, что там люди сидят в строгом заключении... Не предполагали, что наши изоляторы скорее похожи на дом отдыха, а не на тюрьму... такие плохенькие дома отдыха. Только пребывание там было обязательным. Хочешь — не хочешь, все равно заставят отдыхать... Отдельные факты... являются совершенно вопиющими... если муж и жена осуждены, их обязательно сажают в одну камеру и они там, если хотят, размножаются... Когда я посмотрел продовольственный рацион заключенных, то я должен сказать нечего удивляться тому, что Смирнов (я знаю его с 1922–1923 годов по Сибири, он был тогда туберкулезным), когда его привели из политизолятора, то это был мужчина — кровь с молоком... Недаром на процессе иностранцы так удивлялись здоровому виду заключенных!

В этом месте зал не смеялся, никто не позволил себе и тени улыбки, с видом наряжённого внимания слушая наркома. Слушал, хотя и порядком скучая, Варс.

Когда его пригласили в органы, он не раздумывал ни секунды. Ни одно ведомство не даёт больше власти, больше материальных благ, чем НКВД. Лишь год назад его, как перспективного сотрудника, перевели в Москву, а здесь покамест дали должность в генеральном штабе да велели доглядывать за взятыми в разработку — особенно, за бывшими «господами офицерами», которых власть вынуждена была взять на службу в качестве военспецов. В частности, за комбригом Кулагиным. Скучное это было занятие, настолько, что уже ненавидел Варс комбрига. Такого

дурака и пьяницу, пожалуй, и к заговору не приплетёшь. И ведь добро бы болтливый пьяница был — такие просто находка! Так нет — мрачный, угрюмый алкоголик, одиноко и безмолвно напивающийся каждый вечер. И что с такого взять, спрашивается?

И всё-таки удача улыбнулась. Прикатил к Кулагину старый боевой соратник — полковник Василенко, служивший в Киевском округе. Прикатил не просто так, а ища справедливости в отношении своего арестованного комдива. Неужто считал, что партия может заблуждаться и принимать за врагов своих верных сынов? Шалишь! Насчёт врагов остро недрёманное око — осечки не даст.

Кулагин, сперва обрадовавшийся гостю, узнав причину его приезда в Москву, сразу пожух и, хотя Варс, удобно расположившийся в соседнем кабинете, мог только слышать разговор, но не видеть лиц, но готов был дать руку на отсечение, что стал комбриг белее полотна, когда простодушный Василенко принялся выражать негодование по поводу несправедливых по его мнению расправ:

— Ну, чёрт с ним, с гвардейским иудой и жидовнёй вроде Якира! — басил гость, — Может, они и впрямь замышляли что-нибудь этакое. Тухачевский-то, знамо, Бонапартом себя видел. Добонапартился, сволочь. Но причём здесь простые командиры? Которые к политике ни ухом, ни рылом? Которые честно служили и служат Родине? Это же, Жорж, подрыв обороноспособности страны! Неужели там не понимают? Убери всех старших командиров, и кто на смену придёт? Зелёные капитанишки? Много мы с ними навоюем! Оружие! Оружие! Много железа — это хорошо, очень хорошо. Но чёрта ли будет в железе, если армия без головы останется?

— Ты бы мысли такие при себе держал, Витя, — посоветовал Кулагин.



— А что? — простодушно удивился Василенко. — Мы же с тобой вдвоём в этом кабинете!

— А ты никогда не слышал, что у стен бывают уши? Варсонофий за стеной усмехнулся.

Василенко на мгновение умолк, а затем отрубил:

— К чёрту. Пусть слышат, если хотят. Я ни немчуру, ни басмачей, никого не боялся во всю жизнь. Я всю жизнь служил верой и правдой, служу и сейчас. И буду служить. А если за мою службу меня объявят предателям, ну так что ж — значит, на роду так написано. А червём под чужим сапогом я быть не желаю!

— Служил... Служу... — Кулагин усмехнулся. Несмотря на то, что был вечер, он не успел ещё достаточно набраться, помешал неожиданный визит. — Кому ты служишь, Витя? Чему?

— То есть как? — не понял вопроса тот. — Тому же, чему и ты!

— А я чему служу?

— Так... России же... — неуверенно отозвался Василенко.

Кулагин расхохотался.

— Ты что? — опешил Василенко.

— А то, мой милый Витя, что я открою тебе страшную тайну. Сдохла Россия! И труп её сгнил, и черви его сожрали. Ты не знал?

— Ты что плетёшь? Ну, Царская Россия — само собой, сдохла. Но новая-то — вот она! Живёт и здравствует, мощью наливается. Пройдёт ещё время, и снова мы будем сильны так, что ещё всем нашим супостатам шею намылим, за всё сквитаемся! И этой России я верой и правдой...

— Верой и правдой? Верой и правдой мы с тобой, Витя, служили Богу, Царю и Отечеству. Потом временщикам — уже одной только правдой, без веры.

Потом большевикам... Где же тут правда, Витя? И какая наша вера?

— Про тебя говорить не буду. А моя вера — Россия. Будущая, из руин воссоздаваемая, сильная и могущественная, как никогда!

— Блажен, кто верует, Витя.

— Я не понимаю тебя, Жорж. Если Россия, по твоему, сдохла, то кому же ты служишь?

— Не знаю, Витя. Пожалуй, что я уже и не служу. И не живу. А только дрожу. Дрожу за свою шкуру... — Кулагин прошёл по кабинету. — Зря ты приехал, Витя. Мой тебе совет — уезжай назад. Может, ещё и проскочишь сквозь сито.

Варсонофий был счастлив. Сразу две отнюдь не мелкие рыбы угодили в его сети! Главное теперь, незамедлительно донос подать — а то, чего доброго, сам комбриг опередит. А в таком деле: кто первый донёс, тот и сливки снимает. За такую работу можно, наконец, и на новую должность рассчитывать!

Донос был готов уже утром, и теперь по окончании мероприятия Варсу надлежало явиться пред ясные очи начальства с подробным отчётом о своей работе.

Вот, сошёл с трибуны маленький нарком. Следом говорили начальники рангом пониже, их Варсонофий уже не слушал, зная наперёд всё, что будет ими сказано. Вплоть до финального:

— Да здравствует товарищ Ежов! Да здравствует товарищ Сталин!

Само собой, «ура» Варс кричал, не жалея связок, и столь же яростно отбивал ладони в овациях.

Со встречи с начальством высшим он поспешил к своему непосредственному начальству. Комиссар Минк встретил его с обычным ледяным выражением похожего на маску лица, по которому никогда нельзя было определить, доволен он или нет. Некоторое время Минк молчал, поглаживая гладкий череп, затем кивнул:

— Я доволен вашей работой, товарищ Викулов. В квартире Кулагина мы уже устроили засаду.

— Разве его нет в штабе?

— Ни в штабе, ни дома. Как бы ни сбежал, фашистский прихвостень!

— Не сбежит, — уверенно сказал Варс.

— Откуда такая убеждённость?

— А некуда ему бежать. Кулагин — человек конченный. Он от себя убежать не сможет. А чтобы убежать от заслуженной кары, нужно сперва убежать от самого себя.

— Психологией увлекаетесь?

— Грешен, Михей Самуилович.

— Отчего же, психология в нашем деле полезна.

— А Василенко что?

— С этим наши ребята уже работают. Он думает, что это Кулагин донёс на него. И ведь должен был, мерзавец, донести! Подписку давал, предатель!

Вот те на! Оказывается, у них и сам комбриг в осведомителях был! А Варса послали, не сказав о том. Чтобы друг на друга доносили? Что ж, учтём, намотаем на ус.

— Так вот, товарищ Викулов, у меня для вас хорошая новость. Решено перевести вас в главное управление. Остро не хватает кадров. Ведь, кто бы мог подумать, даже среди нас затесались враги! И кто! Агранов, Артузов, Канцельсон! Сам Ягода... Одним словом, вам необходимо будет пройти краткий курс усовершенствования для командного состава нашего ведомства. Занятия начнутся через неделю. А до тех пор, и это вторая хорошая новость для вас, можете числить себя в краткосрочном отпуске. Вам всё ясно?

— Так точно, Михей Самуилович!

Варсонофий старался сохранять такую же бесстрастность, как у комиссара, но внутри его переполнял восторг. Твёрдым шагом поднимался он по

ступеням карьерной лестницы и ни разу не споткнулся, не оступился, умело лавируя и всегда находя нужные формулировки. О, он справится с поставленной задачей! Он достигнет самых высоких постов! И пусть сведут в подвал всех ягод и аграновых, и хотя бы самого плешивого Минка — Варс удержится на плаву. Варса не столкнут. Кстати, место Минка было бы неплохой ступенью для следующего шага. Надо, пожалуй, приглядеться к нему внимательнее...

А пока что — к чёрту и Минка, и карлика Ежова, и всех! На полученную за успешную работу премию можно очень недурно провести время. И не одному...

С недавних пор карьерные желания Варса серьёзно разбавились ещё одним. В канун двадцать третьего февраля ему привелось побывать на концерте, на котором кроме нескольких маститых артистов выступали совсем юные питомцы Московской Консерватории. Варсонофий сразу положил глаз на одну из молоденьких певиц. Таких красавиц на его родной тамбовщине не выдывали! Уж не княжна ли какая бывшая? Княжны, как один бывалый красноармеец сказывал, не то что бабы, совсем иного складу, «скусные».

Певица, звавшаяся Анной, однако, оказалась совсем не княжной. Наоборот, из крестьян. Так оно и лучше, пожалуй. С «бывшими» серьёзных отношений иметь нельзя — вся карьера псу под хвост пойдёт. А тут и видом княжна, и происхождением — годна. Чем для нас не краля?

Хороший психолог, Варс быстро сообразил, что такую крепость не взять нахрапом. От чрезмерного внимания к себе Анна смущалась, дичилась молодого командира. Это ещё больше раззадорило Варсонофия. Такую кралю покорить — это тебе не с комсомолкой ядрёной сговориться, и не девку тамбовскую прижать где-нибудь. Тут подход нужен, галантность.

И Варс серьёзно принялся осваивать роль образцового кавалера для кисейной барышни. Проходили недели, месяцы, но успехи в осаде были незначительны. Правда, Анна перестала дичиться его и даже как будто рада была его обществу, и в доме её он был принимаем уже без церемоний, особенно сойдясь с её полупараличным отчимом, но всё же для столь внушительного срока это было явно недостаточно. Варс уже удивлялся самому себе, тому, как может быть терпелив. И в то же время осознавалось — от этой девушки ему не просто мужская победа нужна, у него таких «побед» не один десяток, а сколько ещё впереди! Видали мы баб со всех сторон, чтобы для одного только этого утруждаться. В Анне он видел достойную для себя партию. Красива, образована, жилплощадь в Москве, которую при определённых усилиях легче лёгкого расширить... А уж если совсем откровенным с собою быть, так всё это вторично было. А главное, что ещё ни одна женщина не будоражила так его воображения, не горячила кровь, ни одну не желал он так жадно. И тем больше выдержки требовалось, чтобы не позволить страсти прорваться раньше срока. Эта птичка должна была прилететь в его сети сама, безо всякого насилия над ней — вот, тогда будет победа.

Варсонофий недолго решал, куда пригласить свою неприступную красавицу. Зная её любовь к музыке, он выбрал оперу. Большой театр — предел мечтаний всех меломанов. Наудачу пела Барсова, которой Анна восхищалась, как ни одной другой певицей. Опера «Мадам Баттерфляй»... Кроме Барсовой занят Нэлепп... Это тоже хорошо. Нэлеппа Анна тоже жалует. Узнать бы ещё толком, что это за мадам, чтобы не ударить в грязь лицом. Ну да ничего, не в таких вопросах удавалось докой прослыть, ни йоты в них не понимая. Главное — ловкость языка.

Два билета в Большой и пышный букет свежих, ярких цветов — какое девичье сердце не дрогнет перед таким знаком внимания? И Анна дрогнула, просияла по-детски, сплеснула руками:

— Ой, Варс, как я вам благодарна! Барсова в роли Чио-чио-сан! Я так давно мечтала послушать!

Чио-чио-сан... Китайцы, что ли? Надо запомнить.

— Счастлив услужить вам, милая Анечка, — и чуть поклонился, и даже сапогом шаркнул, довольный произведённым эффектом. — Позвольте ещё одно предложение. Поскольку до спектакля ещё довольно времени, не отобедаете ли со мной? Я, признаться, сегодня ещё не обедал.

Она, конечно, согласилась. И даже недолго копалась, наряжаясь — редкое достоинство для женщины. Хотя долго возиться со своей внешностью приходится уродикам, а красавица красива и так.

Поистине удачным выдался день у товарища Викулова! Он единолично раскрыл очередной заговор против вождя, изобличив двух предателей, получил за это заслуженную награду, отобедал в дорогом ресторане, заказав для себя и своей спутницы деликатесы, о которых абсолютное большинство страны не могло и помыслить, и отличное вино, и, вот, сидел вместе с нею в зале Большого театра... Конечно, сам бы он лучше остался в ресторане или в очередной раз посмотрел «Цирк» с Любовью Орловой. Мэри любит чудеса! — вот, это — да, это — искусство. Смотришь и душа радуется, а тут... Тоскливые завывания доносившиеся со сцены навевали на него сон. Но что ни сделаешь ради любимой женщины! А женщина сидела рядом, и на ту сцену, где ломала руки её обожаемая Барсова, смотрела неотрывно в немом восторге, делавшим её личико ещё краше. А женщина всё больше привыкала, доверяла ему. И уже нисколько не противилась тому, чтобы он взял в свои её руку.

Две цели имел Варсонофий: карьеру и женщину. И в направлении обеих сделал он в этот день по очередному шагу. Вот так-то ходить надо, товарищи! И тогда дойдём, непременно дойдём до всех побед — и на личном фронте, и на общемировом. И социализм отгрохаем назло недобитым буржуям, и все бабы, какие глянутся нам, нашими будут. Только срок дайте!

Варс подавил зевок и, не выпуская руку Анны, чинно впери́л взгляд в сцену, ни бельмеса не понимая из происходящего на ней.

## Глава 3. Последний забег

Ощущение петли, затянутой на шее, появилось у него не вчера, когда плохо скрываемое торжество на лощёной физиономии недавно присланного в генштаб недоноска сказало ему больше, чем могли бы сказать любые слова. С этим ощущением он жил уже многие годы, а теперь петля всего лишь затянулась туже.

Когда явилось оно в первый раз? Тогда ли, когда он, офицер Русской Императорской армии, военный герой, пресмыкался перед солдатней и комиссаришками, боясь не столько смерти, сколько позора, надругательства, унижения. А ведь мог бы вспомнить, как сказал однажды старый командир:

— Смерть за правду не может быть позорной, а жизнь в подлости позорна всегда. Христос позорный крест освятил собой, какого же нам ещё примера нужно?

Может, и в самом деле лучше было дать растерзать себя тогда? Или вкатить себе в пулю в лоб? Пожалуй, так. По крайней мере, умер бы человеком, а не червём...

Это точно вчера Витька Василенко про червя сказал. Червь, в смертном ужасе, извивающийся под каблуком... Знал бы он, как не в бровь, а в глаз попал! Витька, Витька... Он всегда наивен был, сколько помнил его Жорж. Когда монархия пала, он плакал, Керенского ненавидел до колик, а за большевиками пошёл, уверовав, что они смогут воссоздать государство, так как только они имеют силу удержать власть. Это всё он, конечно, не враз вывел, а сперва очень сокрушался, когда мобилизовали его в Красную армию — горевал, что против своих идти приходится. А потом, по мере укрепления большевиков, куда как резво пошёл. До того, что сам из штаба в действующую армию



запросился и чин по чину рубил башибузуков. И ведь, кто бы мог подумать, верил, что воюет не за дело Ленина-Троцкого, а за Россию.

Что ж, и Жорж верил некогда, верил, горячо убеждал сам себя в том, что, как бы ни называлась Россия, она всё равно остаётся Родиной, и Родине нужны границы, армия, вооружение. А, значит, ничего зазорного нет в том, чтобы служить установившейся власти — ибо это для блага Родины.

Но однажды Жоржа арестовали. Белым днём, безо всякого шума... Жене, как он позже узнал, от его имени дали телеграмму, будто бы он уехал в командировку. Неужто так уверены были, чем всё кончится, ценили так низко?

Следователь Альтшуллер с первых минут огорошил его, загредев внушительно:

— Что же это же это вы, гражданин Кулагин, вздумали с белопогонными недобитками контрреволюцию плести?!

— Какие белопогонные недобитки? — искренне опешил Жорж.

— Сами знаете! Говорите сейчас же, как поддерживаете связь с племянником?

— С каким племянником? О чём вы? У меня был только один племянник, Родион... Но я о нём ничего не слышал с восемнадцатого года! Я был уверен, что он погиб...

— А он не погиб, — объявил следователь. — И так крепко не погиб, что стал в эмиграции нашим активнейшим врагом, порочащим нашу страну. Ваш племянник активно работает в РОВС, издал враждебную нам книгу. Он один из тех, кто наиболее рьяно поднимает знамя борьбы с нами на Западе. Будете утверждать, что не знали об этом?

— Ни сном, ни духом! — выдохнул Жорж.

Альтшуллер протянул ему карточку:

— Узнаёте?

На фотографии рядом с долговязым одноруким генералом стоял живой и невредимый Родион.

— Да... Это Родя, мой племянник. Но, клянусь, я понятия не имел, что он жив!

— Клясться не надо, — следователь убрал карточку в папку. — Словам мы не верим.

— Что же вам нужно?

— Дела, Юрий Алексеевич, дела, — неприятная ухмылка тронула губы Альтшуллера. — Вы должны доказать свою честность и верность нашему молодому государству. Тогда может стать, что Родина простит вам преступное родство с её врагом.

Жоржа затошнило. Он понял, чего хочет от него следователь, ради чего, вообще, было затеяно это представление.

— Чем же я могу доказать? — спросил глухо.

— Вы должны подписать кое-какие обязательства и в точности исполнять их. Всего-навсего.

— А если я подпишу и не стану исполнять?

— Такой возможности мы вам не дадим, — прозвучал ледяной ответ.

— А если я не подпишу? Вы же не можете меня заставить!

— *Мы* — можем.

В этих двух словах было столько неколебимой уверенности, что Жоржу стало страшно. Подленькое, мелкое чувство вновь проникло в его душу, как некогда в Семнадцатом, и, подобно спруту, сковало её скользкими, ледяными щупальцами.

— И как же? — он ещё пытался сохранить лицо, держаться достойно.

— Вы же неглупый человек и понимаете, что с древних времён человечество изобрело довольно способов, чтобы заставить человека сделать и сказать всё, что угодно.

— Бить будете?

Альтшуллер посмотрел на свои небольшие, как у женщины, руки, ухмыльнулся:

— Я, Юрий Алексеевич, с детства питаю некоторое, знаете ли, отвращение к подобного рода упражнениям. Не люблю марать рук. Хотите, я покажу вам одно очень простенькое приспособление, которое мы как раз собираемся опробовать?

— Уже специальную машину изобрели? Или дыбу восстановили?

Ухмылка следователя стала ещё противнее:

— Не угадали, Юрий Алексеевич. Видите ли, я убеждён, что подобного рода устройства должны быть максимально просты, чтобы их можно было использовать всегда и везде. Идёмте же! Вам оно понравится!

«Устройство» находилось в соседнем помещении и представляло собой приделанный к трубе стульчак с довольно глубоким чаном, под которым располагалась жаровня.

— Поясняю технологию данного устройства, — с видимым удовольствием начал Альтшуллер. — Берётся большая, жадная крыса и сажается в чан. Затем берётся враг и сажается также — но уже на стульчак и, как подобает, без порток. Враг привязывается к трубе так, чтобы не мог дёрнуться. Затем мы разводим огонь в жаровне, и тогда обезумевшая крыса...

— Хватит! — вскричал Жорж. — Вы... Вы... Ведь это же средневековье! Если я донесу по начальству о ваших «приспособлениях»!..

— Без начальства, Юрий Алексеевич, в нашем ведомстве и комар не пищит. Так что же, не желаете ли первым испытать наше устройство? Стать, так сказать, пионером?

После Жорж много раз задавался вопросом, сдержал бы или нет Альтшуллер свою угрозу? И

неужели, в самом деле, столь чудовищное орудие пыток применяют к живым людям? А тогда ледяные глаза следователя не оставили в нём сомнений: этот заправский малюта со спокойной душой смог бы резать человека на куски и, пожалуй, ещё смаковал бы процесс.

О, новейшие палачи превзошли своих предшественников. Они поняли, что пытка должна причинять не только невероятную физическую боль, но и максимальное унижение. И, как в проклятом Семнадцатом, Жорж снова не смог сопротивляться смеси ужаса и омерзения, стоило представить себя на альтшуллеровском «стульчаке». Он подписал всё, что от него требовалось, и с той поры покорно выполнял принятые на себя обязательства.

В Откровении сказано, что Антихрист наложит печать на своих рабов. Роспись под обязательством сотрудничать с ГПУ — не та ли самая это печать? Жорж не верил в Бога, но, вернувшись из чекистских застенков, почувствовал, словно из него, ещё живого, ещё страдающего, вынули душу. А как жить — без души?

Ему тяжело было видеть близких, смотреть им в глаза. В своих армейских соратниках он отныне видел сплошных предателей и доносчиков, не веря, что не пытались склонить к сотрудничеству их, и что они смогли устоять.

О, что за дьявольщина! В обществе, где все доносят друг на друга и все видят друг в друге доносчика, где целые толпы требуют расправ и расправам этим аплодируют — кто невинен?! Кто чист?! Все причастились крови, все приобщились к катову ремеслу... Так о чём же сокрушаться?

Душа была мертва. А вместе с нею Родина и всё то последнее доброе, что ещё было у него. А потом умерла Ляля... Бедная, терпеливая, покорная Ляля, сносившая и

прощавшая всё. И вдруг бросила, ушла, последнюю хрупкую ниточку оборвав. Только когда её не стало, Жорж понял, как необходима она была ему. Без неё одиночество его стало полным. Он более не ночевал дома, пустота и немота которого приводила его в состояние паники. Коротал ночи либо у Люськи, с который жил не первый год с молчаливого согласия её мужа, покорно убиравшегося в чулан, либо в каком-нибудь «гнезде разврата», либо, на худой конец в рабочем кабинете, напившись до беспамятства.

Чистки, начавшиеся в армии, мало встревожили Жоржа. Он полгал, что с ним у НКВД все вопросы уже решены. К чему второй раз ломать человека, уже однажды сломленного? Правда, кольнула болезненно история профессора военно-воздушной академии имени Жуковского Гая. Герой гражданской войны, он сумел погибнуть достойно. Арестованный первым среди военачальников за то, что в пьяном разговоре сболтнул, что Сталина надо убрать, и обвинённый в создании военно-фашистской организации, он сумел бежать с этапа, и два дня несколько тысяч чекистов и поднятых по тревоге колхозников и комсомольцев разыскивали беглеца в радиусе ста километров. Конечно, нашли. И, конечно, расстреляли. Но то была достойная смерть — смерть человека, сражавшегося до конца.

А затем последовала группа Тухачевского... Ах, как горячо выступал на мартовском пленуме Ян Борисович Гамарник!

— Товарищи, всё, сказанное товарищем Сталиным в его докладе о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников в партийных организациях, целиком и полностью относится и к армейским партийным организациям... Товарищи, у нас сейчас, как докладывал товарищ Ворошилов, осталось в армии (то, что нам известно), осталось немного людей в командном и в политическом

составе, которые в прошлом принадлежали к различным антипартийным группировкам. Но все эти факты говорят, товарищи, о том, что своевременной и достаточной бдительности целый ряд армейских партийных организаций не проявили. Многие из наших партийных организаций оказались слепыми и мало бдительными...

И не знал товарищ Гамарник, что уже в мае пустит в себя пулю, оказавшись много дальновиднее своих соратников Тухачевского, Якира, Путны, Уборевича, Фельдмана, Корка, Эйдемана и Примакова. Их пытали, напоказ «судили», наэлектризованные массы вслед за газетами клеймили их и требовали кары... Наконец, их расстреляли, а их семьи разорили, сослав или заключив в лагеря. И на июньском заседании военного совета товарищ Сталин в своём выступлении подвёл итог первому этапу чистки:

— Товарищи, в том, что военно-политический заговор существовал против Советской власти, теперь, я надеюсь, никто не сомневается. Троцкий, Рыков, Бухарин, Енукидзе, Карахан, Рудзутак, Ягода, Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник. Ягода — шпион и у себя в ГПУ разводил шпионов. Он сообщал немцам, кто из работников ГПУ имеет такие-то пороки. Могут спросить, естественно, такой вопрос — как это так, эти люди, вчера еще коммунисты, вдруг стали сами оголтелым орудием в руках германского шпионажа? А так, что они завербованы. Сегодня от них требуют — дай информацию. Не дашь, у нас есть уже твоя расписка, что ты завербован, опубликуем. Под страхом разоблачения они дают информацию. Завтра требуют: нет, этого мало, давай больше и получи деньги, дай расписку. После этого требуют — начинайте заговор, вредительство. Сначала вредительство, диверсии, покажите, что вы действуете на нашу сторону. Не покажете — разоблачим, завтра же

передаем агентам Советской власти и у вас головы летят. Начинают они диверсии. После этого говорят — нет, вы как-нибудь в Кремле попытайтесь что-нибудь устроить или в Московском гарнизоне. И они начинают стараться, как только могут. Дальше и этого мало. Дайте реальные факты, чего-нибудь стоящее. И они убивают Кирова. Вот получайте, говорят. А им говорят — идите дальше, нельзя ли всё правительство снять. И они организуют через Енукидзе, через Горбачева, Егорова, который был тогда начальником школы ВЦИК, а школа стояла в Кремле, Петерсона. Им говорят — организуйте группу, которая должна арестовать правительство. Летят донесения, что есть группа, все сделаем, арестуем и прочее. Но этого мало — арестовать, перебить несколько человек, а народ, а армия. Ну, значит они сообщают, что у нас такие-то командные посты заняты, мы сами занимаем большие командные посты — я, Тухачевский, а он, Уборевич, а здесь Якир. Требуют — а вот насчет Японии, Дальнего Востока как? И вот начинается кампания, очень серьезная кампания. Хотят Блюхера снять. И там же есть кандидатура. Ну, уж, конечно, Тухачевский. Если не он, так кого же. Почему снять? Агитацию ведет Гамарник, ведет Аронштам. Так они ловко ведут, что подняли почти все окружение Блюхера против него.

Колхозы. Да какое им дело до колхозов? Видите, им стало жалко крестьян! Вот этому мерзавцу Енукидзе, который в 1918 году согнал крестьян и восстановил помещичье хозяйство, ему теперь стало жалко крестьян. Но так как он мог прикидываться простачком и заплакать, этот верзила, то ему поверили. Второй раз, в Крыму, когда пришли к нему какие-то бабенки, жены, так же как и в Белоруссии, пришли и поплакали, то он согнал мужиков, вот этот мерзавец согнал крестьян и восстановил какого-то дворянина. Я его еще тогда представлял к исключению из партии, мне не верили,

считали, что я как грузин очень строго отношусь к грузинам. А русские, видите ли, поставили перед собой задачу защищать «этого грузина»! Какое ему дело, вот этому мерзавцу, который восстанавливал помещиков, какое ему дело до крестьян?

В чем основная слабость заговорщиков, и в чем наша основная сила? Вот эти господа нанялись в невольники германского вредительства. Хотят они или не хотят, они катятся по пути заговора, размена СССР. Их не спрашивают, а заказывают, и они должны выполнять. В чем их слабость? В том, что нет связи с народом. Боялись они народа, старались сверху проводить: там одну точку установить, здесь один командный пост захватить, там — другой, там какого-либо застрявшего прицепить, недовольного прицепить. Они на свои силы не рассчитывали, а рассчитывали на силы германцев, полагали, что германцы их поддержат, а германцы не хотели поддерживать. Они думали: ну-ка заваривай кашу, а мы поглядим. Здесь дело трудное, они хотели, чтобы им показали успехи, говорили, что поляки не пропустят, вот если бы на север, в Ленинград, там дело хорошее. Причем знали, что на севере, в Ленинграде они не так сильны. Они рассчитывали на германцев, не понимали, что германцы играют с ними, заигрывают с ними. Они боялись народа. Слабенькие, несчастные люди, оторванные от народных масс, не рассчитывающие на поддержку народа, на поддержку армии, боящиеся армии и прятавшиеся от армии и от народа. Они рассчитывали на германцев и на всякие свои махинации: как бы школу ВЦИК в Кремле надуть, как бы охрану надуть, шум в гарнизоне произвести. На армию они не рассчитывали — вот в чем их слабость. В этом же и наша сила!

В те дни Жорж узнал о расстреле Альтшуллера, угодившего вместе с Ягодой в списки фашистских шпионов. Злая радость волной прошла по сердцу:



доизмывался над людьми сукин сын! Может для него самого и пригодился стульчак с крысой?

Это была единственная радость Жоржа за последние годы. И тем разительнее по отношению к собственной настроенности показалось настроение Василенко. Точно в бой эскадрон вёл, примчался в Москву отбивать командира. Только, вот, незадача, не басмачи здесь, а НКВД с его костоломами. И давно не гражданская война на дворе, а совсем иные времена, в которых право голоса имеет лишь человек с топором. Да и тот молчит, боясь другого человека с топором, стоящего за его плечом. Или же собственной тени, кажущейся всегда огромной и угрожающей. А простодушный Витя этого не понял и пёр открытой грудью на смертоносный огонь.

И всё же Жорж отчаянно позавидовал ему. Позавидовал вере, позавидовал горячему сердцу, позавидовал — *жизни*, не втопанной в грязь, не пропитой, не утопленной в нечистотах. Василенко любил Родину, любил своего командира и своих солдат. И жену Нину, и престарелую мать, и сынишку Олега. И они, кроме, может быть, Родины, любили его. А ведь это и есть жизнь...

Эта встреча со старым товарищем спровоцировала в душе Жоржа необратимую реакцию. Настолько сильную, что он перестал контролировать себя и впервые высказал наболевшее, не заботясь о том, что их могут слушать. И даже не могут, а слушают наверняка...

После ухода озадаченного Василенко Жорж столкнулся в коридоре с капитаном Викуловым, без года неделя переведённого в Москву и странным образом тотчас получившего назначение в генштаб. Это гладкое, как колено, лицо с цепкими, хитрыми глазами сказало комбригу Кулагину все о его самом близком будущем.

В ту ночь он не пошёл к Люське и не остался мрачно пить в своём кабинете, а отправился на свою квартиру. От непривычной трезвости мысли путались, и Жорж с трудом мог объяснить, для чего переступил этот порог, зачем полез на антресоли и долго-долго добирался до старого чемодана, а затем вытряхивал из него всё содержимое. Ах, вот что! Альбом... Старые фотографии... Сёстры, ещё совсем юные... Сестра Аня с мужем... Ляля с Варюшкой... Кусок фотографии грубо отрезан — на нём был Родион, а с его памятью Жорж разделался самым жёстким образом. Племянника он ненавидел. Это из-за него, из-за того, что он не сгинул в усобных сечах и не удосужился кануть в волнах эмиграции, Жорж окончательно потерял свою честь, потерял уважение к себе, превратился из офицера в стукача, в раздавленного червя... Всё из-за него! Всё! Как жаль, что ни одной карточки не осталось — с каким бы удовольствием он истоптал, изорвал её!

А, вот, портрет Ляли, совсем молодой. Отчего это прежде не приходила мысль, что она похожа на лошадь? Такое же продолговатое, покорное лицо с чёлкой... Ляля! Единственное существо, которое любило его так долго. Но даже она — предала! Даже она...

А, вот, Буран! Самый первый конь! Всем коням конь! Когда он был уже совсем стар, Жорж, приезжая в имение, всегда выводил его на лужайку и терпеливо прогуливал, давая старику порадоваться солнцу и свежей, сочной траве. Буран... Сколько вёрст изъезжено вместе! Сколько весёлых минут пережито! И как любил он, подойдя, склонить голову на плечо хозяину, бормоча что-то на своём непереводаемом наречье. Вот, была верная, преданная душа!

Спрятав фотографию в карман, Жорж покинул квартиру, в стенах которой ему становилось невероятно трудно дышать. Правда, на улице на этот раз легче не стало. Сердце заходилось и болело, перед

глазами мельтешили назойливые мухи. В подвернувшемся по дороге заведении он выпил несколько рюмок водки и, укрепившись таким образом, двинулся дальше.

Конечной цели своего пути Жорж не знал, он просто шёл, ехал, куда шли его ноги, куда гнала неведомая сила. Подойдя к дому своего дальнего родича писателя Дира, он поднялся к нему. У Дира уже ложились спать, и настороженный хозяин в байковом халате и ночной шапочке вышел в прихожую не сразу. Жорж, ожидая его, расположился на полу в обнимку с удивлённым риджбеком:

— Что, Трезорка, спит твой хозяин? Не уважает нас?

— Мою собаку зовут Графом, — Дир появился в дверях спальни со сложенными недовольно руками и выразительно презрительной гримасой на лице.

— Графьёв всех израсходовали, Котя. Зачем же давать собаке не пролетарское имя?

— Если я назову собаку Кагановичем, то мне дадут 58-ю статью. К тому же собака названа в честь Алёшки Толстого.

— Тогда следующую назови Максимом.

— Ты явился сюда придумывать имена для моих собак? На дворе ночь! Я выпил снотворное! Какого чёрта тебе нужно?

— Стареешь, Котя. Снотворное... Ночь... А помнишь, какие раньше были ночи? Вино... Женщины... А где, кстати, Ривочка? Она меня не уважает?

— Рива больна и уже спит, так что изволь говорить тише. Чего тебе надо?

Жорж пожал плечами:

— А чёрт меня знает... Тошно мне, понимаешь? Хотя откуда тебе... А, впрочем, вспомнил! Шёл я мимо и думаю: зайду, задам вопрос умному человеку. Может, просветит меня.

— Что ещё за вопрос?

— Вот скажи мне, Котя, как писатель, так сказать, душевед. Что такое совесть? И есть ли она вообще?

— Совесть — это не будить людей по ночам. У одних она есть, а у других явно отсутствует.

— А у тебя, Котя, совесть есть? Не как у писателя Дира, у этого нет, я знаю, а у Константина Аскольдова — есть совесть?

— Слушай ты, — лицо Дира побагровело, — может моя совесть и не сияет чистотой, но не тебе, стукачу, пьянице и убийце собственной жены, о ней при мне заикаться!

— Поубавь пыл, — усмехнулся Жорж. — Я ведь оскорбление и припомнить могу.

— А ты не обольщайся, — прошипел писатель, прищурясь. — Думаешь, только у тебя рычаги имеются? Выкуси! У меня рычажки покрепче найдутся, и я, если захочу, управу на тебя найду.

— И после этого ты пишешь побасенки для деточек, — Жорж поднялся. — Далеко же пойдут они, имея таких наставников.

От дверей он ещё обернулся, спросил, словно спохватившись:

— Скажи, Котя, ты помнишь Бурана?

— Кого?

— Бурана. Хотя где тебе... Ты ведь и не бывал в имении....

— Пьяный дурак! — зло бросил Дир и захлопнул дверь.

Ночь выдалась необычайно удушливой. Жорж задышался, охал, когда снова сжимало сердце плоскогубцами, но снова шёл, ехал... И, вот, последняя дверь, которую ещё могут отворить ему:

— Мари! Мари, открой! Это я...

О том, что сестра в Москве, он узнал случайно и не преминул узнать адрес, словно наперёд

предчувствовал: настанет час, когда ноги принесут его к её порогу.

Мари открыла не сразу, хотя ещё не ложилась. На ней было тёмное платье, тёмный платок, в окладе которого лицо казалось бледным и будто бы высеченным из мрамора или слоновой кости. Нестеровская монахиня — ни дать, ни взять. Даже подойти к ней боязно — от неё словно ладаном пахнет.

— Что ж ты не гонишь меня, Мари? Или боишься?

— За что мне гнать тебя, Юра?

— Ты знаешь...

Она смотрела безмолвно и безответно.

— Молчишь? Хочешь, что бы я сам это произнёс? Покаялся? А я не стану! Потому что всё равно нет ни рая, ни ада, ни чёрта, ни Бога! Потому что, если твой Бог есть, и всё, что в мире происходит Его воля, то у Него нет совести! Слышишь?! Нет совести у твоего Бога! Нет!

— Полно, Юра. К чему переваливать наши грехи на Бога? Лучше попросить его прощения, и он простит, и сразу станет легче.

— Мари! — Жорж страдальчески нахмурил лоб. — Мари! Что ты говоришь, Мари? Ты знаешь ли, что это я тогда выдал Надёжина? Что это из-за меня его арестовали?

— Знаю, — коротко ответила Мария, кутаясь в шаль.

— Знаешь... А знаешь ты, сколько ещё «обязаны» мне тем же? Так как же меня можно простить? Это уже по отношению к ним прямо-таки бессовестное дело! Знаешь, я тут подумал... Вот, все они, все эти Ягоды и прочие... О чём они думают, оказавшись на месте своих жертв? Вспоминают ли лица тех, кого уничтожили сами? А ведь не так, Мари! Они баб своих вспоминают, как лапали их, и выродков, и как жрали вкусно и сладко, и не о своих кровавых делах жалеют, а о том, что попались, и верят ведь, что незаслуженно! Верят,

что они невинны! Ведь они терзали людей именем и во имя революции... А я? А я помогал им! И не во имя, а просто из подлого страха! Моя душа сгнила, как тело сифилитика, Мари. Она смердит и отравляет трупным ядом всего меня. А ведь я же оправдывал себя... Я убеждал себя в том, что всякий мой новый «крестник» — враг. Я успокаивал себя обещанием, что это — в последний раз. Что больше я никого не предаю, ниже уже не скачусь. И зачем ты не гонишь меня, Мари? А что, если завтра я предаю тебя?

— Значит, так будет угодно Богу.

— Твой Бог бессовестен... Но я не предаю тебя. Я больше никого не предаю... Ну, что ты так смотришь на меня, Мари?

— Я вспоминаю мальчика с деревянной сабелькой на деревянной лошадке. Ты был таким чудесным ребёнком. И оставался им, даже надев гусарский мундир.

На лице сестры отражалась горечь и жалось к нему, и от этого стало ещё тошнее.

— Почему это произошло с нами, Мари? Почему это произошло именно с нами? Что стало с нашей жизнью? Я никогда не желал никому зла. Я любил весёлую и бесшабашную жизнь и только! Я думал, что, когда выйду в отставку, то поселюсь в имении, заведу конный заводик и спокойно встречу старость. Мог ли я представить, что мою жизнь швырнут в такую грязь... Ты знаешь, в семнадцатом я больше всего боялся, что пьяная солдатня взденет меня на штыки, растерзает, будет глумиться. Я знал одного очень достойного офицера, который называл солдат своими детьми... Эти «дети» потом рвали с него кожу с живого, вырезали лампасы с погонами, выкололи глаза... Его тело отдали родным без головы. Голову они... бросил в нужник. Мне казалось, что ничего более ужасного и унижительного не может быть. Как же так получилось, что голову свою

я спас, а душу позволил истерзать и в этот самый нужник бросить?

Ночную мглу рассеяли первые проблески зари, и Жорж с трудом поднялся со ступенек крыльца, на которых расположился, так и не переступив сестриного порога, качнулся, чувствуя странную онемелость в руке:

— Скажи, Мари, ты-то хоть помнишь моего Бурана?

— Помню, конечно. Его подарили тебе ещё жеребёнком. Это был твой первый конь. Очень умный и славный. Мы с Аней тоже очень любили его.

Жорж сделал шаг к сестре, но подавил в себе желание поцеловать её на прощание, лишь пожал руку и отступил:

— Прости меня, Мари. Я не верю в Бога и ни во что больше не верю. Но ты... прости...

Она сошла по ступеням и перекрестила его, как это бывало много лет назад, когда он уезжал из имения в полк.

Утром Жорж добрался до конезавода, куда время от времени наведывался, дабы побыть в обществе единственных существ, к которым его оледеневшее сердце сохранило детски нежную привязанность. Был у него среди них и любимец — белый в яблоках иноходец. Обойдя конюшни и сделав строгие внушения за замеченные недочёты, Жорж потребовал оседлать себе иноходца, нисколько не смущаясь удивлёнными взглядами, бросаемыми на него.

Сердце прерывисто kloкотало где-то в горле, а мухи в глазах переросли в зелёно-красные круги. Воздуха не было... Когда иноходца подвели к нему, Жорж улыбнулся непослушными губами, протянул руку, погладил коня по морде:

— Бу-ран...

— Никак нет, товарищ комбриг! Декабрист!

— Что бы ты знал...

Жорж судорожно сглотнул и, преодолевая слабость, всё-таки взобрался на иноходца. Грудь от этого рывка точно пронзило стрелой, и, тем не менее, он подхлестнул коня, пуская его вскачь. Молодой жеребец помчался стремительно, и ветер овеял покрывшееся потом лицо Жоржа. Вот, только отчего-то дышать всё равно было нечем, и рука уже не держала поводья, и яркий, летний день обратился непроглядной теменью...



## Глава 4. Мария

Приехав в Москву проведать крестников и кое-кого из знакомых, а попутно передать в нужные руки два письма владыки Иосифа, Мария нарочно не стала останавливаться у своих, боясь подвести их под удар, а поселилась у глухой старухи-монахини, после разорения своей обители жившей в пригороде столицы. Тем более встревожил её ночной визит брата. Нет, она не думала, что он донесёт на неё. Слишком истерзан нравственно и физически был Жорж, так, что слёзы наворачивались смотреть на него. И ничего не спрашивал он, а только изливал своё... Но тот факт, что ему стал известен её адрес, мог говорить лишь об одном — её выследили.

Но зачем? Бог ты мой, зачем? Ведь это похоже на абсурд! Зачем нужна им одинокая, старая женщина, не имеющая ничего, ни в чём не участвующая? Зачем нужен им Алексей Васильевич? Миша? Алексей Васильевич, пожалуй, только улыбнулся бы таким недоумениям: «Какая же вы ещё наивная, Марочка!» А малограмотные колхозные бабы им зачем? Все те сотни и сотни тысяч безымянных, ничем не примечательных людей — зачем?

Навряд ли, впрочем, они следили за ней... Вернее другое: кто-то из соседей донёс на «подозрительный элемент». Боже, ведал ли мир более утончённый метод растления целого народа? С одной стороны раздувают в нём перехлёстывающее через край тщеславие — всех-то мы сильнее, всех-то к ногтю прижмём, и мировой пожар раздуем, и коммунизм построим, и танки наши самые быстрые, и люди такие, что хоть гвозди делай. А с другой — обращают в рабов, доносящих друг на друга,

живущих по принципам: падающего подтолкни в спину, а, если не трогают, так и не лезь.

Такие тщеславные рабы однажды разделятся меж собой. Одни, желая скрыть собственный позор, будут исступлённо бить и клеймить поверженного истукана, которому служили, а другие продолжат не менее яростно курить ему фимиам, потому что признание «божества» пустым истуканом или злобным демоном обесценит их жизнь, и низвержение, разоблачение его будет означать разоблачение их самих.

Кровь — крепче любого клея. Преступление — спланирует надёжнее идей и общего дела. Страх — вернее обеспечит власть от посягновений на неё, нежели забота о народном благе.

Трое разговаривают за закрытыми дверями, и один допускает неосторожное слово. Двое в ужасе смотрят не на него, а друг на друга. И каждый боится, что другой донесёт, и тогда придут не только за тем, кто сказал, но и за тем, кто *слышал и не донёс*. Кто донесёт первым — тот будет спасён! И двое смотрят друг на друга, задавая себе один и тот же вопрос — донесёт или не донесёт? И в каждом вершится битва совести со страхом.

Можно ли осудить человека за страх? В ссылке встречала Мария человека, предавшего других, после того, как арестовали его шестнадцатилетнюю дочь и пригрозили подвергнуть её жестоким истязаниям. Чья душа вынесла бы такую угрозу? Нет, Мария не могла осуждать тех, кто сломался. Кто из смертных осмелится утверждать, что на их месте выдюжил бы?..

Конечно, Жорж дело иное. Он сломался при первых дуновениях надвигающейся бури, и, стало быть, гниение охватило его душу много раньше. Оттого ли, что в детстве обе сестры, не чая в нём души, потакали его капризам, позволили ему до зрелых лет оставаться «анфан террибль»? Для него, большого ребёнка, не

имеющего крепкого стержня в душе, привыкшего получать всё желаемое, жить в удовольствие, столкновение с изнанкой жизни оказалось непереносимым ударом. Может быть, не умри его родители так рано, и Жорж стал бы другим человеком...

Всё же Мария продолжала любить брата и всем сердцем оплакивала его. Сколько же изуродованных душ породит изуверская система? Скольких увлечёт за собой в погибель? Да, большевики оставили далеко позади своих французских собратьев.

Что ж, вполне естественно. Ведь и само время не стоит на месте. Не стоят наука, техника... И страшно подумать, что величайшие открытия и изобретения учёных безумцы направляют не на усовершенствование медицины, не на повышение плодородия почв, не на улучшение быта, а, в первую очередь, на уничтожение себе подобных. В этом человек достиг небывалых высот. Ядовитые газы, бомбы, танки, подслушивающие устройства, служащие установлению полного контроля над человеческой личностью... Если бы все эти усилия во имя разрушения жизни направить на её улучшение, на благо людей — сколько бы доброго можно было сделать, и какой бы цветущей и благословенной стала жизнь.

Утром после ухода Жоржа Мария спешно собрала чемодан и отправилась в подмосковное село Покров, где с некоторых пор проживала с несколькими сёстрами киевская матушка София, бывшая настоятельница Покровского монастыря, в стенах которого некогда был возвращён к жизни после тяжёлого ранения Алексей Васильевич. Уехать назад в Аулие-Ату, не свидевшись с нею, Мария не могла.

Первый раз игуменью Софию арестовали ещё в 1924 году, но тогда по болезни вскоре отпустили. С верными монахинями она по чужому паспорту поселилась в селении Ирпень, где под её руководством после

сергиевой Декларации сформировалась тайная катакомбная община. В доме на Толстовской улице совершались тайные ночные богослужения, собирались верующие для бесед с матушкой, приезжавшие священники причащали их. Ирпень стал одним из духовных центров катакомбной церкви на Украине.

Так продолжалось до 1931 года, когда игуменью арестовали вновь. Предчувствуя арест, она накануне отослала под разными предлогами всех обитателей дома и тем до времени уберегла их от своей участи. Без неё ирпеньская община просуществовала ещё шесть лет и была разгромлена лишь недавно в ходе массовых чисток.

Игуменью же Софию Господь хранил. Высланная в Путивль, она, благодаря крупной сумме денег, заплаченной одним из прихожан её общины, получила возможность перебраться в лучшее место. Так матушка оказалась в селении, носящем имя её родной обители — Покрове. Много лет назад, основывая свою первую общину, ей удалось своей добротой и сердечностью преломить негативное отношение к себе и сёстрам со стороны заводских рабочих. Казалось, повторить подобное в колхозе в разгар гонений будет куда сложнее. Однако, всё возможно Богу. Верующие Покрова скоро прониклись к матушке любовью и уважением и помогли ей и сёстрам устроиться в найденном для них доме. И, вот, чудо: среди торжествующего зла и нарастающих расправ, принявшая схиму монахиня, дворянка, близкий друг Сергея Нилуса, открыто заявлявшая о том, что считает коммунистическую власть антихристовой — проповедовала людям Христа вблизи столицы. Чудны дела твои, Господи!

Дорога до Покрова была неблизкой, но Мария привыкла к куда более дальним странствиям. Была бы

кладь нетяжела да башмаки крепки — а уж ноги быстрые устали не знают.

Мимо тянулись однообразные вереницы околхозенных деревень, и от каждой веяло неизменно — нищетой, тоской и безнадёжностью. Видела Мария на одном из полей в поте лица трудящихся баб, а рядом — мирно дремлющего на солнце «надсмотрщика»-бригадира.

— У-у-у, Ирод! — довольно громко прошипела одна, погрозив в его сторону кулаком, и остальные тотчас зашикали в страхе.

Жатва! О, какое радостное, какое прекрасное это было время раньше! Трудились, конечно, изо всех сил, но труд этот был — в радость! Потому что пожинали плоды своих усилий, пожинали — для себя, для своих семей, в свои амбары. Помнила Мария, как весело отмечали в Глинском праздник «первого снопа». Первые снопы сжатой ржи, украшенные веселыми ленточками, мужики привозили домой торжественно, дружно и с песней обмолачивали их, мололи на мельнице. И тотчас бабы выпекали из полученной муки свежий хлеб, необычайно духовитый и мягкий. Радовались люди урожаю, а теперь чертыхались только зло, зная, что им с этой жатвы не перепадёт ничего, кроме трудодней. И думали о том, как бы скорее колхозную барщину отработать и хоть что-то успеть сделать на своих приусадебных участках — последней ещё не отобранной собственности. Так и приучались жить: кляня колхозное поле за то, что не оставляло времени на свою усадьбу, кляня колхозных ни в чём не повинных бурёнок за то, что у них был корм, а своя кормилица тощала день ото дня, не жалея инвентаря, не радея о земле, проникаясь ненавистью к труду, как никогда прежде не бывало у русского человека.

Прежде в такие дни гурьбой носилась по улице ребятня, жевали свежий хлеб, хвастаясь друг перед

другом, какой «медовый» хлеб спекли их мамки из нового урожая, угощая друг друга. А ещё лакомились печёной картошкой и зеленым горошком, поджаренными колосками ржи... Сияя от радости, въезжали мальчишки в деревню на возах со снопами... «Ванюха в деревню въезжает царем!..»<sup>17</sup> Ах, Николай Алексеевич, посмотрели бы теперь вы на этих «Ванюх», истощённых и бледных, понуро возящихся в пыли. Ни грамма муки не видят они с нового урожая, не знают вкуса настоящего хлеба, а за горсть съеденных на жниве колосков их, если достигли уже двенадцати лет, ждёт ИТЛ... Детей в колхозах, вообще, редко встретишь. В семьях, где было их по шесть-восемь душ, осталось теперь по двое. Младшие бродят в поисках травы для голодной коровы, старшие, коим исполнилось двенадцать, работают наравне со взрослыми.

Ни криков задорных, ни смеха не слышно в деревне. Смолкли песни — до песен ли голодным людям? Ни мычания, ни блеяния... Во дворах, в лучшем случае, по одной отошалай корове и поросёнку. Даже собачьего лая не слышно. Тихо, как на кладбище. И то и дело мелькают в довершение сходства окна домов забитые — крест-накрест. Или заткнутые тряпьем. Стёкол у колхозников нет, как нет и дров, на которые пущены ставшие ненужными риги, пуни, амбары... Что же это поделалось с людьми? Прежде бывали они дружелюбны и на пришлого человека поглядывали с открытым, добродушным любопытством, а теперь — исподлобья, насторожённо, испуганно, с затаённой враждебностью, так и ожидая беды от чужака.

Даже дорогу постеснялась спрашивать Мария у них — к чему пугать людей и привлекать к себе подозрительное внимание? Побродив немного и сделав лишний крюк, сама отыскала нужный дом. Перекрестилась, подходя, и уже сама заозиралась

насторожённо — не глядят ли за ней глаза недреманные?..

Схиигуменья София, постаревшая, высохшая, но не утратившая своей редкой приветливости, излучаемой светлыми глазами теплоты, приняла гостью радостно. Почудилось, словно не бывало четверти века, прошедшей с их встречи, и совсем недавно расстались они. Вот, только Алексея Васильевича не доставало. А как бы счастлив он был повидаться с матушкой! А она много расспрашивала о нём. Обрадовалась, узнав, что его сын Миша сделался священником.

— Мне всегда казалось, что сам Алексей Васильевич рано или поздно примет сан. У него такая светлая душа, и такое умение обращаться с людьми, доносить до них свою мысль... Стало быть это его предназначение осуществилось в сыне.

В этот день у матушки был ещё один гость — неизвестный Марии ещё довольно молодой священник с открытым, мягким лицом и небольшими, внимательными глазами.

— Отец Леонтий, как и я, киевский, — представила его схиигуменья. — И, как и вы, был проездом в Москве...

— Вы давно освободились? — спросила Мария.

— Как вы узнали, что я был в заключении? — ответно осведомился батюшка, но обозрев себя и, задержавшись взглядом на своих распухших, обмотанных тряпьем ногах, кивнул: — Впрочем, конечно. Мой беженский вид говорит сам за себя. Освободился я лишь недавно и совершенно чудесным образом. Я работал в Коростене, в каменоломне. Условия там были ужасные, и их следствие вы можете наблюдать. Впрочем, это уже лишь их остатки. Там распухшим было всё моё тело. Язвы, гной... Я бы не протянул долго, если бы нагрянувшая медицинская комиссия не потребовала моей акции, как

безнадёжно больного и нетрудоспособного. Начальник лагеря очень протестовал, но они настояли. И, вот, я жив и поправляюсь. Правда, пока не имею понятия, что делать дальше. В сущности, я лучше чувствовал себя в тюрьме, потому что там уже определенное состояние, ты уже сидишь, а на свободе ты ожидаешь, что вот-вот придут за тобой, а главное, — боишься за людей, которые дают тебе приют! На место в каком-нибудь из уцелевших приходов рассчитывать не приходится, это ясно...

Поймав удивлённый взгляд Марии, матушка пояснила:

— Отец Леонтий пока ещё не решился на разрыв с митрополитом Сергием, но это лишь дело времени. Отец Леонтий обладает душой, взыскующей Истину и томящейся ревностью по Дому Господню. Он не только будет среди нас, но и превзойдёт нас, достигнув больших высот.

Мария поняла, что схиигуменья прозирает будущее смутившегося от её слов священника, а тот, потупив взгляд и стараясь скрыть волнение, сказал:

— Признаться, я всё надеялся на вразумление, на то, что митрополит Сергей отступит от пагубного курса.

— А теперь не надеетесь? — спросила Мария.

— Теперь уже нет... — тяжело вздохнул отец Леонтий, и чувствовалось, как горек для него это вывод. — Своей Декларацией, своими утверждениями он усыпил за границу... Якобы у нас нет гонений! А у нас на Украине всё это время, не говоря об арестах, расправляются с духовенством, как в первые годы революции! Архидиакона Климента утопили в Днепре, иеродиакона моей родной Преображенской пустыни зверски убили, выломав челюсти, ещё одного священника закололи копьём...

— Батюшка сам едва не был убит. Преподобный Серафим оборонил его, — сказала схиигуменья София,



перекрестившись.

— Моему брату Саше повезло меньше... — вздохнул отец Леонтий и, встряхнув головой, продолжал: — В лагере я не знал, что происходило в Церкви последние годы. А теперь, приехав в Москву, многое увидел воочию. Митрополит Алексей при разговоре со мной — точно на углях сидел. Я для него как прокажённый. Сказал, что места для меня нет и не предвидится, и ушёл. И такое безучастие и равнодушие были написаны на его лице! А ведь когда-то я сослужил ему, и он казался другим человеком... — много горечи и разочарования было в этих словах молодого священника. — Правда, епископ Питирим был со мной очень добр, тепло расспросил меня о моих нуждах. И епископ Серпуховской Сергей, мой давний друг, ещё по Данилову монастырю, тоже был ко мне расположен. Но знаете ли, что он мне сказал? «Доживаем, — сказал, — последние годы. Вопрос нескольких ближайших лет — и все уничтожат по выработанному плану. Вам нет смысла пытаться устраиваться на церковном поприще. Во-первых, это так непрочно. Да вы и не сумеете ориентироваться в такой сложной обстановке. Лучше перейти на другое положение, подальше от взоров большевиков». Таков был его дружеский совет!

— И с таким пониманием будущего люди продолжают участвовать в антихристовом представлении, — вздохнула матушка. — Для чего? Отчего сам он не переходит на другое положение, если советует это вам...

За скромной монашеской трапезой Мария узнала кое-что о своём новом знакомом. Отец Леонтий оказался духовным чадом выдающегося подвижника и молитвенника схиархиепископа Антония, бывшего Таврического и Симферопольского, того самого, что в свою бытность в Грузии исключил из семинарии Иосифа Джугашвили...

По его благословию, ещё будучи послушником, отец Леонтий доставлял собранную помощь заключённым — в том числе, ссылке духовенству. Именно во время такой экспедиции он остановился в Даниловском монастыре, когда настоятелем его был владыка Феодор (Поздеевский), и сподобился получить благословение Святейшего. Об этом времени батюшка вспоминал особенно радостно и живо:

— Было время, когда я был посредником между добрыми людьми, оказывавшими помощь, и заключённым духовенством. А когда я стал священником, то и мне добрые люди везде и всегда оказывали такую же помощь, — в тюрьме, на принудительных работах, в условиях подпольного существования. Благодаря этому, я всегда имел возможность помогать своим соузникам и тем, кто меня скрывал и терпел нужду. И ведь что замечательно: помощь вся собиралась, в основном, благочестивыми женщинами, — тепло и восхищённо посмотрев на сидевших за столом матушку, двух монахинь и Марию, отец Леонтий добавил: — Православные женщины в России всегда были и продолжают быть бесстрашными и жертвенными. Жизнью своей они не дорожат, скрывают у себя гонимое большевиками православное духовенство, рискуя в случае обнаружения расстрелом. Они устраиваются на работу и от своего скудного заработка, часто лишая себя необходимого, предлагают скрывавшимся все, чем можно их снабдить. Служа в качестве прислуг, нянек и кухарок у коммунистов, если узнают о грозящей кому-либо опасности, предупреждают их, спасая таким образом от неминуемой смерти. Ради помощи несчастным нередко вдвое работают, чтобы не было упреков от семьи. А кто, как не женщины стали бичом для всех раскольников и еретиков? Помните, матушка, как «живцы» прислали в Киев своего «митрополита»?

— Как не помнить! — живо откликнулась схиигуменья.

— Когда на первом богослужении он вышел благословлять народ, то получил незабываемый урок. Первая подошедшая, как будто под благословение женщина, быстро с гримасой бросила: «Сколько взял?» — и плюнула на поднятую для благословения руку! Следующая за нею, умильно заглядывая ему в глаза, подхватила: «Золотом или советскими?» — и в свою очередь плюнула. Плевки продолжались, пока, растерявшийся митрополит не скрылся поспешно в алтарь. Больше мы его не видали. Не зря владыка Дамаскин говорил: «Если не женщины, то кто же будет защищать Церковь? Пусть хоть они защищают, как могут». Да что говорить! Я на себе испытал в советских условиях их милосердие и самоотверженность, даже до смерти. Честь и слава русской земле, воспитавшей таких героинь!

После трапезы матушка написала два небольших письма — Алексею Васильевичу и владыке Иосифу, и Мария бережно спрятала их, пообещав доставить адресатам. Когда стемнело, тихо и по-домашнему отслужили вечерю, а наутро нужно было возвращаться назад. Мария решила дольше не задерживаться в Москве, не искушать судьбу. К тому же, как всегда во время разлуки, не покидало волнение за Алексея Васильевича, и хотелось уже скорее увидеть его, передать дорогую для него весточку. Отец Леонтий не подошёл благословить её, понимая, что благословение от священника, ещё не порвавшего общения с Сергием, она может не принять, и не желая создавать неловкого положения. Лишь пожелал тепло:

— Сохрани вас Господь на всех путях, Мария Евграфовна!

Солнце лениво поднималось из-за горизонта, и деревенскую улицу уже всю оглашали матюги —

пастух гнал на выпас стадо. Мария посторонилась, с удивлением отметив, что даже коровы сильно потеряли в культуре за последние десятилетия. Коровы в Глинском всегда обходили человека и никогда не пёрли на него с видом тупого равнодушия, рискуя затоптать. Что ж, каков пастух...

Наконец, стадо прошло, и Мария, просветлённая и ободренная встречей с матушкой Софией, бодро зашагала по дороге, привычно повторяя про себя Иисусову молитву, некогда никак не дававшуюся ей, но за долгие годы ставшую неотъемлемой частью её мыслей, обратившуюся в навык, такой же естественный, как дыхание.

## Глава 5. Митрополит Иосиф

Позднее лето в Казахстане нисколько не похоже на тот же период в России<sup>18</sup>. В эти дни в Устюжне уже бывало прохладно. Здесь же, в пустынном степном краю, раскалённое солнце так и палило, безо всякой пощады, и даже в тени изводила сорокоградусная жара.

В маленькой комнатушке глинобитного дома было не легче, и, хотя за долгие годы ссылки, владыка отчасти привык к местному климату, а всё-таки тяжело было. В эти дни, однако же, Господь послал радость: приехали навестить его сестра Каля с приёмной дочерью Ниной и четырёхлетним внуком Мишей, очень живым и смышлёным мальчуганом. Вот, кому нипочём были причуды степного климата, а всё окружающее не доставляло забот, но лишь будило неиссякаемое детское любопытство!

Митрополит чуть улыбался в усы, наблюдая за проказами ребёнка и охотно отвечая на его вопросы, отвлекаясь от нелёгких дум. Каля хлопотала по хозяйству, и Мишутка, нагулявший аппетит, уже не первый раз дёргал её за подол, прося что-нибудь поесть.

— Придёт мама с базара — будем обедать! — строго отвечала ему бабка.

— Ты бы, Каля, яичко ему сварила, — сказал владыка.

— Нельзя, владычко, пост, — назидательно отозвалась Каля.

Митрополит улыбнулся, ласково потрепав по голове подошедшего мальчика:

— Полно, Каля, ведь яичко-то от чёрной курицы, и грех для младенца невелик. Уж я-то ему прощение

вымолю!

— Эх-эх, владычко, так-то вы в детях благовоспитанность воспитываете? — покачала головой сестра, вспомнив давнюю статью владыки «Как воспитывают неблаговоспитанность в детях». Что ж, дети всегда были его слабостью. И ещё молодым монахом, будучи в гостях, он норовил угостить их конфетами или чем-то другим и от одной маленькой девочки получил памятный урок. Малышка не взяла конфету, сказав, что мама не велит ей есть много сладкого. На заговорщицкое же предложение сокрыть «проступок» от родительницы заметила, что врать дурно. Тогда-то и задумался иеромонах Иосиф, что таким баловством и поощрением скрывания проступков невольно оказывает детям скверную услугу, воспитывая в них неблаговоспитанность.

— Что ж, Мишутка, придётся потерпеть, коли бабушка не велит, — развёл руками владыка. — Ничего, — ободрил, заметив огорчение ребёнка, — зато понуждая себя к воздержанию, ты стяжаешь себе праведную жизнь. Ты ведь хочешь, чтобы жизнь твоя была богоугодной и истинно благочестивой, как жизнь святых мужей, о которых вы с бабушкой читали в Житиях?

— Хочу, — кивнул мальчик, примостившись на топчане рядом с митрополитом, и спросил серьёзно, словно взрослый: — А как стяжать праведную жизнь?

— Трудно и просто одновременно, — ответил владыка. — Ко всему доброму понуждай себя, а тому, что велит тебе злость, обида, слабость, лень, поступай наперекор. Не хочется молиться — молись нарочно! Хочется чего-нибудь поесть сладкого, вкусного — не ешь: рядом поставь с собою, и все-таки не ешь! Хочется сократить молитву, ускорить ее — нарочно затяни, удлини! Хочется соснуть лишний часок, сверх самого необходимого — нарочно спеши встать. Не

хочется рыться в кармане, чтобы подать просящему — нарочно поройся, даже сходи домой, и принеси оттуда, и подай больше, чем хотел вначале. Воспитывая себя так, ты и угодное Богу сделаешь, и свою душу воспитаешь так, что она сделается крепкой и мужественной, и тогда тебе много легче будет сносить невзгоды и лишения.

— Несмышлёныш он ещё, владычко. Мудрёны для него ваши слова.

— Это ничего. Они в его душе останутся и дадут плод в своё время, — ответил митрополит.

— Дай-то Бог, владычко! В тяжкие времена ему возрастать придется — не помутилась бы душа...

«Владычко» — этим ласковым обращением лишь одна Каля величала его, самая близкая душа ему ещё сизмальства. В эти знойные дни, когда так неожиданно нагрянула она, особенно часто вспоминались далёкие годы, светлые и безмятежные. А, впрочем, должно быть это удел всех стариков: видеть прошедшее в куда более радужных тонах, нежели было оно на деле.

«Владычко»... Думал ли он, Иван Петровых, сын простого мещанина, что Промысел поставит его на такую высоту, одновременно низринув телом в сплошные скорби и лишения? Нет, видит Бог, ни о чём подобном не думал, ища лишь одного — угодной Господу жизни. Такое стремление воспитывалось в семье, отличавшейся набожностью и трудолюбием. Никогда не видел владыка праздными ни родителей, ни восьмерых братьев и сестёр. Отец, простой булочник, работал, не покладая рук — его хлеб и булки, сдобный аромат которых окутывал в памяти всё детство, любили во всей Устюжне. Мать вела хозяйство и воспитывала детей. Все церковные праздники в семье отмечались, на именины непременно собирались за общим столом.

С ранних лет Ваня обнаружил влечение к церкви и по рекомендации священника поступил в Устюженское

Духовное училище, а, окончив его с отличием — в Новгородскую Духовную семинарию. Тяготая к монашеству, он всё же не сразу решился стать на этот путь, пережив период мучительных сомнений и колебаний. Несколько высококонравных, благородных, прекрасных и непорочных девиц имели желание и жизненную надежду разделить с ним счастье супружества, и сам юноша едва не соблазнился устроить это счастье. Человек такое удивительное изменчивое существо, он может до неузнаваемости изменять самые пылкие заветные свои желания. Так, некогда пылко желавший девственной жизни Иван вдруг загорелся не менее пылкими желаниями семейного счастья. Долгое время оба эти желания до такой степени уживались и заявляли свои права, что он совершенно не знал, чему отдать предпочтение... Изменчивы желания человеческие! Подчас сам не ведает человек, чего ему надо, что ему лучше — и всё-таки желает. Иногда желает и одновременно того и другого, до резкости противоположного и трудно совместимого: к примеру, и жениться, и оставаться в то же время девственником. Пожелай Господь вполне угодить человеку и оказался бы в затруднении перед сумятицей его желаний<sup>19</sup>.

Как страстно было желание Ивана идти в монахи! Но, вот, проснулась страсть, и явилось желание ничуть не менее жгучее — семейного счастья. О нем, о невесте были все думы и чувства. Но потом опять возвратилось и заговорило в душе другое, высшее благо. Тяжко было выбрать между двумя этими желаниями! Но волею Божией, со страшными мучениями сердца, жалостью, скорбью, среди которых едва душа не готова была разрешиться от тела, оный был сделан. Иван подал прошение о сочислении лику иночествующих.



Постриг был совершён в Гефсиманском скиту при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре епископом Волоколамским Арсением (Стадницким). 26 августа 1901 года Господь Человеколюбивый, в таинстве иноческого пострижения, отверз молодому монаху свои Отеческие пресладкие объятия. Вовеки не забыть те святые минуты, а также предшествующие им дни. Сколько передумалось, перечувствовалось тогда! Сколько выстрадала душа, умирая для мира и рождаясь для жизни новой! Сколькими слезами облилась она, исповедав смиренно и с сокрушением сердца свои мерзости, падения и раны от самых ранних впечатлений детства до последней минуты! Слезы неудержимо, как никогда ни прежде, ни после, лились из глаз. Читая собственную исповедь по записке, в которой пострижник постарался ничего не забыть и не утаить, как это ни больно было бы окаянному самолюбию, он вынужден был несколько раз прерываться, потому что рыдания не давали возможности читать. Так сподобил Господь покаяться... Говоря о своём выборе, Иван признался:

— Это было положение, в котором люди маловерующие и отчаявшиеся избирают самоубийство, как единственный выход из затруднения. Но я увидел здесь новое средство привлечь меня в Свои Отеческие объятия, устремиться в которые я так неразумно и преступно медлил... Я решился, наконец, сделать то, что давно надо было сделать... Вы видите теперь, как я беден, нищ, наг, жалок, убог... Я не мог терпеть долее сам себя, я бросил все, и... вот я у ваших ног... Достоин ли я того, чего ищущий?.. Но «не здоровые требуют врача, а болящие». Тот, кто пришел не праведные, а грешные призвать на покаяние, не оттолкнет и меня и поможет мне, ибо не на свои силы уповаю!..

Когда же духовник изорвал покаянную записку и прочёл разрешительную молитву, душа исполнилась

восторгом, небывалой легкостью, рождённой сладостной уверенностью, что все грехи прощены, смыты, изглажены и не вспомнятся более вовеки Премилосердым Господом!

— Вот теперь мне легко, отче! — воскликнул постриженник.

После пострига последовали блаженные незабвенные пять первых дней иночества, которые проводятся в безотлучном пребывании в церкви в строжайшем безмолвии, в посте, молитве, Богомыслии, чтении Слова Божия и других душеспасительных книг, ежедневном сообщении с Господом в Святых Тайнах. Воистину светлые, безмятежные, блаженные, неземные минуты!.. «Смотри, брате, запасайся, — ласково приговаривал Старец, — на всю жизнь теперь запасайся: того не будет уже больше, что теперь переживешь!.. Вот пойдут скорби, тогда и вспоминай эти минуты, и так на всю жизнь их хватит тебе!..»

Дивная правда. В последние годы, исполненные скорбей, часто-часто вспоминались те дни, озаряя душу немеркнущим светом.

Приняв постриг, иеромонах Иосиф всецело посвятил себя служению Богу, беспощадно борясь с земными слабостями, строго обличая свои немощи и придерживаясь аскетизма в быту. Чтобы твёрдо стать на верный путь, необходимо сперва хорошо «познать себя», узнать себе настоящую цену, установить верное суждение о себе, и главным образом, ничуть не обманывая себя, изобличать все свои недостатки, промахи, дела неразумия, порчи воли, скудости и нечистоты сердца! Постигнуть и ощутить сердцем свое крайнее несовершенство и испорченность — значит наполовину достигнуть цели жизни, и притом на большую и важнейшую половину. Самолюбие и незнание себя — главный тормоз обновлению духовных

сил. Как, потеряв сознание, нельзя действовать разумно, так, перестав «знать себя», нельзя надеяться, что идешь, а не стоишь на пути ко спасению.

Отец Иосиф полагал, что для монашествующих совсем неуместны многословие, легкомыслие, веселость и смех, которыми убивается молитвенное настроение, ревность, пламенность, умиленность и сосредоточенность служения Господу, и только сосредоточенность, серьезность и даже строгость дает возможность для воспитания высшего благоговения, высшей серьезности и умиленного отношения к жизни, как дару Божию и Его откровению.

Его совесть страдала от комфорта монастырской жизни, чрезмерного для монаха. С болью душевной он чувствовал, что более всех других не должен бы — жить лучше, чем живет самый последний нищий. Не должен услаждать гортань свою и наполнять чрево такими брашнами, которых не знает этот нищий. Не должен сидеть в тепле, сытости и довольстве, в то время как другие мерзнут и гибнут от холода, голода и нищеты... Конечно, можно милостынею приходить на помощь бедным, но — сколько ни помогай, всё равно не достигнешь того, чтобы не лучше их жить, есть, пить, одеваться... Как примирить с монашеским званием всякое хотя бы самое малое и невинное пристрастие к земному и временному? Как примирить то, что останется какое бы то ни было имение после смерти, в то время как монаху приличествует осуществление заповеди не иметь сокровищ на земли, а лишь на небе? Воистину прав был некий игумен, повелевший бросить яко пса без погребения тело монаха, после которого нашли в келье златницу!

Не иначе, как услышал Господь слёзные молитвы молодого иеромонаха и, вот, спустя десятилетия, он оканчивал свой жизненный путь в положении худшем, нежели удел многих нищих стародавних времён. И не

это положение тяготило душу — за него, как и за всё, непрерывная слава Всемилосердному, но участь Церкви, участь стада Христова, о котором владыка, как пастырь, всегда пёкся всем сердцем.

С душевным сокрушением приходилось, однако, признавать, что участь эта была накликаема, как всякая беда. Какой могла быть она, если вера и благочестие неуклонно падали все последние годы Империи? Те, которые должны были быть примерами их и живыми проповедниками, предпочитали подавать обратные печальные примеры равнодушия и пренебрежения к ним! Интеллигенция бесилась хульною ненавистью к Церкви и лучшим силам, выработанным и веками засвидетельствованным в своей истинности и спасительной жизненности, уставам и всему строю... Страшно было ждать вразумления за отступничество и, казалось, что несчастная Русско-Японская война станет таковым для имеющих уши. Люди неверующие, избираемые часто для наказания именующих себя верующими и не живущих по вере, получают как будто ту помощь и милость Божию, которая более свойственна получению верующими. Так Господь, карая Россию, призвал на нее язычников и благословлял успехом их грозное оружие все время войны и на суше, и на море. И это было не только согласно с решением суда Божия наказать Россию, но и с правдою Божиею, поставившею выше относительное достоинство язычников, живущих честно, нежели именующих себя верующими, но живущими зазорно. Если христиане не выше язычников по своей жизни, это уже вменяется в достоинство язычнику, и в тем больший позор христиан. То, что простительно язычнику и неверующему, то самое — преступление для верующего.

Но нет, не услышали оглохшие грозного предупреждения. И напрасно обвинять большевиков в разрушении веры. Они лишь dokonчили дело, ибо

Россия отступила от Христа ещё прежде. Кажется (сколь это ни жестоко!), христианство — не в его идеальности, а в способах его проявления в людях и усвоения ими — так же знает вырождение, как все другое живущее и развивающееся на земле. Миллионы людей называли себя христианами, но не задавались вопросам: разве так жили первые и истинные христиане? Вера превратилась в формальный обряд, в ритуал, совершаемый как-то механически, безжизненно, в силу привычки, без участия души, без сосредоточения внимания, без умиления, без трогательности и вообще без той первобытной свежести, простоты, задушевности и непринужденности, которые отличали всякое проявление христианского настроения в первые времена. О каком истинном христианстве можно было говорить, когда никто так мерзко не умел праздновать своих праздников, как русские, православные христиане! Пьянство, разгул, драки, побои, брань самая скверная, отвратительный разврат, бешеные удовольствия — это, значит, праздник! Праздник дьяволу, а не Господу Богу...

С ужасом внимала душа грозным ударам Суда Божия над Отечеством. Иногда находили минуты отчаяния, в которые не оставалось сил трудиться, молиться, страдать и терпеть. И одна мольба рвалась к небу: «Господи! Не погуби до конца. Начни спасение! Не умедли избавления!» И приоткрывалась завеса над будущим — за девять лет до революции записал в дневнике пророческое: «Настало вновь время терпения и страдания за истину Христову. Вновь близится век мучеников, исповедников, страстотерпцев. Искусные в вере — явитесь! Истинные Боголюбцы и Христоролюбцы — выступите!»

Иные и выступили. Но слишком мало оказалось таких Христовых ратников. Даже среди верных Царю и

Отечеству недостаточно оказалось тех, кто осознавал бы ясно, что невозможно быть истинным слугою земного Царя, не будучи истинным слугою Божиим. Только истинный Божий слуга имеет все побуждения и средства быть верным слугою Царя и полезным членом Церкви и Отечества.

Отступив от Христа и Его Церкви, русский народ неизбежно обречён был скатиться во тьму всевозможных ужасов и безобразий. Революционные неистовства и тому подобные движения и вольномыслие — отражение суда Божия неверности христиан своим заветам. Все подсудны этому суду. Все виноваты в появлении этих ненормальностей, «все уклонишася» и стали ответственны за это уклонение, навлекающее столько нареканий и на Бога, и на веру Христову, и на Церковь, и на христианство. Изолгавшись в своей вере и жизни так, что не только стали непохожи на христиан, но и стали поистине хуже язычников, дерзая называть однако себя христианами, христиане сделали соблазном для нехристиан, своей безбожной жизнью разожгли в них ненависть не только к себе самим, но и к вере, к святыням, к имени Христову, коим покрыли свои беззакония.

Из этой лжи родилось и обновленчество, в рядах которого встречались и такие «искренние революционеры», которые взаправду желали покончить с мертвящим формализмом, не понимая, что участвуют в сокрушении не формализма, являвшегося скорбью любого честного пастыря, а самой Церкви.

Как и все достигшие своего апогея с приходом большевизма болезни, беды церковные имели корни в недавнем прошлом, когда Церковь окутал дух обмирщения и лицемерия.

Лицемерные чтители святыни и благословения церковного хотели, чтобы Церковь освящала театр и давала благословение на начало или открытие

театральных зрелищ. Дерзкое безумие и бессмысленное кощунство! Зачем им непременно здесь надобилось благословение, тогда как, несомненно, во многих других и гораздо более важных случаях у себя дома те же люди и не подумали бы ни о каком благословении? Не всё прилично подводить под небесные благословения! Надо знать и здесь свои границы и свои приличия! Казалось, что вот-вот потребуют, чтобы Церковь благословляла и кропила святой водой и скверный табак, и другие слабости и прихоти человеческие, запросят благословения разные кафешантанные певицы на открытие своих душепагубных подвигов, потребуют особый чин на открытие своих действий балаганные «Петрушки», заходятайствуют об особой молитве на открытие и освящение — всякие вертопрашеские карусели...

Лицемерные «праведники» говорили о святости, чтили Господа устами, а делами давали пример обратный, отвращая многие души от Дома Божия. Как мог не обнажиться этот дух лицемерия во всём безобразии в условиях победы антихристовых сил?

Но как ни сильны были предчувствия, а явленное отступничество оказалось неожиданным. Нежданным особенно оттого, что исходило не от кого-нибудь, но от почтенного и мудрого иерарха, к которому дотоле владыка Иосиф питал уважение, как к радетелю о единстве Церкви, на стороне которого выступил против покойного митрополита Агафангела, от которого, наконец, получил митрополичий сан и Петроградскую кафедру...

Тяжел был удар, но сперва и не думал владыка вступать в борьбу с отступниками, а полагал лишь отказаться от незаконного перемещения на одесскую кафедру и с тем уйти в затвор и погрузиться в молитвы — какой удел может быть благословеннее для монаха? Митрополит Иосиф был уверен, что его спор с Сергием

окончен и что, отказавшись дать себя принести в жертву грубой политике, интриганству и проискам врагов и предателей Церкви, он сможет спокойно отойти в сторону, добровольно принеся себя в жертву протеста и борьбы против этой гнусной политики и произвола. Но промыслом Божиим было суждено иначе.

Оказалось, что жизнь церковная стояла не на точке замерзания, а клокотала и пенилась выше точки простого кипения. «Маленькое дело» петроградского митрополита вскоре же стало лишь малой крупницей столь чудовищного произвола, человекоугодничества и предательства Церкви интересам безбожия и разрушения этой Церкви, что владыка мог лишь удивляться не только одному своему покою и терпению, но и равнодушию и слепоте тех других, которые еще полагали, что попустители и творцы этого безобразия творят дело Божие, «спасают» Церковь, управляют ею, а не грубо оскорбляют ее, издеваются над нею, вписывают себя в число ее врагов, себя откалывают от нее, а не откалывают тех, которые не могут терпеть далее этой вакханалии, грубого насилия и безобразно-кощунственной политики.

Как один из заместителей местоблюстителя, митрополит Иосиф чувствовал себя обязанным не только заменять арестованного предшественника, но быть ему и свободным предостережением на случай замены в возможности духовного падения. Конечно, такое духовное падение должно было в нормальных условиях жизни церковной сопровождаться и судом, и соборным решением. Но какой суд и соборное решение возможны были в условиях действительных?

Однако, ни случись выступления петроградских клириков и мирян, вероятно, владыка не решился бы на крайние меры, предпочтя молитву и затвор борьбе. Парадокс: течению, отныне названному его именем, отнюдь не он положил начало, но был значительно



позднее втянут в него, и не оно шло за ним, а ровно наоборот.

Немало болезненных душевных сомнений испытал владыка в первые месяцы борьбы. Временами охватывала тревога, что единомышленники сойдут с занятых позиций, смирятся и покинут его в одиночестве. Возможность обратного поворота для себя митрополит исключал. Большое огорчение доставляло и непонимание, осуждение бывших собратий, избравших «легальный» путь, их обвинения в создании раскола. Им, скрепя сердце, владыка Иосиф отвечал с твёрдостью: «Дело обстоит так: мы не даем Церкви в жертву и расправу предателям и гнусным политиканам и агентам безбожия и разрушения. И этим протестом не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя и дерзновенно говорим: не только не выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр истинной Православной Церкви, а врагами ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим в раскол, не подчиняясь митрополиту Сергию, а вы, ему послушные, идете за ним в пропасть церковного осуждения. Мы зовем Вас к укреплению Вашей силы в борьбе за независимость Церкви, только совсем не так, как Вы полагаете должным. Не согласием с поработителями этой Церкви и убийцами ее святой независимости, а громким и решительным протестом против всякого соглашательства и лживых компромиссов и предательства интересов ее интересам безбожного мракобесия и ожесточенной борьбы со Христом и Его Церковью.

Может быть, не спорю, «вас пока больше, чем нас». И пусть «за мной нет большой массы», как говорите Вы. Но я не сочту себя никогда раскольником, хотя бы и остался в единственном числе, как некогда один из св. исповедников. Дело вовсе не в количестве, не забудьте

ни на минуту этого: Сын Божий, «когда вновь придет, найдет ли вообще верных на земле». И может быть последние «бунтовщики» против предателей Церкви и пособников ее разорения будут не только не епископы и не протоиереи, а самые простые смертные, как и у Креста Христова Его последний страдальческий вздох приняли немногие близкие Ему простые души».

Взявшему крест негоже сворачивать со спасительной стези. Четвёртого своего ареста владыка ожидал и, уже зная наперёд всю «кухню» следствия, предстал перед следователем, сохраняя душевное спокойствие. Он готов был признать свои невольные ошибки и просить за них прощения — но только в вопросах, не касавшихся Церкви. Заявлял себя лояльным власти гражданином, готовым исполнять её законы до тех пор, пока те не вторгаются в область веры.

Странно было слушать от чекиста среди прочих обвинения в несогласии с господином-лакеем Сергием, в дискредитации последнего. Стало быть, осуждение его это и есть уже выступление против Советской власти? Но ведь вся советская же печать гораздо злее и ядовитее высмеяла этот лакейский подход Сергия к власти в стихах, фельетонах и карикатурах! Отчего же воспрещено это церковной оппозиции?

— Сергей хочет быть лакеем Советской власти, — мы хотим быть честными, лояльными гражданами Советской Республики с правами человека, а не лакея, и только, — заявил митрополит Иосиф на допросе. — Ведь у нас столь красивые (но уже ли лживые?) декреты о свободе совести, об отделении церкви от государства, о свободе всякого вероисповедания, о невмешательстве в чисто церковные дела, о запрещении поддерживать одну религиозную организацию в ущерб другой. И если законы пишутся для того, чтобы их исполнять, то не там ли настоящая контрреволюция, где эти революционные

законы не исполняются, и этим самым они только роняются, уподобляясь «филькиным грамотам»?

И, вот, итог: седьмой год ссылки...

За дверью слышались шаги, и в комнату вошла запыхавшаяся Нина с корзиной свежих фруктов. Мишутка радостно бросился к матери. Поцеловав его, она негромко сказала:

— Владыка, к вам человек пришёл.

— Какой человек?

— Хромоногий седой, одет чуть ли не в рванину. Русский.

— Я понял, — кивнул митрополит, с первого слова узнав в пришельце своего тайного «почтаря» отца Вениамина. — Где он?

— Сказал, что будет ждать вас у арыка, что место вы знаете.

— Да-да, знаю... Каля, собери что-нибудь в дорогу моему гостю. Я бы пригласил его к обеду, но не стоит привлекать внимание соседей.

Сестра проворно собрала небольшой узелок со снедью, и митрополит неспешным, прогулочным шагом направился к расположенному неподалёку от дома арыку, за которым простиралась безлюдная степь. Эта степь была обычным местом его редких встреч с приезжавшими к нему верными чадами.

Отца Вениамина он увидел не сразу. По-видимому, уставший с дороги, он сидел в скупой тени растущего у воды урюка, прихлёбывая воду из фляги. Своим видом посланник мог легко сойти за восточного дервиша — столь убог был его наряд. Пожалуй, недурная конспирация... На оборванного, хромоного старика-бродягу с длинной клюкой вряд ли кто обратит внимание в этих краях. Ближе к России бывший царский офицер, принявший постриг, конечно, сменит обличье. Станет печником, маляром или кем-либо ещё. Опыт по этой части у отца Вениамина значительный. В самые

отдалённые уголки проникал он, доставляя письма, а подчас и помощь, и, благодарение Богу, оставался доселе неуловим для НКВД.

Босые ноги старого монаха, обутые в видавшие виды сандалии, были покрыты кровавыми мозолями, лицо почернело от загара. Можно было представить, какие тяготы приходится преодолевать ему ради взятого на себя подвига. Заметив приближающегося митрополита, он неуклюже поднялся навстречу, опершись на свою палку, склонился:

— Благословите, владыка!

— Бог благословит, отче! Рад видеть вас живым и невредимым. Вас долго не было. Я опасался, что вас арестовали.

— На всё Божья воля, но каюсь, владыка, в грехе самонадеянности: чем дольше живу, тем более утверждаюсь, что не возьмут они меня, — отец Вениамин отбросил со лба слипшиеся волосы. — Было время, когда я слишком отчаянно искал смерти. Видимо, во искупление прежнего безумия мне назначено долгие годы скорбеть скорбями мира сего.

Владыка бегло огляделся, проверяя, нет ли за ним слежки, и протянул «дервишу» узел со снедью:

— Это вам в дорогу.

— Спаси Христос, — ответил отец Вениамин, принимая «подаяние» и одновременно незаметно вкладывая в руку митрополита запечатанное письмо. — От владыки Кирилла! — прошептал чуть слышно.

— Благодарю, — митрополит чуть кивнул головой. — Прогуляемся, отче?

— Если не боитесь, что солнце изжарит нас заживо, охотно, — пожал плечами посланник, уже знавший, что только в безлюдной степи можно было говорить относительно спокойно.

— Я успел свыкнуться со здешним климатом. А вас я бы и вовсе принял за туземца в этом одеянии.

— Я старался, чтобы и все принимали, — отец Вениамин поправил линялую тубетейку и медленно последовал за владыкой.

— Что же, вы и язык их изучили?

— Боже упаси. Изображать глухонемого значительно проще!

Митрополит Иосиф прищурился, с любопытством изучая своего собеседника:

— Вы ведь служили в артиллерии? Или я путаю?

— Так точно, служил, — кивнул «дервиш». — А отчего вы спрашиваете?

— Просто подумал, что с вашими дарованиями вам следовало бы служить в контрразведке.

— Там я тоже служил в восемнадцатом году. Правда, очень недолго.

— Почему?

— Видимо, в то время мои дарования не пожелали себя обнаружить, — развёл руками отец Вениамин.

Отойдя на почтительное расстояние от человеческих жилищ, владыка с некоторым волнением распечатал письмо и углубился в чтение.

Переписку с митрополитом Кириллом ему удалось наладить лишь в начале 1937 года, когда тот, прибыв этапом в Казахстан, был направлен в поселок Яны-Курган. Узнав об этом, владыка Иосиф с первой же оказией отправил собрату письмо, в котором свидетельствовал ему свое глубочайшее почтение и преклонение перед его мужественным стоянием в борьбе за церковные интересы. Это было пробным камнем для выяснения отношения митрополита Кирилла к нему и установившейся за ним репутации главаря особого церковного движения. Полученный ответ был более чем удовлетворительным.

Достигнутое единомыслие было тем более важно, что после кончины митрополита Петра, о которой объявили годом раньше, господин-лакей Сергей

окончательно присвоил себе церковную власть, хотя сам же писал некогда, что полномочия заместителя действуют лишь до тех пор, пока жив местоблюститель, утверждал, что в случае кончины владыки Петра ему будут наследовать оставшиеся два местоблюстителя, а он отойдёт в сторону. Что ж, Сергей и здесь остался верен себе в своём бесстыдном лицемерии.

Из трёх местоблюстителей оставался в живых лишь один — митрополит Кирилл. Ему должны были перейти права первого епископа, но новоявленный Отрепьев Страгородский как будто забыл о существовании владыки и объявил местоблюстителем себя. Однако, не забыли верные. Ссылные архиереи высказались за то, чтобы главой Российской Православной Церкви признать митрополита Кирилла. С этим решением, не колеблясь, согласился и митрополит Иосиф.

Письмо местоблюстителя было немногословным. Оно вновь подтверждало совершенное сходство взглядов обоих иерархов. Это-то сходство и сообщить теперь всем, чтобы не было ложных суждений, будто бы Иосиф стоит на крайних позициях, тогда как Кирилл — на умеренных!

— Когда бы встретиться нам двоим, поговорить... — пробормотал владыка, пряча письмо и в который раз жалея, что за столько лет совместной борьбы ни разу не имел возможности лично свидеться со старейшим собратом. Обернувшись к хромающему за ним «дервишу», спросил: — Сколько вы пробудете в здесь?

— Вы знаете, владыка, я не задерживаюсь на одном месте дольше суток-двух. Это единственный способ избежать слежки. Ночь я проведу здесь. В полдень вновь приду насладиться прохладой арыка перед дальней дорогой. А затем отправлюсь дальше.

— Куда лежит ваш путь теперь?

— На север. Я давно не был у своего духовного отца — владыки Сергея. Он очень болен и терпит горькие

лишения... Дальнейший же маршрут определится по ходу пути.

— Туда вы тоже отправитесь в образе нищего странника?

— Ни в коем случае. Там бродягу вроде меня мигом препроводят, куда следует. Старый печник, переходящий от дома к дому — это куда надёжнее.

— Когда только вы успели освоить ремесло печника...

— Нужда заставит — не то что ремесло, но и здешнюю тарабарщину выучишь, — улыбнулся «дервиш».

— Вы ещё сохранили документы?

— Теперь их у меня целых три.

— И вы их носите с собой?

— Нет, конечно. Они хранятся у надёжных людей в надёжных тайниках.

— Странно, что вы не проявили дарований в контрразведке...

— Видимо, не пришло тогда моё время.

Они двинулись в обратный путь.

— Завтра в полдень я пошлю к арыку кого-нибудь из своих, чтобы передали вам кое-какую корреспонденцию. Признаюсь, отче, меня томит предчувствие, что скоро всё кончится... Не для Церкви, конечно. И не для вас... Но для меня. Ко мне приехали родные, и я рад им, но в то же время хочу, чтобы они уехали как можно скорее, иначе под удар могут попасть и они. Если бы достаточно было мне одному принести себя в жертву, чтобы никто больше не пострадал, я бы с радостью пошёл на это! Но моя жизнь слишком ничтожна... Единственное, что придаёт мне крепости — это верность, твердость и ревность истинных чад Христовой Церкви. В этом — моя жизнь, сила и спасение. А измена, расслабление и равнодушие их — моя гибель, мое поражение и уничтожение. Некоторые

считают народ бессмысленным, готовым идти всего-навсего за «белым клобуком», не разбирая личности. Жизнь должна испробовать этот взгляд на деле. Если «легализовавшиеся» восторжествуют всецело, как уронится этим «народ»! Если же этого не случится, как он поднимется и еще в наших страдальческих глазах! Мы убедимся тогда, что стоило пострадать за этот народ, и не тяжки будут за него эти страдания. Но если... если иначе... — митрополит запнулся, разволновавшись, качнул головой: — Да избавит Господь от непосильных страданий!

До арыка оставалось пройти недолго, и митрополит остановился, сказал хранившему молчание отцу Вениамину:

— Вы идите первым, а я немного обожду, чтобы нас не видели вместе.

— Благословите, владыка! — «дервиш» склонился, сложив руки, и владыка благословил его, добавил на прощанье, напутствуя:

— Ничего, отче. Не может быть, чтобы все наши муки, наше стояние оказались напрасными. Власть борется не с нами, не с Истинной Православной Церковью, а с Ним, Богом, Которого никто не победит. И наше поражение, ссылка, заточение в тюрьмы и тому подобное не может быть Его, Бога, поражением. Смерть мучеников за Церковь есть победа над насилием, а не поражение. К тому же я твёрдо верю, что никакими репрессиями наше течение уже не может быть уничтожено. Наши идеи, стойкость в чистоте Православия пустили слишком глубокие корни. А от них, если даже срублены будут старые деревья, вновь взойдут побеги, и Церковь будет жить, несмотря ни на что.



## Глава 6. В Красном городе

Ещё три десятилетия назад тихий городок Царевококшайск, насчитывавший тринадцать улиц и триста строений, заселённых за редким исключением сплошь русскими, не подозревал о том, что он — отнюдь не русский провинциальный город, а самая что ни на есть столица марийского народа. Большевики исправили эту историческую несправедливость «великодержавных шовинистов» в отношении марийцев, и в 1936 году практически в центре России, рядом с Нижегородской областью, была образована Марийская автономная советская социалистическая республика, а Царевококшайск, ставший ещё в 1920 году Краснокошайском, отныне окончательно покончил с «рабским прошлым» и получил гордое имя — Йошкар-ола (Красный город).

Сюда-то по окончании пятилетнего тюремного заключения был сослан старый и немощный епископ Сергей (Дружинин). Кто бы мог подумать, что на заре «иосифлянства» многие считали владыку недостаточно решительным, а то и вовсе безвольным, слабым и даже подозревали в «сергианстве», не доверяли твёрдости его стояния в истине. Но подлинное исповедничество проявляется в самые тяжёлые мгновения. Именно так случилось с епископом Сергием.

Пожалуй, никто или почти никто из архиереев не был столь прямодушен на допросах. Арестованный владыка пренебрёг всякой дипломатией, уклончивостью, обычными «играми», которые пытаются вести со следователями искусные в слове подследственные. Он предпочёл путь твёрдого исповедания своих взглядов не только по церковным, но и по политическим вопросам.

— К «истинно-православным» я примкнул сознательно и вот почему: Советская власть безбожная, а раз она безбожная, она недолго просуществует. Поддерживать безбожную власть — это стать самому безбожником. Митрополит Сергей в своей декларации поддерживал Советскую власть и повел Церковь Христову по ложному пути на погибель. Я считаю, что если бы после смерти Тихона был созван второй Поместный Собор в целях избрания нового патриарха, то этот собор, как и собор 1917—18 годов, должен был бы заявить во всеуслышание, что Церковь Православная Советскую власть не намерена признавать, как власть безбожную. Истинное православие может существовать только при монархе. Только он один может восстановить порядок в разоренной России и возмочь Церкви процветать на погибель всех гонителей Православной Церкви. Своих убеждений я не скрывал и старался в этом духе воспитывать верующих. Будучи двадцать лет духовником Великих князей, я был целиком предан им. Государя я считал и считаю помазанником Божиим, который всегда был с нами, с нами молился и вместе с нами вел борьбу с хулителями Церкви. За его убийство, за убийство наследника я ненавижу большевиков и считаю их извергами рода человеческого. За кровь помазанника Божьего большевики ответят. За все то, что большевики совершили и продолжают совершать, за расстрелы духовенства и преданных Церкви Христовой, за разрушение Церкви, за тысячи погубленных сынов Отечества большевики ответят, и русский православный народ им не простит. Я считаю, что у власти в настоящее время собрались со всего мира гонители веры Христовой. Русский православный народ изнывает под тяжестью и гонениями этой власти. Стремление Советской власти посредством коллективизации, устройства колхозов спасти свое

положение не пройдет. Крестьянство политикой Совласти недоволено. В наши задачи входила обязанность разъяснять верующим, что Советская власть, как власть безбожная, недолго просуществует. Я и мои единомышленники считали, что истинное православие чрез Церковь приведет разоряемую большевиками Россию к нашей победе, к победе над врагами и гонителями веры православной, — так говорил владыка Сергей перед лицом следователя.

После этого оставалось лишь удивляться «мягкости» вынесенного приговора — пять лет тюремного заключения... Их епископ провёл в Ярославском политизоляторе, где содержались многие осуждённые по «делу ИПЦ» — в частности, владыка Димитрий (Любимов) и Михаил Новосёлов. Бог судил владыке Сергию присутствовать при последних минутах жизни епископа Димитрия и проводить его в лучший мир, который уже звал и его самого.

Окончание тюремного заключения обернулось для него новым этапом, едва ли не убийственным для больного старца, но и новое испытание вынес он. Однако, оно не стало последним.

Оказавшись в чужом городе без средств к существованию, ограбленный во время этапа до нитки, лишившийся тёплой одежды, владыка Сергей, должно быть, просто умер бы от голода и холода, если бы не счастливая встреча в Казани со следовавшим другим этапом в Архангельск из Йошкар-Олы епископом Авраамием, давшим ему адрес, по которому ещё недавно жил сам. Две пожилые монахини разорённого Богородице-Сергиева монастыря, проживавшие в маленьком доме по улице Волкова, охотно приняли нового постояльца. Анна Комелина и Антонина Шахматова не посещали церкви после ареста своего батюшки, не признавали «легализации». Женщины зарабатывали себе на пропитание, работая прислугой

или сторожиками, исповедовались и причащались у истинных пастырей, когда выпадала такая возможность. Жили сёстры до крайности бедно — все сколь-либо приличные вещи были давно распроданы.

Когда отец Вениамин впервые добрался до Йошкар-Олы, то нашёл своего духовного отца в тяжелейшем положении. Владыка практически не мог ходить без посторонней помощи, руки его дрожали и плохо слушались. К тому прибавлялись сильнейшие головные и суставные боли. Старец не имел ни простыни, ни белья, ни тёплой одежды, жил исключительно подаванием. Едва выводя буквы, он несколько раз писал Пешковой, во время тюремного заключения много помогавшей ему и даже навестившей во время нахождения в тюремной больнице в Москве. Но на этот раз Екатерина Павловна оказалась бессильна — число нуждавшихся в помощи становилось всё больше, и средств помочь всем не хватало. Зато сотрудники ППК известили о положении владыки его духовных чад, и те из них, что ещё не разделили его судьбу, не замедлили придти на помощь, присылая деньги, вещи, еду.

Постепенно к епископу Сергию стали приезжать священники и монашествующие из разных районов Марийской АССР и Кировской области, испрашивая руководства. Удалось наладить общение с епископом Иларионом (Бельским), проживавшим по освобождению из Соловецкого лагеря в ссылке в Козьмодемьянске. Владыке Илариону удалось даже лично навестить владыку Сергия.

Немного окрепнув, нищий и больной архипастырь возобновил своё служение. Из Ленинграда некая Евдокия прислала ему антиминос и облачение, прося в письме: «Как-нибудь сохраните, чтобы не попало в руки врагов». Владыка совершал тайные богослужения в доме своих хозяек, на которых кроме них присутствовали приезжавшие с окрестностей сёстры

закрытой обители и простые миряне — в основном, крестьяне, так и не вступившие в колхоз.

Владыка утешал и наставлял их, пересказывал старинные пророчества о пришествии антихриста, разъясняя, что настали времена гонений на веру православную, и переживаемое время есть время гонений и антихриста. Верующие также охотно слушали воспоминания старца о Государе, к которому все питали глубокое почтение. Такая настроенность паствы радовала сердце епископа Сергия, и он с удовольствием вспоминал самые светлые годы своей жизни:

— Несколько лет я был духовником Великих князей Константиновичей и все эти годы верил, что с гибелью Советской власти я буду опять духовником оставшихся из них в живых. Князь Гавриил даже посылал мне поклон из-за границы... Конечно, теперь мне навряд ли суждено дожить до этого часа, но вы, Бог даст, доживёте. Недолго осталось, дети, придёт время, и Россия снова расцветёт под скипетром своего Царя, и настанет мир, покой и благоденствие.

Во время таких бесед слёзы наворачивались на глаза старика и катились по дряблым щекам, исчезая в густой, белоснежной бороде. В этой картине было что-то глубоко пронзительное, настолько, что раз застав её, отец Вениамин сам почувствовал, как к горлу подкатил ком.

Он был бы рад остаться со старцем-архипастырем, сделавшись ему опорой в претерпеваемых страданиях, но слишком опасно было задерживаться на одном месте. К тому же служба связного между ссыльными архиереями требовала постоянных перемещений.

Путь из Мирзояна, бывшей Аулие-Аты, до Йошкар-Олы занял у него не одну неделю. Добравшись до места в первую неделю сентября, отец Вениамин, прежде чем идти в город, направился в близлежащую деревню

Коряково, где проживала крестьянка Мария Бусыгина, в доме которой находили приют все скрывающиеся и преследуемые за веру. Бусыгина принадлежала к общине катакомбных христиан, организовавшей после ареста в 1932 году настоятеля Мало-Сундырской церкви Александра Игноносова и перехода церкви в «сергиевскую» ориентацию. В своём исповедничестве верующие не только отказывались принимать «сергианство», но считали должным не подчиняться законам власти, не признавать ее и не поддерживать материально, как безбожную. Они терпели отчаянную нужду, но ни за что не соглашались идти в колхозы, считая, что те созданы антихристом, и идти в них — значит, соединиться с сатаной.

Было уже темно, когда отец Вениамин доковылял до Коряково. И хотя в глаза ему не бросилось ничего необычного, но что-то необъяснимое всё же насторожило его. Этот внутренний голос ещё ни разу не подвёл архиерейского посланника, и, следуя ему, он не пошёл к дому Бусыгиной, а осторожно прокрался к избе Демида Скворцова, бывавшего на тайных службах. Некоторое время отец Вениамин сидел под забором, прислушиваясь к доносившимся из дома звукам, проверяя, нет ли чего-либо подозрительного.

Вот, открылась дверь и, почёсывая спину, с крыльца спустился хозяин, пошёл в сторону бани. Отец Вениамин чуть привстал и окликнул его:

— Демид!

Скворцов вздрогнул, осторожно подошёл к забору, ахнул испуганно:

— Батюшка!.. Ох, не в добрый час ты к нам... Слушай, — зашептал, — за баней в заборе доска подломана — входи и иди к дому. Не стучись, заходи. И осторожно — чтоб не заметили тебя, не дай Господи!

Когда Демид ушёл в дом, отец Вениамин сделал всё, как он сказал. Переступив порог, он услышал шёпот:

— В горницу проходи, — рука Скворцова ввела его в комнату. Окна были наглухо закрыты ставнями, на столе тускло мерцала коптилка.

— Что-то случилось? — полуутвердительно спросил отец Вениамин.

— наших всех взяли, — мрачно ответил Демид. — Весь август лютуют. Сперва монашек перехватывали, затем владыку Илариона. А на днях — Марью и отца Харитона. Видать, следили ироды за её домом! Всё не брали её, ждали. А как отец-то Харитон пришёл, так обоих и схватили.

Отец Харитон Пойдо был мало знаком отцу Вениамину. Он видел его лишь однажды. Слышал, что родом батюшка из екатеринославской деревни, до войны жил и работал в Святогорском монастыре и Троице-Сергиевой лавре, затем сражался на фронте, попал в плен, по возвращении был арестован большевиками за свидетельство о чуде обновления икон, по освобождении принял сан. Отца Харитона отличала горячая, простонародная вера, не скованная свойственным интеллигенции резонёрством, подчас порождающая чрезмерные уклоны, но в своей чистоте и горении не знающая компромиссов. Для таких людей, как Харитон Пойдо, Мария Бусыгина и другие, не могло быть половинчатых решений, тех или иных трактовок, а был только крест, который они несли, и Правда, от которой они боялись отступить хоть на толику.

— Донесли на нас... — тихо сказал Демид.

— Кто же?

— Семёновской церкви поп, кто ж ещё! Иуда... Чую, недолго и мне в родных стенах оставаться. Того гляди заявятся опричники.

— А отец Сергей что ж?

— Кто ж его знает? Намедни ещё свободен был, а сейчас как знать? Ты, батюшка, не взыщи — потчевать тебя мне нечем. Дотла разорили ироды.

Скворцов ещё не стар был, едва перевалило за сорок, а по виду — старик: худой, как жердь, голова — череп, обтянутый изжелта-бурой кожей, жиденькая бородка, жилистые, костистые руки...

— Посадят меня, баба с ребятами пропадёт... И горько мне от того так, что волком выть хочется, но на всё Божья воля. Что бы ни было, а завсегда лучше умереть со Христом, нежели жить с антихристом. Ты, батюшка, вот, кипяточку попей да ягодой, ягодой заешь. И спать ложись. А поутру, пока солнце не встанет, уходи от греха.

Подавленный горькими вестями, отец Вениамин примостился на лавке, подложив под голову свой мешок, и заснул, будучи истомлён дорогой. Однако, сон продлился недолго. Ночную тишину нарушил грубый и частый стук в дверь.

Отец Вениамин вскочил, мгновенно поняв, что к чему. В тот же миг Демид ухватил его за рукав и быстро зашептал:

— Скорее сюда! — метнувшись к массивному шкафу, напомиравшему о прежней жизни крепкого середняка, он полностью выдвинул нижний ящик, отодвинул крышку скрытого под ним люка, ведущего в погреб: — Прыгай туда! Авось, не отыщут! Оттуда ход есть на двор.

Стук в дверь становился всё более яростным, и отец Вениамин спрыгнул в темноту. Скворцов успел закрыть люк и задвинуть ящик прежде, чем чекисты ворвались в дом. Послышались громкие голоса, топот ног, грохот падающих вещей, детский плач...

— Мой муж ни в чём не виноват! — вечный безнадежный стон, рождающий лишь злую ухмылку на лицах палачей.



Отец Вениамин затаил дыхание, вслушиваясь в происходящее наверху. Неужели его выследили, как Харитона? Неужели пришли по пятам, и теперь Демиду и его семье придётся отвечать и за это?

Но нет, по-видимому, о присутствии гостя не догадывались чекисты, а лишь исполняли заведённый ритуал, обыскивая, задавая вопросы.

— Вы, гражданин Скворцов, являетесь злостным врагом Советской власти, — скрипучий, неприятный голос, казалось, говорил лишь для того, чтобы скоротать время, отведённое на обыск. — Нам известно, что вы со своими подельниками готовили её свержение.

— Никакого свержения власти мы не готовили, — невозмутимо отвечал Демид. — Нам, истинно-православным христианам, даже оружия иметь не полагается.

— Но вы отказывались подчиняться власти. Почему?

— Советская власть является безбожной, грабительской властью, созданной не Богом, а Сатаной, и такую власть я по своим религиозным убеждениям поддерживать отказываюсь, налоги не платил и платить в дальнейшем не буду. От выполнения законов Советской власти отказываюсь, детей своих пускать в советскую школу не буду, потому что там учат безбожию. Никакие государственные работы, как лесозаготовки, дорожное строительство, выполнять не буду, на советских документах расписываться где-либо также не буду.

— И чего же вы хотите добиться таким способом?

— Таким способом я хочу спасти свою душу и ускорить неизбежное падение вашей власти и утверждение власти новой, которая бы поощряла религию, как это было при Царе.

Подобно владыке Сергию, его марийская паства не считала нужным таить свои взгляды, покрывать их мудрыми и лукавыми формулировками. Им не суждено

будет рассказать о себе летописцам, написать воспоминаний или иных сочинений. Их летописцем станет протокол, лишь он будет хранить вечно их мысли, их исповедание. Так к чему же таиться и лукавить перед ним? Пусть сохранит он подлинное слово.

Что-то противно запищало, завозилось под ногами. Мыши? Или — хуже того — крысы? Только их и не доставало теперь! И ни проблеска света! Только непроглядный мрак и холод, сырость, с каждым мгновением всё сильнее сковывающая тело. А шевелиться — нельзя!

Наконец, Демида увели, и отец Вениамин стал шарить по карманам в поисках спичек. Сверху доносились причитания жены и осиротевших детей, но подвергать их ещё большей опасности своим появлением, пугать их стуком в пол не хотелось.

Изведя дюжину спичек, он всё-таки отыскал другой выход. По счастью, заря лишь едва забрезжила и, хоронясь за огородами, почти ползя по росистой траве, отец Вениамин сумел выбраться из деревни незамеченным.

До следующей ночи он прятался в отдалении от населённых пунктов, а ночью, презрев осторожность, велевшую уезжать из опасного места, всё-таки отправился в город в надежде увидеть владыку Сергия — может быть, в последний раз получить его благословение.

От голода и усталости время от времени кружилась голова, но отец Вениамин гнал от себя сладостные грёзы о тёплой постели и горячем ужине.

Маленькие городки хороши тем, что их всегда можно вдоль и поперёк исходить пешком, не прибегая к услугам транспорта, и плохи оттого, что всякий пришлый в них неизбежно обращает на себя внимание.

Впрочем, последнее малозначительно, когда передвигаться приходится под мраком ночи.

Окончательно вымотавшись и продрогнув, отец Вениамин добрёл, наконец, до улицы Волкова. Ещё несколько шагов, и... Но сладостная грёза пугливо отшатнулась, услышав гул приближающейся машины. На машинах да ещё и по ночам добрые люди не ездят... В одно мгновение отец Вениамин спрыгнул в кювет и растянулся под чьим-то забором, сделавшись вовсе невидимым с дороги. Автомобиль проехал мимо и затормозил у дома монахини Анны Комелиной. Сердце ёкнуло. Ах, что бы стоило прийти напрямик сюда вчера!..

Вот, осветились все окна знакомой лачуги, замелькали тени. Отец Вениамин лежал, не шевелясь. Он не надеялся на чудо, но просто не мог уйти теперь, хотя бы взглядом не проводив своего духовного отца в предпоследний путь.

Сколько времени прошло в этом ожидании? Бог весть! Наконец, свет погас, и на улице показались несколько фигур. Впереди — чекист, позади — ещё два. А между ними две монахини бережно вели под руки с трудом переставляющего ноги старца. Один из шедших позади прикрикнул на них грубо — чтобы не мешкали. Не менее грубо арестованных затолкали в машину. Через мгновение она тронулась с места, промчалась мимо приподнявшегося на локте отца Вениамина...

Некоторое время он смотрел ей вслед, затем встал и, перекрестясь, шатко побрёл по дороге прочь из города, в котором отныне его никто не ждал.

## Глава 7. Последний поклон

— Итого считай, Матвеич: вкалывал я на ихний распроклятый колхоз с утра и до ночи, как каторжный. И что ж получил? Двести трудней! Вона! А знаешь ли ты, что такое двести трудодней? Пять пудов ржи! — Никифор Фомичёв растопырил корявую пятерню и выпучил глаза. — *Пять!* На полгода мне, бобылю, их, пожалуй, худо-бедно достанет. А остальные полгода — шиш! А с семьёй как? У нас Левтина, вдова с тремя ребятишками, четыре пуда ржи наработала. На месяц им хватит, а в остальное время — опять шиш! У ней дети хлеб только по праздникам видят! По крохотному кусочку, как заморское лакомство, смакуют его! Тому месяц назад старуха Митрофановна помирала. Всё грезила: мне бы хоть хвостик селёдочный пососать! А ведь прежде рыбы было столько, что разную там мелюзгу только кошкам давали! Господи Боже! Прежде о самом скверном труде говаривали: за кусок хлеба работаем! А ныне и куска этого не видим! И они ещё в школах своих детям нашим будут сказки свои бесстыжие про злых помещиков рассказывать! Но мы-то с тобой, Матвеич, не вчера народились на свет! У меня у самого дед крепостным был! У барина его тысяча десятин было, а у крестьян — три, сталбыть, тысячи! Разумей-Еремей! До их поганой революции на кажинный двор по осемь-девять гектаров приходилось! А ныне? Один с четвертушкой! В тридцать пять раз земельку нашу обкорнали! И ведь мало сукиным сынам! — Никифор грохнул тяжёлым, как кузнечный молот, кулаком о стол, не обращая внимания на испуганное лицо Катерины. — На помещиков по три дни пахали, а на этих всякий день, всякий день! Да ещё и оброк уплати! Барину-то по выбору: или отработай, или

уплати. А этим всё подай! Всё подай! Уже и не оставили нам ничего: полудохлую корову да несколько курёнков. Прежде по десятку поросей держали, а теперь дозволено одного лишь на колхозной ферме на откорм купить и ещё налог с него выплаты! А выкармливать чем? Только трясёшься, кабы не подох! Свиной-то теперь в разы в деревне поубавилось — экономика! И с таких-то «богатств» мы им ежегодно обязаны сдать по два пуда мяса, двести литров молока и полтора яйца. И заём в шесть сотен рублей с кажинного двора! Попробуй-ка выжить!

— Так, может, того — не стоило вступать в колхоз? — осторожно предположил Игнат, также, как и жена, тревожась, что зашедший поделиться горем сосед высказывает своё недовольство чересчур громко. Отваги прибавлял ему самогон, который он принёс с собой и теперь пил в одиночку, не смущаясь отказом хозяина составить компанию.

Никифора Игнат знал все годы, проведённые вдали от родных краёв. Был он сельским кузнецом. В 1930 его чуть-чуть не выслали, как «кулака», но уж зато обобрали до исподнего, и с той поры прикончилась сытая и покойная жизнь мужика, и остались лишь палочки трудодней... Худшего измывательства над трудящимся могла ли власть «трудящихся» изобрести? Загребала эта власть все колхозные продукты, платя за них ничтожную цену: по четыре копейки давали за килограмм ржи, а в магазинах затем сбывали килограмм хлеба за рубль, пшеницу покупали по шесть копеек, а продавали по четыре рубля. Более алчного и жадного перекупщика крестьяне в истории не знавали. И ведь даже копейки эти не им шли, а «на нужды колхоза». Колхозники же получали лишь крохи хлеба на свои трудодни.

— Не стоило... — Никифор печально посмотрел сквозь мутность гранёного стакана. — У нас одна

бабочка не вступила. Так её таким налогом обложили, что хоть вешайся. Огород отобрали, последнего курёнка и то не оставили. Верись, пришли к ней поутру три облома и ну за этим курёнком несчастным гоняться! А она на крыльце сидит, смеётся. Хотя тут плакать впору... Прежде — что! Батраком наймёшься, коль сам не хозяин, и ешь от пуза. Братуха мой на соседа батрачил. Полста рублей получал за труд. На эти деньги мог он, минимум, сто пудов ржи купить. А ныне, друг мой ситный, я пять получил! Считай же: в двадцать раз меньше! Вот, она — наука-арифметика! Разумей-Еремей! Верись, даже ожениться по-людски неведомо людям стало. Вдовица-то, Левтина-то, у нас давненько со Стёпкой-механизатором воловодилась. Ну, жили-жили в сраме — решили, наконец, узакониться. Два месяца пожили, а ныне опять он к ней потемну огородами шастает.

— Почему так?

— Не смекаешь? У ней же детей три души! И всё сопливые! А на иждивенцев трудодней — шиш! И вышло у мужика: покуда один был, худо-бедно концы с концами сводил, а как семейством обзавёлся, так в один присест всё слопалось! Вот и пришлось разводиться!

— Подлец твой Стёпка, — заключил Игнат. — Не готов отвечать, так не паскудь!

— Какое ж паскудство? Бабе-то без мужеской ласки самой куда как тоскливо. Она не в обиде на него, понимает.

— Всё равно подлец!

Никифор пожал плечами, выпил, занюхал рукавом. Игнат подпёр рукой подбородок, допытывался, стараясь понять странности неведомой ему колхозной жизни:

— А в отходники податься ты не пробовал?

— Не пускает начальство. Да и чёрт его знает, где помирать тошнее. У нас один мужик ушёл на заработки.

Раз на работу опоздал — так его под суд за нарушение трудовой дисциплины, штраф огромный наложили. А у него детишки в колхозе голодают. Ну, и не выдержал бедолага — повесился.

— Но ведь ты — кузнец. Неужели, имея в руках ремесло, нельзя без колхоза обойтись? Я топором и пилой который год прокармливаюсь.

— Эх, Матвеич, это прежде кузнец легко зарабатывал золотой рубль в день. За рубль можно было купить два пуда ржаной муки. А теперь — полтора трудодня. Шестьсот граммов ржи. Считай: в шестьдесят семь раз меньше, чем в дореволюционной деревне! А особенно промышлять не могли! Если возьмешь какой-нибудь заказ на дом — лопату или там кочергу сделать, ведро, кружку или миску починить, то прячешься с этим заказом от начальства где-нибудь на дворе, в уголке. Прячешься с работой, словно с дурной болезнью или краденной вещью! У нас одна бабка ткала на заказ. И что ты думаешь? Собственная змеюка-воспитанница выдала. Бабку в холодную, а Матрёшка-курва в её доме живёт теперь! Комсомолка! Пример «сознательности» для наших детушек! Ох, Игнат, чтобы я сделал с этой змеёй, будь моя воля...

И чем спрашивается не угодили власти кустарные предприятия? Неужто товарищ Маркс был супротив веялок и маслобоек, считал преступлением, если баба прядёт и ткёт, шьёт одежду? Прежде каждый дом единоличников зимой превращался в кустарную мастерскую. Ткали и пряли, валяли валенки и плели лапти, делали сани, мастерили всевозможные нужные в хозяйстве вещи и безделицы... А ныне захоти хоть не для промысла, а лишь для себя что сделать — не выйдет, так как нет материалов для этих работ. Так и лишились крестьяне вслед за землёй и хлебом ещё и одежды, так как цены, которые назначали своим товарам государственные фабрики, делали их вовсе

недоступными для нищих колхозников, вынужденных ходить в рванине.

— Довели нас до вида бродяг и ещё нас же попрекают! — глухо рычал Никифор. — Читал ты, Игнатушко, что про нас писаки брешут? Обуви, вишь, недостаточно потому, что каждый мужик, который прежде ходил в лаптях, теперь желает приобрести ботинки и галоши! Граф-барахольщик написал! Толстой! Вот, чай, Лев-то Николаич такого бы про нас не набрехал! А этот! Поскуда, хуже нашей Матрёшки! Да были бы у нас овцы, да конопля, наши бабы враз бы свои прялки и станки с чердаков поснимали и наткали бы холстов и сукна!

Графом-барахольщиком с давних пор прозвали Алексея Толстого, рванувшего на Западную Украину тотчас по занятии её Красной армией и привезшего оттуда несколько вагонов различного добра, скупленного за бесценок у умирающих от голода «бывших» людей.

Игнату вспомнился опубликованный в «Правде» очерк Серафимовича о старике-колхознике, единственные штаны которого были столь худы, что не прикрывали срама. И, вот, товарищ писатель свысока утешал его, похлопывая по плечу: «Это пустяки, дед, что у тебя порты худые. Ты должен гордиться тем, что делаешь великое дело: помогаешь строить величественное здание социализма!..»

Указывая на такие статьи в газетах, колхозники отплевывались и неистово ругали их авторов.

— Конечно, — желчно усмехался Никифор, — на кой ляд колхозному деду порты?! Ему, поди, не жениться, а помирать пора. А, вот, брехуну этому без костюмов никак нельзя! Дед-то он дед, а любит быть щеголем одет! Наш брат, колхозник, к сорока годам так намыкается, что в Царство Земляное переселяется, а эти — вона, что откормленные хряки! Глянь на



барахольщика или Демьяшку! Такие не то, что помирать не собираются, а ещё и шашни с молодками крутят! Тут к соседу моему сын из Москвы приезжал — порассказал про того сказочника, что дедка-то утешал. Женился недавно на молоденькой колхознице, что у него в прислугах была. Вот уж, у кого, поди, порток полон шкаф!

— Господи, а ведь талантливые люди... — покачала головой Катерина. — И зачем же они так врут?

— Жить хорошо хотят, — ответил Игнат.

— Точно, — кивнул Никифор. — Этот поэт-то... Турок какой-то... Как бишь его чёрта...

— Джамбул...

— Точно! Так ведь и прямо так пишет: «Ты, вождь, мне подарил дом, коня, шелковый халат и орден. А за это я, — говорит, — тебя и прослаблю и воспою, наше солнце, наш богатырь»... Вот, тебе и вся мораль!

— Ну, всё, — покачала головой Катерина, — полно вам, мужики, лясы точить. Не дай Господи услышит кто!

— Да одни мы здесь! — махнул рукой Никифор. — И дом ваш на отшибе стоит. Кто тут услышит? Дай уж душу-то отвести хоть раз... Помнишь, Матвеич, как прежде вольно жилось? Бывалочи, идёшь по полю, рвёшь спелые колосья и ешь их, ешь. А то на огоньке поджаришь — вкусно! Сам Господь колоски рвал и ел, когда взалкал. А теперь за эти самые колоски — в каторгу, на десять лет! Это крестьянина-то, этот хлеб выращившего! Ни в какие времена, ни в каком краю не додумались до такого изуверства! Люди не могли такого против людей сотворить. Только бесы! Никак иначе!

Подвыпившего гостя Игнат устроил ночевать у себя, опасаясь, что тот, добираясь до дома, что-нибудь натворит, выскажет своё негодование во всеуслышание. Никифор не унимался долго, вспоминал всё новые случаи чинимых властью безобразий:

— Шоферюга один райисполкомовский рассказывал, как по-пьяне раздавил сразу трёх баб, колхозниц. Со смехом рассказывал, царём и богом себя чувствуя! Над ним суд был. Приговорили к шести месяцам принудительных работ с выполнением их по месту службы и штрафу в четверть полугодичного жалованья в пользу даже не сирот оставшихся, а опять-таки — государства. А за колоски — червонец... И каждая сошка, Матвеич, каждая сошка, чуть только приподнимется над другими, так уж и сатанеет от вседозволенности! От безнаказанности и права топтать других!

При этих словах ещё пуще замутилось на душе у Игната. Незаживающая рана о себе напомнила... Верно говорят, что нужно родить трёх сыновей, чтобы был один. Один и остался. Средний, надежда и опора в старости. А, вот, с младшим беда... Вроде никогда не был он ни зол, ни подл душой, вроде воспитывали его трудолюбивым и богобоязненным, как и остальных детей.

Но пришло время парню идти в армию. Матвеич надеялся, что удастся избежать этой повинности, обязывающей приносить богоотступную присягу и защищать с оружием антихристову власть, но Севка неожиданно проявил своеволие:

— Не хочу я всю жизнь прятаться! Лучше пойду и отслужу! За присягу потом покаюсь, — и добавил, помолчав. — В армии, небось, хоть с голода пухнуть не придётся.

Ему, в самом деле, не пришлось пухнуть с голода в армии. Может, это и стало той первой ступенью, сойдя на которую, он уже не мог остановиться? После службы сына нельзя было узнать. Не осталось в нём ни веры, ни почтения к родителям, а лишь слепое желание «устроиться в жизни». А для этого нужно было так немного: всего-навсего забыть совесть, вступить в

комсомол, а дальше — крутиться и держать нос по ветру.

Игнат пытался образумить Севку:

— Если ты будешь жить дурно, то ни Бог, ни люди тебя не простят! Тебя постигнет горькая участь, подумай!

— А чья участь теперь не горькая? Моего старшего братца? Любки с мужем? Твоя?! Всех этих умирающих с голода рабов?! Я не хочу больше так жить! Я за всю жизнь не ел досыта, батя! Мне это надоело! И я не буду так жить! Пусть так живут другие, если им нравится! А я не буду!

— Что же, ты и по людям пойдёшь?

— Пойду! — глаза сына недобро вспыхнули. — Если человек позволяет ходить по себе, то он это заслужил! И я спокойно наступлю на него! Пусть он валяется в грязи, а не я! Пусть он ест ржаной хлеб по праздникам и латает единственные портки! А я не хочу! Потому что я не дурак! Увидишь, очень скоро я поднимусь, сам стану начальством!

— Бог даст, моим старым глазам не придётся видеть такого позора.

Севка усмехнулся:

— Вот что, батя, если тебе охота жить по своему Евангелию в нищете и голоде — воля твоя. А я предпочитаю жить по товарищу Сталину — лучше и веселей!

— Что ж, сын, живи, как знаешь. Только уж порога моего дома отселе не переступай.

— Как ты не понимаешь! Если я стану начальством, я и тебе с матерью помогу! Вы же старые, вам с каждым годом будет тяжелее работать!

— Мы с матерью не возьмём ни копейки твоих денег и ни крохи твоего хлеба, даже если будем умирать, — отрезал Игнат. — Изыди из моего дома!

Катя редела в голос, но не посмела препятствовать изгнанию младшего сына. Игнат же не мешал ей проститься с ним и в последний раз благословить. Сам он лишь в окно видел, как Севка разбитной походкой, дымя сигаркой, удалялся прочь от родительского крова, чтобы никогда не вернуться под него.

Это был тяжёлый удар, и вскоре после него Игнат стал ощущать приступы странного недомогания. В последнее время он всё чаще задумывался о близости смерти, переживал, как останутся без него Катя с Валеи. Лишь бы с Матвеем ничего не случилось — уж он-то сумеет позаботиться о матери и сестре. Не оставит и Аглаша... Горевал Игнат и о Сергее, от которого давно не было вестей. Лагерный срок его должен был уже истечь. Неужто продлили? Или... не дождался?..

А ещё вспоминалась внучка — Василиса, Любашина дочка. Три года он ничего не знал о ней, наказав Наталье Терентьевне не писать ему во избежание риска. А так хотелось хоть раз ещё, хоть одним глазком глянуть на кровиночку!

Этой ночью у него снова шла горлом кровь, и, как ни ослаблен был, а решился — в последний раз обзреть родные края, последний раз посмотреть на подрастающую внучку, а там пусть и отпевают с миром.

Кате Игнат ничего не сказал о своих намерениях, понимая, что жена не только не одобрит такого риска, но, пожалуй, употребит все средства, чтобы его не отпустить. Поэтому отправился чуть свет, не будя её, а только оставив записку с обещанием возвратиться денька через два.

Далёк был путь, и холодело сердце в волнении: какими-то найдёт родные края? Благополучна ли Наташа и девочка?

Сойдя с поезда, Игнат некоторое время насторожённо озирался, боясь встретить у станции

кого-нибудь из прежних односельчан. Нанимать подводу было опасно, но необходимо. Однако, старику возчику он наказал везти себя в другое село, расположенное в нескольких верстах от нужного. Эти вёрсты Игнат преодолевал уже пешком, к тому сделав порядочный крюк через лес, чтобы не идти через деревни, привлекая подозрительное внимание.

Когда Игнат добрался до места, уже стемнело, но он ещё какое-то время отсиживался в близлежащем перелеске, дожидаясь, когда деревня затихнет.

В родном дворе никто не встретил его, как бывало, приветливым поскуливанием. Не осталось даже будки, в которой некогда жил Бушуй. Игнат опасливо заглянул в окно и с облегчением перевёл дух: за столом, склонившись над ворохом книг, сидела Наталья Терентьевна.

Дверь оказалась символически заперта на задвижку, которую Игнат по старой памяти легко отодвинул и бесшумно вошёл в дом. Здесь практически ничего не изменилось с той ночи, как ему пришлось бежать из родных стен. Медленно, то и дело касаясь знакомых предметов, он прошёл в комнату и негромко позвал:

— Здравствуй, Наташенька!

Так перепугалась бедняжка, что едва не опрокинула лампу, а, узнав Игната, осела на стул, сплеснула руками:

— Игнат Матвеич, миленький, да зачем же вы здесь? Ведь опасно вам!

— Не бойся, Наташенька, я поутру уеду. Прости, я знаю, что не должен был приезжать, но не удержался... Проститься хотел. С тобой, с Васей, со всем здесь...

— Проститься? — близорукие глаза под очками влажно заблестели. — Почему... проститься?

— Потому что старый я, дочка, — Игнат устало опустил на край высокой кровати, поскрёб бороду. —

Любушку мне уже не обнять. Должно, и Серёжку... Хоть на Васеньку взглянуть. Как она? Здорова ли?

— Здорова, — кивнула Наташа. — Уже вовсю разговаривает и даже немного читает.

— Стихи знает? Я очень любил, когда ты их читала. Мои лоботрясы позабыли всё...

— Знает некоторые... Пушкина, Некрасова... Мы много с ней читаем.

— А... Евангелие? Читали ли?

Наталья Терентьевна смутилась:

— Ещё нет... Вы же понимаете, она ребёнок: если где-то скажет, то беда будет.

— Да, конечно... — Игнат вздохнул. — Ничего. Главное, чтобы в душе Бог был, совесть была, а прочее придёт, если на то Его воля будет. Можно мне взглянуть на неё? Будить её не надо. Не надо, чтобы она вообще знала, что кто-то приезжал. Мне бы только взглянуть...

— Конечно, — Наташа легко поднялась и провела Игната в смежную комнатку, в которой сладким детским сном спала Василиса.

Наталья Терентьевна оставила его с внучкой, а сама пошла ставить самовар и собирать на стол нехитрое угощение. Игнат долго сидел на краю постели девочки, осторожно глядя её по голове, с удовольствием отмечая, как похожа она на мать, на Любушку. Как жаль, что нельзя разбудить её! Потетешкать, покачать на колене, как Любушку бывало, послушать, как читает она какой-нибудь стих... Да просто к груди прижать и расцеловать в обе щёки! Нет, нет, опасно... Девочка мала, и может сказать кому-нибудь о ночном госте — и тогда беды не миновать.

Благословив и чмокнув в головку Васю, Игнат вернулся к Наташе, бегло глянул на её стол. На нём лежали совершенно одинаковые учебники, валялась искромсанная бумага.

— Чем это ты занимаешься, Наташенька?

— Заклеиваю врагов народа, — уныло ответила Наталья Терентьевна.

— Как это?

— Ах, Игнат Матвеич, чистое наказание с этим учебником! Мало того, что по нему дети в третьем и четвёртом классе должны изучать философию и исторический материализм, мало того, что в нём опорочена вся русская история, так ещё теперь нам приходится регулярно «править» историю СССР! Осудили Зиновьева и Каменева — мы заклеивали в нём их фотографии и текст, посвящённый им. Осудили Тухачевского — та же история. Завтра, должно быть, ещё кого-нибудь заклеивать придётся.

— А не проще ли выпустить новый учебник?

— История ВКП(б) меняется слишком быстро, чтобы успевать выпускать новые учебники. Поэтому, кажется, мне придётся заклеивать эти фотографии до тех пор, пока не останется одна единственная... — Наташа подала Игнату кружку духовитого травяного отвара: — Вот, попейте горяченького, согрейтесь! И картошечки я сейчас испеку. И молочка немного к ней...

Игнат вынул из мешка вырезанную из дерева лошадку:

— Вот, — поставил на стол, — отдашь, маленько погодя, Васеньке. Скажешь... — он чуть улыбнулся, — скажешь, старичок-боровичок из леса мимо шёл и гостинец оставил.

Наталья Терентьевна растроганно улыбнулась, утёрла набегавшие то и дело слёзы. Она постарела, милая, славная Наташа. Фигурой тоненькой и теперь как девушка юная, а лицо всё в паутине морщин, и волосы, в пучок сзади собранные, уже пегие от обильной седины.

— Тяжело тебе, Наташенька, одной да с дитём?

— Совсем одной куда тяжелее было, — улыбнулась она. — Да и кому теперь легко?

— Кому-то легко, — вздохнул Игнат, вспомнив младшего сына. — Кто совесть свою сжѐг.

— Им тоже нелегко. Совесть сжечь можно, но не страх. А они боятся. Чем легче живут, тем больше. Кому должно быть страшнее падать — нищему колхознику, для которого жизнь стала мукой, или всесильному маршалу, ещё вчера имевшему всё? Лѐгкой доли искать — дело пустое. Все люди страдают. Только одни — с Христом, а, значит, с надеждой, а другие — без него. Так уж лучше со Христом страдать.

— Когда бы всем дано было это понять...

— Вы устали, Игнат Матвеич, я вам постелю сейчас.

— Да-да, Наташенька, спасибо, — кивнул Игнат, чувствую, что глаза его и вправду отяжелели и закрываются сами собой. — А ты разбуди меня ещё до свету, чтоб никто меня не увидел.

Уходя поутру в обратный путь, Игнат ещё раз заглянул к внучке, наказал Наташе беречь её и простился тепло, как с родной дочерью. Хотя миновало больше семи лет со времени побега из этих краёв, а и поныне помнилась каждая тропинка, каждый поворот. И, несмотря на сумрак и туман, Игнат легко ориентировался на местности. К тому моменту, как ночь уступила права пасмурному дню, он уже был далеко от родной деревни. Завидев на дороге телегу, окликнул погонявшую клячу бабу:

— До города не подбросишь?

— Я бы подбросила, а кобыла и без тебя, старого, еле ноги переставляет.

Игнат пошарил в кармане:

— А если не задаром, то лошадь станет сговорчивее?

При виде денег глаза бабы жадно заблестели:

— Да кто её, клячу хромую, спрашивать станет! Сидай, дед!



Игнату самому было жаль голодную, измученную лошадь. Ни один хозяин не доведёт свою животину до такого состояния — только колхоз. А ведь покорми её порядком, почисти щёткой, дай отдохнуть — ещё бы ожила она, ещё бы побегала. Но ведь и людям не слаще. Могла бы и эта испитая баба быть дородной и румяной, одетой прилично, а не в обноски. Тогда, должно быть, не рычала бы она собакой на старика, попросившего подбросить его до города...

Поезда пришлось ждать долго и, болтаясь без дела на вокзале, Игнат вдруг заметил в толпе знакомую сизую от беспробудного пьянства рожу. Ивашка Агеев! Тот самый, что едва не запалил Игнатову жеребца, и которому он, Игнат, разбил в кровь нос...

Матвеич поспешил затеряться в толпе, гадая, видел ли его Ивашка? Зачастило тревожно сердце, мелькнула даже мысль поскорее убраться с вокзала. Но куда же? Ведь вот-вот подойдёт поезд!

Семь потов сошло с Игната в томительном ожидании. Наконец, пришёл поезд, и он с облегчением устроился в вагоне. Значит, не заметил его Ивашка — оборонил Господь. А теперь ещё немного — и дома. Катя, небось, раскричится, разругается. Но это ничего, это нестрашно...

Поезд уже тронулся, навсегда увозя Игната прочь от родных краёв, когда в вагон вошли двое дюжих милиционеров и решительно направились к нему. За их спинами маячил злорадно ухмылявшийся Ивашка.

— Ну, вот и поквитался я с тобой, кулачье проклятое!

## Глава 8. Хлопоты

Тая возникла на её пороге так внезапно, что Лидия похолодела в предчувствии недоброго. Вид бывшей воспитанницы также давал повод для самых серьёзных опасений. Исхудалая, с бледным лицом и пересохшими губами, с лихорадочно блестящими, полубезумными глазами — казалось, ещё чуть-чуть и она свалится в припадке.

Привидение, некогда бывшее Таей, протянуло высохшие руки, заговорило с лихорадочной быстротой:

— Лидия Аристарховна, миленькая, вы должны помочь!.. Вы одна можете! Умоляю вас, помогите!.. — дальше говорить сил не было, и несчастная захлебнулась в судорожных рыданиях.

Лидия опасливо приложила руку к сердцу: три года она балансировала на тоненькой ниточке, зная, что малейшее волнение, напряжение может убить её. И вид истерзанной и полубезумной от горя Таи вполне мог стать таким.

— Что случилось? — спросила она, стараясь сохранять спокойствие. — Что с Серёжей?.. — одно только и хотелось услышать: жив ли?

Точно услышав пароль, Тая уняла слёзы, схватила руку Лидии:

— Лидия Аристарховна, мы должны Серёжу спасти! Помогите, прошу!..

Немного отлегло от сердца: мёртвых спасти уже невозможно, значит, жив...

— Успокойся, Тая, и сначала объясни мне всё. А потом мы что-нибудь придумаем.

Её ровный тон благотворно подействовал на измученную женщину, и она с большим трудом принялась рассказывать. Напряжённо продираясь

сквозь сумбур её лихорадочного, сбивчивого повествования, Лидия смогла прояснить картину случившегося.

Серёже продлили срок, отправили за какую-то провинность в другой, более строгий лагерь. Тая, поселившаяся в тех краях и надрывавшаяся на непосильной работе, в то время лежала в больнице и узнала о случившемся поздно. Не долечившись, слабая, теряющая рассудок от страха за Сергея, она бросилась искать его. С большим трудом удалось узнать, куда он отправлен, но там ей сперва вовсе отказывались сообщить что-либо, а затем сказали, что его этапировали вновь, не указав, куда. Пометавшись ещё какое-то время в тщетных попытках узнать хоть что-то, Тая поехала искать помощи в Москву...

Чем могла помочь Лидия? Последние годы она одиноко жила в Посаде, зарабатывала на жизнь переводами, и ни с кем не общалась. За это время она пережила два горьких удара. Первый нанесла дочь, отрѣкшаяся от арестованного отца и вступившая в комсомол. Всегда тяготясь учением, она кое-как окончила семилетку и устроилась работать чертѣжницей, имея вперѣд единственную цель — удачно выскочить замуж и беззаботно жить за счёт мужа. Лидия больше не имела влияния на её жизнь, став для неё чужой.

Вторым ударом стал арест так и не уехавшего в Германию Стѣпы. Его обвинили в шпионаже в пользу той самой Германии и дали восемь лет. Правда, учитывая его талант, не стали усылать далеко, а оставили вблизи столицы, предоставив мастерскую для выполнения частных заказов высокого и не очень начальства, наградой за которые была возможность существовать в сравнительно человеческих условиях. Бедный Стѣпа! У него не было родных, и даже

навестить его никто не мог, так как на свидание имели право лишь члены семьи.

Лидия винила в аресте Пряшникова себя: ведь если бы не она, он мог бы уехать в Германию... И в том, что дочь выросла чёрствой, беспринципной и самовлюблённой эгоисткой, чья же ещё вина, как не матери? Оставался ещё сын, помогавший деньгами, но редко писавший и ещё реже навещавший. Завербовавшись на строительство куйбышевского гидроузла, он сошёлся там с какой-то женщиной и как будто собирался жениться, но пока даже не представил невесту матери.

А теперь вот и ещё один груз на её плечи... И всё-таки живо заработала голова, привычно ища выход, перебирая возможные и невозможные варианты.

— Доктор Григорьев! — сообразила после непродолжительных раздумий.

— Что?

— Нам может помочь доктор Григорьев. Он сотрудничает с Политическим Красным Крестом, бывает с инспекциями в тюрьмах и лагерях. И он — Человек.

В тот же вечер, напоив Таю успокоительными и оставив приходиться в себя, Лидия была у Дмитрия Антоновича. Тот, как всегда, откликнулся на чужую беду с живейшим сочувствием и пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы узнать о судьбе Сергея. Предостерёг напоследок:

— И не волнуйтесь, Лидия Аристарховна. Вы знаете, вам это противопоказано.

Вскоре он приехал к ней в Посад сам. Тая спала, и можно было разговаривать коротко и по-деловому, не отвлекаясь на эмоции.

— Мы навели справки, — сказал доктор. — Ваш муж находится в лагере для утративших трудоспособность... — он помедлил. — Я понимаю, что вам тяжело это слышать, но я должен сказать. В такие

лагеря отправляют инвалидов, смертельно больных, тех, у кого нет шансов. Их отправляют туда фактически умирать. Кто ещё в состоянии, работает на лёгких работах. А те, кто уже не в силах подняться, просто ждут смерти.

— Что с ним? Вы знаете? — спросила Лидия, покусывая губы.

— Точно не знаю. Но знаю другое. По закону для смертельно больного можно добиться актации — то есть досрочного освобождения. Права умереть дома, как ни жестоко это звучит. Но должен вам сказать, Лидия Аристарховна, что в некоторых случаях актация может стать и спасением. Ведь некоторые болезни, смертельные в лагерных условиях, на воле при должном уходе могут быть если не излечены, то приостановлены, и человек может прожить ещё не один год.

Лидия оживилась:

— Значит, есть надежда?

— Небольшая, не скрою, но есть.

— Что же нужно, чтобы добиться актации?

— А, вот, это сложно, Лидия Аристарховна. А самое главное, долго. А в такой ситуации каждый день промедления снижает шансы на благополучный исход, вы понимаете. Условия, в которых содержатся больные, ужасны. Вдобавок... — доктор помедлил и добавил едва слышно, — *они* не хотят множить калек ни за колючей проволокой, ни снаружи. Нетрудоспособный человек для них — балласт. Поэтому от таких негласно избавляются. Учтите, Лидия Аристарховна, то, что я вам говорю сейчас, это — в лучшем случае, десять лет ИТЛ.

— Я понимаю. Вы хотите сказать, что вопрос нужно решать в обход бюрократической практики, что нужны деньги? — быстро спросила Лидия.

— Да, и, боюсь, немалые. К тому же, если нам удастся вызволить Сергея Игнатьевича, то ему может

потребоваться долгое лечение, лекарства, хорошее питание, уход...

— Стёпа, Стёпа, — прошептала Лидия, ломая пальцы, — почему тебя нет рядом? Вместе мы бы нашли эти проклятые деньги... Но где взять их мне одной? Ведь у меня ничего не случилось... Последнее ценное я распродала, ещё когда болел папа.

— Я понимаю вас, Лидия Аристарховна, — Григорьев вздохнул, — но здесь я бессилён. Я знаю, кому следует платить, и эту часть дела могу взять на себя. Я могу отправить за Сергеем Игнатьевичем своего молодого коллегу, хорошо знакомого вам Надёжина, устроив ему поездку с инспекцией и соответствующий мандат. Будет очень хорошо, если ваш муж сразу попадёт в руки врача, знающего, что делать. Но вопрос с поиском средств вы должны решить сами, простите.

— Это вы меня простите, милый доктор! — спохватилась Лидия, тепло касаясь плеча Дмитрия Антоновича. — Я вам так обязана! В который раз вы приходите нам на помощь, как Ангел-Хранитель! Я сообщу вам, когда что-то решу, а сейчас мне надо подумать. Спасибо вам за всё!

Когда доктор ушёл, она выпила вдвое больше капель, чем обычно, и, разбудив Таю, изложила ей сухой остаток разговора с Григорьевым, опустив слишком горькие подробности.

— Мы должны найти деньги! — взметнулась Тая. — Всё остальное вторично... О! Если только удастся вырвать его из их лап, то он будет жив! Он не умрёт, слышите? Я не отойду от него ни на шаг, я выхожу его, что бы ни было, я верну его...

— Интересно, на что ты собираешься выхаживать нашего мужа, если будешь от него не отходить? — с лёгким раздражением спросила Лидия.

— Нужно найти деньги... — повторила Тая. — Господи, я бы себя продала, если бы только это спасло

его!

Лидия сидела в кресле-качалке и наблюдала за мечущейся по комнате молодой женщиной со смесью сочувствия и раздражения. «Нужно найти!» А найти должна она, Лидия. Найти Серёжу, найти деньги, устроить всё. А потом эта девочка, получив на руки своё сокровище, будет сидеть над ним дни и ночи напролёт, предаваясь высокому подвигу служения страждущему возлюбленному. А кто-то при этом опять должен будет заниматься прозой жизни — добыванием средств на эту идиллию. И нетрудно догадаться, кому отведётся эта «почётная» обязанность.

Но что это? Неужели она, Лидия, может рассуждать так, предаваться мелочным и злым мыслям, когда дело идёт о спасении жизни человека? Единственного человека, которого она любила и которого вопреки всему, как ни стыдно признаться, любит до сих пор? Отца своих детей? Неужели так очерствело сердце?

— Такие деньги на дороге не валяются. Где мы их найдём?

— Да хоть бы и украсть!.. — с отчаянием воскликнула Тая.

— Позволь узнать, у кого? У простых граждан — подлость. У государства — расстрел. Что тебе больше нравится?

— Вы ещё можете иронизировать!

— Я просто хочу, чтобы ты оставила романические фантазии и вместе со мной обдумала положение трезво.

— Трезво, так трезво, — задето пожала плечами Тая. — Единственный выход — попросить эти деньги у того, у кого они есть. Или могут быть.

— Например?

— Например, у Аглаи Игнатьевны!

Ай да девочка! Эта, пожалуй, в самом деле, и себя бы продала, и украла бы, чтобы выволить

возлюбленного. Недооценила, ох, как недооценила Лидия её темперамент, силу чувств и волю её!

— Почему ты думаешь, что у Али есть такие деньги? Замётов давно болен, они живут очень скромно.

— Во всяком случае, нужно посоветоваться с ней. Она же сестра Серёжи, ей не может быть безразлична его судьба.

Ну, что ж, пожалуй, резонно. Аглая неглупа и достаточно практична. Посоветоваться с ней, во всяком случае, не вредно.

Снова тряслась Лидия сперва в поезде, затем в трамвае, мокла под холодным осенним дождём, тяжело поднималась по лестнице к квартире золовки... Та встретила приветливо, но настороженно: виделись редко, а потому поняла сразу, что не с визитом вежливости пришли к ней, и не ждала доброго.

Глядя на Аглаю, Лидия не удержалась от лёгкой, чисто женской зависти. Ведь совсем немногим моложе её Аля, а хоть картины пиши с неё! Конечно, и в её пшеничных локонах серебряные нити появились, и залегли морщины вокруг глаз, но ведь это мелочи, а в остальном — всё такая же красавица, которую и на улице редкий мужчина не заметит. И ведь не безоблачной отнюдь была её жизнь, а точно и не жила вовсе, точно время не властно над ней. А Лидия уже который год беспощадных зеркал избегала — не хотелось лишний раз созерцать ни безобразно раздавшуюся фигуру, ни оплывшее лицо...

— Я за советом к тебе, — не стала бродить вокруг да около. — Доктор Григорьев сообщил, что Серёжа может погибнуть. Он тяжело болен. Единственный шанс спасти его — заплатить большие деньги нужным людям за досрочное освобождение.

Аглая побледнела и, прикрыв дверь кухни, в которой они расположились, опустилась на стул:

— Рассказывай.



Золовке Лидия рассказала всё, ничего не смягчая, но, наоборот, нарочно сгущая краски, инстинктивно перекладывая на плечи Али свою боль и тревогу, обязанность найти выход из безвыходного положения.

— У меня никого не осталось, — подытожила. — Никого, у кого я могла бы попросить себе на хлеб в случае нищеты, не говоря уже о такой сумме. Вот, пришла к тебе... — она ожидала, что Аглая немедленно ответит, что сама не имеет ни средств, ни знакомых, у которых можно попросить, и всё окончится очередными сотрясениями воздуха и воздеванием рук к небу. Но золовка молчала и сосредоточенно смотрела перед собой, кусая губы, время от времени судорожно сжимая кулаки, словно решаясь на что-то. Лицо её при этом становилось всё бледнее. Наконец, она сказала глухо:

— Вот что, Лида, есть человек, который может помочь. Если только захочет... Я поговорю с ним сегодня же. Обещать ничего не могу. Решать будет он. Я дам тебе знать в ближайшие два-три дня.

Лидия с удивлением смотрела на Алю:

— Помилуй, да кто же этот человек?

— Это не имеет значения, — всё также глухо ответила золовка. — Прости, большего я не могу тебе сказать.

— Хорошо, это, действительно, не моё дело... — озадаченно отозвалась Лидия, крепко пожав руки Але. — Мы с Таей будем ждать вестей и молиться, чтобы твой человек не отказал в помощи.

По лицу Аглаи пробежала болезненная гримаса, и Лидия смутилась: ей почудилось, словно она толкает золовку на какое-то преступление — если не против другого, то против самой себя. Однако, назад дороги не было, тем более, что судьба мужа волновала её куда больше, чем все тайны его сестры. Поэтому, не желая дольше тяготить последнюю своими вопросами и присутствием, Лидия отправилась обратно в Посад,

успокаивая сердце робкой надеждой, что Аглая всё-таки добудет необходимую сумму.

## Глава 9. Семейный альбом

Занятия в консерватории закончились довольно рано, но на улице уже сгущались сырые осенние сумерки. Аня подняла ворот пальто и направилась к воротам, за которыми не без удивления заметила сутуловатую фигуру Сани.

— Какими судьбами? — приветствовала она друга. — Неужели ты пренебрёг работой, чтобы проводить меня до дома после занятий? — пошутила, прищурясь.

— У меня было ночное дежурство, — ответил Саня, чмокнув её в щёку.

— Значит, ты пренебрёг сном. Я польщена!

— Послушай, я хотел поговорить с тобой, Анюта.

— О чём? — с нарочитой небрежностью спросила Аня, досадуя на менторский тон товарища детских лет.

— О тебе, — ответил Саня серьёзно. — Я беспокоюсь за тебя.

— С чего бы это?

— С того, что в последнее время ты очень изменилась.

— Не в лучшую сторону, судя по твоему тону?

— Да, не в лучшую.

— Вот как? И чем же я провинилась? — она прибавила шаг, но он заставил её снова замедлиться:

— Не беги. Воздух сырой, ты запыхаешься и застудишь горло.

— Так чем же я изменилась? — Аня остановилась, требовательно взглянув в лицо другу.

— Ты стала скрытной и резкой. Ты всё время пропадаешь в компании своей Раи и этих пустоголовых фокстротистов.

— Мне с ними весело! — запальчиво ответила Аня. — Может, они и не такие мудрые, как ты, но, по крайней мере, не читают мне нотаций. А ты... Санечка, ты мой самый близкий друг. Но когда ты говоришь таким тоном, мне кажется, что ты сейчас скажешь что-то вроде: «Я должен напомнить тебе твои обязанности, Анна!»

— И что же в этом плохого? Если бы Анна, к которой были обращены эти слова, прислушалась к своему мужу, то избежала бы беды. Ты не считаешь?

— Фокстроты — это всё, что тебя тревожит? — перебила Аня.

— Нет. Гораздо больше меня тревожит то, что рядом с тобой всё время крутится этот тип...

— Ах вот оно что! Да ты не ревнуешь ли, Санечка?

Саня неожиданно сильно тряхнул её за плечи, сказал с досадой:

— Оставь этот тон, пожалуйста! Он идёт твоей подружке Рае, но не тебе! Пойми, этот человек может быть опасен!

— Чем же опасен Варс?

— Хотя бы тем, что он из НКВД! — понижая голос, ответил Саня.

— Если ты имеешь ввиду его учёбу, то это совсем не то. Там готовят кадры для пограничных войск и...

— Только не говори мне, что твой Варс поедет защищать рубежи родины куда-нибудь на далёкую заставу! У этого «пограничника» на лбу написано, что он и кто он.

— Ну, хватит! — рассердилась Аня. — Как ты можешь так говорить о человеке, которого совсем не знаешь? Он умный, порядочный, культурный человек, с которым мне приятно проводить время, есть, о чём поговорить.

— С такими достоинствами и на свободе — чудеса да и только!

— Ты можешь привести хоть один факт против него? Не можешь! Ничего, кроме твоей антипатии!

— Тебе с ним тоже весело, и он не читает тебе нотаций?

— Да, не читает. И потом, Санечка, мне ведь не под венец с ним идти!

— Да? А он что думает об этом?

— О чём?

— Аня, ведь ты не дурочка. Варсонофий Викулов взрослый, серьёзный мужчина, а не мальчик-фокстротник. Неужели ты думаешь, что его желания ограничиваются милыми прогулками и походами в театры? Раньше или позже он пожелает от тебя гораздо большего, и ты окажешься в очень двусмысленном положении, потому что отказать мужчине, с которым столько времени кокетничаешь...

— Я с ним не кокетничаю! — возмутилась Аня. — Мы просто друзья!

— Он тебе не друг, Анята. Он охотник, который незаметно расставляет вокруг тебя сети.

— Ты... всё не так понимаешь! Признайся, Санечка, ведь в тебе говорит ревность?

— Мне кажется, я был хорошим другом и тебе, и Пете, и никогда не давал повода подозревать себя в ревности.

— Прошу тебя, не надо говорить о Пете! — вспыхнула Аня.

— Почему? Что между вами произошло? Анята, я очень прошу тебя, расскажи мне, что случилось! Я ведь вижу, что с тобой что-то не так, что ты сама не своя. Это ведь из-за него? Из-за Петра?

— Я не хочу об этом говорить, — жёстко ответила Аня. — А, впрочем, знай: Петя меня бросил. А теперь и вовсе уехал из Москвы и не даёт никаких вестей ни мне, ни маме.

— Тут что-то не так... — с сомнением покачал головой Саня. — Ведь он любил тебя. И твоя мать была для него родным человеком. Не мог он просто так исчезнуть!

— Он не просто так исчез... Он прислал мне одно единственное письмо. Сообщил, что уехал на родину отца, что встретил там женщину... — Аня всхлипнула. — Теперь ты доволен?

— Я всё равно не верю, — отозвался Саня. — Здесь что-то не так...

— Хватит, Саня! — воскликнула Аня. — И, вот что, не надо меня дальше провожать. Ты устал после дежурства, иди отдыхай. А я хочу остаться одна. Иди, прошу тебя!..

— Прости! — Саня виновато пожал кончики её пальцев. — Я не хотел причинить тебе боль. Прости...

Он не знал, какую болезненную рану разбередил своими вопросами и наставлениями. Которую неделю пыталась Аня забыться от этой боли на Раечкиных фокстротах, либо в обществе обходительного Варса, пыталась скрыть своё смятение и обиду под маской шутки... Но ничего не помогало.

С детства Аня мечтала о том, как, став взрослой, выйдет замуж за Петю. И не было сомнений, что именно так и будет. Эта любовь вызывала большое недовольство отчима, которое он не раз высказывал, объясняя все последствия брака с внуком, страшно вымолвить, проживающего за границей белого генерала, ближайшего соратника «чёрного барона». Аня горячо отвечала, что ей нет дела до семьи Пети и что такими предками, как у него, можно только гордиться. Петя много рассказывал ей о своём герое-деде и даже показывал сохранившуюся фотокарточку, на которой тот был в штатском. И Аня уже любила и этого неведомого белого генерала, и всех других

родственников Пети, из которых, впрочем, уже практически никого не осталось в живых.

Александра Порфирьевича такие заявления падчерицы приводили в ярость, и мать всякий раз опасалась, как бы его не разбил очередной удар. Сама мать избегала участвовать в их спорах и лишь однажды наедине сказала твёрдо:

— То, что говорит тебе Замётов, правильно и верно. И мне самой страшно, когда я думаю, что ждёт тебя рядом с Петей. Однако же, скажу тебе так: слушай своё сердце и больше никого. Если ты любишь его, а он тебя, не рассуждайте ни о чём, будьте вместе и положитесь на Божью волю.

Аня была счастлива услышать эти слова и бросилась матери на шею. Ей казалось, что больше никто не помешает её счастью.

Но именно в это время Петя неожиданно стал отдаляться от неё, сторониться, вести себя странно. Аня не могла понять этой перемены, терялась в догадках. Когда летом он пригласил её поехать в путешествие по русскому северу, она готова была взлететь от радости, уверив себя, что эта поездка непременно завершится объяснением, а, может быть, и тайным венчанием в какой-нибудь уцелевшей церкви.

Но ничего не произошло. Петя вёл себя, точно чужой: как заправский экскурсовод, говорил об истории и искусстве, и ни слова о них, и ни взгляда живого... Аня с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться, не вспылить, не сорваться, и насилу дотерпела до конца путешествия. Она чувствовала себя обманутой и униженной, от обиды не было сил даже смотреть на Петю.

А он уже сделал следующий шаг к разрыву, съехав с их квартиры в общежитие к вящей радости отчима. Показать своё горе Ане было стыдно, и она старательно изображала безмятежность, напоказ веселясь и делая

вид, что весь её «роман» был лишь детским увлечением. Лишь оставшись в одиночестве, можно было дать волю слезам, но как редко это случалось!

Александр Порфирьевич, между тем, привечал нового друга Ани — Варса Викулова, заглядывавшего к ним всё чаще. Поначалу его внимание смущало её, но вскоре стало привычным. Подзуживали и подруги, наперебой завидовавшие такому «солидному кавалеру», как выражалась Раечка.

— И чего тебе ещё надо, Анька? — рассуждала она, дымя папирсой. — Такой мужик! Молодой, интересный! И не мальчишка уже, а человек состоявшийся. При чине. И, по всему виду, далеко пойдёт. Орёл!

— Мы просто друзья, — дежурно отвечала Аня, не имевшая душевных сил для нового романа и всё ещё надеявшаяся, что Петя образумится и вернётся.

Конечно, она лукавила, изображая перед Саней совершенное непонимание — то, что Варс питает к ней серьёзные чувства, было очевидно. Но не хотелось думать об этом. В его обществе она просто отвлекалась от тоски и утешала женскую гордость.

Однажды вечером Варс пригласил её поужинать в ресторан. Всё было очень уютно, к столу подали лёгкое вино и вкусные пирожные, играла приятная музыка, а Аня чуть не расплакалась. Ей так хотелось, чтобы рядом с ней был Петя, чтобы это не Варс, а он пригласил её на медленный танец и вёл по залу, прижимая к себе...

В какой-то момент она почувствовала, что объятия Варса стали слишком крепкими, гораздо более крепкими, чем подобает им быть между партнёрами по танцу. Аня осторожно высвободилась:

— Прости, Варс... У меня что-то голова закружилась — видимо, от вина. Я лучше пойду.

— Я провожу тебя, — с неизменной галантностью ответил Варс.



— Нет-нет, не стоит! Я, вероятно, зайду к Рае... Увидимся завтра!

Хотя такой отказ не мог быть ему приятен, Варс ничем не выдал неудовольствия и, молча проводив Аню до трамвая, пожелал ей доброго пути.

А она сошла уже на следующей остановке и, забыв о позднем часе, о хулиганах и ворах, наводнивших московские улицы, побежала к общежитию, в котором жил Петя.

Аня помнила, как стыдно ей было от любопытствующих и насмешливых взглядов, провожавших её, когда она шла к его комнате, но ничто уже не могло остановить её в тот момент.

При её появлении на лице Пети отразился испуг, он торопливо вскочил с кровати, спросил:

— Аня, зачем ты здесь?

Она стояла перед ним, прислонившись к стене, глотала слёзы и мучительно искала слова:

— Я пришла, чтобы спросить тебя...

— О чём, Аня?

— За что ты так со мной? Ты... в самом деле, решил всё разрушить? Ведь мы всегда были вместе! Ведь мы же... Может быть, я наивная дурочка, но мне казалось, что мы любили друг друга! Во всяком случае, я любила тебя, Петруша. Помнишь, мы обещали не бросать друг друга, что бы ни было? Мы были детьми, но я никогда не думала отказаться от этой клятвы! Почему же ты отказался?!

Он стал ещё бледнее обычного, опустил глаза:

— Я не бросаю тебя, Аня, зачем ты... Если тебе нужна будет моя помощь, даже моя жизнь...

— Мне не нужна помощь! И жизнь тоже! Мне нужен тот Петя, которого я знала и которого люблю! Я хочу понять, что с тобой случилось! Хочу вернуть тебя! — она порывисто бросилась к нему, но он отстранился:

— Прости меня, Аня. Я виноват перед тобой, я знаю. Но всё должно быть так, как есть. Мы не можем быть вместе, поэтому тебе лучше уйти и не приходить больше, не вспоминать...

— Почему? Почему мы не можем быть вместе? Ты не любишь меня? Скажи это, глядя мне в глаза! Скажи и тогда я уйду! — не помня себя, воскликнула Аня.

Глаза Пети наполнились страданием, губы дрогнули, и всё же он не отвёл взгляда и произнёс отрывисто:

— Я не люблю тебя, Аня. Уходи, прошу тебя.

Она не расплакалась, не лишилась чувств, а медленно вышла в коридор, не замечая никого, спустилась по лестнице, машинально пошла по тёмной улице... Удивительно, но её одинокая фигура не привлекла в ту ночь внимания преступников, и она добралась до Раи, у которой, наконец, дала волю слезам.

Вскоре Аня узнала от матери, что Петя на время уехал из Москвы, а после от него пришло краткое письмо, в котором он сообщал, что не вернётся, что встретил другую. Если даже самое чистое, самое светлое чувство оказалось ложью, то что же правда в этом мире? И как в нём жить?

Домой Аня вернулась внутренне разбитой, но и тут не дано было перевести дух.

— Зайди, пожалуйста, в кухню, мне надо поговорить с тобой, — сказала мать, едва она переступила порог.

Что ж это всем поговорить занудобилось! Неужели теперь ещё и мать разбередит ей душу?

Мать казалась небывало взволнованной — до того, что на побелевшем лице проступала испарина.

— Сядь, Нюта, — тихо сказала она. — Сядь и выслушай меня, не перебивая, потому что мне очень сложно сказать тебе то, что я должна...

— Что случилось, мама? — испуганно спросила Аня, садясь и косясь на лежащую на столе небольшую коробку.

— Помнишь, в детстве ты часто спрашивала меня об отце? Когда ты была мала, я не могла рассказать тебе всего, ты должна это понимать. Но теперь ты взрослая и должна знать всю правду. Я уже давно собиралась поговорить с тобой, но сегодня произошло нечто, что положило конец моим колебаниям.

— Я слушаю тебя, мама... — пробормотала Аня, тревожно напрягшись.

— Твой отец... Он не погиб на войне, как я тебе говорила. И вообще не умирал...

— Так он жив?

— Надеюсь, что так.

— Кто же он?

— Родион Николаевич Аскольдов... — выдохнула мать.

Аня поражённо молчала, затем уточнила, ещё не вполне веря:

— Так значит, Марья Евграфовна?..

— Сестра твоей бабки. Вот, это твой отец, — мать положила на стол фотокарточку, на которой был запечатлён высокий, белокурый юноша с правильными, благородными чертами лица и прямым, ясным взглядом.

Некоторое время Аня разглядывала фотографию, находя большое сходство между собой и отцом, затем сказала:

— Я видела его карточку у Марьи Евграфовны, и она кое-что рассказывала о нём. Он что, бросил тебя, мама? Из-за происхождения?

— Нет, девочка... Это... я его бросила... — дрогнувшим голосом сказала мать.

— Но почему?

— Я боялась исковеркать ему жизнь. Я хотела, чтобы он нашёл себе более достойную жену, нежели я.

Я ошиблась и в итоге сломала жизнь и себе, и ему... — по её лицу потекли слезы, но она не смахивала их.

— А он... знал обо мне?

Некоторое время мать молчала, а затем, собравшись с силами, ответила:

— Ты должна знать, Нюточка... Я ведь... не мать тебе!

— Как так? — опешила Аня.

— Ты рождена в законном браке между Родионом Аскольдовым и Ксенией Клеменс. Ты круглая дворянка, девочка. А я... В те дни, когда ты родилась, я схоронила своего новорожденного первенца, и Марья Евграфовна позвала меня к тебе кормилицей. Я привязалась к тебе, как к родной дочери, Нюточка. А потом... Потом на усадьбу напали, мы бежали с помощью Алексея Васильевича. Но всем спастись не удалось. Твою маму и бабушку убили, а я несколько часов пряталась с тобой в овраге, а затем пошла в город к Александру Порфирьевичу.

Некоторое время Аня не могла произнести ни слова, пытаясь осознать открывшуюся тайну. Мать сидела напротив, поникшая, постаревшая сразу лет на десять и обречённо ждала ответа.

— Успокойся, мама, — наконец, сказала Аня. — Что бы ни было, для меня всё остаётся по-прежнему. Я знаю лишь одну мать, тебя, и другой у меня быть не может.

При этих словах мать встrepенулась, уткнулась лицом в её руки, заплакала.

— Расскажи мне об отце, — попросила Аня сквозь слёзы. — Что с ним?

— Я не знаю, — мать подняла голову. — Мы встречались несколько лет назад. Помнишь человека, который на улице передал тебе для меня свёрток?

— Так это был он?

— Да. Я не успела с ним даже попрощаться... Мы хотели уехать с ним. Взять тебя и втроём уехать

заграницу. Но я не могла оставить Замётова после удара! А твой отец не мог больше жить так... К тому же здесь ему постоянно грозила опасность.

— Так он за границей?

— Нет, в России. Раз в год он присылает мне открытку. Но я не знаю, где он живёт... Ты понимаешь, Нюточка, никто не должен знать о том, что я тебе сказала!

— Конечно, мамочка, я понимаю, — Аня тяжело вздохнула. — А что случилось сегодня? Ты сказала, что что-то случилось?

— Приезжала тётя Лида, — ответила мать. — С твоим дядей беда. Нужны большие деньги, чтобы спасти его жизнь, и срочно.

— А причём здесь я?

Мать погладила Аню по руке и открыла коробку, в которой оказался завёрнутый в материю альбом с гравюрами:

— Это то, что передал тогда твой отец. Этот альбом принадлежал твоему деду. Он — единственное, что уцелело из семейных ценностей — прочее сгорело в ту роковую ночь. Отец оставил его тебе, и теперь он твой. Я плохо разбираюсь в искусстве, но знаю, что этот альбом очень редкий и стоит очень больших денег.

— Я, кажется, поняла, — Аня подняла глаза на мать. — Ты хочешь продать альбом, чтобы спасти дядю?

— Этот альбом — твой, — ответила та. — И только ты можешь решать, как с ним поступить. Если ты решишь оставить его, я не возражу. Это единственный подарок твоего отца тебе, и ты, разумеется, не обязана жертвовать им.

Аня задумчиво полистала альбом, не столько раздумывая, как поступить, сколько переживая всё свалившееся на неё.

— Альбом, конечно, нужно продать, — решила, наконец. — Разве может быть какая бы то ни было вещь

дороже, чем жизнь человека? И этот альбом не может быть дороже жизни дяди. Как мы будем смотреть на него, зная, что дядя погиб оттого, что мы... пожадничали...

— Но ведь это память об отце...

— Память об отце — здесь, — Аня приложила руку к сердцу. — И фотография, и открытки... А что от отца — в этих гравюрах? К тому же мне кажется, что если мой отец таков, как о нём рассказывала Марья Евграфовна, то он одобрил бы моё решение.

Мать поднялась и, подойдя к Ане, крепко обняла её:

— Сейчас он гордился бы тобой, девочка! Он, как и ты, ни секунды бы не сомневался в выборе! А я... Я счастлива сегодня, потому что вижу, что вырастила его дочь такой, какой ей должно было стать — настоящей Аскольдовой. Спасибо тебе!

## Глава 10. Ад

Великий Данте разделил ад на семь кругов. В аду земном кругов этих несравненно больше. Долгое время, благодаря Петру Дмитриевичу Барановскому, Сергей оставался в высшем кругу. Природная усидчивость помогла ему быстро овладеть малознакомым ремеслом, и совместно с Барановским он успешно занимался строительством лагерных объектов. Тем не менее, хрупкая и болезненная натура его стала быстро сдавать и при этом, щадящем режиме.

Однако, Сергею повезло ещё раз. У одного из лагерных начальников была дочь-старшеклассница, которой любящий родитель желал обеспечить лучшее будущее — желательно, в столице. Девочке был нужен хороший репетитор, и, узнав о наличии в лагере полиглота и учёного, полковник Бышковец немедленно пригласил его к себе.

Это были самые спокойные дни лагерной одиссеи Сергея. Наконец, он занимался тем, что было ему близко и понятно, находясь в тепле и получая в дополнение к пайку добавку с «барского стола». К тому же полковник Бышковец не был ни патологическим живодёром, ни заматерелым палачом, а служакой, немало развращённым вседозволенностью в отношении подвластных рабов, но ещё не утратившим ни хозяйственного рационализма, мешавшего без толку морить людей, ни некоторого чувства справедливости, не позволявшего переступить определённых границ.

Сергей оценил то, что полковник не норовил лишней раз указать ему его место, но в домашней обстановке обращался с ним корректно, подчас снисходя до равного по форме разговора. Бышковец был уже немолод, довольно начитан и неглуп, и его, по-

видимому, в немалой степени тяготила окружающая среда, состоящая, по преимуществу, из холуёв и стукачей. Со временем Сергей случайно узнал и такую деталь, что жена полковника, женщина на удивление приятная, происходит из дворянской семьи. Видимо, этот факт отразился на общей культуре их семейного быта, что и отличало Бышковца в лучшую сторону от его коллег.

Занятия с его дочерью Дашей шли успешно. Девочка не блистала способностями, зато, скупая от вынужденного одиночества, не ленилась. Правда, в её поведении нередко проскальзывали ноты хозяйки, и Сергей вспоминал своих первых воспитанников, мало слушавшихся его, бывшего для них нищим студентом, из милости взятым на службу их родителями. Но это было сущими пустяками. Тем более, что благоволение полковника дало ему возможность на внеочередные свидания с Таей, ставшей для него маяком, благодаря которому он всё ещё находил в себе силы барахтаться в пучине.

Увы, всему хорошему свойственно быстро заканчиваться. Полковника Бышковца неожиданно перевели в другое место, и с этого момента началось быстрое схождение во глубину преисподней.

Привилегированное положение рождает зависть, а зависть — доносы. Так оказался Сергей во внутренней лагерной тюрьме. Тёмная, холодная, сырая камера, штрафной паёк, допросы относительно якобы проводимой им среди других заключённых антисоветской пропаганды, во время которых заставляли раздеваться донага, зная, что голый человек неизбежно теряет равновесие, становится более податлив... Сергеем быстро овладело безысходное отчаяние. Ведь ему казалось, что он почти выдержал испытание, большая часть срока была уже позади, и вдруг вместо освобождения ему бесстыдно



накручивали второй срок. Бывалые сокамерники упредили:

— Или восьмерик или катушка, как рецидивисту.

Десять лет! От одной мысли этой всё внутри обрывалось, и оставалось единственное желание: умереть прямо сейчас и никогда больше не видеть, не знать этого безысходного ужаса, унижений, тупого равнодушия.

Но смерть не шла... И не шёл даже сон, иногда дающий передышку в мучениях. Сергей завидовал спокойствию своих товарищей по несчастью. По-видимому, они уже свыклись со своей долей и берегли остатки сил, не растрачивая их понапрасну. Они крепко спали в то время, когда Сергей ворочался с боку на бок на жёстких нарах, дрожа от озноба и изводя себя страхами, а днём коротали время за неспешными разговорами.

А рассказать было что! Каждый человек — своего рода, книга, страницы которой всегда любопытно читать. Их было трое: столыпинский переселенец Калиныч, бывший петербургский студент Лавруша и мошенник-рецидивист Цыган, взятый за поножовщину в бараке. Будучи в одиночестве, не имея поддержки своих против «фраеров», Цыган держался миролюбиво и, в сущности, немало оживлял царившую в камере тоску, красочно живописуя свои странствия — от солнечного Ашхабада до Иркутска, от Тбилиси до финской границы... Цыган был, по-видимому, талантливым и рискованным авантюристом. В числе его жертв оказывались даже государственные учреждения, чьи бумаги он искусно подделывал, и крупные начальники, которых он проводил, как детей. Такие истории слушать было особенно интересно и даже весело, поскольку Цыган обладал ещё и незаурядным талантом рассказчика.

— Твои бы таланты да на благо использовать, — качал головой степенный Калиныч, словно только что сошедший со страниц тургеневского рассказа.

— На чьё благо-то? — усмехался Цыган.

— Людей, кого ж...

На это Цыган разражался раскатистым смехом:

— Кабы я свои способности на пользу людей употребил, так уже бы вышку получил! Потому что заботиться о благе людей — это контрреволюция! Ты-то, голова, на том и прогорел, или я ошибаюсь?

Калиныч тяжело вздохнул и отворачивался к стенке. На воле он был шкипером на небольшой реке. С очередным грузом товаров для сельпо прибрежных селений его отправили перед самыми заморозками. Зарядившие ледяные дожди спровоцировали подъём воды и ледоход из оторвавшихся закряек. Хилое судёнышко Калиныча почти не могло продвигаться вперёд из-за нарастающих с каждым днём ледяных заторов. Команда, быстро смекнувшая опасность, бежала во время очередной остановки, и Калиныч остался сражаться со льдами один на один. В любой момент какая-нибудь льдина могла пробить борт, и тогда бы он неминуемо погиб вместе со своим судном. Сутками не смыкая глаз, Калиныч вёл свой «корабль», лавируя между опасностями. С риском для жизни, проявив чудеса ловкости и приложив невероятные усилия, он добрался до места назначения, наняв за четыре бутылки водки новую команду. За такой подвиг самоотверженного героя надлежало наградить. Но — четыре бутылки водки?.. Но — съеденные во время ночных сражений со льдами два кило сухарей и сахар? Да ведь это — расхищение государственной собственности! И получил Калиныч «награду» — десять лет ИТЛ. Его жена осталась без средств к существованию с тремя ребятишками на руках, младший из которых недавно умер.

Цыган хохотал во всё горло, узнав о «преступлении» Калинача. Ему, ловкому мошеннику, ограбившему государство не на одну тысячу, было смешно, что бедный шкипер оказался практически приравнен к нему.

— Учитесь, граждане фраера! Нужно воровать масштабно — тогда хоть поживёте вволю и весело, прежде чем на нарах крючиться.

Сергей не успел узнать участь своих сокамерников — ему приговор вынесли раньше: десять лет ИТЛ. Услышав вердикт «суда», он едва не лишился чувств. Это был конец. Но не просто конец, а удлинённый во времени, мучительный, страшный. В тот момент что-то сломалось внутри, и всё дальнейшее стало походить на тяжёлый сон, от которого невозможно пробудиться.

Вначале был этап... Совсем не такой, как прежний, а пеший. Вереницу голодных и истощённых людей дюжие конвоиры с собаками гнали день за днём многие километры. Кое-кого из заключённых пришли проводить родные, и Сергей отчаянно искал в кучке собравшихся у ворот зарёванных баб Таю. Но её не было... И от этого стало ещё страшнее. Слишком долго от неё не было вестей. Вдруг что-то случилось с ней? Ведь она совсем одна здесь! Её может обидеть каждый... Или не простили связи с ним? Ведь она представилась его женой. Что если и она арестована?

Снег качался и плыл перед глазами. Топали серые, согбенные люди — мужчины, женщины, одинаково истерзанные и лишённые надежды. Лаяли собаки, лаяли ещё злобнее конвоиры:

— Живее! Живее! Нам до ночи до посёлка дойти надо!

Конвоиры обязаны доставить «товар» живым. Что будет после, не их дело. Но за происшествия на этапе с них спросят, и они не преследуют цели уморить подвластных. Они всего лишь приторговывают хлебом,

выделенным на пайки заключённым, и от этого пайки необратимо сокращаются. Сколько может пройти человек, питающийся двумя кусочками хлеба в день и кружкой воды, даваемой лишь раз в день — на ночь? Но люди — шли. День за днём, с рассвета и до ночи...

— Живее! Живее!

Вот, проехали мимо дроги, и сердобольная баба сунула кусок хлеба колыхающейся от ветра девчущке, бредущей позади всех. О, какая ошибка! Нельзя проявлять жалость к одному, когда рядом десятки таких же! Голод обращает человека в зверя... Мгновение, и девочка распостёрта на снегу, а десяток бывших людей, наиболее быстрых и сильных, рыча, рвут друг у друга заветный кусок. Остальные, более слабые, лишь с сожалением и жадной дрожью смотрят на них, сглатывая слюну.

Конвоиры раздают тычки, и снова вереница движется вперёд, оставляя капли крови на снегу... Живее! Впереди ждёт посёлок, а в нём холодный сарай — тюрьма, в которой предстоит провести несколько часов, отведённых на сон. Часов этих тоже всё меньше, потому что голодные люди идут медленно, и этап не укладывается в срок.

А к этому добавляется вечная пытка стыдом — необходимость справлять естественные потребности на глазах у всего этапа... Да, навряд ли изобретён где-то более совершенный механизм расчеловечивания человека, низведения его до уровня бессловесного. И какой же силой нужно обладать, чтобы сопротивляться ему!..

Наконец, очередная тюрьма, последняя на этапе. Тюрьма пересылочная, а потому набита битком. Большая часть заключённых — уголовники, среди которых выделяется злобная свора малолеток. Много страшного видел Сергей за годы заключения, но страшнее этих «детей» не видел. Что же нужно было

сделать с детскими душами, чтобы они, пробыв на этом свете дюжину или чуть больше лет, обращались настоящими бесенятами? Озлобленными, развращёнными, готовыми на любую подлость и преступление, упивающимися чужой болью и наделёнными жуткой фантазией в отношении причинения оной?

Урки, как водится, начали с того, что раскурочили сидора фраеров, забрав себе всё, что ещё было в них приличного. Никто не сопротивлялся, смирившись с этим ритуалом, как с неизбежностью. Но на этом «забава» не закончилась. Малолетним шакалам нужна была живая игрушка, и, вот, молодой парнишка-доходяга уже летал между нар, подбрасываемый, раскачиваемый за руки и за ноги. И вновь никто не смел вступить, кроме бывшего военного, ещё не утратившего чувства собственного достоинства, и, видимо, лишь недавно попавшего в оборот и не знавшего лагерных нравов. Он стал барабанить в дверь, требуя, чтобы дежурный положил конец безобразию, но какой дежурный отважится ночью входить к уголовникам? Бывали случаи, когда убивали и их...

Дежурный не вмешался, но строптивость фраера вызвала ярость у урок. Пугающим шелестом пронеслось по камере:

— Я ничего не видел!

Мгновение, и десятки рук уже тащили отбивавшуюся жертву к стоявшей в углу параше...

Утром ни один заключённый, включая избитого парнишку, не посмел сказать, что видел, как утопили строптивного командира. Как выяснилось, все мирно спали, а, стало быть, погибший сам решил свести счёты с жизнью столь отвратительным способом.

И вновь гнали куда-то... Оказалось, в баню. Баня начинается с предбанника, ледяного, как погреб, но в котором, однако же, надлежит раздеться. Наконец,

парная... Тоже холодная, хотя и гораздо теплее предбанника. Вода подаётся на считанные минуты, за которые невозможно не то, что отмыться, но хотя бы согреться. И снова в холод! Но на этот раз без вещей, ибо они отправлены в прожарку. Мокрые ступни примерзают к ледяному полу и, когда раздаётся команда «на выход», их приходится отрывать с кровью...

«На выход»? Но как же? Без вещей? Только здесь Сергей понял, что справление нужды на этапе, это ничто в сравнении с настоящим стыдом. Из двух отделений бани абсолютно голых мужчин и женщин двумя колоннами погнали в соседний дом. Женщинам, особенно молодым и не утратившим привлекательности, было всего тяжелее, так как удобно расположившиеся вокруг охранники бесстыже разглядывали их, громко отпуская похабные комментарии.

В следующее помещение и мужчин, и женщин, так и не дав прикрыться, загнали вместе. Из-за тесноты стоять приходило впритык друг другу. Здесь комиссия проводила шмон вещей заключённых. Шмон этот был не менее тщательным, чем у урок: всё, что осталось сколько-нибудь годного после них, поступало в собственность членам комиссии. Те оказались не брезгливы и оставили узникам лишь рванину.

Таково было начало пребывания в новом лагере. Здесь уже не было ни Барановского, ни полковника Бышковца, и помощи ждать было неоткуда. В бараке, куда водворили Сергея, царил полнейший произвол, так как вся власть принадлежала блатарям. Впрочем, здесь ему всё же повезло — в последний раз. Сергея выручил его язык, талант рассказчика, помноженный на многие знания. Ещё раньше он заметил, что со скуки уголовники подчас любят слушать всевозможные истории. Хороший рассказчик может рассчитывать на

снисходительное отношение с их стороны, как, своего рода, живое радио. Наудачу в новом бараке «артистов разговорного жанра» не было, и поэтому пересказы романов, повестей, пьес и жизненных коллизий пользовались успехом. Это обеспечило Сергею относительную безопасность: в качестве «игрушек» урки использовали фраеров, казавшихся им менее полезными.

Блатари не надрывались на общих работах: они занимали должности внутри лагеря, либо назначались бригадирами. Жили они в ожидании очередных амнистий за «ударный труд» и в рамках процесса «перевоспитания» грабили политических, играли в карты на наворованные вещи, измывались над доходягами. Как и в других лагерях, здесь процветала однополая «любовь» и вызванные одной болезнью. Сергей сразу заметил в бараке крайне неприятного типа. Он не был уголовником и имел в своём приговоре, пожалуй, одну из самых безнадёжных статей — контрреволюционная троцкистская деятельность. Ещё довольно молодой, но слабый и изнеженный, в лагере он быстро «дошёл» и, пожалуй, не протянул бы долго, если бы не то, чем обеспечивал он себе и освобождение от «общих», и дополнительный кусок. Лагерная проститутка мужского пола, существо одновременно глубоко презираемое всеми до того, что с ним брезговали оказаться рядом или заговорить, и в то же время пользовавшееся привилегиями, так как иные из тех, кто брезговал заговорить на людях, нисколько не брезговал пользоваться его «услугами» наедине — что могло быть отвратительнее? У существа давно не было даже имени, а лишь клички, одна другой срамнее. Чаще всего, его называли Глистом. При встрече с ним Сергей всякий раз ощущал глубокое омерзение, доходившее до тошноты.

Его собственные силы были на исходе уже по прибытии в лагерь, а на общих работах стали иссякать с катастрофической быстротой. Его хрупкие руки не могли справляться с тяжелой тачкой, а голова нестерпимо кружилась. Как ни выбивался он из сил, а нормы выполнить не мог и за это всякий день получал штрафной паёк.

Он с ужасом видел лагерных доходяг — жадно ищущих всякую травинку и отпихивающих друг друга, чтобы сорвать её, выбирающих рыби кости и прочую дрянь из выливаемых кухней в помойную яму отбросов, к которой бросались они наперегонки, едва дождавшись, когда повар выльет очередную «порцию» — и вновь мечтал об одном: умереть прежде, чем дойдёт до их состояния. Тех, кто уже не мог таскать ноги, отправляли в лагерь для законченных инвалидов, чтобы ещё живые мертвецы мучительно умирали от истощения, от пеллагры, приводящей к атрофии мышечных тканей, изменению крови, костей и, наконец, к необратимому разрушению нервной системы. Эти скелеты, обтянутые шелушащейся кожей в бурых, зелёных и иных пятнах, по которой уже не стекала вода, с чёрными провалами беззубых, гниющих ртов и стекленеющими глазами, ползали из последних сил в поисках пропитания и исходили кровавым поносом. Когда они, подобно бродячим собакам, не умирали, но издыхали в жестоких муках, их, совершенно голых, сваливали в телегу, вывозили за пределы лагеря и закапывали в общую могилу. Ни одна самая изуверская средневековая казнь не может сравниться с этой, ибо казнь, даже самая лютая, всегда хотя бы более или менее скоротечна...

В какой-то день Сергею пришла посылка. Сердце забило слабой радостью: значит, Тая жива и свободна?.. Посылка была довольно большой, и измученный Сергей нёс её с почты с немалым трудом.



Он успел пройти совсем немного, когда свора малолеток набросилась на него с разных сторон, во мгновение ока повергала на землю и, больно ударив несколько раз, разбив лицо, исчезла вместе с посылкой...

Сергей приподнялся и в отчаянии заплакал. Внезапно чья-то рука протянула ему крохотный сухарик:

— На, погрызи.

Он жадно запихнул в рот сухарь, дрожащими руками собрал с земли и слизнул с ладони упавшие крошки и лишь затем поднял глаза и отпрянул. Перед ним сидел на камушке Глист и жалостливо смотрел на него... Господи, чем же заслужил, чтобы и такая мразь сухариком делилась и смотрела с наигранным сочувствием?!

— Зря пятишься. Я ведь к тебе, как к другу.

— За сухарь — спасибо, — выдавил Сергей, утирая рукавом смешанную со слезами кровь.

— Не за что. Сухарь — что! Можно и сгущёнкой разжиться, и хлебом, и куревом.

Сергея замутило и, едва сдерживаясь, он ответил сухо:

— Обойдусь.

— Не обойдёшься, — ухмыльнулся Глист. — Ты уже полупокойник. Я сам таким был, вижу. Пути у тебя три: к пеллагрикам, в стукачи или...

— Убирайся прочь! — вскрикнул Сергей, ища, чем бы запустить в ненавистное существо.

— Уберусь, да только ты сам придёшь. Голод-то он и не до такого доведёт... Ты что думаешь, я всегда Глистом был? А я ведь в университете учился. И была у меня фамилия, имя и отчество. И мать была, и сестра. Много чего было... Ты, вот, на меня, как на насекомое, смотришь. И все смотрят. Подумать только, а на Глота не смотрят! Хотя все знают, что Глот — у кума первый

стукач. А скажи мне, как учёный человек, чем это Глот лучше меня? Ведь из-за него люди новые катушки получают, а от меня какой вред?

— Послушай... Я не хочу говорить ни о тебе, ни о Глоте... Оставь меня... — простонал Сергей.

— А я — хочу, — Глист закурил. — Ты ведь образованный человек, книжек прочёл больше, чем все в бараке вместе взятые. Достоевского, поди, читал-восхищался. А ведь это всё туфта! Все эти писатели ничего ни о жизни, ни о людях не знали и фантазию имели убогую! У нас в больничке доктор есть. Золотые руки! Мог бы в столице карьеру сделать, если бы в лагерь не угодил. Врач от Бога — больные на него молятся. Но имеет гражданин маленькую слабость. Сёстры, которых он берёт в больницу, должны становиться его личными рабынями-наложницами. И ведь, заметь, он не считает это преступлением! И остаётся столь же искусным врачом, внимательным к пациентам. Он искренне полагает, что имеет право вознаграждать себя за труды и за протекцию. И, самое главное, что и сами рабыни его, судя по всему, согласны с этим.

— К чему ты рассказываешь мне это?

— Да так, рассуждаю о неоднозначности человеческой природы. До тебя здесь один «заговорщик» был. Оговорил на допросе двадцать душ, можешь себе вообразить? Показания на них дал честь по чести. Троицким из них вышку вlepили, а ему восемь лет. Как бы ты оценил этого человечка?

— Как подлеца...

— Логично, — кивнул Глист. — Но ведь он не был подлецом. Он был хорошим, честным человеком, семьянином, нежнейшим отцом. И когда его били, когда слепили глаза, он терпел... Но потом они арестовали его дочь. Её допрашивали в соседней комнате, и он слышал её вопли. Ему пригрозили, что, если он не даст нужных

показаний, её бросят на всю ночь в камеру уголовников. Женщины, переживавшие такое, или сходили с ума или накладывали на себя руки. Скажи мне, что бы ты сделал на месте этого подлеца?

— Не знаю... — едва слышно отозвался Сергей, стиснув голову, в которой нарастал невыносимый гул.

— А я знаю! Ты сделал бы то же самое! Потому что мы все — одинаковые! И ты — такой же, как и я!

— Неправда! Есть люди настоящие, которых ничто не может сломать!

— Был у нас здесь один такой настоящий. Важный! Благородный! Честный! Голубая кровь! У нас таких не любят. Поставили его на место однажды, потешились, попользовались в очередь. Думали, вешаться пойдёт от позора. А он, знаешь, так делово к вопросу подошёл! Всякое, говорит, удовольствие требует вознаграждения. Ну, дали ему сгущёнки с хлебом — деловой разговор тут всегда ценят! Умные-то люди быстро смекают, что без чести выжить завсегда проще!

Сергей приподнялся и, надвинувшись на Глиста, прохрипел:

— Врёшь ты всё! И прежде меня сгниёшь! Сгинь с моих глаз, падаль! Сгинь! Сгинь!

Едва тот со змеиной усмешкой ушёл, как он снова свалился на землю: его рвало.

На другой день Сергей уже едва нашёл силы выйти на работу, у него поднялась температура, и всё тело болело. Вечером он попытался выпросить в медпункте больничный, но дежурная медсестра обозвала его симулянтом и даже не дала никаких лекарств.

А ещё днём позже Сергей не удержал тачку, и она покатила вниз с пригорка, едва не зашибив двух заключённых. Это, разумеется, было расценено, как намеренная диверсия, за которую было назначено наказание — заключение в штрафной изолятор...

Глумление охранников и ледяной чулан, в котором невозможно даже вытянутся во весь рост — это были последние относительно ясные воспоминания Сергея. Дальше память возвращалась к нему лишь изредка, слабыми проблесками. Несколько раз он видел врача, и смутно понимал, что находится в больнице. Однако, понимать что-либо более не хотелось. Сергей постоянно пребывал в забытии, укрывшись в нём от ужасающей реальности. Впрочем, и это не дало ему покоя, ибо сон рождал кошмары, один страшнее другого... И лишь последнее утешение было оставлено в этом аду: иногда во сне он видел Глинское, видел Таю...

В какой-то день чьи-то грубые руки подняли его и отволокли в ванну, где наскоро вымыли и постригли, а затем одели в чистое бельё и одежду... После этого Сергей очутился в незнакомой комнате и услышал плачущий голос:

— Серёженька, Серёженька, ты слышишь меня? Ты узнаешь меня? Посмотри на меня, родной мой!

Тая... Значит, опять сон... Он не шевельнулся и прикрыл глаза от света, но кто-то с силой встряхнул его, заставив снова открыть их. Перед ним стояла на коленях Тая. Раскрасневшееся лицо её было мокрым от слёз. Она звала его, покрывала поцелуями руки, гладила горячими ладонями его лицо:

— Серёжа, посмотри на меня! Это я! Тая!

— Он не слышит вас... — донёсся чей-то голос.

— Он услышит! — уверенно ответила Тая, не сводя глаз с Сергея. — Он не может не услышать меня!

Сергей задрожал, боясь поверить в реальность видимого, и всё же порывом схватил руку Таи, прошептал отчаянно:

— Тая, Тая, забери меня отсюда! Спаси меня!

Она обхватила его, едва сидящего на жёсткой скамейке, ответила сквозь слёзы:

— Конечно, заберу, родной мой! Я ведь за тобой приехала! Я так долго тебя искала, так долго... Мы сейчас уедем отсюда навсегда, и никто больше не причинит тебе боли, никто, никогда. Ты можешь идти? А?

Идти он не мог. Даже сидеть без опоры не было сил. За спиной Таи появился молодой человек в очках, строгое лицо которого показалось Сергею смутно знакомым. Он испуганно вздрогнул, но Тая крепко стиснула его ледяные ладони:

— Не тревожься! Это Александр Надёжин, сын Алексея Васильевича. Он приехал помочь нам.

В следующий раз Сергей очнулся от порыва холодного ветра. Они шли к проходной. Александр нёс его на руках, а Тая крепко сжимала ладонь, приговаривала:

— Потерпи ещё немного. Теперь всё страшное позади, теперь всё будет хорошо. Александр Алексеевич хороший врач, он поможет тебе, и скоро мы будем дома...

Момент, когда ворота лагеря остались позади, Сергей запомнил. Но даже тогда всё ещё не верилось в возможность чудесного избавления. Неподалёку стояла запряжённая чахлой лошадёнкой телега. Александр сделал знак не менее чахлому вознице и тот, сплюнув папиросу, кивнул. Надёжин осторожно усадил Сергея в повозку, Тая устроилась рядом, укрыла его одеялом поверх надетого тулупа, прижала к груди. Телега тронулась.

— Тая! — тревожно позвал Сергей, приподняв голову и, преодолевая боль и темноту в глазах, пытаясь взглянуться в её лицо.

— Что, Серёженька?

— Это всё правда? Это не сон?..

— Не бойся, мой милый. Сны остались позади и больше не вернутся. А теперь мы будем жить. И больше

никогда не разлучимся. Не тревожься больше ни о чём.  
Оставь все тревоги мне и набирайся сил.

Её горячие губы коснулись его лба, щёк, и он почувствовал, как неудержимым потоком хлынули из глаз слёзы...

## Глава 11. Одиночество

А проклянешь судьбу свою,  
Ударит стыд железной лапою, —  
Вернись ко мне. Я боль твою  
Последней нежностью закапаю.

Она плывет, как лунный дым,  
Над нашей молодостью скошенной  
К вишневым хуторам моим,  
К тебе, грехами запорошенной.

Ни правых, ни виновных нет  
В любви, замученной нечаянно.  
Ты знаешь... я на твой портрет  
Крещусь с молитвой неприкаянной.<sup>20</sup>

От этих строк судорогой перехватило горло, и Аглая долго стояла, прислонившись к стене, и, лишь когда внизу хлопнула дверь парадной, поспешно сбежала по лестнице, кивнув поднимавшемуся соседу.

Надо же было, чтобы это письмо, в ожидании которого она теряла покой за месяц до срока, пришло именно сегодня! После очередной ссоры с Замётовым, после того, как Нюта, распахавшись, убежала из дома...

Ссора с Замётовым — конечно, пустяк. Бывали и похуже стычки, хотя то ли нервы прежде были крепче, то ли что, но никогда не выматывали они так, как теперь. Замётов хотел, чтобы Нюта вышла замуж за Варсонофия Викулова, казавшегося ему надёжным человеком с большими перспективами. Ему не нравилось намерение девочки выступать на сцене, не нравились её легкомысленные друзья, не нравился Саня

Надёжин, и не проходило дня, чтобы он не пытался навязать ей свой образ мыслей.

Аглаю же гораздо больше волновала судьба Петруши, за которого она чувствовала себя ответственной перед покойной подругой. Узнав после долгих расспросов от дочери, что мальчик уехал из Москвы да ещё написал странное письмо, она не на шутку встревожилась. Не верилось, чтобы Петруша уехал, не простившись с ней, не написал. И не верилось и в то, чтобы он разлюбил Нюту. Аглая пыталась убедить дочь узнать, куда отправился Петя, хотела найти его и написать ему сама. Она чувствовала, что с мальчиком что-то произошло, что, возможно, он, как и сама она когда-то, решил пожертвовать собой, чтобы не портить жизнь любимому человеку. Но ведь он ещё не знал, какая огромная ошибка — такая жертва! И некому объяснить ему!..

— Отчего ты не рассказывала мне, что происходит между вами? — сокрушалась Аля. — Я бы пошла, поехала к нему, поговорила бы!

— Довольно того, что я с ним говорила, забыв саму себя! Если я ему не нужна, так и Бог с ним! Я и без него проживу счастливо! — а лицо девочки при этих словах было таким несчастным, что у Аглаи сжималось сердце. Дети, дети! Если бы вы могли постичь опыт родителей, не проходя их пути заново...

В последнее время Нюта всё больше отдалялась от неё. Она всё реже бывала дома, всё чаще отмалчивалась, не желая делиться переживаниями. Это глубоко ранило Аглаю, всегда старавшуюся быть дочери другом, надеявшемуся на её доверие. А доверия, как оказалось, не было... Или сказывалась чужая кровь?

— Избаловала барышню! — шипел Замётов. — Только и увивалась вокруг неё, как служанка! Вот, она об тебя ножки-то нежные и вытирает! И об меня заодно!



А, впрочем, твоих бредней ей и впрямь не стоит слушать, безумная баба! Иначе совсем голову потеряет!

— Ты-то много ли в ладу со своей головой прожил?!

— А хоть бы и ни дня ни ты, ни я так не жили! Пусть хоть она человеком поживёт!

После очередной домашней сцены Нюта, доведённая до слёз, убежала к Рае, заявив, что и Новый год будет встречать у неё. Не в силах оставаться дома, ушла и Аглая. Ей было как никогда тоскливо и одиноко в эти предпраздничные дни. Прежде в её горькой жизни была хотя бы одна опора — Нюта. Ею Аля жила год за годом, но вот, дочь отдалилась, стала жить своей жизнью, и всё сделалось бессмысленным. Господи, может, вовсе напрасным было то следование долгу, которое разрушило ей жизнь? Зачем нужно было остаться с Замётовым семь лет назад, вместо того, чтобы уехать и жить в любви и счастье? Замётов получил бы лишь то, что заслужил... Разве жизнь Родиона, его счастье не стоило благополучия этого изверга?

Опустошённая и подавленная, Аглая брела по заснеженной Москве, изредка с грустью заглядываясь на разряженные ёлки, «реабилитированные» два года тому назад после периода революционного запрета, вспоминая, с какой любовью и радостью мастерил в эти дни вместе с Нютой ёлочные украшения из бумаги и ваты. А теперь никому не нужны они...

Возле магазинов, по обыкновению, тянулись бесконечные очереди. Озлённые люди толкали друг друга, ругались и одновременно озирались боязливо — ну как донесут? Чем сильнее боялись ругать власть, тем с большим ожесточением бранили друг друга, тем большей злобой разгорались к стоящему рядом (не дай Господи впереди!) ближнему, которому мог достаться заветный товар.

Очередей не было только у «закрытых распределителей», доступных лишь правящей касте. Сытые и хорошо одетые её представители — военные и штатские, и их жёны в дорогих шубах — выходили оттуда с пакетами, наполненными дорогими яствами. И десятки завистливых взоров граждан второго сорта провожали их...

Конечно, равенства в этом отношении не было никогда. И всё же привилегии потомственной аристократии, воспитанием и образованием выделяющейся из общей среды, принимать легче, чем хамство вчерашних полуграмотных лакеев, взлетевших из грязи и теперь чванившихся своим обрётённым барством.

— Вора, вора держите! — заголосила бабка в одной из очередей.

Привычны стали эти крики в Москве. Не зря бранился старый сыщик Скорняков, что воров ловить стало бессмысленно: не успел поймать, а на завтра он уже по амнистии гуляет. Сроки получали лишь те, кто воровал у государства, а жулики, обчищавшие простых граждан, всегда отделялись лёгким испугом, и оттого наглели, сознавая свою безнаказанность.

Вот, пронёсся опрометью оголец с бабкиной кошёлкой — и хоть бы кто остановил, погнался. Боятся! Вмешавшийся рискует получить удар ножом — если не при задержании, то позднее, в отместку за помощь милиции... Да и милиция куда как разная бывает. Кроме скорняковых немало было таких, что предпочитали задерживать «нарушителей паспортного режима», нежели уголовников. Оттого никакого доверия нет к идущему навстречу человеку в форме, но наоборот — инстинктивно хочется свернуть в сторону.

Что же это за время настало? На Красной площади идут парады... Танки, самолёты, оружие... Бравурные марши... Могучие атлеты, мужчины и женщины, в белых

спортивных формах, застывшие в разнообразных позах, сияющие улыбками... Знамёна, плакаты, транспаранты... «Физкультурники — товарищу Сталину!», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»... Портреты, нескончаемые портреты Вождя... Ликующие толпы...

А вся жизнь соткана из страха — перед государством, перед НКВД, перед уголовниками. И от этого изводящего душу страха невозможно забыться, он опутывает, давит, сковывает движения.

Когда арестовали отца, Аглая писала самому Калинин, умоляла отпустить больного старика дожить оставшиеся ему месяцы дома. Но ничего не помогло. Первое время ещё разрешались передачи, но вскоре их перестали принимать и объявили вердикт: десять лет без права переписки...

В церквях, если случалось зайти в них, Аля всё ещё ставила свечи во здравие раба Божия Игната. Слабо верилось, что он ещё жив, но, не зная наверняка, она не смела молиться за упокой.

Лишь одно радовало: не пропал напрасно оставленный Родионом альбом. На другой день после разговора с Нютой Аглая попросила Тимофея Скорнякова посоветовать коллекционера, который бы мог дать настоящую цену и поверил бы тому, что предлагаемая вещь не краденая. Узнав, что к чему, старый сыщик взялся помочь и сам сопровождал Алю к нужному человеку, самим присутствием своим обеспечив кристальную честность сделки.

Вырученная сумма оказалась значительно больше той, на которую она рассчитывала. Часть её сразу ушла на взятки нужным людям, остального же должно было вполне достать на лечение брата. От Сани, получившего мандат ППК и отправившегося с Таей за Серёжей, Аглая получила письмо, в котором он сообщал, что надежда на лучший исход есть. Все трое ещё оставались в

Сибири, так как Саня считал слишком опасным для больного столь долгий и тяжёлый переезд.

Аглая не раз думала поехать навестить брата, но не решалась надолго оставить Нюту, чьё странное настроение тревожило её. К тому же Тая отписала Лидии, что к концу января они, может быть, всё-таки тронутся в путь. Это была единственная радостная весть за последнее время. Привыкшая быть нужной своим близким, Аля инстинктивно искала, кому может быть полезна теперь. Больной брат непременно будет нуждаться в особом внимании и заботе родных, которых у него осталось совсем немного, а, значит, и Аглая будет нужна ему.

Отвлечшись на мысли о Серёже, Аля вновь обратилась к Нюте. Где она сейчас? У Раи ли, а, может, вместе с Викуловым, в котором чудилось Аглае что-то недоброе и пугающее? Девочка выросла и тяготится советами и заботой своей «тёмной» матери... Вероятно, такое случается почти во всех семьях, но для Али это было нестерпимым. Что будет, если завтра девочка выйдет замуж? Без любви, сломав себя? Что будет, если она уедет?.. Что останется тогда в жизни? Одна только старость подле человека, который испытывает постоянную необходимость унижать её, вымещая на ней страдание от собственной немощи и застарелые обиды. Как это ужасно!

А ведь всё могло быть иначе... Ведь есть человек, которому она нужна, который её любит. Появись Родион теперь и позови за собой, и она бросила бы всё, забыла бы всех. Но он больше не появлялся, лишь присылал раз в год открытки с пронзительными стихами...

Незаметно для себя Аглая очутилась на вокзале. Отсюда, бывало, ездила она к Родиону... Вот, и поезд подошёл — тот самый поезд! Машинально Аля села в вагон, прислонилась к давно не мытому окну. Глаза не видели проносящихся мимо заснеженных пейзажей,

перед ними стояло Божелесье, берег омута, а на нём — юноша-офицер, всё ещё ждущий её...

Зачем она приехала в Пушкино? Ведь о том, что было семь лет назад, не осталось здесь и памяти. Но ноги упрямо сами несли её к дому, какое-то время дававшему им кров. Вот он! Светится окнами в темноте... Аглая медленно приблизилась к нему, не обращая внимания на гневный лай выбравшейся из конуры собаки. На крыльцо выскочила не менее сердитая тётка, закричала с угрозой:

— Что ты шляешься здесь, шалава, а?! Пьяная?! А, ну, пошла вон отсюда, тварь, пока я милицию не кликнула!

Аля болезненно вздрогнула, словно получив жгучий удар плетью, отпрянула в смятение и потерянно побрела к железной дороге. Глаза застилала пелена, в голове мутилось. А ещё и разошедшийся снегопад мёл прямо в лицо, слепя. Чтобы не сбиться с пути, Аглая пошла к станции прямо по шпалам, пригибаясь от ветра и поднимая воротник. Снова и снова виделось ей лицо Родиона, слышался заглушающий всё его голос, зовущий её. Крутились в памяти горькие строчки:

Я отгорел, погаснешь ты.  
Мы оба скоро будем правыми  
В чаду житейской суеты  
С ее голгофскими забавами.

Прости... размыты строки вновь...  
Есть у меня смешная заповедь:  
Стихи к тебе, как и любовь,  
Слезами длинными закапывать...

## Глава 12. Удар

Этой ночью Александр Порфирьевич не ложился. Он то и дело поглядывал на часы и безуспешно боролся с нараставшим с каждым часом беспокойством. К тому, что падчерица не ночевала дома, он привык давно. Да и что взять с девчонки? На то и юность, чтобы веселиться с друзьями и подругами... Но куда могла пропасть жена? Ведь даже близких подруг после смерти Нади не осталось у неё. Где же может быть она в такой час? Колочая ревность боролась со страхом. В памяти всплывали статьи из криминальной хроники и рассказы Скорнякова. Наводнили уголовники столицу, так что и днём по улицам ходить не безопасно. И то сказать — где тут бороться с ними, когда у нас шпионов да контрреволюционеров с вредителями отлавливают?

По мере того, как страх увеличивался, нарастали и муки совести. Для чего он, старый дурак, устроил скандал? Для чего оскорбил Алю? Ведь, если справедливым быть, то все эти годы она ходила за ним, не бросала, терпеливо сносила всё... Мог бы и он не срывать на ней так застарелую ревность и крах собственной жизни.

В последний год Замётов не находил себе места, и причина того заключалась в овладевшем душой страхе. Однажды выскочив из жерновов смертоносной машины, он боялся, что окажется меж них вновь. Если уж пошли старую гвардию под корень выкашивать, так уж никого не пощадят... И косу-то какую нашли — маленькую да острую. Вспоминалось, как в семействе одного старого партийца жёнушка его ласково звала заходившего к ним Ежова «воробышком», старалась накормить его посытнее, опекала матерински. Николай Иванович на добро оказался памятливым: супруги получили

внушительные сроки, едва «воробышек» взлетел в наркомы.

В сущности, во всей этой оргии было нечто смешное. Ну, разве не смешно представить под нарами всеильного Ягоду? А других заслуженных чекистов? И кто расправлялся с ними — полуграмотный карлик и педераст, карикатура на человека! Вот уж пощёчина «заслуженным»! И ничего — утёрлись запуганно. Смешно!

А все эти трусы — Каменевы, Бухарины?.. Ведь даже сдохнуть не могли достойно. Революционеры! Какие революционеры из цирюльников? Из шантрапы, по существу, не имевшей знакомства с тюрьмой, тем более, каторгой? Никогда и ни под какой пыткой не стала бы каяться Мария Спиридонова. И другие настоящие революционеры не стали бы. Но паразитировавшие на революции, в итоге оседлавшие её ничтожества слишком любили свою драгоценную жизнь, чтобы не выстелиться под ноги собственным палачам. И ведь надеялись они, что Коба пощадит. Бухарчик надеялся. Говорят, даже письма слёзные строчил Хозяину. И это революционеры! Ярмарочные шуты... А ведь сколько крови — отнюдь не шутовской — выпили.

Нередко Александр Порфирьевич задавался вопросом: а что же сам он? Смог бы он погибнуть достойно? Ведь нынешние расправы — это совсем не гордый восход на плаху, над которой жадно сияет окровавленный нож гильотины. Дантон, которого везли сквозь толпу, в которой многие почитали его, Дантон, который гордо восходил на эшафот, провожаемый взглядами тысяч глаз, мог сделать из своей смерти последнее представление, мог обратиться к народу с горячим словом и смеяться в лицо палачу. Но как бы вёл себя Дантон, если бы вместо смерти на миру, вместо гордого восхождения на плаху очутился бы он в тёмном

подвальчике, где мастера дел пыточных сломали бы ему спину, выжгли глаза химическим карандашом, воткнули кол?.. Врёте, гражданин, не стать бы вам тогда героем, и завтра подписали бы вы показания, что ваш подельник Демулен — английский шпион и тайный роялист!

Размышляя об этом, Замётов всё чаще приходил к выводу, что мудрее всех оказался Гамарник, застрелившийся прежде, чем его успели взять. Не последний ли это способ — уйти достойно? Хорошо знавший химию Александр Порфирьевич давно изготовил мгновенно действующий яд, который всегда хранил при себе. Это успокаивало — и мгновения достанет, чтобы уйти от них, если нагрянут...

Кроме общего сгущения мрака тревожила Замётова падчерица. Его выводила из себя мысль, что девочка может связать свою жизнь со смертником — внуком белого генерала, которого дура Аглая привела в дом. Все попытки воззвать к рассудку оказывались напрасны, маленькая дурочка влюбилась по самые уши и готова была в случае нужды следовать за своим избранником хоть «во глубину сибирских руд». Но Александра Порфирьевича такая перспектива не устраивала категорически. Он вырастил Аню, как родную дочь, и хотел, чтобы она была надёжно устроена в жизни.

Её новый ухажёр, Варс Викулов, казался Замётову наиболее подходящим вариантом для устройства судьбы падчерицы. Он сразу угадал в нём человека умного, хитрого, хваткого. После чисток командного состава такие неизбежно будут в цене. Пожалуй, более надёжного спутника жизни в столь ненадёжное время отыскать сложно.

Александр Порфирьевич всемерно привечал Варса, но с досадой видел, что Аня всё ещё увлечена генеральским внуком. После того, как тот съехал с их



квартиры, он понадеялся было, что разлука и видимое охлаждение любимого отрезвят девочку, но не тут-то было. Она всё ещё надеялась, что их любовь вернётся, и они будут вместе.

Однажды Варс зашёл, когда ни Ани, ни Аглаи не было дома, и Замётов воспользовался случаем, чтобы поговорить с ним по душам.

— Итак, я вижу, вы питаете к моей падчерице серьёзные чувства?

— Не скрою, это так.

— Могу ли я спросить, насколько именно они серьёзны?

— Я хочу, чтобы Анна стала моей женой, — ответил Викулов.

— Вы говорили ей об этом?

— Пока нет.

— Вы встречаетесь уже несколько месяцев и не предпринимаете никаких действий? А как же «быстрота и натиск»? — прищурился Замётов.

— «Быстрота и натиск» хороши в кавалерии, а, к примеру, разведка, предполагает хитрость.

— Логично. И сколько же времени вы собираетесь хитрить?

— Александр Порфирьевич, я слишком хорошо вижу, что Аня, к сожалению, пока не готова к решению, которого я от неё жду. Побеждает тот, кто умеет ждать. И я готов подождать.

— Лукавый вы человек, Варсонофий Гаврилович... Ну, да ладно. Я нынче не расположен к лукавству, а потому скажу прямо: вам придётся очень долго ждать. И вы рискуете ничего не дожидаться.

— Отчего так?

— Оттого, что у вас есть соперник. Нет, не подумайте: между ними ничего нет. Более того, насколько я понимаю, он уже сам отступился от Ани. Но этого мало! До тех пор, пока он рядом, пока у неё

остаётся хоть какая-то надежда на то, что они смогут быть вместе, она не удостоит даже взглядом никого другого!

— И кто же этот мой соперник? — с видимой небрежностью осведомился Варс.

— Его зовут Пётр Алексеевич Юшин. Работает художником в кино. Дворянин по матери. Сын колчаковского офицера и внук генерала из ближнего круга барона Врангеля. Вам этого достаточно?

— Вполне, — тонкие губы Викулова дрогнули в чуть заметной усмешке. — А отчего бы, Александр Порфирьевич, вам было не поделиться столь ценными сведениями с наркоматом внутренних дел?

— У меня с некоторых пор не самые добрые отношения с этим ведомством.

— Ах, да, ваш паралич...

— К тому же вы очень заблуждаетесь, если думаете, что я желаю этому юноше зла. Если бы он оказался в заключении, Аня ждала бы его и поехала бы за ним. А если бы, не приведи Господи, он погиб — она, может статься, хранила бы верность его памяти. Во всяком случае, навряд ли это расположило бы её... к разведке, — Замётов многозначительно посмотрел на своего собеседника и по его лицу определил, что тот отлично понял намёк.

— Само собой, — кивнул Варс. — Никто и никому не желает зла. Но, признаться, я полагаю, что моей будущей жене не стоит водить дружбу с сомнительными элементами. Надеюсь, и она это поймёт в самом ближайшем будущем.

В самом ближайшем будущем Александр Порфирьевич узнал от жены, что Аня получила некое письмо от своего ненаглядного дружка, в котором тот сам отверг её. С той поры девочка страдала сильными перепадами настроения: то была мрачна и угрюма, раздражалась от каждого пустяка, то срывалась в

легкомыслие и наигранную весёлость. Но это мало тревожило Замётова. Пострадает и перестанет — какие её годы! Зато теперь нет рядом с нею постоянного источника опасности, и нет более препятствия на пути столь удачной партии, как Викулов. Раньше или позже девочка непременно примет его предложение. Когда бы ещё Аглая повлияла на неё! Так нет! Эта глупая баба лишь растравляла ей душу, проповедуя разные бредни и печалуясь о сынке своей любимой подружки. Именно это и послужило поводом к последней стычке...

Время близилось к утру, а Аглаи всё не было. Не в силах более ждать Александр Порфирьевич поковылял к телефону. Его давно подводило зрение, и потому немало времени ушло на то, чтобы отыскать и разобрать в записной книжке телефон Скорнякова, после расстрела главы московского Угрозыска Вуля пошедшего на повышение и получившего отдельную квартиру:

— Тимофей Лукьянович? Простите, что беспокою в такой час. Дело в том, что пропала моя жена Аглая Игнатьевна. Ушла из дома ещё днём и до сих пор не вернулась. Я совершенно не знаю, что делать... Может быть, вы посоветуете?

Скорняков, несмотря на тяжёлую работу и хмурю наружность, был человеком отзывчивым и обещал проверить, не случилось ли беды с бывшей соседкой.

И снова с изводящей медленностью потекли минуты, часы... Когда за окном начало светать, Замётов бросился в комнату Аглаи и Ани, взглянул на икону, лампада перед которой погасла, неуклюже закрестился, вдруг испугавшись того, как фактически донёс на Петю Юшина, как жесток и груб был с женой... Вспомнилось, как несколько лет назад она лежала при смерти, как в храме на Маросейке каялся он отцу Сергию и принимал его напутствие, как в этот самый миг чудом очнулась Аглая... И ведь первые годы он

старался следовать напутствию, старался преодолевать себя, но затем свершившееся чудо поблекло, и голос отправленного в заключение пастыря удалился, не напоминая о себе, и телесная немощь ожесточила душу, исполнив её желчью, выплёскивающейся на всех... Но если чудо всё-таки было? Если Он всё-таки есть?..

В дверь позвонили, и Александр Порфирьевич поспешил открыть. На пороге стоял мрачный Скорняков.

— Вы нашли её... — хрипло проронил Замётов, уже поняв всё по лицу сыщика.

— Александр Порфирьевич, у меня плохие новости.

— Её нет? Нет?! — пересохшие губы Замётова задрожали.

— Сегодня ночью Аглая Игнатьевна попала под поезд в районе Пушкина.

— Пушкина? Но какого чёрта она делала там ночью?!

— Этого я не знаю.

— Но... вы уверены, что это она? Ведь если поезд...

— Александр Порфирьевич, я только что из морга. Я видел тело... Конечно, следовало бы, чтобы кто-то из родственников опознал, но учитывая ваше состояние...

— Нет! — вскрикнул Замётов, гоня от себя страшное видение. — Я не хочу, не могу этого видеть... Ведь она была... такая красавица! Как она могла попасть под поезд? Или... — он в страхе запнулся, — это я убил её?

— Причём же здесь вы...

— Я убил! Я был к ней жесток, я оскорбил её!

— Скорее всего, это не было самоубийство, — покачал головой Скорняков. — Судя по картине произошедшего, Аглая Игнатьевна шла по путям к станции. Была сильная вьюга, темно. Скорее всего, она просто не услышала приближающегося поезда, а машинист слишком поздно заметил её и не успел затормозить.

— Негодяй... — прошептал Замётов. — Как он смел не успеть! Как он смел!.. — забыв о Тимофее Лукьяновиче и уронив палку, он вернулся в комнату, вперил ненавидящий взгляд в извечно полный мировой скорби лик:

— Это всё Ты! — прошипел, стиснув зубы. — Это Ты отомстил мне! Но почему именно так?! Ведь это не она донесла, не она! Ведь это я презрел Твоё чудо и наплевал на него и на Твоего попа! Зачем же Ты толкнул под колёса её? Искалечил, изрубил её тело? Такое белое, нежное тело... Как у барышни... Нет, если Ты есть, то Ты не Бог! Не Бог! Ты демон! Дьявол! Дьявол! — с этим истошным безумным криком Александр Порфирьевич запустил синеватой лампадой в икону и в бесчувствии упал на пол.

## Глава 13. Обещание

— Какое сегодня небо, Аня?

— Чёрное и непроглядное...

— Непроглядное... Помнишь, в Ярославле мы с тобой смотрели на звёзды? Так много их было тогда... А теперь не стало вовсе. Все они погасли и осыпались с неба, наши звёзды. Непроглядная чёрная бездна над нами — всё что осталось.

Обычно резкий голос отчима звучал непривычно глухо, медленно. Гибель матери как будто что-то сломала в нём. Он не поехал на похороны, все хлопоты по которым взял на себя Варс, ставший для Ани в эти дни единственной опорой, не пожелал проститься.

— Как это странно. Я ещё есть, но её не увижу больше и даже не услышу.

— Это ведь только здесь, а там...

— Девочка, я не знаю, есть ли это ваше «там». Но если оно есть, то Бог навряд ли пошутит с твоей матерью так жестоко, чтобы и там свести её со мной. Твоя мать не была святой, Аня, но если рай есть, то она там. А меня черти утащат в самое пекло — я знаю.

— Не говори так, — Аня крепко сжимала руки отчима, который стал ей дороже, когда их объединила общая боль утраты. — Ты всегда был добр ко мне. И к другим, я знаю, тоже! Бог видит это, он тебе зачтёт...

Александр Порфирьевич болезненно дёрнулся:

— Довольно! Ты ничего не знаешь обо мне, а я не имею желаний исповедоваться! Лучше сядь рядом и выслушай меня в последний раз.

— Дядя Саша...

— Сядь!

Аня покорно села рядом с отчимом, не выпуская его руки, так как он, почти ослепший, не видя лица

собеседника, стремился осязать его.

— Ты права, девочка, к тебе я был добр. Я любил и люблю тебя, как родную дочь. В этом ты не должна сомневаться.

— Я не сомневаюсь!

— Молчи и слушай! Я скоро умру, это ты тоже должна знать. И ты останешься одна, Аня. Совсем одна, понимаешь? Ты очень молода, хороша собой, воспитана... Всё это делает тебя уязвимой и беззащитной. Ты не сможешь выжить, если останешься одна. Ты погибнешь, Аня! А я не хочу этого. Единственное, чего я теперь хочу, это знать, что я оставляю тебя в надёжных руках, что ты в безопасности и будешь счастлива. Я прошу тебя, Аня, — в голосе Александра Порфирьевича слышались слёзы, — сними ты эту кладь с моей души, дай мне покой хотя бы перед смертью!

— Чего ты хочешь от меня? — слабо спросила Аня, уже предчувствуя, о чём пойдёт речь.

— Ты знаешь, чего я хочу. Я хочу, чтобы ты вышла замуж за человека, за которым будешь, как за каменной стеной.

— За Варса Викулова?

— Да, за Варса Викулова. Или, может, ты предпочитаешь этого учительского сына Надёжина с его мракобесной семейкой?

— Саня Надёжин мой друг.

— Пускай так. Но ты должна выйти замуж за человека, который сможет обеспечить твоё будущее. Ты ведь хочешь петь на сцене? Представь же, сколько негодяев будут преследовать тебя, ища твоей благосклонности! И не все, имей ввиду, будут соблюдать приличия, потому что найдутся такие, у кого будет власть, и для кого никакие законы не писаны. Ты хочешь оказаться с ними один на один? Стать игрушкой в руках таких мерзавцев? Твоё спасение, твоя жизнь

зависит от одного — будет ли рядом с тобой человек, способный тебя защитить. Варс — именно такой человек! К тому же он любит тебя.

— Да, любит... — сквозь слёзы проронила Аня, вспомнив то участие, с которым все эти дни относился к ней Викулов. — Но мне никто не нужен... Никто! Никто!

— Это ты говоришь теперь, потому что тебе больно из-за... вероломного предательства этого мальчишки...

— Не надо!

— Надо. Я очень хорошо понимаю тебя, девочка. Но это пройдёт. Ты захочешь жить, любить, иметь семью и детей. Естественных потребностей живого человека не может отменить никакая обида. Вот, только потом может быть поздно. Поэтому я очень прошу тебя, Аня. Пообещай мне, что выполнишь эту мою волю, выйдешь замуж за Варса. Успокой меня, очень тебя прошу!

В голосе Александра Порфирьевича было столько мольбы и живого страдания, что Аня, наконец, не выдержала — разрыдалась отчаянно, уткнувшись лбом в его укрытые пледом колени. Он гладил её по волосам дрожащей рукой и продолжал заклинять:

— Всё пройдёт, девочка, ты так молода, хороша собой... И всё у тебя будет хорошо. Ты только послушайся меня. Пообещай. Дай мне уйти с миром...

— Хорошо... Я сделаю, как ты просишь... — слабо откликнулась Аня. — Только дай хотя бы прийти в себя от смерти матери, не мучай меня сейчас!

— Хорошо-хорошо! — торопливо закивал отчим. — Я верю твоему обещанию и более ни словом не огорчу тебя, моя дорогая. Ты ведь последнее, что у меня осталось! И ничего, кроме твоего счастья, я больше не хочу.

Она дала обещание... И от этого на душе стало ещё более черно — словно в беззвёздном ночном небе. Никогда ещё Аня не чувствовала такого пронзительного одиночества. Петя оставил её, уехал и не давал о себе



знать. Мать погибла... Так глупо, так нелепо и страшно... Отчего ей должно было погибнуть именно так жутко? Чтобы колёса поезда искалечили её, и она умерла, истекая кровью?.. Вдали от дома, безо всякого смысла, в расцвете лет... Когда человек гибнет на войне, или спасая другого человека, или умирает от болезни или старости — это горько, но с этим как-то можно примириться. Но нелепая случайность! Да ещё такая варварски жестокая! Нестерпимо, нестерпимо...

Где-то за тысячи километров отсюда ещё ничего не знала тётя Мари и дядя Алёша. Если бы они были здесь, было бы легче. Но их нет. И даже Сани, верного Сани нет, потому что он уехал с Таиской за дядей Серёжей и всё ещё не вернулся.

А ещё где-то же есть отец. Родной отец, лишь однажды виденный, незнакомый. И он тоже ничего ещё не знает, и в этом его счастье. Если бы найти его, поговорить, посмотреть в глаза...

Никого нет. Только больной, умирающий отчим и заботливый, всегда готовый помочь Варс. Может, и прав дядя Саша? И давно пора расстаться с сентиментальными мечтами, жить, как живут все. Ведь когда-то, действительно, нужно будет создавать семью, и нужно иметь кого-то рядом. Отчего бы таким человеком не быть Варсу? Разве он хуже других? Конечно, он коммунист, атеист и сотрудник ведомства, название которого произносят шёпотом и с оглядкой. Но он совсем не похож на обычных коммунистов. С ним, в сущности, всегда приятно проводить время. Он добр, терпелив и, действительно, любит её. Даже ни разу не позволил себе чрезмерного напора, ни разу не обидел, не допустил бестактности. Но отчего же так тяжела мысль о браке с ним?

Был, однако же, ещё один человек, кому можно было поведать своё горе. Когда-то обронила мать, точно будущее провидя:

— Если будет тебе тяжело, а меня вдруг не будет рядом, ты иди к отцу Сергию, его совета спроси.

Отец Сергей! Как лучом света из детства озарило... Вспомнилось, как мать впервые привела её на Маросейку и после удивительно красивой службы подвела к молодому батюшке с необычайно пронзительными глазами. Это была первая исповедь Ани. И сперва ей было немного страшно, но батюшка был столь ласков, что она сразу потянулась к нему. Ей было странно, отчего он не спрашивает её о грехах, не корит, не внушает строго, а лишь тепло расспрашивает о ней самой, о её жизни, о семье. Мать потом объяснила:

— Это отец Сергей тебя в свою семью принимал.

Да, так и было. Вся Маросейка была большой и дружной семьёй. В ту пору перед ней стояла проблема религиозного воспитания детей. Семья батюшки владела двумя загородными домами: в Верее и в Дубках. На лето отец Сергей отдавал их членам общины, братчикам, жившим там с приходскими детьми, с которыми занимались бывшие в общине учителя. В Верее однажды гостила и Аня с матерью. Здесь в Ильинской церкви служил друг батюшки — отец Пётр Пушкинский, теперь арестованный по доносу другого «священника». Здесь снимал дачу он сам с матушкой Ефросиньей Николаевной и детишками. Сюда отец Сергей однажды привёз двух беспризорников, которых взял под своё крыло отец Пётр. Братчики — в основном, молодёжь — испытывали немало трудностей на новом для себя поприще воспитания детских душ. Ребята вели себя шумно и свободно, а нет ничего труднее, чем дисциплинировать тринадцатичетырнадцатилетних подростков. Пока душа открыта — видно дурное, и хорошее, а наложить запрет — того и гляди, уйдет эта душа, и тогда ничего не увидишь. Отец Сергей наставлял молодёжь: «Изучайте людей,

будьте внимательны, подходите к ним так, как они этого требуют». И подходили, учась терпению и пониманию...

Счастливым это было время! Старинная Верея со своими церквями, леса, светлоструйные воды Протвы, весёлые детские игры, перемежаемые занятиями и молитвами... И отец Сергей в белом подряснике, понимающий и принимающий всякого, врачующий душевные раны когда бесконечным теплом, а когда и ледяным душем. Холодность и огорчение батюшки были самым чувствительным наказанием для провинившихся его чад.

Ярко помнились Ане и неповторимые маросейские службы, когда все прихожане становились единым целым, и единой была их молитва, обращённая к Богу, и служение самого батюшки, в котором всякое слово звучало проникновенно, не теряясь в холодной затверженности. И помнились исповеди... Только здесь, у отца Сергея, и ощущалось, что происходящее — *таинство*. А не сухой протокольный отчёт о грехах перед равнодушным исполнителем треб... Такой «отчёт», принесённый перед другим священником после ареста батюшки, быстро убил в Ане всякое желание исповедоваться.

С потерей отца Сергея её церковное воспитание, по существу, закончилось. Иногда она ещё ходила с матерью в церковь, но с каждым годом отдалялась всё больше, погружаясь в иные заботы. Правда, когда мать собирала посылку для батюшки, Аня всегда охотно помогала, но при этом стыдилась написать ему, боясь укора.

В Москву отцу Сергию было вернуться не суждено: лагерное заключение сменялось ссылкой, а ссылка — снова ИТЛ. В начале тридцатых по очередному «групповому делу» за якобы «антиколхозную агитацию» он был приговорён к пяти годам лагерей. В лагере

чахоточного священника направили на общие работы. Батюшка голодал, так как его постоянно обкрадывали уголовники, болел и страшно ослаб. Благодаря хлопотам духовных чад и Пешковой отец Сергей всё-таки получил место фельдшера — сперва в Архангельске, затем в Усть-Пинеге, а далее — в Свирских лагерях. Там, снова обкрадываемый уголовниками дочиста, он ходил на босу ногу и в лёгком плаще, дошёл до крайнего истощения. Последний год заключения батюшка провёл на строительстве Рыбинской плотины, где ему могли оказывать поддержку духовные чада и перебравшаяся туда семья.

В 1937 году срок отца Сергея закончился, и он, не имея права жить в Москве, обосновался в Твери, носившей с недавних пор имя Калинина. Здесь батюшка устроился работать в поликлинике «ухогорлоносом». Матушка Ефросинья Николаевна с детьми последовала за ним и сняла под Тверью дачу, куда стали приезжать духовные чада отца Сергея. Рассказывали, что после всего пережитого батюшка обрёл дар прозорливости, свойственный его покойному отцу.

Мать за эти годы несколько раз находила возможность навестить отца Сергея, но Аня не ездила с ней. А теперь, когда её не стало, вдруг отчаянно захотелось увидеть батюшку, рассказать ему всё-всё, как некогда в детстве, и, наконец, попросить, чтобы он помолился о матери...

Отчиму она солгала, сказав, что едет проведать осиротевшую семью деда и по дороге навестить тётю Лиду.

— Да-да, поезжай, развейся, — кивнул Александр Порфирьевич. — Я справлюсь сам. Мне уже лучше. Да и доктор поможет, если что.

Тепло расцеловав отчима, Аня поехала в Тверь. Не надеясь быстро отыскать дачу, она отправилась в поликлинику. Наравне с больными обождав в очереди,

робко вошла в кабинет. Батюшка что-то писал, сидя за столом.

— А я всё гадал, кто же это в гости ко мне торопится, а это наша Анюта, — произнёс неожиданно и лишь затем поднял глаза.

Он сильно постарел и исхудал. Постриженный, поседевший, измученный — на него больно было смотреть. Аня неуверенно приблизилась и, сложив крестом руки, прошептала дрожащим голосом:

— Благословите, батюшка!

Тёплая рука коснулась её головы:

— Бог благословит! — и тотчас последовал вопрос: — Мать-то давно схоронила?

Аня потрясённо взглянула на отца Сергия: ведь и в самом деле, прозорливый! И не по себе сделалось: как же это так он всю черноту её души увидит? Всё же, взяв себя в руки, рассказала о матери. Батюшка перекрестился:

— Царствие Небесное. Послужим сегодня... Ты вот что, Анюта, обожди меня у выхода. Я приём закончу, и пойдём с тобой к нам. Тогда и поговорим обо всём, и поисповедуемся.

Батюшка изменился не только внешне. Прежде вспыльчивый, подчас резкий, быстрый, ныне стал он застенчив и мягок, не выказывал ни упрёка, ни раздражения, а всё покрывал неиссякаемой любовью и лаской. При этом чувствовалось, что нервы его напряжены до предела. От его тепла и участия растаяла, помягчела и душа Ани, и по дороге до дачи она рассказала ему все свои горести и метания. Подчас ей казалось, что можно было бы и вовсе не говорить ни слова. Эти тёмные, пронзительные глаза словно вглядывались ей в душу, читая в ней, как в открытой книге, смотрели и сокрушались вместе с нею её бедам.

— Запуталась я, батюшка. Точно постоянно во мглу смотрю и ни огонька, ни тропинки не вижу. Что мне

делать, скажите?

— Да надо ли тебе, Анюта, чтобы я и впрямь сказал тебе, что делать? — спросил отец Сергей.

— Отчего вы спрашиваете? Я ведь к вам за советом приехала — больше не у кого просить.

— Неправда. Совета всегда есть, у кого спрашивать. Бог-то и Пресвятая Его Мать неизменно подле нас. А свой совет я тебе дам, коли серьёзно просишь, да только ты ведь не последуешь ему.

— Почему не последую? — растерялась Аня.

Отец Сергей внимательно посмотрел на неё, покачал головой:

— Анюта, Анюта, к чему лукавить и искать совета тогда, когда уже всё решено? Ведь ты уже всё решила, — произнёс он с расстановкой. — Но решения своего ты боишься, тебе плохо от него и ты у меня ищешь найти ему поддержку и благословение. Так вот напрасно, ибо я не поддержу и не благословлю.

— Я ничего не решала! — воскликнула Аня, останавливаясь. — Я за советом *к вам* приехала!

Отец Сергей остановился также, вновь качнул головой:

— Со мной-то лукавить пытаешься? — сказал с ласковым сожалением, словно мать журила набедокурившего ребёнка. — Что ж, я скажу тебе яснее и твёрже. Я не дам благословение на брак, не освящённый таинством венчания, который предварит исповедь обоих будущих супругов. Человек, о котором ты многое сказала, а ещё о большем постеснялась сказать, никогда не станет рисковать карьерой для этого. А ты... — снова проникающий в потаённые уголки сердца взгляд, — ты примешь его правила.

— А если нет другого выхода?..

— Выход есть всегда. Оставь Москву, приезжай сюда. Преподавай музыку в школе. У нас поживёшь,

поисповедуешься, попричащаешься. На душе-то и прояснится, и полегчает. Чем тебе не выход?

Аня не ответила. Впереди у неё было окончание консерватории, сцена, певческая карьера, успех которой ей все прочили, дело, о котором она так мечтала, единственная мечта, которая ещё уцелела. И — отказаться?

— Простите, батюшка... — сказала она устало. — Вы правы, мне не следовало приходиться.

— Ещё чего придумала! Не следовало! — отец Сергей подхватил её под руку и, ускорив шаг, повёл к показавшемуся на горизонте дому. — Обязательно следовало! Ты сколько лет не была у меня? Сколько лет своей душе позволяла сорной травой зарастать? А мы с тобой эти заросли прополем вместе. Глядишь, и окажется, что твоя мгла — это их гуща.

— Я, батюшка, завтра домой уже... Александр Порфирьевич там один, я нужна ему...

— Что ж, хоть ночь ещё впереди.

— Да ведь вы утомились, батюшка. Вам бы отдохнуть, а не со мной возиться...

Отец Сергей оставил без внимания её замечание. Дома он отдохнул совсем недолго, а затем, отслужив вечерю и заупокойную по новопреставленной Аглае, поужинал и увёл Аню к себе. Разговор получился тяжёлый, но на душе после него стало легче, словно бы омыли её ледяной ключевой водой. Просветлённая и бесконечно уставшая Аня не заметила, как уснула, прикорнув на диване.

Батюшка разбудил её утром. Сказал тепло:

— Просыпайся, Аня. Помолимся, позавтракаем, и я провожу тебя на поезд, если ты не передумала ехать.

— Меня ждёт дядя Саша... — машинально повторила Аня.

Отец Сергей не ответил. Подойдя к ней, он надел ей на шею крестик:

— Вот, носи впредь. Негоже креста не носить.

После завтрака они отправились на вокзал. Белый, пушистый снег ослепительно сиял на солнце, и приходилось постоянно жмурить слезящиеся глаза.

— Молись Господу, проси Его, чтобы снял Он с тебя тесноту, замыкание в себе, чтобы получила ты расширенное сердце, — наставлял батюшка. — Мы должны теснее сплотиться друг с другом, по-настоящему любить друг друга, носить тяготы друг друга. Сейчас, в эти страшные дни, нельзя носиться только с собой, со своими горестями и радостями. Каждому предстоит в меру его сил чаша испытаний. Много легче будет вынести их, если сохранится любовное единение друг с другом. В Москве и поблизости ещё остались наши маросейцы, обращай к ним, общайся с ними. Ведь ты часть нашей семьи, как была и твоя мать. Приезжай и ко мне, как только сможешь. Тебе необходимо исповедоваться.

Под конец Аня не выдержала, тонко, по-детски расплакалась, уткнувшись в плечо своего духовного отца. Ей вдруг стало невыносимо страшно и горько уезжать от него. Рядом с ним в её душу возвращался мир и покой, и вся маята отступала, мгла рассеивалась, точно бы батюшка, как опытный садовод, выполол из её души весь сорняк, не позволявший ей видеть солнце.

— Я не хочу уезжать, батюшка! Не хочу! У меня больше никого не осталось...

Он ласково гладил её по плечам:

— Сейчас ты должна ехать. Но ведь ты всегда можешь вернуться. Что бы ни случилось с тобой, помни: здесь тебя всегда примут. Пиши мне обо всём, что с тобой происходит, приезжай ко мне, будем разговаривать. И молись, Анюта, молись. И я за тебя молиться буду.

Утишили страдающую душу ласковые слова, и всё же не ушло колющее чувство — это последняя встреча



их! И уезжать — нельзя! Однако, по мере отдаления от Твери оно стало притупляться. Подумалось, что всё это, быть может, расстройство нервов от напряжения последних дней.

С вокзала она поспешила домой, тревожась, как отчим пережил эти дни её отсутствия. В квартире было тихо. Никто не отозвался и на зов, и от этого неприятно защекотало под ложечкой. Вдруг ослабев и едва сдерживая дрожь, Аня прошла в комнату отчима. Александр Порфирьевич, облачённый в свой лучший костюм, лежал на накрытой покрывалом кровати, скрестив руки на груди. Рядом с ним стоял стакан воды, а под ним лежала записка. «Я потерял жену. Потерял зрение. С каждым днём теряю способность двигаться. Хочу уйти прежде, чем лишусь возможности распорядиться своей жизнью. Прости меня, Анюта. Помни, что я тебя всегда любил. И помни, что обещала мне».

Аня уронила записку и пронзительно закричала. Всё закачалось перед её глазами, потемнело, поплыло.

— Зачем?! Зачем ты это сделал?! Зачем даже ты меня бросил?! — она упала на колени, содрогаясь в истерических конвульсиях.

Внезапно чьи-то сильные руки обняли её и мягко подняли на ноги:

— Аня, успокойся! Успокойся, прошу тебя! Для него это лучше! Подумай, ведь он страдал так долго, и какие ещё муки были у него впереди!

Сквозь туман проступило лицо Викулова.

— Варс, Варс... — пролепетала Аня, обнимая его и захлёбываясь слезами. — Откуда ты здесь?

— Я знал, что ты приедешь сегодня, и пришёл... — он осторожно повлёк её из комнаты покойника: — Ты же знаешь, Анечка, я люблю тебя. Я жить без тебя не могу! Поэтому и пришёл!

— Что ты говоришь, Варс... — Аня полубесчувственно мотнула головой. — Зачем...

— Тебе нужно успокоиться, нужно начать новую жизнь! — Викулов стал жадно целовать её лицо, впился в губы, не давая говорить. — Я помогу тебе в этом! Я всё для тебя сделаю, Анечка! Всё, что ты захочешь!

Аня попыталась освободиться из объятий Варса, но они стали лишь крепче. Не переставая ласкать и осыпать её поцелуями, он увлёк её в комнату, некогда принадлежавшую Надежде Петровне и Пете, уложил на покрытую пледом тахту. Она не сопротивлялась более, вдруг разом утратив и волю, и силы, всецело отдавшись его власти.

Когда Аня пришла в себя, то увидела Варса. По пояс обнажённый, он стоял у окна, и от неё не укрылась торжествующая улыбка победителя на его лице. Она же лежала ничком, едва прикрытая, растрёпанная. Стыдливо потянув на себя плед, случайно нащупала на груди — крест... Стало отчаянно стыдно. Разве за этим отпустил её в Москву отец Сергей? И как теперь показаться ему — *такой*?

Плед уколол плечо. И следующая игла пронзила память. Да ведь это же — Петин плед! Он не забрал его, как и некоторые другие вещи... И комната — его... Ну, отчего же это должно было произойти ещё и именно здесь?!

Аня чувствовала себя униженной и жалкой. Она тихо заплакала, закусив губу.

— Проснулась, Анечка? — Варс быстро сел рядом и, приобняв её, чмокнул в щёку. — Ну, полно! К чему эти слёзы? Разве тебе было плохо?

Аня посмотрела на него искоса. Да, плохо ей не было... И даже сейчас этот человек не отвратителен ей, не противен. Он смотрит на неё открыто, нисколько не чувствуя за собой вины — ведь она не противилась ему... И тем больше грех, тем стыднее.

— Что теперь будет? — спросила Аня безнадежно.

— Ничего, — пожал плечами Варс. — Завтра пойдём и распишемся.

— В соседней комнате лежит умерший, а ты говоришь о свадьбе?

— Если мне не изменяет память, то даже в любимой твоей матерью книге сказано: оставьте мёртвым погребать своих мертвецов. Анечка, не переживай! Александра Порфирьевича мы похороним, как должно. Я всё устрою. А свадьба... Чёрт побери, я не предлагаю устраивать попойку с сотней гостей. Для этого теперь не время, ты права. Мы просто сходим и узаконим то, что между нами уже есть, — с этими словами Викулов провёл горячими ладонями по её обнажённым плечам, покривился, заметив крест: — Хочешь, я куплю тебе красивый медальон вместо этого атавизма?

— Не тронь! — резко дёрнулась Аня. — Креста не тронь! Его я не сниму, так и знай!

— Как хочешь, — пожал плечами Варс, снова притягивая её к себе.

— И ещё. Я хочу настоящего брака. Освященного!

Викулов взял её за подбородок, внимательно посмотрел в лицо:

— Ты хочешь, чтобы меня вышвырнули на улицу с волчьим билетом?

— Я уже сказала, чего хочу. Пообещай мне, что мы обвенчаемся, и тогда... тогда...

Варс чмокнул её в губы:

— Тогда ты станешь моей женой перед людьми и Богом, я понял.

С трудом уворачиваясь от его всё более настойчивых ласк, Аня требовательно повторила вопрос:

— Так ты согласен выполнить это моё условие?

— Анечка, я же сказал, что выполню любое твоё желание. Значит, выполню! Но ты должна понимать, что

положение сейчас не такое, чтобы можно было просто пойти и обвенчаться. Нужно выбрать время, найти место и попа, обделать всё, чтобы никто не узнал и не стукнул. Ты не согласна?

— Согласна, конечно...

— Вот! Поэтому сначала мы пойдём в ЗАГС, а потом, как только представится случай, удовлетворим твой атавистический каприз. А теперь скажи, что ты согласна! — Варс отстранился и выжидательно посмотрел на Аню. — Ты согласна?

— Согласна... — пробормотала она, всё ещё застенчиво тая на себя плед.

Во мгновение ока в руках у Викулова оказались два бокала, наполненные вином:

— Тогда выпьем за наш союз, моя дорогая Анечка! Тебе необходимо подкрепить силы!

Аня послушно приняла бокал и, медленно глотая терпкий напиток, подумала, что её семейная жизнь никогда не будет счастливой — слишком преступно и гадко её начало...

## Глава 14. Возвращение

В Посад приехали, едва дождавшись весны. Хотя и боялась Тая переезда в холод, Сергей настоял: сибирская деревня, в которой жили они все эти месяцы, навевала на него тоску, не давая сколько-нибудь отступить страшным воспоминаниям. Само собой, дорога крайне измучила его, ещё не окрепшего, слабого, и потому, оказавшись дома и напившись чаю, он тотчас уснул в приготовленной для него постели. В приоткрывшейся двери показалось бледное лицо Лидии. Кивком головы пригласила выйти. Тая немедленно вспорхнула навстречу.

— Ступай в гостиную, я сейчас, — тихо сказала Лидия.

Тая, однако же, замедлилась и увидела, как та вошла в комнату, приблизилась к Сергею и некоторое время стояла над ним, не решаясь прикоснуться. Затем быстро смахнула слёзы и, поправив одеяло, вышла.

В гостиной она казалась уже абсолютно спокойной, и Тая вновь ощутила себя ничтожной и слабой перед этой женщиной.

— Ну, как жить теперь будем? — спросила Лидия, стоя у печи и глядя на огонь.

— Простите меня, — отозвалась Тая. — Я знаю, что это бесстыдство с моей стороны — приехать к вам... И тогда, и сейчас. Не думайте, что я не понимаю и не клянусь себя за это. Но у меня не было выхода! Тогда летом я уже ничего не соображала, я жила одной мыслью — найти и спасти его. У меня ничего не осталось тогда: ни стыда, ни страха за себя... Господи, я не то, что к вам, я бы к палачу пошла, ноги бы целовала ему...

— Довольно! — Лидия поморщилась. — Это самое разумное, что ты сделала. Иначе бы его уже не было в живых.

— Вы святая, Лидия Аристарховна! — Тая благоговейно сложила руки. — Я перед вами всё что грязь...

— Хватит, я сказала! Расскажи лучше, что говорит Саня.

— Он надеется на лучшее. Но, конечно, нужно, чтобы доктор Григорьев посмотрел...

— Он не сможет этого сделать, — Лидия обернулась и поставила кочергу.

— Почему?

— Потому что он арестован.

— Как?.. — ахнула Тая потрясённо.

— Так же, как и все. Его сочли вредителем, якобы нарочно плохо лечившим высокопоставленных партийцев.

— Негодяи! Бедный доктор, ведь он был так добр, так отзывчив ко всем... Господи, да когда же кончится весь этот ужас!

— Боюсь, что он не кончится ещё долго. Ты сказала Серёже о сестре?

Тая мотнула головой:

— Не смогла... Он и так ещё очень слаб, а тут новое горе...

— Ладно, дело твоё. Так как же мы будем жить? — Лидия опустила в глубокое кресло, сложила домиком руки.

— Мы не обременим вас, Лидия Аристарховна. Деньги ещё есть, и Серёже, слава Богу, становится лучше. О, вы же не знаете, каким мы его нашли! Это было так страшно... Первые недели я не отходила от него ни на секунду, прислушивалась к дыханию — мне всё чудилось, словно он... умер... Я кормила его, как предписывал Саша, давала лекарства, обрабатывала

язвы, делала массаж... Вместе мы вспоминали всё прежнее, потому что память оставляла его. Я читала ему вслух, а, когда он засыпал, не смела сомкнуть глаз, боясь оставить его без присмотра. Когда ему снились кошмары, я тотчас видела это по его лицу, будила, успокаивала... И так изо дня в день, из ночи в ночь! Поначалу он боялся каждого шороха. А уж сторонний голос доводил его до припадка. Наши хозяйева, совсем старые дед и бабка, не входили в нашу комнату вовсе. Комнатка была маленькая, но брали они за неё, точно это квартира в городе... Как же! Бывший заключённый! Да ещё больной... Кому нужны такие заботы? Иногда мне казалось, что силы оставляют меня. Особенно, когда он вдруг переставал меня узнавать... Как мне было страшно тогда, Лидия Аристарховна! Я боялась за его рассудок, за его жизнь... Мне было так тяжело видеть тоску и неисчерпаемый страх, затравленность в его лице! Я запомнила тот день, когда он впервые улыбнулся! Мне удалось сказать что-то смешное, и он рассмеялся... Первый раз после двух месяцев! Приблизительно тогда же он стал понемногу сам ходить по комнате, а в хорошую погоду мы выносили его, закутав потеплее, на улицу, на солнце. Саша говорил мне, что, если ему хватит сил выдержать зиму, то он, должно быть, поправится. И, вот, мы её пережили... Когда он впервые сам пошёл по снегу, по дороге, я плакала. Это было такое счастье, в сравнении с которым всё ничто... Вы видите, Лидия Аристарховна, у меня половина волос белые. Но и это ничто. Зато мы одолели зиму! И дорогу... А здесь уже весна чувствуется, здесь капель... И здесь — дом! Дома он поправится быстрее, я верю! А потом мы куда-нибудь переберёмся. Я работать устроюсь, и мы... справимся. А теперь простите нас, Лидия Аристарховна! — Тая задохнулась от своего монолога, снова благоговейно

сложила руки и сглотнула слёзы, в последнее время то и дело струившиеся из глаз от истощения нервов и сил.

Лидия некоторое время молчала, глядя отстранённо, затем сказала:

— Тебе не в чем оправдываться, Тася. Этот дом — дом Серёжи. Так было и будет всегда. Поэтому уезжать вам никуда не нужно. Серёже будет лучше здесь. Да и тебе тоже. Я понимаю твою жертвенность, но не повторяй моих ошибок. Серые волосы — это, конечно, ерунда. Но, вот, руки у тебя дрожат — я заметила сразу. Отнесись и к себе со вниманием. Ведь если ты загоишь себя, то ему лучше не будет.

— Я понимаю, Лидия Аристарховна, но до себя ли мне было? — Тая, наконец, позволила себе сесть, откинувшись на спинку дивана, и немного расслабиться. Сдержанный, но неизменно дружественный тон Лидии всегда успокаивал её: — Скажите, а что Ика и Женя? Серёжа был бы рад увидеть их. Он сейчас так нуждается в поддержке...

По лицу Лидии промелькнула огорчённая гримаса.

— Я ездила к Ике, когда получила твою телеграмму, — ответила она, хрустнув пальцами. — Прождала её два часа, а поговорили двадцать минут. Видите ли, девочка торопилась! — Лидия взмахнула рукой. — Даже не представляю, как это я воспитала такую непробиваемую эгоистку. Ей никто не нужен! Ни я, ни отец, ни брат... Когда я сказала ей, что отец возвращается, она... Мне показалось, что её это расстроило! Она, конечно, не сказала, но я по лицу поняла!

— А сказала — что?

— Сказала, что рада, что папа жив. Но что её это не касается. Девочка нашла себе жениха и вовсе не хочет отпугивать его отцом — врагом народа. Знаешь, Тася, когда она от него отреклась, мне больно было, но я подумала, что девочка просто испугалась, просто



споткнулась... Что, в конце концов, эта бумажка ничего не значит, а она поймёт свою ошибку. Но ошибка была моя! Я всё ещё хотела видеть в моей дочери человека... А она и теперь считает, что поступила правильно! Когда я стала говорить ей разные вразумляющие слова... — Лидия горько усмехнулась, — она смотрела на меня, как на полоумную. «Почему, — говорит, — мама, я должна стыдиться, что отреклась от отца, если он сам первый бросил меня? Если ты, мама, забыла, как он обошёлся с тобой и с нами, то я хорошо помню!» А ведь когда увивалась вокруг него, выпрашивая денежку на кино, не помнила! Только «папочка», «папочка»! А теперь говорит: «Мне не нужен отец — враг народа!»

— Как это страшно... — прошептала Тая.

— Думала, хватит меня удар от таких её слов, от глаз её пустых. Ей-Богу, Тася, впервые в жизни родное чадо по щекам отхлестать хотелось. Стыдно! За неё стыдно!

— А Женя что же?

— Я написала ему, но ответа пока нет... Женя — хороший мальчик, но ты же знаешь, какие у него были отношения с отцом.

Тая не ответила, думая, как больно будет Серёже, когда он узнает, что покинут всеми. Её любви не достанет, чтобы возместить ему всех близких. А ему так нужно сейчас живое человеческое участие, тепло, положительные эмоции. Ничуть не меньше, чем лекарства и медицинские процедуры, а, может, и больше. А вокруг — выкошенное поле... Дочь и сын не желают видеть его, лучший друг в заключении, сестра и отец погибли... Столько новых бед сломают его, повергнут в горе, которое источит последние силы!

— Я, пожалуй, пойду... Посажу с Серёжей.

— Может, лучше отдохнёшь? Я могу подменить тебя.

Тая благодарно посмотрела на Лидию. Эта благородная женщина приняла их без лишних слов, не вспоминая прошлого, и готова была помогать. И как же стыдно перед ней! И совсем нечем отблагодарить...

— Успокойся, Тася, — точно разгадала она захлестнувшие мысли. — Тебе не в чем оправдываться. За страсть, за распутство должно судить. Но не за такую любовь, перед которой меркнет весь свет. Мне было очень больно, когда он оставил меня рада тебя. Но его я простила, а тебя не сужу — тем более, после всего, что ты для него вынесла. И Бог вас не осудит...

Тая подошла к Лидии и со всё нарастающим чувством благоговения поцеловала её полную руку:

— Я рабыня ваша до гробовой доски!

— Оставь эти романические фразы, которыми он набил твою голову, — Лидия мягко отняла руку. — Ты знаешь, я не люблю этого. Ступай к нему. Всё равно же не сможешь отдохнуть спокойно...

Она бы и впрямь не смогла. Только рядом с ним душа её обретала некоторое равновесие, но стоило ненадолго отлучиться — и грудь начинала теснить тревога.

Убедившись, что Сергей мирно спит, Тая свернулась в кресле и стала ждать его пробуждения, в который раз отмечая, что он всё-таки уже не так пугающе худ, как три месяца назад, что лицо его немного разгладилось, стало спокойнее, и сон его сделался менее тревожным, кошмары отступили. Каждую самую лёгкую перемену к лучшему Тая отмечала и с сердечным трепетом благодарила за неё Бога.

Прошло немного времени, и Серёжа шевельнулся, приоткрыл глаза — всё ещё с лёгким испугом, который, однако же, мгновенно прошёл при виде родных стен и подавшейся вперёд Таи.

— Ты опять не сомкнула глаз, — констатировал он.

Она лишь беззаботно улыбнулась в ответ и, сев рядом, ласково погладила его по волосам.

— Я тебя измучил. Ты совсем устала...

— Нет, милый. Я устала, когда тебя не было рядом. А теперь я не знаю усталости!

Бледная улыбка тронула губы Сергея. Он обвёл глазами комнату, заметил:

— Надо же, совсем ничего не изменилось. Даже не верится, что я опять здесь. Словно в прошлое вернулся...

— Ты хочешь есть? — спросила Тая. — Я принесу тебе.

— Приносить не надо, — ответил Сергей, приподнявшись. — Я достаточно отдохнул и хотел бы спуститься вниз.

— Как тебе угодно! — бодро кивнула Тая и проворно подала ему длинный, тёплый халат.

Закутавшись в него, Сергей вновь сел, поднял глаза на Таю и, взяв её за руки, сказал:

— Помнишь, я обещал тебе, что, если останусь жив, у нас всё будет по-другому, всё будет, как должно...

— Не нужно говорить об этом сейчас, — остановила его Тая. — Сейчас важно только одно — чтобы ты поправился, а всё прочее Господь управит.

— Конечно, — задумчиво кивнул Сергей, явно не решаясь высказать какую-то мысль. — Но нужно сделать хотя бы первый шаг... Бог сохранил мне жизнь, вывел из ада. Значит, должен и я шаг сделать, не гневить Его, не искушать... — заволновавшись, он сбился, запутался, беспомощно взглянул на Таю, ища, чтобы она из сказанного сумбура извлекла единственную мысль, которую он хотел донести.

— Ты говоришь об исповеди?.. — осторожно спросила она.

Сергей кивнул.

— Я... поняла. Постараюсь узнать, как это сделать.

Бережно поддерживая его под локоть, Тая сошла вниз и принялась за стряпню. За окном звонко стучала капель, и потренькивали первые весенние птицы. Из угла вышел котёнок Лидии, очень похожий на своего предшественника, некогда подобранного Сергеем на улице, заурчал, прося ласки. Сергей осторожно наклонился и усадил его на колени, сказал весело:

— Ну, давай знакомиться, приятель!

Тая смотрела на ласково тормозящего котёнка и чувствовала, как душу переполняет чувство умиротворения, света и самого тихого, безмятежного счастья. Отныне ничего плохого больше не случится в их жизни, а её сил хватит на них обоих, и они не иссякнут, пока он рядом. Отныне в их жизни всё, действительно, будет по-другому, потому что пережитые страдания так углубили их души, что не оставили места ничему фальшивому, наносному, вторичному. Как и что будет впереди — Бог весть. А Тая знала одно: впереди — жизнь, жизнь, в которой они будут вместе, и ничто более не разлучит их. А большего и желать не стоит.

## Глава 15. Оживание

Тёплый ветер овеял землистое лицо, донёс первые запахи, сообщающие затосковавшей от нескончаемой зимы душе, что весна всё-таки настала. Сергей стянул с головы шапку, поймал укоризненный взгляд Таи, улыбнулся:

— Ничего, теперь уже можно и так...

Они медленно шли по размытой просёлочной дороге, вспоминая каждый поворот, каждый дом и дерево.

— Какое странное чувство... Всё то же, а словно бы другое. Словно я всё это со стороны только вижу, а сам где-то вне.

— Ты просто отвык, но привыкнешь снова.

— Должно быть, просто сам я стал другим, — Сергей остановился и перевёл дух: долгие пешие прогулки всё ещё давались ему с трудом. Хотя что за важность этот труд, когда совсем недавно он полагал, что уже никогда не встанет на ноги!..

Первые недели после освобождения он помнил нетвёрдо. Помнил, как был до слез потрясён, когда очнувшись, обнаружил, что лежит в чистой, мягкой постели, увидев мирные бревенчатые стены, так похожие на те, в которых он рос, печь, уловив запах каши и услышав родной, приветливый голос... Это было настолько прекрасно, что стало жутко, и он зажмурился, и боялся вновь открыть глаза и увидеть, что всё увиденное было лишь миражом. Тогда она села рядом и, мягко отняв его ладони от лица, поцеловала:

— Ты больше не должен бояться просыпаться, потому что всё страшное позади!

Это она повторяла постоянно: всё страшное позади. А он не верил. Он знал, что где-то недалеко — лагерные

вышки, помнил, что всякий человек может оказаться стукачом, и готов был прятаться, едва заслышав за дверью сторонний голос. По ночам его изводили кошмары, и он просыпался с криком, и ей немалых усилий стоило, чтобы успокоить его, убедить в том, что страшное отныне — это только то, что чудится. А ещё он не мог вспомнить самых элементарных вещей, память, некогда вмещавшая в себя столь многое, теперь молчала, и это приводило Сергея в отчаяние. Ему казалось, что рассудок его помутился и уже не восстановится, что истощение нервов всё-таки дошло до необратимой стадии, и, значит, общая деградация неизбежна. И тем горше, что остатки рассудка ещё могли это осознавать.

Правда, молодой врач, сын Алексея Васильевича, говорил, что стадия ещё обратимая.

— Вот, задержись мы ещё на пару недель, и тогда ничто бы не спасло вас, — говорил он, готовя очередную микстуру. — А сейчас я склонен полагать, что всё не так скверно. Конечно, полного восстановления я вам не обещаю, но к нормальной жизни вы вернётесь. Тем более, с такой сиделкой, как Тая.

Сергей не верил этим уверениям. Не только память, но и тело не желало ему подчиняться, точно всё в нём безнадежно атрофировалось. Даже глаза время от времени застилало пеленой, и казалось, что свет в них померк навсегда. На все обречённые вздохи Тая отвечала одно:

— Я нашла тебя не для того, чтобы снова потерять. Если ты погибнешь, то и я не стану жить, запомни. Хотя бы ради меня ты должен бороться! Ведь борюсь же я! Ты не можешь оставить меня одну!

Она, действительно, боролась, врачую душу и тело. Её голос он слышал подле себя все те многотрудные дни. Говорила ли она с ним или читала вслух — он знал, что она рядом. Некоторые книги из Посада присылала

Лидия. Сперва по просьбе Таи, а позже и сам Сергей стал выбирать по своему вкусу. Вначале он едва ли слушал, что она читала, то и дело проваливаясь в забытие, но, по мере возвращения сил, окрепло внимание, пробудился интерес к читаемому.

Робко прислушиваясь к себе, Сергей чувствовал, что доктор всё-таки не напрасно обнадеживал его. Он постепенно оживал, учился заново ходить, вспоминал то, что казалось навсегда позабытым. Тревожно было за Таю, не знавшую отдыха в заботах о нём, но она отмахивалась:

— Ты ничего не понимаешь. Я была почти мертва, а теперь оживаю и выздоравливаю вместе с тобой.

Так и «выздоровливали» они рука об руку, пока, наконец, он не решил, что теперь ему достанет сил добраться до дома.

И, вот, дом... Он уже знал, что отца нет в живых, а бедняга Стёпа отбывает срок. О судьбе детей и Аглаши Тая с Лидой говорили уклончиво, и это огорчало. Одно только и ободрило: в десятках километрах от Посада, в городке Александров уже вовсю работал Барановский. Высланный за сто первый километр, он взялся за реставрацию и устройство музея в древней слободе. Пётр Дмитриевич был освобождён ещё год назад. Приехав в Москву, он увидел, что очередное его детище, Казанский собор варвары всё-таки начали разбирать. Не имея права находиться в столице, обязанный каждый день регистрироваться по месту ссылки, Барановский каждое утро приезжал из Александрова в Москву и замерял, замерял обречённый храм, а после спешил назад, чтобы успеть показаться в милиции...

Сергей получил от Петра Дмитриевича короткое ободряющее письмо с приглашением по выздоровлении присоединиться к слободским работам. Это оживило, пробудило желание снова заняться дорогим сердцу

делом. Лишь бы только силы возвращались быстрее! Ведь не полезешь же на колокольню, когда вынужден ходить с опорой на чью-то руку, останавливаясь через каждые четверть часа.

Лидию он нашёл изменившейся, но трудно было определить к лучшему или наоборот. С одной стороны, фигура её несколько подтянулась в сравнении с прежним, с другой — постарело, сделалось дряблым лицо. Только осанка, только всегдашняя гордая царственность не изменилась... Встретились с нею, как добрые друзья, и это также немало поддержало. Впервые ощутилось, что та горькая страница их отношений, наконец, перевёрнута, и никаких обид более нет между ними. И мирные, дружеские беседы словно возвращали их в те далёкие поры, когда они только познакомились, и ещё ничего не было между ними, кроме душевной близости, безжалостно истреблённой затем годами совместной жизни.

А ещё из добровольной казахстанской ссылки приехали в Москву Надежин и Марья Евграфовна. Осенью при массовых арестах «иосифлян» снова был арестован Миша. Тщетно Алексей Васильевич пытался узнать о его судьбе. Зато судьба митрополита Иосифа не оставляла надежд. В ноябре 1937 года после долгих недель заключения в ужасных условиях святитель был расстрелян вместе с митрополитом Кириллом, арестованным тогда же и содержавшимся с ним в одной камере...

Надёжина Сергей не видел много лет и был очень рад встрече. Трудно было не любоваться, глядя на этого человека. Лёгкий, подтянутый, с сухим, светлым лицом, обрамлённым длинными волосами и седеющей бородой — с него можно было писать портреты святителей и преподобных. Стёпа Пряшников, должно быть, не упустил бы такой натуры.



Накануне Алексей Васильевич привёз в Посад гостя — ещё крепкого, хотя совершенно седого и хромонокого деда, одетого «по-колхозному». Оказавшись в доме, дед распрямился и оказался не столь старым, как подумалось сперва. Надёжин негромко представил:

— Прошу любить и жаловать — отец Вениамин!

— А я вас помню, батюшка! — воскликнула Лидия. — Мы с отцом и Мишенькой как-то вечером зашли проведать Михаила Александровича, а у него как раз были вы и отец Валентин. Вы, кажется, ехали тогда от владыки Иосифа...

— И я вас помню, Лидия Аристарховна, — кивнул священник. — Как жаль, что из того нашего собрания, кроме нас с вами, более никого нет...

— Да, пустеет земля... — вздохнул Надёжин.

— Зато небеса полнятся. Праведниками и молитвенниками за наши грешные души. Может, и нас Господь допустит их радости сорадоваться.

Сергей ждал приезда священника, но тот появился столь внезапно, что он растерялся, смутился, не мог подобрать слов, когда они остались наедине.

— Не знаю, с чего начать, батюшка... — признался, робко подняв глаза на сидевшего напротив отца Вениамина. — И сказать много хочется, и язык костенеет о некоторых вещах говорить.

— А вы с начала начните, — предложил священник. — Вы не тревожьтесь. Время у нас есть. Поэтому просто рассказывайте обо всём, что в вашей жизни было — так вам будет легче вспоминать. И не таите ничего. Бог про вас и так всё знает — Его вы не обманете. Я же сам пережил слишком много в мирской части моей жизни, чтобы неровности чужого пути могли меня удивить. Говорите всё как есть, просто и без приукрас. И сами поймёте, как это, на самом деле, легко, и как хорошо становится на душе. Когда-то матушка Мария Гатчинская сказала мне замечательные

слова, что тоска наша, которая зачастую так казнит душу, происходит от нераскаянных грехов, поэтому так важно исповедать их. А если ненароком за давностью дней что-то изгладилось из вашей памяти, то и это нестрашно. После исповеди я вас соборую, и будет в вашей душе свет и мир Христов.

Преодолев смущение и страх, путаясь и сбиваясь, Сергей стал рассказывать, как и велел батюшка, обо всей своей жизни, стараясь не забыть ни одного проступка. Хорошие хозяйки время от времени перетряхивают вещи в сундуках и шкафах, чтобы они не залежались, не прокисли, не оказались источены молью. А заодно чтобы вспомнить, что есть в этих сундуках и выбросить ненужное. Также и душе необходима подобная процедура, чтобы не отравлял её гнилостный дух от залежавшихся грехов.

Сколько часов длился тот разговор? Отец Вениамин ничем не выдал усталости, внимательно слушая, иногда задавая наводящие и уточняющие вопросы, помогая договорить, точнее сформулировать мысль. Под конец Сергей так изнемог, что едва мог сидеть от слабости. Батюшка причастил и соборовал его, и он тотчас забылся глубоким сном, не растревоженным никакими сновидениями.

Проснувшись, он чувствовал себя обновлённым и укреплённым. Отец Вениамин ещё отдыхал, и Сергей вместе с Таей отправился на прогулку.

— Вербное воскресенье сегодня, надо же... — сказала она, вертя в пальцах веточку вербы. — Через неделю уже Пасха. Как жаль, что батюшка не останется с нами до неё.

— Ему опасно надолго задерживаться на одном месте, тем более, что наш дом укромным уголком не назовёшь.

— Ты знаешь, мне сегодня очень стыдно.

— Почему? — удивился Сергей.

— Потому что вокруг так много бед, а я сегодня такая счастливая! — лицо Таи, помолодевшее и похорошевшее, в самом деле, сияло. — Словно каждая струночка во мне поёт! Так хорошо, что даже страшно...

— Ты же сама говорила, что страшного больше не будет, — заметил Сергей, ласково обнимая её и поправляя сбившуюся косынку.

— Конечно, — отозвалась Тая, прикинув к нему. — Только уж в привычку вошло: бояться всякий раз, когда всё слишком хорошо.

Они вернулись домой к обеду и у самых дверей столкнулись с приехавшими из Москвы Марьей Евграфовной и Сашей.

— Вот, кажется, и в сборе все, — констатировала Лидия, деловито раскладывая приборы на столе. — Признаться, я тысячу лет не принимала гостей, а потому не взыщите за утрату навыков.

— Помилуйте, Лидия Аристарховна, столь образцового приёма мы все давным-давно не видели, — тонко улыбнулся Надёжин.

Обедали при вечернем свете, зашторив окна, чтобы случайный глаз не мог ничего разглядеть. Разговоры, само собой, вели сугубо «контрреволюционные». От этого «порока» собравшихся не могли отучить никакие кары. Алексей Васильевич недавно завершил обобщающий труд, посвящённый параллелям французской и русской революций, и охотно рассказывал о нём. Немногословный отец Вениамин больше отмалчивался, равно, как и Тая с печальной Марьей Евграфовной.

— Алексей Васильевич, — подала, наконец, она голос, покосившись на стоявшее в углу фортепиано, — а помните ли вы наши вечера в Глинском? Может быть, вы подарите нас радостью и сыграете что-нибудь?..

— В самом деле, Алексей Васильевич? — присоединилась Лидия. — Я бы и сама что-нибудь

сыграла, но у меня болят пальцы, — она безнадежно развела руками.

— Помилуйте, я столько лет без практики! — попытался отбиться Надёжин.

— Вы же помните всё! — мягко возразила Марья Евграфовна. — Хоть что-нибудь небольшое? Когда ещё выпадет возможность послушать живую музыку в домашней тёплой обстановке?

Надёжин махнул рукой, пошутил:

— Женщинам отказывать трудно. Только уж не взыщите, если стану фальшивить!

Сергей не был тонким знатоком музыки, но дал бы руку на отсечение, что старый учитель не сфальшивил ни разу. А играл он пронзительную и тревожную элегию полузабытого композитора Калиникова... Плыли сильные, изящные руки по клавишам, билась, подобно запертой в клетке птице, музыка, заполняя собой всё пространство, и спазмы перехватывали горло от её проникающего в сердце звучания.

Внезапно послышался стук в дверь, и Сергей испуганно вздрогнул.

— Не волнуйтесь так, — сказал заметивший это отец Вениамин. — Стуки, которых мы все опасаемся, раздаются по ночам, а этот стук... я думаю, к радости.

Как всегда спокойная Лидия пошла открывать. Через несколько мгновений раздался её счастливый возглас:

— Женечка!

А ещё через мгновение в гостиную стремительно вошёл возмужавший, посуровевший Женя, позади которого робко жалась молодая, довольно крепкая девушка. Сергей недоверчиво поднялся навстречу сыну, привычно опасаясь услышать от него что-нибудь обидное и не решаясь заговорить первым. Женя же не тратил времени на колебания. Не снижая напора, он просто подошёл к отцу и крепко обнял его:

— Прости, — сказал, всё же заметно волнуясь, — не смог приехать раньше. Только сейчас отпуск дали и то со скрипом. Как ты?

— Хорошо, — отозвался Сергей, улыбнувшись и чувствуя, как тепло и радостно стало на душе от неожиданного примирения с сыном. — Почти совсем хорошо!

— Ну и отлично! — Женя резко повернулся и, ухватив за руку мявшуюся позади девушку, представил: — Мама, отец, познакомьтесь: это Таня, моя жена, — смутившись, добавил: — Правда, пока гражданская...

— Поздравляю тебя, Женечка, и вас, Танюша, — тепло поздравил Сергей.

— Поздравляю, — присоединилась Лидия, обнимая сына. И спросила тотчас: — А что же, дети, думаете ли вы венчаться?

Женя покосился на жену:

— Вообще-то, мы собирались. Таня согласилась.

Девушка кивнула, робко поглядывая на гостей.

— Кажется, батюшка, вы приехали очень ко времени, — негромко заметил Алексей Васильевич отцу Вениамину.

— Стало быть, Господь нарочно так управил, — ответил священник. — Вот, говорил же я, что этот стук — к радости будет...

Лидия засуетилась, усаживая сына и невестку к столу и спеша угостить их, а Сергей снова сел рядом с Таей, крепко пожал под столом её руку и шепнул:

— Ты права: страшно, когда всё так хорошо. Мы так привыкли к горю, что счастье уже пугает.

— Давай не будем бояться хотя бы сегодня. Пусть этот день будет просто счастливым днём — наградой за все несчастные, — также шёпотом отозвалась Тая, глядя его ладонь. — Слава Богу за то, что он подарил нам его!

## Глава 16. Отец и сын

Хотя отец уже месяц жил недалеко от Можайска, Сане никак не удавалось поговорить с ним о том, что калёным железом жгло ему сердце с тех пор, как сам он вернулся в Москву. Наконец, благоприятный случай представился. В доме Лидии ложились рано, а отец, страдавший бессонницей, по обыкновению возился со своими записями, устроившись на террасе, дабы не мешать отдыху других гостей. Заметив спустившегося по лестнице сына, он тотчас захлопнул папку и поманил его к себе:

— Садись, поговорим.

— Я и сам хотел...

— Вот и славно, — отец закутался в видавшую виды фуфайку. — Кто первый начнёт?

— Ты, по старшинству, — пожал плечами Саня.

— Верно. Тем паче, что и разговор мой будет короче. Вот что, сын, ты уже достаточно зрел и, думаю, сам прекрасно понимаешь наши перспективы в условиях тотальной борьбы с «врагами»?

— Тебе лучше уехать подальше от Москвы...

— Куда уж дальше, чем мы были ещё месяц назад? До сих пор не понимаю, почему Михаила взяли, всех наших взяли, а нас с Марочкой оставили. Впрочем, спасибо им на том. Теперь у меня есть три списка моей книги и все они хорошо запряваны. Об одном знай: он здесь. Помнишь ты место, где матушкина скамейка с крестом была?

— Помню, отец.

— Камень там лежит. Если подле него копать, то выкопаешь хороший ящичек, а в нём рукопись.

— Когда ты успел?

— Прошлая ночь долгая была и тёмная. Места я помню, лопата в сараюшке нашлась. Долго ли?

— Хорошо, я запомню это место.

— Запомни. И вот ещё что... Меня, конечно, арестуют. Днём раньше, днём позже — это неизбежно. Страх большого я не испытываю — жизнь свою я прожил и итоги как будто подвёл. Но есть Марочка... Я прошу тебя, Саня, всегда заботься о ней, как о родной матери. Ей без меня будет очень тяжело.

— Ты мог бы об этом не просить: тётя Мари всегда была мне матерью.

— Хорошо... Если меня арестуют, то не ищи мне помочь — это бесполезно. Возьми тётю Мари и уезжай.

— Куда? К сестре?

— Нет, — покачал головой отец. — К сестре не надо. Все вместе вы скорее навлечёте на себя молнии. Она теперь замужем, у неё другая фамилия — ей безопаснее одной. Поезжайте в какую-нибудь глушь. Вы оба медики — вам везде найдётся работа. Может быть, вам и удастся уцелеть. И ещё запомни. Что бы ни было, следуй лишь одному закону — Божьему. Живи по правде и будешь оправдан. Никогда не пытайся идти на компромиссы с совестью. Уступив дьяволу раз, ты ослабишь себя, и в другой раз выдержать его атаку тебе будет ещё тяжелее, и ты покатишься вниз, погибнешь. Не полагайся ни на людей, ни на свою удачу — а только на Бога, и он не подведёт тебя. В какой-то момент тебе может показаться обратное, что Бог оставил тебя, предал тебя, что в ответ на своё добро и правду ты пожинаяешь ложь и зло, но потерпи и ты увидишь, что это обернётся к твоему благу. Только не отступи сам, не опусти руки.

— Ты... словно прощаешься, — тревожно заметил Саня.

— Когда расстаёшься с человеком даже на мгновение, постарайся прежде сказать ему самое

главное. Кто знает, будет ли следующее мгновение?

— Тогда и я скажу главное. Я очень люблю тебя, отец. Я всегда стремился быть похожим на тебя, как стремился и Мишка. И ты можешь быть спокоен: стыдиться за меня тебе не придётся.

— Спасибо, — кивнул отец. — А теперь говори, что за нужда у тебя. Давно заметил, что маешься.

— У меня... — Саня глубоко вздохнул. — Ты помнишь Петю? Анютинова друга?

— Конечно, она много о нём рассказывала.

— Они очень любили друг друга, но он, кажется, боялся испортить ей жизнь и поэтому отдалился. А потом куда-то исчез. Прислал ей какое-то ужасное письмо, якобы сошёлся с другой женщиной, будет жить на родине отца и в Москву не вернётся.

— Всякое бывает...

— Да не могло так быть! — воскликнул Саня. — Когда она мне об этом рассказала, я не поверил. Он не мог уехать так вдруг! Бросить работу, ничего никому не сказать... Я решил разобраться, что произошло на самом деле.

— Разобрался? — прищурился отец.

— Почти... Я начал с того, что расспросил его друзей: киношников, поэтов... От них я узнал, что он, действительно, собирался съездить в родные края — вроде получил письмо от кого-то из отцовской родни.

— И что же?

— То, что он обещал вернуться через неделю! И не кому-нибудь, а режиссёру, с которым работал, которого глубоко уважал. Нужно было вовсе не знать Петю, чтобы допустить, что он посмел бы подвести, кого бы то ни было!

— Дальше.

— Дальше моё расследование зашло в тупик, а затем я, как ты знаешь, оказался очень далеко от Москвы.



— Но это ведь не конец рассказа?

— Увы. Это самое начало, — Саня оседлал стул и придвинулся к отцу. — В Сибирь усилиями бедного Дмитрия Антоновича я поехал с мандатом ПКК и заданием, помимо вызволения Сергея Игнатьевича, проинспектировать состояние лагерных больниц в тех краях.

— И надо думать, ты выполнил это задание с рвением, сильно «порадовавшим» лагерное начальство?

— Я выполнил его ровно так, как ты меня сейчас учил — по совести! — ответил Саня. — Конечно, то, что я там увидел описанию не поддаётся... Для меня остаётся полной загадкой, каким образом люди вообще умудряются столько держаться в таких условиях. И самое отвратительное, что я моим филькиным мандатом ничем помочь им не мог! Но не о том речь! Там в одной палате девчонка была лет шестнадцати с повреждением позвоночника и параличом ног. Её, вероятно, активировали бы, но некому забрать — мать умерла, а отец тоже в лагере. Но и не в этом тоже дело... У неё я увидел тетрадочку с рисунками и чуть дар речи не потерял! Эти рисунки были точной копией тех, которые некогда я видел у Пети!

— Очень любопытно, — отец погладил усы. — Ты, конечно, спросил её о происхождении рисунков?

— Она сказала, что ей подарил их молодой человек, какое-то время также лежавший в больнице.

— И она назвала тебе его имя?..

— И даже фамилию, папа!

— Что было дальше?

— В том лагере Пети уже не было, а я слишком мелкая сошка, чтобы наводить более существенные справки. Я сообщил доктору Григорьеву о том, что узнал, и он обещал помочь.

— Но был арестован...

— Накануне ареста он сообщил, что получил какие-то сведения. Но не успел поделиться ими.

— Скверная история, — нахмурился отец.

— Она ещё сквернее, чем ты думаешь, папа!

— Наверяд ли. Я думаю, что знаю, что ты скажешь дальше. Муж Ани, не так ли?..

Когда он узнал, что Аня вышла замуж за Варса, то впервые в жизни покусился мыслью на убийство. Иного не заслуживал этот негодяй! В том, что Викулов приложил руку к исчезновению Пети и его странному письму, Саня не сомневался ни секунды. С большим трудом взяв себя в руки, он отправился к Анюте. Та встретила его смущённо и даже испуганно. А он, едва пройдя в комнату, спросил без предисловий:

— Зачем ты это сделала?

Она стояла перед ним, хрупкая, поникшая, печальная — совсем девчонка, беззащитная и потерянная.

— Потому что он оказался единственным человеком, который всё время был рядом, который поддерживал и помогал, — ответила сдавленно, отводя глаза. — Мама погибла, а Александр Порфирьевич отравился. Петя меня бросил, а тебя не было. А я... — Анюта развела руками и всхлипнула. — Я больше не хотела жить, понимаешь? И раньше не хотела, а после мамы... — она опустила на стул, заплакала, закрыв лицо руками.

Саня стоял, не шевелясь, не находясь, что же делать теперь. Он знал определённо, что муж этой бедной девочки, чтобы завладеть ею, донёс на человека, которого она любила, пытками заставил написать ложное письмо. Может, сам и пытал?.. Удовлетворил ненависть к сопернику? Или по дружбе помогли другие? Не суть важно. А потом он воспользовался трагедией, тем, что она оказалась одна и совершенно раздавлена чредой утрат, и принудил её к сожительству. Должно быть, и доктора взяли не без его

помощи. Может, узнал он, что тот слишком близко подошёл к его тайне.

— Вы теперь живёте в этой квартире вдвоём?

— Да... Пока новых соседей не подселили. Варс надеется, что и не поделят.

Вот оно что! Варс надеется! Неплохое приданное получил товарищ Викулов... И как же повезло старику Скорнякову, что съехал раньше, а то, пожалуй, и за ним пришли бы.

— Ты не думай, — Анята, наконец, подняла покрасневшие глаза, — он совсем не такой, как другие! Ведь не может же так быть, чтобы в каком-то доме или учреждении все без исключения были плохими. Это невозможно, правда? А Варс хороший. Он очень любит меня. Он обещал, что мы обвенчаемся, когда представится возможность!

Венчающийся чекист — чудесная картина! Хотя если в роли попа будет выступать его коллега, наряженный в рясу...

Сердце рвалось на части. Саня понимал теперь всё и ничего не мог изменить. Более того, он не смел даже сказать Аняте правду. В конце концов, нужна ли ей эта правда? Если бы знать точно, что Петя жив! А если умер? И что станет с нею, если она узнает, что её муж убил самого дорого ей человека, а сама она — невольно предала его, поверив лжи? Как ей жить с этим? И без того надломленная, сможет ли она вынести ещё и этот удар?

И Саня смолчал. Лишь сказал глухо, погладив её по плечу:

— Это я во всём виноват. Я должен был быть рядом, быть тебе опорой, защищать тебя. А я допустил, чтобы ты осталась один на один со всем этим кошмаром и сломала себе жизнь. Этого я никогда себе не прощу!

Аня потёрлась щекой о его руку:

— Что ты говоришь? Ведь ты ездил выручать дядю, ты ничего не мог изменить. А я... У меня всё будет хорошо. Всё пройдёт...

Пожалуй, изменить он и впрямь ничего не мог. Просто отправился бы с помощью Варса вслед за Петей и Григорьевым. Но от этого нисколько не легче!

— Как ты думаешь, отец, нужно было сказать ей?

— Не знаю... — отец прошёл по террасе, заложив за спину руки. — Нет, в тот момент не надо было. И тебе — не надо было. Но со временем она должна узнать. Что ты намерен делать теперь? Ведь ты же не думаешь остановиться?

— Не думаю, — твёрдо ответил Саня. — Я уже был у Екатерины Павловны и Винавера. Они обещали навести справки и сообщить мне результат. Уж их-то этот подонок не упечёт на Колыму! Если Петя жив, я, по крайней мере, сделаю так, чтобы он получал посылки. Сам отправлять не буду — верный срок. Но можно сдавать деньги и отправлять через фонд. И есть несколько добрых старушек, которые отправляют такие опасные посылки.

— Вот что, — сказал отец, пощипав ус, — обожди, когда что-то прояснится, а уж потом будем решать, как сказать об этом Анюте. Скрывать от неё преступление мужа нельзя. Ведь он же погубит и её! Но сам ей ничего не говори. Это лучше сделать Марочке.

— А что потом? — спросил Саня. — Как она будет жить с этим? Ведь этот мерзавец не отпустит её. А если она попытается уйти, отомстит. И ей, и нам.

— На всё Божья воля, — ответил отец со вздохом. — Но девочка должна знать правду. Это справедливо и по отношению к ней, и по отношению к оболганному и замученному юноше.

От слов отца на сердце у Сани полегчало. Наконец, всё прояснилось, и сомнения оставили его. Теперь

оставалось лишь дождаться итогов розысков Пешковой и Винавера.

## Глава 17. Анюта

— Аня, спой для Дмитрий Вадимыча что-нибудь бодрое!

— Но я не...

— Никаких «но»! Сейчас Дмитрий Вадимыч, вы услышите мою Аню!

О, какая пытка, какая пытка! Эти ужасные «бодрые» песни, каждая нота которых ранит горло, застревает в нём, эти плотоядные взгляды подвыпивших гостей и сальности, которые они имеют обыкновение рассказывать друг другу в горделивом сознании «подвига».

— Варс, как ты можешь иметь дело с этими людьми?

— Это не люди, а мои коллеги. Более того, начальство.

— Если они твоё начальство, то ведь они и от тебя могут потребовать таких же низостей, Варс!

— Это не твоё дело. Твоё дело, жёнушка, принимать моих гостей и быть весёлой с ними, а не портить своё красивое личико неприятными гримасами.

— Я твоя жена!

— Я прекрасно помню это и горжусь, что у меня такая жена, которую нестыдно представить людям.

Она не нужна ему... Ему нужна — вещь. Красивая вещь, служащая удовольствию его гостей. Комнатная собачка, обязанная выполнять команды хозяина... Но как же так случилось, что она — стала выполнять? Стала улыбаться людям, которые ей отвратительны? Как она позволила обратить себя в куклу и почему не смеет сопротивляться?

Страх! В какой-то момент Аня поняла, что боится мужа. Отчего? Ведь он ни разу не повысил на неё голос, тем более не поднял руку. Лишь иногда, когда она

пыталась возражать, в глазах его появлялось нечто, отчего внутри всё холодело. Аня сама не могла объяснить себе, что это было, и почему этот человек обрёл над ней такую власть.

От прежней жизни не осталось ничего, кроме занятий в консерватории. Всё прочее было строго регламентировано: никаких подруг, никаких гостей, никаких поездок загород. Точно петлю накинул и медленно, ласково душил! Вдруг поняла Аня, что о муже своём не знает ничего: ни о прошлой его жизни, ни о теперешней. Но не может же он оказаться одним из тех чудовищ, которые некогда истязали дядю Сашу?.. Варс — такой обходительный, обаятельный, тонко чувствующий прекрасное, умеющий быть таким нежным, что Аня забывала свои подозрения и убеждала себя в том, что любит его?

Если бы не эти гости... Они пугали её, их поведение оскорбляло её. Но Варс пожимал плечами:

— Они простые люди, мало знакомые с культурой. Будь к ним снисходительна!

Аня старалась и убеждала себя в том, что муж просто очень любит её и оттого желает, чтобы его женой восхищались.

— Хороша у тебя жена, Варсонофий! Ей бы в кино! Орлову бы затмила напрочь!

При напоминании о кино сердце обрывалось — тотчас вспоминался Петя, их мечты и фотосъёмки... Как ни старалась, она не могла забыть его. Может, от этого ласки мужа лишь утомляли её, и приходилось делать над собой усилие, чтобы не подать виду, чтобы дорогое имя не сорвалось с уст и не выдало, о ком мечтает она в его объятьях. Тем не менее, Аня всё ещё надеялась, что память притупится, а привычка заменит любовь. В конце концов, разве мало таких семей? Гораздо больше, чем тех, что создаются по любви.

Её отдушиной были концерты. Пение утешало душу, помогало забыться, врачевало. Оканчивая консерваторию, она уже знала, куда пойдёт дальше — в молодой театр Станиславского, куда её по прослушивании с готовностью согласились принять. Талант Ани высоко оценила прима театра, дивная Софья Големба, а Дмитрий Владимирович Камерницкий предсказал ей большое будущее и отнёсся с отеческим теплом.

Одно огорчало — нельзя петь любимые романсы, отнесённые к «буржуазному жанру», а бойкие современные песенки вызывали стойкое неприятие. Что ж, остаётся опера, оперетта, песня народная... В конце концов, разве можно убить песню декретами?

Пусть с трудом и печальями, жизнь всё-таки шла своим чередом. Но однажды её размеренный ход был нарушен.

— Заходил какой-то человек и спрашивал твою мать, — известил Варс как-то утром, уходя на службу, когда Аня вернулась, отлучившись ненадолго в аптеку — с ночи странно немоглось.

— Какой человек? — спросила она насторожённо.

— Довольно старый, по виду — мужик-лапотник. Не знаешь, кто бы это мог быть?

— Не знаю, — пожала плечами Аня, сдерживая волнение. — Он не представился?

— Нет. Спросил Аглаю Игнатьевну, а, когда я сказал, что она умерла, очень побледнел. Я даже подумал, как бы с ним сердечный приступ не случился.

— Больше он ничего не спрашивал?

— Спросил, где похоронили, и ушёл.

— Ну, ушёл, так ушёл... Должно быть, кто-то из деревенских знакомых... — сказала Аня, борясь с дрожью и с нетерпением ожидая, когда же муж уйдёт.

— Не ходи сегодня никуда больше, — предупредил Варс. — Ты бледна и, по-видимому, действительно,



нездорова. До вечера!

Она еле дождалась, стоя у окна, когда он скроется из виду, а затем опрометью выбежала из дома, надеясь догнать незнакомца. Сердце подсказывало, что это мог быть лишь один человек — её отец!

До кладбища было далеко, и Аня страдала от находящихся на неё то и дело приступов тошноты и головной боли. Она спешила изо всех сил, но всё-таки опоздала. На могиле матери лежал большой, ещё совсем свежий букет, но отца нигде не было видно. Неподалёку копошилась сгорбленная старушка. Аня медленно подошла к ней, спросила негромко:

— Простите, не видели ли вы здесь сейчас мужчину лет пятидесяти? Он должен был к той могиле подходить...

— Был мужчина, — прошамкала старуха. — Очень скорбел, сердечный. Встал, знаешь, на колени и в грудь себя бил, и шептал что-то... А потом землицу-то поцеловал, горсть с могилки взял, перекрестился и ушёл. Недолго побыл...

— А куда он пошёл, вы не видели? — с робкой надеждой спросила Аня.

— Да куда-то туда, дочка, пошёл! — старуха неопределённо махнула сухой рукой. — Может, ещё и догонишь.

Конечно, она не ушла сразу, а ещё долго плутала меж могил, высматривая, не мелькнёт ли впереди фигура «мужичка-лапотника». Но тщетно... На какие-то жалкие полчаса она разминулась с отцом, упустила последний шанс увидеть его.

Немного посидев на могиле матери и мысленно пожаловавшись ей на свои горести, Аня вернулась домой. До возвращения мужа она успела немного поспать и приготовить ужин. Отчего-то хотелось, чтобы вечер этот был домашним, душевным, хотелось близости с Варсом, понимания меж ним и собой. В конце

концов, кроме него, у неё уж точно никого не осталось. Даже Саня и тётя Мари словно забыли о ней, отделились... А Варс всегда рядом, всегда защитит.

Муж был заметно доволен неожиданно ласковым приёмом и почти праздничным ужином, но разговоры, как обычно, вёл сугубо отвлечённые. Аня успела заметить, что он никогда не говорит ни о себе, ни о своей работе. О театре, музыке, городской жизни и пустых сплетнях — сколько угодно, но ни о чём значимом. Это недоверие задевало, мешало преодолению чуждости, и Аня решила, что необходимо разрушить его. Казалось, что это непременно внесёт ясность и гармонию в их семейную жизнь.

Ночью она старалась быть нежной и горячей, и это ей, по-видимому, удалось. А, вот, забыться сном вслед за мужем не получилось. Одолевали тревожные мысли, не шёл из ума отец. Хотелось поговорить с кем-то, выговориться, облегчить душу.

Проснувшийся Варс крепко обнял её за плечи:

— Почему ты не спишь? О чём думаешь?

— Я думаю, что у меня никого не осталось, кроме тебя, — ответила Аня. — И поэтому я считаю, что в нашей семье не должно быть никаких тайн. Мы должны всё рассказывать друг другу. Это неправильно, что я так мало знаю о тебе, а ты... не всё знаешь обо мне.

Муж мягко развернул её к себе:

— Ты мало знаешь обо мне, Анечка?

— Почти ничего не знаю.

— Странно, я и не думал скрывать что-либо. Видимо, ты, моя дорогая, просто не проявляла прежде интереса к моей личности. Я рад, что он у тебя появился. Сейчас не самое подходящее время, но завтра мы с тобой сядем, и я отвечу на все твои вопросы. А что такого страшного я не знаю о тебе? Тайны твоего «тёмного прошлого»? — Варс усмехнулся.

— Тёмного, да. И прошлого. Только не совсем моего... — Аня легла, прижавшись к груди полусидящего, откинувшись на подушки, мужа. — Незадолго до смерти мама рассказала мне о моём настоящем отце. Оказывается, он был дворянин и офицер. Служил у Колчака, был в эмиграции, а затем тайно вернулся в СССР ради мамы... Вот, только она не могла оставить дядю Сашу, и поэтому они расстались. Ты знаешь, мне кажется, что человек, приходивший сегодня — мой отец.

Рука, мерно гладившая её по голове, на мгновение замерла, но тотчас вернулась к привычному ритму.

— Почему ты молчишь?

— Я не молчу, — отозвался Варс. — Полно, Анечка, эта тайна не стоит и гроша. Главное, не болтай никому о ней. Ты же больше никому не рассказывала о своём отце?

— Нет, конечно! Только тебе. Потому что не хочу никаких тайн между нами...

— И очень правильно, — муж чмокнул её в голову. — Молодец, что рассказала. Ну, а свои «страшные тайны» я расскажу тебе завтра, потому что сейчас я до смерти хочу спать. Да и тебе тоже пора уgomониться. Скоро утро.

— Ты прав, Варс. Спокойной ночи! — сказала успокоенная Аня, закрывая глаза и, наконец, погружаясь в сон.

— Спокойной ночи, Анечка, — откликнулся муж.

## Глава 18. Донос

Вопреки ожиданиям обладание Аней не принесло Варсонофию того блаженства, которое сулило. То было удовлетворение охотника, долгое время выслеживавшего дичь, торжество победителя, но и только. Едва цель оказалась достигнутой, и охотничий азарт улетучился, пошла на убыль и сама страсть. К тому же юная жена, несмотря на исключительную красоту, оказалась никакой любовницей, а Варс за свой не столь уж долгий век знал бабёнок и девок таких ядрёных, что любая красавица блекла перед ними.

Однако, этот факт не особенно огорчил его. Варсонофий всегда умел отделять мух от котлет. Удовлетворить плотские желания он мог всегда: бабёнок пруд пруди, и хоть по обоюдному влечению, хоть бы и силой, а своё получишь всегда. Зато многие ли смогут похвастаться красавицей-женой, певицей, образцовой хозяйкой? Последнее — успел заметить Варс — среди жён стало большой редкостью: в голодные годы бабы напрочь разучились стряпать.

К тому же жена имела солидное приданное — большую квартиру в хорошем доме. Конечно, формально, то была коммуналка, но Варсонофий позаботился о том, чтобы сделаться её полновластным хозяином.

Одно непрерывно жгло его: сознание того, что рыба холодность Ани вызвана не природным отсутствием темперамента, а тем, что сердце её и поныне занято соперником. Это сознание подчас доводило Варса до бешенства. Пока жива была в ней память о том жалком щенке, его победа не была полной. Он владел её телом, но не мог подчинить душу.

Когда старик Замётов поведал ему о сопернике, Варсонофий не раздумывал ни мгновения. Через несколько дней он знал о мальчишке всё, и составить план его нейтрализации не составило труда. Среди прочего Варс выяснил, что у Юшина в Сибири есть сестра, с которой тот изредка переписывается. От мнимой родни была послана телеграмма, якобы сестра при смерти и просит приехать проститься. Само собой, мальчишка клюнул и выехал немедленно.

Дальше всё было просто. Ему дали доехать до Сибири, а там тихонько взяли под покровом ночи, чтобы не привлекать внимания. В одном из допросов Варсонофий принимал участие лично. К тому моменту, вид у соперника был уже весьма жалким — на лице не осталось живого места, одного глаза не было видно вовсе. Но он, как ни странно, всё ещё сопротивлялся. Для того, чтобы заставить его написать нужное письмо, понадобилось затратить куда больше усилий, чем на выбивание подписи под признанием контрреволюционной деятельности, связях с РОВС и фашистской партией расстрелянного поэта Васильева. Истязания оказались «неубедительны», и тогда Варс, всегда предпочитавший насилию физическому насилие психологическое, прибег к хитрости. Он перечислил Юшину всех его самых близких людей, начиная с Аглаи Игнатьевны и кончая поэтом Кедриним, и пригрозил, что в случае его упрямства все они будут арестованы, как его соучастники. Эта угроза сломила истерзанного, но строптивного мальчишку. Приведённый в чувство, перевязанный, чтобы кровь не капнула на бумагу, напоенный чаем с сахаром, он написал под диктовку Варса письмо Ане. Когда всё было кончено, прохрипел:

— Будь ты проклят!

Варсонофий с чувством отмщённости и торжества помочился ему в лицо. Три дня спустя письмо было доставлено адресату...

Правда, вся комбинация едва не пошла насмарку. Внезапно старому дураку, соседу Ани доктору Григорьеву, взбрело в голову навести справки о Юшине. Варса вовремя предупредили об этом, и он принял меры: теперь старик расплачивался за своё любопытство в Норильске...

Заживо похороненный соперник уже не представлял угрозы, но его тень всё ещё мешала Варсонофию.

Между тем, на горизонте появилась новая дичь, заставившая его всерьёз призадуматься, не поспешил ли он с женитьбой. Эрна Ираклиевна была дочерью крупного чина НКВД, выдвинувшегося в последнее время, как говорили знающие люди, не без благословения самого Вождя, насаждавшего в ведомстве своих земляков. Ей было уже под тридцать и, хотя она не отличалась красотой, но компенсировала это бурным темпераментом, следствием которого были два неудачных брака и немало, если верить сплетням, любовных связей.

Эрна сама обратила на него внимание на одном из приёмов, и Варсонофий быстро просчитал, что, став зятем такого человека, как её отец, он разом получил бы всё необходимое для блестящей карьеры и широкой жизни. Правда, в условиях нескончаемых «чисток» никогда нельзя уверенно предугадать, чья голова полетит завтра, но в жизни подчас приходится рисковать.

Как обычно, Варс не торопил события, продумывая каждый свой шаг, взвешивая. Эрна вскоре стала его любовницей, с лихвой возмещавшей недостаток темперамента жены. Эта перезревшая ягода уж успела довольно нагуляться и теперь была явно не прочь обзавестись если не мужем, то постоянным любовником. К Варсонофию она разгорелась совсем нешуточной страстью. Стоило ему не быть с нею несколько дней, и она начинала лихорадочно искать

его, изнывая и забывая осторожность. С удовлетворением Варс понял, что достиг своей цели, сделавшись для неё необходимым. Очень скоро Эрна подтвердила это сама.

— Зачем тебе каждый раз уходить и оставлять меня одну? — спросила она, лёжа на кровати, нисколько не стыдясь своей неприкрытой наготы.

— Потому что меня ждёт жена, — нарочито небрежно ответил Варс.

— Эта птичка-певичка из снега? Зачем она тебе? Брось её!

— Бросить? Да ведь мы только поженились!

— Чушь! — Эрна прижалась к нему разгорячённым телом. — Со своим первым мужем я развелась через неделю!

— Почему?

Эрна брезгливо поморщилась:

— Ничтожество! Не мужчина!

— Но я ещё не успел столь разочароваться в моей жене, — лукаво ухмыльнулся Варсонофий.

— Она никогда не сможет дать тебе того, что могу я! — вспыхнула Эрна.

— И что же ты можешь мне дать?

— Всё! — она отстранилась. — Всё! Ты даже не представляешь, двери каких кабинетов я могу для тебя открыть!

— И, что же, ты и замуж пошла бы за меня? — прищурился Варс.

— За тебя — пошла бы!

— На неделю? Или, может, на месяц?

— На всю жизнь, — ответила Эрна и жадно поцеловала его в губы.

— Я подумаю над твоим предложением, — сказал Варсонофий, легко освобождаясь из её объятий. — А сегодня, прости, я ещё не готов к семейным скандалам.

— Подумай, — Эрна снова растянулась на кровати. — Только не очень долго.

И он думал. Брак с Эрной сулил немало выгод, но и таил опасность. Слишком быстрые взлёты чреватые падениями, идущий тихо и осторожно рискует упасть значительно меньше. К тому же жаль терять такую удобную квартиру, из которой благополучно выбыли все лишние люди. Не лучше ли всё-таки синица в руках?

Прошло недели две, и «синица» сделала неожиданное признание. Дочь колчаковца и белоэмигранта! Врага и шпиона! Ничем не выдал Варс потрясения и, сделав вид, что спит, стал лихорадочно искать решение. Жена с таким родством — это вечная угроза! Один донос, и насмарку пойдут все труды многих лет, конец карьеры! Правда, она сказала, что никто не знает... Но можно ли верить этим бабам? Наверняка есть знающие. Да и сам отец её — жив. Ах, как жаль, что так поздно сказала она, а то бы Варс позаботился, чтобы этот старый чёрт не ушёл далеко! Вечная угроза... Если однажды возьмут его, и всплывёт, что Аня его дочь — не миновать беды!

Лучшая защита — нападение: это Варсонофий усвоил давно. Если вы боитесь, что кто-то донесёт на вас, опередите его и донесите на него первым, и тогда убьёте одним выстрелом двух зайцев: избавитесь от врага и упрочите свою репутацию.

Рано утром, стараясь не потревожить жену, Варс стал спешно одеваться. Она всё-таки услышала что-то, спросила сонно, почему он не спит.

— Срочно вызывают, — ответил он. — Ты не вставай, Анечка, спи, — и, как всегда, нежно поцеловал её на прощанье в последний раз.

Через час Варсонофий уже сидел в кабинете своего сослуживца Лёвы Фальковича, помогшего ему недавно убрать с пути соперника, и добросовестно писал донос на жену.



— Ну ты, Викулов, кремень! — покачал головой Лёва. — Собственную жену не пожалел! Да ещё такую!

— Ты знаешь, я беспощаден к врагам, и ради партии, Родины и товарища Сталина не пожалел бы не то, что жену, но и мать, и сына родного!

— Известное дело! — усмехнулся Фалькович. — Ради товарища Сталина мы все и себя не пощадим!

Варсонофий подвинул ему бумагу:

— Вот, можешь действовать. Меня сегодня дома не будет, — и уже уходя, добавил, оглянувшись: — Ты вот что, Лёва... Сделай мне одолжение по дружбе: допросов четвёртой степени к шпионке всё же не применяй. Как-никак, а бывшая жена.

— Откуда такая щепетильность? — ухмыльнулся Фалькович. — Самому надоела, а боевым товарищам всё равно жалко?

— Я ведь тебя, как боевого товарища, об одолжении прошу, — нахмурился Варсонофий. — Может, когда и я тебе удружу.

— Нет уж, избавь, — лицо Лёвы стало ледяным. — С такими друзьями, как ты, врагов не понадобится.

— Ты что имеешь ввиду?

— Да так, ничего, — Фалькович убрал в папку донос. — Девчонку твою я не трону, и не тебе, собственными руками её уркам на глумление или начальству на забаву отдавшему, меня об этом просить было!

— Что-то не пойму я твоего тона, товарищ Фалькович. Или ты шпионку защищаешь?

— Ступай ты уже, куда шёл, товарищ Викулов, — ответил Лёва, надевая очки и раскрывая папку. — А мне работать надо — твоими стараниями у меня теперь ещё одним делом больше.

— Ну-ну, работай, — процедил Варс и, уходя, подумал, что не спустит Фальковичу этой презрительной отповеди. Ишь какой принципиальный

служитель закона выискался! Словно бы не он выбивал признания из мальчишки Юшина и скольких ещё других! Не зря, стало быть, казалось, что неровно он, подлец, к Аньке дышит. Ну, да чёрт с ним. С этим делом покончено. Вечером надо непременно повидать Эрну, а завтра можно будет, наконец, и вовсе пригласить её к себе — в собственную квартиру. Пожалуй, наилучшим образом складываются карты!

## Глава 19. Последняя разлука

Чистку уцелевших провели чётко и быстро. По всему ссыльному Казахстану в десятках, сотнях домов раздавался той ночью зловещий стук, которого подспудно ждал каждый. Правда, в тот миг ещё неведомо было, что опричники пришли в каждый дом, и казалось, что беда вдруг обрушилась только на тот, в котором ютились сами...

И ведь ничто не предвещало её. Миша благополучно работал счетоводом, не имея нареканий, а Мария устроилась сиделкой в местной больнице, более похожей на небольшой походный лазарет. Срок ссылки близился к концу, и уже не раз обсуждали, сомневались, стоит ли перебираться ближе к родным краям или так и осесть здесь, подальше от лиха. Спорили, преимущественно, Миша, рвавшийся в Россию, и сама Мария, предпочитавшая держаться имеющегося. Алексей Васильевич отмалчивался. Видно, лучше их понимал он, что лиха нельзя ни обойти, ни пересидеть в подполе. Оно в свой час настигнет везде.

И, вот, настигло. Буднично увели в ночную тьму Мишу, переверошив все вещи и даже не позволив толком проститься. О, сколько дней искала потом Мария, куда заточили крестника и куда отправят его! В конце концов, узнала: этапировали куда-то на север, вернее всего, на Колыму. Из пекла казахстанского и в мерзлоту! Без тёплых вещей, раздетого, голодного... И даже напоследок не дали свидания, даже известить не пожелали, не позволили передать необходимые вещи в дорогу. Почему? Как понять эту бессмысленную жестокость? Ведь, даже отменяя все человеческие нормы, человек отправляется в лагерь — работать, рабским трудом строить и добывать то, что необходимо

государственной плантации! Так зачем же калечить раба, который может трудиться? Ведь это то же самое, что умышленно портить инвентарь, технику! Но за порчу техники виновные получают «червонец», как вредители, а порча человеческого материала учёту не подлежит. Словно и не в труде заключённых цель, а в том лишь, чтобы как можно больше и быстрее уничтожить их.

Точно так же в Чимкенте металась в поисках сына Андрюши несчастная княгиня Урусова. И так же никто ничего не говорил ей. Однако, запоздало узнав, каким поездом этапирован сын, она догнала его. Вот, только сына среди этаплируемых не оказалось... И так и засел в сердце матери полубезумный страх, что её Андрюша замёрз в пути. Позже Мария узнала, что через считанные недели был арестован ещё один сын Наталии Владимировны, к которому она, безутешная, поехала, потеряв Андрюшу. Саму княгиню не тронули, и она, едва живая от горя, перебралась в Можайск.

Казахские тюрьмы переполнились верными: от простых мирян до законного первоиерарха митрополита Кирилла и митрополита Иосифа. Не раз хотели они встретиться друг с другом в ссылке, но не выходило. И, вот, встретились, чтобы вместе принять последние страдания и взойти на Голгофу, приняв мученические венцы. Так совершался ещё один русский исход. Исход Руси Святой из совдепского ада в небесные скинии.

Всё это время Мария не переставала удивляться совершенному спокойствию Алексея Васильевича. Постепенно осозналось: ещё оставаясь телом на земле, душой своей он уже отошёл от мира, обратил стопы на путь всё того же исхода. Оттого внешнее мало заботило его, и он спокойно подводил итоги жизни, будучи полностью готовым в любой миг дать отчёт в ней перед единственным Судией, чей вердикт необратим.

Сама же Мария жила с ощущением, точно её подвесили в воздухе, поддев острым крюком за ребро. Не было сил ни кричать, ни дышать, и всякое движение причиняло боль. Она точно знала, что если не сегодня, то, может быть, завтра, либо через неделю, через месяц — за ним придут, и отнимут его у неё. И жизнь кончится...

О, язычница-душа! Сколько лет воспитывалась и закалялась ты, принуждалась исполнять всё, что велела надетая на лицо маска! Многие восприняла ты, душа, многое сделалось твоим естеством, но первого и главного ничто не смогло переменить в тебе. Как тридцать с лишним лет назад, когда юная сестра милосердия сбежала на Русско-Японскую войну, так и теперь есть тот, любовь к кому больше в тебе, нежели любовь к Создателю. И в этой невольной и горькой лжи вся жизнь прошла... А для чего прошла она?..

За обедом у Лидии Мария то и дело смотрела на Серёжу и Таю. И — завидовала, отчаянно завидовала Тае. Да, немало нагрешили эти двое, а ещё несравненно больше выстрадали, но они вместе, и им не надо таиться и лгать друг перед другом и перед всем светом.

Как-то вечером Мария на цыпочках вошла в закуток, служивший Надёжину кабинетом. Он живо обернулся от стола:

— Вы что-то хотели, Марочка?

Тридцать с лишним лет... И всё — на «вы», и всё — словно бы ничего не чувствуют и не понимают оба. Комедия... И навряд ли божественная.

— Я хотела... поговорить, — во рту при этих словах пересохло. — Я тут подумала... Почему люди так боятся говорить друг с другом по душам? Боятся показывать чувства? Почему предпочитают всю жизнь играть роль, вместо того, чтобы хоть раз поговорить по-человечески? Близкие люди каждый день говорят друг с другом... О тысячах пустяков! Произносится несметное количество

слов, из которых и сами они не знают точно, сколько — правда. Те же слова могут зачастую говориться посторонним, ибо пусты. А двум-трём единственно важным и искренним словам места не находится. Не глупо ли это? Не безумно ли?

— О каких людях вы говорите, Марочка?

— Алексей Васильевич, да ведь вы сами знаете, о каких. Вы всё знаете. Разве нет?

— Да, Марочка, знаю, — Надёжин поднялся и мягко погладил её по плечу. — Но ведь когда-то вы сами решили, что так будет лучше для нас всех.

— Да, решила. А теперь всё чаще думаю — правильно ли? Алёша... — первый раз в жизни она назвала его по имени, звук которого показался ей необычайно сладким. — Ведь наша жизнь сгорела, а мы даже не согрелись в её пламени. И мне страшно. Впереди я вижу пустыню, пепелище и больше ничего... Не осуждайте меня! Это слабость, я знаю. Матери теряют детей и находят силы идти дальше, а я... Мне кажется, что у меня больше не осталось сил. Не физических... Их нехватки я не чувствую. Начнись теперь война, и я, как тридцать лет назад, пошла бы в полевой лазарет, на передовую. Это было бы даже лучше всего — может, удалось бы хоть немного забыться. Я знаю, Алексей Васильевич, я не должна говорить всего этого, но я скажу. Я всю жизнь молчала, а теперь мы ведь оба с вами знаем, что времени мало! Слишком мало...

Мария тяжело опустилась на стул, вглядываясь в стоящего напротив Надёжина:

— Моя любовь к вам — это почти преступление. Потому что Бога мы должны любить более всего, а не другого человека. Наталия Владимировна сказала мне, что её грехом было то, что она слишком любила своих детей. Я же слишком любила и люблю вас. Я, вероятно, не открываю вам ничего нового. Вы ведь душевед и мою

душу поняли давно. Могла бы я и промолчать дальше, но только сил не стало молчать. Алексей Васильевич, мы ведь всю нашу жизнь промолчали. Точно обет молчания дав... Ну, вот, теперь я его нарушила, и мне легче. Моей жизни нет без вас, Алексей Васильевич, и я не представляю, что будет, если... — Мария осеклась, закусила губу — даже выговорить страшные слова не хватало духу.

— Милая Марочка, у меня нет человека вас роднее, вы это должны знать также, — ответил Алексей Васильевич, ласково кладя руки ей на плечи. — Мы с вами прошли очень долгий путь, став духовно единым целым. Могла ли наша жизнь быть иной? Вероятно, могла. Но была бы она счастливее — как знать? Мы оба храним память о Сонечке, а она за обоих нас молится. Мы не разрушили ничьей жизни, мы вырастили замечательных детей, за которых душа моя спокойна. Трости дрожащей не преломили... Разве этого мало? В погоне за большим мы слишком часто теряем то прекрасное меньшее, что нам дано. Давайте же поблагодарим Бога за эти дарованные нам годы. Ведь они были счастливыми, Марочка! Несмотря ни на что. Потому что вы, я, дети, чьи чувства к матери не были задеты — все мы были и остаёмся единым целым. Разве это не победа наша? Разве этого мало? А ведь вся эта гармония достигнута была в большой степени именно вашим чистым и кротким служением, миром, который вы несли и несёте. Вам тяжело сейчас, я знаю. Но вы должны выстоять. Ради Сани, ради Машеньки. Наконец, ради Ани, у которой никого не осталось, кроме вас. Вы нужны им, и в этом служении вы снова обретёте мир!

Мария поднялась, глотая слёзы, уронила голову на плечо Алексея Васильевича:

— Простите меня! Я сделаю всё, что вы скажете. Я буду заботиться о детях, об Ане. И ждать, как самого

большого счастья, дня, когда и меня с моей изъеденной ложью душой призовет Господь...

Она ещё долго плакала в ту ночь, впервые за долгие годы дав выход накопившейся боли, а он мягко утешал её, мудро наставлял, укрепляя на новый путь, который предстоит ей пройти без опоры на его руку.

Когда, восемь дней спустя, его уводили в глухоту и темноту безлунной ночи, Мария не проронила ни слезинки. Она так долго жила мучительным ожиданием этого страшного момента, что как будто уже пережила его прежде, чем он настал. Пряно и пьяно пахло сиренью, в кущах которой тонули дома, ворчливо брехали собаки. Людей не было слышно. Ни единого огонька не зажглось. Кто не спал, тот преник испуганно к подушке с одной лишь мыслью: лишь бы не за мной!

Когда Алексея Васильевича забирали первый раз, Мария металась, не находя себе места. В этот раз метаний не было, а одна лишь опустошённость в душе, какая бывает, когда уходит близкий человек, долгое время тяжело болевший. Всё было кончено, и Мария знала это. Жаль было одного: что её оставили, а не взяли с ним. Какая, в сущности, изощрённая пытка: отнять у человека всех дорогих людей, а самого оставить... Точно как пленному солдату отрубить руку и ногу и пустить ползти к своим, «великодушно» оставив жить.

Не так ли поступили с Наталией Владимировной Урусовой? Княгиня была единственной, с кем Мария простилась в Можайске, чьему бесконечному мужеству и исповеднической вере приобщилась.

Приехав в Москву, она отправилась в больницу, где работал Саня. Мальчику ничего не пришлось говорить, он понял всё по её застывшему, бледному лицу.

— Отец?.. — проронил глухо.

Мария кивнула.



— Я узнаю, куда его поместили. И скажу Ане, чтобы зашла к нам...

Он хорошо держался — тоже давно был готов, заранее пережил боль. Да и нельзя же было о таком говорить в суете и на людях! Саня дал Марии ключ от своей комнаты и попросил подождать его там — самовольно уйти с работы до конца смены он не мог.

В маленькой комнате скверной коммуналки, явно требовавшей серьёзного ремонта, измученная Мария против собственного ожидания забылась сном и очнулась лишь от стука в дверь.

— Тётя Мари, это я, откройте, — послышался голос Сани.

За эти несколько часов, что прошли с их встречи, лицо мальчика сильно переменялось: почернело, осунулось, и глаза смотрели потрясённо и растеряно. Сперва Мария подумала, что крестник просто огорчён из-за отца, но быстро сообразила, что арест отца, не первый и столь ожидаемый, не произвёл бы на этого уравновешенного и рассудительного юношу столь зубодробительного впечатления.

— Что-то случилось ещё? — спросила Мария, отступая.

— Случилось, — хрипло ответил Саня, садясь на кровать. — Аню арестовали.

— Как?! — вскрикнула Мария, разом выйдя из владевшего ею с ночи оцепенения. — За что?!

— Не знаю, — мотнул головой Саня. — Ничего не знаю. Знаю только, что должен узнать всё... И пока я этого не сделаю, исполнить отцовской воли и уехать вместе с вами подальше от центра не смогу.

— Это мы виноваты... — проронила Мария, опускаясь рядом с ним. — Это всё мы... Не смогли уберечь девочку, единственную дочь Роди не смогли уберечь.

— Вы не виноваты, — ответил крестник. — А я виноват. Я один! — он вскочил на ноги и, сжав кулаки,

дёргая желваками от ярости, добавил: — И теперь я всю жизнь посвящу искуплению этой вины! Знаете, тётя Мари, иногда я начинаю сомневаться в правильности наших догматов... Отбросив их, я должен был бы теперь пойти к этом выродку — её так называемому мужу — и пристрелить его, как гадину! И это не было бы грехом, если есть хоть какая-то правда в мире! — Саня не позволял себе сорваться на крик, опасаясь соседей, а только шипел, до дрожи клокоча от бессильного гнева.

— Его Бог покарает!

— Разумеется! Но, тётя, иногда так нестерпимо хочется, чтобы мщение осуществилось уже здесь, на наших глазах, а не в неведомой нам иной жизни! Неужели вам самой никогда не хотелось этого?!

— Бывало... — вынуждена была признаться Мария. — Но, может, мы увидим это ещё и здесь. Сколько палачей уже получили своё...

— Гады жрут гадов — да, это недурно. Вот, только когда бы в отношении нас они хоть немного умили аппетиты и не плодили бы новых гадов со скоростью метания икры!

— Нужно узнать, где она, нужно собрать посылку... — рассуждала Мария, сосредотачиваясь.

— Узнаю, — ответил Саня. — Только посылку мы не будем отправлять сами.

— Но почему?

— Потому что отец наказал мне заботиться о вас. А посылая такую посылку, вы слишком рискуете. Есть Красный Крест, есть старушки, которые Христа ради готовы помогать с отправкой таких посылок. Соберём мы, а отправят другие. А, по-хорошему, вам бы всё-таки лучше уехать. К сестре, например, пока что. А потом отправимся вместе в какую-нибудь заштатную больницу...

— Непременно отправимся, — кивнула Мария. — Но теперь я никуда не поеду. Пока не узнаю, что с Аней... И

ЧТО... С ТВОИМ ОТЦОМ...

## Глава 20. Последний путь

— Ваше отношение к советской власти?

— Я считаю советскую власть преступной, как по законам человеческим, так и по законом Божьим.

— Признаёте ли вы факты клеветы с вашей стороны в отношении высшего партийного руководства и лично товарища Сталина?

— Нет, не признаю. Я говорил исключительно правду.

— И в чём же она заключалась?

— В том, что руководство вашей партии и Сталин — преступники, нравственные дегенераты, которые могли оказаться у власти лишь в обществе, поставленном с ног на голову. Я говорил, что все их действия направлены исключительно на разрушение — хозяйства, жизни, человеческой души.

— Вы ещё клеветали на нашу армию! На обороноспособность нашей страны!

— И по этому вопросу я говорил исключительно правду. Вы настроили множество машин, столько, что вам кажется, что вы сможете задавить ими весь мир. Но об одной малости забыли. Нужны люди, которые смогут управлять таким количеством машин. А ещё нужны командиры, чтобы управлять этими людьми. А вы жжёте людей, как снопы, без пользы и без жалости. Вы можете создать самое мощное, самое страшное оружие, но что оно даст вам, если не будет людей? Оно не спасёт ни вас, ни государство, превращённое вами в испытательный полигон. Обезлюженное вашими усилиями, оно неизбежно станет добычей тех, кто сбережёт такую мелочь, как человеческие жизни. И это будет ваше историческое поражение.

— Ба! Мне, конечно, многое докладывали о вас, но то, что вы высказываете — это... — Хохлов, худощавый следователь средних лет, изумлённо развёл руками. — Вы понимаете, что сами сейчас огласили собственный смертный приговор?

— А разве вам не этого надо? — спросил Надёжин, покачиваясь взад-вперёд на неудобном стуле и преодолевая приступы дурноты после трёх суток допросов, во время которых следователи сменяли друг друга, а ему не оставляли ни секунды перевести дух.

Правду говорить легко и приятно — особенно, когда знаешь наперёд, что всё уже предрешено, кончено, и терять нечего. Даже какое-то упоение есть в этом — высказать в лицо негодяю всё, что о нём думаешь.

— Нам тоже нужна правда, — ответил следователь и любезно предложил. — Чайку не хотите?

— Не откажусь.

Это вовсе не уловка оказалась, и Хохлов угостил Надёжина не только чаем, но и кусочком желтоватого сахара.

— Надо же не побрезговали чекистским чайком! — ухмыльнулся, подвигая чашку. — А ведь он у нас — того, бесовский!

— Это ничего, — ответно усмехнулся Алексей Васильевич. — Сейчас мы его крестным знаменем-то осеним — все бесы и разбегутся, — и, осенив крестом чай, отпил.

— Вы, как мне кажется, неглупый человек, — Хохлов в отличие от своего держиморды-сменщика имел явную слабость к философствованию. — Зачем вам всё это? Эта ваша секта изуверов? Ведь есть же, ведь дадена же вам церковь — чего не хватает?

— Видите ли, Василий Анисимович, беда в том, что Святые Дары — не чай, и не достаточно просто перекрестить чашу, чтобы лукавый не мутил.

— Ну, а РОВС вам зачем? Вы ведь как будто сугубо штатский человек...

— А причём тут РОВС? — удивился Недёжин. — С этой организацией я не знаком.

— Ой ли? А мы располагаем данными о целой ячейке, главой которой является ныне скрывающийся где-то в СССР бывший полковник Аскольдов. Скажете, что не знаете такого?

— Зачем же? Очень хорошо знаю. Но видеть или сноситься каким-либо образом не имел удовольствия уже двадцать лет.

— Но ведь вы знали, во всяком случае, что Аскольдов находится в СССР?

Ничего нет опасней неожиданных вопросов, когда ты уже ослаблен бессонницей и не можешь просчитывать молниеносно последствия того или иного ответа. Ответил наугад и впервые за весь допрос солгал:

— Нет, я не знал об этом. Я много лет провёл в ссылках, как вам известно, и у меня не было возможности что-либо узнать.

— Что же, Анна Родионовна, или, простите, Тимофеевна, не поделилась с любимой тётушкой счастливой вестью, что её отец в России?

Кровь ударила в голову и тотчас отхлынула назад. Откуда узнали?! Неужели арестовали Родиона? Хотя нет, нет... Наоборот — это они его разыскивают! И он бы не сказал им... Откуда же?

— Если вы имеете ввиду Аню Замётову, то её покойная мать никогда никому не рассказывала о том, кто её настоящий отец. Мария же Евграфовна с детства заботилась об Аглае, и ничего нет странного, что и её дочь пользовалась её вниманием.

— А я-то думал, Алексей Васильич, вы правдивы всегда, — покачал головой Хохлов. — Что, потеть приходится, чтобы своих не подвести? То-то же! Это не

собственную башку под топор подставлять. Однако, зря вы напрягаетесь. Анна Замётова сама дала признательные показания.

— Аня арестована? — поражённо спросил Надёжин.

— Да. Мы получили своевременный сигнал и приняли меры.

— Ведь она ребёнок!

— Нисколько! Она — шпионка! Или, по крайней мере, соучастница целой шпионской сети, которую мы, будьте спокойны, выявим.

— Что же, она сама призналась в этом?

— Разумеется! — кивнул Хохлов. — Она подтвердила, что её покойная мать поддерживала письменную связь с Аскольдовым, правда, пока утверждает, что по юности к делам её не допускали, и других членов группы она не знает. Но мы работаем с ней, и полагаю, скоро узнаем и другие имена. Ваше, может быть. Вашего сына Саши... Вашей сожительницы... Вы ничего не хотите сказать?

— Я ничего вам больше не скажу, — холодно ответил Надёжин. — Я ненавижу вашу людоедскую власть. Я всегда был и буду вашим врагом. И вы можете записать это в протоколе и осудить меня, как врага. Но ни шпионажем, ни вредительством я не занимался никогда. И ни в какие группы не входил. И поэтому не надейтесь, что я буду помогать вам стряпать очередное групповое дело. Найдутся у вас и другие подручные.

— Воля ваша, — противно ухмыльнулся следователь. — Думаю, Анна Родионовна будет сговорчивее и скорее поможет нам.

Это был удар, к которому Алексей Васильевич не был готов. И всё-таки он выдержал его и так и не проронил более ни слова за те бесконечные сутки, что его «доводили». В конце концов, ему дали подписать признательные показания, продиктованные им самим, и водворили в камеру «до суда».

Когда нет книг, нет иных занятий, а голова твоя привыкла работать, то открывается немалое пространство для размышлений. Это пространство особенно велико, если на дворе стоит вторая половина 1938 года...

Всё-таки с исключительной точностью копировали большевики своих предтечей якобинцев. От малого — подделок дневников Государя, очевидной для всякого знакомого с историей Франции, где якобинцы предложили нации в качестве дневников Людовика переписанный охотничий журнал. До великого — планомерного истребления друг друга.

Некогда все партии объединились, вынося приговор пленённому королю, но едва голова его скатилась с плахи, и сговорившийся с Дантоном Робеспьер отправили на неё вчерашних «попутчиков» — жирондистов. Ещё шаг, и уже сам Дантон с первым пером революции Демуленом отправились в объятия гражданки Гильотины. А с ними и несчастная беременная вдова Демулена, обвинённая в заговоре против гражданина Робеспьера. Ещё чуть-чуть и настала очередь самого Максимилиана и юного маньяка Сен-Жюста, доселе почитаемого в так и не воскресшей от кровавого помешательства Франции.

Знать, плохо учили историю товарищи большевики и, боясь «наполеона», аккуратно повторили путь своих предшественников — на плаху. А ведь уже, как минимум, в двадцать седьмом зрячему видно было — к чему идёт. В то время Джугашвили окончательно выдавил левую оппозицию за рамки легального поля, развернув кампанию по очистке партии от оппозиционеров и принятию в неё под флагом объявленного им «Ленинского призыва» сотен тысяч простых рабочих — верных благодетельствовавшей их руке. Последним всплеском, поднятым утопающими, стали организованные в сентябре в Москве и



Ленинграде нелегальные рабочие сходки, собравшие до двадцати тысяч человек. Сходки эти были наводнены провокаторами, прерывавшими ораторов криками и свистом, в Ленинграде во время выступления оппозиции в зале заседаний был отключен свет, на собрании партактива Петроградского района на выступавшего оппозиционера напали и разорвали предлагавшийся им проект резолюции.

7 ноября 1927 года проходили оппозиционные демонстрации: под руководством Смилги и Преображенского — в Москве и Зиновьева, Радека и Лашевича — в Ленинграде. Это было невиданное фиаско старых большевиков! С воплями «бей оппозицию», «долой жидов-оппозиционеров» демонстрации атаковали толпы, забросавшие их льдинами, картофелем и дровами. Смилга, Преображенский, Грюнштейн, Енукидзе и другие были вытащены с балкона толпой и избиты, вслед машине с Троцким, Каменевым и Мураловым прозвучало несколько выстрелов, после чего неизвестные предприняли попытку вытащить их из машины.

Через четыре дня ЦК потребовал от оппозиционеров прекратить нелегальные собрания на частных квартирах, а организация нелегальной типографии и нелегальной октябрьской манифестации стала поводом для исключения Зиновьева и Троцкого из партии. Брестский «миротворец» Иоффе, по-видимому, всё понял уже тогда и, не дожидаясь исхода, застрелился. Трое его поделельников по заключению «похабного мира» были расстреляны десятью годами позже.

«Старая гвардия» боялась «наполеона». Кое-кто видел его во Фрунзе. Но, в первую очередь, Фрунзе, заменивший Троцкого на постах наркомвоенмора и предреввоенсовета, имеющий огромный авторитет и в партии, и в армии, представлял опасность для Сталина. Смельчак Борис Пильняк в своей книге «Повесть

непогашенной луны» фактически прямо указал на него, как на убийцу Фрунзе.

«Левых» тонкий восточный политик Джугашвили задавил с помощью «правых».

— Чего они хотят? Они хотят крови Бухарина! Не будет им крови Бухарина! Бухарчик — наш теоретик! — говорил вождь на очередном Съезде, и не знал Бухарчик, что скоро и он последует за заклеяемыми «троцкистами» и «зиновьевцами». И на «собраниях трудящихся» будут завывать «простые ткачи» «ленинского призыва» с неестественно округлившимися глазами выброшенных на берег рыб и звенящими от напряжения нотками в голосах:

— Товарищи, троцкистско-бухаринская гидра посмела покуситься на самое дорогое, что у нас есть! На нашего родного и любимого товарища Сталина! Мы требуем покарать их!

И потонет срывающийся голос в рукоплесканиях таких же «призывников» с застывшими лицами, навсегда лишёнными человеческого выражения.

Ещё в конце двадцатых Сталин выдвинул идею об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма и коммунизма. Однако, с реализацией её пришлось повременить — нужно было сперва общими усилиями разделаться с главной опасностью, главным врагом — *с народом*. И лишь в 1936 году время жатвы настало.

В июне того года ещё всесильный нарком Ягода и прокурор Вышинский представили в Политбюро список восьмидесяти двух «участников контрреволюционной троцкистской организации, причастных к террору» во главе с Зиновьевым и Каменевым с предложением привлечь их к суду.

Предложено — исполнено, и уже в августе открылся первый из трёх знаменитых московских процессов — процесс по делу «Антисоветского объединенного

троцкистско-зиновьевского центра». Председатель суда Ульрих и прокурор Вышинский обвинили Зиновьева, Каменева и других в убийстве Кирова и подготовке покушений на Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича и Орджоникидзе. Все шестнадцать обвиняемых были расстреляны. Ещё более ста человек, арестованных в регионах, отправлены в ИТЛ.

Само собой, наэлектризованная толпа ликовала. В Москве проходили демонстрации с требованиями новых расправ и призывами не давать врагам никакой пощады.

Запрос был удовлетворён немедленно. Уже в сентябре арестовали будущих главных обвиняемых на процессе по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» Пятакова и Радека, а на смену Ягоде явился хищный карлик Ежов, портретами которого скоро запестрят все газеты, которому станут посвящать целые оды. «...Враги нашей жизни, враги миллионов, ползли к нам троцкистские банды шпионов, бухаринцы — хитрые змеи болот, националистов озлобленный сброд. Мерзавцы таились, неся нам оковы, но звери попались в капканы Ежова. Великого Сталина преданный друг, Ежов разорвал их предательский круг», — напишет казахский поэт Джабаев и ведь получит же за это какую-нибудь награду. Впрочем, джабаевские вирши ничто в сравнении с передовицами «Пионерской правды», этого воспитателя будущих поколений.

Вот фотография — на пионерском сборе школы № 232 вожатая Соня Кукушкина торжественно зачитывает ребятам приговор Верховного Суда. Внизу заметка четырёх пионеров-четвероклассников: «Весь народ нашей большой и могучей страны требовал от суда, чтобы подлые убийцы, изменники и шпионы были уничтожены. Мы, пионеры, тоже этого требовали. И суд выполнил волю всего нашего народа и лучших людей

мира». «Мы, воспитанники Славянского детгородка, обещаем повысить нашу бдительность и помогать советской разведке громить врагов народа!», — клялись школьники Донбасса. А школьники Буся Куперман, Роза Щербо, Маня Винник, Валя Стаханова и Юра Литвиненко написали заметку «Фашистским лакеям — никакой пощады!»: «Наш отряд носит имя незабвенного Сергея Мироновича Кирова, которого убили проклятые троцкистско-бухаринские бандиты. Они покушались на жизнь нашего родного и любимого Иосифа Виссарионовича Сталина. Советский суд вынес справедливый приговор этим изменникам и предателям. От всей души приветствуем приговор советского суда. Советская разведка под руководством товарища Ежова до конца разоблачит всех врагов народа, и на нашей советской земле не останется никого из этих фашистских отбросов». И чем, спрашивается, подобное растление детских душ в большом лагере отличалось от растления малолеток в лагерях малых? Две московские пятиклассницы написали Ежову письмо: «Дорогой Николай Иванович! Вчера мы прочитали приговор над сворой правотроцкистских шпионов и убийц. Спасибо, товарищ Ежов, за то, что вы поймали банду притаившихся фашистов, которые хотели отнять у нас счастливое детство. Спасибо за то, что вы разгромили и уничтожили эти змеиные гнёзда. Мы Вас очень просим беречь себя. Ведь змей-Ягода пытался ужалить Вас. Ваша жизнь и здоровье нужны нашей стране и нам, советским ребятам. Мы стремимся быть такими же смелыми, зоркими, непримиримыми ко всем врагам трудящихся, как Вы, дорогой товарищ Ежов!» Подрастала смена, вдохновляемая «героями» своего времени...

Пятого декабря на VIII Чрезвычайном Всесоюзном Съезде Советов была принята новая Конституция СССР, провозгласившая равенство прав всех граждан страны

— самая демократичная конституция в мире. С нею и вошли в новый год — 1937-й...

А тот начался с очередной серии полюбившегося зрелища — второго московского процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». На этот раз Ульрих и Вышинский предъявили Пятакову, Радеку и другим обвинение в организации саботажа, диверсий и шпионажа в пользу Германии и Японии, в заговоре с целью расчленения СССР и реставрации капитализма. По итогам расстреляли тринадцать человек. Газеты захлебнулись массовым энтузиазмом в обличении врагов и требовании для них всевозможных кар.

— Смерть фашистским гадам! — вопили, потрясая кулаками, митинговые ораторы, а запуганные серые толпы, поникнув, затравленно слушали. И, когда надо, поднимали руки...

В конце февраля открылся очередной Съезд, полностью посвящённый «мерам ликвидации троцкистских и иных двурушников». Ежов представил на утверждение членам Политбюро первый «список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР», включающий фамилии 479 человек, мерой наказания для которых был определен расстрел. Список, разумеется, встретил полное одобрение, и все делегаты соревновались в выказывании поддержки взятому курсу.

— Товарищ Ежов в своем ярком и обстоятельном докладе дал верную и ясную характеристику состояния и работы органов государственной безопасности, с предельной ясностью вскрыл причины провала органов государственной безопасности в деле борьбы с заговором японо-немецко-троцкистских агентов, — говорил чекист Яков Агранов. — Я должен, товарищи, со всей большевистской прямоотой и откровенностью признать, что этот заговор буржуазных реставраторов и

фашистских агентов я проглядел. Я должен заявить, что очень остро чувствую всю тяжесть своей ответственности перед ЦК нашей партии и советским правительством за позорный провал наших органов в деле борьбы со злейшими врагами коммунизма, за все те безобразия в работе наших органов, о которых говорил в своем докладе товарищ Ежов. Совершенно бесспорно, что если бы органы государственной безопасности проявили необходимую большевистскую и чекистскую бдительность и волю к борьбе с врагами советского строя; если бы они с необходимой остротой реагировали на сигналы агентуры о существовании троцкистского центра, организующего террористические покушения против руководителей нашей партии и правительства, — то заговор троцкистских мерзавцев был бы давно и полностью раскрыт и ликвидирован и гнусное убийство товарища Кирова было бы предотвращено.

Вторил ему и Яков Гамарник:

— Товарищи, всё, сказанное товарищем Сталиным в его докладе о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников в партийных организациях, целиком и полностью относится и к армейским партийным организациям... Товарищи, у нас сейчас, как докладывал товарищ Ворошилов, осталось в армии (то, что нам известно), осталось немного людей в командном и в политическом составе, которые в прошлом принадлежали к различным антипартийным группировкам. Но все эти факты говорят, товарищи, о том, что своевременной и достаточной бдительности целый ряд армейских партийных организаций не проявили. Многие из наших партийных организаций оказались слепыми и мало бдительными...

Через несколько месяцев Гамарник застрелится. Агранов же будет арестован и расстрелян, как враг

народа. Из семидесяти трёх человек, выступавших на пленуме, до конца 1938-го доживёт лишь треть.

Летом того же года судили Тухачевского сотоварищи. И снова большую изощённость проявил Вождь, поставив судьями опальному маршалу его же коллег — Алксниса, Дыбенко, Будённого, Каширина, Горячева, Блюхера, Белова и Шапошникова. Все эти командиры были единодушны в вынесении смертного приговора. Догадывались ли они, что из них лишь двое переживут ближайшие полтора года?..

А маховик, меж тем, набирал обороты. В июле вышло постановление Политбюро «о членах семей осужденных изменников родины», согласно которому «все жены изобличенных изменников родины право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не менее, как на 5-8 лет», а дети — помещению в детские дома и закрытые интернаты.

Год 1938-й открылся третьим актом полюбившегося зрелища — процессом по делу об «Антисоветском право-троцкистском блоке». Теперь уже Бухарин, Рыков и их соратники обвинялись в убийстве Кирова, отравлении Куйбышева и Горького, заговоре против Ленина и Сталина, в организации промышленного саботажа, диверсий, в заговоре с целью расчленения СССР и прочих смертных грехах. Все семнадцать обвиняемых были расстреляны.

Некогда корсиканец Буонапарте оседлал и революцию, и Церковь, оставаясь безбожником, был коронован самим Папой, и с тем двинул свои победоносные полки завоевывать мир... Грузин Джугашвили не был полководцем и не жаждал напялить на голову Мономахов венец, что без сомнения благословил бы митрополит Сергей. Он ставил себя выше императора, выше самодержца. Для народа, безграничную власть над которым он получил, он становился языческим «богом», капризным жестоким

божком — одним из тех демонов, которым древние ставили идолов и поклонялись, считая божествами. Наполеон окончил жизнь побеждённым, но его слава от этого не уменьшилась. И не только во Франции, но и в победивших странах и, в том числе, России безумные люди бредили им, поклонялись ему, вешали портреты и стремились хоть отчасти стать подобными ему. Миф Наполеона глубоко поразил человеческие души. Мифу Сталина, по-видимому, суждено было поразить их ещё глубже, ибо российская революция превзошла французскую во всём.

В последней — смертной — камере, куда поместили Надёжина, сырой, тесной и тёмной, было пять человек. Один из них находился в крайне тяжёлом состоянии. При пытках ему не то повредили, не то вовсе сломали спину, и несчастный почти не мог шевелиться. Страшные боли, от которых он хрипел, не имея сил кричать, усугублялись кровавым поносом.

— Добейте... — то и дело слышался хрип. — Будьте людьми... Кто-нибудь, добейте!

Но помочь этой мольбе было нечем, и всё, что мог сделать Надёжин, это по возможности бережно переворачивать умирающего, отирать его окровавленное и потное лицо, отдавать ему часть своей порции воды.

— Зря ты с ним вошкаешься, — поморщился хмурый бородач.

— Почему же?

— Во-первых, ему всё равно не помочь, а, во-вторых, сволочь он, прости Господи!

— Почему же сволочь?

— А потому гнида партийная, вот почему! — свирепо ответил бородач. — Отгрёб своё от своих же!

— Не все партийные сволочи, — пожал плечами Надёжин.



— Иных не встречал. Небось, на заседаниях своих руку тянул, когда нашего брата по миру пускали да комаров таёжных кормить усылали.

Бывший партиец глухо застонал.

— Полно, — одёрнул Алексей Васильевич мужика. — Мы ничего не знаем об этом человеке, чтобы судить о том, каким он был. Зато знаем, что теперь он страшно изувечен и умирает. И, как бы то ни было, а «се человек». А, значит, надо по-человечески к нему, доколе сами мы люди.

Бородач криво усмехнулся. Он совсем не настроен был сожалеть о тех, кто пусть даже невольно, косвенно принимал участие в разрушении его жизни. А жизнь эта была трудовой, честной и благополучной. Имел Фрол всё, что необходимо простому мужику-хлеборобу: плодородную землю, дом с фруктовым садиком, двух лошадей, коров, свиней, кур... Дал Бог и жену — такую же работающую, как он сам, и троих ребятишек. В двадцатые и веялкой обзавёлся и заглядывался даже на мельницу. По счастью, так гляделками и ограничился, а не то в тридцатом не в соседнюю область, а на крайний север бы услали, а то и посадили бы.

Тогда, в тридцатом, Фролу «повезло». И в том, что сослали недалече, и в том, что в родной деревне народ был сплошь незлобивый, даже и председателем человека выбрали, и в том, что братец его, хозяйству чуждый и всю жизнь в батраках проходивший, тут, как бедняк, заступой семейству сделался. Через год добился брат при поддержке односельчан, чтобы Фрола Ермакова вернули обратно, как жертву перегиба.

Но на том везенье кончилось. Второй раз его взяли в самом начале тридцать седьмого, как кулака и вредителя, ведшего антисоветскую агитацию. Бежавшую за ним беременную Клавдию конвоиры отталкивали, глумились нахально:

— На кой тебе твой Фрол? Обожди! Мы тебе его нараз заменим! Все по очереди!

А Фрол, с руками за спину заломанными, и зуботычины дать не мог подлецам.

Судили его скоро и вместе с ещё дюжиной мужиков приговорили к расстрелу. Вот, только, не достреляли в потёмках и ещё живого сбросили в общую могилу, едва присыпав землёй. Отлежался Фрол, встал и пошёл к братухе за помощью.

— Дурень я, как есть чурка деревянная, — сокрушался теперь отчаянно. — Мне бы сразу в бега податься, а, растепель, справедливости искать удумал! Рассудили мы с братухой, что, коли меня без вины осудили, так надо же по начальству довести, какие у нас здесь перегибы случаются! И пошли мы в Москву — к самому как есть товарищу Калинин. Тоже ведь мужик, свой, русский — думаем. Думаем, поговорим с ним по-простому, по-мужицки да и разберёмся! Мало нас, дурней, жизнь-то учила! Разобрались!

Калинин мужиков не принял. Зато, когда про их жалобу донесли в НКВД, там очень разгневались на своих нерадивых подчинённых, не удосужившихся добить покойника для верности. Эту оплошность решено было исправить незамедлительно, и Фрола арестовали снова, теперь вместе с братом. Правда, высшую меру им заменили сроком в ИТЛ, отбывать который отправили на ударно возводимый канал Москва-Волга.

— На открытие Сам приезжал, — рассказывал Фрол. — Башку свою гигантскую из гранита рассматривал. И змеёныш с ним, Ежов-от. Они смотрели, а народ в это время постреливали втихомолку. Несколько сот душ и заключённых, и вольняшек, на клятом этом объекте горбивших, загубили. По обвинению в заговоре с целью покушения на Сталина и Ежова в момент их приезда на

торжественное открытие канала! — Фрол поднял палец. — От оно какие мы! Самого укокать собирались!

— Коллега, значит! — из темноты протянулась худая рука бледного и словно в ознобе дрожащего юноши. — Меня за это же упекли! За заговор с целью убийства товарища Сталина и шпионаж в пользу Японии!

Юношу взяли по следам дела поэта Павла Васильева. Мальчик двадцати двух лет, студент, он тоже сочинял стихи и даже подступался к драме, вынашивая сюжет из библейской истории. Заключение тяжело сказалось на его психике. Время от времени он подсакивал к двери камеры, до крови колотил в неё руками, требуя убрать из неё умирающего, или перевести его самого, а, утихнув, заводил спор с кем-нибудь из товарищей по несчастью. Подсев к Алексею Васильевичу, он зашептал прерывисто в самое его ухо:

— Скажите, скажите, Надёжин, — глаза его беспокойно блестели, а зубы постукивали, — ведь это они нарочно наполнили Библию своими изуверскими текстами! Чтобы отвести нам глаза, чтобы не мытьём, так катаньем одурачить нас! Не смогли Христова учения заглушить, так хоть прибавить к нему своих подлых мифов! А они до крайности подлые у них! У нас, у славян, таких гнусных мифов не бывало!

— Помилуйте, о чём вы, Валерий?

Поэт словно не слышал и, хватая его за ворот пиджака, продолжал исступлённо:

— Пророки! Это я понимаю, это ясно! И даже Давид и прочее! Но Юдифь! Но — Эсфирь! Ведь в этой книге всё! Всё их существо, их идея — одурачить и уничтожить народ и захватить его земли и богатства! И нам предлагают её, как и нашу святыню! Нам, с которыми сделали они то же, что с персами! А наши синодалы и прочие приняли, пошли на поводу! Вот и жрут теперь амановы уши по всей России!

— Успокойтесь, пожалуйста, вы слишком горячитесь...

— Да не вяжитесь с ним, — буркнул Фрол. — У него уже давно в голове-то мутится.

— Не горячиться? Когда нам святое наше самое подменяют злодейством? — вскрикнул поэт, дёрнувшись, как от удара током. — О, подлецы! Подлецы! И Расин — первостепенный подлец! Воспеть эту кровавую блудницу, как героиню! А знаете, знаете, что это именно она, Эсфирь и есть промать всех наших Землячек? О, если бы мне был отпущен ещё хотя бы год, то я написал бы иную трагедию! Подлинную трагедию! Я написал бы о цветущей стране и мужественном, трудолюбивом народе, о несчастном Царе, лишённом разума и воли кабалистическим колдовством и приворотным зельем, о жадной блуднице, безраздельно властвующей над ним и её ещё более жадном и подлом брате, алчущим прибрать к рукам всё царство. И я написал бы о последнем герое этого народа, который встал на его защиту вместе со своими благородными сыновьями и пал, преданный и оболганный, и отдан был на глумление проклятой своре, растерзавшей его и затем уничтожившей его народ, оболганный точно так же! Вот, она — великая трагедия! Великое злодейство, повторяющееся над разными народами в разных веках и свыше тысячи лет весело отмечающееся!

История Эсфири настолько завладела воображением юноши, что он то и дело возвращался к ней, развивая свою мысль, декламируя уже сочинённые фрагменты, упиваясь своей навязчивой идеей. Сам поэт не отличался религиозностью, увлекаясь ею больше в теории. Во всяком случае, наличие в камере священника не сподвигло его к исповеди. Происки иудействующих занимали его много сильнее, нежели спасение собственной души.

Зато для Надёжина присутствие священника оказалось большим утешением. Знакомясь с ним, он осторожно осведомился:

— Могу ли я узнать, батюшка, какой ориентации вы придерживаетесь?

— Если вас интересует моё отношение к митрополиту Сергию, то я его не признаю.

Отец Даниил ушёл на покой ещё в Двадцать восьмом году, последовав примеру своего близкого друга отца Серафима Звездинского и ряда других священников, не желавших становится сообщниками Страгородского в деле предательства Церкви. Дальше всё было «как у всех»: тюрьма, лагерь, ссылка, краткое освобождение и, вот, снова тюрьма и приговор в высшей мере. Ничего примечательного не было в этом скромном старом священнике, типичном сельском пастыре с мягким, доброжелательным лицом и ясными, хотя уже слепнувшими глазами.

Самым примечательным узником последней камеры был статный, пожилой мужчина, в котором угадывалась офицерская косточка. Не отличавшийся многословием, он представился по-военному лаконично:

— Данилевский, Николай Николаевич, — и подал руку.

Николай Николаевич Данилевский... Это имя мало что сказало бы Надёжину, если бы Фрол не пояснил тотчас же, что перед ним — «настоящий человек стоит, человечество», один из первых русских асов...

Уже в 1911 году Николай Николаевич был инструктором Авиационного отдела Гатчинской военной авиационной школы, учил новичков и сам испытывал образцы новой авиационной техники, в частности, первого парашюта. В Первую Мировую Данилевский командовал 10-м дивизионом Западного фронта, после октябрьского переворота вернулся в авиашколу, где солдаты избрали его в школьный комитет. Осенью

Восемнадцатого он был арестован первый раз и заключён в Петропавловскую крепость. По освобождении служил в Витебске начальником аэростанции летного отдела Главвоздухфлота, а затем перешел в гражданскую авиацию, в развитие которой внёс значительный вклад.

В 1925 году Николай Николаевич принял участие в организации уникального для того времени перелета шести советских самолетов из Москвы в Пекин, являлся одним из первых организаторов аэрофотосъемочных работ в России. Став начальником эксплуатационного техотдела летного управления «Госаэрогеодезия», он брал на службу опытных летчиков, несмотря на то, что некоторые из них в прошлом служили в Белой армии. Такой «либерализм» в условиях классовой борьбы привёл Данилевского и его подчинённых на строительство Беломоро-Балтийского канала. Но даже в том аду он оставался предан работе: организовывал полеты гидросамолетов, работал метеорологом и даже стал ударником труда.

Освобождённый досрочно, Данилевский был выслан «за стокилометровую зону», снимал угол за занавеской, за гроши работал начальником метеостанций, выводя их своим трудолюбием и талантом из отстающих в передовые, получал благодарности, грамоты от начальства.

Для молодых лётчиков он был общепризнанным авторитетом. Николай Николаевич воспитал двух первых героев СССР — Слепнёва и Водопьянова. Последнего, как сына «кулака», не хотели брать в лётную школу, и лишь хлопоты Данилевского помогли юноше осуществить мечту. Как ни парадоксально среди обвинений, выдвинутых против первого аса (контрреволюционная агитация, высказывание «пораженческих взглядов» по адресу Советской власти...), было и «нанесение оскорбления Герою

Советского Союза, депутату Верховного Совета Союза ССР товарищу Водопьянову».

Сам товарищ Водопьянов, видимо, о таком не ведал, а потому вместе со Слепнёвым пытался добиться освобождения своего учителя, настаивая на его полной невинности.

Настоящая же причина крылась в том, что незадолго до ареста старый лётчик категорически отказался стать осведомом НКВД, и в его слишком независимом характере. Шутка ли — высказывать особое мнение на заседании Совета труда и обороны, когда не то что высказывать, но и иметь его не полагалось. А Николай Николаевич высказывал: что страна пока не столь богата, чтобы строить ненужные самолёты-гиганты, что строить нужно сравнительно недорогие самолеты для обороны страны и для народного хозяйства. Все пылепускательные проекты, особо любимые руководством, вызвали его критику. А ведь от неё и до вредительства — один шаг!

Данилевский трепетно уважал чужой труд, чужой талант, чужую самостоятельную личность. Даже теперь, ожидая решения своей участи в камере Таганской тюрьмы, он всё ещё мечтал о том времени, когда такое же уважение обретёт и государство:

— В одном я убеждён твёрдо: процветание России наступит тогда, когда у нас будет уважительное отношение к людям творческого труда, прежде всего, к ученым и изобретателям, и будет обеспечено соблюдение их прав...<sup>21</sup>

Как далеко было до этого благословенного времени стране, над которой зримо исполнялось грозное пророчество Исайи: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасти, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши

отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши — беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и ткуют паутину; кто поест яиц их, — умрет, а если раздавит, — выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением; дела их — дела несправедливые, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их — мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, — озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми — как мертвые. Все мы ревом, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет его, — спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда»<sup>22</sup>.

— С вещами на выход! — эта команда неожиданно гроыхнула среди ночи, и узники покорно



зашевелились, не задавая бессмысленного вопроса, куда везут их, не вынося приговора.

Собравшись с силами, Надёжин взвалил на плечи отчаянно застонавшего изувеченного сокамерника и поймал на себе неодобрительный взгляд Фрола:

— Охота вам, Алексей Васильич, надрываться... — и всё же взял надёжинский узел с пожитками, облегчая его ношу.

Ночь выдалась холодной, но до стоявшего в ожидании грузовика было подать рукой, а в нём — как бы не задохнуться от плотно утрамбованных давно не мытых человеческих тел. На своё счастье надёжинский подопечный потерял сознание ещё на пути к машине и больше не стонал. Что-то бормотал, вращая глазами поэт, время от времени бросал пронзительные строфы, обнаруживающие очередной большой талант, обречённый гибели. Но, вот, ударом в спину конвоир заставил его замолчать:

— А ну, полезай живо!

Когда машина тронулась, женский голос тревожно спросил:

— Товарищи, куда нас везут? Неужто на суд?

— На суд, милая, на суд, — отозвался бывалый Фрол. — На самый что ни на есть высший! К Господу Богу на допрос!

Женщина отчаянно заплакала. Оказалось, что в машине она не одна, а со всей семьёй. Муж её был простым рабочим, далёким от политики, и он никак не мог уразуметь, за что арестован. Тут же были их дети, сын-подросток и дочь, и престарелый отец несчастной женщины. Так, вычищать «врагов» стали уже целыми семьями...

Ехать пришлось долго и, когда еле живых людей выгрузили на воздух, Надёжин не сразу сообразил, куда их привезли.

— Это — Бутово, — тихо пояснил отец Даниил, знавший всё Подмосковье, как собственную церковь. — Раньше была усадьба с конезаводом, а теперь стрелковый полигон...

Стрелковый полигон... Что ж, пожалуй, это гораздо больше, чем наименование объекта, это — приговор.

Свежедоставленную партию заключённых конвоиры погнали в барак для санобработки. Но её не последовало. Вместо этого состоялось оглашение приговора, вынесенного вне суда «тройкой» Московского УНКВД и подписанного старшим майором госбезопасности Цесарским — «применить высшую меру социальной защиты»...

Пронзительно заголосила несчастная мать, обнимая перепуганную дочь, пошатнулся старик, приложив руку к сердцу, усмехнулся горько Фрол, покачал головой:

— Вот же дурень я, а! Вот же растепель! А ещё говорят дважды в одну воронку снаряд не падает...

И лишь поэт погрозил кулаком палачам, выкрикнул, захлёбываясь:

— Сдохните! Как Ирод-царь сдохните — черви вас живьём сожрут! И вас, и вашего кремлёвского Навуходоносора!

Два крепких удара прикладом и довесок сапогом снова уняли его.

Отец Даниил перекрестился и стал тихо читать отходную.

Вот и последние шаги по мёрзлой, словно в ужасе застывшей земле, готовой впитать в себя свежую кровь, подобно тому, как губка впитывает воду. Тяжело было идти, сгибаясь под ношей взваленного на плечи товарища по несчастью, и не оставалось времени в последний раз всмотреться, вслушаться в Божий мир, подарённый человеку и вероломно обращённый им в ад.

Из барака узников, напутствуемых по желанию отцом Даниилом, выводили по одному, но для Надёжина

сделали «исключение» — никто из конвоиров не желал мारаться об обращённого в «битое мясо», перепачканного испорожнениями узника. Так и добрались вдвоём до края уже частично наполненного трупами рва, сопровождаемые одним из подчинённых главного бутовского палача товарища Берга, стрелка особотряда НКВД. В «расстрельной команде» их было четверо, и по очереди они вели своих жертв к месту казни.

Наконец, показался овраг. Ночная мгла уже рассеивалась, уступая место зыбкому, сумрачному утру. Изувеченный подопечный Алексея Васильевича пришёл в себя и, видимо, поняв, что к чему, прошептал запекшимися губами:

— Спасибо... Если встретите вашего Бога, замолвите перед Ним слово и за меня...

Палач сплюнул папиросу и приблизился к стоящему спиной Надёжину почти вплотную, поднял руку с заряженным пистолетом. Алексей Васильевич мысленно перекрестился, закрыл глаза и в последний раз глубоко вдохнул утреннюю свежесть. Короткий одинокий хлопок в очередной раз нарушил равнодушно-неподвижную рассветную тишину.

# ЭПИЛОГ

## Слёзы Каина

Когда ушёл Хозяин, он не плакал, как миллионы сограждан, но, возможно, как никто из них, переживал утрату. Он не был псом, чтобы любить Хозяина, к тому же давно забыл, что означает это чувство, и, как все другие, боялся и подчас ненавидел его, но вместе с тем восхищался. Полунищий мальчишка из города Гори, он сумел подняться на самую вершину власти, переиграть всех своих противников, искушённых, опытных и не уступающих ему ни в одном пороке. Почти три десятилетия он держал эту власть неослабно, став для народа великим идолом, сумев самого себя подменить мифом о себе, тенью своей, которая в вечерний час кажется особенно огромной в сравнении с маленьким человеком. Как же не восхищаться им? Как не стремиться следовать по его стопам, учась премудростям игры со всеми и против всех? И тем более зло берёт, когда теперь, взобравшись на трибуну, безобразный Хрущёв, первый из прощелыг и двурушников, обличает Хозяина, как злодея, клеймит культ личности, которому сам же служил с таким рвением, что никто не мог превзойти его в лизоблюдстве, когда он произносил здравицы «величайшему из великих». Вот бы кого под нары загнать следовало — да не успелось...

Варсонофий Викулов не грезил однажды стать земным «богом». Трезво оценивая самого себя, он ставил себе задачи более скромные и достижимые. И ведь достигались они! Ни одной осечки не дал Варсонофий, ни разу не споткнулся. К 1941 году он уже имел чин комиссара государственной безопасности 3-го ранга. С ускорением карьерного роста поспособствовал теще. Правда, после разоблачения товарища Ежова

позиции его сильно зашатались, и Варс, чувствуя, что тестя непременно «вычистят», а тогда несдобровать и ЧС, сработал на опережение. Донеси первым и неизбежно окажешься в выигрыше — этому «золотому правилу» Викулов следовал всегда, и оно ни разу не подвело. Как и в случае с первой женой, донос на тестя обезопасил его от разделения ответственности и принёс благодарность. Эрна, конечно, побесилась сперва, когда узнала, кто упёк её папашу, но затем, взвесив все «за» и «против», признала правоту Варса.

Благодаря неоднократно доказанной преданности партии и лично товарищу Сталину, Викулов был включён в группу, занимавшуюся делом Ежова. Много разного повидал на своём веку Варс, но такого ещё не приходилось. Фигуранты дела, начиная с самого наркома, откровенно сознавались в мужеложстве и под протокол подробно описывали свои «утехи» подобного рода. Один из фигурантов показал, что Ежов в своём доме сперва изнасиловал его жену, а затем и его самого. Отказать наркому они не смели даже в самых извращённых фантазиях. При обыске у Ежова были найдены порнографические открытки и искусственный фаллос, ранее изъятые им же самим у Ягоды. Перешли ли эти «трофеи» новому наркому Берии, Викулов не знал. И ведь только вообразить, что этот карлик-маньяк два года распорядился судьбами миллионов!

Хотя... Чем выше поднимался Варс, тем лучше узнавал нравы, бытующие в среде высокопоставленных партийцев. И как далеки они были от декларируемых! Правда, до Ежова им было далеко. Викулов и сам был очень далёк от каких-либо нравственных основ. Но показания о похождениях наркома даже у него вызвали отвращение. За такое уж точно расстреливать надо — безо всяких судебных разбирательств!

Разумеется, с Ежовым так и поступили, а Варс получил очередной ромбик в петлицу.

К началу войны, кроме звания, он имел огромную квартиру, оставшуюся от первой жены, прекрасную дачу, принадлежавшую некогда тестю, машину, ещё не утратившую прелести жену и юную любовницу. Его стол ломился от деликатесов, к которым Варс после голодного детства возымел особое пристрастие. В тех, кого приходилось ему допрашивать и обрекать на быструю или долгую и мучительную смерть, он давно перестал видеть людей, а любые мольбы и слёзы лишь злобили его, подхлёстывали причинить больше боли. Приходя в театр (а этой выработавшейся во время ухаживания за первой женой привычки Викулов не оставил), он мог спокойно беседовать со знаменитыми артистами. Более того — беседовать свысока, держась начальственно, чувствуя их страх перед своим мундиром. В мечтах Викулов уже видел на нём большую золотую звезду или на худой конец маленькую с четырьмя ромбами.

Без сомнения, всё именно так и было бы, не вмешайся война. Первые годы её Варс служил в тылу, старательно выявляя и обезвреживая шпионов, а в Сорок четвёртом, когда армия перешла в наступление, отправился на фронт. На занимаемых победоносными советскими войсками территориях укрывалось немало врагов, которых необходимо было выявить и покарать. Старые белоэмигранты, жители оккупированных советских территорий, если не прямо, так уж во всяком случае, косвенно сотрудничавшие с немцами, бывшие пленные, о которых сказал Хозяин, что пленных у нас нет, а есть предатели — все они попадали в разработку, и нужно было работать, не щадя сил, чтобы не дать врагам ускользнуть.

Победный марш по Европе принёс и немало трофеев. Викулов со своими сотрудниками набили ящиками с добром целую машину. На ней, довольные и бодрые, тронулись в обратный путь после напряжённой

командировки. И вот тут-то случилась первая в его жизни осечка. Машина попала под обстрел...

Когда Варс очнулся, то понял, что вся голова его, включая глаза, замотана бинтами. Всё остальное пострадало явно слабее. В тот миг он ещё не знал приговора врачей, его открыли ему лишь две недели спустя: полная слепота.

Это был крах. Если бы его разорвало на куски, было бы в тысячу раз лучше! Отчаяние Викулова было столь велико, что он хотел покончить с собой, но оказалось, что это ещё страшнее.

Уже в Москве, в госпитале он слышал залпы победного салюта и глотал слёзы бессильной ярости. Эрна навестила его лишь раз. Изуродованный муж-калека был ей не нужен. После выписки она переехала на дачу, чтобы не видеть его, не ухаживать, а год спустя оформила развод.

Потянулись нескончаемые годы доводящего до безумия одиночества. Тогда Варс вспомнил родных, оставшихся на тамбовщине, используя старые связи, попытался что-нибудь узнать о них. Нашлась племянница Маня — девица с лёгкой степенью умственной отсталости, но сноровистая в ведении хозяйства. Варс поселил её у себя в качестве домработницы. Само собой, девчонка была счастлива избавиться от колхозного ярма и все эти годы исправно служила ему.

— Вот уж не мог подумать, что жизнь свою буду рядом с колхозной дурой заканчивать, — горевал иногда Викулов, непрерывно вертя в руках трость.

— А давайте собачку заведём? — незлобиво предлагала Маня.

— Только собак мне не хватало!

Собак он не любил с детства — с той поры, как соседская дворняга едва не откусила ему руку. Маня лишь вздыхала, услышав очередной отказ.



Из доступных радостей остались Варсу лишь радио и водка, которую он начинал пить с утра и заканчивал, только свалившись спать.

Этим майским утром Викулов готовился к традиционному переезду на дачу. Машина должна была прийти с минуты на минуту, когда Маня вдруг заполошно засуетилась и помчалась в магазин, по обыкновению забыв купить что-то самое нужное.

Варс сидел в кресле и курил, когда услышал негромкие шаги. Они были ему незнакомы, но он всё-таки спросил настороженно:

— Маня, это ты?

Ответа не последовало, а гость приблизился и остановился.

— Андрей? Если ты за вещами, то чемоданы в коридоре, погрузи их...

Но гость и не шофёром оказался. Всё также неспешно он приблизился к старому книжному шкафу и остановился вновь.

— Да кто здесь, чёрт побери?! — Викулов хватил палкой о пол.

— Всего-навсего призрак, — ответил смутно знакомый голос, заставивший Варса вздрогнуть.

— Аня?..

— У тебя всегда был острый слух, — откликнулась Анна. — Должно быть, ты уже никогда не ждал услышать моего голоса.

— Зачем ты пришла?

— Затем, что я двадцать лет мечтала посмотреть тебе в глаза! Какая жалость, что и этой возможности я лишена!

— Мне тоже жаль, что ты лишена этой возможности, — усмехнулся Викулов, поправляя очки. — Но что ты хотела увидеть в моих глазах? Раскаяние? Так, вот, я ни разу не раскаялся в том, что исполнил

свой долг. Впрочем, если бы ты любила меня, я, может быть, и не сделал бы этого...

— Лжёшь. Сделал бы. Ты предал меня не потому, что я не любила тебя, а потому что сам никогда и никого не любил. А я ведь не могла поверить, что это сделал ты! Даже когда Фалькович показал мне донос, написанный твоей рукой... Я подумала, что тебя арестовали, пытками вынудили написать это! А он показал мне в глазок тебя за работой, рассказал про Эрну. Кстати, о твоей гуманной просьбе тоже рассказал, — в голосе Анны послышалась горькая усмешка. — Фалькович её выполнил. Мне показалось даже, что ему меня жаль. Во всяком случае, он не стремился меня топить. Может, поэтому я отделалась смешным сроком в пять лет. Знаешь ли, как прошли для меня эти годы?

— Мне это неинтересно!

— А я всё-таки расскажу! Ведь не зря же я пришла сюда. В лагерь меня везли две недели. Давка, смрад, голод... Пересылочная тюрьма, набитая проститутками и уголовницами. В ней я впервые поняла, как в человеке уничтожается человек. Там были девочки лет четырнадцати, которые успели усвоить, что труд неизбежно сведёт их в могилу, а пайку всегда можно получить, удовлетворяя похоть повара или кого-то из начальства. Эти дети навсегда утратили понятия стыда, любви, красоты... Такой изощрённой и грязной ругани я не слышала затем даже от бывалых уголовников. Среди нас было ещё несколько колхозных девочек, которых арестовали по закону о колосках. Одна из них, Нина, оставшись сиротой, рвала зелёный лук и за это получила год — суд проявил «гуманизм», так как ей едва исполнилось двенадцать. Так, вот, эта робкая и невинная Нина и другие девочки получали первые уроки от своих «опытных» сверстниц. Они были истощены, а те обольщали их миской баланды, куском

хлеба, объясняя, как «легко» его можно получить, в красках живописуя свои похождения. И лица детей менялись на глазах... И, вот, я спрашиваю тебя, Варс: за что вы убили души этих детей? Не только жизни их отняли, но и над душами надругались? — Анна на мгновение прервалась и продолжила: — В этой пересылочной тюрьме меня впервые обчистили те самые малолетки. Когда я робко воспротивилась, меня избили. Не то, чтобы сильно, но... — она запнулась, — у меня открылось кровотечение, и ребёнка я потеряла.

Викулов вздрогнул.

— Какого ребёнка? — спросил хрипло.

— Твоего ребёнка, Варс. Я была беременна, когда ты предал меня.

— Почему ты молчала?

— Это выяснилось уже в тюрьме. И ты знаешь, я была рада, что потеряла его, что через меня не придёт на свет твоего потомства!

— Если бы я знал! — Варс с досадой хватил тростью о поручень кресла.

— Теперь ты раскаиваешься? — усмехнулась Анна.

— Я так понимаю, что для этого ты и пришла? Отомстить? Так не старайся — за тебя уже постарались фашисты!

— Мне отмщение — аз воздам...

— Ты всё сказала?

— Нет. Я ведь рассказала тебе только об этапе. А был ещё мой первый лагерь, где мне удивительно повезло — я стала актрисой лагерного «крепостного театра», и в этом было моё спасение. Наша труппа давала спектакли и концерты в других лагерях и даже в городе — для вольных. За кулисами стояли конвоиры, всякая оплошность, плохая игра грозила нам карцером, но всё же это была иллюзия свободы, это было искусство! Однажды нас привезли выступать в Воркутлаг. За тот спектакль я первый и единственный в

тот срок раз попала в карцер. Посреди спектакля я увидела в зале Петю Юшина и забыла текст... — Анна помолчала. — Знаешь, Варс, я простила тебя за то, что ты сделал со мной, но за то, что ты сделал с ним, не прощу никогда...

— Спрашивай за судьбу своего любовника со своего отчима! — зло бросил Викулов. — Это он в этих самых стенах науськивал меня, чтобы я упёк твоего дружка подальше и очистил себе дорогу!

— Неправда!

— Зачем мне лгать, Аня? Вот уж за чью судьбу я не питаю угрызений совести, так это за твоего любовника.

— Он мой муж! — сказала Анна.

— Вот как? Неужто всё-таки добилась своего?

— Добилась. Когда мой срок окончился, я поехала в Воркуту. Вольняшкам всегда найдётся работа, нашлась и мне. Так я получила возможность время от времени видеть Петю. В лагере у него был духовный отец — старый священник-тихоновец, и он тайно обвенчал нас. Тогда был самый разгар войны. В лагере был страшный голод, люди умирали сотнями, а им на смену шли новые и новые караваны невольников. После малолеток вторым самым большим моим ужасом были дети блокадного Ленинграда. В четырнадцать, пятнадцать лет они рыли вокруг него окопы, затем выполняли трудовую повинность на других работах — большей частью, бессмысленные в умирающем от голода городе. Спасаясь от голодной смерти, эти осиротевшие дети бежали по дороге жизни на большую землю. И, вот, преодолев этот тяжёлый и опасный путь, они оказывались у вас! И вы без зазрения совести обвиняли их в самовольном оставлении рабочих мест и отправляли — вновь в объятия безглазой, на голодную смерть в лагерь! И там они умерли. Все-все! Мучительно, страшно... Скажи мне, Варс, за что они умерли? Какая польза была родине оттого, что её дети,

которые могли бы жить, работать, рожать своих детей, погибли так бессмысленно и жутко? Когда я видела их, то кусала в кровь губы — мне было стыдно, что я ничем не могу им помочь, что мне нечем поддержать их таящие силы... Петя в то время заболел туберкулёзом, и, когда в сорок седьмом его всё-таки выпустили, он был уже безнадежен. Но два года я боролась за его жизнь и была счастлива тем, что он рядом! И тем ещё, что у нас растёт сын!

При этих словах Викулов скрипнул зубами и нервно закурил.

— Сын, значит...

— Алёша — в честь Петиного отца.

— Поздравляю тебя. Теперь ты достаточно насытилась мстью?

— Когда Петя умер, мне пришлось отдать Алёшу в детский сад — нужно было работать. Но мой мальчик приходил оттуда в слезах. Вскоре я узнала почему. Каждое утро воспитательница ставила его посреди других детей и объявляла: «Это — сын врага народа! Сын фашиста!» И все дети гонялись за ним, обзывая фашистом, били его. Когда я увидела в окно эту сцену, то всё забыла! Я ворвалась внутрь и стала бить это чудовище... — голос Анны вибрировал, выдавая волнение. — Меня, конечно, оттащили и арестовали. Допрашивал меня на сей раз не Фалькович, а потому зубы выбили в первый же день. Так я получила свой второй срок и оказалась на шахтах Степлага...

— Это что ж, лысый хряк тебя выпустил? — покривился Варс.

— Да, если бы не разоблачение культа, я бы ещё сидела. Чему ты, вероятно, был бы рад.

— Плевал я... — фыркнул Викулов и услышал, что бывшая жена открыла дверцу книжного шкафа. — Что тебе там надо? — насторожился тотчас.

— Я вижу, ты сберёг библиотеку петиной семьи. Я очень рада этому. Надеюсь, ты не будешь против, если я возьму несколько книг для сына?

— Бери, что хочешь, и убирайся! Убирайся! — Варс неожиданно для себя разволновался.

— Благодарю, — дверца шкафа затворилась. — Теперь я уйду и больше не побеспокою тебя. Одно лишь скажу на прощанье. Я благодарна тебе, Варс. За то, что ты предал меня, благодарна. Останься я с тобой, в твоей подлой жизни — погибла бы. Я ведь чувствовала уже тогда, что гибну. Теряю себя, свою душу. А ты выбросил меня из этой губительной жизни, отправил в ад... А я нашла там Петю. Подумать только, ведь я могла бы никогда не узнать, что он не отрекался от меня! Могла бы не встретить его вновь! Я теперь старая и страшная, мои лучшие годы прошли в лагерях и ссылках. Но я... счастлива. Я знаю, что такое настоящая любовь, я была замужем за любимым человеком, я имею от него сына. А ведь ничего этого могло у меня не быть! Так что спасибо тебе, Варс, и прощай!

Он слышал, как закрылась входная дверь, как смолкли негромкие шаги на лестнице и внезапно почувствовал непривычную влагу на щеках и даже не сразу понял, что это слёзы... За все годы своего затвора комиссар безопасности 2-го ранга Варсонофий Викулов не чувствовал такой ужасающей пустоты и безнадёжности своей жизни, в которой он достиг почти всего, кроме последнего ромба и звезды...

## Встреча

Эту встречу она представляла себе несчётное число раз с того дня, когда Фалькович с видом сожаления подал ей подписанный Варсом донос. Представляла, как выскажет ему всё. Что — «всё», и сама не разбирала толком, а только горела желанием взглянуть в его глаза, сказать всё, что так невыносимо болело... А не сказала и доли тысячной от наболевшего за эти годы. И сам собою жар давний успел поостынуть, а при виде слепого старика с изуродованным лицом, одутловатым от пьянства, угас окончательно.

Двадцать лет... Целая жизнь прошла, вместив в себя добрых десять. Думала ли Аня что сможет вынести столько? Ни мгновения не думала и не хотела выносить до того мига, как в темноте зала разглядела дорогое лицо, которое не могла не узнать даже в рабьем зраке. Никакой «крепостной театр» не спас бы её, утратившую всякую волю к жизни, если бы в жизни этой не появился смысл, цель — соединиться с единственным в мире человеком, с которым никогда не должно было разлучаться. С той поры всё остальное померкло.

Жизнь оказалась скупа на крупички счастья, подобно извергу-ростовщику, облагая его жестокими процентами. Всё-то украдкой доставалось оно. Украдкой венчались у заключённого священника из татарской деревни, украдкой, вечно боясь недрёманного ока, бывали вместе, украдкой зачали Алёшу, рождение которого ещё более укрепило Аню, хотя в тот голодный военный год выносить ребёнка было куда как нелегко. И родился он вовсе не упитанным, как обычные младенцы, а худым... Очень страшно было Ане, что мальчик не выживет, но Бог помиловал.

Когда Петя освободился, Алёша уже шустро бегал и начинал говорить. Успел всё же отец приласкать сына — пусть и недолго совсем... Те два года Аня была единственной кормилицей в семье, так как Петя был слишком болен. А ведь надо же было ещё ухаживать за мужем и сыном! И всё-таки она была счастлива: счастлива видеть своего выстрадавшего ребёнка, забавляющегося с нехитрыми игрушками, счастлива чувствовать острое плечо мужа у щеки, просыпаясь ночью, счастлива говорить с ним... Аня до последнего надеялась, что её любовь и забота спасут Петю, но, увы, было слишком поздно. К тому же для поправки его здоровья требовался сухой, тёплый климат, хорошее питание и лечение. А ничего этого не было. Слава Богу, ещё приходили регулярно продуктовые посылки, спасавшие от голода. Они отправлялись разными людьми, не сопровождалась письмами, но Аня знала, что шлёт их ей верный Саня Надёжин и тётя Мари...

Когда её, арестованную во второй раз, истязали на допросе, она корчилась от боли — но не столько от наносимой мучителями телу, сколько от безумного страха за судьбу Алёши. Не раз видела Аня, как в лагере отнимали младенцев у заключённых матерей, и те с рёвом тянули руки вслед увозимым детям, понимая, что, скорее всего, не увидят их вновь. Тех детей отвозили в приюты. Случалось, что по окончании срока матери приезжали туда, но не могли быть уверены, что перед ними их дети, что не случилось путаницы или подмены...

В этом отношении Ане «повезло» больше. Уже будучи в Степлаге, она познакомилась с Галей, арестованной при разгроме одной из катакомбных общин. Крепкая, выносливая сибирячка, она была необыкновенно отзывчива на чужую беду. Срок её заканчивался, и Аня дала ей адреса, с которых получала посылки, и попросила отыскать Саню или тётю Мари, и



рассказать им об Алёше и о собственной участи. Галя пообещала сделать всё возможное и оставила адрес своей родной деревни в Иркутской области, наказав по освобождении непременно приехать.

Прошло ещё два месяца, прежде чем Аня получила от подруги неуклюже нацарапанное письмо, в котором в завуалированной форме сообщалось, что с Алёшей всё благополучно и он теперь у родных. Камень свалился с души, и жизнь вновь обрела смысл. В то же время ей опять стали приходить посылки.

Работа на шахте давалась Ане тяжело. Подземелье, в котором исчезала и последняя радость узника — белый свет — угнетало её. А ещё хуже было то, что ещё не увяла её красота. Во всяком случае, не увяла в той степени, чтобы гарантировать от посягательств. Хватало в лагере женщин, прилагавших старания к тому, чтобы сохранить этот «счастливый билет» для освобождения от общих работ. Рассчитывались со своими «покровителями» и «кормильцами», делившимися пайкой, где придётся: в подсобках, в нужниках среди экскрементов и мочи, нисколько не смущаясь обстановкой. «Давай пайку и делай «ляльку», — таков был их «моральный кодекс». Этот «товар» смотрел на остальных свысока, фыркая презрительно: «Зачем мне работать, пока моя ... может заработать?» «Строптивые» же доходили на общих, нередко получая к тому штрафные пайки. Среди них была и Аня, с таким ожесточением натиравшая углём лицо, дабы изуродовать его, что сделалась похожей на мавританку.

Итог своего усердия в достижении этой цели, помноженный на старания следователей, она смогла оценить лишь по освобождении, так как в лагере не было зеркал. В мутном окне поезда, везущим её, уже освобождённую, но ещё поражённую в правах, к Иркутску, Аня вдруг с ужасом увидела исхудалую

старуху с изрубцованным, почерневшим лицом и запавшими из-за отсутствия зубов губами.

— Боже, кто это? — спросила она, указывая пальцем на страшный призрак.

Кутивший неподалёку мужик глянул на неё, как на помешанную.

Аня опустила голову, а затем спросила его:

— Как вы думаете, сколько мне лет?

Мужику было сильно за пятьдесят, и он пожал плечами:

— Почём мне знать, мамаша, сколько тебе? Небось, как я, давненько полвека разменяла.

— А ведь мне нет и сорока... — прошептала Аня.

Мужик опустил папиросу, посмотрел на неё уже со смесью недоверия, испуга и сострадания.

— Война?.. — спросил осторожно.

Аня горько усмехнулась:

— Война, отец, война...

Мужик вздохнул:

— Да, досталось тебе. Прости уж...

Деревня, где жила Галя, с которой единственной Аня всё это время поддерживала переписку, находилась далеко от Иркутска. От маленькой станции дорога шла через тайгу. Аня отправилась в путь, несколько не опасаясь столь мало знакомой ей чащи. Писала же Галя — твёрдо держаться дороги: чего же бояться?

Дорога, однако же, преподнесла сюрприз. Из-за идущих работ по прокладке ЛЭП её временно перекрыли, и Ане пришлось свернуть в обход на узкую тропинку. Она неплохо ориентировалась в лесу и как будто точно держалась нужного направления и всё-таки сбилась с пути и к вечеру окончательно заплутала, потеряв свою тропинку и наугад тычась в разные стороны.

Досадуя на себя, она присела на поваленное дерево, думая, что делать дальше. Паника несколько не

овладела ей. С собой Аня имела спички и еду, а, значит, можно было спокойно устраиваться на ночлег. А утром, когда рабочие снова начнут рубить лес, загудят трактора, она наверняка услышит их и пойдёт на звук. Главное, никуда больше не двигаться до того времени, иначе в потёмках можно окончательно забрести в глушь.

Приняв это решение, Аня занялась собиранием дров для костра, напевая при этом один из любимых романсов. Внезапно до её слуха донёлся собачий лай. Она резко выпрямилась и увидела в нескольких шагах от себя высокого, сухопарого старика и похожую на волка собаку. Старик безмятежно стоял, опираясь на ружьё, и смотрел на неё.

— Простите, — сказал он, наконец. — Я невольно заслушался. Давно не слышал этого романса... У вас чудесный голос!

— Спасибо, — отозвалась Аня, удивляясь, откуда бы таёжному деду знать такую музыку. — Это уже не голос, а так, остатки.

— Вы не местная? — спросил старик.

— Нет. Я шла со станции к подруге и заблудилась. А вы не лесовик? — пошутила Аня.

— Может, и лесовик, — улыбнулся дед в пышные белые усы. — В какую деревню вы шли?

— Шугаево.

— Далече! — протянул старик. — Это вы лихо вправо удалились. Смотрю, к ночлегу готовитесь?

— А что ж делать?

— Не бойтесь лесных зверей?

— Жизнь научила, что людей надо бояться куда больше.

— Это верно, — кивнул старик. — В таком случае, не побрезгуйте моим гостеприимством. Тут недалеко моё зимовье. Отдохнёте в уюте, и ни зверь, ни человек страшен не будет.

— Спасибо за такое великодушие! Охотно принимаю его.

— Вас как звать? — снова тепло улыбнулся дед.

— Анной.

— А меня Фёдором Степанычем зови. Идём, Анна, ночь скоро.

До зимовья дошли через четверть часа. Было оно просторно и устроено на совесть. Хозяин явно часто и подолгу живал в нём. На ужин был подан копчёный заяц, показавшийся Ане королевским яством.

— Что же, вы в лесу живёте? — спросила она.

— На зиму в деревню перебираюсь, избёнка у меня там.

— Вы охотник?

— Охотник, — кивнул старик. — Хорошее, знаешь ли, дело.

— Чем же оно хорошо?

— Тем, что от людей далече. От их учреждений. Правда, и сюда, вот, ломаются уже со своими стройками... Но тайга большая, она вернее Дона не выдаст. Здесь я — вольный человек и себе хозяин.

— Что же, вы вовсе отшельником живёте?

— Не совсем, конечно. Изба в деревне у меня есть, налог государству я исправно плачу, законы его, до меня, охотника касаемые, блюду. А в остальном, как говорится, не замай.

— Счастливый вы...

Фёдор Степаныч невесело усмехнулся:

— Спать ложись, глаза, вон, гляжу, отяжелели совсем.

Она, действительно, уснула мгновенно, а когда проснулась, был уже белый день. Старика в зимовье не было, и Аня стала с любопытством осматривать его. Бросилась в глаза тёмная икона в углу, а под ней на полке несколько книг и фотография. Приблизившись, Аня вздрогнула, узнав пожелтевший от времени снимок.

Взяв его дрожащими руками, она шагнула навстречу вошедшему охотнику:

— Скажите, — спросила, сдерживая волнение, — откуда у вас эта фотография?

Фёдор Степаныч заметно напрягся:

— Почему вас это интересует?

— Потому что женщина, которая на ней запечатлена — моя мать! А девочка рядом с ней — я! — воскликнула Аня. — Откуда у вас этот снимок? Кто вы?

Старик пошатнулся, опустил на служившую стулом чурку, изумлённо посмотрел на неё:

— Как звали твою маму?

— Настоящую — Ксения Клеменс. Но её вместе с бабушкой, Анной Евграфовной Аскольдовой, убили большевики, когда мне не было и года. Мать же, которую я знала всю жизнь, звали Аглаей.

— А как звали твоего отца?.. — шёпотом спросил старик.

— Родион Николаевич Аскольдов.

— Это — я...

Настал черёд Ани бессильно опуститься на соседний «стул», не веря собственным глазам.

— Господи, я думала, что никогда не увижу тебя... Тогда, когда ты был на могиле мамы, я опоздала совсем немного, я бежала за тобой по пятам, надеясь догнать!.. А на другой день меня арестовали. И нужно было двадцати годам мытарств пройти, чтобы я догнала тебя!

В Иркутске Аня прожила целый год, работая уборщицей, каждые выходные навещая отца, и время от времени проводывая Галю. Эта встреча стала не иначе как Божьим чудом в награду за всё пережитое. День за днём узнавала Аня отца и рассказывала ему о своей жизни, опуская, впрочем, самое страшное, щадя стариковское сердце. Несмотря на почтенный возраст,

отец был ещё весьма крепок и ясным, светлым обликом своим сильно напоминал Сергия Радонежского.

Добившись восстановления в правах и обретя, наконец, возможность поехать в Москву, Аня пообещала отцу обязательно вернуться. Она видела, что старику тяжело отпускать её от себя, но в Москве был сын! Наладив по освобождению переписку с Саней, Аня узнала, что Алёшу забрали из приюта дядя Серёжа и Тая, и теперь он у них. Сердце рвалось к сыну и в то же время холодело от страха: как примет он чужую, страшную старуху, которая вдруг назовётся его матерью?

Галя утешала, обнимая напоследок:

— И что за глупости ты мелешь! Страшная старуха! Да ведь ты чудесная!

— Испугается он меня, такую расчудесную...

— Сын не может испугаться матери.

— Кто знает...

Саня Надёжин, слегка потучневший и поседевший, встречал её на вокзале, но ища глазами в каждой сходящей с поезда женщине, так и не узнал, сник, вертя огромный букет полевых — самых любимых ею — цветов. Когда Аня окликнула его, он побледнел так, что она едва сдержала слёзы. Если так содрогнулся человек, любивший её преданно все эти годы, то как же может принять сын, давно забывший её?..

Первым делом Аня навестила могилу матери. Стараниями дяди и Сани она не была заброшена. Совсем недавно поставили новый памятник. На могиле по просьбе отца Аня посадила маленький кедр, а затем долго сидела на ограде, глядя на лицо матери, несколько не постаревшее в отличие от её собственного.

— А Лидию Аристарховну на Донском схоронили, — тихо промолвил Саня. — Рядом со старым Кромиади и

всеми родными...

— Когда она умерла?

— Во время войны. Сергей Игнатьевич настаивал, чтобы она уехала в эвакуацию, а она — ни в какую. «Если, — сказала, — там помру, так там и лежать останусь. А я со своими хочу...» Так и вышло.

— А что же дядя?

— Искренне оплакивал её, а через год наконец-то женился на Тае. Ты знаешь, она всё-таки вернула его к жизни. Шаг за шагом, шаг за шагом — большой она молодец. Твой дядя теперь большой учёный, профессор. Специализируется на древних цивилизациях. От Древнего Египта до Древней Руси. Пишет историософские и искусствоведческие труды. Между прочим, чудесную работу о философах древности написал. Жаль отца нет — он бы оценил.

— Я не думала, что он сможет вернуться к работе.

— И я не думал. Это Таина заслуга. Она же за ним, как нянька ходит, создаёт условия, чтобы он мог спокойно заниматься творчеством, ни на что не отвлекаясь и не тревожась. А он её от себя ни на шаг не отпускает. Чуть она за дверь, и уж он места себе не находит.

— Значит, она даёт ему то душевное равновесие, благодаря которому он может жить и работать. Как случилось, что они взяли Алёшу к себе?

— Когда твоя посыльная через бабушку Кирилловну передала для меня письмо, а та, не доверяя почте, не пожалела своих старых ног и отвезла его мне, я стал судорожно соображать, что делать. Мне высываться было никак нельзя. Напомни мы с крёстной о нашем существовании, и последовали бы за тобой. К тому же, кто бы нам отдал ребёнка? Сторонние люди да ещё с таким «хвостом». Делать было нечего, и тётя Мари тайком пробралась в Посад — рассказала там, что да как.

— И дядя не побоялся взять Алёшу?

— Первое слово было за Таей. Она сказала, что, во-первых, жизнь ребёнка превыше всего, а, во-вторых, жизнь Сергею Игнатьевичу спасла твоя мать, и все они перед вами в неоплатном долгу по гроб жизни. После этого твоему дяде, даже если он и перетрусил, сказать было нечего. Всё-таки он человек, хотя и слабый, но совестливый.

— А дальше?

— Дальше проконсультировались с юридически грамотным человеком, оформили всё, и твой дядя с Таей забрали Алёшку из приюта. Он им теперь, как сын. Тем более, после того, как Женька погиб...

— Женька?!

— Ах, да, я не писал тебе. Погиб, когда освобождали Белоруссию. Пал, как известили, смертью храбрых, посмертно награждён. Слава Богу, Лидия Аристарховна не дождала до этого.

— Дядя, наверное, тяжело переживал потерю сына... А Ика что же?

— Кто её знает, эту Ику. Жива, насколько известно. Замужем. С отцом они отношений не поддерживают.

— А что Варвара Николаевна?

— Это ещё более печальная история. Её муж погиб в сорок четвёртом. Милиция проводила облаву на малолеток, а он всё жалел их — дети же! Вот, один такой «ребёнок» ножом его и ударил.

— Ужасно...

— Сын вернулся полным инвалидом. Он был лётчиком. Самолёт его подбили. Свалился в лес, в болота... А была зима... Нашли его совершенно обмороженным. Жутко! Молодой парень, а остался «самоваром». Больно смотреть. Добро ещё мать с сестрой о нём заботятся, а сколько осталось таких, о которых — некому! После войны, Анюта, таких много по улицам ползало... Без рук, без ног. Когда я их видел, то,



грешно сказать, вера моя колебалась. Всё думал, как же Бог допускает такое надругательство над человеком? Для чего обрубкам, могущим только ползать, оставлена жизнь?

— Может, чтобы нас проверить? Сможем ли мы воздать им за подвиг и муку или брезгливо отвернёмся от уродства?

— Не прошли экзамена, значит. Собрали всех этих бедолаг да в телячьих вагонах развезли по богадельням — подыхать! — Саня скрипнул зубами. — Чтоб, значит, не портили вид улиц победившей державы и не портили настроение прохожим! На Якиманке пивная есть, «культёй» в народе зовётся. Обитал там паренек по кличке Культя. Было ему чуть больше двадцати, а у него не осталось ни рук, ни ног, ни глаз. Осталась мать, которая каждое утро привозила его на тележке к пивнушке, оставляла и спешила на работу. А вечером забирала абсолютно пьяного... Правда, частенько не находила сына и металась по подворотням, ища, потому что иногда его увозили собутыльники продолжать распитие в ближайшем сквере или дети укатывали из озорства. После таких случаев мать стала отворачивать колесики с тележки и забирать их с собой, но и это не всегда помогало. Однажды подошла к Культе сердобольная старушка, попоила пивком, спросила: «Сынок, может быть ты попросил бы кого-нибудь, чтобы тебя кто-нибудь добил?» А он в ответ: «Мать, да я уже сколько просил? Никто на себя не берет такой грех». Так вот в один из дней сорок девятого, когда зачищали города от портящих их облик инвалидов, он, как и многие из его собутыльников, исчез. Исчезла и мать. Тихо, буднично. Что с ними стало, никто не спрашивал... Как подумаю, сколько ж подлостей за эти годы наделано, и как глубоко в кровь эта подлость впиталась — с души воротит!

— А что — Маша? — осторожно спросила Аня.

Саня болезненно подёрнул плечами:

— Убили Машу. Она с первых дней войны на передовой в госпиталях служила. И муж её тоже. Под Сталинградом погибла сестричка... Ни могилы, ничего не осталось. Только дочка их. Муж-то Машин в плен немецкий попал, а из него — в советский. Так и сгинул где-то в Норильске. Дочку теперь свекровь воспитывает. Я иногда навещаю их. Хорошая девочка, правда, на Машу мало похожа, больше на отца.

— Да, мало нас в жерновах уцелело... — грустно проронила Аня.

С кладбища она, несмотря на отговоры Сани, отправилась к Варсу и в родной своей квартире обнаружила нетронутую библиотеку, что немало обрадовало её. Среди многочисленных книг, в строгом порядке расставленных на полках, было две драгоценные: рассыпающийся от ветхости томик Зайцева, принадлежавший Надежде Петровне, и большой иллюстрированный том Пушкина, под обложкой которого были сокрыты рождественские письма отца матери и его фотография. Эти две книги и забрала Аня для сына.

Так как на дворе стояло лето, Алёша гостил у тёти Мари, недавно обосновавшейся в деревне неподалёку от Глинского и работавшей там фельдшером. Там же гостили дядя Серёжа с Таей. В Москве ничего более не держало Аню. В ней она чувствовала себя чужой, с горечью видя, как изменился город её детства и юности. Более двухсот церквей были стёрты с лица земли без следа. Прочие переделаны, до неузнаваемости изуродованы. Даже Страстной монастырь, несколько лет служивший для вывешивания на его колокольне портретов и плакатов, был взорван и заменён очередным уродливым кубом — кинотеатром. Однотипные безликие коробки — венец архитектурной мысли советских горе-зодчих — повсюду теснили

старую Москву, оставляя ей до времени лишь островки, теряющиеся за каменными глыбами. Не пощадили и бульваров, летом дававших москвичам живительную прохладу, вырубив без жалости древние липы, «ненужные пролетариату». Война помешала возвести на месте взорванного Храма Христа Спасителя многометровое капище, реализовать намеченный проект «Новой Москвы». Помешала она и уничтожению Елоховского собора и Воскресения-на-Крови в Петербурге. Но как же много было утрачено безвозвратно!..

С печалью посмотрела Аня на здание консерватории, на Большой театр и свой не состоявшийся театр Станиславского. Никто из старожилов теперь и не признал бы её...

Из Москвы она уезжала без сожаления. Впереди ждал Ярославль, малая родина родителей и сын, выросший без неё и, по-видимому, как отца с матерью, любивший дядю и его жену...

## Катакомбная церковь

С детства Саня Надёжин опекал Анюту, как сестру, и в то же время таил в душе куда более глубокое чувство. Двадцать лет он ждал её возвращения, не оставляя поддержкой, но, когда увидел на перроне, онемел, поражённый переменой, произошедшей в её внешности. Теперь Саня не мог простить себе, что не сумел скрыть своего потрясения. А она заметила и, скрывая боль, нашла в себе силы пошутить:

— Возможно ль? Ах! Наина, ты ли!

Наина, где твоя краса?

Скажи, ужели небеса

Тебя так страшно изменили?

Саня обнял её, ничего не говоря, и она поспешно смахнула выступившие на глазах слёзы.

Уже по дороге в Ярославль, придя в себя, он сказал:

— Для меня ничего не изменилось, Анюта, ты должна это знать. Ты всегда знала, как я отношусь к тебе. И это отношение ничто изменить не может. И если ты только согласишься...

— Не надо, — быстро остановила его Аня, предостерегающе подняв руку. — Не надо, Саня. Это... жалость... А меня не нужно жалеть. У меня был муж, которого я любила и люблю, и большего мне не нужно. И самой большой радостью для меня было бы, если бы ты нашёл себе хорошую жену.

Саня попытался возразить, но она настойчиво продолжала:

— Твой отец был прекрасным человеком! И твой брат, и ты! И будет несправедливо, если ваш род пресечётся. Ты ещё далеко не стар, за тебя пойдёт любая! У вас родятся дети, ты будешь им прекрасным

отцом, сможешь много дать им, а я, если пригласишь, стану им крёстной.

— Тётя Мари говорит то же, — вздохнул Саня, смягчаясь. — Что ж, я подумаю над вашим советом, коли вы так жаждете моего семейного счастья.

— Ты заслужил его, как никто другой. К тому же, повторяю, это просто-напросто твой долг в отношении своей семьи.

Саня печально вздохнул. Дольше пятнадцати лет он не ведал покоя, ежечасно ожидая стука в дверь, переезжая с места на место, скрываясь в глуши. Военные годы оказались, пожалуй, даже легче. На передовой, когда подчас за сутки не удавалось прилечь ни на мгновение, оперируя десятки искалеченных людей за день, он не имел времени на тяжёлые мысли и страхи.

Лишь после Пятьдесят третьего жизнь обрела некоторую устойчивость. В ту пору Матвейка, младший брат Аглаи, вернулся вместе с нажитым семейством, вековухой-сестрой и старой матерью в родную деревню, поселился рядом с прежним своим домом, в котором жила теперь учительница Наталья Терентьевна с приёмной дочерью. Мать вскоре померла, а Матвей в колхоз так и не пошёл, устроившись, как и в годы войны, работать шофёром. Сестра его зарабатывала шитьём. Как и у покойной Аглаи к этому делу был у неё большой талант, и сельские девки и бабы выстраивались к ней в очередь.

Вскоре по соседству обосновалась и Марья Евграфовна, приобретшая домишко-развалюху на отшибе и устроившаяся работать фельдшером. Домишко этот общими усилиями удалось превратить во вполне крепкую и добрую избу.

Сам Саня обосновался в Тутаеве, ставшем накануне войны последним пристанищем отца Сергия Мечёва. Отец Сергей, так и не признавший узурпаторскую

власть Страгородского, искал общения с единомысленным епископом. На беду у своего духовного сына он встретил владыку Мануила (Лемешевского), который как будто отвергал сергианство. Отец Сергей решился довериться ему и раскрыл перед ним и собственное сердце, и свою тайную катакомбную общину.

Вскоре Мануил был арестован и на следствии рассказал всё, что было открыто ему на духу отцом Сергием. Горько переживая случившееся, батюшка обратился за советом к прозорливой старице Ксении Рыбинской, которую навещали многие катакомбные архиереи, священники и миряне. «Что делать священнику, которого предал епископ?» — этот вопрос он попросил передать матушке её келейницу. Та усомнилась, но, придя к старице, услышала: «Кому ты отказала? Он священномученик!»

Пророчество блаженной Ксении сбылось в 1941 году. Отец Сергей, не пожелавший скрыться в Средней Азии и покинуть духовных чад, некоторое время скитался по городам и весям, недолго жил в Рыбинске, но, став инвалидом и потеряв работу, перебрался в деревню под Тутаевым. С лета Сорок первого он с некоторыми духовными чадами скрытно проживал там, освятив катакомбный храм и каждый день тайно служа литургию. Непонятная жизнь приезжего вызывала подозрение и недоброжелательность со стороны местных жителей. С началом же войны, когда шпиономания приобрела характер острого психоза, они выдали отца Сергия и сопровождавшую его Елизавету Булгакову НКВД, как немецких шпионов. Через четыре месяца допросов и пыток Христов мученик был расстрелян, как «руководитель антисоветской организации ИПЦ».

Война многое изменила в видимой политике советского государства. Вспомнился патриотизм и

герои прошлого, чернимые без малого четверть века, ко двору пришлась и Церковь. К Сорок первому году легализованная организация, ставшая лишней после разгрома ИПЦ, была почти уничтожена. Епископы были или расстреляны или отправлены в лагеря. Не пожалели даже ушедшего на покой Серафима Чичагова, некогда посланного Страгородским на место митрополита Иосифа в Ленинград. Больного старика увезли из дома на «скорой» и расстреляли на Бутовском полигоне.

Война организацию спасла. Открытие церквей немцами на оккупированных территориях, возрождение там духовной жизни потребовало срочного ответа, и Сталин нашёл его. В каком-то смысле ответ этот ещё раньше нашёл митрополит Сергей, первым выступивший с обращением в связи с началом войны, опередив самого Вождя. В нём он объявил «прямой изменой пастырскому долгу» даже сами размышления духовенства о «возможных выгодах по другую сторону фронта». Вскоре Страгородский выпустил Послание, в котором осуждались православные иерархи и священнослужители, установившие на оккупированных территориях контакты с местной немецкой администрацией. Фактически под отлучение митрополита Сергия подпадали все иерархи и духовенство, в том числе и подчинённые его Синоду, оказавшиеся на оккупированных немцами территориях. В последующих воззваниях звучали призывы к «священной войне за христианскую цивилизацию, за свободу совести и веру»...

В начале осени 1943 года из эвакуации в Москву были доставлены митрополиты Сергей (Страгородский), Алексей (Симанский) и Николай (Ярушевич). В ходе встречи приняли решение о срочном созыве собора. Было решено, что Страгородский из политических соображений будет провозглашен «патриархом всея

Руси», а не «всей России», а сама Церковь будет называться «русской», а не «российской», как это было при патриархе Тихоне. Тогда же было решено создать специальный орган по контролю над Церковью — Совет по делам Русской православной церкви под руководством генерал-майора НКВД Карпова.

Через четыре дня воровской собор был созван. Участие в нем приняло всего девятнадцать архиереев, шесть из которых — бывшие обновленцы, в спешном порядке рукоположенные незадолго до мероприятия, а также несколько лояльных епископов, специально освобожденных из заключения и доставленных в Москву. Несмотря на всю антиканоничность данного мероприятия, митрополит Сергей, ставший единственным кандидатом, был объявлен патриархом. «Я думаю, что этот вопрос бесконечно облегчается для нас тем, что у нас имеется уже носитель патриарших полномочий, поэтому я полагаю, что избрание со всеми подробностями, которые обычно сопровождают его, для нас является как будто ненужным», — заявил «выдвинувший» кандидатуру Сергея Симанский. На ироничный вопрос самого Сергея: «нет ли у кого-либо иного мнения», члены «собора» ответили: «нет, единодушно».

Данные выборы стали прямым нарушением 30-го правила св. Апостол и 3-го правила 7-го Вселенского собора: «аще который епископ мирских начальников употребив, чрез них получит епископскую в Церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Знаменитый толкователь канонов епископ Никодим Милаш давал следующее пояснение к 30-му правилу: «Если Церковь осуждала незаконное влияние светской власти при поставлении епископа в то время, когда государи были христианами, тем более, следовательно, она должна была осуждать это, когда последние были язычниками, и тем более



тяжкие наказания она должна была налагать на виновных, которые не стыдились обращаться за помощью к языческим государям и подчиненным им властям, чтобы только получить епископство. Настоящее (30-е) правило и имеет в виду подобные случаи». Однако, это нисколько не смутило выдающегося канониста митрополита Сергия.

Первый лже-патриарх, поставленный антихристовой властью, умер через восемь месяцев после своего избрания. Его место занял Алексей Симанский, первоначально в несчётный раз поклявшийся в любви и верности — не Христу, конечно же, но «мудрому богопоставленному вождю».

На новый «собор», приуроченный к Ялтинской конференции, властью была сделана большая ставка. На нём надлежало принять постановления, перечёркивающие все соборно-канонические принципы управления Церковью, принятые на Соборе Семнадцатого года. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), освобожденный из лагеря во время войны, напомнил собравшимся принятое на нём постановление о том, что патриарх должен избираться тайным голосованием из нескольких кандидатов. Но никто из сергианских епископов это требование поддержать не решился, и единственным кандидатом, как и планировалось, остался митрополит Алексей. Архиепископ Лука, не согласившись с нарушением канонических норм, не был допущен на «собор» и участия в нём не принимал. Для упрочения легитимности мероприятия заключённым иерархам, не признававшим Сергия, предлагалось освобождение в обмен на поддержку Симанского...

«Собор» проводили с размахом, не жалея средств. На него были приглашены представители зарубежных церквей, которые за признание его «легитимности» и «каноничности» были щедро вознаграждены

драгоценными предметами из музейных фондов стоимостью в миллионы рублей. Неудивительно, что после этого Александрийский патриарх Христофор на банкете в «Метрополе» чествовал щедрого дарителя: «...Маршал Сталин является одним из величайших людей нашей эпохи, питает доверие к Церкви и благосклонно к ней относится... Маршал Сталин, Верховный Главнокомандующий, под руководством которого ведутся военные операции в невиданном масштабе, имеет на то обилие божественной благодати и благословения, и русский народ под гениальным руководством своего великого вождя с непревзойденным самоотвержением наносит сокрушительные удары своим вековым врагам».

Использование карманной церкви в политических и внешнеполитических целях оказалось весьма продуктивным. Заверения советских иерархов о свободе совести в СССР стали великим соблазном для многих. Некоторые катакомбные священнослужители, поверив патриархии, обнаружили себя и поплатились за это длинными сроками. Та же участь постигла многих вернувшихся эмигрантов. А когда по окончании войны союзники стали массово насильственно депортировать в СССР русских беженцев, которых ожидали там лишь пытки, лагеря и смерть, власти, чтобы заблокировать протесты зарубежных и эмигрантских религиозных лидеров, использовали свою церковь, руководство которой объявило подобные заявления «грязной клеветой, направленной на срыв мирных переговоров» между СССР и союзниками. Поддаваясь лживой советской пропаганде и оправдывая ею собственное преступление, руководители западных государств старались неукоснительно выполнять Ялтинские договоренности по насильственной депортации военнопленных, рабочих «остов», эмигрантов и

беженцев обратно в СССР. Кровь всех этих людей пала на белые клобуки, бесстыдно сеявшие ложь...

Второй воровской собор стал первым шагом в реализации нового идеологического проекта. Следующим стало празднование 800-летия Москвы, которая выделась власти, как новая мировая столица. По случаю торжеств из кремлевского Успенского собора-музея в Богоявленский патриарший собор были перенесены мощи митрополита Алексия Московского и положены в новоизготовленную на правительственные средства раку с золоченой сенью, а также проведен ряд других торжественных церковных мероприятий. По приглашению Сталина в числе иностранных официальных делегаций на празднование прибыли и многие религиозные деятели. Среди них и влиятельный на Ближнем Востоке митрополит Илья Ливанский, впоследствии патриарх Антиохийский. Этот лживый иерарх, лауреат Сталинской премии, обосновал очередную подменную идею «всеправославного» провозглашения Москвы — «Третьим Римом» и «всемирной столицей», а Сталина — «новым Константином Великим» с вытекающими из этого международными политическими выгодами для СССР.

Используя церковь, Сталин умело обрядил идею «мирового интернационала» в державные формы вселенскости «Третьего Рима». Журнал Московской Патриархии пестрел славословиями «вождю»: «Иосиф Виссарионович Сталин — любимейший вождь нашего народа, гениальный Верховный Главнокомандующий нашего воинства, Богом поставленный на свой подвиг служения нашей Родине в эту годину испытаний... Русские верующие видят в лице Верховного Вождя нашей страны Богом ей данного отца своего народа, и горячи их молитвы Господу Богу о его здравии на долгие годы. В нашем вожде верующие вместе со всей страной знают величайшего из людей, каких рождала

наша страна, соединившего в своем лице все качества упомянутых выше наших русских богатырей и великих полководцев прошлого (святой князь Александр Невский, князь Дмитрий Донской, князь Пожарский, генералиссимус князь Суворов, фельдмаршал князь Кутузов), видят воплощение всего лучшего и светлого, что составляет священное духовное наследство русского народа, завещанное предками; в нем неразрывно сочетались в единый образ пламенная любовь к Родине и народу, глубочайшая мудрость, сила мужественного, непоколебимого духа и отеческое сердце. Как в военном вожде в нем слилось гениальное военное мастерство с крепчайшей волей к победе...»

Псевдонациональная бутафория и подделка под державность, столь дорогую русским патриотам, подкупила многих. В том числе, и ряд эмигрантов, чей тоскующий взор углядел в Сталине своего рода «царя», в СССР — возрождённую Российскую Империю, а в Московской Патриархии — истинную Русскую Церковь...

Война заставила власть надеть маску патриотизма: вспомнить славные страницы истории, вернуть дорогие русскому сердцу имена и символы... смешав их с символами противоположными, с идеями обратными. Она фактически закрепила ту роковую подмену, которая совершалась в течение всех лет господства Советской власти. Антихристианские пентаграммы стали почитаться, подобно кресту, так как их от подлинного содержания якобы отмыла кровь советских солдат. Коммунистическая, интернациональная, антирусская идеология оказалась породнена с имперской, державной идеей. Богоборческая, антирусская, незаконная власть, погрязшая в преступлениях, оказалась вдруг покровительницей Церкви, радетьельницей о народе, подлинной якобы русской властью. Московская Патриархия, антиканоническая структура, предавшая сонм

исповедников, явилась в образе матери-Церкви... Круг замкнулся. Ложь стала фундаментом всего дальнейшего развития советского общества. И эта ложь, это пожизненное двойничество, внутренняя расколотость влекла за собой тяжелейшую духовную болезнь, плоды которой можно было лишь предугадывать.

Саня Надёжин исполнил обещание, данное отцу, и ни на йоту не отступил от его заветов, продолжая его работу по составлению подлинной летописи эпохи торжествующего Зла. В совершенстве владея латынью, он именно на ней вёл свои записи, старательно заменяя опасные слова условными символами или эзоповыми выражениями.

Также все эти годы Саня поддерживал связь с отцом Вениамином. Обосновавшись в родных краях, он окольными путями дал знать ему об этом. Через два месяца отец Вениамин, к тому времени уже схиархимандрит Серафим, тайно освятил в избе тёти Мари домовый храм и принял в дар от Натальи Терентьевны спасённые Игнатом Матвеевичем и сбережённые ею священные сосуды. С той поры изредка собирались на службы, старательно таясь от сторонних не в меру зорких глаз.

Тётя Мари поджидала гостей на крыльце. Саня ещё издали увидел её высокую, сухую фигуру, которую даже старость не смогла пригнуть к земле. Завидев их, она с неожиданной для своих лет и больных ног лёгкостью сорвалась навстречу — бросилась обнимать Анюту и как будто вовсе не замечала перемен в ней. Следом показались опирающийся на трость Сергей Игнатьевич и Тая. Их, пожалуй, всех меньше изменили прошедшие двадцать лет. Ему они, пожалуй, даже пошли на пользу, придав его облику умиротворённость и просветлённость вместо прежней болезненной

нервозности. Она же, старясь, оставалась всё такой же тонкой и лёгкой, так что со спины или издали её и теперь можно было легко принять за подростка.

Говоря об их любви к Алёше, Саня нарочно аккуратничал, боясь травмировать материнское сердце. Конечно, мальчик знал о её существовании, знал, кем приходятся ему дядя и тётя, но всё же именно они были его семьёй, и он любил их нежной сыновней любовью, став для них нежданной отрадой. Бездетная Тая боготворила Алёшу, а Сергей Игнатьевич, не сумевший реализоваться, как отец, в отношении родных детей, воспитать их, теперь с жаром компенсировал прежние ошибки на внучатом племяннике, самолично занимаясь его обучением и проводя с ним много времени.

О приезде матери Алёшу предупредили заранее. На немой вопрос Аниных глаз тётя Мари ответила:

— Он волновался очень. А наша суета волновала его ещё больше, поэтому он пошёл на реку с собакой. Там под старой вётлой его любимое место. Пойди к нему. Ему так легче будет — чтобы нас рядом не было. Да и тебе тоже...

Саня всё же не удержался и, тайком пройдя следом за Анютой, издали наблюдал её встречу с сыном. Мальчик сидел на берегу в белой парадной рубашке и изредка бросал в воду камешки. Аня, сходявшая с пригорка, увидела его сразу, но не решилась подойти, остановилась, какое-то время стояла, прижимая руку к сердцу, унимая волнение, затем приблизилась и позвала. Алёша обернулся. Саня сжал кулаки, ранив ладони ногтями, боясь, что мальчик, как и он, не удержится, выдаст свой испуг.

Алёша медленно поднялся, но не двинулся с места. Зато подбежал к Ане дворовый пёс Будька, отчего-то сразу признавший в ней свою, дружелюбно завилявший хвостом. Анюта присела на корточки, ласково потрепала пса, спросила сына, как его зовут. Этот

вопрос рассеял напряжение, и Алёша, наконец, подошёл и, тоже погладив пса, потупившись, спросил:

— Вы моя мама, да?

— Да. Только, пожалуйста, говори мне «ты».

Мальчик кивнул, всё ещё не поднимая глаз.

— Ты совсем не помнишь меня, Алёша?

— Немного... Я помню, как ты подарила мне жар-птицу на счастье. Я сохранил её. Дядя Саня сказал, что когда-то её подарил тебе он.

Аня осторожно погладила сына по плечу, не решаясь поцеловать:

— А у вас здесь красиво. Может, покажешь мне окрестности? Вот, и Будька твой гулять хочет...

— А ты не устала с дороги?

— Ни капельки!

— Тогда пойдём, — согласился Алёша и, наконец, поднял голову.

Саня не стал преследовать мать и сына и вернулся в дом, где тётя Мари шёпотом сообщила:

— Сегодня приедет отец Серафим!

— Как? Когда?

— Должно быть, к вечеру. Матвей в город по делам поехал на машине, заодно его и привезёт. Мы с Таей и Натальей с утра готовимся. Жалко, Василисы нет... Наталья переживает: как институт девочка закончила, так в родной дом только по большим праздникам появляется.

— Так ведь работа у неё, ехать далеко, — пожал плечами Саня. — У Василисы голова светлая, она дров не наломает.

— Дай Бог, — вздохнула крёстная, беспокойно выглядывая в окно, не возвращаются ли Аня с Алёшей.

Они пришли лишь через час, общаясь друг с другом довольно непринуждённо, но не без скрытого напряжения. За обедом разговор клеился с трудом — тяжело было приноровиться друг к другу людям, не

общавшимся столь долго. Алёшу заметно тяготило сосредоточенное внимание взрослых и, покончив с трапезой, он отпросился поиграть с соседскими ребятами. Это явно причинило Аняте боль, и тётя Мари сразу попыталась её утешить:

— Ты не сердись. Просто волнуется он, вот, и ведёт себя так. Время нужно, чтоб привык.

— Я всё понимаю, — кивнула Аня. — Другого и не ждала. Даже куда худшего ждала. Ехала сюда и думала: как увидит меня, так и убежит, испугается. А он — ничего. Погуляли с ним, поговорили...

— Что теперь делать думаешь? — осторожно спросила Тая.

Анята понимающе посмотрела не неё своими большими, синими глазами, ответила успокаивающе:

— Погощу здесь немного и вернусь к себе.

— Оставишь сына? — удивился Сергей Игнатьевич.

— Моё присутствие будет только тяготить его. Он будет чувствовать себя неловко, будет стыдиться меня перед друзьями...

— Чушь! — возмутился Сергей Игнатьевич.

— Он должен сперва как-то усвоить нашу первую встречу. Привыкнуть к мысли, что мать — это не призрак, а живой человек, который любит его и всегда ждёт. Вы стали его семьёй, я вам очень благодарна за это. И я... не хочу ничего рушить. Я хочу, чтобы мой сын был счастлив. Поэтому пусть всё останется, как есть. Я, конечно, буду приезжать, писать. Надеюсь, и Алёша привыкнет писать мне. Если он не будет против, то я хотела бы, чтобы, если не этим, то следующим летом и он навестил меня. Места у нас живописные. Я отвезу его на Байкал, покажу ему это царь-озеро... Оно ведь удивительное! Уж если меня, столько пережившую, оно потрясло своей неземной красотой, то как же должно поразить впечатлительную душу ребёнка. Я думаю, это



путешествие будет ему в удовольствие и на пользу. Заодно поможет ему привыкнуть ко мне.

— По-моему, прекрасная идея! — воскликнула тётя Мари. — Лучше и быть не может!

Саня, которому Анюта под большим секретом рассказала об отце, понимал, что есть и ещё одна причина, по которой она возвращается в тайгу и так хочет, чтобы туда приехал сын. Аня обещала отцу вернуться и хотела, чтобы он увидел внука. Остальные не знали этого. Анюта собиралась поделиться своей тайной ещё с тётей Мари, для которой Родион Николаевич даже передал письмо, но больше ни с кем. Лагерная выучка мешала ей доверять даже близким людям.

Вечером Аня сидела с сыном на скамейке возле дома и рассказывала ему о тайге и Байкале. Саня слышал её рассказ из дома и удивлялся красочности и метафоричности этого повествования, плавности и напевности речи — словно сказку или легенду рассказывала она. И мальчик слушал, как замороженный, уже рисуя в своём воображении волшебный край.

Загудела вдали машина и вскоре затормозила у дома. Из неё проворно выскочил коренастый Матвей и, обежав кругом, открыл дверцу своему пассажиру, помог ему спуститься на землю. Старец схиархимандрит был одет, как простой колхозник. Ноги, несмотря на летний зной, были обуты в валенки, голову с длинными, белоснежными волосами покрывал картуз. Старец опирался на массивную палку, тяжело волочил негнущуюся ногу. Саня выбежал ему навстречу и, пока Матвей отгонял машину, помог гостю подняться в дом.

Лишь когда дверь и окна были плотно закрыты, отец Серафим перекрестился на образ и по очереди благословил собравшихся.

— Сейчас, дети, вздохну часок, а после отслужим вечерю, — сказал он, удаляясь в смежную домовую церкву крохотную, как чулан, комнатушку без окон, служившую ему «кельей» в дни приездов и алтарём во время служб. Никто из сторонних не знал об этой комнате, так как маленькая дверь, ведущая в неё, вне службы была завешена большим гобеленом, вышитым умелыми руками Вали.

Ставни были плотно закрыты снаружи и занавешены изнутри, чтобы свет не привлёк внимание местных жителей. Во избежание духоты открыли печной затвор и погреб. Тётя Мари проворно затеплила лампадки и свечи перед образами, в обычное время частью завешанными вышитыми панно, а частью убранными от стороннего глаза. Саня, с некоторых пор исполнявший обязанности чтеца, разложил книги. Старец появился ровно через час в полном облачении и уже без палки. К этому времени подоспел и Матвей с женой, сестрой и ребятами, лишь в третий раз взятыми на службу, так как в малолетстве брать их опасались, чтобы не разболтали лишнего. Комната оказалась полным-полна. Служба началась...

Аня и Алёша стояли рядом, оба сосредоточенные, звучными голосами вторящие тропарям. Сергей Игнатьевич был, по обыкновению, рассеян, а жена его молилась горячо и истово. Светло смотрели лица детей, которым всё было внове. Тётя Мари изредка садилась на стул — давали себя знать больные ноги, натруженные за день.

— Дети, для меня большая радость видеть всех вас, — сказал отец Серафим по окончании службы. — Видеть твёрдыми в вере и любящими друг друга. Особенно радостно видеть молодые лица — будущее наше. К вам, отроки, хочу обратиться с отдельным словом.

Подтолкнутые старшими Алёша и мальчики Матвея приблизились к старцу.

— Ваш путь лишь начинается, — сказал он им. — На нём ждёт вас множество искушений и соблазнов, лукавых искусителей, обманчивых прельщений. Остерегайтесь их. Не идите ни за призрачными удовольствиями и утехами житейскими, ни за какими-либо идеями, пусть даже самыми правильными и прекрасными, ни за учителями, которые сами себя называют так, ни за Серафимами, ни за Сергиями, ни за Михаилами, а только лишь за Христом. «Я есмь Путь», — так сказал Господь. Канут все идеи и учения, канут имена проповедовавших их, но вовеки веков будут звучать слова Спасителя: «Я есмь Путь». Идите этим Путём, дети, идите за Христом, не оглядываясь на иных, и не оступитесь. Всякий свой поступок, всякое чужое слово, даже слово того, кто покажется вам пастырем истинным, проверяйте учением Господа, и не впадёте в соблазн. Будьте верны Христу сердцем и делом, и Он не оставит вас.

После этих слов он благословил детей, а затем всех остальных.

По окончании службы собрались для трапезы за общим столом. Отец Серафим вкушал мало — так, точно делал это лишь для того, чтобы не огорчать хозяек и не ставить в неловкое положение чад, которые смущались бы утолять голод, когда их пастырь ничего не ест.

— У нас под Иркутском тоже есть небольшая община, — сказала Анюта, также почти ничего не бравшая в рот. — По праздникам мы собирались у моей подруги Гали и служили. Правда, батюшки у нас не было, поэтому обходились мирским чином. Зато у нас чудесно поют. Таких песнопений я больше нигде не слышала. Они передаются из уст в уста, доходят до других краёв. Я и ещё кое-кто впервые услышали их от Гали в лагере. Так и понесли — кто куда...

— Может, споёшь их нам? — попросил Саня.

Анюта чуть улыбнулась застенчиво, привычно прикрывая ладонью рот — ей и самой явно хотелось этого. Она робко посмотрела на старца, сидевшего рядом. Тот ласково коснулся её ладони, кивнул ободряюще. Глубоко вздохнув, Аня негромко, чтобы не услышали с улицы, запела неожиданно чистым и сильным голосом:

— Воскресения день, в небе звёзды горят.  
Где ты, смертная тень? Где низверженный ад?  
Где ты, смертная тень? Где низверженный ад?

В торжествующий рай открывается дверь.  
Верь, люби и прощай — все мы братья теперь!  
Верь, люби и прощай — все мы братья теперь!

Белых ангелов два возле гроба сидят,  
Чуть алеет заря, жены с миром спешат.  
Чуть алеет заря, жены с миром спешат.

Магдалина в слезах — ищет тело она.  
Смерти властвует страх над тобою, жена!  
Смерти властвует страх над тобою, жена!

Но не надо уж слёз, в небе звезда горит,  
А воскресший Христос пред тобою стоит.  
А воскресший Христос пред тобою стоит.

Песнь воскресшую мы с Магдалиной поём  
И ко свету из тьмы мы спешим за Христом!  
И ко свету из тьмы мы спешим за Христом!